

Д.Н.МАМИН
СИБИРЯК



ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ

Д. Н. МАМИН СИБИРЯК



СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ВОСЬМИ ТОМАХ



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА 1954

Д. Н. МАМИН СИБИРЯК



ТОМ ЧЕТВЕРТЫЙ

ПОВЕСТИ
РАССКАЗЫ
ОЧЕРКИ

1885–1889



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА 1954

Подготовка текста и примечания
Л. Б. СВЕТЛОВА

ПОВЕСТИ, РАССКАЗЫ, ОЧЕРКИ

В БОЛОТЕ

Из записок охотника

На Урале есть целый ряд заросших озер. Если смотреть на них откуда-нибудь с возвышенности, можно отлично видеть сохранившийся уровень воды, линию берега, острова. Замечательно то, что образовавшиеся торфянины и болота сохранили прежний водяной уровень, тогда как обыкновенно он понижается в виде широких ложбин и неправильной формы ям.

Ходить по такому заросшему озеру довольно опасно; почва так и колышется под ногами, точно идешь по натянутому полотну; в других местах нога проваливается совсем, а кое-где еще сохранились полузатянутые осокой и лопушником глубокие озерные «окна», которые даже не замерзают зимой. Растительность на таких мертвых озерах совершенно особенная, тоже какая-то мертвая: жесткая осока, ситник, белоус, мхи и разнообразный кустарник, начиная со смородины по краям и кончая вербой. Особенно замечательны болотные сосны и березы, по которым сразу узнаешь настоящее болото: деревья здесь превращаются в жалких карликов, точно золотушные дети, и между тем таким карликам бывает иногда лет за сто. Болотная дичь любит эти мертвые места и плодится здесь во множестве, тем более что есть такие болота, которые решительно летом недоступны охотникам.

Раз утром, в конце июля, я долго бродил с собакой по берегу такого болота, еще находившегося в периоде зарастания: торфяной слой залег всего на глубине полуаршина, а поверхность представлялась редким кочкарником, с водяными просветами. Под водой отчетливо можно было рассмотреть пестрый ковер прошлогодних водорослей, точно дно было выложено деревянной коричневой мозаикой. В девять часов уже сильно парило. Небо было совершенно безоблачно, и от болота поднимались тяжелые испарения. Становилось просто душно, и время было подумать об отдыхе; собака тоже устала и смотрела на расстилавшееся болото ленивыми глазами, опустив хвост. Недалеко высилась каменистая горка, с сосновой гривкой наверху и зеленой опушкой из рябин внизу; я отправился к ней, чтобы отдохнуть где-нибудь в тени у ключика.

Я забыл упомянуть о страшном враге, который гнал нас из болота сильнее солнечного зноя; этот враг — болотный комар и какая-то мошка, бессовестно лезшая в рот, в нос и даже в уши. Приходилось постоянно отмахиваться, причем враг исчезал как дым, а лицо, руки и шея начинали просто пухнуть от бесчисленных укушений. Люди с чувствительной кожей иногда возвращаются из такого болота с совершенно вздутыми лицами, так что даже глаза заплывают, но, конечно, привычка и некоторая опытность предохраняют несколько от подобных превращений. Шлепая по болоту, я думал с особенным удовольствием о разведенном огоньке-куреве, который разгонит болотных разбойников, но в этот момент собака глухо заворчала, предупреждая о присутствии чужого человека.

В десяти шагах от меня, по колени в воде, стояла низенькая старушка с глубоко надвинутым желтым платочком на голове; в подоле желтого сарафана она держала пучки какой-то желтоватой болотной травы.

«Какая-нибудь деревенская знахарка...» — мелькнуло у меня в голове.

— Бабушка, где здесь найти ключик? — спросил я, подходя к старушке.

— А вот сейчас под горкой, милый... вон черемуха

где, — приветливо ответила знахарка, нагибаясь за новой травкой.

— Спасибо, бабушка... Травку собираешь?

— Травку, барин, травку... хорошую травку.

Я поплелся вперед к указанному месту, но старуха меня остановила.

— А там, барин, у ключика-то, у меня внучка махонькая покинута, — предупреждала она, заслоняя морщинистое высохшее лицо от солнца рукой, — вот песик-то твой не напугал бы...

— Хорошо, бабушка, не испугаем.

— Спит она, внучка-то...

Под кустом черемухи я действительно нашел и ключик и спавшую внучку. Место было прелестное, но можно было пройти в двух шагах, не заметив его. В глубине сцены высился скалистый гребень, обросший молодым сосняком, а ближе к воде тянулась опушка из черемухи, рябины и тальника. Нужно было раздвинуть ветви низкой черемухи, чтобы попасть на неправильной формы лужайку, поросшую густой зеленой травой. Ближе к болоту, где сочился из земли светлый, как горный хрусталь, ключик, была сделана даже ямка в песке и обложена по краям пестрыми камешками. Очевидно, старушка знахарка частенько бывает здесь.

Найти спавшую девочку было тоже довольно трудно, хотя она спала почти совсем на виду, в тени той самой черемухи, на которую указывала старушка. Это была совсем еще маленькая девочка, лет четырех; она спала прямо на траве, покрытая поношенным ситцевым фартуком, из-под которого выставлялись только босые ножки, покрытые грязью и царапинами.

Устроить курево было делом минуты, и скоро едкий соломенный дым потянул кверху столбом, потому что день был безветренный и воздух стоял не шелохнувшись. Я с наслаждением напился ключевой воды, умылся и, не торопясь, принялся готовить охотничий завтрак из убитых куликов.

— Дай-ко я тебе, барин, сама изжарю пташек-то... — проговорил за мной голос знахарки.

Я даже вздрогнул от неожиданности, и сконфуженная собака, прокараулившая подкравшуюся старуху,

зарычала не на шутку и долго не могла успокоиться. Теперь я вспомнил, что и давеча совсем не заметил старухи, хотя она бродила по совершенно открытому месту, и в момент встречи, как и теперь, точно выросла из земли. Признаюсь, меня всегда пугают эти неожиданные молчаливые появления, вырастающие из земли, как тени, и я каждый раз несколько времени испытываю неприятное чувство человека, который бродит в темноте и неожиданно наталкивается на совсем незнакомые предметы.

Пока я передумывал все это, знахарка с каким-то ласковым шепотом выложила собранную траву около спавшей внучки, а потом принялась за моих куликов; она, очевидно, умела обращаться с этой дичью, хотя крестьяне болотной дичи сами никогда не едят, считая ее поганой. Меня заинтересовало это обстоятельство.

— Бабушка, ты это где научилась куликов-то жарить? — спросил я, вынимая еще двух на ее пай.

— Нет, барин, я не ем... никакого мяса не ем, — отказалась старушка и как-то печально улыбнулась. — А где я научилась куликов-то жарить... старая я, барин, больно старая. Мало ли чего знаю... Да, старая, даже на што комары — и те не едят. Тебя вот как накрасили, а меня не едят, потому и комар свой вкус знает: одно — старое, другое — молодое...

Знахарка опять улыбнулась и, не торопясь, принялась завертывать куликов в широкие листья какой-то травы, а потом зарыла их в золу. Я рассмотрел ее подробно только теперь. Сгорбленная, но еще бодрая, она была одета в поношенный темный ситцевый сарафан и такую же рубашку; большой темный платок покрывал голову вместе с загорелой морщинистой шеей. Ноги были босы, со следами болотной тины. Сморщенное лицо смотрело ласковыми светлыми глазами, сохранившими еще таившуюся в них искру жизни; когда-то это лицо, вероятно, было очень красиво, потому что и теперь еще не утратило известной приятности, особенно когда старушка улыбалась такой хорошей, спокойной улыбкой. Очевидно, она умела водиться с господами и держала себя с тем ласковым достоинством, с каким умеют обходиться заслуженные

старушки няни. Обыкновенные деревенские старухи как-то дичатся незнакомого барина и постоянно охают и стонут или ворчат.

— Какую это ты, бабушка, травку собирала в болоте? — спросил я, когда уже кулики были готовы.

— Травку-то?.. А хорошая, божья травка... петров крест прозывается.

Старушка принесла несколько стебельков и подала мне; петров крест походил на ландыш, только был длиннее и имел мясистый белый корень в форме раздвинутых пальцев.

— Почему эта травка петровым крестом называется? — спросил я, продолжая рассматривать отдельные стебельки.

Старушка выбрала один стебелек, повернула его вверх корешком и подала мне: корешок имел неправильную форму креста. Дальнейших объяснений не требовалось.

— Для чего же тебе эта травка?

— А хорошая травка, барин, пользительная... помогает во многих болестях: когда к сердцу подкатит, поясницу ломит, от головы... Ото всего пользует...

— Одну эту травку собираешь или еще и другие?

— И другие травы собираю, которые на пользу... Помогаю, кто попросит... Есть больно хорошие травки, барин. Ах, какие травы есть!..

Старушка благочестиво покачала головой и тяжело вздохнула.

Старуха сидела на самом припеке и жевала какую-то корочку, которую прикрывала ситцевым платочком; зубы у ней были еще крепкие, так что слышно было, как она смело разгрызала сухие места. Моя собака, прищурившись, все время следила за ней и несколько раз переводила глаза на меня, точно спрашивая, как ей быть. Курево дымилось попрежнему; под кустами черной смородины толклись столбом комары, в траве стрекотали какие-то козявки, где-то далеко перекликались журавли. Летний зной все наливался, и даже в тени не было спасения — из кустов так и несло тяжелой, теплой струей, бросавшей в пот. Я надеялся уснуть, чтобы переждать самое жаркое время дня, но

все попытки в этом направлении кончились полной неудачей, и в результате получилось чувство какого-то расслабления, точно после жаркой бани. А старушка все сидела, вытянув вперед ноги, и не думала уходить с солнечного припека.

— Бабушка, ты изжаришься на солнышке! — проговорил я, наконец, чувствуя, как мне самому делается жарче при взгляде на эту жарившуюся на солнце старуху.

— Нет, милушка, я рада солнышку-то... люблю его. Кровь-то старая, не греет, а солнышком ее и разгоняет: все бы вот так-то сидела... хорошо... Больно я люблю это солнышко, милушка, ждешь не дождешься его зиму-то зимскую, а как солнышко начало пригревать — я все по лесу брожу, по лугам, по болотам. Дотоль буду ходить, поколь тела своего не изношу... На што оно мне теперь? Будет уж, пожила, погрешила...

— Да какие у тебя и грехи, бабушка... Так, пустяки какие-нибудь?

Старушка пытливо посмотрела на меня и тяжело-тяжело вздохнула.

В это время проснулась спавшая девочка; завидев чужого человека, она сделала серьезное лицо и вопросительно посмотрела на бабушку. Это был прехорошенький ребенок — круглолицая, с синими глазками и льняными волосиками, с румянцем во всю щеку, с таким детски-серьезным складом пухленького ротика и светлым, чистым взглядом, каким умеют смотреть только дети. В крестьянской среде редко встречаются очень красивые дети, и я с особенным удовольствием рассматривал маленькую внучку.

— Красавица будет, — проговорил я как-то невольно.

Старушка вдруг нахмурилась и как-то ворчливо заговорила:

— Ох, милушка, не нужно это слово говорить... не ладно ты сказал... нехорошее это слово, барин.

— Как нехорошее?

— Да уж так, видно... Танюшка, милушка, что ты так воззрилась на барина-то? Барин хороший... Хошь поесть-то? На-ко вот, дитятко, у меня тебе припасено

было... — Старушка достала спрятанный под кустом узелок и вынула из него ломоть белого хлеба; девочка следила за ней с заспанной блаженной улыбкой и крепко ухватилась за ломоть обеими ручонками.

— Что же я нехорошее такое сказал? — допрашивал я, когда кусок хлеба был съеден и Таня опять успела заснуть. — Вот и в песнях про красоту-то поют...

— Ах, милушка, милушка... Погибель эта самая красота нашему брату, бабе... да! Ты думаешь, я всегда такая-то была: сморщенная, да желтая, да старая?.. Ох, нет, милушка! Красивая была в девках, а замуж вышла — еще краше стала. По шестнадцатому годку замуж-то вышла, так оно было из чего хорошеть-то... В Березовском заводе тогда мы жили, настоящие, значит, березовские были, а в те времена — ух! как строго было... Казенные были, а тут начальство сторожит, потому и с начальства тоже спрашивали. Давно это, милушка, было, тогда еще тебя и в помине-то не завелось, — ну вот и присылают к нам в Березовск одного начальника, Павла Лександрыча... А как прислали его, народ весьма взвыл, волком взвыл, потому больно строг был Павел-то Лександрыч. Из немцев он; ну и все требовать зачал, чтобы по закону, а тогдашние-то порядки хуже смерти были... Да и работа эта в Березовске на промыслах была самая проклятущая: золото добывали по шахтам, в земле, милушка, робили, как черви землю-то точили... Тяжелая была работа, — ну а начальство требует, а чуть что — сейчас палками... Нынче уж этого нет, а прежде у нас на промыслах за все палками мужиков колотили. Павел-то Лександрыч больно уж донял тогда и весь Березовск: и работою и своими порядками... Пробовали его подкупать, как других начальников, так куда тебе — приступу нет. Просто бедовенная беда, народу-то по приискам тыщи приколотились — все забедовали... И раньше начальство было, и взятки оно брало, сколько хотело, и вообще действовало не по закону, а жилось куда легче, чем при Павле Лександрыче; а он все по закону делал...

— Да вот поди ж ты... и человек он был все-таки, надо сознаться, очень хороший, дай ему, господи, царство небесное! — жалобным голосом вставила старуш-

ка. — Давно уж его нет в живности-то... Работой он томил народ больно. Помаялись-помаялись наши мужики, а ведь тогда по-военному все было — везде солдаты стояли, казаки. Ну старики, которые промеж себя поговорили, посоветовались и вырешили, что надо выручать мир, потому всем петля на шею. Избился народ-то, а Павел-то Лександрыч все нажимает, все нажимает...

— А я тогда молода была, совсем глупа, — совершенно другим тоном заговорила старушка, мешая угольки в куреве. — Ну, известно, ничего этого не понимаю... Старики так промеж себя говорят, а нам какое дело. Баб разве спрашивают в этакие дела мешаться? А тут и до меня дошла очередь... Был у меня дедушка, совсем древний старик, под сто годов ему было, и разумом уже начал он мешаться, и все больше с ребятишками возился. Вот этот дедушка и говорит мне: «Матушка, ты бы хоть ягоды продавала либо грибы... Наши бабы таскают к Павлу Лександрычу, и ты бы с ними». — «Штой-то, говорю, дедушка, учить меня, у меня свой муж есть».

— Прошло так малое время, он опять свое, я к мужу — тот из лица так выступил, да и сказал только всего: «Дедушке больше нашего с тобой знать...» Бабенка я в те поры была совсем молодая, бойкая на речах; ну, думаю, коли вы так, буду, мол, ягоды продавать. И точно, наберу круженьку земляники и к Павлу Лександрычу снесу, — он сам любил ягоды покупать у баб. Ну, таким манером покупал у меня ягоды и деньги платил, супротив других баб даже больше платил, и все наказывал чаще носить... Гляжу я, стал Павел Лександрыч со мной заговаривать, слово за слово, а сам таково крепко в меня всматривается. Глупое место было: мне бы бежать, а мне это дело приятно было... Ей-богу, от глупости больше!.. Потом зачал он меня пощипывать да заигрывать, а я бросила с ягодами к нему ходить. Дома ничего не говорю, а сама нейду к нему, и конец делу. Только дедушка меня опять донимать стал — ступай да ступай, ну я и повинилась ему во всем, как на духу. «Пустое, говорит, надо терпеть, Матренушка...» — «А муж?» — говорю.

«А што, говорит, муж твой означает, коли тут целый мир терпит, может тыщи народу томятся... а?» И пошел наговаривать, и пошел наговаривать, складно умел таково говорить. Тут уж и я поняла, к чему он речь-то подводит, и даже ужаснулася; ноженьки мои подкосились, свет из глаз... Конешно, по промыслам бабы везде балуются, а в Березовском это даже совсем нипочем, а мне то стало обидно, што меня свои же в яму толкают. И вскинулась я на дедушку, так с кулаками над ним и хожу: «Ты, сякой-такой, чему меня учишь, а? Как у тебя, старого, язык повернулся?..» А он на меня: «Разве, говорит, я тебя из-за денег посылаю, глупая? Ежели, говорит, мир так порешил, потому как от Павла Лександрыча житья нет... мир-то больше нас с тобой: послужи миру-то, а твоей вины тут никакой не будет». Я реветь, а дедушка смотрел-смотрел на меня, снял рубаху, повернулся спиной и говорит: «Смотри, дитятко, какие у меня узоры-то нарисованы, да я не ревел, когда миру надо было послужить...» А спина у дедушки вся исполосована белыми рубцами, точно вот обожжена чем, и кости даже, знать, где были измочалены палками... Это его палками наказывали, когда он еще в шахте робил и шахту затопил, потому ему тоже от мира наказ такой был. Ему за это за самое пятьсот палок всыпали... Подневольный народ тогда был, замаяли подземной работой, вот мир и порешил шахту у начальства затопить, а дедушка в штегерях ходил — его и заставили.

Старушка замолчала, с трудом переводя дух. Где-то далеко-далеко, как пушечный выстрел, прокатился глухой раскат грома; над горизонтом выплывало темное грозовое облачко и быстро подвигалось к нам. Зной стоял прежний, но теперь порывами набегал легкий ветерок и качал черемухами и рябинами. Таня проснулась и заплакала.

— Слава тебе, господи!.. — крестилась старуха, рассматривая катившуюся по небу тучку. — Давно уж земля дождичка просит... травушка-то больно притомилась.

— Что же дальше-то было, бабушка? — спрашивал я, заинтересованный рассказом.

— Дальше-то? А ничего: Павел-то Лександрыч совсем стишал, точно другой человек сделался... Сначала я ягоды ему все носила, потом грибы, а потом и совсем к нему перешла жить. Вдовец он был, ну я и жила у него. До меня он больно добрый был — одевал, дарил, баловал... А я все делаю, как дедушка учил, все за мир хлопотала. Мужа штегерем сделал Павел-то Лександрыч, родню в люди вывел. Ох-хо-хо!.. А я от хорошей жизни еще краше стала: идешь, бывало, по улице, так чужой народ любуется. Кланяться стали, потому, што хочу, то и делаю — большую силу забрала у Павла Лександрыча. Чудной он какой-то был, прости его, господи... Сначала-то я даже боялась его, а потом привыкла, — так привыкла, што и про мужа совсем забыла. Вот она, красота-то, куда завела: мужа не жаль, а Павла Лександрыча жалеть начала, точно вот приросла к нему. Даже какая-то злость на меня нашла: нарошно, бывало, дразню мужа, чтобы он меня колотил, как других баб мужья бьют... А то, бывало, совесть зачнет мучить, ночи не спишь, богу все молишься — нет, ничего не берет. Так-то раз мучилась-мучилась, да и порешила: брошусь я от этой жизни в шахту, все одно — моченьки моей не стало. Совесть доняла... Похудела, задумываться стала, а дедушка-то все уж примечал за мной, што не ладно, мол, што-то с бабой деется. Умственный был старичок... Ну, раз я вечерком и отправилась в лес, думаю, брошусь куда-нибудь в шахту, потому тошнехонько; иду это я болотом, а дедушка мне навстречу, так же вот разную травку собирал. Пользовал он народ травкой... Увидал меня и говорит: «Нехорошее у тебя на уме, внученька...» Я ему опять все и рассказала: реву и рассказываю, а он слушает и тоже плачет. Вот он тогда и добыл из-за пазухи эту самую травку, петров крест, и говорит: «Внученька, вот тебе травка хорошая... пей ее с молитвой, может господь и поможет, а рук на себя не накладывай. Это травка особенная, крестом в землю растет, божья травка; от наших грехов крест господень в землю ушел». Стала я эту травку пить — и точно, облегчало... В те поры и Павел Лександрыч помер, девочка у меня от него осталась, ну я из Березовска уж ушла —

тяжело было на людей глядеть. С дедушкой все жила, он меня и травы научал собирать, и какая в какой траве польза... Дочка-то потом замужем была да померла, а мне вон Танюшку оставила.

— А муж?

— Муж? Совсем он свихнулся, водкой зашибал сильно... Давно уж его тоже в живых нет. Ох, грехи, грехи!.. Танюшка, милушка, оболокайся, может еще поспеем до дождя домой добежать.

Старушка заторопилась, связала свои травы, спрятала какой-то узелок в кусты и, простившись со мной, исчезла в кустах. Я тоже пошел и, взобравшись на каменный утес, долго провожал торопливо уходившую парочку: старуха тащила девочку за руку и скоро скрылась в березовой рощице. Мне с возвышенности видно было все мертвое озеро, тянувшееся верст на пять; направо, из-за соснового леса, выдвигался острый мысик, а за ним бурым пятном виднелась глухая деревушка, где жила старуха. Туча уже висела над головой и совсем закрыла солнце; было душно, недалеко пронеслась со свистом стая уток и пала в болото. Вот и первые крупные капли дождя застучали с сухим шумом по зелени, вот и глухой шум от надвигавшейся грозы, и молния, и раскатистый гулкий удар грома, гулко грянувший около самого уха... Я шагал с собакой чрез кусты к лесу, чтобы укрыться от ливня где-нибудь под деревом.

РОДИТЕЛЬСКАЯ КРОВЬ

Очерк

I

Лес, лес и лес... Настоящий дремучий сибирский лес, сохранившийся в этой местности каким-то чудом, потому что кругом, на сотни верст, все настоящие леса давным-давно сведены и выжжены заводчиками. Этот лес известен под именем «середовины», потому что лежит на границе казенной дачи и дачи Пластунских заводов; по мнению главного пластунского лесничего, он принадлежит Пластунским заводам, а по мнению казенных лесничих — казне. Это спорное положение спасло «середовину» от конечного истребления, но в недалеком будущем ее постигнет общая участь всех уральских лесов — она будет, конечно, истреблена до последнего дерева, как умеют истреблять лес только на Урале.

Одним краем «середовина» упирается в широкое торфяное болото, а другим прилегает к каменистой грядке невысоких увалов; болото уходит далеко на север, где в синеватой мгле встают уже настоящие горы. Если смотреть на окрестности с вершины одной из этих гор, картина представляется довольно оригинальная, особенно рано утром, когда болото покрыто еще туманом; болото разлеглось неправильным разливом на десятки верст, на нем отдельные горки и увалы выдаются,

как острова или гигантские бородавки, а «середовина» кажется громадной черной овчиной, растянутой по неровной, чуть заметно всхолмленной поверхности. В Среднем Урале таких картин слишком много, и с каждым шагом на север эти болотины разрастаются все шире и шире.

Лес в «середовине» сосновый, дерево к дереву, как восковые свечи, и только по опушке образовался смешанный подсед из березняков, рябины и черемухи, который на болоте переходит в настоящий болотный «карандашник», то есть в чахлые и корявые березки, в кривые тонкие сосенки-карлицы, тальник, ивняк и кусты смородины. Этот карандашник точно заражен золотухой или английской болезнью, но сосны-карлицы имеют по сту лет и более. Тяжело смотреть на такое дерево-урод: ствол непропорционально тонок, узловат, во многих местах согнут и покрыт совсем особенной мертвой корой, есть даже гнилые язвы, из которых сочится мокрота; рядом с этим золотушным чахлым лесом середовинский бор является какой-то лесной гвардией, где каждое дерево — богатырь...

Здесь необходимо заметить, что «середовина» служила гранью между северным дремучим лесом и лесными породами средней полосы: там, где высились синие горы, залегли беспросветные ельники, пихтарники и кедровники, там тянутся к небу своими распростертыми коряжистыми ветвями едва опушенные бледной зеленью листвени, а к югу пошли веселые светлые бора, березняки, липовые острова. На севере сосна является исключением, как ель на юге, да и северная сосна такая жалкая, вытянутая и голая сравнительно с коренастыми гвардейцами той же «середовины». В настоящем северном лесу-таежнике чувствуется какая-то глубокая печаль, точно вся природа закуталась в темнозеленый траур; не то в «середовине», где было так светло и просторно, как под высокими стрельчатыми сводами какого-то гигантского храма. Всякая дичь любила держаться около этой «середовины»: по опушкам кормились табуны поляшей (косачи), рябчики, вальдшнепы, в глубине — глухарь, в болоте — дупеля и т. д. Одним краем через «середовину» про-

текала река Пластунья, очень болотистая и иловатая в верхотинах, но делавшаяся чище в низовьях, точно она проходила чрез какой-то невидимый фильтр, в котором оставляла ил, тину и крутившуюся в ее струях желтоватую муть.

Около этой «середовины» была отличная охота: весной по опушкам тянули вальдшнепы, на лесных прогалинках токовали косачи; в перелет Пластунья покрывалась утками и гусями, — летом здесь кормились отличные выводки, а глухой осенью, по первой пороше, били косачей с подъезда и на чучело. Прибавьте к этому зайцев и волков, которые перебивались около «середовины», а по весеннему «насту» здесь была отличная охота на диких коз и даже оленей, хотя олень редко заходил в «середовину», потому что кругом было уже слишком голо. Ввиду такого разнообразия дичи охотников всегда тянуло в «середовину», которая во всем своем составе на двадцативерстном расстоянии находилась под наблюдением всего одного сторожа, известного у охотников под названием Прохорыча, или попросту — «Секрета». Кто дал Прохорычу это название: Секрет — неизвестно, но оно как нельзя лучше шло к нему: Секрет так секрет и есть. Самая физиономия Прохорыча изобличала его «секретное» происхождение: широкое русское лицо, узенькие голубые глазки, глядевшие как-то тревожно и таинственно, рыжая окладистая бородка, сдвинутые заботливо брови, особенно когда Прохорыч начинал закручивать длинный тараканий ус. Говорил он отрывисто, какими-то обрывками фраз, и любил выражаться иносказательно и даже своим особенным высоким слогом, потому что сильно понаметался около господ. Костюм Секрета составлялся очень замысловатым образом из разного тряпья, хотя он и держался в нем с большим гонором, потому что чувствовал себя записным охотником, а записные охотники всегда щеголяют в сборных костюмах — это своего рода мода и щегольство.

Сторожка Секрета приткнулась к самому бору и была заслонена со стороны болота редким березняком, так что незнакомый человек по самым точным указаниям, когда приходится поворачивать десять раз

направо и столько же налево, едва ли отыскал бы замысловатое жилище Секрета, особенно летом, когда оно совсем пряталось в зелени.

— Как-то я сам плутал-плутал по лесу-то, а своей избушки не нашел, — объяснял Прохорыч знакомым охотникам, молодцевато закручивая усы. — Конешно, маненько в разу был... от знакомого барина ехал... славный такой барин в городу у меня есть. Ну, поднес мне стаканчик, да три стаканчика на свои выпил, в глазах-то и задвоило... Почитай, цельную ночь по середовине ездил да в лесу и заснул, а избушки не доехал, будет — не будет, сажен двести.

Снаружи сторожка Секрета была просто вросшая в землю лачуга, сильно покосившаяся на один бок; вместо крыши была насыпана толстым слоем земля, покрытая густой травой и даже молодыми березками. Около этого дворца из сухарника была пригорожена «стая» для скотины и небольшой пригон. Внутренность сторожки заключалась всего в одной комнате — направо небольшая русская печь, налево в углу стол, сейчас от двери около стены деревянная кровать, две скамьи, колченогий стул — и только. На стене над кроватью висело два ружья, около печки полочка с посудой, под кроватью разбитый сундук с движимым, на покосившемся окне вечный горшок с красным перцем — дальше этого желания Прохорыча не шли, потому что Прохорыч в душе был немножко философ и, как все философы, жил по преимуществу духом. В этой избушке Прохорыч проживал со своей женой Власьевной и с двумя белоголовыми ребятишками и, кроме того, ухитрялся держать еще квартирантов — то каких-то каменотесов, то приисковых старателей, то гуртовщиков; кроме того, у него останавливались всегда охотники, особенно летом, когда кругом «середовины» было настоящее раздолье. Жена у Прохорыча, бабенка лет тридцати пяти, была как раз ему под пару и постоянно ходила с каким-то испуганным лицом.

— А вы вот что мне скажите, барин, — приставал Секрет к каждому новому знакомому, — чем я теперь живу в лесу?..

— Как чем: ведь ты жалованье получаешь, как лесник...

— Я? Жалованье?.. Мое жалованье вот какое: приду к казенному лесничему за месячным, а он мне: «Ты проси у пластунского управителя жалованье-то, потому середовина-то ихняя», ну, я в Пластунский завод, там немец Бац управителем, ну, он гонит за жалованьем к казенному лесничему, потому, говорит, середовина казенная... Уж ходишь-ходишь, кланяешься-кланяешься. А бывает и так, что два жалованья получишь... Ей-богу!..

В качестве записного охотника Секрет врал любую половину, но его средства действительно были сомнительны, и он больше кормился от приезжавших охотников.

— Кабы не господа — пропадай! — заявлял Секрет сам. — От господ только и питаешься, особливо к Ильину дню, когда из Пластунского завода, из Боровков и из прочих местов народ страдовать начинает. Баб тогда по покосам множество, а господам это даже весьма любопытно бывает... Боровские-то кержанки вон какие, Христос с емя: точно ямистая репа, ну и гулеванки тоже, когда мужиков близко нет. Что этого вина в те поры с господами выпьешь — страсть!.. Ну, зимой, обнакновенно, тишина, а к лету опять и оттаешь... С ранней весны кружить-то начинаем, только тут смотри: одних господ не успел проводить — другие катят, да так кругом и идет. Народ все прахтикованный, сейчас к каждому применяешься: кому и что — один насчет водки, другой за бабами, третий куликов стреляет, а есть и такие, что едут просто сами себя удивлять... Ей-богу, такие фокусы строят — кто что придумает!..

Господа, приезжавшие на охоту в «середовину» из города и с заводов, для Секрета служили неистощимым источником для самых пикантных рассказов, причем одним из главных действующих лиц являлась всегда водка.

— Лучшие самые господа приезжают, — объяснял Секрет при каждом удобном случае. — Пьешь, пьешь, даже совестно в другой раз сделается... а нельзя, потому я должен уважить.

Одним словом, в качестве «прахтикованного» мужика Секрет умел «утрафить» всем и благодаря такой изворотливости ухитрялся существовать почти безбедно. Но у Секрета была и своя хорошая сторона: он горой стоял за свою «середовину» и постоянно сражался с лесоворами, которые делали набеги на его участок. Лесоворный промысел на Урале распространен как нигде и обратился в настоящую профессию, потому что отвода лесных наделов населению еще не произведено. Вы услышите очень часто стереотипную фразу, что такой-то «занимается по лесоворной части», как другие занимаются по части приисковой, кожевенной, сундучной и т. д. И нужно заметить, что эта «лесоворная часть» организована отлично, на разбойничий манер, так что с лесоворами происходят у лесной стражи настоящие сражения. Секрет лез на стену при одном имени лесоворов.

— Варнаки и душегубы все до единого, — кричал Секрет, начиная показывать полученные в разное время рубцы и членовредительства. — Во как по пояснице изуважили в позапрошлом году, — пять ден вылежал... А то по глазу хлобыснули в том году, так думал: смерть моя, а уж что было по затылку кладено — и счет потерял.

— Да ведь и ты им не пирогами откладываешь?

— Обнакновенно, разговор короткий: я их, варнаков, вашескородие, сухим горохом стреляю... На, носи — не потеряй, голубчик!.. И только расшельма и народец: один беспалый ездит, а другой — с одной левой рукой. Такие кряжи заворачивают — страсть, вершков двенадцати. Что же, должен я на них смотреть, вашескородие, сложа руки?.. Сколь мога́ и я их веселю... Больно уж зимой одолевают: цельную ночь сторожишься другой раз. Не однова меня спалить начисто хотели, да пока бог хранит, что дальше. Боятся они меня, потому как я вполне отчаянный человек насчет лесу... Бож-же сохрани!

Иногда на Секрета от этих воспоминаний нападало тяжелое раздумье, и он с неподдельной грустью прибавлял:

— А не сдобровать, барин, середовине-то... ох, не сдобровать!..

— Почему так?

— Да уж так: сердце чует... Пятнадцать годов я здесь выжил, а теперь сумлеваюсь. Как-то Бац говорит мне: «Ну, Секрет, пиши духовную своей середовине, скоро мы ее за себя переведем, и сейчас только одни угольки останутся». Точно он меня ножом полыхнул... И переведут, беспременно переведут, потому кругом голо — один карандашник, ну, на середовину теперь зубы и точат. Ноне ведь в Пластунском заводе сплошной немец пошел... Уйму леса извели проклятущие, точно они его жрут, потому известно — чужое, разе жаль его: повертится немец-то год-два, сведет лес, да и хвост убрал. Нет, видно, шабаш середовине...

Однажды в конце июля я сильно опоздал на охоте, до города было далеко, и я отправился переночевать к Секрету. В лесу уже было совсем темно, когда я подходил к сторожке со стороны «середовины». Секрета не оказалось налицо, а Власьевна даже не повернула головы в мою сторону и только сердито ткнула рукой по направлению горевшего огонька, разложенного под березками, саженях в двадцати от сторожки.

— Мне бы самовар, — попросил я, но Власьевна и на этот раз точно так же не удостоила ответом, а только махнула рукой в прежнем направлении.

Эта немая сцена в переводе обозначала то, что самовар под березками и что Секрет прохлаждается там с какими-то хорошими господами. Оставалось идти под березки — очень веселое и тенистое место днем, — господа весьма «уважали» эти березки. Ночевать летом в избушке Секрета нечего было и думать, потому что там вечно стояла какая-то отчаянная кислая духота, и охотники обыкновенно располагались под открытым небом у огонька.

— В самый раз, вашескородие... прреотлично! — встретил меня Секрет, торопливо вскакивая с земли. — А мы тут с Евстратом Семеновичем чаишко швыркаем и насчет мухи...

Прямо на траве стоял кипевший самовар, тут же торчала початая бутылка водки и какая-то сомнитель-

ная снедь в измятой газетной бумаге; огонек едва дымил, отгоняя зудевших в воздухе комаров, а около него, растянувшись на траве, лежал громадного роста «мущина», как говорят горничные. По длиннополому сюртуку, красной рубахе навыпуск и подстриженным в скобку волосам лежавшего «мущину» нельзя было отнести в разряд настоящих господ, а скорее это был какой-нибудь гуртовщик или прасол. Прислоненное к дереву дешевенькое тульское ружье и развешанные на сучьях какие-то ладунки доказывали несомненную принадлежность «мущины» к лику охотников.

— Они по торговой части, из Пластунского завода, — лебезил Секрет, закручивая усы. — Может, слыхали: Важенин, Евстрат Семеныч?.. Бакалейное и колониальное заведение и галантереи...

— Не ври ты, ради Христа, — отозвался лениво Важенин, не поворачивая головы в мою сторону. — Полфунта чаю да голова сахару — вот и вся наша колониальная торговля...

Важенин тихо засмеялся пьяным самодовольным смехом и сел. Это был видный черноволосый мужчина под сорок; свежее румяное лицо, окладистая черная, как смоль, бородка, белые зубы и певучий грудной тенорок делали его моложе своих лет, и он смотрел настоящим молодцом. Серые глаза, опушенные длинными загнутыми ресницами, заметно слипались, потому что Важенин был «в разу» и сильно раскачивался на месте. Это лицо и особенно ленивая улыбка показались мне знакомы, но я не мог припомнить в числе моих знакомых фамилию Важенин.

— Побаловаться чайком, — приглашал Важенин, улыбаясь блаженной улыбкой захмелевшего человека. — А мы вот тут того маненько... разгрызли полштофчик.

Пока Секрет рассказывал, как они «дрызнули» после чая, я успел освободиться от разной охотничьей сбруи и с удовольствием растянулся на траве; около меня улегся мой Бекас, коричневый пойнтер, уставший, кажется, больше меня. Положив свою лобастую умную голову мне на сапог, собака, прищурив желтые глаза,

внимательно смотрела на суетившегося около самовара Секрета и с видимым удовольствием нюхала воздух.

— Это ваша собачка? — спрашивал Важенин, когда я уже допивал второй стакан. — Ничего, форменный песик... А вот я, грешный человек, не люблю собак. Вы чему это смеетесь?

— Да так... Извините, нескромный вопрос: вы из старообрядцев?

— Около того... по родителям-то совсем кержак, а сам-то по себе, пожалуй, и православный. А вы почему подумали обо мне, что я из старообрядцев?

— Потому что все старообрядцы не любят собак...

— Верно, есть такой грех. А знаете, почему не любят-то?

— Нет.

— А потому не любят, что бес являлся многим угодникам в образе пса... Это и в книгах написано.

Мы разговорились, и я окончательно убедился что где-то встречал этого Важенина, но где — не мог припомнить никак.

— Вы меня не узнаете? — спросил я, наконец. — Я где-то вас встречал, а не помню, где...

Я назвал свою фамилию. Важенин внимательно посмотрел на меня и с улыбкой проговорил:

— Даже, можно сказать, весьма вас помню... Этому уж лет с шесть будет, как вы у меня даже в гостях были в Пластунском заводе. Запамятовали? Да и то сказать, что вам и помнить-то трудно этот самый случай, потому как вас ко мне привезли влежку...

— А, теперь вспомнил, — обрадовался я и тоже засмеялся.

Моя встреча с Важениным была действительно довольно оригинальна. Поздней осенью я был на охоте в горах около Пластунского завода и схватил сильнейшую простуду, кончившуюся плевритом; больного меня отправили на место жительства, и я в первый раз пришел в себя в каком-то совершенно незнакомом доме. Как теперь вижу маленькую комнату с крашеными лавками, я лежал на кровати, а против меня у русской печки сидел вот этот самый Важенин и внимательно смотрел на меня. Помню, что мне ужасно было тя-

жело — томила жажда, кружилась голова и перед глазами ходили какие-то круги, но одна фраза, сказанная Важениным с какой-то детской наивностью, заставила меня рассмеяться. Смотрел, смотрел он на меня, встряхнул намасленными волосами и каким-то необыкновенно добродушным тоном проговорил:

— А ведь вы, господин, помрете... ей-богу, помрете!..

Я напомнил этот эпизод Важенину, и мы посмеялись вместе.

— А плохо ваше место было тогда, — говорил он, наливая себе и мне по стаканчику. — Конечно, в животе и смерти один господь волен, а вот и встретились... Может, еще и меня переживете, — прибавил Важенин и грузно вздохнул своей могучей мужицкой грудью. — Мы так думаем по своему разуму, а господь строит другое... Пожалуйте!..

В конце июля летние ночи на Урале бывают особенно хороши: сверху смотрит на вас бездонная синяя глубина, мерцающая напряженным фосфорическим светом, так что отдельные звезды и созвездия как-то теряются в общем световом тоне; воздух тих и чутко ловит малейший звук; спит в тумане лес; не шелохнувшись, стоит вода; даже ночные птицы, и те появляются и исчезают в застывшем воздухе совершенно беззвучно, как тени на экране волшебного фонаря. Что-то такое торжественное и великое чувствуется в такой ночи, которая проходит над спящей землей неслышными шагами, как таинственная сказочная красавица, чарующая все кругом уже одним своим присутствием. Именно была такая ночь, когда мы прохлаждались у Прохорыча под березками. Несмотря на усталость после охоты, спать совсем не хотелось, да и нужно было потерять всякую совесть, чтобы проспать такую ночь, как спал, например, Бекас, свернувшись кренделем около огонька. «Середовина» превратилась в темную сплошную глыбу, затаившую в себе все звуки; по болоту ползал волокнистый туман, сквозь мертвую тишину чуть-чуть проносился какой-то смутный шепот, заставлявший собаку вздрагивать.

Секрет подбрасывал в огонь щепочек, закручивал усы и облизывался, поглядывая на бутылку с водкой.

— Так ты, Евстрат Семеныч, значит, приходишь[1] на свово-то родителя? — спрашивал Секрет, очевидно продолжая разговор, который они вели до меня.

— Приходить не прихожу, а к слову сказать, — уклончиво ответил Важенин, перевертываясь на другой бок. — Рассуди, голова с мозгом: кабы ежели тогда покойный родитель определил меня к Михряшеву, да ведь я бы теперь деньгам счету не знал, а тут изволь по копеечке да по грошику сколачивать... Михряшев-то тогда по заводам страсть гремел — первый человек был, потому деньжищ уйма и везде кабаки и лавки с панским товаром. Приказчиков одних у него двадцать человек было, а он меня еще у Ивана Антоныча видал... Я тогда в казачках при Иване Антоныче состоял, и все, бывало, в передней торчишь, ну, Михряшев бывал у нас и заметил. Денег даже давал, когда под пьяную руку приедет. У Ивана Антоныча разливанное море было, потому прежние заводские приказчики жили не по-нонешнему: вон наши пластунские управителя не живут, а жмутся. Тогда и жалованьишка малюстенные были, а ничего, жили. Ну, Михряшев свой человек был и приметил меня, потому как был я парень-чистяк: кровь с молоком. Как-то разговорились они промежду себя пьяные, ну, Михряшев и выпросил меня у Ивана Антоныча, чтобы в лавку посадить. Совсем дело на мазе было, да родитель поднялся на дыбы: не хочу и кончено, потому Михряшев хоша и из наших старообрядцев, а совсем обмиршился и все компанится с бритоусами и табашниками.

— Да ведь и Иван-то Антоныч миршил тоже?

— Вот поди ты... «Ты, говорит родитель, у приказчика служишь в казачках не по своей воле, — потому крепостной человек, — и греха на тебе нет, а как перейдешь к Михряшеву — и грех примешь на душу, — потому своя воля...»

— А ведь оно, пожалуй, и тово, верно сказано-то...

— Уж на что вернее!.. Покойный родитель постоян-

---

[1] «Приходишь» — в переносном смысле, по местному говору, значит «жалуешься». *(Прим. Д. Н. Мамина-Сибиряка.)*

ный был человек и как слово сказал, как ножом обрезал. Он в те поры в заключении находился...

— А все-таки жаль: из-под носу ушло богачество-то, — жалел Секрет, мотая своей беспутной головой. — Все михряшевские приказчики вон как ноне живут: все до единого в купцы вышли, и ты бы вылез, кабы не родитель.

— Беспременно бы вылез, потому Михряшев напоследки сильно ослабел, а приказчикам это и на руку: все растащили... Даже жаль было со стороны глядеть: Михряшев гуляет, а приказчики волокут из лавок товар сколь мога̀.

— Экая жалость, подумаешь, а и ты на руку охулки не положил бы, Евстрат Семеныч; пожалуй, еще больше бы других уволок...

— Уволок бы, потому я тогда этой самой водки даже не прикасался... Прямо сказать, — настоящим бы купцом сделался.

— Ишь ведь... а-ах, жаль, право жаль! Кажись, доведись даже до меня экой случай, так я бы не одну лавку уволок у Михряшева-то... — соболезновал Секрет, ерзая по траве.

— Барин-то спит? — шепотом осведомился Баженин про меня, протягивая руку к бутылке.

— Спит... Так, совсем пустой человек: набегается по болоту, ну, и сейчас спать, — рекомендовал меня коварный Секрет.

Они выпили, пожевали какую-то закуску и долго молчали; Баженин был совсем пьян и начинал дремать, но Секрету еще хотелось «дрызнуть» и он, как «прахтикованный» человек, «из-под политики» старался поддержать разговор:

— А где Харитина-то, Евстрат Семеныч?

— Померла нонешним годом...

— Вместе, значит, с Михряшевым?

— На одном месяцу.

— Добрая была душенька, дай ей, господи, царствие небесное! — вздохнул Секрет и даже перекрестился. — Заступалась она за нашего брата, когда Иван Антоныч зачинал лютовать. До смерти бы меня закатал, ежели бы не Харитина... И то замертво в лазарет унесли... Ох,

лют был драть покойник!.. Я тогда у кричных молотов ходил, ну, тяну полосу, а Ивана Антоныча и принесло на грех в кричную. Поглядел, поглядел на мою полосу, а она с жабриной, ну, известный разговор: «Ты, миленький, зайди ко мне, как обед ударят...» Троих-то нас позвал. Пришли. Он на крылечке этак летним делом сидит, в одном халате, и посмеивается: «Ну, миленькие, обижаете вы меня...» Тут же перед крыльцом меня первого и разложили, два здоровенные конюха у него были, ну и давай прикладывать. Только и драли — из кожи из своей рад вылезти, а Иван Антоныч посмеивается да приговаривает: «Не я тебя, миленький, наказываю, а сам себя бьешь... Попомни, ангел мой, жабринку-то, да и другому закажи! Еще миленькому-то поднесите горяченьких да харроших... Ну, ангелы мои, постарайтесь!..» Ну, слышу я, что уж из ума меня вышибает, и базлать перестал, а только молитву сотворил про себя, а Иван Антоныч все приговаривает да посмеивается — чистая смерть приходила... Спасибо, когда Харитина на крыльцо вышла и отняла меня, а то запорол бы насмерть. На рогожке без памяти тогда меня в лазарет сволокли, три недели вылежал... Ведь он тогда в скором времени до смерти запорол Никешку Зобнина, так под розгами и душу отдал.

— Ничего ему не было за Никешку?

— Ничего... всё дело замяли, потому какой на Ивана Антоныча в те поры суд — темнота одна была.

— Сказывают, Харитина-то в большой бедности проживала напоследях... И куда, подумаешь, все девалось: у Ивана-то Антоныча вона сколько добра было накоплено — невпроворот!

— Что уж говорить... Только детей после Ивана Антоныча не осталось, умер он наскоре, духовной не оставил, ну, Харитину племяннички и пустили в чем мать родила. Ей-богу... Вместе с Михряшевым бедовала в городу: и тот без гроша и она тоже. Жаль глядеть было... Да что еще было: у Михряшева-то кой за кем были должишки в Пластунском, вот он как-то по зиме и соберись — с обратьними ямщиками к нам на Пластунский и прикатил. Шубенка-то на нем плохенькая, сам седой весь, отощал... И что бы думал, братец

мой, походил-походил по заводу — ни одна шельма ни гроша не отдала, а над ним же, над стариком, потешаются, потому как есть совсем бессильный человек. А те ироды-то, приказчики-то его, даже чаю напиться не позвали старика... Ну, увидал я его и позвал к себе, так он даже заплакал. Ей-богу... «Вот, говорит, Евстратушка, наша судьба человечецкая: весь тут, и стар, и хладен, и гладен!» Переночевал у меня, покалякали... «А я, говорит, на них-то, на иродов-то, не прихожу — в ослеплении, говорит, поступают, а одного жаль, что вот ты тогда ко мне в приказчики не угодил — может, тебе бы тоже польза была, по крайности в люди вышел бы». Ну, и Харитина страсть как бедовала в городу... на господ платье стирала и этим кормилась. Привезешь ей ситчику на платьишко или чаю — уж как рада была... Худая стала, да все кашляла, — так на работе и изошла вся.

Баженин вздохнул и налил стаканчик; Секрет заметно нагружался и начинал коснеть языком, но он пил до последнего издыхания.

— Хочу я тебя, Евстрат Семеныч, давно спросить... — говорил Секрет после выпивки, — то есть насчет этой самой Харитины... разное болтают... хе-хе!..

— Ну, чего болтают? — грубо спросил Баженин, приподнимаясь на локоть.

— Да насчет тебя, что будто имела она большое прилежание к тебе... хе-хе!.. Ей-богу, вот сейчас провалиться...

— Дурак!!. Я вот тебе такое прилежание покажу.

— Да ведь я так, Евстрат Семеныч... не серчайте... с простоты.

— То-то, с простоты... Знаем мы твою простоту, черт!..

Пауза. Баженин тяжело ворочается; вопрос Секрета, очевидно, задел его за живое, но он крепится. Опять стаканчик и глухое кряканье.

— Дурак!.. черт!.. Разве ты можешь это понимать, образина? — ругается Баженин, сжимая кулаки. — Я тебе такую проволочку пропишу. «Прилежание»?! Подлецы вы, вот что...

— Да ведь я...

— Поговори еще... ну, поговори?.. А ты знаешь, на скольком году Харитина вышла замуж-то?.. То-то вот и есть... «Прилежание»! Дьявола... Ивану-то Антонычу было под шестьдесят, когда он Харитину взял, а ей шестнадцатый годок шел... Из бедных была, ну, старик на ее красоту польстился. На моех глазах все было... Иван-то Антоныч на фабрику уйдет, а она ребячьим делом в куклы играть али ребятишек назовет да с ними давай кувыркаться... Право, черти!.. «Прилежание»... Какой у ней разум в те поры еще был: так, девчонка-девчонкой... А Иван Антоныч не разбирает — свое взыскивает, — потому муж. Сильно они вздорили по ночам, потому у ней еще ребячье на уме, а ему подай свое...

— Бил он ее, сказывают?..

— Бивал... Как-то раз приходит из фабрики, а Харитина заигралась в куклы, да пирогом с осетриной и опоздала — не дошел маненько пирожок-то. А Иван Антоныч уж за столом сидит и свою рюмочку предобеденную налил, ну, она со страхов-то недопеченный пирог и велела подавать... Тронул его Иван Антоныч да сейчас же Харитину за косы и давай обихаживать по всей горнице, — та ревет не своим голосом, а он приговаривает таково ласково: «Вот тебе, Харитинушка, пирожок с осетриной!.. Вот тебе, ангел мой, еще пирожок с осетринкой... Вот тебе, душенька, и еще... не я тебя, голубчик, наказываю, а сама себя бьешь!» Уж он ее таскал-таскал, колышматил-колышматил, пока не натешился, ну, пирог-то в это время и допекся, а Иван Антоныч обедать... Не красно ей жилось, уж что говорить. Плачет, бывало, как одна останется, рекой льется. Ну, сначала меня стеснялась будто, а потом при мне плакала... Убираешь, бывало, со стола или там что, а она сядет в уголок и примется причитать, — тоску такую наведет, хоть самому плакать, так в ту же пору. Конешно, дело наше маленькое: видишь — не видишь, слышишь — не слышишь... А потом уж стал я примечать, что будто Харитина стала на меня поглядывать, а как встретится глазами, вся всполыхнет. Ну, стала как будто избегать меня и придираться: и то не ладно, и это не ладно, и пошел не так... Мое дело тоже молодое, так и захолодит на сердце, когда мимо идет, а ты

стоишь в передней дурак-дураком, как статуй. А надо тебе сказать, что покойный родитель, чтобы я не избаловался, взял да женил меня... Жена-то дома сидит, а Харитина на глазах постоянно, да и куда же жене до нее, потому барыня, одета всегда форменно и обращение свободное и всякое прочее. Глядели-глядели мы так-то друг на дружку, а тут Иван Антоныч куда-то уехал, оставил жену одну, ну, а Харитина меня тогда и заполучила по всей форме: и милый, и ненаглядный, и красавец, и сухой, не пареный...Известно, женская слабость.

— Уж что говорить... обнакновенно... уж тут музыка... А поди, страшно было Ивана-то Антоныча?

— Так страшно, так страшно, что коленки сами подгибаются, как он взглянет... а Харитина, как есть, хоша бы бровью повела: веселая такая стала, и все ей надо помудренее что-нибудь над стариком посмеяться. Под носом у него такие штуки укалывала... Вот, поди ты с этими бабами — чистое помраченье!.. Ночью даже от мужа приходила ко мне в переднюю-то... и смеется и плачет.

— И поди, подарки дарила... а?..

— Уж это по всей форме: всячины надарит, а я все беру...

— И деньгами, поди?

— И деньгами... Своими руками шелковую рубаху вышила да подарила. Только эта рубаха чуть меня не завела в гору, в медный рудник... Да... Обнакновенно, в доме-то уж начали за нами примечать, кто-то позавидовал мне, ну, и в полной форме Ивану Антонычу лепорт: так и так, миленькая-то женушка, Харитинушка, вот какие художества устроила с Евстратушком... Ха-ха!.. Ну, тогда-то и полсмеху не было. Идет раз Иван Антоныч, и такой веселый, я вытянулся перед ним в передней, а он меня прямо за ворот: «Славная у тебя, ангел мой, рубашка... Жена тебе вышивала, миленький?» — «Точно так-с...» — «Славная у тебя жена, ангел мой». Ну, и пошел мудрить, пошел наговаривать, а у меня душа в пятки: учуял, старый пес... Только что бы ты думал, братец ты мой, пошел Иван-то Антоныч от меня, пошатнулся и конец — кондрашка его хватил... На третий день представился. Перед смертью-то пришел я прощаться к нему... узнал и едва так внятно про-

говорил: «В гору тебя, миленький... в гору...» Это он хотел меня сгноить в медной шахте и сгноил бы, кабы господь веку дал.

— Ну, а потом-то как ты с Харитиной?..

— Чего как?.. Чистый ты дурак, Секрет... Она уехала в город жить, а я в Пластунском остался. Когда бывал в городу, захаживал к ней... Только уж тут совсем неспособное дело было.

— Обнакновенно, никакого интересу, потому забеднела Харитина-то... Чего с нее было взять-то!..

— Дурак, совсем не то... Неподходящее дело эта Харитина нашему брату мужику: жидка уж очень собой, в руки взять нечего.

— Ну, а раньше-то имел все-таки прилежание к ней?

— Опять дурак... «Прилежание»?! Тьфу!.. Мы как две цепных собаки у Ивана-то Антоныча сидели, вот и вышло прилежание, а как попали на волю, даже совестно стало обоим, потому какая же это музыка, чтобы барыня вязалась с мужиком.

Конца этого разговора я уже не слыхал, потому что под шумок заснул и все время видел какой-то безобразный сон: видел Ивана Антоныча, Харитинушку, разорившегося купца Михряшева и т. д.

II

Перед самым утром пал маленький дождичек, и утренняя охота пропала. Я проснулся уже довольно поздно, когда Секрет орудовал для гостей самовар. Только что откупоренная бутылка водки свидетельствовала о том, что и Важенин и Секрет успели уже опохмелиться; около бутылки стояла деревянная тарелка с дымившимися блинами.

— Долгонько вы-таки поспали, вашескородие... — говорил Секрет, обращаясь ко мне. — А мы тут, грешным делом, уж разгрызли по стаканчику.

Важенин молчал, придавленный еще вчерашним хмелем; глаза у него были совсем мутные, лицо красное. Он не чувствовал жарившего его голову солнеч-

ного луча, который пробивался меж березок. Это место под березками было замечательно хорошо: назади шапкой стояла «середовина», впереди расстилалось болото, окаймленное по бокам синевато-серыми увалами. Умытая росой и дождем зелень смотрела особенно весело, в «середовине» заливались даровые лесные певцы, в болоте слышался подозрительный шорох, заставлявший Бекаса вздрагивать и чутко нюхать воздух. Легкий ветерок проносился над осокой, шептался в березовой листве и пропадал сейчас же; по голубому небу плыла кучка белоснежных облаков, круглившихся и надувшихся, как парус. Трава успела просохнуть, и воздух курился ароматными испарениями, пахло лесной душицей, шалфеем, свежей сосновой смолой. Дневной зной усиливался с каждой минутой, и хотелось лежать неподвижно без конца. Налитые стаканы чаю стыли, и Секрет очень обижался этим обстоятельством.

— Вы давно охотитесь? — спросил я молчавшего Важенина.

— Мы-то?.. Да так, пустым делом иногда побалуешься, — уклончиво ответил он. — Ружьишко вот попалось в третьем годе, почитай даром, ну, так вот и шатаешься с ним. В заклад принес его один мастерко, да в полуторых рублях и оставил. С даровщинкой-то оно и любопытно...

— Уж это вы верно, Евстрат Семеныч, — почтительно вторил Секрет, — на что лучше... Вот еще воровское, сказывают, хорошо тоже, особливо насчет собаки или птицы — первое дело.

— А ты пробовал? — презрительно спрашивал Важенин.

— Бывало дело... Собачка была у меня, цетерок. Не то чтобы настоящий цетерок, а так смяток. Ну, так я его упер еще щенком, и денег мне он мно́го нажил. Умный такой издался, напрахтиковал я его — любо глядеть, как почнет орудовать по лесу али в болоте. Господа наедут, я его пущу — всех ублаготворит, и сейчас его у меня покупать. Ну, я его и продал целковых за десять, а он, цетерок-то, непременно убежит от нового хозяина и опять ко мне. Раз пять с веревкой прибегал... Раз восемь я его эк-ту, пожалуй, продал.

— Вот это молодец! — похвалил Важенин.

— А то как же, Евстрат Семеныч? Надо же и мне жить, а господам что значит десять-то целковых: тьфу — и только.

Этот рассказ очень понравился Важенину, и он повторял про себя: «Ловко... отлично!.. Вот так цетерок... Восемь раз, говоришь?» С одной стороны, его радовала непроходимая господская глупость, а с другой — ловкость Секрета приятно щекотала его собственные хватательные инстинкты: это был, очевидно, настоящий кулак, любивший всякую «дешевинку» даже в чужих руках, если особенно дело обделано «мастеровато», как в данном случае. Тип собственно заводского кулака только еще нарождается, и Важенин меня заинтересовал в этом отношении, тем более что в нем к специально кулацким чертам примешивалась еще лакейская крепостная закваска.

— Вы, собственно, чем же торгуете? — спрашивал я.

— А чем придется... больше по заводской части, что простому мастеровому надобно, — харч, обуй, одежа, бакалеи.

— Выгодно?

— Да ничего... слава богу, жить можно помаленьку. Прежде-то на Пластунском народ зажиточнее был, так торговля хуже шла, потому богатый мужик все норовит в городу купить, в свое время, а у нас так брали — самые пустяки. А как теперь захудали все, к нам...

— Да ведь много торговых у вас в Пластунском?

— Ничего, на всех прохватит... С богатого не много возьмешь, а бедный у тебя весь в руках, потому он и муку аржаную фунтиками покупает. Примерно, пуд муки стоит восемь гривен, а фунтиками продаешь по три копеечки... И чай тоже и сахар. Вообще, который темный товар — большая от него прибыль.

— Какой темный товар?

— А на который цены не знает мужик... даже лучше не надо. Возьмите теперь сапоги или полушубки — на них не много наживешь, — потому цена им вся известная, а бакалея — темный товар, бумага и всякое прочее.

— Как же вы на охоту ходите от торговли?

— Да летом какая наша торговля: самое тихое время. Жена в лавке управится... А я больно вот места люблю, собственно за этим и хожу.

— Какие места?

— Ну, все места... весьма даже любопытно, потому как здесь совсем особенные места — угодные... В допрежние времена по этим местам сколько разного народу хоронилось, хоть взять из наших старообрядцев... Да вот хоть это самое болото: сколько скитов было поналажено по островам, доступу к ним нету, особливо летом. Ну, старцы и хоронились от начальства: где их в болоте-то найдешь...

— И нынче живут?

— Как не жить — и нынче живут, только далеко, а поблизости всех разорили.

— Да вон на моих глазах скиток сожгли, — заявил Секрет. — Отседова его видать было... вон там налево к увалам островок, так на нем и проживали старцы-то. Ну, зимой их и выследили лесообъездчики, да и выжгли... Попользовались, говорят, всем: и мукой, и медом, и воском, и деньгами. А лучше нет места, как ваши Боровки, Евстрат Семенович: уж такое место, такое место — на целую округу.

— Древнее место... — задумчиво ответил Важенин. — Еще этих заводов и званья не было, как отцы-то наши прибежали сюда с Выгу-реки. Много таких-то местов здесь... Может, одних угодников сколько спасалось, не говоря о других прочиих людях. Только нынче ослабел народ супротив стариков-то: куда!.. Измотались... малодушие везде...

— А мне ваши боровковские вот где сидят, Евстрат Семеныч, — проговорил Секрет, указывая на затылок, — такие охальники — страсть... Каждую зиму с емя смертно бьюсь за середовину. Больно уж меня донимают...

— Станешь донимать, когда есть нечего... Тоже не от добра лесоворничают. Взять хоть тех же Мяконьких... Вон каких четыре братана [1], чистяк народ.

---

[1] Братан — брат. *(Прим. Д. Н. Мамина-Сибиряка.)*

— Уж это что говорить: осетры... Большак-от Мишка, вон какой лоб, и проворен, окаянный, ну, и другие ничего — чистые ребята.

Кончив чай, Важенин и Секрет переглянулись между собой.

— Теперь самая пора... — проговорил Секрет, поднимаясь с земли, — залобуем дичины, Евстрат Семеныч, уж я тебе говорю. Она тоже время знает...

— Да какая в полдень дичь? — удивился я.

— А мы найдем, вашескородие... — ухмылялся Секрет. — Вы в город к вечеру али здесь заночуете?

— Нет, в город... Вот только жар спадет — и отправлюсь.

Обвесив себя ладунками и взяв ружья, Важенин и Секрет отправились на охоту, а я из-под березок, где начало сильно припекать солнце, перешел к самой избушке и улегся в тени. Власьевна обещала приготовить обед и накормить Бекаса. Около избушки на завалинке играли ребятишки Секрета, но в моем присутствии заметно стеснялись и все больше смотрели на собаку. Зной все увеличивался, так что становилось тяжело дышать, и я невольно пожалел Власьевну, которая должна была жариться у жарко натопленной печи. Это была бойкая городская мещанка, худая, как щепка, обладавшая способностью вечно быть не в духе; она походя тузила ребятишек и жаловалась встречному и поперечному на свою горе-горькую участь, то есть на своего мужа, который только и знал, что жрать водку и т. д. Громыхая теперь ухватами, Власьевна несколько раз принималась причитать самым отчаянным образом, как причитают по покойнике. До меня без всякой логической связи доносились слова: «погубитель», «наплодил ребятишек, а сам только водку жрет», «ужо вот я тебе покажу, бесстыжие твои шары», «пропасти нет на вас, окаянных», «утямились», «прорвы этакие», «беспременно я утешу» и т. д.

— Кого это ты, Власьевна, бранишь? — спросил я, когда обед был готов и подан прямо на траву.

— Известно, кого... одна у меня винная-то капля!.. — каким-то пришибленным голосом заговорила она, отмахиваясь рукой. — Жисти я своей не рада, ба-

рин, вот те Христос, потому для кого я маюсь здесь, в лесу-то?.. Вон он, Секрет-от, какой у меня: склался, только его и видел... И везде-то у него дружки да приятели, и везде он свою водку найдет. Теперь дни на три закатились с Важениным...

— А Важенин часто бывает у вас?

— Заходит по-времю, когда водкой зашибет... Запой у него, вот он и бредет в лес. Пил бы у себя дома, а то нет, в середовину надо, моего Секрета спаивает только... Я ведь их обоих наскрозь вижу, барин, даром что хитры. Вот что... «Мы-ста на охоту...» Тьфу!.. Знаем мы ихнюю-то охоту!.. Ужо вот Мяконькие-то наломят им бока-то, костей не соберут... Ты думаешь, куда они пошли, охаверники?

— Не знаю...

— Да в Боровки... всё туда шляются. Там у братанов Мяконьких сестра есть, Ульяной зовут, так вот Евстрат-то Семеныч и увязался за ей... И девка только: высокая, белая, ядреная, на речах бойкая. Евстрат-то Семеныч вон какой бык — ему и любопытно такую девку оммануть... Вот и шатаются с Секретом, чтоб Секрет помогал. Тьфу... рассказывать-то про них тошнехонько! Мяконькие-то уж пообещали Евстрату Семенычу шею сломать, так он и подсылает Секрета: придут к Боровкам, Евстрат Семеныч в лесу спрячется, а Секрет и подсылает Ульяну за грибами или за ягодами идти. Только не та девка... Она и то одинова так отдубасила моего-то Секрета — взяла палку, да палкой и давай его обихаживать, только стружки летят. Одним словом — могутная девка, где же она им живая-то в руки отдастся... ни в жисть!..

— Откуда ты это все узнала-то? — сомневался я.

— Да сам-то Секрет все пьяный и рассказывает, а как прочухается — в отпор... Ох, и жисть только моя, не приведи никому, истинный Христос!.. Подумаешь с подушечкой об этаком угаре, как мой-от, а ребятишки-то вот они... Секрет-от мой хоша и ослабел насчет водки, а ведь он прост, вот я и боюсь, кабы ему где башку не отвернули.

Местность между «середовиной», деревушкой Боровками и Пластунским заводом действительно в прежние

времена представляла самую удобную почву для людей «древлего благочестия», хоронившихся здесь от никонианских властодержцев и «духоборного суда». Но уральские заводы быстро выжгли все леса кругом и загнали раскольничьих старцев в непроходимые болотные места, дебри и раменья, но и отсюда их выкурили, как выкуривают из нор и «язвин» разное зверье. Все это, без сомнения, было очень печально и еще более несправедливо, но печальнее были такие галантерейные фрукты, как Важенин... Воспоминания о несчастной Харитине, искреннее сожаление, что не удалось попасть в число разорителей Михряшева, торговля темным товаром и этот удивительный расчет высасывания последних грошей из заводской голытьбы — все это отлично говорило за себя и совершенно логически заканчивалось запоем и дикой травлей «могутной» Ульяны Мяконькой.

С охоты я вернулся уже поздно вечером. Над городом N. висело целое облако пыли, окрашенное розовым огнем заката.

После картины леса глухой уездный город, с его пылью, пьянством и чем-то таким усталым и щемящим душу, всегда кажется какой-то помойной ямой, в которой несчастные обыватели копошатся, как черви!

III

Года через два мне случилось ехать через Пластунский завод. Стояла глубокая зима, дорога была адская — бесконечные ухабы, снежные переметы, — одним словом, все прелести зимнего путешествия по совершенно открытой местности, предоставленной в жертву всем четырем ветрам. Округ Пластунских заводов в Среднем Урале, кажется, единственный по варварскому истреблению лесов на громаднейшей площади в семьсот тысяч десятин, — везде на Урале леса истребляются напропалую, но пластунская дача стоит, без сомнения, на первом месте.

Подъезжая к Пластунскому заводу поздно вечером, когда везде уже в окнах горели огни, я вспомнил про

Важенина и велел ямщику ехать к нему, потому что, с одной стороны, не хотелось провести ночь где-нибудь на постоялом дворе, а с другой — меня заинтересовал этот типичный заводский кулак. Пластунский завод — один из самых старинных заводов и залег своими кривыми улицами в глубокой горной лощине, точно спасаясь от разгуливавшего по окружающим пустыням северо-восточного ветра. Найти дом Важенина нам было легко, потому что его лавочку нам сейчас же указали. Мы подъехали к двухэтажному деревянному домику в три окна — лавка помещалась в нижнем этаже, а вверху было хозяйское жилье. Я послал ямщика спросить, не пустят ли переночевать, и получил утвердительный ответ, хотя предварительно был произведен самый подробный допрос: кто, куда и зачем, как обыкновенно делается в таких случаях.

Только тот, кому случалось по целым дням ехать в тридцатиградусный мороз, когда весь точно оледенеешь и когда от холода больно пошевелиться, — только тот поймет то удовольствие, с каким входишь в жарко натопленную избу. Самого Важенина не было дома, а меня встретила старуха, его мать, повязанная широким темным платком по-раскольничьи, то есть с распущенными по спине двумя углами платка.

— Где Евстрат-то Семеныч? — спрашивал я, с трудом вылезая из двух стоявших коробом шуб.

— Да в волость ушел, родимый, в волость... — ответила высокая, еще крепкая старуха, пытливо разглядывая меня большими серыми глазами. — Ужо, поди, скоро воротится, давно уж ушел.

Я извинился, что потревожил их своим визитом, и объяснил причины, почему это сделал. Старуха выслушала меня как-то недоверчиво и, вероятно, из вежливости прибавила:

— Как быть-то, родимой, потеснимся как ни на есть, а то кому охота по постоялым трепаться... Городской будешь?

Получив утвердительный ответ, старуха вышла похлопотать насчет самовара.

Дом Важенина хотя и был в два этажа, но внутри был устроен как крестьянская изба: передняя половина, широкие сени и задняя изба. Передняя деревянной крашеной перегородкой делилась на две комнаты — прямо из дверей приемная, гостиная и все, что угодно, а за перегородкой крошечная кухня. Прямо у дверей стояла широкая двуспальная кровать, завешенная ситцевым пестрым пологом; деревянные нештукатуренные стены были обиты дешевенькими обоями, около стен шли широкие, крашенные синей краской лавки, в углу большой зеленый киот с врезанными в дерево старинными медными складнями и осьмиконечным раскольничьим крестом. У перегородки деревянный шкаф с чайной посудой, под образами крашенный желтой краской стол, на полу тряпичные половики домашнего тканья, на стене знакомое уже мне ружье-дешевка с ладунками, рядом с киотом небольшая укладка с книгами, ладаном и восковыми свечами, как это бывает во всех раскольничьих домах. Меня удивило только то, что в этой укладке, вместе с псалтырем и часовником, были поставлены с пестро раскрашенным обрезом судебные уставы и еще какие-то «законы», судя по формату, все анисимовских изданий.

— Это кто же у вас по части законов? — спросил я, когда в комнату вошла с чайной посудой жена Важенина, немолодая, какая-то опухшая женщина с засыпанным веснушками лицом.

— Да это Евстрат Семеныч в городу накупил... — нехотя ответила она, расставляя посуду на железном чайном подносе. — Да вот он и сам идет.

Из сеней в облаке хлынувшего пара действительно показался сам Важенин в дубленом полушубке и мерлушчатой шапке; раздевшись, он положил три поклона на киот и грузно подсел к столу. Завязался обыкновенный в таких случаях разговор: давно ли из города, какова дорога, нет ли каких новостей в газетах и т. д. Таким образом, мы сидели за кипевшим самоваром до седьмого пота, калякая о разных житейских разностях. Со мной была бутылка коньяку, и я предложил дорожный стаканчик Важенину, но он как-то конфузливо махнул рукой и проговорил:

— Трекнулся [1].

— Давно ли?

— Да вот второй год пошел на святках... Ну ее, эту водку!.. Когда это я вас у Секрета-то видел? Никак года два с залишком будет!.. Так. Как раз после Ильина дни я тогда в середовине был... После того еще с полгода занимался этой слабостью, а потом — шабаш!..

— Что так: немножко-то можно, особенно с устатку или с мороза?

— Нет, уж кончено... Хворал я, так зарок дал. Да и то сказать — неподходящее совсем дело.

Мой вопрос, очевидно, задел «трекнувшегося» человека за живое, и он принужденно замолчал. Самовар потух и только изредка выпускал одну длинную ноту, обрывавшуюся, как туго натянутая нитка; мороз заметно крепчал, заставляя трещать даже старые бревна. По улицам мела жестокая метель, и ветер несколько раз принимался с каким-то стоном завывать в трубе, точно он жаловался, что никак не мог ворваться в этот теплый дом, где все было поставлено так крепко, как умеют ставить только кулаки и сшибаи, когда заберут в себя силу. Баженин сидел у стола и задумчиво барабанил пальцами; он заметно похудел и как-то осунулся, в темных волосах серебрилась седина, вообще выглядел обстоятельным, настоящим торгашом. Чтобы поддержать оборвавшийся разговор, я спросил, как идет торговля.

— А что нашей торговле сделается, — неохотно ответил Баженин, встряхивая волосами. — Народ кругом бедует, а нам это на руку... На заводе-то сокращают работу, всё машины ставят, ну, народу большое от этого утеснение, а деваться некуда. То же вот и по деревням: прежде дрова рубили, уголье жгли, металл возили, а нынче тоже сократили и их...

— Чем же теперь занимаются рабочие, которые остались без дела?

---

[1] «Трекнулся» — по-заводски отрекся. *(Прим. Д. Н. Мамина-Сибиряка.)*

— Разным: кто на приисках старается, кто по лесоворной части, кто так по домашности шишлится... Тесное житьишко подходит, что говорить: всем одна петля-то. Ежели бы еще землей наделили мужичков, так оно бы другой разговор совсем, а то не у чего биться совсем. Обижают землей народ по заводам; всем крестьянам наделы даны, а только одних мастеровых не могут наделить... Двадцать лет как уставные грамоты подписали, а надела все нет — это уж не порядок: ни пашни, ни лесу, ни покосу — все от завода, ежели робишь на фабрике. За каждую жердь попенные взыскивают, пашни отбирают. Ну, заводские еще, худо ли, хорошо ли, около фабрики околачиваются, а взять, к примеру, Боровки — и работы нет, и угодья никакого не дают.

— Что же, хлопочут ваши общественники или нет?

— Как не хлопотать — теперь лет уж пятнадцать стараются, да все толку нет. Да и то сказать: глуп народ-то, прямо сказать — от пня, а там господа всем ворочают. Вон к нам нонче немцев нагнали — везде немец... А все-таки поманеньку хлопочем. Теперь обчество меня ходоком выбрало по этим делам... так уж я хочу, чтобы все по закону утрафить. Закон один для всех, ну, и нам давай по закону, как в прочиех местах. Это прежде темнота была, а ноне закон... Я теперь третий год законы-то почитываю, так там все обсказано, а дело наше совсем правое.

Важенин достал из сундука целую кипу разных деловых бумаг и принялся объяснять обстоятельства своего дела, которое являлось в таких сбивчивых и запутанных подробностях, что на первый раз просто голова шла кругом: какие-то памятные записи, копии с грамот и указов, окладные листы, приговоры сельских обществ, сенатские решения, постановления и отзывы по крестьянским делам присутствия, словом — непроходимый дремучий лес всевозможной канцелярщины, и нужно было иметь такую слепую веру в закон, как у Важенина, чтобы надеяться выйти целу и невредиму из этой отчаянной путаницы. Я долго перебирал все эти документы и бумаги всевозможного формата, цвета и почерков, точно это была куча осеннего листа, сбитого

с всевозможных пород деревьев, но, чтобы разобраться в этой куче, нужно было, во-первых, специальное знание, а во-вторых, — массу свободного времени, и, в-третьих, — беззаветное желание «послужить миру».

— Вы, конечно, обращались к члену уездного по крестьянским делам присутствия? — спросил я, чтобы сказать что-нибудь.

— Было и это-с... Член-то говорит, чтобы обождать, — потому будут межевать, так тогда уж все обозначится, а мы до этого межеванья перемрем, как мухи. Шибко меня уговаривал член-то, ну, как я его припер законом — он только рукой махнул... Даже весьма не советовал, ежели беспокоить высшее начальство, а я ему закон представлял. Это, видите ли, о заводских мастеровых одно дело, а о деревне Боровках другое... Я уж заодно хлопочу об них. Боровки совсем на особицу пошли — потому как они были основаны раньше Пластунского завода, — значит, и земля у них своя, а не заводская. Я ведь сам из Боровков и знаю это дело... Первые-то насельники пришли в Боровки в тысяча шестьсот восемьдесят третьем году, когда Пластунского завода и званья не было, ну, и заняли всю землю, значит земля ихняя. Все с Выгу-реки пришли в Боровки, ну, и пашни пахали, и росчисти делали, и покосы, и всякое прочее крестьянское обзаведенье. И после настоящими крепостными они не были, а только приписаны к Пластунскому заводу в работу, да и земля-то у Пластунского завода поссессионная... Вот оно, какая штука получается!..

Напав на тему, мы разговорились — предо мной был совсем другой человек, точно недавний кулак вышел куда-нибудь в другую комнату. Собственно, выражался Важенин довольно темно и постоянно путался в мудреной юридической терминологии, но по всему было заметно, что это был глубоко убежденный человек, проникнутый сознанием своей идеи. За разговором время пробежало совершенно незаметно, и старушка мать подала ужин; она, видимо, прислушивалась к нашему разговору и все вздыхала.

— Вот и мамыньку спросите про Боровки, она отлично знает это дело, — заметил Важенин.

— Как не знать: известно, наша земля... — ответила спокойно «мамынька», степенно оправляя ситцевый длинный передник; она была в косоклинном раскольничьем сарафане с глухими проймами и в белой холщовой рубашке с длинными рукавами. — Все это знают, родимый, только оно сумнительно очень... насчет то есть начальства...

— Ну, это пустяки, мамынька. Мало ли что в прежние времена было, — тогда темнота одна была, а нынче — другое, нынче везде закон, мамынька.

— Закон-то закон, милушка, да вот и покойный родитель... так в заточении и помер, сердешный. Все правды искал тоже... Двенадцать лет в остроге высидел.

Старушка вытерла передником показавшиеся на глазах мелкие старческие слезинки и тяжело вздохнула.

— Ах, какая ты, мамынька!.. — недовольным тоном заметил Важенин и нахмурился... — Покойный родитель был не глупее нас с тобой...

— Да я, милушка, ничего не говорю... — торопливо оправдывалась старушка, стараясь принять спокойный вид. — Только будто к слову пришлось...

Только распухшая жена Важенина, державшая себя на городской манер, очевидно, была недовольна затеями мужа и не принимала в разговоре никакого участия.

— Я уж наладила там в задней избе гостеньку-то все... — проговорила старушка, когда мы кончили ужин. — Здесь-то негде, так я уж в задней избе.

Задняя изба, только что отделанная в качестве парадной половины, была совсем по-городски: на полу тюменские ковры, триповый диван с десертным столом, венские стулья, два зеркала в простенках, плохие олеографии в золоченых рамах, кисейные занавески на окнах — словом, все было устроено форменно. Постель была мне сделана на полу, около «галанской» печи с герметической заслонкой.

— Уж не обессудь на нашей простоте, — извинялась старушка, провожая меня в заднюю избу, — чем богаты...

— Да не беспокойтесь, бабушка... Все отлично. Благодарю...

— Как не беспокоиться-то... Ох-хо-хо!.. — вздыхала старушка, еще раз взбивая подушки и, очевидно, желая что-то высказать. — Вот что, родимый ты мой, скажи ты мне ради истинного Христа: засадят Евстратушку-то в острог... а?

— Зачем засадят, бабушка?

— Да вот за закон-то за его... Отец-то ведь тоже о земле хлопотал, да так и кончился в остроге, ну, и Евстратушка как бы туда же не угодил. Вон как он разговаривает... Все жил ничего, все ничего, торговлишку справил, обзавелся, а тут накося — всему попустился. И в кого это он уродился такой-то?

— Вероятно, в отца, бабушка?

— Так, верно, родимый, в отца и есть... Ох, чажало это родительскому сердцу!.. Уговаривали — пытались, так куды — приступу нет. Жена-то в ногах валялась... Отец-то, Семен-то Евстратыч, такой же вот был неуговор: наладит, что хошь расколись для него тут. Все за Боровки тогда хлопотал, об земле об этой, ну, его в острог — так и сидел по смерть по самую, а не покорился. Строго прежде-то было, при Иване еще Антоныче: уж он драл-драл Семена-то Евстратыча, голубчика, а ничего выбить не мог. Евстратушка-то, видно, в родителя изгадал... Не взыщи ты на мне, на старухе, за глупый мой разговор: все ведь сердечушко издрожалось.

Я постарался успокоить горевавшую старуху, как умел, и она ушла, охая и причитая об ухватившемся за закон Евстратушке. Заснуть я долго не мог: в комнате было жарко даже на полу, за обоями шуршали тараканы, слышно было, как сам хозяин несколько раз входил и выходил из избы, вероятно задавать корму скотине; метель не унималась и продолжала завывать в трубе, нагоняя тоску.

Это неожиданное превращение Важенина из кулака в человека, решившегося «послужить миру», — являлось одним из тех диссонансов, которые в общем житейском омуте как-то идут вразрез решительно со всем и служат почти неразрешимой загадкой. Откуда? как? почему? С одной стороны, подарки Харитинушки, расчеты на темный товар и общую бедность, чистосердеч-

ные сожаления о пропущенном случае принять участие в разорении купца Михряшева, а с другой — желание постоять за мир и принесение в жертву этому желанию туго сколоченного, копейка за копейкой, благосостояния. Все это было непримиримым противоречием, и негде было искать того переходного критического момента, который должен был существовать. Даже прецедент в виде сгнившего в остроге родителя, Семена Евстратыча, по общечеловеческой логике не мог служить особенно побудительной причиной повторить ту же историю вторым изданием, хотя, конечно, знаменитого Ивана Антоныча давно уже не было на свете, и прежняя крепостная темнота сменилась новыми порядками. Вся эта история казалась такой невероятной, что я даже усомнился в искренности намерений Важенина и с этой мыслью уснул в его кулацком гнезде, уснащенном и венской «небелью», и «зеркалом», и разной другой благодатью, наверно купленной по случаю в полцены.

Пластунские заводы представляют интересную страничку в истории Урала. Первый, так называемый Старый завод основан был на р. Пластунье в половине восемнадцатого века, когда на Урале заводы росли, как грибы, десятками. Место под заводы было выбрано чрезвычайно удачно: богатые руды, дремучие леса, несколько горных рек, удобных для запруды, — все условия точно нарочно сгруппировались в интересах вящего развития заводского дела. И действительно, новые заводы пошли бойко в ход и стали приносить своему основателю миллионные дивиденды. Этот первый заводчик, по фамилии Кученков, выбился в большие люди из полной неизвестности и целую жизнь работал за четверых. Впрочем, приблизительно такова история возникновения почти всех уральских горных заводов, за исключением казенных, где были свои порядки. Как все первые уральские заводчики, Кученков обладал самой завидной энергией, хорошо понимал свои интересы и специально заводскую часть и, как все первые уральские заводчики, не церемонился с рабочими, а в случае ослушания расправлялся с ними зверски.

Кученков, в смысле типичности, был замечательный

человек: ходил в полушубке и в валенках, с завода на завод переезжал часто с «обратьними» ямщиками, вообще жил крайне просто и только любил щегольнуть перед начальством. Наследники Кученкова начали с того, что разделились: один взял заводы, другому выделили часть деньгами, третий получал известный дивиденд и не вступался ни в какие дела. Все трое жили или в Петербурге, или за границей, безобразничая напропалую. Внук Кученкова, к которому перешли заводы, получил воспитание в Париже, под влиянием какого-то иезуита, и до конца своей жизни не мог научиться говорить правильно по-русски, хотя жил набобом и уронил заводы окончательно, опутав их неоплатными долгами. Никакое крепостное право и никакие Иваны Антонычи не могли спасти падавших заводов, и они сейчас после воли за казенные долги перешли в опекунское управление, где всем делом верховодила сплоченная кучка горных инженеров. Эти опекуны повели дела чрезвычайно ловко и в видах «усиления заводского действия» разными «хозяйственными способами» увеличили казенный долг вдвое, так что в конце концов Пластунские заводы пошли с молотка и достались какой-то сильной иностранной компании.

Владычество новой компании началось с того, что на смену старых доморощенных управителей и служащих была выслана настоящая армия «немцев» и заведен был в делах чисто немецкий бесконечный порядок. На одном Пластунском заводе было восемьдесят человек служащих, из которых шестьдесят пять были «немцы», а пятнадцать из старых заводских служащих. Конечно, эти немцы разобрали самые лучшие места: главный управляющий Фридрих Баз (Секрет называл его «Бац») получал двадцать пять тысяч годового жалованья, за ним следовал помощник главного управляющего Копачинский, заводской управитель Бадер, заведывающий канцелярией Берх, главный бухгалтер Баль, начальник контроля Банг, заведывающий хозяйственным отделением Барч, главный лесничий Бартельс, инженер по разным поручениям Адельсон, главный врач Абрагамсон, главный кассир Аншельзон и т. д. и т. д. Русские фамилии жались на самых последних

ступеньках этой канцелярской лестницы — писцами, дозорными, запащиками и тому подобной мелкой сошкой, даже не имевшей подчас названия своей должности, — так она была мелка и ничтожна. Заведение такого образцового порядка являлось только одной стороной дела, за которой непосредственно выступала вторая, правда, логически связанная с первой, — это целая система хозяйственных сокращений и урезок в мелочах, в маленьких должностях и особенно на рабочих. Была введена артистически выработанная система вычетов и штрафов, подробные правила, как ходить и дышать, и этот аптекарский способ экономии на первых же порах дал самый блестящий результат.

Рабочие, прижатые всевозможными правилами к стене, скоро поняли, в какую попали западню, и протестом с их стороны послужил так называемый «книжечный бунт». Новая администрация завела расчетные книжки, и вот эти книжки послужили яблоком раздора, потому что какие-то темные личности заказали накрепко не брать этих книжек ни под каким видом: кто возьмет такую книжку — превратится опять в заводского крепостного. Свои начетчики и грамотеи указывали на заводскую печать на книжках, как на «антихристов знак», — одним словом, разыгралась самая печальная история, потребовавшая даже приостановки на некоторое время заводского действия. Все это происходило в таких смешных формах, что призванная к содействию власть не нашла никакой возможности прибегнуть к энергичным мерам, практикуемым в таких случаях. Когда улеглось первое волнение, дело уладилось само собой, и книжки пошли в ход, хотя старухи раскольницы пророчили малодушествовавшим рабочим, по меньшей мере, геенну огненную. Конечно, со стороны этот «книжечный бунт» кажется только смешным, но он имел за себя очень веские основания: кабала явилась, хотя и не со стороны «антихристова знака». Меня особенно удивляла та единодушная ненависть, с какой пластунские обыватели относились к новой немецкой администрации: это было тем более удивительно, что эти же самые обыватели относились почти без ненависти к зверствам какого-нибудь Ивана Антоныча, поровшего

рабочих прямо насмерть. Даже такой независимый человек, как Важенин, и тот чуть не оправдывал зверства вечно улыбавшегося крепостного управителя.

— Помилуйте, тогда кругом темнота была, — объяснял Важенин, встряхивая волосами. — Разве бы Иван Антоныч стал зверствовать, ежели бы не тогдашняя темнота?.. На других-то заводах не лучше нашего было. А все потому, что с управителей спрашивали: подай столько-то дивиденту, хоша расколись. Ну, и драл Иван Антоныч... тоже ему не свою спину подставлять за нашего брата. А нынче совсем другое дело: господам закон и нам закон... да. Им ихнее, а нам наше... Конечно, немцы теперь большую силу забрали, а только старинные люди говорили так: «Клоп клопа ест, последний сам себя съест».

В этой запутанной и перепутанной истории было замечательно особенно то, каким способом, при расстроенных заводских делах, получались сравнительно высокие доходы. Секрет, как все великие открытия, был очень прост: заводская администрация не делала никаких нововведений, не заводила ничего, что пахло большими издержками, и даже на ремонт списывала самые незначительные суммы и благодаря такому хозяйству возвышала доход. Кроме печей Сименса и горячего дутья, не было капитальных усовершенствований, да и эти новинки были устроены только ввиду самой настоятельной и вопиющей нужды в древесном топливе, на котором исключительно работают все уральские заводы. Собственно, эта система практикуется и на других заводах, и было уже несколько примеров полного краха целых заводских округов, но разорившие таким образом заводы главные управляющие получили свои десятки тысяч — «что и требовалось доказать», как говорится в учебниках математики. Роковым вопросом, conditio sine qua non [1] для всех уральских заводов является переход с древесного топлива на каменный уголь, но все заводы тянутся из последнего, чтобы хотя на неделю отсрочить неизбежное решение этого вопроса, потому что такой переход потребует сразу гро-

---

[1] непременным условием *(лат.)*.

мадных затрат на приспособление всех огнедействующих заведений к употреблению каменного угля, а это неизбежно отразится на количестве получаемого дохода с заводов, — какой же управляющий решится не только взять на свою ответственность подобный риск, но даже просто посоветовать владельцу. Это было бы двойным самоубийством: лишить заводовладельцев их доходов и, главное, лишить самих себя министерских окладов. Остается только идти вперед до последнего полена дров, что и практикуется всеми заводчиками в одинаковой мере.

Таким образом, вопрос о лесе является в уральском горнозаводском хозяйстве самым больным местом: заводы увеличивают свою производительность, параллельно идет уменьшение лесных дач, и впереди полный крах. Но упорное нежелание переходить на минеральное топливо имеет еще и другую сторону: все заводчики вопиют о недостатке лесов, и поэтому замедляется надел заводского населения землей, потому что такой надел должен ipso facto[1] уменьшить лесные дачи. Этим путем аграрный вопрос на Урале получил совершенно особенные осложнения и в недалеком будущем должен повести к очень печальным недоразумениям. Трудность размежевания увеличивается еще и тем обстоятельством, что, кроме частных и казенных земель, сотни квадратных верст принадлежат своим владельцам на поссессионном праве, которое само по себе является почти неразрешимой юридической загадкой. Пластунские заводы в этом случае были не лучше и не хуже других поссессионных заводов, хотя и с некоторым специальным «букетом» в виде «сплошного немца», как выражался Секрет.

IV

На другой день утром, когда я пил чай в задней избе, туда вошел Важенин, огляделся, припер дверь поплотнее и присел к моему столу с видом человека, который желает что-то сказать, но не решается.

---

[1] тем самым *(лат.)*.

— Погодка-то как будто успокоилась... — тянул он, заглядывая в окошко. — Вот все я собираюсь как-нибудь нутренные ставешки наладить, железные... Очень даже это способно по нашему делу, а то неровен час — пошаливают у нас на Пластунском: недавно четверых зарезали. Вот этак же во втором этаже: намазали медом лист бумаги, прилепили к стеклу, выдавили и в лучшем виде залезли...

Поговорив о разных пустяках и еще раз оглянувшись кругом, Важенин достал из кармана своего длиннополого сюртука вчетверо сложенный лист и, развернув его, подал мне. Бумага начиналась стереотипной фразой: «Во имя отца и сына и святого духа. Находясь в здравом уме и твердой памяти, я при живности своей» и т. д. Это было форменное духовное завещание, составленное Важениным на имя жены Платониды Васильевны, причем он отказывал ей все движимое и недвижимое, с условием, чтобы она по смерть «воспитывала» старушку свекровь, оказывала ей «всякую покорность и почтение». Завещание было подписано тремя душеприказчиками.

— Все форменно? — шепотом спрашивал Важенин, оглядываясь на двери. — Ежели в случае, например, меня сцапали бы, как родителя... Не отберут от жены-то дом и лавку?

— Да зачем вас сцапают?

— Ну, так, я это к примеру только... Форменно все?

— Нет, не совсем форменно... Это духовное завещание составлено домашним образом и может всегда возбудить спор со стороны родственников, племянников, например, а чтобы окончательно обеспечить себя — вы засвидетельствуйте это же завещание у городского нотариуса.

— И тогда уже форменно будет? То есть ни под каким видом, чтобы племянники... как вон Харитину пустили по миру?

— Да вы напрасно беспокоитесь, Евстрат Семеныч: никакой опасности нет.

— Уж вы, пожалуйста, не говорите такие слова, — шепотом отвечал Важенин, придвигаясь ко мне ближе. — Были уж такие случаи-то... Ей-богу! На —ских

заводах этак же мужичок вздумал хлопотать насчет земли, ну, его сцапали, да и выслали административным порядком тысячи за две верст. Это как? Все под богом ходим... Меня-то высылай, да только жену, да вот мамыньку не тронь. Про себя-то я уж порешил... Будет уж мне... да.

— Чаю не хотите ли?

— Благодарствуйте, я уж напился... По-деревенски рано встаем, да и сну у меня нынче настоящего не стало! Вертишься-вертишься ночь-то.

— Вероятно, нездоровы?

— Нет, ничего, слава богу, не могу пожаловаться, а так... от мыслей. Раздумаешься да раздумаешься...

— Послушайте, Евстрат Семеныч, меня удивляет, как это вы так вдруг... переменились?

Важенин внимательно посмотрел на меня и улыбнулся.

— Да и сам я дивлюсь... — ответил он после короткой паузы. — Так уж, видно, кому что на роду написано. Видите ли, случай тут был... Долго, пожалуй, рассказывать-то.

Для безопасности Важенин припер дверь на крюк, подсел опять к столу и заговорил:

— Помните, тогда встретились в середовине-то у Секрета? Пировал я тогда до неистовства... страсть пировал. Ну, известно — мужик могутный из себя, недели две без просыпу закачиваешь. А охота, это уж другое... Оно одно к одному, пожалуй, шло. Про Боровки-то, чай, слыхали? Мы с Секретом будто на охоту уйдем, а сами в Боровки и закатимся. Есть там четыре братана Мяконьких, а у них есть сестра Ульяна... Только и семейка: здоровенные все, могутные, красавцы, а всех лучше эта самая Ульяна. Мы ведь тоже из Боровков, и я эту самую Ульяну махонькой еще знал, а как выросла высокая, да широкая, румяная, руки у ней, ну, одним словом, богатырь-девка. И на речах при этом очень бойка, да и веселая-развеселая — только слушай... Ну, и западнi эта самая Ульяна мне в башку: думаю об ней день и ночь, и шабаш. По душе пришлась... Ну, уж я около Ульяны и так и этак — ничего не берет. На заводах-то у нас балованный народ, и на-

счет женского полу даже весьма свободно, а тут не дается девка в руки, и меня уж озарки взяли, себя не помню, как другой бык, например. Здоров я был, ну, кровь-то как заходила — смерть... Уж я гонял-гонял Секрета с гостинцами и с подарками — толку все мало: возьмет, поблагодарит, а настоящего дела нет. Все мне хотелось Ульяну в лесу где-нибудь взловить, когда она по ягоды пойдет, — так нет, дошлая, шельма, не идет в лес. Кружили мы таким манером, кружили с Секретом, дело хоть брось. Зима наступила, слышу — сватают Ульяну... После рождества свадьба. Меня это из ума вышибло: будет моя Ульяна... Подослал к ней Секрета выспросить, а Ульяна и говорит ему: «Кланяйся Евстрату Семенычу... люб он мне, да не умел взять девку, а теперь братаны замуж отдают». Запировал я пуще прежнего, а тут и святки на носу... Ну, и укололи мы с Секретом штуку!.. Тоже придумали: напоим, мол, всех четырех братанов и Ульяну выкрадем. Ей-богу... чистое зверье какое-нибудь, такое рассуждение имели. Хорошо. Была у меня лошадка припасена нарочно для этого случая — невеличка из себя, а так бегала, так бегала — стрела, а не лошадь. Ну, этого бегунчика заложили в кошовку, поставили ведро водки и сейчас в Боровки, к Мяконьким... Они по лесоворной части, и я прикинулся, что сруб мне надо поставить. Давай мы пировать в избе у Мяконьких — праздничное дело... А Ульяна тут же в избе вертится и будто сном дела не знает. Ну, удовлетворили мы братанов так, что ухом по земле. Выхожу я в сени, свистнул Секрета, а он мне и говорит: «Ульяшка-то убежала...» — «Куда?» — «Да куда, говорит, ей убежать, здесь где-нибудь в деревне же, не велико место». Отправились мы искать ее и, точно, на вечорке нашли в одной избе, и как была в одном сарафане, так мы ее и заполучили, завязали рот платком да в кошовку: трогай в середовину... Секрет на козлах, а я снял с себя шубу и в шубу завернул Ульяну, чтобы не замерзла. Сначала сильно билась, а потом присмирела и сидит вроде как деревянная. Ну, а там, в Боровках-то, все на ноги, сказали братанам, те кое-как прочухались и сейчас на лошадей: два брата по дороге в Пластунский завод погнали, а двое

в середовину к Секрету. Место тоже не близкое, едем мы и слышим, что за нами погоня, а у Мяконьких кони первые по деревне — потому по лесоворной части это первое дело. Тут уж и моя Ульяна всполыхнулась: «Ох, убьют тебя братаны... дай, я лучше убегу в лес, тогда им нечего с вас взять». — «Куда ты, говорю, дура, в лес пойдешь, когда везде снег по пояс... Оборонимся, говорю, да и середовина недалеко...» Совестно тоже загородиться девкой-то: наша вина — наш и ответ. А погоня все ближе... Видим, наша лошадка из сил выступает, тоже трое нас, чертей, — добрый воз. Не доехали мы до середовины будет — не будет с версту, как братаны Мяконькие налетели на нас... Ну, повернули мы лошадь поперек дороги, у меня с собой оборонка была маленькая: леварверт-кулачок, шестицволый, значит — и пошла свалка. Нагнали нас двое братанов: большак Мишка и середняк Прошка и приняли нас в стяги... Выпалил я разика два, а потом как царапнули меня стягом по плечу — и кулачок вылетел... Ну и били они нас — страсть!.. Сначала все стягами, а потом по дороге за волосы да топтать... Здоровенный народ, чисто два медведя из берлоги вырвались. Помню только, как перво меня полыхнули стягом по правому плечу, а потом по крыльцам. Так замертво нас бросили в кошовку, понужнули лошадь, ну, она нас и предоставила прямо к Секретовой сторожке, — потому дело знакомое. Ну, очнулся я у Секрета в избушке и не думал, что жив останусь: ни рукой, ни ногой, ни шеей повернуть, а рожа, как чугунный котел. И Секрет тоже в лучшем виде... Одним словом сказать, братаны Мяконькие чистенько свое дело сделали...

Важенин перевел дух, встряхнул волосами и даже засмеялся, вероятно от удовольствия, что братаны Мяконькие очень уж «чистенько» поучили его с Секретом.

— Ну, привезла меня Власьевна прямо к жене: «на, получай, любезного супруга», и, натурально, все дело ей начистоту выложила... Мамынька ревет, жена ревет, а я лежу и пальцем пошевелить не могу. Позвали этого доктора, Абрагамсона, поглядел-поглядел он на меня и только головой покачал: «Ловко, говорит, устряпали... это, говорит, не человек, а котлетка». Ей-богу, так и

сказал... Не стал и лечить, все равно, говорит, помрет; ну, так мамынька догадалась, сгоняла за одной старухой и предоставила ей пользовать меня... Уж и принял я только муки от этой старухи: в баню да в баню, да травами меня натирать, да мазями мазать, да пластырями облепила, да поит какой-то такой дрянью, что с души воротит. Ну, известно, дело смиренное мое было: что хотят, то и делают — ихняя воля вполне, потому как я ни рукой, ни ногой, все равно. И ведь отлежался... три месяца вылежал, а все-таки стал на ноги. Ну, шея с год не ворочалась, а потом ничего, отлежался, только вот к ненастью каждая косточка ломит да ноет. Нарошно после сходил к этому самому Абрагамсону и отрекомендовался в полной форме, так он только ахнул: «Ну, говорит, вы, подлецы, из котельного железа, надо полагать, сделаны... Поглядел бы, говорит, ты на себя-то, в каком ты, например, образе был: весь под один пузырь и при этом чернее опойка... Кто это тебя так уважил?» — «Есть, говорю, ваше благородие, добрых-то людей...»

Важенин опять засмеялся и прибавил:

— Секрет скорее мого выправился и все водкой: и снаружи водкой мазался и внутрь принимал... Ему все-таки меньше моего досталось, потому он только так, под руку подвернулся. Потом меня проведовать приходил, пес, да моя жена его в три шеи... известно, женская часть, тоже обидно...

— Ну-с, так вот, например, когда я лежал, все мне проволоки представлялись, — продолжал Важенин после небольшой передышки. — И не то чтобы настоящие проволоки, а вроде как мысли у меня в голове проволоками тянулись... Ей-богу! Лежу я в собственном доме, на своей кровати, ходит за мной моя собственная жена, и я слышу, как она вздыхает... Должон был я восчувствовать себя подлецом али нет? Даже очень восчувствовал: не только подлец, но и душегуб... Еще господь сохранил, а то бы прощай, Ульяна. Вот до чего дошло!.. И стал я думать, стал думать... Как-то этак забылся немножко, открыл глаз, а она стоит передо мной...

— Ульяна?

— Нет, Харитина Петровна... значит, жена Ивана-то Антоныча, у них я в казачках состоял. И с чего приснилось, подумаешь! Гляжу, а за ней покойный мой родитель, Семен Евстратыч, стоит... Вот как сейчас я их вижу! Она-то такая молоденькая да жиденькая, какой замуж вышла, смотрит это на меня таково́ жалостливо и головкой качает, а родитель глядит куда-то вбок, потому совестно ему за меня, так надо полагать. Постояли и ушли — только и всего... Ну, тут-то я и понял, зачем ко мне родитель-то приходил. Кровь это сказалась, надо выкупать родительскую-то кровь. Все мне так ясно сделалось вдруг... Как я жил-то до этого случая? Какие у меня мысли были в голове? Обмануть, да пировать, да за девками гоняться, да из-за этих же девок чуть смертного часа не получил. Ведь это что же такое, если разобрать: родитель-то живот свой положил за правду, а я душегубством занялся. Наколотил всяким обманом копейку, ел сладко, пил, спал вволю, ну, накопил дикого-то мяса и давай дурить... Еще как выжимал, бывало, каждый грош из тех, кто победнее, потому придет такой бедный человек в лавку — он весь твой. То удивительно, что мне приятно было содрать с него этот вот самый распоследний грош, чтобы он, например, чувствовал, каков я человек есть. Тепло, светло, сытно — сидишь себе в горнице да радуешься, на дворе стужа, клящий мороз, а тебе еще приятнее, — потому, как в это время беднота колеет да зябнет. Жену постоянно обманывал, да еще Ульяну чуть не загубил из-за своего дикого-то мяса... И все-то было мне мало, все завидовал, как другие богатые купцы живут. Ей-богу, совестно даже рассказывать... От этой самой подлости и пировал. Ну, а как пришел я в себя, сейчас же себе зарок крепко-накрепко дал: первое, чтобы вина ни капли, а второе, что ежели господь подымет на ноги — беспременно родительскую кровь выкупать и охлопотать мужичкам землю. Отцы-то наши какую муку принимали за старую веру. Прибежали сюда, место было совсем дикое, зверовое — опять ихними же трудами все устроилось. А мы как живем? То-то вот и есть... Конечно, оно жалко, когда подумаешь, что надо вот все это бросать...

жена ревет, ну, да как-нибудь. Вот меня только эта самая духовная весьма беспокоила, а теперь к нотариусу, и шабаш.

Мы расстались друзьями. Важенин вышел проводить меня на улицу и долго стоял за воротами без шапки, заслонив глаза рукой. Мне сделалось очень грустно, когда я припомнил слова Важенина: «Одно плохо: грамота-то наша больно дубовая, надо, значит, к адвокату обратиться, например, а уж эти адвокаты... Ах, кабы не темнота-то наша, кажется... ну, да что об этом толковать!..» Моя почтовая пара тащилась по узким кривым улицам, уставленным старинными дворами, каких уж нынче не строят: высокие коньки, свесы под окнами и на воротах с узорчатой прорезью, шатровые крыльца — все это было поставлено крепко и плотно, как нынче не ставят изб. В центре завода разлегся довольно большой пруд; на одном берегу стояла каменная церковь, у плотины в березовой роще потонул старинный господский дом. Он был выстроен в один этаж, как строились старинные помещичьи дома; маленькие окна вот уже пятьдесят лет как добродушнейшим образом смотрят кругом, как умеют смотреть очень хорошие старички, а между тем сколько драм разыгралось за этими окнами, когда царил Иван Антоныч... Сколько народа было перепорото насмерть, а Иван Антоныч любовался из окошечка на экзекуцию и приговаривал: «ангел мой», «миленький», «голубчик». Тут же и томилась, и чахла, и обманывала Ивана Антоныча «душенька» Харитинушка, вероятно, скоро выучившаяся печь «пирожки с осетринкой», и тут же стоял казачок Евстратушка в дареной шелковой рубахе.

Теперь в старом господском доме, полном еще крепостными слезами и напастями, поселился «сплошной немец», сразу напустивший сухоту на тридцатитысячное население всех пластунских заводов, и «быша последняя горше первых». Вон на горке строят новые дома — это тоже для представителей высшей заводской администрации, которая быстро доведет заводы до полного краха и пустит население по миру, но — прежде чем доведет до этого — будет вытягивать правительственные субсидии, будет хлопотать о повышении пошлин на

привозимые из-за границы дешевые металлы, будет донимать рабочих штрафами и т. д. Очень и очень невеселая картина.

— А знаете, сколько мы нынче взяли за кабаки-то? — говорил Важенин, уже стоя за воротами. — Двенадцать тысяч целковеньких... Давно бы нечем было платить подати, ежели бы, спасибо, кабаки не выручили: ими, можно сказать, только и держимся.

V

Важенин действительно начал дело о неправильном завладении Пластунскими заводами землей, принадлежащей деревне Боровки, постоянно приезжал в город, ходил по адвокатам, собирал какие-то справки, ездил в губернский город Мохов за какими-то таинственными документами, писал какие-то «копии, с копии копии» и опять исчезал. Заходил он ко мне раза два «перевести дух», как говорил, садился в уголок и, оглядываясь, подавленным шепотом рассказывал свое хождение по мукам и мытарствам.

— Адвоката, слава богу, приспособил... — говорил он с счастливой улыбкой. — Ваше, говорит, дело правое, только сперва пожалуйте на пошлины и гербовую бумагу, вообче предварительные расходы. Очень обходительный человек и притом: пасть... По фамилии: Человеколюбцев.

— Кто вам его рекомендовал?

— Да уж я об них обо всех стороной наводил справки и вызнал вполне...

К особенностям Важенина принадлежала чисто мужицкая черта: величайшее недоверие к господам, даже совсем не заинтересованным в деле, как я, например. Он везде стал видеть подвох и обходил все рекомендации и советы, как очень опасные подводные камни: ему нужно было вызнать непременно самому, притом через каких-то темных «своих» людей, которым он доверял.

Пластунская заводская администрация с своей стороны тоже зашевелилась: и Баз, и Берх, и Барч, и

Адельсон, — все приняли участие в завязавшейся борьбе, как гудит шмелиное гнездо, когда в него ткнут палкой. Прежде всего, конечно, «сплошной немец» тоже поехал наводить справки, писать копии, собирать документы и, пользуясь удобным случаем, увеличил свою канцелярскую лестницу еще одной ступенькой, заграфленной под названием «Юрисконсульт Пластунских заводов», и на эту лесенку сейчас же влез присяжный поверенный N-ского окружного суда Бартельсон, который сделался таким образом естественным противником Человеколюбцева, тоже состоявшего при N-ском окружном суде в качестве присяжного поверенного. Словом, каша заварилась.

— А мы все-таки покажем им, как лягушки скачут... — говорил Человеколюбцев, человек очень строптивого и неуживчивого характера.

Человеколюбцев действительно повел дело самым энергичным образом, для первого раза совсем растворился во всех этих указах, данных, купчих крепостях, справках, протоколах, сенатских решениях, окладных листах, специальных планах и т. п., так что поддерживал свои слабевшие силы только тем, что в течение суток выкуривал полфунта табаку. Он несколько раз ездил в Боровки и производил осмотр самого места, из-за которого вышло все дело, а также вызвал официальный осмотр его от лица гражданского отделения N-ского суда. Но пластунская администрация тоже не дремала и даже хотела предупредить Человеколюбцева по части науки о скачущих лягушках, — она послала через урядника в надлежащее место довольно безграмотный донос на Человеколюбцева, который в качестве «странствующего неблагонамеренного адвоката» обвинялся в том, что он, Человеколюбцев, из-за корыстных видов возбуждает тлетворное волнение доверчивых умов, за что и заслуживает немедленного удаления в соответствующие прохладные палестины. «Надлежащее место» навело справки, но Человеколюбцев оказался не только сыном отечества, а даже великим патриотом: в N-ске не было лавки и магазина, где он не был бы должен, затем выяснилось, что решительно все — даже гораздо больше, чем все, что он

получал от своих клиентов, — он немедленно провинчивал, и, наконец, что у него в разных судах накопилось двенадцать дел о незаконном присвоении чужого имущества и подлоге в разных формах. Один остроумный чиновник особых поручений где-то сострил, что даже душа у Человеколюбцева взята где-то в долг и давно просрочена. Невинность Человеколюбцева была очевидна, и дело пошло своим порядком.

— Вот возьми-ка его, Аристарха-то Аристархыча, — торжествовал Важенин, оказавшийся очень проницательным человеком. — Уж это такой человек, такой человек, что его ни с какого боку не уколупнешь: весь в щетине...

Бартельсон был несколько иного мнения о Человеколюбцеве и терпеливо ждал судьбища. N-ское общество приняло самое живое участие в этом деле, сейчас же разделилось на партии и в день суда наполнило собой почти всю залу гражданского отделения N-ского окружного суда, которая в обыкновенное время стоит совсем пустая или «черная» публика заходит в нее только погреться.

Мы не будем утомлять читателя подробностями всего происходившего в суде. Скажем только, что левую половину скамеек для публики занимали Баз, Берх, Барч, Адельсон и их сторонники, а правую — Важенин, четыре братана Мяконьких, знакомый уж нам Секрет и еще несколько любопытных, явившихся сюда из того любопытства, которое некоторых людей неудержимо тянет на пожары и вообще к каждому месту, где собралась какая-нибудь публика. Бартельсон и Человеколюбцев стояли пред судом и усиленно строчили на своих пюпитрах с задумчивым видом людей, решившихся пожертвовать собой для общего блага. Пока шло чтение доклада, продолжавшееся битых часов шесть, я рассматривал Важенина и братанов Мяконьких, которые представляли собой в высшей степени типичную группу.

Глядя на братанов Мяконьких, я долго старался припомнить, где я раньше видал этих богатырей, настоящих людей «от пня», как выражался Важенин, — но память «захлестнуло», и конец. А между тем эти

страшные руки, крепкие, как столбы, затылки, эти совершенно невероятные спины и могучие груди так были знакомы, точно вот я их видел где-то на днях. Каково было мое удивление, когда я, наконец, припомнил все: да ведь эти братаны точь-в-точь как те библейские братья, которые нарисованы во всех священных историях для детей — убийство Каином Авеля, сцена, как продает Исав за чечевичную похлебку свое первородство Иакову, продажа Иосифа братьями измаильтянам... Положительно это они: такие же библейские руки, спины, затылки, ноги. У меня стояли в ушах слова благословения, которое дал престарелый Иаков библейским сыновьям: «Ты, Рувим, первенец мой — ты крепость моя и начаток силы моей... Иуда, рука твоя на хребте врагов твоих...» Нужно было видеть, как теперь эти «рослые теревинфы» напрягали все свои силы, чтобы понять все происходившее у них перед глазами, — они делались жалки в своей физической силе, которая была придавлена их темнотой, как тяжелым камнем. Вот большак Михалко в сотый раз вытирает капающий с лица пот, точно на нем целый воз привезли; середняк Мяконькой сдвинул брови, наморщил лоб, уперся глазами в «суд», да так и застыл в одной позе; меньшаки потели, вздыхали и всё смотрели на спину Человеколюбцева, который во фраке, в белом галстуке и в золотом пенсне был положительно великолепен. Важенин сидел впереди у самого барьера и ужасно походил на тех великопостных причастников, которые с благочестивым спокойствием ждут своей очереди; для него никого и ничего не существовало, кроме того, что было перед барьером. Меня поразило именно это спокойствие, которым дышало не одно лицо, а вся фигура Важенина, — не было больше ни прежнего недоверия, ни скрытного искательства, ни страха, потому что он один знал здесь, зачем он пришел сюда и что он прав. Именно, прав, и это сознание делало его неизмеримо выше торжествовавших заранее противников: он переживал великий психический момент, когда человек делается рабом известной идеи и больше не знает сомнений.

Сидевший рядом с Важениным Секрет был под хмельком и больше зевал по сторонам, время от времени закручивая свои тараканьи усы чрезвычайно молодцеватым жестом. Он часто оглядывался к братанам Мяконьким, глупо подмигивал и делал какие-то необыкновенно таинственные знаки посредством пальцев. В суде Секрет был как у себя дома, потому что чувствовал непреодолимое тяготение ко всяким господам, — это был пропащий человек, счастливый собственным ничтожеством. Глядя на братанов Мяконьких, на Важенина и Секрета, я никак не мог представить себе ту дикую сцену, которая разыгралась около «середовины», когда Мяконькие «произвели» Важенина и Секрета «под один пузырь»; дальше выступали еще более дикие несообразности: «прилежание» Харитинушки, темный товар, вылущивание грошей и копеек из пластунских мастерков, облава на могутную девку Ульяну... Действительно, нужно всю силу «родительской крови», чтобы довести Важенина до того, чем он был в настоящий момент.

После докладчика говорили сначала Человеколюбцев, потом Бартельсон, затем опять Человеколюбцев и опять Бартельсон. Нового они ничего не сказали и, кажется, больше всего заботились о том, чтобы показать противнику, «как лягушки скачут». Человеколюбцев в интересах своих доверителей ссылался на jus primae occupationis [1] и земскую давность; Бартельсон доказывал, что заводское дело имеет величайшее государственное значение в наш «железный век», перечислял бесконечные права заводовладельцев, выяснял юридическое значение права на «недра земли», значение поссессионного права и в конце концов сказал, что если суд признает требования боровковского общества правильными, то тем самым подаст сигнал к бесконечным аграрным беспорядкам. Все это судоговорение закончилось тем, что суд признал требования боровковского общества правильными, хотя и с некоторыми оговорками. Оказалось, что Бартельсон и остальные «немцы» еще ранее предвидели такое решение суда, но зато

---

[1] право первого захвата *(лат.)*.

надеются на бо́льшую справедливость следующей судебной инстанции; Важенин ничего не сказал, а только положил на свою широкую грудь широкий мужицкий крест.

— Теперь надо будет пластунские народы вызволять... — говорил он задумчиво, выходя из залы суда.

На другой день рано утром забежал ко мне Секрет; он иногда заходил поздравить с праздником или попросить на похмелье, но на этот раз лицо у него просто сияло.

— Ты уж здоров ли? — спросил я.

— Слава богу, как следовает быть: в полном составе, — ответил он молодцевато. — А ведь я, вашескородие, того, середовину-то, того, сфукал.

— Как так?

— А уж так... На, не доставайся же она Бацу — и шабаш. В лучшем виде... Железная дорога пройдет через середовину-то, а я буду сторожем. Верно... Наехало теперь господ страсть: землю меряют, столбы ставят, планты делают, орудуют вполне... Все-таки выходит, что я отстоял ее, середовину-то: никому не доставайся! И только господа наехали... ах, какие господа!.. Набольший-то у них и говорит мне: «Ты прикармливай волков...» Ну, натурально, насчет охоты. Как приду, он сейчас двугривенный: «На двугривенный, купи бараньих голов волкам...» Куплю я бараньих голов, брошу их в лесу, а потом опять к барину: «Съели, барин!» — «Ну, еще купи... вот тебе двугривенный». Ну, так-ту мы бились с ним цельный месяц: он мне деньги, я — бараньи головы волоку, а волки едят... Уж такие господа, такие господа прахтикованные! И жалованье обещают... Буду себе с зеленым флачком на рельсах постаивать, — вот оно какое дело-то подошло, вашескородие!..

— Что же, стреляли волков-то?

— Какое стреляли: мы им бараньи головы валим, а они лопают — только и всего...

ИЗ УРАЛЬСКОЙ СТАРИНЫ

Рассказ [1]

I

Ободранная комната, почти без мебели, была залита ярким солнечным светом, который бродил колебавшимися золотыми пятнами по закопченному потолку, по крашенным зеленым купоросом стенам, по заплеванному полу; в раскрытое окно гляделась своей мягкой зеленью липа, где-то слабо посвистывала крошечная серая птичка, с улицы так и тянуло июльским зноем, какой бывает только на Урале. Комната выходила двумя окнами на широкий мощеный двор громадного господского дома, а одним в сад; у одной стены на полу валялась овчинная шуба, заменявшая постель, между окнами стоял некрашеный деревянный стол, около него два топорной работы стула, на стене висело плохое тульское ружье, рядом какая-то мудреная черкесская амуниция, — и только. Пахло водкой, луком и еще чем-то таким, чем пахнет только в кабаках.

У стола, с гитарой в руках, согнувшись, сидел смуглый, черноволосый, чахоточный человек неопределенных лет; он был в грязной ситцевой рубашке и заношенных плисовых шароварах, заправленных в сапоги.

[1] Действие нашего рассказа относится к жизни Зауралья лет пятьдесят назад. *Автор.*

Время от времени жилистая и костлявая рука машинально брала несколько аккордов на гитаре, но сам игрок оставался в том же положении: смуглое лицо было неподвижно, темные большие глаза смотрели на одну точку. Он точно застыл в одной позе и не смел шевельнуться.

— Плохо, Яша, — проговорил он, наконец, и машинально потянулся рукой к пустой бутылке из-под водки, которая стояла на столе рядом с недопитой рюмкой. — Ежели теперь...

По смуглому лицу со впалыми щеками мелькнула тень, густые брови нахмурились, даже на тонкой шее напружились толстые синие жилы; все внимание Яши сосредоточилось на гитарном грифе. Через несколько минут на лбу выступили капли холодного пота, а губы сложились в кривую, неприятную улыбку: Яша увидел *его*... Да, это был *он,* старый знакомый, маленький, черненький, с собачьей мордочкой и утиными лапками вместо ног. Он оскалил свои мелкие зубы, оседлал гриф и показал Яше длинный красный язык.

— Ага, так ты вот как... — прохрипел Яша и сделал рукой такое движение, как будто хотел поймать муху, но проворный чертик увернулся от него с большой ловкостью и выглядывал уже из отверстия гитары. — Нет, постой, брат, теперь не уйдешь от меня... попался, голубчик!..

Яша судорожно закрыл обеими ладонями круглое отверстие гитары, но чертик, как акробат, пробежал по одной струне до колков, выдернул один из них и нырнул в дырочку, только мелькнули в воздухе тонкие, как проволока, ножки, длинный мышиный хвост; но через минуту чертик показал свою морду из отверстия, где был колок, и проворно намотал струну себе на шею, — как есть колок... У Яши мороз пошел по коже со страху, но он в отчаянии схватил рукой за ноги чертика и давай их закручивать; струна быстро навилась вокруг чертовой шеи, и собачья голова налилась кровью, длинный красный язык повис, и черные глазки совсем выкатились из орбит.

— Ага... вот когда ты мне попался, подлец! — кричал Яша, продолжая закручивать чертика.

Но в тот самый момент, когда черт уже совсем задыхался, струна вдруг лопнула, черт вырвался, кувыркнулся в воздухе и шлепнулся прямо на пол, где, как капля ртути, расшибся на тысячи мелких крупинок, и каждая крупинка оказалась новым чертиком. Маленькие, безобразные, некоторые еще с розовыми лапками, как у мышенят, чертики забегали по полу, как вытряхнутые из мешка тараканы, и Яша бросился их топтать обеими ногами, причем выделывал чудеса акробатической ловкости.

— Вот я вас, подлецов! — орал Яша, бегая по комнате с гитарой в руках. — Мучить меня... душу тянуть... ха-ха!..

В самый разгар этой сумасшедшей сцены двери комнаты растворились и в них показалась стройная женская фигура. Это была девушка лет девятнадцати, белокурая, голубоглазая, с тонким носом и полным овалом лица; она была в одной крахмальной юбке, а плечи были закутаны пестрой, заношенной турецкой шалью. Сначала она смотрела на прыжки Яши с улыбкой, но потом лицо подернулось легкой тенью; что-то такое грустное и печальное засветилось в больших глазах, а губы сложились в горькую улыбку.

— Яша, ты что это? — тихонько окликнула она бесновавшегося. — Перестань, голубчик... никого тут нет, никаких чертиков.

— А это... а это?.. — метался Яша по комнате, гоняясь за призраками своего расстроенного беспросыпным пьянством мозга. — Вон их сколько, подлецов, насыпано на полу... везде!

Девушка спокойно взяла пьяницу за худые плечи и, как ребенка, посадила на стул к столу; нервное напряжение Яши сменилось вдруг страшной слабостью: он весь как-то распустился и даже закрыл глаза. Только высоко поднималась и падала чахоточная грудь да все тело вздрагивало тяжелой судорогой; лицо было облито пòтом, редкие темные волосы прилипли на лбу и на висках тонкими прядями.

— Яша, очнись... Что ты, голубчик? — тихо говорила девушка, напрасно отыскивая глазами воду.

Она торопливо вышла и вернулась через несколько

минут с большим графином холодной воды, которую и начала лить Яше прямо на голову; тот вздрагивал, отмахивался руками, причитал что-то своим хриплым тенором и только чувствовал, точно с него сдирают кожу. Это была ужасная минута, слишком хорошо известная всем записным пьяницам.

— Ну, теперь лучше? — спокойно спрашивала девушка, кончив свою жестокую операцию.

Яша с трудом открыл мутные глаза, посмотрел прямо в голубые глаза девушки и засмеялся.

— Узнал? — спросила она.

— Чертики... вон... вон!.. — закричал Яша, вскакивая с места и тыкая пальцем прямо в глаз девушке; в них опять прыгали знакомые черные фигурки, переплетались, как черви, и высовывали красные языки.

— Дурак! — обругала девушка сумасшедшего, а потом достала из кармана пузырек с нашатырным спиртом, отсчитала в рюмку несколько капель, налила воды и подала неподвижно сидевшему Яше. — На, выпей...

— Водка?

— Да, водка...

Яша дрожащей рукой схватился за рюмку и опрокинул ее в рот; он даже не почувствовал, что такое выпил, а только тяжело вздохнул. Девушка подняла валявшуюся на полу гитару, настроила оборванную струну и села с гитарой на раскрытое в сад окно. Взяв несколько аккордов, она заиграла какую-то заунывную немецкую песню, ловко и отчетливо перебирая струны своими тонкими белыми пальцами. Потом немецкая песня перешла в разудалую цыганскую «Настасью»; девушка, отбросив белокурые волосы, падавшие на лоб, вполголоса запела:

Ты, Настасья,
Ты, Настасья,
Отворяй-ка ворота...

Звуки музыки и пение заставили Яшу открыть глаза и поднять голову; он пришел в себя и долго смотрел то на свою комнату, то на сидевшую на окне девушку.

— Мантилья Карловна, это вы-с? — как-то нерешительно и конфузливо заговорил он, ощупывая свою мокрую голову.

— Я, Яша, а ты тут чего колобродишь? И не совестно тебе?.. а? Посмотри, какой у тебя голос...

— Голубушка, Мантилья Карловна, больше не буду, — зашептал Яша и бросился в ноги девушке. — Простите вы меня, дурака!

Он припал мокрой головой к ее юбкам и опять зашептал что-то такое совсем бессвязное.

— Я к тебе за делом пришла... ах, отойди, пожалуйста! — брезгливо проговорила Матильда Карловна, подбирая юбки под себя. — Грязный весь...

— Ручку... ручку пожалуйте, а то не уйду! — повторял Яша с упрямством протрезвляющегося человека.

— Хорошо, на...

Яша припал к протянутой белой руке и долго целовал все пальчики по порядку, эти удивительно красивые пальцы с розовыми ногтями и просвечивавшей, точно атласной кожей.

— Да как вы сюда-то попали?.. а? — удивлялся Яша, не выпуская маленькой теплой ручки.

— Дело есть, Яша... Гуляла по саду и зашла проведать тебя. Ах, да, а где Ремянников? — спросила она серьезным тоном и, прищурив глаза, пытливо посмотрела прямо в глаза Яше, который все еще стоял перед ней на коленях.

— Где Федька? Да он все время здесь был... мы вместе пили, а потом уж я не помню...

— Врешь, подлец! — крикнула Матильда, и ее лицо покрылось розовыми пятнами. — Ты меня обманываешь...

— Ей-богу, вот сейчас провалиться, не вру... вместе пили, а потом все *он* ко мне приставал.

— Кто *он*?

— Известно кто: черненький этот...

— Да ты не заговаривай зубов-то, Яшка! — вспылила девушка и топнула ногой. — Не хочешь говорить правды, так я тебе сама скажу, где теперь Ремянников: он в Ключиках...

— У попа Андрона?

— Да, у попа Андрона...

— Что же? Может быть, и там... Да, действительно там... Вспомнил. Он еще третьего дня собирался туда...

Девушка все время смотрела на Яшу пристальным взглядом и с величайшим трудом сдерживала кипевшее в ее груди негодование: она с таким удовольствием впилась бы своими белыми пальцами вот в эту самую пьяную рожу, если бы она не была ей нужна, нужна сейчас же... Но Матильда пересилила себя и постаралась улыбнуться своей ласковой, чудной улыбкой, как умела смеяться в этом доме только она одна.

— Вот что, Яша, я тебя, знаешь, всегда любила, — заговорила девушка с деланой ласковостью. — И ты должен исполнить для меня одно маленькое поручение... Исполнишь?

— А водки дашь? — грубо спросил Яша, прищуривая свои черные глаза.

— И водки дам и денег... сделаешь?

— Все сделаю, Мантилья Карловна.

— Отлично... Только водки я тебе дам потом, а теперь всего одну рюмочку.

Яша тяжело вздохнул и вперед согласился на все, только одну бы рюмочку... У него голова была тяжелее пудовой гири. Матильда сходила за водкой и подала Яше рюмочку из собственных рук; в водку опять было примешано несколько капель нашатырного спирта, но Яша ничего не заметил, а только поморщился.

— Мы до вечера пробудем здесь, а вечером отправимся, — говорила Матильда, опять усаживаясь с гитарой на окно.

— Куда?

— Уж это мое дело.

— А Евграф Павлыч?.. Надо спроситься.

Матильда посмотрела на Яшу улыбающимся взглядом и только засмеялась...

— В самом деле, как же с Евграфом Павлычем? — допрашивал Яша, напрасно стараясь сохранить равновесие. — Ведь он, ежели узнает, живого не оставит... А вдруг спросит?

— Этакой ты дурак, Яшка; уж если я сказала, что не спросит, — значит, не спросит... Понял?

— Ага... Узелок будет развязывать? Ха-ха...

— Чему ты смеешься, дурак?

— Да так... Это Матрешкина очередь подошла?.. А славная была девка... ну, да девичье дело: всем один конец!

II

Скоро громадный тенистый сад при кургатском господском доме огласился целым рядом самых отчаянных цыганских песен, которые распевала Матильда Карловна под треньканье Яшиной гитары. Яша теперь сидел с гитарой на окне и выделывал разные музыкальные коленца с цыганскими ухватками: брал аккорды с перебоем и с дробью, сбрывал мотив, щелкал по гитаре пальцами, притопывал в такт ногами и время от времени, когда Матильда Карловна отвертывалась, быстро ловил чертика, который опять начал выглядывать из-за гитарного грифа: нет-нет да и покажет то язык, то хвост, то свою поганую лапу.

— Ну, каково я сегодня пою, Яша? — спрашивала Матильда Карловна, с тяжелым вздохом опускаясь на стул. — Походит на цыганское?

— Похоже-с, но еще не совсем-с... дрожи настоящей нету и раскату. Вот «Сени» взять... Сначала тихо идет, а потом и начнет забирать, и начнет забирать... вот этак.

Яша вскочил с своего места и принялся показывать, как следует выделывать настоящую цыганскую дрожь: распустил руки, закинул немного голову набок, как пристяжная лошадь, и расслабленно перебирал ногами, отбивая носками и пятками. Матильда Карловна, сбросив шаль, в одной юбке и спускавшейся с плеч рубашке принялась выделывать за Яшей все коленца, поводила белыми руками, закидывала назад голову и вздрагивала голыми плечами.

— Вот этим плечиком надо чуть-чуть вперед, — учил Яша, великий артист своего дела, — а потом руки

совсем распустить... вот так. И чтобы лопатки сходились на спине, когда идет первый размах.

Учитель без всякой церемонии хватал Матильду Карловну за голые руки и плечи, выправлял ей лопатки, ставил ноги как следует и совсем не замечал соблазнительной наготы цветущего женского тела, едва прикрытого сползавшей с плеч расшитой тонкой рубашкой.

— Ну, теперь шаль через плечо и начинай, — командовал Яша, схватывая гитару. — Сначала тихо руками разводить, а уж потом, как я гряну: «выходила молода»... ну, тогда одними носками взять, вытянуться и сейчас плечиком вперед, а шаль распустить.

Яша заиграл «Сени» с цыганским растягиванием второго куплета, а Матильда Карловна пошла на него из противоположного конца комнаты, опустив глаза. Треньканье гитары, хриплый голос подпевавшего Яши, дикие вскрикиванья Матильды Карловны, когда она в самых бешеных местах песни взмахивала руками и откидывалась назад, — все это перемешалось в невыразимый гвалт и неслось по саду дикой, невозможной нотой.

— Наша-то ведьма расходилась, — шептала дворня кургатского господского дома. — Барин почивают, никто дохнуть не смеет в доме, а эта ведьма вон какой содом подняла... Ишь, как ее ущемило, окаянную!

Но пение и пляска скоро кончились, и Матильда Карловна, накинув на голову турецкую шаль, усталой, ленивой походкой отправилась через сад в свой флигель, где под ее надзором процветала господская девичья. Чтобы Яша не напился до вечера, Матильда Карловна послала к нему сторожем старика садовника, который нередко исполнял эту обязанность.

В Кургатском заводе был отличный вековой сад, оставшийся от прежних дремучих лесов Южного Урала: сосны, березы, липы росли в самом художественном беспорядке; аллеи заменялись узкими тропинками и лужайками, где топорщились кусты черемухи и рябины. Лесные просветы чередовались с настоящей зеленой гущей, вересковыми зарослями и лесной чащей. Сад тянулся на целых полверсты по берегу пруда; снаружи

его охранял высокий и крепкий забор, усаженный гвоздями. От флигелька, где проживал Яша с Ремянниковым, Матильда Карловна по извилистой лесной тропочке направилась прямо к своей девичьей, в глубину сада; на первых же шагах ее охватила лесная прохлада, напоенная ароматом травы, и девушка только теперь вздохнула всей грудью. А кругом было так хорошо: над головой шумели вершины высоких сосен, пахло свежей смолой, где-то беззаботно и весело переговаривались две птички, рассеянный солнечный свет падал сверху широкими полосами переливавшейся золотой пыли. Усыпанная хвоей дорожка из бора вывела в густой липняк, где пряталась новая тесовая крыша с узорчатой, раскрашенной вышкой; это и была девичья, выстроенная настоящим русским теремом, с широкими сенями, крытыми переходами, маленькими, теплыми комнатами, кафельными печами и резными узенькими окошечками с узорчатым железным переплетом. На вышке была голубятня. Вообще теремок выглядел таким чудным, мирным гнездышком, о каких рассказывают только в сказках.

Но как было теперь тяжело Матильде Карловне возвращаться в свои владения! Точно она шла в тюрьму. Она думала о том, как она вечером поедет с Яшей в Ключики, и это была единственная мысль, которая владела ею с самого утра.

— Уж скорее бы вечер, — проговорила девушка, поглядев из-под руки на высокое солнце.

Она задумчиво подошла к самому терему и машинально дернула за шелковый шнурок от звонка; калитка распахнулась сама собой, открыв лестницу на крыльцо с крашеными пузатыми колонками и деревянной широкой резьбой на карнизах.

Навстречу показалась темная, сгорбленная фигура старой девки Анфисы, которая была помощницей и правой рукой Матильды Карловны по довольно сложному управлению господской девичьей.

— Ну? — коротко спросила Матильда Карловна, останавливаясь в сенях.

— Ничего-с, — тонким голоском ответила горбунья, показывая свои белые зубы. — Только уж

не послать ли Дашу вместо Матреши... очень уж убивается.

— Вот еще глупости!.. Кажется, я сказала, что очередь Матрешки... так и будет.

Матильда Карловна обошла ряд низеньких уютных комнат, походивших обстановкой на кельи, и внимательно осмотрела работы своих воспитанниц; перед ней почтительно вставали красивые девушки в сарафанах и показывали разное девичье рукоделье. Всех девушек было двенадцать, и они занимали комнаты по двое; чистота была кругом настоящая монастырская и только не пахло ладаном.

Последней комнатой в этом осмотре была та, где вместе жили Матреша и Даша, русоволосые, румяные девушки, бывшие «на очереди», как говорили в девичьей. Матреша была высокая, видная девушка с тяжелой косой и ласковыми карими глазами, которые теперь были красны от слез; Даша смотрела на «Мантилью» своими черными глазками самым вызывающим образом; она была ниже Матреши и с явным расположением к толщине.

— Это что за новости? — резко крикнула Матильда и со всего размаха ударила Матрешу по лицу. — Сегодня твоя очередь прислуживать барину... Вот Анфиса проводит.

— Пошлите лучше меня, Матильда Карловна, — заговорила смелая и разбитная Даша. — Я уж постараюсь для вас угодить барину, а Матреша вон какая нюня.

— Не твое дело! — обрезала немка и, обратившись к Анфисе, прибавила: — На три дня на хлеб и на воду, а если будет болтать, я сама ее высеку.

— Не больно испугались... секи, — ворчала Даша вслед уходившей немке, которую в девичьей ненавидели и называли змеей. — Ишь, расходилась змеиная кровь!

Матильда Карловна прошла в свою комнату и ничком упала на низкую резную кровать красного дерева; она не плакала, не жаловалась, а только закусила подушку зубами, как человек, которому делают невыносимо тяжелую операцию. Анфиса всегда сопровождала

свою повелительницу, как тень, и теперь стояла около кровати с видом дрессированной собаки; она ловила каждое движение этого судорожного, корчившегося молодого тела и старалась угадать по этим корчам действительный строй мыслей.

— Матильда Карловна, голубушка, зачем вы так убиваетесь? — шептала горбунья, дотрагиваясь своей большой лягушечьей рукой до плеча немки. — Ничего, все уладим.

Немка ничего не отвечала, а только глубже зарылась головой в подушки.

Комната «самой» в девичьей была устроена с замечательной роскошью: стены были обиты пестрыми бухарскими коврами, потолок расписан масляными красками, на полу красовался настоящий персидский ковер, весело теперь игравший на солнце своими вычурными узорами и линялыми красками; обитый голубым бархатом диванчик, такие же стулья, туалет из красного дерева, покрытый кружевным пологом, две стеклянных горки — одна с серебром, другая с фарфором, несколько хороших картин масляными красками, — все голые красавицы во вкусе «доброго старого времени», в заученных академических позах, с банальными улыбками на губах и с расплывшимися формами à la Рубенс; шелковые голубые драпировки на окнах и на дверях, такое же одеяло и великолепный полог над кроватью, — все это, взятое вместе, делало комнату «самой» похожей на кондитерскую бомбоньерку. Здесь всегда пахло какими-то тяжелыми духами, вроде бобровой струи или мускуса, и царствовал таинственный полумрак, — окна всегда были заслонены цветами, которые Матильда Карловна любила до страсти; солнечный свет пробивался только между занавесками и ложился веселыми золотыми узорами по коврам, на мебели, на широких лапистых листьях тропической зелени. Сам барин частенько захаживал сюда выпить маленькую чашку кофе, который Матильда Карловна готовила для него своими розовыми руками.

Анфиса в своем темном платье и в темном платочке на голове являлась полной противоположностью с кра-

сотой остальных обитательниц девичьей, точно для того только, чтобы своим безобразием еще резче вытенить расцветавшую в этих стенах юную красоту. Лицо у Анфисы, как у всех уродцев, было очень подвижное и злое, с живыми темными глазками и злыми тонкими губами; заостренный горбатый нос придавал ему птичье выражение, особенно когда девушка смеялась, показывая два ряда ослепительно белых зубов. Короткие ноги с широкими ступнями, как у утки, несоразмерно длинные руки с широкими кистями делали горбунью похожей на обезьяну, особенно когда она начинала сердиться, что проявлялось в резких, порывистых движениях.

— Перестаньте, барышня, — шептала низким контральтовым голосом Анфиса, осторожно поправляя рассыпавшиеся белокурые волосы лежавшей неподвижно немки. — Этим беды не изжить. Разве *он* может вас понимать?

— Вот что, Анфиса, — заговорила Матильда Карловна, приподнимаясь с постели. — Ремянников теперь в Ключиках, у попа Андроника... Ты знаешь поповскую дочь Марину? Ты ведь все на свете знаешь.

— Как же, видала, барышня... Ничего, так, толстая, рыжая девка, и больше ничего. И сам поп рыжий, и Марина рыжая.

— Она красивее меня, Анфиса?

— Что вы, барышня?! — пришла в ужас горбунья. — Да разве можно так говорить? Вы заправская барышня, а та мужичка, вроде как наша Дашка... Только и хорошего в ней, что из себя толстая, как сальная свеча.

— Нет, ты меня обманываешь, — задумчиво говорила Матильда Карловна, надевая расшитую батистовую кофточку. — Чем же она понравилась Феде, если некрасивая?

— Ах, барышня, барышня... Да ведь все эти мужчинишки на одну колодку: им бы только новенькая девка была да глаза на них пялила, — вот и все... Поп-то Андрон голубятник: бегает по крыше с шестом за голубями, а рыжая Маришка с гостями хороводится.

Известная музыка-то... А только поп Андрон хоть и прост, а как Федька попадет ему в лапы, костей не соберет. Посильнее Федьки будет поп-то, даром что старик...

— Да?

— Уж беспременно... Как медведь поп-то: пожалуй, и башку отвернет под сердитую руку.

Матильда задумалась и долго ходила по комнате, что-то соображая про себя; лицо у ней было нахмурено и бледно, губы сжаты, грудь поднималась тяжелой волной. Анфиса следила за ней улыбавшимися хитрыми глазами и в душе была счастлива: чужие страдания ей всегда доставляли величайшее наслаждение, особенно страдания женщин, которые имели несчастье быть красивее горбуньи. «Так и надо, так и надо! — повторяла она про себя, наслаждаясь чужим горем. — Вот вам, красивым-то, всем так нужно... Не сладко, видно, миленькая Матильда Карловна?»

— Послушай, Анфиса, — заговорила Матильда, останавливаясь перед горбуньей. — Я была сейчас у Яшки-Херувима... Он до чертиков допился, ну, да я его нашатырным спиртом вытрезвила, ничего, продыбается. Вечером-то я хотела сама ехать с ним в Ключики... Понимаешь? Ну, а теперь нельзя из-за этой твари Матрешки: все дело испортит, ежели оставить ее одну с Евграфом Павлычем.

— Ничего, сократим... Не таких ломали; с жиру девка бесится.

— А как меня хватится?.. Беда будет... Так вот я и придумала: поезжай уж ты с Яшкой, а я здесь останусь. Отправлю вас с кучером Гунькой на паре гнедых, которых из Барабы привели, — в час двадцать-то верст промчат, — а вы остановитесь не у попа... Нет, все равно, к попу прямо на двор; ты останешься в повозке, спрячешься, а Яшка пусть идет к попу. Поняла?

— Ну, барышня, как не понять... что вы!

— Ты только смотри за Яшкой в оба, чтобы не натренькался прежде дела... Если Федя у попа, выжди, пока он с поповной где-нибудь свиданье устроит; уж

наверно у них сегодня будет свиданье, сердце у меня чует.

Горбунья улыбнулась одними глазами и только мотнула своей птичьей головой, — дескать, известное это дело.

— А когда Федя будет на свиданье, Яшка и пусть шепнет попу такое словечко про дочь... Одного-то Яшку нельзя отпустить: или проболтается, или напьется прежде времени, а когда будет знать, что ты следишь за ним, он устроит. Ведь Яшка сильно тебя боится.

— Чего ему меня бояться? Я не медведь, — надулась горбунья, питавшая к Яше-Херувиму нежные чувства; она постоянно была в кого-нибудь влюблена и разыгрывала бесконечные романы самого фантастического характера, воображая себя красавицей.

— Да, я и забыла, что ты влюблена в него, — засмеялась Матильда Карловна. — Значит, вам веселее будет ехать вдвоем.

Горбунья промолчала, потому что не умела прощать даже самых невинных шуток, задевавших ее сердечные дела, но, занятая своими соображениями, немка не желала ничего замечать, а только прибавила не допускающим возражений тоном, каким распоряжалась обыкновенно в девичьей:

— Ну, так решено: под вечер я тебя отправлю с Яшей, а сама останусь дежурить здесь.

— Может, Евграф-то Павлыч не захочет еще глядеть на Матрешку, — ядовито заметила горбунья. — Он что-то давненько не бывал у вас... соскучился, поди!

— Молчать, змея подколодная! — крикнула Матильда Карловна, вспыхнув до ушей. — Очень мне нужно возиться с ним! Будет уж, надоел... Пусть свои узелки развязывает... Разве не стало девок? Вон их целых двенадцать... А ты со мной не разговаривать, когда не спрашивают! Слышала? А то я тебе завяжу рот, насидишься вместе с Дашкой...

Горбунья сделала свое обычное смиренное лицо и принялась просить прощения фальшивым голосом.

III

Летнее горячее солнце начало клониться к западу. В кургатском господском саду вдруг захолодело, потянули длинные тени от деревьев, пахнуло откуда-то сыростью, последние птицы лениво перекликались где-то в самых вершинах развесистых столетних берез. Господский дом был все еще залит ярким светом, который слепил глаза, отражаясь от ярко выбеленных известкой стен; это было громадное здание с толстыми, чуть не крепостными стенами, глядевшими кругом узкими, длинными окнами, походившими на крепостные амбразуры. Перед домом расстилалась небольшая, неправильной формы площадь, упиравшаяся одним краем в фабрику, а другим — в сад и берег пруда. Очевидно, дом был построен очень давно, как строили только в старину.

Входа с улицы в дом не было, а сначала нужно было войти в каменные низкие ворота с железною решеткой; мощенный плитняком двор с четырех сторон был окружен непрерывною цепью построек; за домом сейчас начиналась громадная кухня, потом людская, дальше погреб, рядом с ним тот флигель, где жил Яша. От ворот до флигелька шел длинный каменный корпус, служивший конюшней и псарней. Собственно, самый дом разделялся на две половины: в одной, которая выходила частью окон во двор, жил барин Евграф Павлыч Катаев, а в другой — его родной брат Андрей Павлыч. Братья враждовали между собой с незапамятных времен, как выражаются учебники истории; Андрей Павлыч постоянно проживал за границей, и поэтому его половина, выходившая окнами на пруд, стояла необитаемой. Управление Кургатским заводом разделялось на две половины, и такое разделение служило источником нескончаемых недоразумений, пререканий и раздоров.

С балкона на половине Евграфа Павлыча можно было любоваться отличным видом на весь Кургатский завод и на теснившиеся кругом него горы. Завод раскидал кучки своих бревенчатых домиков в узкой горной теснине, на дне которой разлился неправиль-

ною полосой большой пруд, уходивший загибом в настоящее горное ущелье; этот пруд разделял завод на две части: на одной стоял господский дом со своим громадным садом, на другой — белая каменная церковь и небольшой заводский рынок. Сейчас за плотиной начинались покрытые сажей заводские здания, две домны, целый ряд труб и выкрашенное в серую краску помещение заводской конторы; завод вечно гремел тысячами колес и валов, дымил и сыпал искры. Глухой шум воды смешивался с вечным грохотом и лязгом железа, точно здесь билось на цепи какое-то чудовище, скованное по рукам и по ногам. Общий вид на широкие заводские улицы, на пруд, на завод и на выбегавшую из-под него бойкую горную речку Кургат был довольно красив, особенно летом, и точно нарочно был вставлен в тяжелую раму из зеленого рытого бархата. Вечером, когда даль заволакивалась синеватою мглой, вид на Кургатский завод и окрестности был замечательно хорош.

Барин Евграф Павлыч проснулся только в седьмом часу; после обеда он всегда задавал приличную выхрапку, потому что вставал вообще очень рано. Летом ему подавали сейчас, как проснется, целый графин квасу; барин, не вставая с постели, выпивал его стакан за стаканом и только этим путем приходил в себя. Обыкновенно квас подавала сама Матильда Карловна, пользовавшаяся привилегией входить в барскую спальню во всякое время дня и ночи. Она садилась на низенький табурет и терпеливо ждала, пока графин опустеет; барин, в расстегнутой ночной рубахе, открывавшей жирную шею и волосатую могучую грудь, выпивал первый стакан молча, морщился, тяжело вздыхал и говорил:

— Кажется, я сегодня за обедом перепаратил немного: башка трещит, Моть... Ух, как кочевряжит!

— А кто велит каждый день напиваться? — с сдержанной досадой отвечает Матильда Карловна. — С раннего утра начинаете рюмки хлопать.

Евграф Павлыч долго сопит носом, трет свое скуластое, опухшее лицо ладонью, ощупывает жирный, красный затылок, трясет ушами и опять принимается

за холодный, ледяной квас, которым напрасно старается залить внутренний жар. Лицо у барина очень некрасивое: с маленькими сонными глазами, с мясистым вздернутым носом, густыми бровями и жирным узким лбом; бороду он брил и носил длинные усы, придававшие ему вид отставного вахмистра. Высокого роста, тяжелый на ногу, с могучей грудью и грубым голосом, Евграф Павлыч в свои сорок пять лет был все еще капризным ребенком, каких воспитывало старое коренное барство. Он требовал постоянного ухода за собой и привыкал к крепким рукам вроде тех, какие были у Матильды Карловны, последней барской фаворитки, завезенной в Кургатский завод из Москвы.

— Ну, Мотя, что у нас новенького? — весело спросил Евграф Павлыч, когда сегодня выпил свою порцию квасу.

— Ничего нового нет... все старое.

— Ага...

Барин встал и попробовал ущипнуть Матильду Карловну за плечо, но она увернулась и надула свои розовые пухлые губки.

— А ты мне обещала, Мотя, сегодня узелок... — проговорил барин и захохотал. — Я ведь не забыл и вечерком приду в ваш монастырь.

— Что другое, а это не забудете, — сердито отвечала Матильда Карловна, помогая барину одеваться.

— Чья сегодня очередь? — спрашивал барин, поднимая от умывальника свое лицо, покрытое мыльной пеной.

— Матреша будет...

— Гм! ничего, только уж худа она очень. Плохо их кормишь, Мотя, а я, знаешь, люблю пожирнее... ха-ха!

— Перестаньте, пожалуйста, вздор городить, а то я уйду.

— Ну, ну, не сердись... за хороший узелок браслет подарю. Я и то монахом нынче живу.

— Да, сказывайте... А в город прошлый раз ездили, так целых три дня у этой кержанки кутили. Знаем все.

— Что же? Кутил... Кержанка славная бабенка.

Умыванье барина представляло довольно сложную церемонию и совершалось битых полчаса: в спальне

слышалось кряхтенье, фырканье, плеск воды, точно полоскался целый утиный выводок. Вымывшись холодною водой, Евграф Павлыч надевал бархатный расшитый халат и выходил в свой кабинет, где его уже ожидал графин с водкой, — нужно было поправиться, и барин опять крякал и вздыхал, точно вез тяжелый воз.

Кабинет, светлая и высокая комната с письменным столом посредине, скорее походил на какую-нибудь оружейную палату; все стены были увешаны всевозможным снарядом — ружьями, пистолетами, саблями, кинжалами; в одном углу стояла целая коллекция медвежьих рогатин, в другом — коллекция нагаек, у стола — коллекция трубок. Письменный стол был завален разным дорогим хламом, а чернильница стояла без чернил; барин не любил писать, даже письма за него писала Матильда Карловна. Перед письменным столом, на стене, в тяжелой раме черного дерева, висела голая красавица, написанная масляными красками довольно свободно: она только что вышла из воды и отдыхала на какой-то полосатой шкуре, придававшей голому телу теплый колорит. Напротив письменного стола, у самой стены, помещался низкий и широкий диван, сделанный из лосиных рогов; несколько тяжелых кресел красного дерева, шкаф с книгами соблазнительного содержания и небольшое бюро в простенке между окнами дополняли обстановку. Перед письменным столом и перед диваном лежали две медвежьих шкуры с набитыми головами и распластанными лапами; это были охотничьи трофеи Евграфа Павлыча, любившего потешить свою удаль с Мишкой.

Из кабинета одни двери вели в спальню, а другие в приемную, очень неприглядную, большую комнату, уставленную тяжелой мебелью.

— А где Ремянников? — спросил Евграф Павлыч, когда выпил вторую рюмку.

— Не знаю... Вы его сами куда-то отпустили, — ответила Матильда Карловна. — Его нет с утра.

— Ах, да, он уехал по делу. Нужно было...

— По какому это делу?

— Ну, по делу... Коренника ищем к тройке: зверя нужно, чтобы рвал и метал. Был коренник, да загнали... Черт его знает, с чего он пал: должно быть, мошенники кучера закормили, ну, и задохся. Послушай, Мотя, ты, кажется, сердишься?

— И не думала... Сегодня с Яшей цыганские песни учила, скоро хором будем петь. У Даши славный голос и у Матреши ничего.

— Вот увидим, какой у твоей Матреши голос, — хрипло засмеялся Евграф Павлыч, откидывая голову назад.

— Только я с этой Анфисой совсем замаялась, — продолжала Матильда Карловна, не обращая внимания на хохотавшего барина. — Уж такая злая, такая злая...

— Да и ты, матушка, тоже хороша, ха-ха! Нашла, видно, коса на камень. Так?.. Да ну, Мотя, перестань дуться, терпеть не могу. А у этой горбуньи отличный голос: серебром так и разливается... Так очень уж злая, говоришь, стала? Ну, поучи ее, добрее будет... Вы там жилы друг из дружки вытянете, ха-ха!

Поздно вечером, когда солнце закатилось и весь Кургатский завод утонул в надвигавшейся ночной мгле, со двора господского дома выехала небольшая зеленая долгушка, заложенная парой барабинских гнедых. На козлах сидел знаменитый кучер Гунька, останавливавший тройку на всем скаку одной рукой; это был самый лучший и самый любимый наездник Евграфа Павлыча, пользовавшийся всеми правами и преимуществами своего исключительного положения. На вид Гунька ничем не выделялся от других заводских мужиков, кроме того, что был крив на один глаз и вечно молчал, как пришибленный; скуластое, обросшее до самых глаз рыжеватой бородой, Гунькино лицо производило неприятное впечатление, да и одевался он как-то не полюдски, — все на нем лезло в разные стороны: синяя изгребная рубаха болталась отдувавшейся пазухой, как мешок, армяк сидел криво, шапка вечно валилась с головы, даже сапоги, и те были точно краденые. Обыкновенно Гунька ездил только с самим барином, а

сегодня вез Яшу-Херувима с горбуньей Анфисой только по специальному приказанию немки Матильды, слово которой для Гуньки было законом.

— Эх вы, котятки! — прикрикнул Гунька, протягивая вожжи.

И лошади помчали легкую долгушку через площадь, как перышко; крепкая рука была у Гуньки на лошадей, и они чувствовали эту руку, как только он еще влезал на козлы.

— Это Гунька поехал? — спрашивал Евграф Павлыч, сидевший в это время с Матильдой Карловной на балконе.

— Да, я его послала...

Барин поморщился, но ничего не сказал: спорить с Матильдой было бесполезно, как он убедился из долговременного опыта, а сегодня даже невыгодно.

— Отлично прокатимся, Яша, — ласково шептала горбунья, прижимаясь своим тщедушным телом к мотавшемуся на месте спутнику. — Яшенька, голубчик, как поедем назад, я тебе водки дам, а теперь ни-ни... нельзя.

Яша плохо понимал, что ему говорила горбунья, и только мотал головой в такт потряхиваниям экипажа; галлюцинации продолжали его преследовать, и по сторонам с писком, как стая воробьев, бежали давешние чертики. Один особенно надоел Яше своим нахальством: он бежал все время рядом с долгушкой, высунув красный язык, как собака, и все старался забраться в экипаж, хотя Яша и отгонял его обеими руками. Но черт оказался настоящим чертом: Яша как-то зазевался, и черненькая фигурка с утиными лапками вспорхнула прямо на спину Гуньке, потом кувыркнулась в воздухе и на одной ножке поскакала по вожжам, как самый лучший канатный плясун.

— Он... вон он... — в ужасе шептал Яша, указывая рукой на танцевавшего чертика. — Теперь двое... нет, четверо... десять...

— Да ничего, не бойся, ведь я с тобой, Яша, — шептала горбунья и опять прижималась к нему, как озябшая кошка.

IV

Над землей спустилась чудная июльская летняя ночь; заводский пруд и реку заволокло туманом, господский сад стоял на берегу громадной шапкой, все кругом стихло и замерло, и только со стороны завода гулко катились по воде отрывистые, смешанные звуки, точно глухое ворчанье какого-то необыкновенного животного.

— Погоди, змеиная кровь, я доберусь до тебя... и все глаза тебе выцарапаю! — ругалась и плакала бойкая Даша, сидя в заключении в особой темной каморке, устроенной под девичьей. — Еще говорит: «Сама тебя высеку...» У! немецкое отродье!

Перед своим отъездом в Ключики горбатая Анфиса свела Дашу в «келью», как называли в девичьей эту комнату, поставила ей кружку воды, заперла на ключ дверь и ушла, не сказав ни слова. Горбунье всегда доставляло большое удовольствие запирать провинившихся девушек в келье, и она это выполняла с необыкновенно важным видом, хотя, под веселую руку, сама любила посплетничать про ненавистную для всего дома «Мантилью». Провожая подругу в заточенье, Матреша едва сдерживала слезы, а Даша нарочно не обращала на нее внимания, чтобы ослабевшая девка совсем не разжалобилась.

— Эка важность! Не ты первая, не ты последняя, — утешала себя Даша насчет печальной участи подруги, — Евграф Павлыч добрый... побалуется и приданое сделает, да еще за хорошего мужика замуж выдаст. Только вот Мантилька окаянная донимает хуже смерти. Зла, зла, а тоже вот, поди ты, размякла к Федьке Ремянникову. Гоняется за ним, как распоследняя шлюха! Так ей и надо... Теперь горбунью с Яшкой послала в Ключики выслеживать Федьку. А Федька за поповной ударился... ха-ха!

Сумасшедшая Даша и плакала, и хохотала, и принималась разговаривать вслух, чтоб хоть чем-нибудь разогнать одолевшую ее тоску одиночества. Келья была совсем почти темная комната в четыре шага шириной и столько же длиной, около одной стены

стояла деревянная кровать, покрытая соломой, около нее деревянный стол — и только; слабый свет падал сверху, где в бревенчатой стене было прорублено небольшое окошечко, защищенное крепкой железной решеткой. Воздух здесь всегда был тяжелый и сырой, как в подполье, и сидеть в такой западне целых три дня было не легко, но Даша, пожалуй, еще помирилась бы со своей печальной судьбой, если бы не боялась до смерти мышей. Теперь она забралась на кровать с ногами и чутко прислушивалась к малейшему шороху. На возможность выйти из кельи раньше трех дней Даша не рассчитывала, потому что немка была беспощадна: сказала слово — и конец.

Наскучив сидеть на соломе, Даша легла и от нечего делать принялась слушать, что делается наверху, в девичьей. А там шла сдержанная суета, потому что сегодня ждали в гости Евграфа Павлыча; через пол можно было расслышать торопливые шаги, какую-то непонятную возню, стук передвигаемой мебели, чей-то говор и опять шаги без конца, точно в девичьей все сошли с ума и бегали из угла в угол, как пойманные мыши.

— Эк их там взяло! — ворчала Даша, лежа с закрытыми глазами на своей соломе. — Хоть бы уснуть.

Спать Даша была великая мастерица, но теперь, как на грех, и сон не шел, а в голову лезло черт знает что. Она думала о разных разностях, перебирая события своей жизни: вот она маленькая девочка, босоножка, бегает по улице в одной выбойчатой рубашонке, потом умер отец, мать ходила по миру... потом о ней доложила Мантилье горбатая Анфиса, как о красивой девочке. Четырнадцати лет Даша уже была в господской девичьей, пользовавшейся в Кургатском заводе плохой репутацией, как прокаженное место, где красивые девушки гибли для барской прихоти ни за грош. Следовал ряд однообразных и скучных лет мудреной выучки в девичьей, где Мантилья «обихаживала» своих воспитанниц по-своему, откармливала их, как индюшек, учила петь цыганские песни, разному ненужному рукоделью и т. д. Потом наступала «очередь», и опозоренная девушка выпускалась на волю, то есть выдавалась замуж за какого-нибудь прощелыгу, чтобы до

самой смерти выносить покоры и побои мужа, насмешки соседей и общее презрение. Даша часто думала о том, чтобы убежать из девичьей куда глаза глядят, утопиться, повеситься, но страх наказания за побег и еще больше страх смерти удерживали ее, как удерживали других. Да куда бежать? Все равно поймают, а там плохие шутки: расправа с беглянками производилась на господской конюшне, откуда наказанных замертво уносили на рогожках. На глазах Даши одна девушка бежала из девичьей. Дело было зимой, она ознобила руки и ноги, но ее вылечили и все-таки отправили на конюшню для острастки другим, где она и умерла под плетью.

— Не я первая, не я последняя, — утешалась Даша, представляя себе высокую, рослую фигуру добродушного барина, который все равно не сегодня-завтра назначит ей очередь. — Хоть бы скорее... Тощища смертная!.. Вот Матреша счастливее: ей очередь, а потом замуж выдадут... все же вольная будет.

Жизнь в девичьей была устроена совсем на монастырский манер, за исключением тех моментов, когда заявлялся сам барин и кутил в девичьей, иногда ночи три напролет. Кроме барина, всем мужчинам доступ в девичью был запрещен под страхом смертной казни; даже никто из дворни не смел ходить в девичью, за чем немка и горбунья следили с неусыпным рвением в четыре глаза. Конечно, бывали случаи вторжения в жизнь затворниц мужского элемента разными незаконными путями, но это представлялось таким редким исключением, что в общий счет не могло идти. Собственно, девичья всегда существовала при кургатском господском доме, но свой настоящий вид она получила только в руках Матильды Карловны.

Сама Матильда Карловна была из русских немок. Евграф Павлыч купил ее у матери в Москве и вывез на Урал, в свой завод, где она и разделила общую участь всех обитательниц девичьей, пока не создала себе самостоятельного положения. Она была фавориткой барина года два, а потом сделалась дуэньей, организовавшей из девичьей настоящий гарем. Странная была эта Матильда Карловна, начиная со своей наруж-

ности. К ней как-то никто не мог примениться, и весь господский дом был против нее. Тысячи мелких пакостей подводились под ненавистную немку, и не было такой интриги, какую не устроили бы ей ее враги, но Матильда Карловна крепко держалась на своем месте, потому что совсем завладела бесхарактерным барином. Быстро утратив обаяние нетронутой красоты, немка держалась при помощи своих воспитанниц; эта чередовавшаяся юность в ее ловких руках являлась страшной силой, — барин все делал «по-немкиному», как говорила куртатская дворня. Одна Матильда Карловна умела всегда угодить и потрафить капризному Евграфу Павлычу и на его слабостях построила свою власть.

Все «люди» в господском доме ходили у Матильды Карловны по струнке и боялись ее, как огня, даже такие звери, как Гунька. Интересно было, как Матильда Карловна забрала в свои розовые руки этого любимца и баловня. Гунька был вдовец и метил жениться на одной красивой заводской девке. Матильда Карловна узнала об этом обстоятельстве через горбунью и объяснила Гуньке, что при первом неприязненном действии с его стороны его возлюбленная попадет в девичью, то есть в лапы к барину. Немка шутить не любила, и Гунька сделался в ее руках чем-то вроде ручного медведя.

Но как ни сильна была Матильда Карловна, как ни крепка, а враг и ее попутал: понравился ей главный барский охотник Федька Ремянников. Это была какая-то дикая страсть. Неприступная и злая немка вдруг отмякла и отдалась забубенной, удалой головушке, рискуя в одно прекрасное утро потерять все. Эта связь была известна всему господскому дому, кроме одного барина; самые смелые люди не решались открыть ему глаза, потому что немка — немкой, да и Федька Ремянников был порядочный зверь. Вообще шла очень опасная и рискованная игра, но Матильда Карловна даже и ухом не вела, точно постоянной опасностью хотела купить свое счастье. В ней только теперь проснулась настоящая женщина, и нахлынувшее чувство первой любви жгло ее огнем.

Эта история усложнилась еще тем, что Федька Ремянников, побаловавшись с немкой, переметнулся теперь на сторону ключевской поповны Марины. Весь господский дом и девичья замерли в ожидании близившейся развязки: дело было немаленькое и могло разыграться крупным скандалом.

— А вот только дай бог увидать барина, все ему и брякну! — ворчала бойкая Даша в девичьей, когда не было горбуньи. — Да что смотреть нам на Мантильку... Будет, похороводилась, пора ей и честь знать. Ужо вот барин-то отвернет ей башку... туда и дорога... Вишь, расходилась змеиная-то кровь!.. Да и Федька тоже хорош...

Но все это говорилось и говорилось много раз, а смелости ни у кого не хватало: пожалуй, еще не поверит барин-то, тогда как? Дворня, между прочим, была глубоко убеждена, что немка непременно приколдовала чем-нибудь барина и теперь отводит ему глаза на каждом шагу. Вообще дело не чисто, и как раз можно попасть впросак. Да и плети на конюшне были слишком хорошо известны всем: редкий день проходил без экзекуций, и страшные вопли истязуемых доносились даже в девичью. Это хоть у кого отобьет охоту...

Лежа на соломе, Даша долго перебирала в уме разные случаи из жизни девичьей, прислушивалась к доносившейся сверху суете и, наконец, заснула. Во сне видит она, что сегодня наступила ее очередь, и в девичьей с утра стоит страшная суматоха: придет «сам», и нужно ему угодить. Все девушки одеты в голубые шелковые сарафаны, выложенные золотым позументом, и в кисейные рубашки; одна она сегодня в розовом атласном сарафане, как Мантилька одевает всех очередных. Даше ужасно совестно и хочется плакать. Мантилька дает ей последние советы, как обращаться с барином, и Даша краснеет до ушей: какая бесстыдная эта Мантилька!.. Но вот приходит и барин. Все окна заперты внутренними железными ставнями наглухо, девушки встречают барина с опущенными глазами, шепчутся и смеются, а он взглянул на нее и тоже улыбнулся. Пока Евграф Павлыч пил чай, девушки пели песни, потом Даша поднесла ему на серебряном под-

носе чарку водки; барин улыбнулся опять, выпил и ласково посмотрел на нее.

— Что же девушкам ничего нет? — спрашивает Евграф Павлыч, обращаясь к Мантилье. — Дай им красненького... веселее будет.

Являются бутылки с красным вином, которое в девичьей известно было под именем «церковного», потом сладкие наливки, барин заставляет всех пить; девушки краснеют, но не смеют отказаться. Начался широкий разгул, как умел кутить только Евграф Павлыч; он сидит на диване в бархатном халате и хлопает одну рюмку за другой; рядом с ним сидит Даша, он обнимает ее одной рукой, а другой — машет в такт разудалой цыганской песне, которая бьется в стенах девичьей, как залетевшая в окно дикая птица. Все пьяны, девушки раскраснелись, блестят глаза, Мантилья с шалью через плечо запевает, голова у Даши тихо кружится, но Евграф Павлыч еще заставляет ее пить какое-то сладкое вино... Она опомнилась только у себя на кровати, когда над ней наклонилось потное, пьяное лицо барина. Ужас охватил ее, и Даша начала сопротивляться ласкам барина, потом заплакала и начала умолять его, а в соседней комнате так и льется песня за песней... Даша в смертельном страхе вскрикнула и проснулась: кругом темнота, она лежит на соломе, а сверху доносится отчаянный топот пляски и какая-то залихватская песня.

— Господи, помилуй нас грешных! — в ужасе шепчет Даша, чувствуя, как холодный пот выступил у ней на лбу.

А над головой ходенем ходит пьяная песня и трещат половицы от пляски: это пошел сам Евграф Павлыч вприсядку. Даше вдруг сделалось душно, и она зарыдала беззащитными, одинокими слезами. «Душегубы проклятые, кровопийцы!..» Нет, она лучше утопится, а не дастся живая барину в руки. Креста на них нет, вот и губят девушек! Лучше умереть, чем нечестной-то жить на смех добрым людям... В самый разгар этих горьких дум песня наверху как-то разом оборвалась, и наступила мертвая тишина, прерываемая чьим-то плачем да криком. Даша замерла и прислушивалась

к каждому звуку, не смея дохнуть. Скоро загремел ключ в дверях кельи, и показался свет.

— Вот посиди здесь, голубушка... — шипел голос Мантильи, которая втолкнула в келью плакавшую Матрешу. — А завтра я с тобой рассчитаюсь по-своему.

Матреша была в одной рубашке и в чулках, на голых руках припухли красными полосами следы чьих-то пальцев, русые волосы рассыпались в страшном беспорядке. Этот отчаянный вид подруги привел Дашу в страшную ярость, и девушка, не помня себя, кинулась прямо на немку.

— Ну, бей меня, бей, змеиная кровь! — кричала Даша, подвигаясь к самому лицу Матильды Карловны. — Что взяла?.. а?.. Молодец, Матреша, не далась... и я не дамся. Слышала, Мантилья Карловна?.. Ха-ха!.. Креста на вас нет с барином-то... вот что! Кровь нашу пьете... Погоди, матушка, и на тебя управу найдем... отольются волку овечьи слезы!

— Хорошо, хорошо, я завтра поговорю с вами, — сухо ответила немка, и дверь кельи затворилась.

— Не боюсь, не боюсь! Ничего не боюсь, хоть на мелкие части режь! — кричала Даша, стуча кулаками в запертую дверь.

Матреша, кажется, ничего не слыхала. Она забралась с ногами на кровать, обняла колена руками и, положив голову на руки, погрузилась в тяжелое апатичное состояние оглушенного человека. Страшное напряжение душевных и физических сил кончилось каким-то столбняком.

— Матреша, голубушка, что с тобой, родимая? — допрашивала Даша, обнимая подругу. — Ах, подлецы, подлецы, что с девкой сделали... Матрешенька, ведь ты не далась барину? Молодец... и я не дамся. А Мантилька-то как теперь с барином? Видно, самой придется его утешать... У! злыдня бесстыжая, так ей и надо. А я все здесь слышала, как у вас там наверху пели и плясали... и как ты с барином драку подняла. Барин-то там остался?.. а?.. Да ну, говори же, оглохла, что ли?

— Не знаю, ничего не знаю, — шептала Матреша.

Барин еще оставался в девичьей и сидел теперь

в комнате Матильды Карловны; неожиданное сопротивление Матреши отрезвило его, и он задумчиво курил одну трубку за другой. Немка ходила по комнате с нахмуренным лицом; она была тоже разбита душой и телом.

— Славная эта Матрена, — проговорил, наконец, Евграф Павлыч после долгого молчания. — Раньше она мне как-то не нравилась. Ты смотри, Мотя, не притесняй ее, пусть сама одумается... Я не люблю таких девок, которые как семга... Совсем не любопытно.

— Вы домой пойдете или здесь останетесь? — спрашивала Матильда Карловна, останавливаясь.

— Конечно, здесь, Мотя, — засмеялся Евграф Павлыч своим хриплым смехом и потянулся обнять девушку.

Этого и боялась немка, но теперь она относилась к ласкам барина как-то совсем равнодушно, потому что ее мысли были далеко, в Ключиках, куда уехала горбатая Анфиса. Что-то там делается?

V

От Кургатского завода до Ключиков считалось верст двадцать. Дорога шла широкой речной долиной привольно разливавшегося здесь Кургата, принимавшего с правой стороны бойкую горную башкирскую речонку Сарс, а с левой — Юву. Главная масса уральского кряжа осталась назади, а кругом, насколько хватал глаз, расстилалась неизмеримым ковром благословенная башкирская равнина, усеянная озерами и изборожденная сотней мелких речонок. Особенно хорош был красавец Кургат, красивыми излучинами лившийся в далекий и холодный Иртыш; по обоим берегам Кургата и по его притокам плотно рассажались богатые села и деревни, точно они были нанизаны на серебряную нитку. Везде по сторонам разлеглись пашни и луга, перемежаясь с остатками вековых башкирских боров, с березовыми островками и просто лесными гривками и зарослями. Это была настоящая обетованная земля, упиравшаяся одним краем в каменистые

отроги Урала, а другим уходившая в «орду», как говорили зауральские мужики, то есть сходилась с настоящей сибирской степью, раскинувшейся до Семипалатинска, Усть-Урта и Каспия.

Ключики, громадное село за тысячу дворов (в Сибири по преимуществу ставятся большие села), расползлось по обоим берегам Кургата верст на шесть и далеко красовалось своей новой каменной церковью, против которой стоял неизменный поповский дом, упиравшийся в реку огородом и садом. Было совсем темно, когда взмыленная пара Гуньки покатилась по кривой деревенской улице, спавшей всеми своими избушками. Подъезжая к поповскому дому, Гунька сдержал расходившихся гнедых и мотнул головой в сторону поповского прясла, у которого была привязана верховая киргизская лошадь.

— Стой! — шепотом объявила горбунья. — Гунька, ты подождешь нас здесь, а мы с Яшей пойдем к попу.

Яша покорно вылез из долгушки и направился за горбуньей, которая пошла прямо к окну поповского дома, из которого вырывалась узкая полоса света. Припав глазом к закрытому ставню, в котором оставалась щель, горбунья увидела такую картину: за столом сидели четверо и играли в «фильки»; на диване помещался сам поп Андрон, напротив него заседатель Блохин, по бокам сидели запрещенный поп Пахом и еще кто-то, кого Анфиса не могла рассмотреть, потому что он сидел спиной к окну.

— Ты чего это, Пахомушка, крестовую-то кралю затаил? — грозно спрашивал поп Андрон, выставляя вперед свою рыжую с проседью бороду. — Разве это по-игрецки? И то даве из-за тебя червонного хлапя просолил. Хочешь, видно, мокрую али рваную получить?

Поп Андрон, крепкий старик лет под шестьдесят, с большой лысиной через всю голову, сидел в одной ситцевой рубашке, перехваченной шелковым пояском под самыми мышками, и в одних невыразимых; голые ноги болтались в разношенных кожаных башмаках. Время было летнее, а поп Андрон не любил себя стеснять. Лицо у старика было некрасивое, покрытое вес-

нушками, с носом луковицей и дрянной бородой, которая росла как-то клочьями, как болотная трава; хороши были только одни серые умные глаза, особенно когда старик смеялся. Из-под расстегнутого ворота ситцевой рубахи выставлялась могучая грудь, обросшая волосом, точно мохом; поп Андрон, несмотря на свои шестьдесят лет, свободно поднимал за передние ноги какого угодно жеребца. Заседатель Блохин рядом с попом Андроном походил на пиявку или на глисту: весь какой-то серый, бесцветный, с примазанными на висках волосами, с выбритой худощавой физиономией, с узкими рукавами форменного мундира.

— Ступай к ним и сначала виду не подавай, зачем приехал, — давала горбунья наставления Яше, — а потом отзови попа Андрона и спроси, где, мол, Ремянников, и про Маринку слово закинь. Понимаешь? А я буду тебя здесь ждать.

— Так, верно... — соглашался Яша. — А рюмочку можно, Анфиса?.. Одну только рюмочку...

— Одну можешь, а больше ни-ни. Я буду в окошко смотреть. Ну, ступай с богом.

Появление Яши в комнате игроков не произвело особенного впечатления, потому что он был здесь давно своим человеком. Поп Андрон мотнул ему головой на стоявшую у стены закуску и коротко заметил:

— Угобжайся, Яша.

Яша налил одну рюмочку и хотел было по пути налить другую, но во-время вспомнил, что горбунья следит за ним, и только вздохнул. Посидев около стола, Яша нагнулся к поповскому уху и прошептал:

— Одно словечко, попище.

— А... говори.

— Секрет.

— Ну тебя к чòмору!

Поп вылез из-за стола и отвел Яшу в сторону.

— Федька Ремянников был здесь? — спрашивал Яша шепотом.

— Ну, был.

— Та-ак-с... А теперь, думаешь, где он, по-твоему?

— Уехал в Кургат, домой...

— Ан и не уехал... Где у тебя дочь-то, попище?

— Ну-у?

— Ступай-ка, поищи ее, а Федькина лошадь привязана у твоего прясла, с проулка.

— Ах он, пе-ос!..

Старик в одну минуту побежал в комнату дочери. Комната была пуста. Поп отправился на улицу и начал подкрадываться вдоль забора к дремавшей лошади. Горбунья спряталась за углом и с замирающим сердцем ждала, что будет дальше; на всякий случай она сказала Яше выйти сейчас же за ворота и теперь увела его обратно в поджидавшую их долгушку.

Поп Андрон в это время успел подойти совершенно неслышно к самой лошади, — он шел босиком; остановившись перевести дух, старик услышал осторожный шепот, смех и поцелуи, которые доносились сейчас из-за забора, где под березами стояла беседка. Он узнал смех своей дочери Марины и закипел гневом. В саду было темно, но сквозь просветы прясла можно было рассмотреть что-то темное, шевелившееся в беседке.

Одним прыжком поп очутился в саду и потом в беседке.

— А, так ты вот как платишь за чужую хлеб-соль?! — кричал старик, медведем наседая на попятившегося перед ним молодого человека.

Завязалась отчаянная борьба, а через минуту поп Андрон сидел верхом на Федьке Ремянникове и молотил его своими кулачищами по чем попало. Поповна сначала прижалась в угол беседки и взвизгнула, а потом, как коза, перепрыгнула через боровшихся на полу и была такова: в саду мелькнула только ее тень.

— Отпусти, простоволосый черт! Эк насел! — взмолился, наконец, Ремянников, напрасно защищая свое лицо от поповских кулаков обеими руками. — Будет тебе, дьявол.

— Не пущу!!! — ревел старик, продолжая обрабатывать свою жертву. — У меня одна дочь-то, татарская твоя образина! Извел бы ты ее, пес, так куда я с ней?.. а?.. Я там в фильки играю с заседателем, сном дела не знаю, а ты вон что придумал...

— Перестань, говорят. Я женюсь на твоей Марине!

— Ты... ты женишься на моей дочери?! Да кто ты таков есть человек?.. а?.. Ну, говори, пропащая башка!

— Я при Евграфе Павлыче состою... место даст. Отпусти, говорят, — хрипел Федька, изнемогая под расходившимся попом.

— Никогда этого не будет, чтобы я отдал свою Марину за катаевского прихвостня!.. Слышал? Ты в медвежатниках у Евграфа-то Павлыча и жену на медведя поведешь. Ах ты дурак, дурак! Так узнай, что за Мариной давно Ключики записаны в консистории, сам владыко обещал мне жениха прислать Марине, потому место это наше родовое: я сам Ключики за покойной женой взял и теперь дочери передам. Для кого-нибудь копил добро-то! Федька, русским тебе языком говорю: выкинь дурь из своей пустой башки, да и девку не мути напрасно. Ну?..

— Отпусти, говорят, а насчет Марины, так еще ее надобно самоё спросить.

— Маринкино дело впереди: и ее спросим, а теперь твой ответ. Говори, а то задушу. Не будешь мутить девку?

— Ну, не буду... Эк привязался!

— Побожись!

Федька немного было замялся, но поп не на шутку схватил его железными ручищами прямо за горло. Нечего делать, пришлось побожиться.

— Не тронешь девку? — спрашивал поп в последний раз.

— Ну тебя к черту и с девкой!

Поп слез со своего врага, сел на приступочек и заплакал.

— Ведь она у меня одна... как перст одна! — шептал старик, вытирая слезы рукавом рубахи. — Креста на тебе нет, на варнаке...

— И ты тоже хорош, — ворчал Федька, приводя в порядок расстроенный туалет, — давай по роже хлестать живого человека; вон как устряпал рожу-то.

— А ты поговори у меня, Федька, поговори еще! — ругался поп Андрон сквозь слезы. — Сам виноват. Зачем девку обманывал? Ежели я тебя еще застану с ней, так и башку отвинчу. Слышал?

Через десять минут поп Андрон и Федька Ремянников входили в поповскую гостиную, как ни в чем не бывало. Появление избитого в кровь Ремянникова всполошило всех гостей не на шутку, но старик поп заявил во всеуслышание:

— Вот угораздило тебя, Федя, свалиться с лошади... Вон рожу-то как искочевряжил... а?..

— В стреме запутался... с полверсты за лошадью тащился, — объяснял Ремянников, вытирая окровавленное лицо. — Испугалась она, ну и вышибла из седла.

— Мудрено что-то, — качал недоверчиво головой заседатель. — Не таковский ты человек, Федя, чтобы из седла вышибла лошадь...

— Бывает и на старуху проруха и на девушку бабий грех, — смеялся запрещенный попик в зеленом подряснике.

— Ну-ка, Федя, полечись, — предлагал поп Андрон, подводя избитого гостя к закуске. — Вот тут есть настойка на сорока травах, от сорока болезней. Весьма помогает.

Федька Ремянников был приземистый молодец лет двадцати пяти; он постоянно носил полосатый шелковый татарский бешмет, из-под которого выставлялся только ворот шелковой рубахи. Кудрявая русая голова Федьки крепко приросла к широким плечам; румяное и круглое лицо, едва опушенное небольшой бородкой, было красиво мужественной красотой, хотя нос был приплющенный и скулы выдавались. Федька смотрел всегда немного исподлобья и редко улыбался. Кривые ноги обличали записного наездника; но всего замечательнее у этого молодца были руки: он свободно поднимал по десяти пудов каждой рукой. Евграф Павлыч любил Федьку за отчаянную удаль и всегда брал с собой на медвежью охоту; с рогатиной в руках Ремянников ходил на медведя один на один. Вообще это был настоящий богатырь, хотя старый поп Андрон и обломал его по-медвежьему, так что Федька теперь только переминал плечами; в спине и в боках у него точно были камни.

— Вот что: вы теперь поиграйте без меня, — предлагал поп Андрон, пропустив, стомаха ради, рюмочку

сорокатравной. — Федя за меня сядет, а мне надо по хозяйству. Вон светать начинает.

— Хорошо, хорошо, ступай, куда тебе надо, — согласились гости.

Горбунья Анфиса успела подслушать, что происходило в беседке, а теперь смотрела в оконную щель. Когда Федька уселся играть с заседателем, а поп Андрон вышел из комнаты, она решила, что пора ехать восвояси. Занималось туманное летнее утро, и, того гляди, накроют — нехорошо, да и делать в Ключиках больше нечего. Гунька и Яша ждали горбунью в ста шагах от поповского дома, и скоро пара гнедых унесла всех троих из Ключиков.

«Ловко обтяпали дельцо! — смеялась про себя Анфиса, опять прижимаясь к Яше. — Здорово его обломал поп-от, до новых веников не забудет».

Небо было совсем серое, звезды тихо гасли; все кругом покрылось густой росой. Где-то далеко-далеко жалобно кричали журавли. Отдохнувшие лошади вольным ходом бежали домой, а седоки дремали каждый со своей думой.

VI

Поп Андрон целое утро обходил свое громадное хозяйство, которое было поставлено на широкую помещичью ногу, как у многих зауральских попов-богатеев. О гостях старик скоро забыл, как забыли и они о хозяине, да и трудно было разобрать, кто в этом доме был гость, кто хозяин: у попа Андрона двери всегда были настежь для званого и незваного, и хороший гость нередко загащивался по неделе. Старик всех принимал с распростертыми объятиями, потому что любил угостить, да и угощенье было свое, некупленное: хлеб свой, овощ всякий свой, птица разная своя, баранина, телятина, козлятина, поросятина — тоже, одним словом, все было свое. Единственный расход был на водку, но и тут трудно было рассчитать, что шло по хозяйству, что на гостей: обыкновенно поп Андрон каждый год ставил на погребице две сорокаведерных бочки с пенным, и к концу года их не хватало. Дело

в том, что много водки уходило на помочи, когда поднимали поповское сено и убирали хлеб, а потом на всякие другие хозяйственные случаи, где нужно было прихватить чужие руки. В Ключиках мужики были зажиточные, и нанять их в страдное время на чужую работу было невозможно; деньгами тут ничего не поделаешь, а помочане шли к попу «из уважения». Своих работников у попа жило больше двадцати, но этих «строшных» ему не хватало, потому что одного хлеба он сеял пятьдесят десятин да держал лошадей за сто штук, а всякой другой скотине и счет давно потерял. Одним словом, жил себе старик Андрон пан паном и ничего знать не хотел, как нынче уже не живут: время другое и люди другие.

Говорили, что у старика попа в кубышке не один десяток тысяч лежит, да хлеб из пяти тысяч пудов никогда не выходит; всегда в запасе старик Андрон жил. Такое богатство простого деревенского попа, раз, объяснялось богатой местностью, — в Ключиках было больше десяти мужиков, державших про запас тысячи по три пудов хлеба, — а потом некоторыми особенными условиями; это богатство копилось не одним поколением и переходило из рода в род. Поп Андрон взял себе жену вместе с местом в Ключиках, как делывалось в старину, когда места закреплялись за невестами духовного звания; старик тесть успел много накопить всякого добра, и попу Андрону пришлось только приумножать готовое, что он и выполнял неукоснительно, потому что был хозяин образцовый и «везде доходил своим глазом», всякую хозяйственную «малость» следил.

Пока гости играли в фильки, хозяин успел обойти не только все хозяйство, но даже побывал в поле; нужно было посмотреть овсы, пшеницу, траву под покос. Все было хорошо и в порядке, только душа у попа не лежала на месте: то, да не то. Бродил он по коровникам, по амбарам, по конюшням, завернул в погреб, осмотрел огород, посидел в «строшной», где успел задать работу своим работникам, разбудил стряпку, а у самого совсем не хозяйство на уме: задала Маринушка старику отцу мудреную задачу... Нужно было

и честь сохранить честью, чтобы не ославить напрасно девку, и напрасной потачки не дать, потому женское дело самое ненадежное, а посоветоваться да поговорить старику совсем не с кем: он вдовел уже шестнадцатый год.

— Эх, не ладно дело-то! — вздыхал старик, не зная, куда бы еще ему сходить.

Кончив обход по хозяйству, пока стряпка ставила самовар, поп Андрон любил летом забраться на голубятню и погонять голубей, — забава самая домашняя. Он и теперь отправился туда же. Голубятня была устроена в конце двора, и с нее все поповское хозяйство было видно, как на ладонке, так что, помахивая шестиком на плававших в небе голубков, старик в то же время мог наблюдать за всем ходом катившегося хозяйственного колеса. И теперь, забравшись на вышку, поп Андрон, по привычке, осмотрел строгим хозяйским глазом весь двор, службы, огород, конюшни и стоявшую за рекой заимку, где хранились хлебные запасы. Все было хорошо, как «полная чаша». Вон строшные поехали в поле заборанивать поднятые пары, вон два наездника гоняют на корде каракового жеребца-трехлетка, вон над кухней синей струйкой встал веселый дымок, и стряпка Оксинья подняла возню на целый день, вон стоит заседательская повозка, около нее бродит индейский петух и т. д. и т. д. По привычке поп Андрон взял свой шестик и поднял на воздух тридцать пар голубей, и голуби отлично делали свое дело, особенно турманы, которые винтом поднимались вверх, подбирали крылья и вперреверт летели книзу, как сорвавшийся камень. Голубей поп Андрон разводил лет пятнадцать, и последней новинкой в его стае была парочка палевых египетских голубей, настоящих египетских, которых ему принес из Иерусалима знакомый странник-монашек.

— Таких голубей до самой Москвы не найдешь, — с гордостью объявлял старик любителям-голубятникам.

За эту парочку один знакомый купец-голубятник давал сто рублей, но поп Андрон только улыбнулся: не продажное дело, а заветное. Сегодня палевые голуби

выделывали чудеса, точно хотели нарочно потешить старика, но поп Андрон только вздыхал и все поглядывал вниз, на ту часть своего дома, где два маленьких оконца были завешаны легкими кисейными занавесками: за этими занавесками почивала поповна Марина.

Спустившись с голубятни, старик прошел в сад и наломал пучок березовых веток, облущил их от листьев, спрятал под мышку и пошел с ними к дому. Гости все еще играли, и он прошел через кухню к комнате дочери. Дверь была заперта на крючок изнутри; поп Андрон постучал.

— Кто там? — послышался заспанный голос Марины.

— Отворяй...

Послышалась возня торопливого одеванья, шлепанье босых ног по крашеному полу, и, наконец, на пороге явилась Марина, кое-как накинувшая на себя ситцевое платье. Она была босиком, и золотистые волосы были завязаны на голове просто узлом.

— Чего тебе, тятенька? — спросила она, зевая и потягиваясь.

— Как чего?.. Ах ты, куриное отродье!.. Говорить с тобой пришел...

Девушка с удивлением взглянула красивыми заспанными серыми глазами на отца и посторонилась, чтобы дать ему дорогу; она только теперь заметила торчавшие из-под пазухи розги и улыбнулась.

Старик отец присел к окну и несколько времени молчал, с трудом переводя дух. Как он любил всегда эту небольшую комнатку, в которой покоились все его надежды, заботы и упования! Такая светленькая и уютная была комната, точно игрушечка.

— Ну, доченька, пришел я с тобой всурьез побеседовать, — заговорил, наконец, поп Андрон, продолжая оглядывать комнату, точно был в ней первый раз. — Ты вот спишь здесь, а я всю ночь проходил, как другой медведь-шатун.

— Известное дело, с гостями в фильки играл... Этак и трех ночей мало будет!

— Нет, доченька, не то... Действительно, не один я ходил ночь-ноченскую, а с гостем: на сердце у меня этот гость как сел, так и задавил, точно медвежья лапа.

Марине было лет семнадцать, но она была уже совсем развитая девушка, развитая, пожалуй, не по летам. Высокая ростом, с небольшой головкой и тяжелой волной золотистых волос, она была настоящей деревенской красавицей, хотя лицо у нее и нельзя было назвать правильным: нос был приплюснут, скулы немного выдавались, лоб был маленький, темные брови срослись над переносьем. Но зато свежесть серых глаз, молочная белизна кожи, как у всех рыжих, яркий румянец, улыбка, открывавшая два ряда чистых, как слоновая кость, зубов, — все в ней дышало грубой, вызывающей красотой. Это было олицетворение развертывавшейся жизни, заразительно разливавшей кругом себя все чары нетронутой, преисполненной сил юности.

— Ну, доченька, вот и пришел я побеседовать... — несколько раз повторял поп Андрон, напрасно подбирая слова для щекотливого объяснения. — Сейчас сидел я на голубятне и смотрел кругом: всего у меня много, доченька, наградил господь свыше разума... да. Сам я стар, не сегодня-завтра помру, ну, кому все это добро пойдет?.. а?.. Не мной оно накоплено, а еще дедушкой, родовое добро-то...

— Кому хочешь, тому и оставишь свое добро.

— А ты не зуби! — закричал старик, вскакивая. — Разве так с отцом-то разговаривают?.. Спущал я тебе много, вот и зубишь отцу... Думаешь, твоему-то медвежатнику Федьке оставлю свое нажитое? Нет, шалишь, ничего он не увидит, — вот тебе мой первый сказ, а второй сказ: посажу я тебя в монастырь годика на два; там сбавят комариного-то сала.

Марина молчала, опустив глаза. Старик отец действительно избаловал ее, и она не боялась его ни на волос, хотя поп Андрон был очень «ндравный» человек и держал себя очень гордо, а подчас даже и совсем неприступно. Мужики ходили перед ним без шапок, да и чиновники гнули спину перед толстой поповской мошной; о купцах и говорить нечего, — те на сто верст

кругом знали попа Андрона. Только с самыми близкими приятелями, вроде заседателя Блохина, поп Андрон всегда был нараспашку.

— Ну, чего ты молчишь, как статуй? — спрашивал старик, начиная закипать гневом.

— Твоя воля, тятенька; как прикажешь...

— То-то... твоя воля... Моя, видно, да не больно. Хорошее ты слово сказала, да немножко после времени...

— И теперь твоя воля, тятенька, — повторила Марина.

— Моя... А кто вечор с Федькой в саду шашни заводил?.. Федьку-то я здорово отполировал, а про тебя ни слова не сказал: девичье дело; худая-то слава, как ртуть, во все стороны рассыплется. Да... пожалел я вечор тебя, а сегодня пришел суд тебе произвести... келейно. Я тебя, Маринка, выдеру, — вот тебе третий мой сказ... чтобы помнила, как с парнями по садам гулять. Матери у тебя нет, учить тебя некому...

Старик припер дверь, спустил занавески и взялся за принесенные розги. Марина прислонилась к стенке и смотрела на отца своими серыми глазами в упор, точно застыла; когда отец взял ее за руку и потащил к постели, она вырвалась и глухо прошептала:

— Да ты в уме ли, тятенька? Разве таких больших девок отцы дерут?.. Как это тебе, тятенька, не совестно?.. Уходи отсюдова!

У попа Андрона опустились руки от неожиданного отпора, а Марина в это время осторожно взяла его за плечи и вытолкнула в двери.

— Вот ищо выдумал! — ворчала она, затворяясь на крючок. — Ну, посылай в монастырь... за волосы оттаскай, а то накося!.. А мне на твое добро наплевать.

VII

После поповской науки Федька Ремянников пролежал в своем флигеле дня три, потому что у него не разгибалась поясница и не ворочалась шея. Яша кутил хуже старого и все ловил чертей; раз он схватил гор-

батую Анфису прямо за нос, потому что в него спрятался самый бойкий чертик. Матильда Карловна несколько раз приходила проведывать своего возлюбленного и с участием спрашивала, что с ним такое.

— С лошади пьяный упал, — сердито отвечал Федька, повторяя ловкую выдумку попа Андрона.

Лежа на своем одре, Федька не раз задумывался о том, как поп Андрон врасплох напал на них в беседке. Не в первый раз Федька целовался с Мариной в саду, все с рук сходило, а тут точно черт попа сунул. «Наверное, кто-нибудь подвел попа, — догадывался Федька и с бессильной злостью против неизвестного врага только скрипел зубами. — Уж только попадись мне этот доводчик, — всю душу вытрясу... Однако старый черт Андрон здорово меня вздул!» Несколько раз Ремянников пытался было стороной выпытать что-нибудь от Яши; но тот только моргал глазами и ежился.

Матильда Карловна и горбунья Анфиса посмеивались между собой: все было шито и крыто, рассказать мог один Гунька, но и тот молчал как убитый. Устроившая скандал Матреша была высечена на другой же день и лежала в келье больная; за компанию с ней была наказана и Даша; девки совсем спятили с ума и не хотели поддаваться немке ни под каким видом. В другое время Матильда Карловна сумела бы донять их, вымотала бы всю душу с чисто немецкой аккуратностью, но теперь ее занимала мысль о том, чем досадить ключевскому попу, который для нее был бельмом на глазу.

— Конечно, он отлупил Федьку, — рассуждала Матильда Карловна с горбуньей. — А все-таки и попа нужно взбодрить... Как ты думаешь, Анфиса?

— Надо чем-нибудь насолить попу,— соглашалась Анфиса, напрасно стараясь придумать какую-нибудь каверзу. — Только надо чистенько дело сделать, а не дуром. Погодите, придумаем... главное, чтобы никто не догадался, откуда ветром пахнуло. Вот бы Евграфа Павлыча натравить на попа...

— В самом деле, Анфисушка, — упрашивала немка, — придумай что-нибудь... Ты ведь на эти штуки мастерица!

Однажды, когда они обсуждали этот вопрос, горбунья тихо вскрикнула и захохотала.

— Что это с тобой? — удивилась Матильда Карловна.

— Придумала, придумала! — кричала горбунья и несколько раз даже повернулась на одной ножке. — Утешим Андрона... ха-ха!..

— Да говори толком, будет дурачиться.

— И как все просто, Матильда Карловна... ей-богу!.. Поп-то Андрон страшенный голубятник, у него есть пара египетских голубей... сто рублей давали... не отдал, ну, мы Евграф Павлыча и натравим на этих самых голубей.

— Отлично... очень хорошо. Ай да Анфиса!

Немка даже расцеловала горбунью.

Натравить Евграфа Павлыча на кого угодно было вовсе не трудно, потому что это был совсем взбалмошный человек, не умевший себе отказать ни в малейшем капризе. Немка настолько изучила его, что могла руководить им безошибочно. В данном случае она повела дело исподволь, не подавая никакого вида относительно истинных своих намерений. Как-то утром, когда Евграф Павлыч пил чай, Матильда Карловна, между прочим, рассказала длинную историю о поповских голубях; барин сразу пошел на закинутую удочку и задумчиво проговорил:

— Вот как, а я и не подозревал.

— Красивые, говорят, голуби: *палевые,* — поджигала Матильда Карловна с самым невинным лицом. — Один купец сто рублей давал за пару, да поп не взял.

— Ну, уж это ты, Мотя, врешь: попы любят деньги... Это надо с ума сойти, чтобы за пару голубей сотенную не взять. Ха-ха... Можно на сто-то рублей отличную пару лошадей купить. Нет, это уж сказка...

— Спросите кого угодно, все вам то же скажут.

— Да чего мне спрашивать, когда я сам отлично попа Андрона знаю! Водку с ним пил в третьем годе: здоровенный поп и выпить не дурак.

— А все-таки не продаст за сто рублей палевых голубей.

— Вот и врешь, Мотя... Хочешь об заклад удариться, что я этих самых палевых голубей у попа за пятьдесят рублей куплю? Идет?

— Идет. Если купите, я вам плачу пятьдесят, а если не купите...

— Да я тебе тогда триста подарю... ха-ха!.. Жаль мне тебя, Мотя: напрасно свои пятьдесят рубликов прозакладуешь.

— Себя пожалейте, Евграф Павлыч, а гусей по осени считают.

Ударили по рукам. Чтобы не откладывать дела в долгий ящик, Евграф Павлыч сейчас же отправил Гуньку верхом в Ключики с собственноручной запиской попу Андрону; к записке были приложены деньги пятьдесят рублей. Через три часа Гунька вернулся и привез обратно деньги: поп Андрон сказал, что не отдаст голубей и за сто рублей.

— Ах он, простоволосый дьявол! — вскипел Евграф Павлыч и даже покраснел от злости. — Ну, Мотя, я проиграл заклад: плакали мои триста рубликов... А попу я не спущу: будет он у меня помнить, как поперек мне делать.

— А что вы с ним сделаете? — спрашивала Матильда Карловна.

— Я что сделаю с попом? я?.. Первым делом возьму его палевых голубей даром.

Одним словом, каша заварилась не на шутку, и оставалось только подливать масло в огонь. Евграф Павлыч в ту же ночь отрядил в Ключики пятерых конюхов с мешками: они должны были забрать всю поповскую голубятню и привезти в Кургат к утру. Эта экспедиция закончилась полной неудачей: поп Андрон отлично знал характер Евграфа Павлыча и засел караулить голубей со своими строшными на целую ночь; когда конюхи с мешками забрались в голубятню, он четверых запер на месте преступления, а пятого отпустил донести барину о своем поражении.

Через несколько дней после этого случая в Кургатский завод приехал заседатель Блохин, который всегда останавливался в господском доме. Это был самый обыкновенный старинный «чинодрал», перебивавшийся

около разных милостивцев. На этот раз он заявился к Евграфу Павлычу с самым серьезным видом, чем ужасно насмешил хозяина.

— Послушай, брат, ты дорогой, вероятно, живую муху проглотил? — встретил его Евграф Павлыч.

— Нет-с... изволите шутки шутить-с! А я-с по делу-с и по очень важному делу-с...

— Знаю, знаю: выпить хочешь, приказная строка! Ха-ха!.. Ешь солоно, пей горько: умрешь — не сгниешь.

Заседатель только вздохнул и пожал плечами.

— Не то-с, Евграф Павлыч, — заметил он после некоторой канцелярской паузы. — Дело-то выходит самое преказусное... да.

— Какое дело?

— А то самое, которое вы настряпали... Поп Андрон подал на вас прошение о вооруженном нападении на его дом в ночное время и о краже со взломом.

— Ну, брат, испугал ты меня... ха-ха!.. Да я все потрохи вытрясу из попа, и он у меня сам залетает, как палевый голубь, а на его прошение мне плевать.

— Напрасно-с и даже весьма напрасно-с, Евграф Павлыч. Хлопотно будет, и расход лишний...

— Ах ты, крапивное семя, да я и тебя вместе с попом на одно лыко привяжу да в воду.

— Это уж как вам будет угодно-с. Я маленький человек и вам же добра желаю-с.

— А если добра желаешь, так пойдем выпьем...

За выпивкой, однако, Блохин все как-то ежился и вздыхал «с утеснением», пока хозяин его не оборвал:

— Послушай, брат, да ты на поминки, что ли, ко мне приехал?.. а?..

— Евграф Павлыч, голубчик, — заговорил Блохин самым нежным голосом и даже склонил свою щучью голову набок. — Не могу успокоиться, потому такое дело... особенное-с. Дворянин... и вдруг обвиняется в краже голубей... Весьма не подобает это вашему званию, Евграф Павлыч. Вот я и думаю: вы отличный и благороднейший человек, отменной доброты и великодушного сердца, ну, что вам стоит пойти на мировую с попом Андроном?

— Да ты с ума сошел... Я?.. Мириться с попишкой?

— Позвольте-с, дело-то такое. Что такое голуби? Наплевать, и все тут. Предмет, не стоящий никакого внимания и даже слабый для благородного человека.

— Ну уж это ты врешь: *палевые* ведь голуби-то...

— Ах, господи, господи, что же из этого? Хоть зеленые будь по мне. Мало ли у вас всякого удовольствия, Евграф Павлыч: и охота, и лошади, и... хе-хе!.. девушки-с... вот это предмет достойный, а то тьфу!.. даже произносить как-то неловко-с.

— А ежели мне эти вот самые палевые голуби понадобились, тогда как? Дай да выложь, и ничего знать не хочу, а попа Андрона я пройму не мытьем, так катаньем. Вот тебе и сказ весь, а там судите меня, хоть на виселицу... Ничего не пожалею, чтобы себе удовольствие сделать. Охотку тешить — не беда платить.

— Неукротимый у вас характер, Евграф Павлыч.

Заседатель Блохин был великий дипломат и на своем веку немало уладил самых казусных дел через простое «миротворение», как хотел устроить и здесь, потому что сцепились два милостивца, из которых он не желал терять ни первого, ни второго. И дернуло же этих проклятых голубей!.. Блохин чувствовал, что сам начинает стервениться и, того гляди, украдет поповских голубей, чтобы свернуть им головы.

— Нашли игрушку, черти этакие! — ворчал миротворитель. — Слышь: *палевые* голуби... тьфу! тьфу!..

Прежде чем ехать в Кургатский завод, Блохин, конечно, завернул в Ключики к попу Андрону, с целью предварительно усовестить поднявшегося на дыбы старика, но эта миссия закончилась полной неудачей.

— Главное то, что сану твоему это самое дело не соответствует, — усовещивал Блохин упрямившегося попа. — Нужно по заповеди прощать седмижды семь раз... Так?

— Так, так, — соглашался поп Андрон.

— И мало ли есть любопытных занятий, кроме этих голубей: наливки делать, цветы разводить... да мало ли.

— Да ведь *палевые* голуби-то, ежовая твоя голова!.. Знать ничего не хочу; не попущусь Катаеву ни в жисть.

Мне плевать, что он заводчик и миллионер... Я сам буду архиереем, только вот Маринку пристроить. А голубей я не отдам, хоть озолоти меня...

— Не дури, попище, а то хуже будет!

— А ты мне что за указчик? Плевать мне и на тебя...

— Поп, не кочевряжься!

— Знать ничего не хочу; Катаев хотел через взлом выкрасть моих голубей, и я не попущусь ему...

Одним словом, дипломат-заседатель благодаря проклятым палевым голубям попал в самое неловкое положение, между двух огней: милостивцы лезли на стену и ничего слушать не хотели. Блохин прожил в Кургатском заводе целый день и ничего не мог добиться от Евграфа Павлыча; дело выходило совсем дрянь, если бы не утешила немного Матильда Карловна, пообещавшая, со своей стороны, сделать все, чтобы помирить Евграфа Павлыча с попом.

— Будьте благодетельницей, матушка Матильда Карловна, — умолял Блохин, целуя с умилением немкину руку. — Ведь это что же такое будет? Евграфу Павлычу достанется, да и попу дадут по шапке... Я теперь даже совсем презираю самое это слово: голубь!

Прикинувшись сторонницей мира, Матильда Карловна выведала от Блохина решительно все, что ей нужно было знать, и осталась очень довольна положением дел.

«Дело начато, теперь нужно придумать что-нибудь дальше, — думала Матильда Карловна, провожая заседателя восвояси. — Начато хорошо, надо и кончить хорошо».

VIII

Хотя Евграф Павлыч и принялся за дело горячо, но он мог каждую минуту остынуть: на него ни в чем нельзя было полагаться. А пока дело о краже голубей таскалось бы по разным судам и палатам, барин успел бы и совсем забыть о нем. На другой же день после отъезда Блохина, за обедом, Матильда Карловна спросила Евграфа Павлыча:

— А как вы насчет голубей?

— Да, пожалуй, они, Мотя, уж мне и надоели, черт с ними совсем!

— Напрасно...

— Ничего не поделаешь с попом, войной не пойдешь.

— Можно и без войны.

— Это как?

— Да очень просто: набрать ястребов-голубятников и напустить на поповских палевых голубей.

— Та-та-та... в самом деле, как это мне самому не пришло в голову! Мотя, да ты у меня молодец... Мы настоящую соколиную охоту устроим на попа. Ха-ха!.. Мотенька, голубушка, что же ты мне раньше-то ничего не сказала? Пусть Блохин посмотрит, какую мы обедню отслужим попу... Ну, и штука только. Сейчас же позвать ко мне Федьку и Гуньку...

Дело опять закипело; Гунька и Федька отправились сейчас же в одну башкирскую деревушку за ястребами. До деревни было верст сто с лишком, и через полтора суток верные слуги вернулись с пятью совсем выношенными ястребами, да кстати захватили с собой и башкира, хозяина ястребов. Предварительно было сделано несколько опытов над простыми голубями-сизяками; брошенные в воздух ястребы производили настоящие чудеса, так что Евграф Павлыч остался совершенно доволен ястребиной работой и вперед потирал руки от удовольствия.

— Лихо взвеселим попа, — заявлял Федька, который тоже был рад насолить драчуну. — Будет настоящая потеха.

Чтобы повести дело наверняка, через особенных посланцев было узнано во всех подробностях, как и когда поп Андрон гоняет своих палевых голубей. Оказалось, что старик сильно сторожился и в ожидании нечаянного нападения ставил на опасных пунктах особых караульных.

— А мы все-таки его утешим, — смеялся Евграф Павлыч над попом Андроном. — Пусть караулит, а мы ему ястребочков поднесем: как пить дадим палевым голубкам.

Выбрали летнее туманное утро, и еще затемно по направлению к Ключикам выехала из Кургатского завода настоящая охота: восемь вершников с Евграфом Павлычем во главе. Решено было накрыть попа с голубями как раз в тот момент, когда он делал раннюю гонку. Сам Евграф Павлыч ехал верхом на любимой соловой кобыле, за ним по пятам следовали на гнедых киргизах Гунька и Федька; башкир с ястребами составлял центр экспедиции, которая замыкалась четырьмя охотниками, прихваченными на всякий случай.

Начинало светать, то есть восточная сторона неба сделалась серой, потом побелела, и только мало-помалу через эту предрассветную, белесоватую мглу начали сквозить розовые тона занимавшейся зари. Дорога шла большею частью по берегу цветущего Кургата, задернутого теперь сплошной туманной пеленой. Лошади фыркали и звонко били копытами укатанную землю; в ближайших речных кустах заливалась какая-то невидимая птичка, радовавшаяся всем своим маленьким сердцем наступавшему дню. Евграф Павлыч давно не ездил верхом и теперь сидел на мягком туркменском седле, как мешок; ему сильно дремалось и дорога казалась бесконечной.

«Уж уважим попа», — думал он, зевая.

Гунька тоже, грешным делом, клевал носом в седле, хотя каждый раз бодрился и вытягивался, как встрепанный, чтобы барин не заметил оплошки; он думал о черноволосой, смуглой Анне, которую давно присмотрел себе в жены и о которой не смел заикнуться барину, чтобы не испортить дела. Немка обещала женить, если Гунька будет служить верой и правдой. Зачем ехал барин в Ключики и кто натравил его на попа Андрона, Гунька отлично знал, но молчал, как пень. Ехавший рядом с ним Федька тихо посвистывал и ежил плечи от холода; ему хотелось спать, но перспектива насолить попу Андрону заставляла его улыбаться. Иногда перед ним вставала Марина, о которой он скучал. Увидит он ее сегодня или нет? Не таковская девка, чтобы испугалась отца, но черт ее знает: девичья память короткая, до порога.

Не доезжая с полверсты до Ключиков, Евграф Павлыч послал одного из охотников узнать, что делается в поповском доме. Посланный вернулся через полчаса и доложил, что у попа гости играют в карты.

— Отлично, — проговорил Евграф Павлыч и отправился в деревню в сопровождении ястребятника-башкира и Федьки.

Гунька с охотниками был отряжен в обход поповского дома и по первому сигналу должен был спешить на выручку.

— Лучше всего, если вы незаметно заберетесь в поповский сад, — командовал барин, — но боже вас сохрани попасться попу на глаза: всю шкуру спущу нагайками...

На всякий случай Гуньке был дан тоже ястреб.

У первой избы лошади были остановлены, и Евграф Павлыч сам-третей отправился к поповскому дому. Они засели в ближайшем огороде и терпеливо принялись выжидать, когда поп Андрон выйдет на голубятню. Ждать пришлось довольно долго. Большое село начало просыпаться из конца в конец, блеяли овцы, мычали коровы, затрубил пастух в рожок. Солнце выкатилось золотым туманным шаром из-за Кургата, на реке волнами заходил белый волокнистый туман.

«А если поп Андрон не выйдет?» — думал каждый из охотников. Трава была мокрая, и лежать в ней не представляло особенного удовольствия, а поп все не показывался, точно смеялся над засадой. Потянуло дымком от затопившихся печек, где-то неугомонно лаяла охрипшая со злости собака.

Евграф Павлыч, лежа в траве, начал было уже совсем засыпать, как Федька ткнул его в бок локтем и прошептал:

— Поп...

Действительно, на поповской голубятне показалась приземистая фигура попа Андрона; он зорко осмотрел окрестности и только потом растворил голубятню; из-за решетчатых дверец голуби высыпали на крышу, а потом взмыли кверху, как брошенная в воздух горсть белого пуха. Выждав, когда старик совсем увлекся своим занятием и с ожесточением принялся бегать по

голубятне, постоянно взмахивая шестиком, Евграф Павлыч тронулся вперед. Засада благополучно проследовала до следующей избы; оставалось перейти улицу, но караульный, посаженный попом на крыше сарая, во-время заметил опасность и пронзительно свистнул. Нужно было высмотреть кружившихся палевых голубей и потом уже спустить на них ястреба, но теперь было не до того; Евграф Павлыч взял у башкира самую большую птицу, снял у ней с головы кожаный колпачок и подбросил вверх. Ястреб, сильным движением крыльев, сразу начал забирать вверх.

— Бросай второго, бросай третьего! — закричал башкиру Евграф Павлыч, когда голуби метнулись к голубятне.

Поп Андрон не ожидал именно такой штуки от своего неприятеля и совсем растерялся; дверь в голубятню была заперта, голуби сбились на коньке крыши в трепетавшую крыльями живую кучу, а три ястреба спускались все ближе и ближе. Поп Андрон как-то совсем обезумел, присел и всей своей могучей грудью заорал:

— Батюшки, помогите... караул! Ой, батюшки, помогите!

— Катай четвертого ястреба! — крикнул Евграф Павлыч и подал сигнал Гуньке.

Пять ястребов произвели настоящую атаку: в несколько секунд голубятня покрылась пухом и перьями разорванных голубей, несмотря на самое отчаянное сопротивление попа Андрона, отбивавшего их от нападавших ястребов своим шестиком.

— Ой, караул... батюшки, грабят! — крикнул старик.

— Дуй его, лупи! — неистово орал с улицы Евграф Павлыч, походивший на исступленного. — Бей, катай!..

На этот страшный гвалт прежде всего выбежали гости: заседатель Блохин и запрещенный поп в зеленом подряснике, а потом со всех сторон набежали поповские строшные. На подмогу барину явился Гунька со своими охотниками. Из деревни начали собираться мужики, бабы и ребятишки, захватившие на всякий

случай кто что мог. Блохин бросился вперед и приступил к Евграфу Павлычу с усиленным молением о пощаде.

— Голубчик, батюшка, Евграф Павлыч, уймитесь, ради Христа! — умолял он и старался поймать расходившегося барина за руки. — Ведь это что же такое? Уголовство...

— Бей, катай! — кричал Евграф Павлыч хриплым голосом и бросился на поповский двор. — Я ему покажу, простоволосому, каков есть человек Евграф Павлыч... Федька, Гунька, за мной!

В воротах завязалась жестокая свалка между катаевскими охотниками и поповскими строшными. Откуда-то явились поленья и палки, мелькнуло несколько окровавленных лиц. Евграф Павлыч и Федька Ремянников работали за десятерых, как два медведя, так что первыми пробились в ворота и очутились на поповском дворе.

— Где поп? Дайте мне его, — орал Евграф Павлыч, порываясь к голубятне, с которой слезал поп Андрон и по пути засучивал рукава своей ситцевой рубашки.

Федька запер ворота изнутри и ждал, чем все это кончится. Старик Андрон шел на врага как был в голубятне — босой и в одном белье; лицо у него было бледное, и только глаза светились, как у волка. Евграф Павлыч встал в боевую позицию и тоже засучил рукава. Ввиду готовившегося поединка заседатель пустился на отчаянное средство: он бросился в ноги Евграфу Павлычу и на коленях принялся молить о пощаде, но получил такого пинка, что кубарем откатился к самым воротам, как гнилушка. В самый критический момент, когда враги готовы были сцепиться, раздался раздирающий женский крик: в одной рубашке, с распущенными волосами стояла Марина... Она только что вскочила с постели и выбежала из своей комнаты в чем была.

Евграф Павлыч оглянулся на крик и обомлел от изумления; руки у него опустились, и он с раскрытым ртом смотрел то на попа Андрона, то на Марину.

— Кто это?.. а?.. — шептал он, обращаясь в пространство.

— Это я, разбойник! — заревел поп Андрон, схватив Евграфа Павлыча по-медвежьи прямо за затылок. — Есть и на тебя управа.

— Постой, поп, отпусти! — умолял Евграф Павлыч, напрасно стараясь освободиться от придавившей его железной руки. — Дай всего одно слово сказать, а потом хоть разорви...

— Говори, — коротко приказал поп Андрон, не отпуская своей жертвы.

Евграф Павлыч оглянулся еще раз, но Марина уже скрылась к себе в комнату.

— Это твоя дочь? — спрашивал Евграф Павлыч.

— Ну, положим, что дочь...

— Дочь? Попище, прости ты меня, ради Христа, — вдруг взмолился гордый кургатский барин и даже повалился попу Андрону в ноги. — За все заплачу, озолочу тебя, ну, помиримся.

Поп Андрон как-то совсем одурел от этой второй неожиданности и выпустил затылок врага из своей десницы. На выручку подоспел Блохин и тоже принялся упрашивать попа Андрона.

— Поцелуемся, поп, — предложил Евграф Павлыч и облапил своего недавнего врага.

— Ну, черт с тобой, поцелуемся, — соглашался поп Андрон и прибавил: — А за голубей ты мне заплатишь... да.

— Сейчас тысячу отдам.

— Давно бы так, братие! — с умилением шептал Блохин и даже прослезился. — Ладно вы, Евграф Павлыч, меня саданули: все вздохи отшибли.

IX

Примирение враждовавших сторон состоялось при самой торжественной обстановке, начиная с того, что собравшемуся на драку мужичью была выкачена из поповского погреба сорокаведерная бочка пенного, конечно, в счет Евграфа Павлыча.

— Гуляй, братцы, в мою голову! — кричал в окно поповского дома сам барин. — Бабам сладкой водки, девкам пряников...

Гунька был отправлен в Кургатский завод нарочным с поручением привезти оттуда всякого провианта и господский оркестр музыкантов. Это известие сначала заметно смутило Матильду Карловну, но, расспросив обстоятельства дела, она успокоилась и только усмехнулась: она поняла намерение развернувшегося Евграфа Павлыча.

— Кланяйся барину, да скажи от меня, что не по себе дерево хочет согнуть, — наказывала она, между прочим, отправлявшемуся в обратный путь Гуньке. — Обожжется, пожалуй...

Гунька передал этот наказ в точности, но Евграф Павлыч даже не рассердился, а только промолвил:

— Ученого учить — только портить...

В поповском доме разлилось настоящее море: играла катаевская музыка, пили, играли в карты, — так вплоть до самой ночи, и ночь напролет, и следующий день. Евграф Павлыч требовал только одного, чтобы поповна Марина из своих белых рук подносила ему рюмку за рюмкой, а он целовал у ней руки и вообще ухаживал, как старый петух.

— Ну, попище Андронище, и дочь только ты вырастил! — похваливал Евграф Павлыч, ухмыляясь. — Всему миру на украшение...

— Нашел диво, — ворчал для виду старый поп, польщенный похвалой гостя. — Все они, девки-то, на одну колодку. А вот лучше выпьем, Евграф Павлыч, стомаха ради и частых недуг...

Захмелевший Евграф Павлыч заставил музыкантов играть плясовую и мигнул Федьке, первому своему плясуну, чтобы вставал в пару с Мариной.

Девушка сначала отнекивалась, но потом должна была согласиться на усиленные просьбы всей кутившей компании. Музыка грянула, Федька лихо пошел выделывать какое-то замысловатое цыганское колено, но Евграф Павлыч его остановил:

— Погоди, Федя, ты еще напляшешься... дай нам,

старикам, старинку вспомнить. Сам буду плясать с Мариной Андроновной.

Когда-то Евграф Павлыч лихо плясал, — как говорится, только стружки летели, — но теперь отяжелел и выделывал колена очень грузно. Зато, отплясав, он расцеловал поповну прямо в губы и проговорил:

— Вот люблю, Маринушка... изуважила старика! Люблю за молодецкий обычай...

Евграф Павлыч долго не выпускал из своей лапищи белую и мягкую руку Марины и все время заглядывал ей в опущенные глаза, на подымавшуюся волной высокую грудь, на горячий девичий румянец, на дрожавшую на алых губах вызывающую улыбку.

Марина плясала так себе, больше помахивала платочком, но разгулявшимся старикам не много было нужно.

Федька Ремянников присутствовал при общем веселье, пил вместе с другими, но выглядел угрюмо, волк-волком; он отлично понимал, отчего развеселился Евграф Павлович и что завелось у него на уме. На Марину Ремянников старался совсем не смотреть: без того было тошнехонько, и даже вино не пьянило.

— Братие! — выкрикивал заседатель и лез ко всем целоваться. — Слава тебе, царю небесный... Вот и помирились. Родимые мои...

Заседатель на вторые сутки совсем развинтился и напрасно отыскивал уголка, где бы вздремнуть: его разыскивали, встряхивали и опять заставляли пить.

— Ты вот что, Федя, — говорил Евграф Павлыч Ремянникову под шумок, — заседатель еле на ногах держится... Попа Андрона я спою, а ты накачивай этого зеленого попа. Понимаешь?

— Понимаю, Евграф Павлыч.

— Ну, а я отсюда не уеду, пока не развяжу узелка.

— Понимаю, Евграф Павлыч.

Намерения барина были вполне ясны: он увлекся востроглазой поповной Мариной, которая сама заигрывала с ним глазами. Евграфа Павлыча бросало в жар и холод, когда она смеялась.

«Будешь моя, голубушка, — думал разгоревшийся самодур-заводчик. — Год проживу здесь, а не отступ-

люсь. Вот так девка: вся яблоком, не чета моим-то птахам».

Ремянников следил за этой двойной игрой и чувствовал, как сам он делается точно чужой себе, точно застыл, а на сердце так и накипает жестокая, смертная злоба.

«Постой, я покажу тебе, как узелки развязывают», — думал Федька, глядя на Евграфа Павлыча исподлобья, и даже сам вздрагивал. Что-то такое красное застилало ему глаза, и все представлялось лицо барина, бледное, искаженное предсмертными судорогами, с выкатившимися глазами. Да, он убьет его и Маринушку, подлую, по пути: семь бед — один ответ. Накажут плетями, потом пошлют в каторгу, потом он убежит и будет бродяжить здесь же на заводах. Не он первый, не он последний. А вот и эшафот готов... палач в красной рубахе похаживает и вытягивает длинную ременную плеть... Кругом тысячная толпа народу... Господи, как страшно!.. Федька поднимается на эшафот, и вдруг у него захолонуло на душе, но он собрал все силы, перекрестился, поклонился на все четыре стороны...

— Ты что это, Феденька, задумался? — пристает зеленый поп.

— Да так... о тебе, батька, соскучился. Выпьем!

«Зеленый поп» на вид был такой вихлястый и жиденький, пальцем ударить, так переломится, а пить был здоров: пьет, как дудка, и конец. Пьет и смеется, да еще свои гнилые зубы показывает. Федька все-таки помнил наказ Евграфа Павлыча и старался всеми силами накачать водкой зеленого попа до положения риз.

— Невинно вино, а укоризненно пианство, — повторял зеленый поп перед каждой рюмкой и опять показывал свои гнилые зубы.

«Ах ты, гнилушка проклятущая», — начал сердиться Ремянников и серьезно принялся за свое поручение, заставляя зеленого попа хлопать одну рюмку за другой.

Марина появлялась к гостям только по зову или посмотреть на отца, который все еще держался на ногах, а потом уходила к себе в комнату, где и запиралась на крючок. Пьяный Евграф Павлыч, улучив минуту,

несколько раз пробовал, под шумок, незаметно пробраться к поповне, но каждый раз ему что-нибудь мешало: то зеленый поп подвернется, то пьяный Блохин. Раз Евграф Павлыч совсем был у цели и даже осторожно постучал в дверь поповне.

— Кто там? — окликнула Марина вполголоса.

— Это я, Маринушка... Отвори, словечко надо сказать.

— Я боюсь...

Без сомнения, еще четверть часа — и поповна отворила бы дверь. Евграф Павлыч клялся и божился после, что отворила бы, но как на грех притащился поп Андрон, схватил Евграфа Павлыча за ухо и увел к гостям.

— Сие не подобает, — строго заметил старик и погрозил своим коротким пальцем. — А то я тебе все ребра переломаю.

— Да ведь я так... мимо шел,— оправдывался Евграф Павлыч, как пойманный школьник.

— И мимо не ходи, да и другим закажи, поелику не подобает. Видел заседателя-то?

— Блохина?

— Ну, его самого... Так вот этот самый Блохин изъявляет свое желание обручиться с девицей, нареченной Мариной.

— Ну, уж этому не бывать, попище!.. Пусть поищет другую твой заседатель, а Марина его ногами затопчет.

— Не от нас это строится, Евграф Павлыч: кого господь укажет, за тем и быть Марине.

Это известие еще больше разгорячило Евграфа Павлыча, и он еще больше начал пьянеть от одной мысли о соблазнительной близости запретного плода. Ну, да ничего, только бы споить попов, а там все уладится само собой...

Это жестокое пьянство продолжалось ровно три дня и три ночи. Евграф Павлыч помнил, как сквозь сон, что поп Андрон преподнес им какую-то заветную наливку на каких-то травах — целую ведерную бутыль. Все пили рюмку за рюмкой, так что под конец у Евграфа

Павлыча заходили столбы в голове. Потом все как-то разом перемешалось, точно было подернуто дымкой.

На четвертый день Евграф Павлыч проснулся поздно. Голова у него трещала, как расколотая. Он долго не мог открыть слипавшиеся глаза, пока не повел рукой. Рядом с ним на подушке лежала другая голова. Евграф Павлыч быстро поднялся на постели и даже раскрыл рот от удивления: он лежал на какой-то необыкновенно широкой кровати, а рядом с ним спала поповна Марина. Да, это была она, вся розовая, в сиянье своих рассыпавшихся золотых волос...

— Где же это я? — старался припомнить Евграф Павлыч и потом ударил себя по лбу. — В Ключиках, у попа Андрона... ха-ха!.. Очень хорошо... Однако ведь это, кажется, комната Марины? Да, да, все были пьяны, потом... потом...

Марина проснулась и смотрела на Евграфа Павлыча заспанными, улыбавшимися глазами и нисколько не стеснялась своего нового положения, а даже потянулась, как кошка, и обняла его своей теплой, белой рукой.

— Здорово кутнули, — проговорил, наконец, Евграф Павлыч, напрасно стараясь припомнить подробности этой ночи. — Послушай, Марина, я тихонько вылезу в окно, а то, пожалуй, поп Андрон проснется, и тогда плохо будет...

Поповна ничего не ответила, а только быстро спрятала свое улыбавшееся, залитое румянцем лицо в подушку.

«Вот молодец девка!» — невольно подумал Евграф Павлыч, поцеловал Марину в крепкий затылок, точно затканный вившимися золотыми волосиками, и начал быстро одеваться.

Окна были завешены кисейными занавесками, но через них можно было рассмотреть, как по двору ходили какие-то люди (окна из комнаты Марины выходили на двор). Значит, бежать через окно нечего было и думать. Оставалась дверь, но за дверью в соседней комнате слышались чьи-то шаги и осторожное покашливанье.

«Ох, плохо дело, поп проснулся, — со страхом подумал Евграф Павлыч, не зная, как ему выбраться от ласковой поповны. — А, все равно, скажу, что попал сюда пьяный... ничего не помню... отлично!»

Евграф Павлыч приосанился, приотворил дверь и увидел в соседней комнате кипевший самовар, за самоваром «зеленого попа» и самого попа Андрона, который сидел на диване в больших серебряных очках и читал какую-то книгу в черном кожаном переплете. Деваться было некуда, и Евграф Павлыч вышел, немного сконфуженный.

— А, вот и ты, — весело заговорил поп Андрон и пошел навстречу к Евграфу Павлычу с распростертыми объятиями. — Ну, Евграфушка, давай поцелуемся.

Зеленый поп тоже показывал все свои гнилые зубы и тоже полез обниматься.

— Слава богу, слава богу! — повторял зеленый поп. — Поздравляем вас, Евграф Павлыч, с законным браком...

— С каким законным браком?

— А то как же? Изволили вчерашнего числа вступить в закон, — объяснил зеленый поп. — С радости-то, видно, всю память отшибло... Я вас и венчал, Блохин был свидетелем. Да...

— Да вы с ума сошли, простоволосые черти! — не своим голосом закричал Евграф Павлыч и только теперь припомнил, что действительно был в церкви вчера, горели свечи и т. д. — Это вы пьяного меня обвенчали?.. а?

— Полно шутить, Евграфушка, — серьезным тоном заговорил поп Андрон. — Не такое это дело... Я не навяливался с дочерью: сам в ногах ползал у меня да просил согласия.

— А где Федька?

— На погребице вместе с Блохиным лежат вторые сутки: зело угобзились...

Евграф Павлыч подумал, подумал, покачал головой и, наконец, проговорил:

— Ну, попище, перехитрил ты меня... да, ловко околпачил...

X

Свадьба была отпразднована на той же ноге в Ключиках, и празднество продолжалось целую неделю. В ознаменование торжества вся посуда в поповском доме была перебита влоск, переломана вся мебель, и, войдя в азарт, пьяные гости изорвали в клочья все платье друг на друге, так что для продолжения праздника из Кургатского завода была выписана целая партия киргизских азямов, которыми и прикрылась пьяная нагота. В этой свалке погиб и знаменитый зеленый подрясник запрещенного попа, обвенчавшего молодых.

Пока происходило все это неистовство, Евграф Павлыч послал Гуньку в завод с лаконическим приказанием: в три дня разнести девичью при господском доме до последнего камешка, а на ее месте разбить к приезду молодых цветник. Но как быть с Мотей и ее воспитанницами? Этот вопрос Евграф Павлыч никак не мог разрешить и оставил открытым до своего прибытия, хотя и побаивался молодой жены, которая оказалась с ноготком.

Впрочем, дело уладилось как-то само собой. Марина Андроновна, по приезде в Кургатский завод, даже и вида не подала, что знает что-нибудь о существовании девичьей и о той роли, какую играла в ней Матильда Карловна. С немкой встретилась она дружелюбно и даже сблизилась с ней.

— Я тебя, Мотя, не пущу, — заявила Марина, когда немка начала собираться восвояси. — Ты мне не мешаешь, а одной мне скучно... Живи у нас экономкой, а то я что же буду делать здесь без тебя? Ты все знаешь и все умеешь сделать.

Так немка Мантилья и осталась при господском доме, хотя Евграфа Павлыча в первое время немного и коробило, когда случалось обедать втроем.

В каких-нибудь полгода все в кургатском доме пошло на новую руку, хотя, повидимому, молодая сама ничего и не делала: рядилась, ела, спала — и только. Она оказалась какая-то равнодушная ко всему и часто не знала, чем и как убить время. Евграф Павлыч тоже

как-то вдруг притих и опустился, как проколотый пузырь, и даже начал заметно припадать на одну ножку, значит вступил в закон в самый раз. О прежней развеселой жизни, конечно, не могло быть и помину, и Евграф Павлыч рад был, как празднику, когда в Кургат навернется какой-нибудь новенький человек.

Однако, несмотря на свое видимое равнодушие, Марина успела пристроить всех девушек, воспитанных в девичьей, то есть наградила приданым и выдала замуж. Свадьба Матреши и Даши была в один день, а потом они явились со своими мужьями благодарить барыню за великую милость. Глядя на улыбавшихся молодых, Марина Андроновна легонько-легонько вздохнула и прослезилась.

— Нам и бога за вас не замолить, матушка-барыня, — объясняла бойкая Даша. — Как бы не вы, так уж и не знаю, что бы такое со всеми было...

— Кто старое помянет, тому глаз вон, — заметила Марина Андроновна и отпустила молодых с новыми подарками.

— Теперь только тебя, Мотя, осталось пристроить да Анфису, — говорила Марина Андроновна.

— Чего еще, нам нужно? И так проживем, — ответила Матильда Карловна и слегка зарумянилась.

— Зачем ты скрываешься от меня, Мотя? Я ведь все знаю... Погоди, выдам тебя за Ремянникова... Он ведь тебя очень любит, я знаю.

Всю подноготную кургатского господского дома Марина Андроновна знала через горбатую Анфису, которая быстро втерлась в доверие к барыне и, между прочим, рассказала роман немки Матильды и, кстати, свой собственный.

— Надо их женить, — решила Марина Андроновна. — Будет Федьке неокрученным шататься.

— Тоскует он, матушка-барыня, — вкрадчиво докладывала горбунья, стараясь подметить, как переменится в лице Марина Андроновна при этом намеке на милого дружка.

— А вот женится, так и перестанет тосковать... Мотя его приберет к рукам. Шелковый будет...

Ремянников бежал из Ключиков, как только проснулся после поповского угощения, и недели две вылежал в своем флигеле, сказываясь больным. Этот неожиданный оборот дела расстроил весь его план убийства барина: дело сделано, теперь не поможешь. Долго сидел Ремянников в своем флигельке, пил водку с Яшей и все думал о чем-то: упрется глазами в стену и молчит. Даже похудел от постоянной думы, — лицо осунулось, глаза ввалились, русые кудри скатались в одну шапку: не для кого их было расчесывать.

Яша-Херувим кашлял с каждым днем все сильнее, бросил пить водку и все молился: он таял, как свеча. Особенно тяжело доставались Яше бессонные ночи, когда все кругом стихало и только за печкой трещал сверчок свою бесконечную песню. Ремянников спал как убитый или уходил куда-нибудь. Однажды Яше сделалось особенно тяжело: душил страшно кашель, била лихорадка, в глазах мутилось. «Смерть приходит», — с ужасом думал больной и тихо заплакал. О чем он горевал? Родных у него не было, сначала он был певчим в церковном хоре, потом служил мальчиком в трактире и, наконец, попал в хор каких-то странствующих певчих. Так шел год за годом, вечное пьянство, беспорядочная холостая жизнь, тоска. Все это теперь перебирал Яша в своем больном уме, и ему делалось еще тяжелее: в этой пестрой, беспорядочной жизни не было ни одного светлого мгновения, ни одной радости.

— Свиньей жил... в грязи бродил... — стонал Яша, падая головой в подушку. — Давно пора умирать!

В Москве Яша познакомился с Матильдой Карловной, которая тогда жила еще с матерью. Она была такая беленькая, хорошенькая девочка, совсем еще молоденькая. Яше ужасно было жаль, что она убивается над работой в магазин, и захотелось остепениться, чтобы чем-нибудь помогать ей. В его душе затеплилось что-то вроде любви; но это чувство оборвалось в самом начале. В Москву приехал Евграф Павлыч и купил у матери маленькую немочку, а по пути

захватил с собой нескольких певчих для своего заводского хора. У Яши был еще голос, и он тоже поехал за своей немочкой куда-то в Сибирь.

Дальше... что было дальше — Яша затруднился бы рассказать даже себе самому: то же бесшабашное пьянство, вечное похмелье и непроходимое свинство. Да, все грехи да грехи, точно бесконечная паутина. Стояла уж осень, листья давно облетели с деревьев, и в саду с воем и свистом рвался холодный осенний ветер. Дождь то переставал, то начинал идти снова, и слышно было, как слезливо журчала вода по водосточной трубе. Неприятно, глухо, уныло было все кругом, точно не будет завтрашнего дня. Мысли в голове Яши начинали путаться, напал какой-то страх, и он тихо вскрикнул, но этот слабый, глухой крик испугал его еще более, точно возле него крикнул кто-то другой. Яша уже не в первый раз слышал этот крик и не узнавал собственного голоса. Теперь, охваченный паническим ужасом, Яша поднялся с постели и начал звать Ремянникова, который спал мертвым сном.

— Ну, чего тебе?.. а?.. — бормотал Ремянников сквозь сон.

— Федя, голубчик... страшно мне, — шептал Яша, наклоняясь над самым изголовьем спавшего друга. — Ты не слыхал ничего, Федя?.. По ночам кто-то у нас кричит... так и слышно, что под землей кто-то этак глухо стонет и опять молчит.

— Ну и пусть кричит... Эк тебя взяло, Яшка!.. Только спать мешаешь...

— Да ведь кричит, Федя... Это *он* меня зовет в землю. Ох, как страшно, Федя, умирать; темно кругом... холодно... а там страшный суд, за каждый грех должен ответ дать. Феденька, голубчик, прости ты меня, ради Христа, ежели я тебя чем обидел...

— Ты обидел меня? — удивился Ремянников; как он ни хотел спать, но мысль, что Яша мог кого-нибудь обидеть, заставила его расхохотаться. — Вот ты клопов, Яша, часто обижал; у них проси прощенья... Ха-ха! Обидел!.. Уж только и придумает!

— А вот и обидел я тебя, Федя, — упрямо продолжал Яша, с трудом прокашливаясь. — Помнишь попа-

то Андрона... когда он вас с Мариной в беседке застал? *Это я его подвел...* Феденька, голубчик, прости меня!..

Яша совсем упал на пол и несколько раз ударил лбом в знак полного раскаяния.

Это признание точно ужалило Ремянникова; он вскочил с постели и схватил Яшу за его худые, костлявые плечи.

— Яшка, так это ты подвел?.. а? — шептал Ремянников, начиная сжимать корчившегося в его руках Яшу.

— Я... прости, Христа ради... ой, больно!.. Ты мне добро делал, а я вот какую шутку устроил... Ох, Феденька, тяжело на душе... согрешил я против тебя...

Ремянников на минуту задумался, а потом спросил:

— Для чего тебе-то, Яша, нужно было подводить попа? Ведь ты меня зарезал... Да если бы я знал это раньше, я тебя тут же бы и задушил. Не видать бы тогда Евграфу Павлычу Марины, как своих ушей. Яшка, я и теперь задушу тебя...

— Убей, ну, убей... — беззащитно проговорил Яша, опуская руки.

— И убью... Ну, говори, кто тебя научил?.. а? Ведь это ты не своим умом придумал?.. а?

— Все скажу, Федя... Тогда пришла ко мне вот сюда во флигель Мантилья и велела ехать в Ключики; она и научила, как попа на тебя с Мариной подвести...

— Так вот кто... Мотька все устроила! — застонал Ремянников и в отчаянии рванул себя за волосы.

— Гунька тогда возил нас в Ключики-то, — продолжал Яша, припоминая свою поездку.

— Кого нас?

— Ну, нас: меня да Анфису... Сперва-то сама Мантилья хотела ехать со мной, да ей нельзя было.

— Вот оно что! — повторил Ремянников несколько раз, стараясь что-то припомнить. — Так... значит, и палевые голуби отсюда же прилетели! Ловко... Ну, я с ними со всеми расправлюсь.

— С кем это?

— А уж это мое дело...

— Ты, Федя, пожалуйста, не сердись на Мантилью-то: она ведь любит тебя, а это я виноват...

— Убирайся к черту!

Ремянников крепко призадумался. Он два дня ходил из угла в угол по своей комнате, два дня не ел и не пил и, наконец, куда-то исчез.

Как-то утром Евграф Павлыч с молодой женой пил чай в столовой. Марина Андроновна была свежее весеннего утра и в своем кружевном утреннем пенюаре выглядела настоящей русской красавицей.

— Ремянников желает видеть вас, — докладывала горбатая Анфиса.

— Пусть идет. Что за доклады? — грубо ответил Евграф Павлыч. — Что-то давненько я его не видал: совсем извелся парень... Все неможется ему что-то.

Когда горбунья ушла, Марина Андроновна проговорила с лукавой улыбкой:

— А вот мы его вылечим скоро... У меня лекарство есть от его болезни.

— Какое такое лекарство?

— Да уж такое!.. Федор давно ведь был влюблен в Мотю...

— В самом деле? Вот это интересно. А я и не подозревал ничего! Скажите пожалуйста...

— Мало ли ты чего не знаешь.

— Да, да... гм... Это бывает иногда. Что же, с богом...

В этот момент в столовую быстро вошел Ремянников и на мгновение остановился в дверях. Он был так бледен, что Марина Андроновна испуганно посмотрела на мужа и сделала невольное движение уйти, но Ремянников твердой походкой подошел прямо к ней и повалился в ноги.

— Федор, что ты, что ты? — испугалась совсем Марина Андроновна.

— Марина Андроновна, прости меня... — проговорил Ремянников, не поднимая головы.

— Что с тобой, Федя? — спрашивал Евграф Павлыч.

— Прикажите меня связать, Евграф Павлыч... — глухо ответил Ремянников, поднимаясь на ноги. — Там, в саду... где стояла девичья...

В саду, на мокрой земле, между клумбами почерневших и высохших цветов, валялся обезображенный труп Матильды Карловны: несчастная девушка была засечена нагайкой и представляла теперь безобразный кусок страшно избитого мяса, так что на спине сквозь клочья одежды белели кости.

БЛАЖНЫЕ

Очерк из заводских нравов

I

Яркий солнечный день. В большие запыленные окна заводской конторы врываются снопы ослепляющего света и делают еще неприглядное мертвую, казенную обстановку длинной и высокой комнаты, именуемой бухгалтерской. Голые, беленые стены с паутиной по углам, избитый в ямы тысячами тяжелых ног деревянный пол, захватанные грязные двери, покрытые больничной клеенкой письменные столы с грудами книг и бумаг, просиженные деревянные стулья, и везде пыль, сор и грязь, как это бывает только в полицейских управлениях да еще в заводских конторах. Ликующий солнечный свет делает еще ярче убожество этой специфической обстановки и заставляет кружиться в воздухе мириады пылинок, точно и самый воздух здесь насыщен грязью. Тяжелая деревянная решетка с пузатыми балясинами разделяет бухгалтерскую на две половины; в первой, которая ближе к входным дверям, вечно толпятся запеченные мастеровые в пеньковых пряденниках и в кожаных фартуках-защитках, углежоги, транспортные и разная «поденщина», а во второй — за столами восседает администрация. Открытая внутренняя дверь ведет в кассирскую, такую же пустую и унылую комнату, где в вечном молчании движется

сгорбленная фигура седого коренастого кассира. На меня все эти заводские конторы производят самое тяжелое впечатление, потому что от них отдает и больницей, и острогом, и чиновничьей канцелярией, и крепостными порядками. Да, эти голые стены много-таки видали всякой всячины на своем веку и теперь напоминают собою внутренность старинных стенных часов с разными хитроумными кунштюками вроде кукушки, ворочающего глазами льва, хриплого боя, и с тяжелыми гирями, где медленно двигаются десятки почерневших от времени колес. В часах бухгалтерской десяток согнутых над бумагами фигур заменяли собой колеса и шестерни, а сам бухгалтер, очень мрачный и неразговорчивый человек, служил свинцовой гирей, которая заставляла двигаться весь механизм.

От нечего делать я частенько захаживал в бухгалтерскую выкурить папиросу и покалякать с служащими об охоте и разных мелочах сложного заводского быта. Черемшанский завод имел семь тысяч населения, но общественных интересов здесь не полагалось, кроме обычных дрязг глухой провинциальной жизни — именин, карт, выпивок, разных анекдотов и просто сплетен. Обстановка самая затягивающая, и самый свежий человек быстро обрастает в ней мхом. Охота является единственным спасением, и почти все заводские служащие, или, по-старинному, служители, — поголовно охотники. Даже сам неприступный бухгалтер, Семен Павлович Середкин, работавший как железная машина, и тот оживлялся, когда речь заходила об охоте; в свободное время, когда в страду заводские работы останавливаются, он с ружьишком тоже шатался по лесу, благо место было глухое и дичи всякой вполне достаточное количество.

Раз светлым июньским вечером, когда ввиду предстоявшей страды в конторе шел особенно оживленный разговор об охоте, к решетке чрез толпу дожидавшихся рабочих протолкался мужчина среднего роста, одетый в потертое драповое пальто. Его большая седая голова с развитым лбом и большими серыми глазами невольно кидалась в глаза, хотя при ближайшем «рассмотрении» производила неприятное впечатление:

разбухший с синеватыми жилками нос обличал пьяницу, такие же жилки были на дряблых осунувшихся щеках, под глазами отвисли водянистые мешки, остановившиеся выкаченные глаза смотрели, как у амфибий, тяжелым неморгающим взглядом. Прибавьте к этому еще то, что все лицо подергивалось конвульсивной судорогой.

— А, Палач пришел... Палач!.. — зашептались служащие и выжидающе смотрели на Семена Павловича, который продолжал рассказывать об убитой им тетерке и делал вид, что не замечает Палача.

А Палач как остановился глазами на бухгалтере, так и застыл в одной позе, точно по меньшей мере хотел проглотить его. Кончив свой рассказ, Семен Павлович повернулся к столу и уткнул нос в свои бесконечные бумаги. Кто-то из молодых фыркнул в горсть, но это не нарушило немой сцены. Рабочие давно переглядывались между собой и толкали друг друга локтями.

— Ваше высоко-ничего, позвольте мне два листа бумаги... — заявил, наконец, Палач хриплым голосом.

— Для чего тебе бумаги? — после долгой паузы спросил Семен Павлыч, не поднимая головы от работы.

— А на тебя прошение на чем буду писать?

— Какое прошение?

В толпе рабочих и служащих происходит движение, все ждут, что̀ сморозит Палач бухгалтеру.

— Обыкновенное прошение... Ты у меня душевное зеркало украл. Вот я и хочу подать прошение на тебя обер-протосингелу святейшего сената.

Слышится сдержанный смех, на лицах блестит улыбка; один Семен Павлович невозмутим попрежнему и продолжает выставлять ряды цифр в какой-то бесконечной заводской ведомости. У него была уж такая привычка, что непременно заставит всякого подождать, даже самого заводского управителя. После бесконечной паузы он откуда-то из-под стола достает два листа бумаги и, не глядя, тычет их Палачу. Взяв бумагу и свернув ее трубочкой, Палач торжественно направился

к выходной двери, но вернулся с полдороги и опять обратился к бухгалтеру:

— У меня свадьба, Семен Павлыч... прошу не оставить своей милостью.

— Какая свадьба?

— Налим на белке женится... Уж милости просим к большому столу.

— Где свадьба-то будет?

— Под девятой сваей у бучила...

Улыбнувшись кривой торжествующей улыбкой, Палач выходит и сильно хлопает дверью. На улице встречают его ребятишки, приносившие на фабрику работавшим отцам и братьям обед; слышатся детские голоса: «Палач... Палач!.. Жирно съел!..» В ответ раздается площадная брань, и Палач с поднятой палкой бросается на ребятишек, которые удирают врассыпную, как стая воробьев от брошенного камня. В конторе все бросаются к окнам и надрываются от смеха, любуясь, как Палач на всех парах летит по площади с палкой в руке.

— Уж этот Палач всегда штуку уколет, — говорит кто-то в толпе служащих. — Душевное зеркало потерял... ах, прокурат!..

— Что это за Палач? — спрашиваю я Семена Павлыча.

— Так... блажной, — нехотя отвечает бухгалтер. — Давно уж с ума он спятил, а теперь так болтается по заводам.

— Зачем его Палачом называют?

— Заслужил, значит, если все зовут... Прежде при крепостном праве хуже зверя был. Надзирателем служил... Страсть сколько народу передрал и драл насмерть. И теперь еще не забыли его-то музыку... Может, из-за него сколько народу в остроге сгнило да в бегах по лесам пропало. Сорокоумов еще тогда главным управляющим был, такая же медвежья лапа была, — ну заодно и гноили народ. Лют был драть этот Палач, изо всех отличался. А как воля подошла, ему и отказали... Дело было у него в суде о двух запоротых мастеровых, ну при старых еще судах было,

отвертелся как-то. Оставили в подозрении — и только... С тех пор и тронулся.

— Что же он теперь делает?

— А так — болтается по заводам да блажит: где переночует, где покормят, где пятачок подадут... Все, что было нажито, промотал, а теперь так — художествами разными промышляет да комедии разыгрывает. Прошения писать мастер, уж такой мастер, что этакого и не найти... Куда угодно наваляет. Ведь он только прикидывается дураком...

— А какое он душевное зеркало потерял?

— Да так, врет... Вы его сами поспросите, он, ничего, любит поговорить, особенно если немножко подвыпьет.

— Семья есть?

— Какая семья... Трех жен в гроб заколотил. Чистый зверь, одним словом, не приведи бог. И что только он над своими женами не выделывал, как не галился...[1] Зверски тиранил. А ребятишек, бывало, всех за окошко сонных повыкидает. Последнюю жену прямо в запой вколотил: поставит перед ней полштоф водки, зарядит ружье, взведет курок и прицелится в жену; пока та всего полштофа не выпьет, не отойдет. Так и спилась бабенка...

Этот Палач очень заинтересовал меня, как характерный обломок крепостного режима на уральских горных заводах; он мне напомнил другого блажного, проживавшего в Черемшанском заводе и известного под именем Борьки. Мне вдруг сделалась ясной целая полоса заводской жизни, которая ранее только поражала своими резкими противоречиями.

II

Я жил недалеко от фабрики, на берегу пруда. Каждое утро Борька проходил мимо и непременно остановится. Встанет перед окном, тряхнет лохматой головой и забормочет:

---

[1] Галиться — насмехаться. *(Прим. Д. Н. Мамина-Сибиряка.)*

— Приказываю... сорок восемь серебром... Начальство... нельзя.

— На фабрику идешь, Борька?

— Иванычи робят... нельзя... начальство. С меня спросят...

— Да кто с тебя спросит?

— Управитель ведь я... как же... за Иванычей спросят. Начальство... нельзя.

Борька был тоже блажной, но совсем в другом роде, чем Палач, начиная с самой наружности. Юркий, маленький, озабоченный, Борька вечно куда-нибудь торопился, и даже свой армяк носил таким образом, точно второпях не успел его хорошенько надеть — армяк вечно валился у него с плеч. Его немного птичье лицо с быстрыми темными глазами никогда не улыбалось; волосы были спутаны в какую-то кошму, а обтрепанную баранью шапку Борька и лето и зиму носил в руках. Говорил он плохо и бессвязно, так что трудно было проследить нить его больной, свихнувшейся мысли. Ясно было только одно, что он, Борька, заводской управитель, начальство и должен за всех отвечать. В церкви Борька вставал всегда на первое место, торжественно встречал приезжавшее начальство в Черемшанский завод и неизменно провожал каждого покойника на кладбище.

— Нельзя, Иваныч умер... Похоронить Иваныча приказываю... сорок восемь серебром...

Всех мужчин Борька называл Иванычами; женщин он не любил, называл «браковками» и при встрече с ними плевался. Проживал он из милости у разных добрых людей из заводского купечества; его любили за незлобный характер и за то, что Борька ужасно был богомолен — никогда не пропустит ни одной церковной службы и постоянно кладет земные поклоны.

Раньше, как рассказывали, Борька был совсем здоровый человек и работал на фабрике. Это было еще в крепостное время. Может быть, он работал бы и теперь, как самый исправный мастеровой, но его погубило совершенно случайное обстоятельство. На фабрике, где работал Борька, пропали какие-то медные «подушки» от колеса, и Борька очутился в числе

заподозренных в краже. Это и нарушило душевное равновесие Борьки, потому что впереди предстояла жестокая казнь. Борька начал задумываться, — думал, думал и в одно прекрасное утро открыл, что он-то, Борька, и есть главное заводское начальство. Таким образом для него разрешился вопрос не только об украденных медных подушках, но вопрос всего тогдашнего порядка: начальство — и конец делу, все ясно, никаких сомнений. Если Палач тронулся от избытка власти, то Борька, наоборот, от слишком бесправного своего положения. Он кончил тем, чем иногда кончают слишком униженные и оскорбленные, — он помешался на той самой власти, которая кругом давила все и вся.

— Я управитель... — бормотал постоянно Борька, размахивая своей бараньей шапкой. — Иванычи, постарайтесь для начальства... нельзя... за всех отвечать должон...

В качестве прямого заводского начальства Борька ежедневно отправлялся на фабрику и непременно обходил все «действия». Странно было видеть этого сумасшедшего в царстве огня и железа, где самые машины, кажется, были преисполнены мысли и вели свою работу вполне сознательно. Борька торопливо осматривал все корпуса, размахивал своей шапкой и оставался доволен работой Иванычей. Рабочие любили Борьку и устраивали ему разные сюрпризы: то встретят у входа в корпус без шапок, то выстроятся в две шеренги и начнут кричать «ура», то, наконец, примутся качать импровизированного управителя на руках.

— Спасибо, Иванычи...—серьезно благодарит Борька. — Не забывайте начальства... Нельзя, Иванычи, сорок восемь серебром...

Нужно было видеть лицо Борьки в эти моменты: оно точно все светлело и прояснялось, а глаза просто сияли блаженством. Вообще, можно сказать, что Борька, посвоему, был совершенно счастлив и придуманной фикцией разрешал неразрешимый вопрос... Только раз Борька чуть не потерпел поражения от нового черемшанского управителя из русских немцев, который почему-то невзлюбил сумасшедшего и даже не велел пускать его на фабрику. Когда Борька явился утром для

осмотра своих владений, сторож загородил ему калитку, через которую входили на фабричный двор.

— Не видишь, браковка, кто идет... — заревел Борька, оттолкнул сторожа и как ни в чем не бывало отправился осматривать заводские «действия».

Доложили настоящему управителю, который рассердился и велел вывести Борьку силой. Но последнее было исполнить не так-то легко — Борька защищался с большой ловкостью, ругался и ревел, как бык, пока человек десять здоровенных мастеров не вынесли его на руках. На следующий день повторилась та же история и т. д., пока настоящему управителю не надоело возиться с сумасшедшим. Таким образом, Борька отвоевал свою власть и ходил по фабрике, с усиленной дерзостью ругая всех браковками.

— В острог посажу всех... — ворчал Борька на Иванычей. — Позабыли начальство... приказываю...

Эти два блажных составляли типичное воспоминание о минувших крепостных порядках на уральских горных заводах.

В темное время до 19-го февраля на каждом заводе было несколько таких блажных, составлявших неотъемлемую принадлежность тогдашних заводских порядков. Были и дураки и дуры; иногда в одном только заводе их считалось больше десятка. Замечательно то, что вместе с наступившей волей быстро начал вымирать и этот жалкий тип, созданный специальными условиями крепостного быта, — теперь по заводам редко где встретишь одного, много двух дураков, да и те большею частью старики, следовательно самое законное наследство еще крепостничества. Происхождение таких дураков именно в то время вполне понятно, потому что нигде в таких жестоких формах не выразилось крепостничество, как на горных заводах. Собственно, это была каторга, только бессрочная, без всякой выслуги лет, создававшая на одном конце Палачей, свихнувшихся от избытка власти, и на другом — Борек, терявших последнюю каплю рассудка от своего больше чем рабьего положения.

Здесь интересно отметить тот факт, что параллельно с полосой крепостных дураков и дур тянулась другая

аномалия, именно, специально заводские крепостные разбойники. В разбойники шли исключительно энергичные натуры, какие создаются в такие жестокие времена слишком исключительными бытовыми условиями и служат живым протестом существующему порядку. Каждый почти горный завод на Урале имел таких разбойников, прославившихся громкими подвигами; теперь имена этих ярких протестантов окружены легендарными сказаниями и сделались достоянием народной фантазии. Замечательно то, что все эти заводские разбойники, переходившие в нелегальное положение, исчезли сейчас же после 19 февраля, когда рушились создававшие их условия: не стало фабричной и приисковой каторги, не стало и разбойников...

Тип крепостных дураков, как все менее рельефное и яркое, оказался живучее и доживает теперь свои последние дни в виде живого памятника о «добром старом времени».

III

С Палачом я познакомился на заводской плотине, где он по утрам удил рыбу. Я подъехал на душегубке и тоже закинул удочки недалеко от него. Было еще рано, пруд дымился белым волокнистым туманом, который расползался под лучами солнца во все стороны. Сейчас за плотиной глухо грохотала фабрика и долетали окрики рабочих. Где-то визжала пила и гудел тяжелый обжимочный молот, жулькавший сырую чугунную крицу... Из красной стены «машинной» вырывались с хрипеньем белые клубы таявшего в воздухе пара, как лихорадочное дыхание измученного животного. Рыба брала плохо, точно на зло всем благоприятным приметам; наплавки лежали в воде, как заколдованные.

— Ишь, дворяне... не хотят своего дела знать! — ворчал Палач, вытаскивая из воды пустую удочку и насаживая на крючок самого «веселого» червяка. — Зазнались, господа помещики...

Палач был в своем обыкновенном костюме и находился по обыкновению в самом ожесточенном на-

строении духа; мне было видно его фигуру только сбоку. Чтобы завязать разговор, я попросил у него червяка повеселее.

— У меня все, дьявола̀, веселые будут... — засмеялся Палач, подавая на своей широкой ладони кружившегося спиралью червяка. — Слово такое знаю... Дайте я его, подлеца, сам вам насажу!

Палачу доставляло видимое удовольствие продевать через корчившееся от боли тело стальной крючок, и я предоставил ему это проделать лишний раз. Мы помаленьку разговорились.

— Вы ему в глаза наплюйте, подлецу... — советовал Палач, передавая мне совсем готовую насадку. — Веселее будет в воде играть... У, дворянин! Помещики нынче все сделались.

— И черви?

— И черви... А то как же? Вот скоро и червям земство, да окружные суды, да школы устроят... ха-ха! Вы как полагаете на этот счет? Тогда никто не смей пальцем пошевелить его, червяка-то... Вот оно как! Ох, показал бы я вам, какие помещики да дворяне бывают!..

Палач сжал кулак и даже заскрипел зубами; одно удилище у него сорвалось в воду и тихо поплыло к плотине, но Палач добыл его голой разутой ногой, как обезьяна.

— Вы теперь, собственно, чем занимаетесь? — спросил я, чтобы поддержать интересный разговор.

— Я-с?.. А вот думаю устроить на этом самом пруду кабак... Понимаете: подвижной кабак. Да... Теперь мужик должен ходить к кабаку; трудно, я думаю, мужику-то беспокоить себя на дворянском-то положении, а тогда кабак к самому рылу подплывет: «Выкушайте, ваше благородие...»

— Как же вы устроите кабак на воде, собственно?

— А очень просто-с... От земства выхлопочу пособие за изобретение, а там сенат привилегию даст — вот и кабак готов. Надо же и мне чем-нибудь жить... Прежде трехрублевыми бумажками трубку раскуривал, а нынче волка ноги кормят. Настоящую фабрику сгоревших от вина заведу, и медаль выдадут... ха-ха!

— А душевное зеркало?

Палач взглянул на меня своими остановившимися глазами и нахмурился: очевидно, мой вопрос был невпопад. Мы удили несколько времени молча.

— Что душевное зеркало... душевное зеркало — особь статья, — задумчиво заговорил Палач, глядя в сторону. — Ежели бы из вас печенки выняли или вот этак на крючок посадили, как червя, — как вы насчет этого понимаете?

— Скверно в том и другом случае...

— То-то вот и есть, — как-то обрадовался Палач. — А без душевного зеркала еще хуже... Было душевное зеркало, все в него как на ладонке видно, а тут вдруг не стало. Темнота... дворянство... А кто же работать будет... а?.. Кто начальству повиноваться? Кто по острогам будет сидеть?.. Плачут о вас, о дворянах, палки-то... давно плачут! Погодите, только найти бы мне душевное зеркало, показал бы я им, откуда ноги растут...

Палач дико захохотал, как хохочут трагические актеры. Он был прав: ничего нет хуже, как потерять «душевное зеркало» и вместе с ним всякую надежду когда-нибудь снова найти.

IV

В Черемшанском заводе мне привелось прожить целое лето. В августе началась скверная дождливая погода, значит наступила пора уезжать. Назначен день и час отъезда, чемодан уложен. Ничего нет хуже этого неопределенного положения, которое остается до решенного отъезда, когда ничем не можешь заняться и вообще чувствуешь себя прескверно. Наконец, и лошади поданы, садишься в экипаж — слава богу, поехали. Грязь по колено, повозка грузно оседает в разъезженных колеях, лошади с подвязанными хвостами уныло шлепают копытами по разведенной, как кисель, грязи. А с серого печального неба так и сыплется мелкий, как водяная пыль, беспощадный и всепроницающий дождь, который зарядил надолго. Одним словом, настоящее ненастье, которое нагоняет тоску даже на свиней.

Повозка спускается с горы, где стоит церковь, на плотину, катится мимо заводской конторы, направо мелькают ряды дрянных деревянных лавок, составляющих в совокупности «базар».

— А-ах, ешь тебя волк!.. — ругается ямщик, осаживая тройку.

Начинается медленное слезание с козел, еще более медленное хождение вокруг экипажа, чесание в затылке, крепкие русские слова сквозь зубы и в результате оказывается, что старый изгоревший ременный тяж лопнул.

— Не ворочаться же назад, — протестую я.

— Пошто ворочаться... На вот!.. Еще умной тяж-от был, вишь, догадался, где лопнуть, супротив самого базара... Веревочку надо будет прихватить, вашескородие, живой рукой оборудуем!..

Подъезжаем к крайним лавкам и останавливаемся. Экипаж окружают прасолы и приказчики, качают головами, хвалят умный тяж, бранят кучера, дают советы и т. д. Коренника выпрягают, и начинается бесконечное налаживание варовинного тяжа; торгашам делать нечего, и они принимают самое деятельное участие в этой работе. Я смотрю от нечего делать по сторонам. У одной лавки играют двое в шашки, у другой седой старик с хлыстом гоняется за голубями, вообще тоска и скука смертная, и всякий старается как-нибудь убить ненавистное время. Покупателей нет, но дома делать тоже нечего — вот и сидят. На выручку умирающей от тоски публики из-за угла появляется Палач, и сейчас же начинается травля.

— Жирно съел... жирно съел!.. — кричит седой старик, гонявший голубей.

Палач устал, продрог, вообще измучен и едва вытаскивает из липкой грязи свои голые ноги, так что едва отвечает на задиранье легкой руганью и каким-то рычаньем. Но в этот момент с другой стороны торопливой походкой приближается Борька и, конечно, несет шапку в руке. Два дурака разом — это уж целое спасение от гнетущей всех тоски. Как над всеми блаженненькими, над Борькой все любили проделать какуюнибудь веселенькую штучку, без чего русский человек

как-то не может обойтись, хотя и питает большую слабость ко всем блажным и тронувшимся. Над Борькой потешались те же самые люди, которые заботились о нем. Но больше всего ему доставалось на рынке от заводских торгашей, сходивших с ума от безделья: здесь первым делом, конечно, выучили Борьку пить водку, ругаться непечатными словами и т. д. Рассердить Борьку было довольно трудно, но если он выходил из себя, то лез драться к первому встречному с пеной у рта. Обыкновенно, как все тронутые люди, Борька «стервенился» из-за сущих пустяков, что и было особенно любопытно базарным Иванычам.

— Палач, Борька украл твое душевное зеркало!.. — послышались натравливанья с нескольких сторон разом.

Палач как-то жалко моргает своими остановившимися глазами и, повидимому, не имеет никакого желания травить Борьку; он в своих отрепьях походит на ошпаренную когда-то веселым поваром бездомную уличную собаку, у которой один бок совсем голый, а на другом шерсть торчит скатавшимися клочьями.

— Борька, на твое место управителем сделали Палача... — травят с другой стороны Борьку.

Но блажные слишком промокли и устали и не поддаются на закидываемую удочку. Тогда седому старику, забавлявшемуся голубями, пришла счастливая мысль.

— Эй, ребята, перенесите-ка вот решетку в ту вон лавку, — просит он блажных. — По калачику дам за работу...

Дело не трудное, потому что в решетке лежит всего несколько мешков из-под муки. Блажные немного поломались, но потом согласились, что и было нужно. Не успели они отойти с решеткой десяти шагов от лавки, как седой старик закричал:

— Борька, а Борька... ведь Палач-то надувает: ты один несешь решетку, а он так идет...

Борька остановился и вопросительно посмотрел на своего партнера: остроумная мысль никак не укладывается в его затемненном мозгу, и он, видимо, начинает подозревать Палача в мошенничестве. Вдобавок Палач улыбается самым нахальным образом.

— Иваныч, нехорошо... приказываю... — бормочет Борька и трогается в путь, но его опять останавливают.

Начинается настоящая травля. Блажные сначала спорили, потом принялись ругаться и кончили жестокой дракой, покатившись, к удовольствию публики, прямо в грязь. На меня эта сцена произвела самое тяжелое впечатление: около пустой решетки валялись в грязи с неистовым ревом две половины отошедшего в вечность крепостного уклада...

Остается вопрос: навсегда ли миновало время людей, потерявших свое «душевное зеркало» в той или другой форме? Полагаю, что нет, по крайней мере это верно для мудреной заводской жизни, где на каждом шагу такая масса противоречий... Конечно, героические времена заводской каторги канули в вечность, но, с другой стороны, мимоидущее время, чреватое всяческими сюрпризами, несет много новых бед и зол. Но об этом в другой раз.

ДЕШЕВКА

Из летних экскурсий по Уралу

I

Горячий июньский день стоит над бесконечной холмистой равниной. Вон разлилось небольшое озерко; из него ниточкой сочится какая-то безыменная речушка и постепенно теряется на горизонте, сливаясь с рекой Исетью. С высоких мест, куда взбирается дорога, можно рассмотреть до десятка селений: все такие большие, хорошие деревни, какие умеют строить в Зауралье, где-нибудь в Шадринском или Камышловском уезде. В хорошую погоду прокатиться по этим местам доставляет одно удовольствие, особенно мягкой проселочной дорогой, по какой мне приходится теперь ехать.

Но, несмотря на хороший солнечный день и на красивое место, как-то все кругом так тяжело и грустно выглядит, точно жизнь придавлена какой-то невидимой карающей рукой: в деревнях пусто, в поскотинах не видно скотины, шахматная скатерть бесконечных полей вблизи представляет самую жалкую картину — чахлые, редкие озими с белесоватыми пролежнями и плешинами, яровые, точно подбитые молью, и везде плохая, бессильная трава. Знаете ли, читатель, страшное слово, которое превращает самую цветущую страну в жалкую пустыню? Это слово: голод... Вот именно это ужасное слово и пронеслось над этими благословенными равни-

нами, и вы начинаете чувствовать, что в самом воздухе невидимо веет что-то предательское, стихийно-злое, неизбежное и страшное по своей неотвратимости. В воздухе больше нет животворящей силы; солнце бессильно оплодотворить онемевшую в тяжелом сне землю, и человек является таким жалким и печальным ничтожеством, самые отчаянные усилия которого бороться со стихийным злом разлетаются как дым при одном дыхании какого-нибудь губительного северо-восточного ветра... Именно, глядя на эти мертвые поля, на печально смолкнувшие деревни, на покорно унылые лица, начинаешь чувствовать приступы того глухого отчаяния, которое так же стихийно, как разлитая в воздухе небесная кара. Да, голод — ужасная вещь...

Пара заморенных лошадей едва тащит мою плетенку, старик ямщик с каким-то озлоблением хлещет их кнутом, ругается привычной ямщичьей руганью и как-то бессильно горбится на облучке, опуская веревочные вожжи на произвол изморенной скотины.

— Дедко, зачем напрасно бьешь лошадей?

— А как их не бить-то, кыргыцких дьяволов?.. Эх, не глядел бы!..

— Изморили скотину?

— Какая скотина, барин!.. Коровенок-то прирезали еще с осени, лошадей которых получше распродали, а вот эти остались. Да ну, штобы вас расстрелило!.. Думали, урождай господь пошлет, а он вон какой урождай-то вышел... Мужики в заработки пошли, а по деревням одно убожество осталось: все одно пропадать.

— Отчего же у вас неурожай, дедко?

— А за грехи господь наказывает: за самовары, да за ситцы, да за наше баловство... Земство вон деньги выдает, а разе тут такое дело, штобы божий гнев целковым прикрыть! Не-ет...

Старик повернулся ко мне лицом и засмеялся горьким смехом, как смеются над самим собой. Это был худой сгорбленный мужик с выдавшимися лопатками и коричневой, изрытой глубокими морщинами шеей; желтоватая седина придавала его скуластому лицу суровый вид, и странно было видеть на нем эту саморазъедающую улыбку.

— Болтают: снега, вишь, нонишнюю зиму выдуло с горовых мест; ну, петровки холодные стояли, по низинам мокло все, — а все это сущие пустяки, барин... — продолжал в том же тоне старик, позабыв о лошадях.— Прежде бабы всю семью своей пряжей одевали, а ноне ситцы пошли... в лучшем виде, как же! Мужики по кабакам, а бабы за самоварами. А господь-то батюшко глядел-глядел на нашу подлость, да свою милость и послал: это не голод, барин, а милость господняя, штобы народ опамятовался, на прежнюю точку встал... А они хотят деньгами милость-ту божью извести! Што деньги для мужика: сор, и больше ничего. Прежде и званья не было этих самых денег, а гли-ко, как жили-то: тысячами хлеб лежал по сусекам у самых простых мужиков. А ноне все выдуло!

— Кто же, по-твоему, виноват, дедко?

— А все виноваты... Прежде хлеб-то залежный, бывало, и вызволит мужика, а ноне деньги выдают: мужик от этих самых денег в разор пошел, а они ему еще деньги суют — на, поправляйся, милый, на другой бок.

— Куда же хлеб у мужиков ушел?

— Куда? А вон жратва-то наша стоит: день и ночь наше мужицкое добро жорет...

Сердитый старик указал направо, где около речки дымился только что отстроенный винокуренный завод.

— Закржицкого завод? — спросил я, рассматривая «жратву».

— Нет... это из ваших городских проявился какой-то новенький, фамилием-то Сережкин прозывается, Иван Иваныч. Закржицкий-то Карла Иваныч будет, а это Иван Иваныч... из русских. А только и дошлый барин издался, Иван-то Иваныч...

— А что?

— Да как же: из картошки да из корья, бают, водку гонит, такую машину наладил, што из чего хошь водку произведет. Ну, это, я так полагаю, больше для отводу глаз, а где же без нашего хлеба... Страсть сколько эти винокурни лопают нашего добра, а мужик все везет да везет, потому он одурел от денег, осилили они его.

— Ты вот говоришь, дедко, что нынче неурожай от ситцев да от самоваров; а прежде отчего неурожаи бывали?

— Как прежде-то?

— Да хоть после Крымской войны взять, большой голод был.

— Это точно, настоящий неурождай был, только там опять своя причина: хлебом божьим даром зачали свиней кормить; ну, господь и нашел — послал милости... Теперь за ситцы да за самовары, а тогда за свиней. Верно говорю...

Этот разговор меня заинтересовал, хотя я слышал его уже раньше в несколько ином варианте; мы незаметно проболтали до самой деревни Болтиной, где нужно было менять лошадей. Деревня была большая, дворов до полутораста, и видно было, что здесь живет народ по-крестьянски богатый, хотя в настоящую минуту все было пусто и мертво, и даже не выбежали навстречу собаки. У самого въезда в деревню красовалась новенькая тесовая избушка с приколоченной над дверями елкой.

— Вишь ты... а?.. — удивился старик, почесывая затылок. — Это Карла Иваныч приспособил кабачишко болтинским мужикам... Ловко! Они, вишь, с зимы зарок дали, чтобы решиться водки, и приговора не дали на кабак, а вон оно што вышло-то... Старый кабак уничтожили, а тут новый вырос. Неустойка, надо полагать, у мужиков-то вышла... Охо-хо-хо!..

II

В Болтиной мне пришлось подождать, пока искали лошадей по всей деревне: у кого лошади были в поле, у кого на работе. Мы остановились у одного из состоятельных мужиков, и, в ожидании лошадей, я заказал поставить самовар. Дома были одни бабы да какой-то кривой старик, оказавшийся приятелем моему ямщику.

— Живой рукой сгоношим... — бормотал кривой старик, втаскивая мои вещи в избу. — У нас тоже один

барин стоит... не барин, а подрушный Ивану Иванычу-то. Может, слыхал?

— Сережкину?

— Он самый и есть... Третий день стоит у нас.

В чистой, большой избе, в переднем углу, на лавочке были разложены в купеческом порядке дорожные вещи: бухарский коврик, кожаный саквояж с медными застежками, зонтик, красная подушка и т. д. Видно было, что «подрушный» Сережкина человек аккуратный, на купеческую руку.

Изба была хоть куда — высокая, светлая, с расписанными косяками и беленой печью; в одном углу болталась пустая «зыбка», в другом на конике была сложена конская сбруя. На печке охала седая старуха, а самовар «налаживала» молодайка, некрасивая костлявая баба, бывшая на сносях. Она сильно стучала босыми ногами по голому полу и смотрела в сторону, точно сердилась.

— Ну что, скоро лошади будут? — спросил я кривого старика, когда самовар уже был на столе.

— Живой рукой оберну, живой рукой... Тебе куда требовается ехать?

— В Липовку.

— В Липовку? Ну, так я живой рукой... Молодятнику-то никакого не осталось, так видно уж мне, кривому, придется ехать с тобой. Ничего, даром што кривой — прежде добрые люди не обходили.

Действительно, скоро перед окнами появилось два тощих одра, вроде тех «кыргыцких дьяволов», на каких я приехал в Болтино. Около лошадей неумело суетился сам кривой старик Онисим; ему помогали Тит, мой бывший ямщик, и двое ребятишек лет по девяти — кто тащил дугу, кто вожжи, кто седелку. Одним словом, работа кипела не на шутку, и я уже предвкушал удовольствие выехать из деревни «живой рукой». Но в самый разгар работы, когда Онисим уже занес было дугу на коренника, он бросил все дело и опрометью бросился в избу. Ребятишки тоже исчезли, а около лошадей остался один Тит.

— Что такое случилось? — спросил я молодайку,

которая улепетывала из избы с каким-то деревянным жбаном в руках.

— Ох, недосуг, баринушко! — откликнулась молодайка уже из сеней, и слышно было только, как она загремела своими босыми ногами по лесенке в двор.

Я подошел к окну и увидел, что со всех сторон неслись старики, старухи, бабы, ребятишки с разной посудиной в руках, и все в тот конец деревни, где стоял новый кабак.

— Ишь, как взяло!.. — ворчал Тит, задумчиво почесывая в затылке обеими руками. — Ох, язви вас, оглашенных!

— Что такое случилось, Тит? пожар?.. а?..

— Дураки, вот што... а... штоб тебя ущемило! Видел новый-то кабак? Ну, так сиделец дешевое вино объявил: по четыре копейки шкалик. Раньше было оно по шесть копеек, а теперь вдруг четыре объявилось. Ну, народ и рванулся...

— Да зачем по четыре копейки?

— А шут их знает...

Прошло не больше получаса, как началось обратное движение и еще с большим азартом — бежали на другой конец деревни, где стоял ка́бак Сережкина. Многие уже успели хлебнуть дешевки и бежали пошатываясь, с осовелыми лицами; один старик запнулся, упал, да так и не мог подняться — дешевое вино сразу отняло ноги.

— Куда это опять бегут?

— А к Сережкину: там вино отпущают по три копейки за шкалик, — объяснил Тит с тревогой в голосе. — Ах, штоб вас всех ущемило!.. А!..

По лицу Тита было заметно, что и он не прочь был отправиться на дешевку, да только вот подходящей посудины не хватало. Проводив глазами опьяневшую толпу, старик не вытерпел и бросился бегом догонять кривого Онисима, который поотстал от других.

На моих глазах происходило что-то невероятное и дикое, как глупый сон, и я просто не верил глазам. Изба была пуста, и только на печке охала седая старуха. Она подслеповатыми глазами долго искала кого-нибудь и кончила тем, что начала причитать:

— Ох, хоть бы умереть скорее!.. тошнехонько!.. Где у нас люди-то, а? Уж не горит ли где грешным делом?.. Летняя пора... К голодухе-то да еще пожарище присунется... Ох-хо-хо! Скотинку-то которую прирезали, которую продали... неурожай везде... милость господняя...

По улице в это время валила пьяная толпа опять к кабаку Закржицкого, где водка продавалась по две копейки шкалик. Кто-то успел дать знать на поля работавшим мужикам, и они со всех сторон неслись к деревне, кто верхом, кто пешком. Болтино огласилось пьяными песнями, криком, руганью... По улице шатались пьяные женщины с грудными ребятами на руках, валялись в пыли старики; галдели мальчишки, пьяные безобразием больших. Картина получилась неописуемая, единственная в своем роде... Лошадям надоело дожидаться запряжки, и они разбрелись в разные стороны.

— Копейка шкал!.. Вот те Христос!.. — кричал под окном кривой Онисим, едва державшийся на ногах.

Через минуту он был в избе и лез на печку к старухе, чтобы и она «попила дешевенького». Пьяная молодайка, пошатываясь, вошла в избу, ощупью пробралась за печь и там сунулась прямо на пол, как чумная скотина. Последним явился Тит; он нес водку в своей шляпе и только мигал осовевшими глазами.

— Что это с тобой, дедко? — окликнул я старика.

— Ох, не бай... Ничего не бай, барин, — бормотал Тит, стараясь не проливать сочившуюся из шляпы водку. — Привел господь отведать дешевенького-то... В кои веки довелось... А-ах, барин! прямо в шляпе принес... На пятак чуть не лопнул ноли... Эй, Онисим, где ты, а?

— Я... здесь... Полезай... на печь, — откликнулся кривой Онисим и захохотал пьяным смехом. — Я и старушку свою не забыл... На, отведай хошь перед смертью, како-тако дешевое вино...

— Верно, — согласился Тит, залезая на печку вместе со своей шляпой. — И я старухе гостинца захватил... на, поминай старика!.. Онисим, где ты? ай спишь? Ох, согрешили мы, грешные...

III

В тот самый момент, когда я хотел бежать из избы куда глаза глядят, в нее вошел среднего роста мужчина в летнем костюме из китайского шелка.

— Позвольте-с, вы куда это? — остановил он меня. — Лошадей все равно нет, да и не добыть ни за какие коврижки: вся деревня без ног валяется...

— Если не ошибаюсь, благодаря вам?

— Благодаря мне-с?

Мужчина в китайском шелке трагически ударил себя кулаком в грудь и, поглядев на образ, трагически проговорил:

— Ежели есть хуже нашей собачьей службы, так это в аду, может быть... и мы же во всем виноваты!.. Имею честь рекомендоваться: поверенный Ивана Иваныча Сережкина, Флегонт Сыромолотов. Очень будет приятно чайку вместе напиться.

— Самовар холодный...

— А мы его наставим сызнова, собственноручно наставим для приятной канпании.

Флегонт Сыромолотов истово помолился на образ в переднем углу, аккуратно присоединил свою черную суконную фуражку к остальному багажу и действительно принялся собственноручно «наставлять» самовар.

— Ежели по-настоящему рассуждать, — говорил он, раздувая угли в самоваре, — так нашего брата, агентов по винной части, прямо следовало бы производить во святые... «иже во святых раб божий Флегонт». Да-с... Вот вам муторно было смотреть на пьяных мужиков, а каково мне-то было спаивать голодную деревню! Тоже и на нас крест есть, будьте спокойны, а только как будто уж такая наша выпала фортуна... да-с! Тьфу ты, искру проглотил! Кха-кха!..

По своей внешности Сыромолотов принадлежал к новому типу полированного купечества, получающего образование по ярмаркам, на пароходах и в трактирах, на разговор был чрезвычайно легок и старался держаться настоящим джентльменом. И первое и последнее впечатление было в его пользу, а румяное

круглое лицо, опушенное легкой русой бородкой, было очень симпатично своим цветущим видом и особенно бойкими, постоянно улыбавшимися глазами с поволокой. Говорил Сыромолотов певучим, низким тенором и любил растягивать последние слова фразы.

— Вот как самовары-то ставят! — не без торжества проговорил мой невольный компанион, ловко вскидывая кипевший самовар на стол, и в пылу удовольствия даже подмигнул мне. — А вам, сударь, деваться все равно некуда. Где у них чайник-то? покалякаем... Вон какие чашки подают: грязь!.. Я вам порасскажу о нашей винной части, если полюбопытствуете. Вы с чем: с лимоном-с или с икоркой-с?

— Лучше уж с лимоном.

— Так-с... Изморился!.. хуже каторги... А все-таки, знаете, мы завязали узелок-другой закржицким-то университетам: носи, не потеряй.

— Каким закржицким университетам?

— Ха-ха... Не знаете? А мы так зовем кабаки Карла Ивановича Закржицкого, потому что ведь он спаивает целых три губернии. Вот это и есть самое университетское образование... У нас служит один очень образованный господин, то есть у Ивана Иваныча Сережкина, так этот самый господин и прозвал кабаки мужицкими университетами. Да-с... Очень образованный господин, по фамилии Кученков называется. Слабость за ними маленькая: к водке очень слабы-с, а насчет разговору и чтобы кого просмеять — первое дело-с... Сегодня мы и того, ковырнули эти самые университеты Карла Иваныча. Со стороны-то глядеть, так оно, пожалуй, дико выходит, несуразно даже, а поближе — и не то...

— Конкуренция?

— Мало-с... не на живот, а на смерть бьемся; значит, выходит форменная битва. Конкуренция, это когда тихим манером да разным плутовством подсиживают друг друга, а тут — дело кровное: нахрапом берешь, сила на силу, как в охапку мужики борются. Видно, это для вас тоже весьма непонятно, то есть наша винная часть, и если вы любопытствуете, так я все дело как на ладонке покажу.

— Пожалуйста.

— Только уж спервоначалу придется начинать: с Карла Иваныча, потому что в них вся суть. Может, слыхивали, што Карла Иваныч с Сибири пошли жить, а уж кто с этого начнет — крепкие люди издаются, потому одно слово: Сибирь-с. Хорошо-с... Вылезти в настоящие люди в Сибири весьма трудно, особенно чужестранному человеку, потому своих природных плутов не оберешься; а Карла Иваныч вылез и весьма похвальным человеком сделался еще в Сибири. Уж чем они там занимались — их дело, а только к нам на Урал они явились настоящим барином и первое дело — за винную часть сгреблись. Знакомое, видно, дельцо-то было, да и очень способное по тому времю: откупа-то ухнули, а к акцизу денежный народ не успел приглядеться — опасились; а Карла Иваныч сообразили всю тонкость и забрали силу. Да и то сказать, знаешь, другие-то прочие начали уж очень слабеть к этому времю, ну, Карлу Иванычу вся эта музыка на руку... Как же, помилуйте, взять хошь наше купечество: прежде старики-то жили на гроши, да еще как жили, а нынче, как пошли эти магазины с зеркальными стеклами, банки, трактиры — все и уплыло. Старые-то купцы захудали, а новые все норовят взять плутовством... Ну, а Карла Иваныч тем временем в гору да в гору, да теперь целых три губернии и содержит у себя. Да-с... И очень даже крепко содержит, как настоящий король. На весь Урал у него карта своя особенная сделана: где и сколько кабаков полагается, все обозначено.

— Да ведь есть и другие винные заводчики: Парфенов, Иванов, Сережкин?

— Даже весьма много их есть по фамилиям-то, а только это одно звание и видимость — все они гроша расколотого не стоят; для отводу глаз больше Карла Иваныч допускают их. Нельзя же так, чтобы на три губернии один винокур, — пойдут толки да пересуды, что дело нечисто, — ну, а тут целый угол заводчиков: Парфенов, Иванов... Ха-ха!.. Пытались было и сильные люди конкуренцию устроить Карлу Иванычу, да не под силу вышло — на отступную съехали. Оно и в сам-деле довольно даже любопытно за здорово живешь десять —

двадцать тысяч в год получать... Очень многие получали от Карла Иваныча таким манером до самого последнего года, когда этот голод проявился. И тут Карла Иваныч похитрее всех сделал: кругом голод, а у него миллион пудов ржи в запасе. Ну, он натурально и сообразил: взять теперь другим заводчикам хлеба неоткуда, курить водку не из чего — не дам отступного ни гроша; а в год-то он выплачивал тысяч триста. Сказано — сделано, и пошла война... А Сережкин, Иван Иваныч, догадался раньше других и выписал новые машины для своего завода: из всякой дряни гонит водку. Ну, теперь по всему Уралу и травим Карла Иваныча; себе в убыток торгуем, только доконать бы его... Самим водка обходится в четыре рубля пятьдесят копеек, а мы сегодня продавали по копейке шкалик, то есть по рублю ведро. Такой план составлен: везде копейкой дешевле, чем у Закржицкого, — ну, и катаем в свою голову. Вся мелкота поднялась теперь на Карла Иваныча, авось затравим.

На дворе уже вечерело, но на улице не видно было возвращающегося с поля стада, не слышалось того трудового шума, который стоит по вечерам над деревней. Несчастное Болтино походило на громадный улей, покинутый маткой, и чем-то мертвым веяло от диких песен и пьяных стонов, которые врывались к нам в избу с голодной и пьяной улицы.

...После чая наступила пауза. Сыромолотов что-то записывал в длинную расчетную книжку; я прилег на лавку и начинал дремать. Благодаря дешевке мне приходилось провести в Болтиной чуть не целые сутки — раньше утра лошадей негде было взять.

— Подлецы... право, подлецы!.. — ворчал Сыромолотов, бросая свою книжку на стол.

— Что такое случилось?

— Да как же, помилуйте: целый день хуже каторжного бился, а подвел итог — пять рублей восемьдесят семь копеек выручки. Тьфу... Стоило огород городить.

— У Закржицкого в университете, вероятно, столько же выручки.

— Ну, что же из того? Всего, значит, десять рублей выручили оба кабака, а сколько битвы было.

— Да ведь голод... Десять рублей большие деньги. Вообще я не понимаю всей этой истории: хлеба нет, а на водку деньги нашлись...

— Тут совсем не в деньгах дело, а так, испотачился народ около кабаков-то наших... Отрава эта самая водка для мужика, ну вот и бедуют. Взять хоть теперешний случай: откуда деньги взялись у голодной деревни? Очень даже просто: у баб и стариков были запрятаны где-нибудь по щелям пятаки да гривенники на всякий случай; хлеба на гривенник немного купишь, а водки целый штоф... Вот народ и одурел.

— Плохое объяснение...

— Это уж как вам будет угодно, а спросите-ко у Закржицкого, когда он больше выручает? Когда у мужика хлеб есть, он пьет водку в положенное время — в праздники, на свадьбах, а вот теперь совсем зря... Да и голодному много ли нужно: с трех копеек пьян. Вымотается человек, изголодуется, ну его и захлестнет; а тут еще наша дешевка подвернется.

Конечно, эта война пигмеев с братцем Антеем кончилась сама собой, как только миновал голод, и Карл Иваныч опять аккуратно выплачивает отступное разной мелкоте, «по примеру прежних лет», чтобы не беспокоили его разными пустяками.

ГРОЗА

Из охотничьих рассказов

I

Гора, на которой мы остановились с Шапкиным, называлась Чертова Почта. Нельзя не сознаться, что это именно название как нельзя больше шло к ней. Представьте себе довольно крутую гору с несколькими лысинами по бокам; по самой широкой из лысин, начиная с утесистой вершины, тянулись совершенно параллельно две полосы точно нарочно рассыпанных камней. Очевидно, что эти камни когда-то отвалились от каменного гребня на вершине горы, а потом были сдвинуты вниз снегами, или даже, может быть, когда-нибудь существовал здесь ледник, оставивший на своем пути ряды морен. Издали, особенно если смотреть на Чертову Почту снизу, глазу представляется совершенно правильная широкая дорога, установленная по бокам довольно крупными валунами, — вот потому-то уральские охотники и назвали ее «Чертовой Почтой».

— Прямо чертова почта, — объяснял Шапкин, усаживаясь на один из валунов. — Вот какие чемоданы да котомки *он* пятил на гору-то, а потом спьяну и разбросал по сторонам...

— Непременно пьяный? — спросил я.

— А то как же?.. *Он* хоть и черт, а тоже не без ума... Заставь-ка *его* трезвого-то этакую страсть каменья

наворотить. По-вашему, по-ученому-то, может, это и смешно, а мы даже очень понимаем все *его* штуки.

Шапкин, как все настоящие охотники и игроки, был очень суеверен, притом он до известной степени был поэт в душе и облекал жизнь природы в самые таинственные формы.

— Послушайте, Лука Агафоныч, а ведь нам не дойти засветло до Ломовиков, — проговорил я. — Вон солнце уж на закате, а идти верст семнадцать будет.

— Дойти-то дошли бы, да вон там шапка плывет... — раздумчиво заметил он, указывая головой на северо-восточную сторону неба, где круглилась и росла темная грозовая туча, точно вырвавшийся из какого-то гигантского орудия громадный клуб черного дыма. — Гроза будет страшенная...

— Что же делать?

— А тут есть балаган, под Востряком, там можно заночевать, если хотите.

Грозовая туча росла с поразительною быстротою, как это бывает иногда в горах, и ничего не оставалось, как только согласиться на предложение опытного старого охотника, знавшего местность, как свои пять пальцев. Идти под проливным дождем верст пятнадцать — было бы плохим удовольствием.

— Вот спустимся по Чертовой Почте, перекосим ложок и как раз упремся в балаган, — объяснил Шапкин, вскидывая на плечо свою тяжелую старинную двустволку. — И откуда, подумаешь, туче было взяться... эк ее раздувает!..

Когда мы начинали спускаться с горы, вдали глухо гукнул первый удар грома, как будто он прокатился под землей. Все кругом как-то разом стихло и замерло, точно в природе разыгрывалась одна из тяжелых семейных драм, когда все боятся со страху дохнуть. Солнце быстро клонилось к западу, погружаясь в целое море кровавого золота; по траве от легкого ветерка точно пробегала судорожная дрожь, заставлявшая кусты жимолости и малины долго шептаться. Там, далеко внизу, тени быстро росли и сгущались в ту вечернюю мглу, которая залегает по логам сплошной массой; бурый ельник, который отделял Чертову Почту от

Востряка, с каждым шагом вперед вырастал и превращался в темную зубчатую стену. Место было дикое, но именно теперь, когда с одной стороны горело зарево заката, а с другой — темной глыбой надвигалась гроза, оно делалось красивым своей дикой поэзией. Вся эта жалкая северная природа точно дохнула всей грудью, и то, что не имело смысла, взятое отдельно, получило особенное значение в общем: все эти разбросанные по сторонам камни, топорщившиеся в траве кусты и кустики, точно выросшие внезапно силуэты отдельных елей и пихт, — все слилось в одну великолепную гармоническую картину, которой нельзя было не залюбоваться.

— Вон как на Талой дождь запластывает, — проговорил Шапкин, когда мы совсем уж спустились с Чертовой Почты. — Прямо на нас так и катит!..

Гора Талая, до самой вершины заросшая молодым сосняком, вся точно вспыхивала при каждом громовом всполохе, и можно было отчетливо рассмотреть даже отдельные ветви деревьев, вырезывавшиеся на светлом фоне. Туча выползала с левой стороны Талой и пустила вперед себя мутную косую полосу дождя, которая тянулась на нас, точно тучу задергивала какая-то невидимая рука громадной парусиной. А там, на западе, блестело последним светом закатывавшееся солнце, обливая розовым огнем верхушки леса и скалистые гребни гор. Это была настоящая борьба света и мглы, сопровождавшаяся оглушительной канонадой. Гора Востряк, торчавшая своей одинокой верхушкой, как громадный зуб, была в двух шагах, и мы скоро зашагали по громадному ельнику, где было уже совсем темно. Брести по такому лесу, особенно вечером, даже привычному охотнику всегда как-то жутко; вас охватывает мертвая тишина, сырой воздух давит грудь, начинает казаться, что никогда из этой трущобы не выбраться, и невольно прислушиваешься к шуму собственных шагов, который теряется в мягком желтом мхе. Именно в таком ельнике и «блазнит» непривычному человеку, который начинает бояться собственной тени и со страхом пробирается вперед через лесную чащу, валежник и папоротники. Глухо, неприятно кру-

гом, точно над головой нет больше неба, а тьма ползет на вас со всех сторон и начинает медленно давить.

Я всегда любил смотреть, как Шапкин ходил в таком лесу. Дело в том, что простой охотник-любитель идет всегда дуром, как попало, в крайнем случае только по известному направлению, а «охотник по преимуществу» идет с расчетом и очень редко прямо — он выбирает каждый шаг и делает его уверенно. Резкой особенностью такого охотника служит то, что как он зашел в лес, так и пропал — вы идете с ним чуть не рядом и все-таки его не видите. Эта манера на всякий случай идти под прикрытием всего лучше характеризует настоящих охотников, и Шапкин именно ходил так... вошел в лес — точно сквозь землю провалился; десять раз пройдешь мимо него и не заметишь, что он стоит где-нибудь за стволом дерева или «притулился» за кустиком. Появлялся Шапкин тоже как-то совсем неожиданно и уж не с той стороны, где вы его предполагаете, притом ходил всегда совершенно неслышным шагом. Не в лесу он без передышки делал по тридцати верст медленным, развалистым шагом, точно хорошо заведенная машина. Глядя на его нескладную фигуру, с несоразмерно длинным туловищем и короткими вывороченными ногами, никто не подумал бы, что этот медведь — записной ходок. И теперь я едва успевал следовать за ним, хотя Шапкин шел самым обыкновенным шагом и даже останавливался иногда. Таким образом, мы перекосили ельник в каких-нибудь полчаса, и когда почва пошла заметно в гору и деревья начали редеть, кругом было уже совершенно темно, и только впереди белесоватым пятном выделялся какой-то просвет. Это была, как оказалось, глубокая лесная прогалина, где и стоял искомый балаган.

— Вот мы и дома, — провозгласил Шапкин, подставляя руку под редко падавшие первые капли дождя. — Только-только успели выбраться...

По надвигавшемуся глухому шуму со стороны Талой можно было заключить, что гудел настоящий ливень, какие бывают на Урале только в июле, когда по ночам играют так называемые «зарники», или зарницы, по великороссийскому говору, то есть при совершенно

чистом, безоблачном небе вспыхивают на горизонте красные огни, точно далекая молния, хотя последняя никогда красной не бывает. Балаган стоял на опушке смешанного леса, под прикрытием нескольких очень высоких лиственниц, высоко поднимавшихся своими широковетвистыми вершинами над шелестевшими под ними осинником, березами и мелкой еловой зарослью. Такой смешанный лес никогда не бывает на матерых нетронутых местах, а толчется непременно около жилья или по лесным порубям и чрезвычайно напоминает собой каких-то лесных разночинцев. Господствующие лесные насаждения на Урале — это хвойные леса: ель, сосна, пихта, кедр, а лиственные породы жмутся только по лесным опушкам и главным образом около воды, причем замечательно то, что большинство этих лиственных пород — пришлецы из средней России и на Урале появились сравнительно недавно, именно двести — триста лет назад, когда русские поселенцы принялись «сводить» уральские леса. Колонизация новых лесных пород шла за человеком шаг за шагом, преимущественно речными долинами, где вместе с русскими поселенцами осела далекая российская гостья, береза, и ее младшая сестра — липа. Собственно, в Сибири береза была неизвестна, и среди инородческого населения сложилась легенда, что вместе с этим «белым деревом» идет и власть «белого царя».

— Скиток раскольничий здесь когда-то стоял, — объяснил Шапкин, останавливаясь перед балаганом, — потому здесь очень превосходный ключик есть в овражке, точно слеза сочится... Мед, а не вода.

Балаган, сгороженный из толстых лиственных плах, походил на верховой погреб, обложенный дерном, только здесь сверху просто была насыпана земля и потом уже она обросла травой и даже березками. Мимо него можно было пройти в десяти шагах и не заметить. Таких балаганов по широкому приволью Уральских гор раскидано множество, потому что в них ютятся от непогоды и охотники, и бродяги, и артели ягодников, и раскольничьи старцы, и лесообъездчики. Зимой, когда олень уводит охотника на лыжах верст за двадцать, такой балаган единственное спасение. Внутрен-

нее устройство балаганов везде одинаково: сейчас у двери очаг из камней, большею частью без трубы, задняя половина занята широким помостом — и только. Если хорошенько натопить очаг, то в балагане делается жарко, как в бане, но неудобно то, что во время топки балаган весь наполняется дымом, как топятся все курные избы, а потом, когда отверстие на крыше, заменяющее трубу, заткнуть дерном или травой, в балагане долго стоит тяжелый угар. Но охотнику все это не в диковинку, и он только кряхтит от удовольствия, обливаясь потом на полатях; дым и угар в счет нейдут, потому что, главное, было бы тепло и чтобы жгло уши жаром.

Пока я старался развести огонь на очаге из старых головешек, стружек и хвои, Шапкин принес целую охапку сухарника и «медовой» воды в медном чайнике. Через четверть часа, когда над нашими головами разразилась гроза и лес точно застонал от раскатов грома, у нас в балагане весело горел огонек и быстро наливалась живительная теплота.

— Слава тебе, господи! — крестился Шапкин каждый раз, когда отворенная дверь балагана вспыхивала ослепительным пламенем занимавшейся молнии. — Вот это превосходно... ишь как молонья разыгралась!

— Чего превосходно-то?

— А гроза? Куда бы мы без грозы-то поспели... Все у нас от грозы: и хлеб спеет, и трава доходит, и цветы. Посмотри-ка, как завтра все засмеется кругом: настоящий праздник будет...

— Это от дождя, а не от молоньи.

— Ну уж извините... Ох, где-то дерево расщепало молоньей — слышите?

Среди разгулявшихся звуков трудно было различить треск разбитого молнией дерева, но в этом случае я вполне полагался на Шапкина, потому что он, как музыкант, различал отчетливо в хаосе звуков каждую отдельную ноту. Я, собственно, любовался всполохами яркого света, который на мгновение открывал вид и на Чертову Почту и на Талую, точно отдергивался какой-то занавес и на громадном светлом экране

вспыхивала целая горная панорама, резавшая глаз отчетливостью своих деталей. Ливень каждый раз прекращался перед особенно страшными ударами молнии, чтобы потом забушевать с новой силой, как будто где-то открывался гигантский душ и вода бросалась сплошною струей.

— Всем бы хорошо, — задумчиво говорил Шапкин, подкладывая новое полено в огонь, — да только я вот Агничке не сказался, что, может, заночую в лесу... ждать будет; беспокойная она у меня.

II

В числе наших охотничьих трофеев было два рябчика и линялый косач, которые и были назначены на ужин. Пока кипел чайник, Шапкин ощипал дичь; рябчиков, не выпотрошив, завернул в широкие листья какой-то травы и в этом виде закопал в горячую золу, а косача оставил на похлебку.

— У него, у подлеца, мясо теперь, как подошва, — объяснил Шапкин, взвешивая ощипанного косача на руке. — Он на варево только и годится, а рябчики в самом соку... Супротив наших уральских рябчиков нигде не сыскать: первый сорт, потому он теперь сидит на землянике, а наша-то земляника тоже известная ягода — с огнем поискать. Когда мы с покойником Асафом Иванычем на охоту ездили, так уж очень он любил, чтобы этих рябчиков земляникой начинять и рому прибавлять, а только я это не уважаю.

— Это Ведерников, Асаф-то Иваныч?

— Он самый... Страшный охотник был — хлебом не корми, а только в лес пусти. У Асафа-то Иваныча повар испанец был, собственно еще у его матушки, у самой старухи Ведерничихи... Характерная была покойница и любила покушать чистенько. Может, слыхали? Коренная столбовая дворянка была, не чета нынешним-то, и содержала себя весьма неприступно. Ну так я у этого повара-испанца и наблошнился разной стряпне, так что Асаф-то Иваныч по этому случаю без меня никуда на охоту не ходил. Ох, лют был на

всякого зверя ходить... Да что говорить, сам был хуже всякого зверя: рука, как двухпудовая гиря — тройку на всем скаку останавливал, жеребцов одним ударом с ног валил... Вот и я, нечего бога гневить, не обижен силенкой, а супротив Асафа Иваныча вроде как воробей какой или комар. Разгуляется, бывало, Асаф-то Иваныч в теплом местечке и начнет удивлять: двугривенные двумя пальцами сгибал... Могутный был человек. Одних медведей сколько поднял на рогатину, а больше всего любил на лося зимой ходить... Это ведь самая душевредная охота, потому верст тридцать иной раз за зверем на лыжах надо пробежать. Тут уж одному ничего не поделать, а непременно надо вдвоем или втроем. Мы вдвоем хаживали, когда глубокий снег падет и зверя выследят. Асаф-то Иваныч дня три перед охотой не пьет, чтобы на ногу легче быть, ну потом и орудует. Ведь это какая охота: найдем след сохатого и жарим по следу на лыжах, Асаф Иваныч впереди, а я за ним. Как настигли зверя, и пошла потеха... Подумайте то одно, что этакую махину, как сохач, надо на бегу замаять. Пробежит Асаф Иваныч верст пять за зверем — верхнюю шубу долой, а я сзади ее поднимаю. Ну, натурально, отстанешь и только уж по следу за ним торопишься. Глядишь, верст через пять нижний бешмет валяется на полу, потом шарф, даже шапку бросит, потому разгорится человек на бегу до смерти и никакого холоду не чувствует. Бывало так, что Асаф-то Иваныч и ружье бросит и с одним ножом гонится, и уж непременно положит зверя. Раз этак-то замаял он сохача, выбил его из сил, ну, зарезал, а я с одежей-то едва через полтора часа добежал к нему. Он в одной рубашке сидит на сохатом, и пар от него валит, как от пристяжной лошади. Железный был человек, а пропал от своего характера: водочка да девушки унесли веку, без ног сделался на сороковом году, а ведь здоровья на полтораста лет было...

К числу похвальных душевных качеств Шапкина, между прочим, принадлежала скромность, так что он, в вящее возвеличение Асафа Иваныча, от чистого сердца превращал себя в воробья, хотя и не имел ничего общего с этой вульгарной и бессильной птицей.

Достаточно было взглянуть на необъятную сутулую спину Шапкина, на его длинные руки, какую-то необыкновенную четырехугольную шею, чтобы убедиться в его громадной силе, и действительно, он в свои под шестьдесят лет кулаком забивал двухвершковые гвозди в стену и поднимал за передние ноги стоялых жеребцов. И лицо у него было самое подходящее к фигуре: глубоко посаженные маленькие серые глазки, развитые надбровные дуги, высунувшиеся скулы, большая нижняя челюсть, едва тронутая жиденькою растительностью песочного цвета, и ни одного седого волоска в светлорусых волосах. Говорил Шапкин неопределенным жиденьким голоском, как иногда говорят люди очень большого калибра, и улыбался добродушной, немного глуповатой улыбкой, от которой все лицо у него точно светлело. Дома он одевался на господскую руку — в длинный сюртук и крахмальные рубахи, а на охоту являлся в какой-то мудреной кожаной куртке, купленной где-то по случаю с барского плеча. Теперь он сидел перед огоньком в охотничьих ботфортах и в одной ситцевой рубашке, с обношенным и полинявшим от долгого употребления воротом, который так и врезывался в его загорелую могучую шею.

Я любил слушать бесконечные рассказы Шапкина о разных «случаях», которыми обильно пересыпана была вся его жизнь; вернее сказать, эта жизнь представляла одну сплошную цепь таких случаев, потому что жил он, как птица, изо дня в день. Любимой его темой были воспоминания о фамилии Ведерниковых, потому что Шапкин вырос под крылышком этой столбовой дворянской семьи в качестве простого дворового человека. Для меня лично Шапкин представлял особенный интерес именно с этой стороны, как обломок крепостного режима. Здесь необходимо оговориться. Урал, как и вся Сибирь, в сословном отношении делится только на крестьян, промышленников, купцов и чиновников — помещичий элемент здесь отсутствует, так что ни Урал, ни Сибирь не знали крепостного права в тесном значении этого слова. Уральское горнозаводское население было только приписано к заводам и находилось в совершенно исключительных условиях.

Но в смутную эпоху дворцовых переворотов XVIII века на Урал, собственно в Зауралье, было заброшено несколько помещичьих семей, владения которых являлись крошечными островками на необъятном море остальных заводских и казенных земель и не имели никакого самостоятельного значения, как вообще дворянский помещичий элемент; в настоящее же время эти помещичьи земли или перешли в руки кулаков, или пустуют, а их владельцы давно разорились или вымерли. Странные были эти помещичьи семьи, замешавшиеся в среду сибирского населения, как морская рыба, которая по ошибке попала в реку, а из них особенно выдавалась фамилия Ведерниковых, особенно старуха «Ведерничиха», мать Асафа Иваныча.

— Ох, было-таки пожито, — с тяжелым вздохом рассказывал Шапкин. — Когда жива была сама Ведерничиха, так у нас в Карабаше сплошное Христово воскресенье стояло... да!.. Село простое было Карабаш, а какая усадьба — дворец. Конечно, теперь головешки одни остались, сгорела усадьба-то, да и Ведерниковых, почитай, никого не осталось... Ндравная была старушка и такой порядок завела: над воротами наладила вышку, вроде как башня, а на вышке постоянно особенный сторож ходил, чтобы докладывал, кто по дороге мимо едет. Тракт в версте проходил... Ну, доложат примерно, что тройка бежит, сейчас верховых, и тройку заворачивают на двор — лошадей в конюшню, кучеру водки, колеса долой, а гостей в усадьбу. Выживи три дня и ступай себе с богом. Раз как-то благочинный попался, на следствие ехал, дело спешное, а старуха его не пущает — выжил он таким манером положенные три дни, а потом потихоньку пешком и ушел на почтовую станцию за семнадцать верст. На моих памятях было все...

После «воли» Шапкин очутился на улице, как большинство дворовых, и поселился в уездном городе Загорье, где в течение двадцатилетних мытарств успел сколотить себе домишко, в котором теперь и проживал «своими средствами». Правда, благоприобретенное жилье было немного лучше балагана под Востряком и только что не кричало, что развалится каждую минуту,

если его не подопрут кольями со всех четырех углов; но все-таки у Шапкина был свой угол, а это было залогом полной самостоятельности. Очутившись на воле, Шапкин перепробовал всевозможные профессии. Служил на Чусовском караване, искал золото, настраивал фортепьяна, устраивал ночлежный дом, даже сеял репу, но все эти профессии ничего, кроме убытков, не давали, и Шапкин под конец остановился на театре, к которому прилепился всеми силами души и тела. Заветной его мечтой, правда, всегда было попасть в горное загорское правление, к так называемому «золотому столу», где наживали во время оно «большие тысячи», но эта мечта так и осталась мечтой, да и времена переменились: блаженные дни сидевших за «золотым столом» миновали... В театре Шапкин не имел определенного занятия и не получал никакого определенного жалованья, а служил *так,* как и жил: при случае, когда заболевал кассир, продавал билеты, при случае мазал декорации, при случае «играл» на турецком барабане в оркестре, при случае изображал «народ» и т. д. Только одного он никогда не делал — не играл на сцене, потому что, как говорил сам, у него был плохой «резонанс», то есть произношение, а в сущности — Шапкин просто трусил, потому что был вообще совестливый и скромный человек. Эти «занятия театром» для него имели еще то преимущество, что делали лето совершенно свободным, а это для его поэтической души было дороже всего.

— Конечно, у «золотого стола» весьма превосходно, без красненькой домой не придешь, — говорил Шапкин в припадке откровенности, — а все-таки чиновник, как цепная собака, а я вольный казак... Хочу — за дупелями пойду летом-то, хочу — за утками, — сам большой, сам маленький. А к зиме подвалят актеры, работы по горло.

Кроме специально театральных дел, Шапкин иногда исполнял разные поручения своих бесчисленных знакомых: одна знакомая барыня просила достать непременно белую козлуху, там квартира понадобилась кому-то, дальше подыскивали охотника на иноходца и так далее, без конца. Вообще до чужих дел Шапкин

был великий охотник и из-за них позабывал о себе. Такими людьми на Руси хоть пруд пруди, и, как кажется, это одна из наших национальных особенностей. Чем существовал Шапкин, какие у него были средства — являлось неразрешимой загадкой, вроде квадратуры круга, но он существовал и, мало того, всегда находился в самом ровном и благодушном настроении духа.

— Помилуйте, да о чем горевать-то? — удивлялся Шапкин. — Одному-то персоналу много ли нужно: зимой театр, летом вот дупельки, рябчики... Нам добра не изжить!..

Занятия «театром» давали Шапкину самые жалкие нищенские гроши, но для него важна была не материальная сторона дела, а сознание, что и он работает, что и у него есть совершенно определенная профессия, что и он, наконец, может болеть и радоваться в определенном направлении, как органическая часть живого целого. Новые декорации, новая пьеса, новый талант провинциальных подмосток — все это приводило его в неподдельный, немного детский восторг, как плохие сборы и разные специально театральные неудачи лишали его сна и аппетита. Провинциальный театральный мирок, полный вечного разделения, интриг и закулисных каверз, являлся для Шапкина постоянной заботой, потому что нужно поддержать такого-то актерика, сбить спеси зазнавшейся, капризничавшей примадонне, провести на хорошую роль начинающий талант, поощрить подарочком искреннее служение музам, — словом, работа без конца и, главное, совершенно добровольная работа, которой никто не хотел замечать, а тем более ценить. Другой на месте Шапкина давно плюнул бы на все, но он служил делу, а не лицам, и в этом, может быть, заключалась тайна его философского благодушия. Провинциальные труппы вообще набираются с борку да с сосенки и потому вечно грозят моментальным распадением из-за ничтожнейших пустяков; в таких критических обстоятельствах Шапкин бегал и суетился, как бегают крысы на корабле, давшем течь и готовом пойти ко дну.

— В третьем акте актриса Размаринова из-за трека чуть всю обедню не испортила, — повествовал Шапкин

с наивным трагизмом.— Трико-то в одном месте немного поотцвело, а ей нужно было Периколу играть... нет, не Периколу, а Маргариту в «Маленьком Фаусте», ну и подняла содом. Так ведь едва уломали... И вся-то ей цена — расколотый грош, а уж умела угодить публике, потому ноги у ней были антик. На Ирбитской ярмарке купцы в неистовство чувств приходили от ее ног и на себе на квартиру каждый вечер из театру ее возили. Ноги для настоящей актрисы первое дело, на них корсета не наденешь...

Нужно заметить, что Шапкин не брал капли вина в рот, не курил и вообще был самый воздержный человек, хотя и не без некоторых слабостей. Так, он не мог никогда удержаться, чтобы не приврать малую толику, когда разговор заходил об охоте, потому что очень уж любил все необыкновенное. Впрочем, всем записным охотникам, как известно, присуща эта маленькая слабость. Раз как-то на охотничьей стоянке разговор зашел о джигитовке. Народ собрался все бывалый: кто рассказывал о джигитовке донских казаков, кто о черкесах, кто о текинцах. Шапкин слушал все внимательно и, когда все рассказы истощились, добавил следующее:

— Что же, это невелика еще хитрость — с лошади шапками рубли поднимать или на ногах в седле скакать, а вот со мной случай был... Как-то в оренбургской степи была джигитовка — вот это так джигитовка, могу сказать!.. У дороги поставили кадушку ведер в шесть, налили ее молоком и бросили в кадушку двугривенный. Ну казачок на всем скаку чубурах головой в кадушку, схватил двугривенный зубами и валяй дальше... Простые оренбургские казачишки орудовали!..

III

Итак, мы сидели в балагане; ливень продолжал еще идти, но буря уже миновала, и только изредка раздавался в горах оглушительный громовый раскат, точно отстреливался неприятель, отступавший в беспорядке. Приятно было именно в такую погоду сидеть у весело

потрескивавшего огонька, освещавшего неказистую обстановку балагана какими-то взрывами: полоса света то выхватит гнилой угол, разрисованный зеленоватою плесенью, то прокопченный дымом бревенчатый потолок, то заглянет под полати, где валяется всякий сор — остатки натащенного сюда охотниками сена, суковатое полено, изношенный лапоть, обрывок гнилой веревки. За приятными разговорами мы выпили целых два чайника, а потом принялись за изжарившихся рябчиков, которые оказались, конечно, превосходными, как верх доступного человеку кулинарного искусства.

— А вы слыхали, как сибирские купцы живых осетров с собой возят? — спросил Шапкин, вслух продолжая нить своих мыслей. — Очень просто: возьмут такого живого осетра, завернут в оленью доху и положат с собой, а как приехали на станцию — сейчас ему в пасть стакан водки, и опять дальше. Так его можно везти ден пять...

Этот неожиданный осетр явился, вероятно, в pendant[1] к изжаренным рябчикам. Люди, которые долго остаются с глазу на глаз, часто ведут такой отрывочный и, повидимому, бессвязный разговор — каждый настолько занят нитью собственных размышлений, что совершенно не замечает бессвязности своего вопроса. В ответ на осетра, глядя, как Шапкин уплетает удивительно зажаренного рябчика, я неожиданно для самого себя спросил его:

— Скажите, пожалуйста, Лука Агафоныч, вы когда-нибудь были больны?

— Я-с... То есть настоящей болезни, пожалуй, не бывало, бог миловал, а так случай один вышел... И захворал бы, непременно захворал бы, ежели бы не один знакомый фершал. Это когда я еще в театре не служил, а ходил на Чусовском караване. Дело весной было: суматоха, хаос, столарня, не приведи господи никому, потому дело спешное, а бурлачье это, прямо сказать, ничего не понимают. Ну, все караванные служащие, как сплав, так на другой же день от крику без голосу, а только хрипят, как которые злые цепные собаки.

---

[1] дополнение *(франц.)*.

Бегаешь целый день, высуня язык, время весеннее, самое обманчивое, того гляди, прохватит ветерком. Таким манером я и почувствовал себя неладно, точно совсем другой стал — и руки не мои, и ноги тоже, и голова, как глиняный горшок. Вижу, плохо дело, сейчас к фершалу, а он каждую весну приезжал зубы дергать пристанским бабам, потому что все они зубами на сплаву маются. Другой зараз зубов пять выхватит... Осмотрел меня фершал и говорит: «У тебя, Лука Агафоныч, кислоты нет...» — «Как так кислоты нет?» — «А так, говорит, такая есть болезнь, что в человеке вся кислота истребится». И вылечил: истолк сулемы да медного купоросу, да еще прибавил каких-то злых кореньев — и как рукой сняло... После я доктору знакомому рассказывал, так не верит и даже весьма смеялся. А все-таки я нынче к ненастью иногда чувствую, как будто опять во мне этой кислоты мало стаёт... ей-богу!.. Вот вам смешно, а я это очень хорошо чувствую и стараюсь водворить кислоту: уксус пью, лимоны ем, капусту соленую... очень помогает.

За рябчиками последовала косачиная похлебка, а затем ничего не оставалось, как лечь спать.

— Ну, теперь я вас буду дымом угощать, — говорил Шапкин, притворяя дверь в балаган. — А то холодно будет...

— По-моему, уж лучше пусть будет холодно, а то задохнешься еще, пожалуй.

— Нет, вы только закройте глаза, а потом привыкнете, даже понравится.

Я кое-как уговорил старика подождать еще часок, пока калякаем о разных разностях. Для меня сидеть таким образом у огонька, где-нибудь на охотничьей стоянке, всегда доставляло истинное удовольствие: кругом темь, хоть глаз выколи, мертвая тишина, ночной холодок ползет снизу и заставляет вздрагивать, а ты сидишь, как очарованный, уставившись на огонь, и как-то ни о чем не думаешь, а просто чувствуешь себя безотчетно хорошо. На душе делается так легко, точно перенесся совсем в другой мир, разом стряхнув с себя все злобы и треволнения, которые одолевают в обыкновенное время. И сидел бы так без конца, чувствуя, что

и тебе нет никакого дела до всех остальных людей и им тоже. Есть зеленые горы, есть лес, есть пара рябчиков в ягдташе, есть медовый ключик в лесу — и довольно... Вот это и есть счастье, насколько счастье возможно. Да и много ли нужно для такого счастья? Спрятался человек от дождя в балаган, подставил один бок к огоньку, а там пусть вся природа корчится в конвульсиях безумной борьбы разгулявшихся стихийных сил. Может быть, это очень некрасивый эгоизм, но ведь он разыгрывается на пространстве всего нескольких квадратных сажен, и я часто завидую Луке Агафонычу, который, — выражаясь языком Шопенгауэра, — так полно может «растворяться в настоящем».

— А все-таки Агничка беспокоиться будет... — несколько раз повторял Шапкин, потягиваясь и зевая. — Очень она у меня сумнительная девчурка. Во второй класс гимназии перешла... как же, умненькая такая растет.

Агничка была воспитанница Шапкина, которая жила вместе с ним в его избушке. Это была задумчивая одиннадцатилетняя девочка, темноволосая и сероглазая. По всему складу маленькой изящной фигурки можно было заметить, что Агничка была не простого роду, но как она попала к Шапкину — он не любил рассказывать, и когда разговор заходил на эту тему, отмалчивался или заминал речь. Впрочем, у него была страсть к воспитанницам, вынесенная, вероятно, еще из помещичьей усадьбы, где всегда ютились таинственные девицы всех возрастов под общим термином «шпитонок». Старуха Ведерничиха любила окружать себя такими безродными существами, и Лука Агафонович унаследовал от нее это пристрастие. До Агнички, по его словам, у него была другая воспитанница, которая заплатила ему за отеческие попечения самой черной неблагодарностью, — звали ее Марфенькой. Нашлись злые языки, которые таинственную Агничку называли незаконной дочерью Шапкина, потому что он ужасно возился с нею; но такое предположение еще требовало доказательств, а их не было налицо. К женщинам Шапкин относился в высшей степени сдержанно, хотя и не без галантности театрального человека и

любезника старой школы, только он не любил рассказывать разных пикантных анекдотов и «детских» историй, к чему все записные охотники имеют большую склонность. Скоромные разговоры он всегда слушал со сдержанной и какой-то больной улыбкой, точно обижался. Только раза два он как-то случайно проговорился, когда мы ночевали вдвоем в лесу, о какой-то Анне Асафовне, и то очень неясно... «Вы не знавали Анны Асафовны? — как-то неожиданно спросил меня Шапкин. — Ах, какая была отличная дама... такая дама, такая дама, что просто даже удивительно!» — «А кто она такая?» — «Да так, она при театре находилась... замечательная дама!» Этим разговор и кончился, так что отличная дама Анна Асафовна оставалась для меня загадкой, хотя по величанью и можно было предполагать в ней дочь знаменитого Асафа Иваныча Ведерникова.

— Вы не были женаты, Лука Агафоныч? — спросил я нечаянно, раздумавшись об Агничке.

Мой вопрос точно передернул Шапкина, и он вдруг как-то неловко съежился, точно его укололо.

— Это вы насчет Агнички? — тихо спросил он.

— Нет, так... просто...

Наступила неловкая пауза. Дождь заметно стихал, в открытую дверь потянуло уже ночною сыростью; было часов десять ночи.

— А ведь про Агничку напрасно болтают, — заговорил Шапкин, с трудом подбирая слова, — что будто она моя дочь... Совершенная напраслина-с!.. Я Агничку действительно люблю, и даже очень люблю, может быть, больше родной дочери, а только она мне чужая, то есть собственно, пожалуй, и не чужая, а так... Анну-то Асафовну помните?

— Нет.

— Вот была дама... ах, какая это была дама!.. Да что тут говорить... — махнул рукой Шапкин в каком-то отчаянии. — Это такая была замечательная дама, такая дама... Может быть, помните актера Карачарова? Он все больше в Загорье играл...

— Высокий такой?

— Да, четырнадцати вершков росту, в плечах ши-

роченный и пасть, как у быка, — ну настоящий был трагик, по всей форме. Бывало, двух человек себе на грудь ставил. Ну-с, так этот самый Карачаров от Анны Асафовны, можно сказать, и в землю ушел...

— Как так?

— А так... случай такой. Ведь дама-то какая была?!. — еще раз воскликнул Шапкин, хватаясь обеими руками за голову. — То есть Анна Асафовна, собственно, была барышня, а только... ну, одним словом, это с актрисами всегда так бывает: девица на дамском положении, и Анна Асафовна тоже. Вот однажды Карачаров и скажи одно слово про Анну Асафовну... очень ей не понравилось это самое слово. Как-то сошлись они вместе, Анна Асафовна как накинется на Карачарова, сбила его с ног и давай топтать, а потом схватила его за горло да в окошко и хотела выбросить этакую машинищу, а Карачаров только хрипит. И выбросила бы, ежели бы добрые люди не отняли... при мне все было, на моих глазах. Никому бы в свою жизнь не поверил, что такие женщины бывают, а вот бывают же... Карачаров-то после этого самого случая чах-чах, да так и не поправился. Нет, да вы представить себе не можете, что за дама была Анна Асафовна: таких больше не осталось... извините!.. Куда?.. Что вы... ведь это что такое было: тигр, а не женщина!

Шапкин ужасно воодушевился, размахивал руками и даже с азартом нападал на меня, хоть я и не думал спорить с ним.

— Какое же слово сказал ей Карачаров? — спросил я, чтобы привести старика в себя.

— Слово?.. Ах, если бы вы знали Анну Асафовну... — продолжал Шапкин, не расслышав вопроса. — Да на других-то женщин после нее и смотреть не захотели бы... Какие это женщины? Галки — и весь разговор. Вон у нас каждый год новая примадонна, а что в них толку: двух фунтов не поднимет другая, а тоже, я, говорит, примадонна... тьфу... Анна-то Асафовна возьмет, бывало, двухпудовую гирю да двадцать пять раз одной ручкой — вот этаким манером — спустит и поднимет ее (Шапкин показал, как Анна

Асафовна поднимает гирю) и не дохнет. Вот какая это была женщина... да-с! Ростом она невелика была и лицом не так красива, а что касается всего прочего — портрет... И не то, что толстая там была, а в настоящей препорции, как следует барышне. Руки, ноги у ней... ах, да что тут говорить — нет больше таких женщин, нет и нет, да и не будет никогда!.. Купцы просто сатанели, когда она в треко оденется, бывало; вся в ямочках, как точно будто из воску вылеплена.

— А теперь где она?

— Умерла... лет уж с восемь этому времю будет. Так от самых пустяков погубила себя, потому что все-таки женская часть в ней была. Оно ведь кому как: другая только встряхнется, а Анна Асафовна не таковская была женщина — золотая душенька, только уж судьба ей такая задалась. У меня на руках и померла. Вот где мое горе было — немало я тогда над ней слез пролил, а она же меня и утешала, голубушка. Агничка-то, значит, дочь ей приходится, Анне-то Асафовне; вот я и любуюсь над ней: хоть и далеко до матери, а все же знаки есть... этак рассердится иногда да исподлобья, исподлобья и засмотрит... ах, люблю я эту Агничку, вот как люблю и уж выведу в настоящие люди, чтобы после добрым словом старого дурака помянула. Ведь нынче что, жить да жить барышням надо, да господа благодарить, потому везде скатертью дорога: и в телеграф, и в учительши, и в разные конторы, а прежде только и свету в окне, что замуж, а то ищи блох у болонок, пока не околеешь. Порядочная прежде темнота была даже и у образованных-то людей...

— Анна Асафовна была дочь Асафа Иваныча?

— А вы как знаете?

— Да по отчеству видно...

Старик на мгновение задумался, вытер лицо ладонью и с тяжелым вздохом проговорил:

— Да, дочка Асафа Иваныча, голубчика... Кто бы мог подумать... а?.. У Асафа-то Иваныча еще сын был, он и теперь жив, в богадельне в Загорье содержится, потому что не в своем разуме, да и изубожился... э, да долго вам это все рассказывать, потому что и моя тут

часть вышла... да, не смотрите, что я из дворовых, а чувствовать и я могу... да!.. К женскому полу я никогда сладострастия не имел, как покойничек Асаф Иваныч; думал, что и век так изживу, а тут вышла и моя часть... Здоров я был из себя, в том роде, как вот дерево какое смоленое, а тут как разобрало, так, кажется, лучше руки бы на себя наложил, чем этакую смертную муку принимать.

Старик задумался. Огонь догорал, и только легкое синеватое пламя перебегало по углям; дождь совсем прекратился, и небо было чистое, ясное, точно расшитое серебряными блестками по голубому бархату — именно такой шелковистый отблеск бывает только на нашем бледном северном небе. Я подбросил новых дров на очаг, и веселое пламя опять осветило весь балаган. Шапкин сидел неподвижно и безучастно смотрел на трещавший огонь; он слишком был подавлен своими воспоминаниями и несколько раз устало взмахивал левой рукой, точно отгонял одолевшие его мысли.

— Господи, как подумаешь, чего-чего на белом свете не бывает... — заговорил он после длинной паузы, точно просыпаясь. — Я ведь вам рассказывал, как в Карабаше жили... это еще до воли было. Анна Асафовна тогда еще совсем маленькой была... этакая белокурая да резвая, всегда с голыми коленками ходила, потому у Асафа Иваныча одна англичанка к детям была приставлена. На руках я нашивал Анну-то Асафовну, когда она маленькой была. Тэной ее все звали, — это по-аглицкому выходит все равно, что по нашему Аннушка. А крепкая была Тэна, когда, еще дитей совсем, ухватится за шею — кочень-кочнем. В праздник оденут ее в белое такое платьице, кружевные кальцончики, ботиночки — чистый ангел, а не девочка. Так, на моих глазах, Тэночка выросла до одиннадцати лет, а потом эта самая воля объявилась, ну, известное дело, кто куда — все разбрелись из Карабашей!.. Старуха-то Ведерничиха тогда же и умерла, прямо от огорчения, а Асаф Иваныч ножек лишились. Мое дело такое вышло, что на волчьем положении состоял: волка ноги кормят... Тогда я по разным статьям орудовал. Ну-с, таким манером прошло весьма немалое

время, может, лет семь или восемь, я уж по театральной части пошел... Хорошо. Тогда эти оперетки только объявились: «Орфей в аду», «Птички певчие», «Прекрасная Елена» — работы всем много, а публика, можно сказать, ума решилась: так и ломит в театр, так и ломит. Только и свету в окне, что оперетки да шансонетки, а проклятущие примадонны просто взбесились: такие цены брали, такие цены — страсть!.. Пятьсот рублей в месяц, и не подходи... Антрепренеры просто замаялись с примадоннами, потому публике ни первых любовников, ни трагиков не надо, а подавай примадонну. Вот раз и слышу, что к нам в Загорье поступает новая Елена, и рассказывают про нее чудеса... Хорошо. Приехала и только успела переодеться, сейчас ее на сцену; ну, публика неистовствует. Я тоже пошел посмотреть — и что бы вы думали: Тэночка Ведерникова. У меня так сердце кровью и облилось, окаменел весь, а она хлещет: и юбками, и ногами, и плечами... Дворянское дите, холеное да неженное, и вдруг перед публикой хуже чем нагая, а публике резонанс у ней больше всего понравился, потому как Тэночка всякими языками говорила и уж насчет словесности, извините, — только слушай. Французские шансонетки на французском языке так и откалывала и ножкой при этом... Господи! вот до чего дожили... Верите, заплакал я даже. Ежели сама Ведерничиха-то жива была бы, — да она руки бы на себя наложила от этакого сраму!.. Что бы вы думали, я целых две недели не мог подойти к Тэночке и объявиться пред ней, каков я есть человек. Совестно было, да и ее конфузить не хотел. А потом уж, как она с этим Карачаровым тогда познакомилась, я ей и отрекомендовался. Передернуло ее сначала, а потом ничего, только смеется... Она тогда и порассказала мне, как у них Карабаш адвокаты отняли, и как Асаф Иваныч без ножек лежал, и как братец Сереженька в богадельню попал, потому как совсем беспутным человеком оказался: кутил напропалую, а из себя был жиденький такой, ну и скоро разумом ослабел и пляску святого Витта получил. Она рассказывает, а я плачу-с... Нет моих сил терпеть, точно я сам бы взял да умер лучше. Ну, Тэночка-то сначала в гу-

вернантки поступила, потому как девица с большим резонансом была, да не ужилась; известно, какая жизнь этим гувернанткам: как мышь сиди в мышеловке... А дело ее было совсем молодое: жила-жила Тэночка в гувернантках да с самим-то барином и познакомилась, а барыня узнала да в шею ее. Ну, выбросила девку на улицу, и ступай себе на все четыре стороны. Вот она мыкалась-мыкалась, и голодом и холодом сидела, да в театр и махнула; а там, конечно, рады, потому что этакого резонансу и во сне не слыхивали.

Старик тяжело перевел дух и замолчал.

— Ну-с, нехорошо это рассказывать, а был великий грех, — продолжал Шапкин: — как я посмотрел на Тэночку, какая она стала, на ее силу необыкновенную — так она мне к самому сердцу пришлась, так пришлась... Ведь вот поди же, как человек устроен! Ну, что я такое для Анны Асафовны, ежели разобрать: червь и только, а между тем я все о ней думаю, день и ночь думаю — нейдет с ума, и конец тому делу. И как теперь помню, как все это случилось... точно в театре, ей-богу. Анна Асафовна тогда уж вплотную с этим Карачаровым связалась... Ах ты, господи, господи, что иногда с человеком делается! Ну, что, кажется, в этом Карачарове любопытного для такой барышни, как Тэночка: рожа у него одна, так не приведи господи во сне увидать, а она в нем души не чаяла и сколько раз при мне, бывало, обовьет его шею своими руками и давай целовать эту поганую-то рожу. Одним только и брал Карачаров, что смешить умел Тэночку — уморит со смеху, а Тэночка без него весьма скучала и постоянно меня за ним посылала, чтобы я его разыскал по трактирам да по разным вертепам. И слова не даст вымолвить про Карачарова, про его разные поступки; уж прямо сказать, что полюбился сатана пуще ясного сокола̀. Подарки ему дарит, деньги дарит, ухаживает... тьфу!.. Я так полагаю, что было тут дело нечисто: приворожил он Анну Асафовну, а может, и потому еще он ей глянулся, как состав имел для мужчины необыкновенный. Все-таки не понимаю... Всего, бывало, ему накупит: и рубашек, и одеяло новое, и — с позволения сказать — даже кальцонов, а он никакой

благодарности не понимает. Одним словом, баловала его, как малого ребенка. Раз этак она и придумала везти Карачарова на охоту — всю снасть купила, на, милый-размилый, а я вместо кучера у них. Отлично... Приезжаем в лес, я и повел Карачарова по болоту, да тут и вспомнил, что огня позабыл разложить Анне Асафовне; пожалуй, еще лошадь-то убежит у ней, потому как она при экипаже осталась. Бреду это я и слышу, что кто-то дрова у нас на стану рубит и так рубит, что только стон стоит. И что же бы вы думали — это сама Анна Асафовна дрова рубила... Я нарочно, знаете, не подошел близко, а только взял да издальки спрятался за дерево и долго любовался на нее: картина. Отыскала она комлистую такую сухарину, вершков восьми в отрубе, да ее и нажаривает, а я смотрю да смеюсь про себя: «Отрубить-то, мол, мы отрубим, а вот как, Анна Асафовна, колоть будете...» Обрубок-то пуда в три был. Не успел я это подумать, как Анна Асафовна ляп топором по обрубку, да как через плечо треснет его о сухарину — так на три полена и расколола сразу. Ах, какая это была дама... такая дама. Ну тут со мной и сделалось неладно...

— Как неладно?

— А так-с... С этого самого моменту тошно мне сделалось, а потом напало на меня какое-то зверство. Ей-богу... Хожу, как очумелый бык, а у самого на уме Анна Асафовна. А она, как нарочно, постоянно меня при себе держит и даже часто одевалась и раздевалась при мне до рубашки, потому что знала, что я не имею сладострастия к женщинам... Ну, рассудите, каково было мне все это терпеть? Ах, как я ее любил... чувствую, что даже думать-то об этом самом мне смешно, а сам еще больше чумею — так вот инда дух во мне захватит. Другие весьма к водке бывают подвержены в таких случаях, а я и этого не могу, а только смотрю на Анну Асафовну и казнюсь... Всего хуже мне было, как она примется меня посылать за Карачаровым — сердце из меня вынет, бывало, одним словом. Грешный человек, не раз думал: убью Карачарова, порешу Анну Асафовну, а под конец себя кончу — никому не доставайся... ей-богу!.. Озверел, значит... Ох-хо-хо!

грех-то не по лесу ходит, а по людям. И что бы вы думали: Анна-то Асафовна ведь догадалась насчет меня: «Ты, говорит, Лука Агафоныч, совсем поглупел нынче, и ничем, говорит, не могу объяснить этого, как только тем, что ты в меня влюблен...» Я уж тут напрямки ей и отвесил, а она меня в шею. Однако опять воротила к себе и так, смешком, сказала: «Ну, черт с тобой, оставайся, если уж я так тебе понравилась». Только после этого случая заметно стала остерегаться меня и раздетая не допускала до себя. Одно только скажу: что ни делала Анна Асафовна — все у ней по-своему выходило, этак умненько, все с гордостью-с. Да-с. А скажет слово — так прямо рублем подарит. Разе я не чувствовал, что она настоящая барышня, а я раб пред ней, а все-таки Анна Асафовна не надсмеялась надо мной. Вот это-то самое и дорого...

Шапкин увлекся своим рассказом и позабыл, что давно нужно ложиться спать.

— Я уж вам рассказывал, как Анна Асафовна собственными своими ножками Карачарова истоптала, — продолжал он, — он вскоре и душу свою поганую отдал... туда и дорога, потому что он постоянно обманывал Анну-то Асафовну, как пес какой. И на кого менял: одна была водевильная горничная, самая лядащая девчонка — взять двумя пальцами и переломится; ну, с ней путался и с другими тоже. Ну разве это не обидно было Анне-то Асафовне при ихней-то гордости, когда все это она видела и только из своей гордости такой вид принимала, что ничего не замечает? Ежели бы еще Карачаров с какой-нибудь красавицей или настоящей дамой лямурился, все же не так оно обидно было бы Анне-то Асафовне, я так полагаю, потому что женщина она была гордая и не любила жаловаться. Не стало Карачарова; кажется, тут и спокой, так нет — она же и принялась тосковать да убиваться об нем. Да ведь как убивалась!... Насмотрелся я тогда страсти и, можно сказать, досыта наплакался — и про свою-то любовь забыл, даже очень стыдился, потому что разве я мог так чувствовать, как Анна Асафовна, — прямо сказать, березовое полено я был перед ней. Я за ней ухаживал тогда уж опять по-старому, как

раньше, и все придумывал, чем бы ее развеселить. Ну тут Ирбитская ярмарка подвернулась. Мы с Анной Асафовной туда и махнули — может, на людях-то, думаю, она и разойдется помаленьку. И не такое горе великое изнашивают, а человек молодой скоро забывает. Хорошо-с... Приезжаем в Ирбит. Ну, натурально, ярмарка; народ, как вода в самоваре, кипит. А только нужно вам сказать, что эта Ирбитская — кажется, хуже ее ничего нет. Насмотрелся я-таки всего на своем веку — всякой пакости видел и с Асафом Иванычем, и с бурлачьем, и в театре, а такого сладострастия не видал-с. Преужасный народ съезжается туда, то есть не народ, а дьяволье... Натурально, как Анна Асафовна объявилась на ярмарке, за ней и ударились: кто во что горазд, всякому хочется удивить. Она уж тогда сделалась точно в отсутствии ума и тоже всех удивляла: в руки никому не давалась, а только душу выматывала да зорила... Такой кутеж около нее стоял, точно Содом и Гомор, а Анне Асафовне даже весьма приятно было дурачить разных купчишек, потому что у них известное понятие: деньгами, мол, что хочешь, куплю. Другой протянет, бывало, к ней свою лапу, чтобы обнять или за ногу схватить, так она его прямо смажет по роже, а им, подлецам, это еще приятнее. А никто не знал, кроме меня, как Анна Асафовна по ночам-то плакала да убивалась, когда домой придет... Еще хуже, чем в Загорье, пожалуй, и я жизни не рад стал: замучила и меня. Тогда уж меня ни на шаг от себя-то не отпускала, даже в свою спальню и спать клала: она на кровати почивает, а я на полу... Ярмарочное дело — очень даже опасно для женщины.

— А все-таки эта проклятущая Ирбитская и доконала вконец Анну-то Асафовну, — с тяжелым вздохом продолжал свой рассказ Шапкин, низко опуская голову, — резонанс она там потеряла... да. То ли простыла где, или болезнь приключилась — только прежнего резонанса как не бывало, а куда же Анна Асафовна после этакой жизни да без резонанса? Станет петь и оборвется... А тут еще беда: была она тяжела после Карачарова, хоть никому и не говорила, даже от меня таилась. Известно, все-таки девичье дело, как

хотите, оно даже весьма совестно, а Тэночка-то настоящая барышня была, ей вдвое еще совестнее. Ну, я-то примечал уж за ней давненько, что будто она сильно уж круглиться начала, только молчал, потому дело наше совсем маленькое. Хорошо-с... Как быть? И совестно-то, и денег-то нет, и резонансу лишилась, и тоже надо спокой иметь в таком положении. Ну я тогда Анну Асафовну к себе в избушку и перетащил, а в Загорье-то всем рассказал, что она в Казань уехала. Долго не соглашалась Анна Асафовна ко мне переезжать, да уж делать было нечего, выбирать-то не из чего было... Так она у меня в избушке и Агничку родила, да и сама скоро скончалась. Прислуги-то никакой не было, я сам за ней все ходил и даже решительно все делал. Акушерка была, а потом уж я орудовал... Ну Агничка-то родилась, Анне Асафовне точно полегчало вдруг: спокойная да веселая вдруг сделалась, и я тоже с ней ожил. Со мной постоянно разговаривала. Про старое-то расспрашивала, как на Ирбитскую ездили, и точно все удивляется, самой себе удивляется, что такие поступки она могла поступать, а про Карачарова ни единого слова... Потом стала говорить, что бросит театр и будет честным трудом жить. Хорошо она умела говорить, когда развеселится... Смеялась она уж очень хорошо: улыбнется, да этак исподлобья и посмотрит. Роды у ней были самые легкие, потому состав вон какой был, ну, а тут акушерка велит девять ден лежать... очень это обидно было Анне Асафовне, да и меня все жалела, потому что я и за ней хожу и за ребенком. Как-то отвернулся я в лавочку зачем-то, прихожу, а она у печки возится; я так и ахнул, а она только смеется. «Чего мне, говорит, сделается, Лука Агафоныч? Замаяла я тебя...» Ну, как я ее ни уговаривал — ничего не мог поделать с ней; походила она таким манером дня с два, а потом и разнемоглась — родильная горячка прикинулась. Так, моя голубушка, и кончилась... без памяти все время была.

Когда Шапкин кончил свой рассказ, ночь была уже на исходе и восточная сторона неба приняла серый цвет — это занималась утренняя заря. В лесу начали слабо перекликаться первые утренние птички, точно

настраивали инструменты в каком-то громадном оркестре.

— Вплоть до зари проболтали, — конфузливо заметил Шапкин, точно он испугался своей откровенности, — право, по простоте больше болтаю... уж вы не взыщите.

— Помилуйте, Лука Агафоныч, я с таким удовольствием слушал все время.

— Очень приятно-с, ежели угодил... А не двинуть ли нам на охоту-с по заре-то? Самое теперь преотличное время...

— Да ведь мокро в лесу после дождя...

— Ах, да, я и забыл-с, что была гроза... да, совсем забыл. Вот ведь, право, под старость-то память совсем девичья сделалась: короткая. Хе-хе... Значит, соснем?

— Я думаю, что это лучше будет.

Мы улеглись. Теперь в балагане было тепло, да и солнце скоро встанет и обогреет, но это не помешало Шапкину наглухо запереть дверь, отчего весь балаган тотчас же наполнился дымом и угаром. Он даже порывался наглухо «закутать» трубу дерном, но я энергически протестовал и кое-как настоял на своем. Мы пролежали таким образом с полчаса, но сон не шел на ум.

— Вы не спите? — окликнул меня Шапкин в темноте.

— Нет... а что?

— Да так-с... Хотелось мне одно спросить у вас: за какие такие провинности Анна-то Асафовна мучилась... а? Как вы насчет этого полагаете?.. И смерть напрасную приняла, когда жить бы да жить надо... Я часто об этом думаю и так своим умом прихожу: за родительские прегрешения она под грозу попала... Не иначе, потому и в писании насчет этого совсем ясно сказано, что «на главы чад даже до седьмого колена». Извините, пожалуйста, а меня это вот седьмое колено ужасно смущает, потому неужели же и Агничка должна пропасть?..

Я напрасно старался разуверить старика в неправильном толковании этого семиколенного возмездия, которое противно основному духу христианского уче-

ния. Шапкин только вздыхал и опять принимался за свое «даже до седьмого колена».

— Ведь совсем ясно сказано, — уныло продолжал старик. — Да я это и сам чувствую иногда, когда смотрю на Агничку... Конечно, в ней есть знаки Анны Асафовны, и большие знаки, а иногда мне покажется бог знает что! Право... Вы подумайте только: раз смотрю на нее, как она книжку читает, а глаза-то у ней карачаровские! Так вот во мне даже все нутро со страху перевернулось. «Господи, думаю, за что же ты меня-то еще этакой напастью наказываешь?» И как я теперь ее буду любить, когда в ней одна-то половина Анны Асафовны, другая — карачаровская? И такое на меня сомнение нападет, такое сомнение, точно я совсем не люблю Агнички!.. Ах, грех какой...

Когда старик, наконец, заснул, я вышел потихоньку из балагана, потому что оставаться там дольше не было никаких сил. Зато в лесу теперь было чудно хорошо. Все кругом блестело и лоснилось после вчерашнего дождя, как покрытое лаком. Прямо перед балаганом поднималась Чертова Почта, на которой можно было рассмотреть каждый камешек, каждый кустик; Талая походила на громадную шапку с зеленым бархатным верхом. Над балаганом недвижно высились вечно молчаливые, печальные лиственницы; лужайка, на которой стоял когда-то раскольничий скит, вся была затянута высокой травой, доходившей мне в некоторых местах до плеч. Тихо качались розовые головки иван-чая; пахло земляникой и еловой смолой. На опушке леса заливались невидимые певцы; это пение точно висело в самом воздухе, струившемся под солнечным лучом, как вода. Хорошо так было кругом, так мирно и торжественно; не хотелось верить, что только вот несколько часов назад, над этими самыми горами, пронеслась гроза и вырвала с корнем не одно дерево вот в этом лесу, где теперь все так радуется и ликует, — ликует, когда тут же рядом лежат мертвые, для которых больше нет солнечного света.

ПОПРАВКА ДОКТОРА ОСОКИНА

I

Доктор Осокин долго мешал ложечкой чай в своем стакане и потом проговорил довольно грубым тоном:

— Знаешь, что я тебе скажу, Матрена? Ты ужасно походишь на трихину...

— Как на трихину? — обиженно удивилась Матрена Ивановна, вскакивая с дивана. — Ты, Семен Павлыч, кажется, совсем сбесился... Я очень хорошо знаю, что такое трихина: этакий беленький червячок, который живет в ветчине. Только трихина тонкая, а я, кажется, слава богу...

В подтверждение своих слов Матрена Ивановна не без грации повернулась под самым носом доктора всею своею круглою фигуркой и даже показала ему свои белые, пухлые, маленькие ручки, которыми немало гордилась, хотя в качестве акушерки и должна была бы иметь руки вроде клещей. Дряблое и пухлое лицо Матрены Ивановны тоже было совсем круглое и на нем пытливо, с каким-то детским любопытством светились два крошечных голубых глаза, точно вставки из выцветшей бирюзы.

— Конечно, трихина, — настаивал доктор, ероша свои коротко остриженные седые волосы. — Что такое трихина? Трихина есть злокачественный паразит, который губит животных одним существованием в них, а ты

заражаешь людей ядом своего неизлечимого пустословия. Утешением для тебя, Матрена, в этом случае может служить то, что против трихины медицина не знает никаких средств лечения, следовательно они могут существовать совершенно безнаказанно...

— Ну пошел городить... А еще все считают умным человеком!.. Тьфу!.. Умный человек!..

— Конечно, умный, а то как же?

— Ну, уж извини, голубчик, а, по-моему, у тебя, Семен Павлыч, не ум, а умишко, да и того еле-еле хватает, чтобы отвесить дерзость... Старый петух, и больше ничего!

Доктор Осокин слушал с завидным спокойствием, как Матрена Ивановна ругалась с ним, и, повидимому, был даже очень доволен, посасывая длинную трубку и на время совсем исчезая в облаках белого дыма. Ему всегда доставляло удовольствие дразнить Матрену Ивановну, которая иногда ругалась с ним до слез. В таких случаях Матрена Ивановна ненавидела до глубины души самую фигуру доктора — его широкие плечи, сильные волосатые руки, эту большую стариковскую голову, красивую какою-то старческою красотой, наконец самодовольное выражение докторской рожи. В пылу негодования она иногда ругала его дураком или подлецом, а доктор продолжал оставаться невозмутимым и только изредка позволял себе улыбнуться, именно позволял, потому что, как Матрена Ивановна была убеждена, манера держать себя у доктора была вся деланная и вымученная, своего рода кокетство поддельно-умного человека.

— Умный человек! — не унималась расходившаяся Матрена Ивановна, размахивая своими коротенькими ручками. — Это все наши пропадинские дамы придумали: «умный, умный!..» Жену судьи Берестечкина в одном белье принял. Как же, помилуйте, приезжает к нему дама за советом, а он и выкатил даже без халата... Хорош, нечего сказать!

Доктор и теперь сидел совсем по-домашнему: в халате, в туфлях на босу ногу и с расстегнутым воротом ночной рубашки; это был его обычный домашний костюм. Но Матрена Ивановна не обращала внимания

на некоторую свободу докторских одежд и всегда говорила своим бесчисленным знакомым: «Э, батенька, я и не такие виды видывала!»

— Полагаю, что я могу у себя дома жить, как это мне нравится, — отцеживал доктор, — и не желаю себя стеснять... Удивляюсь только, зачем ко мне шляются некоторые люди, которым я советовал бы лучше сидеть дома и читать псалтырь.

— Как это остроумно, Семен Павлыч... просто великолепно!.. Остроумие военного писарька перед горничной...

Описываемая нами сцена происходила в большой и высокой комнате, которая доктору Осокину служила приемной, гостиной и всем, чем хотите. Она была совсем пустая, за исключением деревянного дивана, ломберного стола и нескольких стульев. Давно не беленые стены были покрыты полосами паутины, на полу везде лежали узоры от грязных собачьих лап, захватанные двери имели самый жалкий вид, как в какой-нибудь казарме. Теперь на столе красовался давно не чищенный самовар с зелеными потеками и самая сборная посуда, так что Матрена Ивановна только морщилась и пожимала своими круглыми плечами, разливая чай.

— Меня просто в восторг приводит твоя глупость, Матрена, — говорил доктор, допивая стакан. — Необыкновенно редкий экземпляр, хотя вообще все женщины не отличаются особенным умом... Какое-то вечное полудетское существование, а потом детская старость. Взять хоть тебя, Матрена, ведь безобразна ты, как сморчок, а ведь туда же, еще кокетничаешь... Ну, скажи на милость, не глупо все это?

— Это уж не тебе понимать, Семен Павлыч... да. Конечно, я теперь старуха, а тоже было время, когда ваш брат, мужчинишки, бегали за мной, ручки у Матрены Ивановны целовали.

— Отчего же ты замуж не выходила за одного из этих бегавших за тобой дураков? Ведь в этом все назначение женщины...

— Замуж?.. Я замуж?.. Никогда! На других-то смотреть тошно, довольно я нагляделась, как бабы мучаются из-за вашего-то брата... Я девушка, да-с!

— Старая девка?

— Пусть.

— Христова невеста?

— Пусть.

По обыкновению, они рассорились. Матрена Ивановна заявила, что ее нога больше никогда не будет в докторской квартире и что она знает себе цену. Скажите, пожалуйста, какая знаменитость: доктор Осокин... ха-ха! Всякий кулик на своем болоте велик. Оказалось, что Матрена Ивановна была знакома с настоящими столичными медицинскими знаменитостями, которые берут по сто рублей за визит. Да-с, а то какой-то доктор Осокин, который корчит из себя великого человека... Нет, это положительно смешно, и если бы Матрена Ивановна умела писать, она так бы расписала этого докторишку, что не поздоровилось бы.

— Да одно то сказать: старый холостяк... тьфу! — ораторствовала Матрена Ивановна, несколько раз порываясь выйти из комнаты. — Я еще понимаю, если женщина не выходит замуж, а мужчина...

— Что же в этом позорного?

— Очень просто: значит, ты человек без сердца или потерял всякую способность быть настоящим мужчиной.

Доктор провел по своей седой щетине рукой и задумчиво улыбнулся.

— Когда я служил в Саратове военным врачом, — заговорил он, раскуривая потухшую трубку, — когда я служил в Саратове, все дамы находили, что я имею сердце, и даже очень горячее.

— Нашел чем похвалиться... Саратовские дамы!.. Знаю я их; они по всей Волге только тем и славятся, что умеют отлично ловить блох.

Эта выходка Матрены Ивановны рассмешила доктора, хотя в следующую за смехом минуту он и раскаялся за свою слабость: Матрена Ивановна села на стул и даже развязала ленту своей шляпки с желтыми цветами, что в переводе означало желание просидеть еще час у доктора.

— Нет, мы рассудим все дело начистоту, Семен Павлыч, — говорила она, наливая себе чашку холод-

ного чая. — Если бы я была царем, я всех бы этих подлецов-холостяков женила первым делом... да. Уж я это отлично понимаю все, пожалуйста, не спорь!.. Что такое девица, по-твоему, Семен Павлыч, а?

— Очень мудреный и глупый вопрос.

— Девица — несчастный человек, вот что нужно сказать. Первое, она должна быть молода и красива, а девичья красота продолжается как раз от шестнадцати до двадцати четырех лет, а тут уж собачья девичья старость начинается. Так? Ваш-то брат, мужчинишки, даже очень хорошо это понимают. Ну, значит, у девицы восемь красивых годков, и должна она себя в это время пристроить, а ежели совестливая-то да деликатная девица, так это даже весьма трудно по нынешнему времени. И в самом-то деле, девица серьезный разговор с молодым человеком начинает, а кругом шу-шу: жениха барышня ловит... Ну совестливая-то девица и плюнет. Тоже ведь и гордость своя есть... Да и много ли у нас женихов-то, ежели вот наше захолустье взять, тот же город Пропадинск? Глядишь, девка и завяла, а жить бы ей, жить надо, да еще как жить-то. Глаз у вас, у подлецов, нет... Халда которая, та скорее выскочит замуж, или вдова какая, потому что они свободное обращение имеют с мужским полом. Правду говорю, Семен Павлыч, истинную правду. Вы вот все науки произошли, а только, что под носом у вас делается, этого вот не видите. Много хороших девиц этим манером из-за своей совести пропадает, а другая терпит-терпит, да за первого прохвоста и махнет...

— Я-то при чем же тут?

— Ты? А вот ты первый во всем виноват, кругом виноват... К этому и речь веду, голубчик Семен Павлыч. Вы ведь ученые, с вас и первый спрос. До седого волоса учитесь. А какое ваше мужское положение? Как ветер, гуляй из стороны в сторону, и никакого тебе запрету нет. Ты еще вот в гимназии учился, а уж всю женскую часть произошел: и барынька податливая попалась, и смазливая горничная, и так сбегаешь вечерком в хорошее место. Всего насмотришься и вот до сюда (Матрена Ивановна указала на свою короткую шею) доволен... Знаю я, как вы по столицам-то высшее

образование получаете: другой приедет домой-то в чем душа. Ну выучился, поступил на службу и пошел разбирать: та девушка не хороша, эта хороша, да приданого нет, третья и с приданым и с красотой, так образования не имеет или не может свободно ученые ваши разговоры разговаривать. Можно разбирать-то из-за готовых харчей: тут около дамочек свое удовольствие получишь, там экономку какую-нибудь развертную возьмешь, к арфисткам съездишь песенок послушать. Хорошие-то девушки вянут да вянут у себя по теремам, а ты свинья свиньей живешь, да еще порядочным человеком себя считаешь. «Я, говорит, смотрю на жизнь философски. Конечно, семейная жизнь с гигиенической стороны имеет за себя большое преимущество, но пойдут хлопоты, дрязги, недостатки, — тут уж не до науки». Это в тебе твое свинство говорит, Семен Павлыч, а не наука. Ну, таким манером и ты достукаешься к пятидесяти годам до своей собачьей старости.

— Этакий у тебя язык, Матрена... Ну и буду старым холостяком, никому до этого дела нет. Твоей совестливой девице даже лучше, что я ее обманывать не буду.

— Ах, какой ты глупый человек, Семен Павлыч!.. А деточки-то, ангелочки-то? Что у тебя? Кабак, псарня какая-то (Матрена Ивановна торжествующе обвела комнату глазами)... Пустота, грязь, мерзость. Вон там у тебя кабинет, там спальня, а в той комнате... что у тебя в той-то вон комнате, налево, позабыла я?

— Там собаки живут.

— Да, да... собаки! Тьфу ты, окаянная душа... А комнатка-то какая...

Матрена Ивановна отправилась в комнату налево, отворила дверь и долго стояла на пороге, покачивая своею головой. Эта комната выходила двумя окнами прямо в сад и была совсем пустая, только на полу на соломе спала глухая сука Джойка.

— Ох-хо-хо, хорошенькая комнатка! — вздыхала Матрена Ивановна. — Вот тут бы у тебя и жила старшая твоя дочь. К стенке бы кроватку поставить, в углу этажерочку, тут комодик, письменный столик, — отличная бы комнатка вышла. Пошел бы вот эдак на службу куда, а сам бы и прислушался, что, мол, моя Саша

делает теперь? Глядишь, и забота была бы, не до свинства тогда. То Саше ботинки новые нужно, то Саша нездорова, то Саше книжку умненькую надо прочитать, да объяснить, да показать, да научить... А Саша бы, глядишь, к отцу бы приласкалась, свеженькая да чистенькая такая, как первая весенняя травка. Так я говорю?

Доктор давно не слушал свою собеседницу и сидел, опустив голову. Трубка потухла, чай давно стоял холодный, в комнате было уже темно.

— Штой-то это как я заболталась с тобой, — спохватилась Матрена Ивановна, горошком вскакивая со стула. — Ночь на дворе, а я к холостому мужчине забралась. Прощай, Семен Павлыч.

— Прощай, трихина.

— Петух старый!

Оставшись один, доктор долго сидел в темноте. Он все хотел раскурить трубку, но как-то забывал каждый раз и опять задумывался. На улице уже горели фонари; где-то громыхали по избитой мостовой дребезжащие дрожки. В комнату вошла любимая собака доктора, ирландский сеттер Нахал; он ткнул хозяина холодным носом в руку, повилял пушистым хвостом и, не дождавшись обычной ласки, отправился в комнату больной Джойки.

— Ах, да, комната старшей дочери, — вспомнил доктор, прислушиваясь к шагам собаки, и горько улыбнулся.

Вечером доктор долго не ложился спать и со свечкой в руках несколько раз обошел всю свою квартиру, из комнаты в комнату, и внимательно рассматривал свой холостой беспорядок, точно он видел все это в первый раз. Доктору сделалось как-то жутко: из каждого угла на него смотрело его одиночество и то холостое свинство, о котором говорила Матрена Ивановна. Единственная комната в доме, пахнувшая жилым, был докторский кабинет, — шкафы с книгами, медицинские инструменты, разные препараты, письменный стол, заваленный книгами, бумагами и покрытый пылью и табачным сором. Спальня была совсем пустая комната с кроватью посредине. Доктор спал, вместо матраца, на мешке с сеном, которое менялось каждый день. В ком-

нате Джойки доктор пробыл особенно долго. Это был великолепный кофейный пойнтер с глазами цвета горчицы; у Джойки был маразм, единственное лекарство от которого — смерть. Умная собака, кажется, сама понимала свое положение и как-то виновато смотрела на хозяина своими слезившимися глазами.

— Плохо, Джойка, — проговорил доктор, щупая сухой нос собаки.

Джойка сделала усилие, уперлась задними ногами в солому, вытянулась и проползла несколько шагов, но больше не могла и только печально вильнула хвостом. Нахал, со свойственным своему юношескому возрасту эгоизмом, не желал понимать происходившей сцены и все лез к доктору, тыкаясь к нему в колена своею рыжею шелковою головой.

— Экая дура эта Матрена, — вслух проговорил доктор, лаская Нахала. — Единственный верный друг у человека — это собака. Так, Джойка?

II

Уездный город Пропадинск совсем не был таким захолустьем, как отзывалась о нем Матрена Ивановна; напротив, это был очень чистенький и бойкий городок с двадцатитысячным населением, развитою промышленностью и тем особенным бойким складом жизни, каким отличаются все сибирские города. Правильные, широкие улицы, обстроенные каменными и деревянными домами, вытянулись параллельно течению маленькой горной речонки Пропадинки. Издали вид на город был очень красив: чем-то свежим и оригинальным веяло от этой пестрой кучи домов, садов, церквей, общественных зданий, дач и заимок. Трудно было даже разобрать, где кончался собственно город, потому что заимки и дачи уже входили в черту города, а затем почти в центре зеленою шапкой высилась небольшая лесистая горка, служившая местом для общественного гулянья. Из общей массы строений выделялись, как громадные заплаты, четыре городских площади и целый ряд громадных каменных домов казарменной архитектуры времен

Александра благословенного; это были палаты разных заводчиков и золотопромышленников. Половина этих дворцов стояла пустая и медленно разрушалась, потому что владельцы или разорились, или вымерли, или проживали где-нибудь в столицах и за границей.

Самое блестящее время существования Пропадинска были сороковые годы, когда здесь бойко развернулись золотопромышленники, заводчики и горные инженеры. Особенно прославились фамилии золотопромышленников Гуськовых и Ефимовых, прогремевших на всю Россию, за ними выдвинулись купцы Светляковы, откупщик Хлыздин, винокуренные заводчики Барч-Гржеляховские и т. д. Пропадинск зажил бойко и размашисто, как умеют жить только в Сибири, а затем как-то вдруг золото «отошло» в другие места, и жизнь вошла в свою обычную колею. Вместо диких миллионов выступили на сцену туго сколоченные капиталы, промышленники и предприниматели нового пошиба.

— Ничего, светленько-таки пожили... всячины бывало! — любила вспоминать Матрена Ивановна, еще помнившая самый развал пропадинского благополучия. — Гуськов-то, Михайло Платоныч, очень даже умел себя показать: протер глазки-то своим миллионам, немного от них осталось наследничкам-то... Свой театр имел, как же, полный оркестр музыкантов и даже хотел настоящий цирк из Италии выписать, да умер скоро. Когда выдавали Евлампию-то Михайловну, вторую дочь от первой жены, так один фейерверк стоил пять тысяч, а сколько было посуды перебито на свадьбе, сколько платья испластано на гостях — и не сосчитать.

— Зачем же платья на свадьбе рвали, Матрена Ивановна?

— А от радости, ангел мой, от радости. Это уж такое дикое купеческое обыкновение: ежели все благополучно с невестой, сейчас все в клочья. Была я на свадьбе-то, так и меня чуть было не ободрали до ниточки. До настоящего сраму дело доходило: подбежит сам-то Михайло Платоныч к какой даме и сейчас за ворот да до самого подола все платье на ней и разорвет, а сам плачет от радости...

У Матрены Ивановны был свой домишко, стоявший на Соборной улице, рядом с запустелыми хоромами разорившихся богачей Ефимовых; он выходил на улицу всего тремя небольшими окошечками и выкрашенным в серую краску деревянным подъездом, над которым красовалась большая синяя вывеска: «Экзаменованная повивальная бабка (Sage-femme[1]) М. И. Пупышкина». Домишко был старый, держался, кажется, только на своей деревянной обшивке, но Матрена Ивановна не желала ни починивать его, ни строить новый, потому что «на мой-то век и этого хватит, а с собой не возьмешь». Собственное помещение Матрены Ивановны заключалось в трех крошечных комнатах, набитых до самого потолка разною старинною мебелью, точно это была лавка со старыми вещами.

— Все подарки от моих пациентов, — объясняла Матрена Ивановна любопытным. — Если самим что-нибудь из мебели надоело, сейчас Матрене Ивановне и подарят. А я все беру, потому что зачем обижать добрых людей? Конечно, все это хлам, ну, а как умру, так разные неблагодарные племянники найдут место всему.

В приемной комнате стоял диван карельской березы, над ним висело неуклюжее зеркало в тяжелой раме красного дерева с вычурной золотой резьбой по углам, перед диваном красовался круглый чугунный стол, по сторонам дивана стояли какие-то две необыкновенные тумбы, раскрашенные под мрамор; пузатый ореховый комод, бюро без двух ящиков, несколько старинных кресел и стульев дополняли эту обстановку. Конечно, на полу были ковры, на диване лежала расшитая шерстями и бисером подушка; столы, комод, тумбы, спинки у кресел и дивана были завешаны вязаными «филейными» ковриками и салфеточками. В задней комнате Матрена Ивановна, собственно, только спала и там же стояли ее сундуки с разным добром, да еще большой посудный шкаф, в котором хранилось, кажется, все достояние бойкой старушки.

— Буду старая, так негде будет взять-то, — говорила Матрена Ивановна, когда кто-нибудь из знакомых

---

[1] акушерка *(франц.)*.

упрекал ее в скупости. — Сирота ведь я; голодом и холодом насидишься с добрыми-то людьми, а мне вон еще для Поленьки нужно промышлять.

В подвальном этаже домишка Матрены Ивановны проживала в особой каморке бывшая пропадинская знаменитость — Поленька Эдемова. Примадонна и первая красавица, сводившая с ума весь город, теперь даже не имела угла, где могла бы приклонить свою старую голову, и если бы не Матрена Ивановна, примадонне пришлось бы умирать на улице. Теперь Поленьке было под шестьдесят; она носила темненькие шерстяные платья, вязаную косынку на шее и какую-то фантастическую наколку на голове. Полное, обрюзглое лицо Поленьки казалось старше своих лет, хотя глаза еще сохранили блеск и все зубы были целы; седые волосы она завертывала какою-то пуговкой на самом затылке. Держала себя Поленька крайне неровно, чем постоянно огорчала Матрену Ивановну, очень «легкую» на гнев и на милость. Часто, глядя на Поленьку, Матрена Ивановна удивлялась про себя, странная эта Поленька: то как будто простая и славная, а то вдруг какую-то гордость на себя напустит, начнет капризничать, вообще сделается такою фальшивой и неприятной. Эти припадки обыкновенно случались при ком-нибудь постороннем. «Ну, опять бес поехал на нашей Поленьке! — махнет только рукой Матрена Ивановна. — Ведь уж старуха, а все еще ломаться да представляться надо перед добрыми людьми».

Матрена Ивановна не хотела понять этих вспышек пережившего себя тщеславия: в Поленьке каждый раз мучительно умирала та знаменитая актриса, которую когда-то все носили на руках, а потом просто хорошенькая женщина, привыкшая быть красивой. Это была настоящая драма, и Поленька делалась каждый раз больна после своих капризов. Она обыкновенно запиралась на несколько дней в свою каморку и никого не принимала, даже Матрену Ивановну. Комнатка была крошечная и выходила единственным окном во двор. Впрочем, у Поленьки ничего и не было, кроме какой-то необыкновенной кровати красного дерева; это было целое архитектурное сооружение, преподнесенное

ей в дни ее славы самим Михайлом Платонычем Гуськовым. Необыкновенно низкая и широкая, эта знаменитая кровать была украшена высокими спинками с самою причудливою резьбой. По углам сидели золотые амуры, прицеливавшиеся стрелами друг в друга. Несмотря на все превратности своего существования, Поленька сохранила эту кровать за собой и желала умереть на ней. В дни уныния и печали, запершись на крючок, она отодвигала в кровати широкий ящик и надолго погружалась в рассматривание его содержимого. Весь сор и пепел, какой несет за собой театральная слава, теперь сосредоточивался в этом ящике; тут были засохшие букеты, цветы из венков, широкие шелковые ленты с разными надписями, пожелтевшие и выцветшие портреты, целые кипы стихов, вороха записок, страстных посланий, нежных объяснений в любви и просто безграмотной дичи, которую могла писать и понимать одна любовь. Целый угол занимали пустые футляры от разных ценных подарков, и Поленька очень дорожила именно этими футлярами; их ценное содержимое давным-давно перешло в крепкие руки разных закладчиков, но она могла хоть читать потемневшие золотые надписи на этих футлярах. Так, на футляре из-под аметистового колье была надпись: *Единственной от города Пропадинска;* на фермуаре: *Победительнице от побежденных;* на бриллиантовой броши: *Волшебнице от Гуськова;* дальше следовали: *Несравненной красоте от клуба приказчиков, Моему божеству от майора Передерина, От ослепленных красотой горных инженеров* и т. д. и т. д. Это были подарки общественного характера, где больше щеголяли футлярами, а самые ценные вещи были помечены какою-нибудь одною буквой, числом или годом. Золотопромышленник Гуськов и откупщик Хлыздин соперничали перед Поленькой Эдемовой дорогими подарками, и каждый оставался в убеждении, что именно его одного Поленька Эдемова и любит.

«Господи, куда же все это девалось? — в каком-то ужасе иногда думала Поленька, перебирая воспоминания прошлого. — Гуськов разорился и давно умер, Хлыздин тоже, Ефимов сошел с ума... Другие все: кто

умер, кто замаливает старые грехи, а кто на старости лет последнюю совесть позабыл».

Поленька иногда чувствовала себя какою-то тенью самой себя, а жизнь казалась ей тяжелым сном. Правда, она оживлялась, когда разговор заходил о прошлом и когда можно было отвести душу хоть с тою же Матреной Ивановной, которая знала всю подноготную Пропадинска, как свои пять пальцев.

— И куда что девалось, ума не приложу, — рассуждала Матрена Ивановна, попивая кофе с Поленькой. — Прежде-то, прежде какие, например, девицы бывали!.. а?

— Я то же самое говорю, — соглашалась Поленька, — что-то как будто нынче их не видно, разве из молодых кто выберется.

— Нет, прежде-то: Евлампия у Гуськовых, Евпраксия, своячина Хлыздина, Лидочка и Капочка у Ефимовых, у протопопа Катонова целых три дочери, генеральша Отметышева, заседательша Голубкова... Одна лучше другой, одна краше другой!.. Помнишь, как протопоповские дочери на гитаре играли, а заседательша Голубкова русскую в шароварах и в шелковой рубахе отхватывала?.. Мне больше всех Евлампия Гуськова нравилась: брови густые, как два соболя, глаз серый с искорками, грудь, как у богини, а руки какие у ней были!.. Тройкой правила, как ямщик, а рука точно вся выточена до самого плеча! Кутила она после-то сильно... Ох-хо-хо!.. И все-то старые-старые сделались, брюзжат, да стонут, да кашляют... Одни, видно, мы с тобой, Поленька, остались! Право, если с молодыми-то сравнить, так мы еще, пожалуй, того...

— А Машенька Светлякова, Эммочка Бодман, говорят, красавицы? — сомневалась Поленька.

— Машенька Светлякова? Эммочка?.. Ха-ха!.. И это красавицы!.. Моль какая-то немецкая: у Эммочки талия до пят, а у Светляковой спина как у стерляди... Знаю я их всех!.. Вот теперь много судейских барынь, у инженеров, у купечества, — все будто люди, а чтобы настоящая красавица — ни одной!.. Я их копчушками всех зову... право, настоящие копчушки. Да вот хоть теперь взять тебя: ведь уж ты старуха, Поленька, ста-

рый гриб, а, ей-богу, всех этих красавиц сложить вместе, так они одной твоей ноги не стоят. Ах, какие у тебя ноги, Поленька, были, какие ноги!.. Недаром Хлыздин шампанским их мыл да этим шампанским гостей поил.

При этой похвале Поленька краснела последним старческим румянцем и стыдливо опускала глаза.

— Я ведь тебе не буду льстить, матушка, — не унималась Матрена Ивановна, — я правду всегда ляпну... Только ты цены себе настоящей не знала и напрасно этим подлецам мужчинишкам доверялась. Так я говорю?.. Конечно, красотою особенной меня господь не наградил, но за одно благодарю моего создателя: ни одному мужчинишке никогда не поверила, а то, по-твоему же, суму на шею надели бы, да и пустили по миру.

— Нет, это я сама виновата, Матрена Ивановна...

— И говорить не смей!.. Она же их и защищает... Позабыла, видно, как у меня жениха отбила?.. Стара вот я только стала, а то бы еще ничего, посчиталась бы с тобой... Ну-ка, скажи по совести, из-за кого я старою-то девкой осталась?

— Матрена Ивановна... оставьте... — глухо шептала Поленька, закрывая лицо руками. — Прогоните меня лучше, а не мучайте.

— Да я ж тебе в ножки поклонюсь за доброе дело, — смеялась Матрена Ивановна. — Кабы не ты, пропала бы моя головушка. Без ума сделалась я тогда..

Эти старые счеты заключались в том, что у Матрены Ивановны был жених, какой-то учитель Горорытский, а Поленька Эдемова, бывшая тогда на верху своей славы, расстроила это складывавшееся молодое счастье из-за какого-то шального пари, что отобьет жениха у некрасивой акушерки. Горорытский сразу попался на удочку. Поленька потешилась им несколько дней, а затем дала ему чистую отставку; учитель скоро спился и умер, а Матрена Ивановна осталась весталкой.

— Одно меня удивляет, — рассуждала Матрена Ивановна, впадая в задумчивое настроение, — откуда это зверство в человеке? Погубила двоих разом и не

жаль.. Я не в укор тебе говорю, Поленька, а только к примеру.

— Велико кушанье твой Горорытский! — возмущалась Поленька, увлекаясь воспоминаниями. — Помнишь, как горный инженер Блюдечкин застрелился из-за меня?.. Он меня сначала хотел убить...

— Да мало ли было дураков, всех не пересчитаешь... Сколько человек по миру пустила ты, Поленька, а уж сколько жены мужние из-за тебя слез пролили да синяков износили. А я нет, не сержусь... Ну-ка, спой ты эту самую песенку, помнишь?.. Господи, что делалось в театре, когда ты, Поленька, романсы пела...

У Матрены Ивановны хранилась гитара, подаренная ей одною из дочерей протопопа Катонова, и она иногда любила поиграть на ней, припоминая старину. Обыкновенно Матрена Ивановна аккомпанировала, а Поленька пела дребезжащим старческим голосом. Самым приятным воспоминанием для обеих старушек был старинный романс: «Собака верная моя». Когда Поленька пела этот романс, Матрена Ивановна горько плакала. Чтобы развеселить Матрену Ивановну, Поленька исполняла тоже старинную модную песенку про «Ванюшу-трубочиста», который был «лицом черен, но душою чист».

Вернувшись в последний раз от доктора, Матрена Ивановна долго не могла заснуть, ворочалась в своей постели, а потом не выдержала и спустилась к Поленьке, которая с лампой сидела на своей кровати и вырезывала из бумаги лепестки искусственных цветов. Бывшая знаменитость любила эту работу, которая не мешала думать и в то же время доставляла удовольствие и маленький заработок.

— Была я у того, у медведя-то, — говорила Матрена Ивановна, с ногами забираясь на Поленькину кровать.

— У какого медведя? — равнодушно спрашивала Поленька, разглядывая издали только что собранную бланжевую розу. — Не правда ли, какая прелесть?

— Отстань, пожалуйста, с своими глупостями... А мне, право, даже жаль его сделалось!

— Кого жаль? — с прежним равнодушием спрашивала Поленька, продолжая любоваться своим произведением.

— Ах, какая ты глупая, Поленька! — вспылила Матрена Ивановна, окончательно обиженная невниманием. — Я же тебе рассказываю про Семена Павлыча.

— А... так бы и сказала. Опять поругались?

— Да ты слушай. Сначала-то чуть не разодрались, а потом как я принялась его золотить, как принялась, ну, он и прикусил язык-то. Уж на что, кажется, дерзок, а тут замолчал... Знаешь что, Поленька? Мне кажется, что доктор очень несчастлив, очень, очень несчастлив!

— Может быть... не знаю...

Матрена Ивановна искоса взглянула на Поленьку и невольно подумала: «Ну и глупа же ты, матушка. Этакое дерево смолевое!» А Поленька как-то по-ребячьи продолжала любоваться своим цветком и, чтобы не огорчить Матрену Ивановну, напрасно старалась принять внимательный слушающий вид.

— Вот что я хотела тебя спросить, — продолжала Матрена Ивановна с самым невинным видом. — Ведь ты хорошо помнишь Семена-то Павлыча, когда он молодым приехал в Пропадинск?

— Доктора Осокина? — не без важности переспросила Поленька. — Как же, помню... Он еще когда-то ухаживал за мной и ужасно мне надоедал своими глупостями.

— Какими глупостями?

— Да разными. Мне тогда не до него было: с одной стороны приставал Гуськов, с другой — Хлыздин, а тут еще этот доктор. Старики-то совсем сбесились: ревнуют меня к доктору, а я просто не знала, как с ним развязаться.

— Ты, кажется, думаешь, что и Семен Павлыч был влюблен в тебя?

— Не спорю, но что-то такое было.

Как Матрена Ивановна ни допытывалась, но Поленька решительно не могла вспомнить, что такое у ней было с доктором, — память изменила старой актрисе.

III

В Пропадинске доктор Осокин пользовался репутацией странного человека. Все были согласны, что доктор умный человек, и даже очень умный, но вдруг на него накатывался какой-то особенный стих, и доктор начинал блажить: то пациента обругает, то барыню до истерики доведет, то какой-нибудь такой фокус выкинет, что все ахнут. Нужно сказать, что было такое особенное время, когда все умные провинциальные люди обязательно чудили, и благодаря этому некоторые завзятые дураки до самой смерти пользовались репутацией умников. Странности доктора Осокина распадались на два разряда: странности постоянные и странности случайные. К первым относилось то, что доктор в гигиенических видах спал всегда на свежем сене, пил одну отварную воду, питался исключительно морковными пирогами, приготовленными для него по какому-то необыкновенному рецепту, зимой ходил в летней фуражке, летом в папахе, не признавал галстуков, из удовольствий допускал только одно — пойдет на двор, разбросает поленницу дров, и совершенно доволен.

— Это мне заменяет музыку, — объяснял доктор на своем странном языке.

Как врач, доктор Осокин пользовался громадною популярностью, хотя всегда старался по возможности избегать частной практики, почему обращался с пациентами с необыкновенною грубостью, но последнее приводило как раз к противоположным результатам: самые нервные и жантильные барыни никому не хотели верить, кроме доктора Осокина. Они терпеливо выносили самые отчаянные докторские грубости, плакали, нюхали спирты, необходимые в таких случаях, давали клятву, что больше никогда не обратятся к этому грубияну, и при первом же случае опять посылали за доктором Осокиным. Рассказывали, что одну из своих восторженных пациенток доктор выгнал из своей квартиры прямо в шею, а m-me Берестечкину принял в одном белье.

В Пропадинске доктор жил больше тридцати лет, и жил все время отчаянным холостяком. Докторская квартира служила притчей во языцех, как редкий пример беспорядка и отсутствия всяких удобств жизни. Но доктор прожил в ней все тридцать лет и, кажется, совсем не думал выезжать из нее. И прислуга у доктора была одна и та же: неимоверно глупый лакей Авель, которого доктор держал из удовольствия назвать его первым человеком в мире, и старая кухарка Таисья, умевшая готовить только одни морковные пироги. Лошади доктор не держал, потому что иметь свою лошадь значило лишать себя величайшего удовольствия ходить по городу пешком.

— Это мне заменяет живопись, — объяснял доктор, когда ему советовали завести лошадь. — Помилуйте, ездить на лошади — это величайшее безумие и самый верный путь к насильственной смерти, а я этого не желаю и надеюсь прожить до ста лет.

С пропадинской публикой доктор как-то не сошелся и решительно ни у кого не бывал; у него тоже гостей было немного, и Матрена Ивановна являлась счастливым исключением. Трудно сказать, как произошло это знакомство и чем оно поддерживалось, тем более что доктор был заклятым врагом женщин. Но Матрена Ивановна бывала у доктора почти каждую неделю и даже уверяла своих бесчисленных знакомых, что доктор Осокин скучает без нее.

— А что вы у него делаете, Матрена Ивановна? — допытывались наивные барыни.

— Чего делать-то? Чай пью... Как недели две не загляну к нему, каждый раз скажет: «А я уж думал, что ты, Матрена, издохла». Ну и я ему тоже не пирогами откладываю. А все-таки приятно с умным человеком поговорить, точно вот сама на целый вершок умнее сделаешься. Иногда часа два разговариваем.

— Душечка, Матрена Ивановна, говорят, доктор двадцать лет какое-то необыкновенное ученое сочинение пишет?

— Не хочу врать: не заметила насчет сочинения. А так книг разных действительно много, больше по нашей медицинской части. Ну, тоже инструменты разные,

банки да склянки... А что он делает — прах его разберет. Просто сам перед собой умного человека разыгрывает... Это иногда бывает, болезнь такая есть, только позабыла я, как она по-латински называется.

Весь Пропадинск был глубоко убежден, что доктор Осокин занимается чем-то необыкновенно ученым, потому что всегда в его кабинете огонь светился далеко за полночь. Но чем занимается доктор — осталось тайной, хотя и существовали на этот счет более или менее счастливые гипотезы: одни говорили, что доктор «пишет философию», другие — что занимается вивисекцией или спиритизмом, третьи — что просто-напросто доктор пьет фельдфебельским запоем. Единственными свидетелями докторских занятий были его собаки, но и те не умели ничего рассказать, как и докторская прислуга.

— Чего ему делать-то, нашему барину? Обыкновенно, ходит из угла в угол до вторых петухов, вот и вся работа, — грубо отвечал Авель на все расспросы любопытных. — Сначала в книжку почитает, а потом примется бродить, как маятник... Даже страшно в другой раз сделается: кто его знает, что у него на уме-то?

Общество своих собак доктор Осокин предпочитал обществу людей и с ними проводил свое свободное время, когда хотел отдохнуть или развлечься. Он любил кормить их из своих рук и каждый день гулял с ними по городу часа два. Рассказывали настоящие чудеса про необыкновенный ум докторских собак, которые даже не играли с другими собаками, точно они стыдились своего глупого собачьего рода.

В сущности дело было гораздо проще. Доктор Осокин действительно занимался, и занимался очень упорно, и чем дольше погружался в свои занятия, тем сильнее увлекался ими. В далекой юности и он заплатил известную дань своему возрасту: пользовался удовольствиями, бывал в клубе, участвовал в любительских спектаклях, ухаживал за хорошенькими женщинами, а потом все это разом бросил и засел в своей квартире. Провинциальная жизнь, сосредоточивавшаяся около вина, карт и сплетен, действительно не интересовала доктора, и он с удовольствием променял ее на

«дорогой хлеб науки». В полный расцвет силы доктор Осокин натолкнулся на одну интересную тему и разрабатывал ее с замечательной настойчивостью. Его жизнь прошла не даром, и он с гордостью ученого смотрел на свой рабочий стол и рукописи. В самом деле, пока другие разменивались на мелочи провинциального существования, он, доктор Осокин, вращался в мире великих идей, теорий, гипотез и гениальных предчувствий. У него была *своя* идея, и он хотел приобщить ее к общей сокровищнице человеческого знания. Но гордость ученого-завоевателя и поэтические восторги раскрывавшегося вдохновения часто сменялись минутами апатии, сомнениями и даже отчаянием. Это были настоящие родильные муки, и доктор боялся только одного: самые сильные муки доставляют матерям мертворожденные дети, и его двадцатилетний упорный труд мог оказаться одним из тех ученых мыльных пузырей, которые рассыпаются радужною пылью при самом своем появлении. За минутами уныния следовало обыкновенно самое бодрое настроение, тот подъем духа, который доступен только творящей мысли, и в докторской голове сами собой складывались счастливые комбинации, логические обобщения, неожиданные выводы и совершенно новые объяснения.

В этом образе жизни и занятий доктора находилось объяснение его отношений к Матрене Ивановне: напряженно работавшей мысли необходимо было известное развлечение, необходимо было спуститься с научных высот в действительный мир маленьких людишек, крошечных интересов, мелкого тщеславия и невообразимой путаницы взаимных отношений. Матрена Ивановна служила лучшим образчиком маленького человека, и доктор изучал ее, как своего рода патологическое явление. Она постоянно удивляла его, и доктор, прищурив свои глаза, иногда долго-долго смотрел на нее в упор.

— Ну, чего ты на меня уставился-то? — рассердится Матрена Ивановна, начиная чувствовать себя неловко.

— А ты попробуй смотреть прищуренными глазами на кого-нибудь: человек делается все меньше, меньше,

и меньше... а потом просто получается какая-то букашка.

В описываемое нами время доктор уже предвидел конец своей работе: наступал давно желанный миг, когда он мог представить свой труд на суд публики и пустить в оборот новую комбинацию идей. Мысль об этом торжестве захватывала дух у доктора, и он начинал бояться, что вдруг умрет, не докончив самых пустяков. Какая-нибудь пустая случайность — и труд целой жизни может остаться недоделанным, а это равнялось его гибели.

«Уж не схожу ли я с ума? — задумывался иногда доктор, перелистывая главную рукопись, испещренную какими-то чертежами и математическими формулами. — Еще каких-нибудь полгода, и все будет кончено».

Так рассчитывал доктор, но вышло совсем иначе и беда пришла с той стороны, откуда доктор уже никак не мог ожидать ее: она свалилась на седую докторскую голову с языка Матрены Ивановны. Да, эта безнадежно глупая женщина отравила существование доктора Осокина на целую неделю, и в его мозгу стучала все одна и та же фраза, брошенная Матреной Ивановной, конечно, совершенно бессознательно. Шагая по своему кабинету, доктор часто повторял: «Комната старшей дочери!.. Комната старшей дочери!» Матрена Ивановна именно так и сказала, и удивительно, как все в этой фразе было сплочено: почему не сына, а дочери, и непременно старшей?

— Ведь это целый отдел жизни я просмотрел! — удивлялся доктор вслух. — Счастливая идея: *жизнь в возможности*. Да, именно этого у меня и не доставало! Получится совершенно новое освещение некоторых положений.

Параллельно с чисто научными соображениями шел другой порядок мыслей: доктор думал о самом себе и невольно оглядывался кругом. Всего удивительнее было здесь то, что доктор меньше всего когда-нибудь думал остаться старым холостяком, а между тем выходило так. Жизнь имеет свою логику, и положительно глупую логику. И чем дольше думал доктор на эту

тему, тем больше удивительных мыслей приходило ему в голову, а всего удивительнее было то, что все эти мысли вертелись около роковой фразы Матрены Ивановны.

Следствием этой душевной работы явилась довольно странная выходка.

В одно «прекрасное утро» доктор вышел из своей квартиры и пошел, как обыкновенно делал, не к городскому предместью, а вдоль Проломной улицы к центру города. Стояла осень, и везде городские улицы были залиты сплошною грязью, но доктор бодро шагал по переходам и сосредоточенно раскланивался с встречавшимися знакомыми, прикладывая руку к своей старой папахе. Миновав Проломную улицу, доктор вышел на Черный рынок, потонувший в непролазной грязи, а потом повернул в узкую Мучную улицу, набитую мучными лавками, крестьянскими телегами и целыми стаями голубей. Наконец, доктор очутился на Соборной площади, центр которой был занят старым гостиным двором. Пробегая глазами вывески, доктор бормотал: «Нет, не здесь...» Лавки с галантерейными товарами, колониальные магазины, торговля красным товаром, шорные лавки — все это было не то, что нужно было доктору.

— Ага, вон она где, — вслух проговорил доктор, читая розовую вывеску на углу дома, выходившего на Соборную площадь, — «Моды и платья m-me Раскеповой». Так... здесь...

Доктор благополучно переправился через всю Соборную площадь прямо к модному магазину и остановился только у каменного крылечка, чтобы немножко перевести дух. Потом он грузно поднялся по каменным ступенькам во второй этаж, пролез через стеклянный фонарь и, наконец, очутился в самом магазине. Доктору Осокину никогда не случалось бывать в подобных заведениях, и он с любопытством рассматривал длинную комнату, выходившую тремя окнами на площадь. Около стен стояли шкафы с готовыми платьями, между шкафами тянулись лакированные деревянные полки, набитые синими картонками с выставлявшимися

из-под крышек образцами лент, кружев и разных вышивок. На широком прилавке, в особых витринах красиво были разложены такие вещи, назначение которых он едва ли мог бы определить: наколки, куски лент, банты, косыночки, шарфики, крашеные перья, стеклярус, какие-то бронзовые погремушки и т. д. Небольшая полукруглая арка соединяла магазин с следующей комнатой, где весь пол был занят целыми ворохами различных материй. Из этого цветного облака на доктора любопытно смотрели бойкие личики молоденьких швеек.

— Чем могу служить вам, доктор? — спросила певуче m-me Раскепова, появляясь в арке. — Вы, кажется, в первый раз у меня... Садитесь, пожалуйста.

— Да, у меня есть серьезное дело, — заговорил доктор, напрасно стараясь засунуть свою папаху между какими-то картонками. — Видите ли, мне необходим целый подбор таких вещей, которые необходимы каждой молодой девушке... Как это называется, позвольте... есть такое слово...

— Приданое.

— Да, да, именно приданое, — облегченно проговорил доктор и провел рукой по своим седым волосам. — Обратите внимание, что приданое нужно для молодой особы.

M-me Раскепова снисходительно улыбнулась:

— Разве приданое делают старухам?

Засмеялись маленькие швеи в соседней комнате и даже улыбнулась бледная, худая девушка, стоявшая посредине комнаты в роли манекена; главная швея, некрасивая блондинка с злыми глазами, не могла улыбнуться только потому, что рот у ней всегда был занят булавками, которыми она прикалывала примеряемые на манекене платья.

— Вероятно, вам, доктор, приходится выдавать замуж племянницу или какую-нибудь бедную родственницу? — заметила m-me Раскепова.

— Н-нет... не совсем, — заметно смутился доктор и даже уронил своей папахой несколько картонок. — Есть одна молодая особа, очень близкая мне...

М-me Раскепова сделала сердитое лицо, строго подобрала свои крошечные губы и в коротких словах объяснила доктору, что нужно «молодой особе». Затруднение вышло из-за роста, но доктор обещал доставить мерку.

— Вы представьте себе, madame, только одно, именно, что у этой особы решительно ничего нет, — объяснял доктор, поднимая седые брови.

— Потрудитесь также доставить номер перчаток, который носит эта молодая особа, а также мерку с ноги, — сухо объясняла m-me Раскепова с какою-то печальною торжественностью в голосе. — Наша обязанность исполнять аккуратно и добросовестно *всякие* заказы.

Доктор совсем не заметил, как m-me Раскепова подчеркнула последнюю фразу; он смотрел на эту полную важную даму с гладко зачесанными темными волосами доверчивым и улыбающимся взглядом; она ему нравилась, как нравился весь этот магазин, ленты, разбросанная на полу материя, улыбавшиеся лица бойких швей. Все это было так ново для него и вместе с тем так отвечало именно его требованиям: здесь было решительно все, что ему нужно. М-me Раскепова терпеливо ожидала, когда, наконец, уйдет доктор, а он продолжал очень внимательно рассматривать всю обстановку магазина.

— А ведь это очень интересно, очень... — бормотал он.

— Да?

— Да... Вы, madame, вероятно, слыхали о покровительственной окраске у животных и брачном оперении? Это именно относится к вашей специальности и даже могло бы служить очень полезным источником для некоторых указаний практического характера. Покровительственная окраска — это общий научный термин, хотя его понимают исключительно в смысле сохранения отдельных представителей вида, а брачное оперение служит в интересах дальнейшего продолжения этого вида. То же замечается в окрашивании цветов, хотя роль растений в этом случае совершенно пассивная: привлечь на себя внимание тех насекомых,

которые переносят оплодотворяющую цветочную пыль. Только знаете, какая особенность: у животных в интересах продолжения вида покровительственную окраску принимают самцы, а у людей наоборот.

— Извините, доктор, мне некогда, — холодно заметила m-me Раскепова.

— Виноват, еще один вопрос: надеюсь, ваше дело идет очень бойко?

— Да, ничего, не могу пожаловаться.

— Не можете ли вы определить время года, когда особенно оживляется спрос на наряды?

— Конечно, зимой, доктор... Балы, семейные вечера, театр, вообще в это время мы завалены работой, особенно к большим праздникам.

— Странно... Опять специально человеческая особенность. Впрочем, это вполне понятно, потому что человек уже освободился от фатальной зависимости от климатических условий и создал искусственные формы жизни.

— Извините, доктор...

— Ухожу, ухожу... Мы еще побеседуем с вами когда-нибудь на эту тему.

— Не забудьте послать мне все мерки.

— Непременно, — бормотал доктор, напяливая папаху на свою седую голову.

Не успел доктор затворить за собой дверь, как весь магазин покатился со смеху: величественно хохотала сама m-me Раскепова, схватившись обеими руками за колыхавшуюся полную грудь, главная швея даже корчилась от смеха, ползая по полу около хихикавшего манекена, до слез хохотали все мастерицы, швеи и самые маленькие девчурки, подававшие утюги и бегавшие по разным поручениям.

— Не угодно ли: *молодая особа, у которой решительно ничего нет...* — повторяла m-me Раскепова, поднимая свои жирные плечи. — Знаем мы этих особ!.. Ха-ха...

Вместе с m-me Раскеповой, кажется, смеялись все эти картонки с кружевами, ленты, вышивки, бантики, а висевшие в витринах готовые платья печально разводили своими пустыми рукавами.

IV

Весь Пропадинск заговорил о выходке доктора Осокина, так как m-me Раскепова не поскупилась на краски и по-своему «осветила предмет». Дамы пришли просто в ужас и приписали все случившееся старческому безумию рехнувшегося доктора. Многие жалели, некоторые негодовали, остальные разводили руками или многозначительно мычали.

— Даже не счел нужным замаскировать свою распущенность, — повторяли негодовавшие дамы. — Мог все это устроить при посторонней помощи, как делают другие мужчины, когда экипировывают своих содержанок. А то заявился среди белого дня прямо в магазин: «У ней ничего нет...» Очень хорошо!

— Мне было ужасно совестно перед своими девушками, — уверяла m-me Раскепова своих заказчиц. — Помилуйте, так бесцеремонно объяснять разные гадости... И представьте себе, доктор всех вообще женщин называет птицами, а мужчин животными... Как-то он это мудрено сказал.

Всех занимал в одинаковой форме вопрос, кто эта таинственная молодая особа, у которой ничего нет и которая оказалась настолько близка докторскому сердцу? В почтенных семействах матери делали умоляющие лица, когда разговор заходил о докторе при молодых девушках; самое имя доктора являлось чем-то вроде заразы. Вообще город был скандализирован и оскорблен в лучших своих чувствах, и естественно, что все взоры устремились на Матрену Ивановну, которая одна бывала в докторской квартире.

— Хорош ваш приятель, — нападали дамы на Матрену Ивановну и укоризненно кивали головами. — Помилуйте, в каждом семействе есть взрослые девушки, и вдруг такой скандал... Ведь, главное, совершенно открыто все делается, на зло всем общественным приличиям и общественному мнению.

— Сдурил старик, совсем сдурил, — соглашалась Матрена Ивановна и тоже качала головой. — Я это заметила в последний раз, когда была у него, и тогда же прямо в глаза ему все сказала.

— А вы не видали у доктора эту молодую особу?

— Позвольте, сударыня, вы слишком много себе позволяете: я девушка и таких вещей не понимаю, да. Да я после такого случая, если и на улице встречу Семена Павлыча, так не узнаю его... Извините, меня из-за него этак ни в один порядочный дом не пустят!

Одним словом, Матрена Ивановна отреклась от доктора начисто и даже начала отпираться, что ходила к нему чай пить.

— Всего-то, может быть, раза два я у него и была, и то по своим медицинским делам, потому что с кем же посоветоваться?

Но от пропадинских дам было не так-то легко отделаться.

— Непременно тут кроется какой-нибудь роман, — твердили они в один голос. — Ведь вы давно знаете доктора, Матрена Ивановна; вероятно, раньше что-нибудь было такое...

— Роман?.. — прикидывалась Матрена Ивановна непонимающей и отрицательно крутила своею круглою головкой. — Нет, ничего похожего на роман не было. Просто жил доктор холостой свиньей, и только. Да и с кем роману-то быть?.. Прежде-то он, конечно, бывал везде: у Гуськовых, у Ефимовых, у протопопа Катонова, у заседателя Голубкова. Везде были девицы и дамы, только никакого романа и быть не могло. Уж я это знаю и голову отдам на отсечение. Это вам везде романы мерещатся, а прежде строго было... Так уж, которая самая отчаянная, ну, та позволяла себе очень свободное обращение с мужчинами.

Как ни храбрилась Матрена Ивановна, но дамы довели ее до того, что почтенная старушка, наконец, сделалась больна: у ней открылась лихорадка и насморк. Матрена Ивановна пролежала в постели целых три дня, и Поленьке Эдемовой было много с ней хлопот: она натирала Матрену Ивановну всевозможными мазями, поила липовым цветом и даже вспрыскивала с уголька водой. Только на четвертый день Матрена Ивановна встала с постели и перешла на свое любимое место к окошечку, где стояло глубокое старинное кресло, подарок откупщика Хлыздина.

— Как будто поманивает меня кофию напиться, — задумчиво говорила Матрена Ивановна, поглядывая на улицу. — Думала, конец мой приходит, Поленька. И все мне этот проклятущий доктор мерещится...

Пока Поленька возилась с кофейком в своей каморке, Матрена Ивановна с любопытством смотрела на улицу, не проедет ли кто-нибудь из знакомых. Взглянув вдоль тротуара, Матрена Ивановна чуть не обмерла со страху: по тротуару прямо к ее домишку шел доктор Осокин в своей папахе. Матрена Ивановна хотела закричать, но у ней со страху перехватило горло, и она только закрыла глаза, как курица, над которой повар замахнулся ножом. Но Матрена Ивановна напрасно встревожилась: докторская папаха благополучно миновала ее крылечко, а затем скрылась в воротах. Поленька наливала чашку кофе, когда в ее каморку вошел доктор; старая актриса слабо вскрикнула, и любимая фарфоровая чашечка Матрены Ивановны упала на пол.

— А я к вам зашел, — кротко проговорил доктор, останавливаясь в дверях, так что Поленьке не было никакой возможности убежать от сумасшедшего человека. — Одевайтесь и пойдемте, мне очень нужно вас...

— Как же это так?.. Я не знаю, не лучше ли в другой раз! — лепетала совсем растерявшаяся Поленька, закрывая шею худенькою косыночкой.

— Нет, сейчас, — настойчиво повторял доктор. — Я подожду вас здесь, в коридоре, пока вы оденетесь.

Сначала Поленька перетрусила и даже подумала выскочить в окно, но потом опомнилась. Чего ей в самом деле бояться доктора, ведь сейчас выйдут на улицу, а там всегда народ, можно по крайней мере закричать караул. Она торопливо надела перекрашенное шелковое платье, старую шляпу с страусовым пером, накинула старенький бурнус и вышла в коридор, где доктор нетерпеливо шагал в совершенной темноте.

— Вы мне позволите, доктор, зайти к Матрене Ивановне и предупредить ее?

— Это еще что за нежности? Вздор.

— Она больна...

— Ничего, не умрет.

Поленьке ничего не оставалось, как только покорно следовать за доктором, который повел ее на другой конец города к своей квартире, как догадывалась Поленька. Как вежливый кавалер, доктор шел позади своей дамы и только коротко объяснял, куда нужно было повернуть, когда встречался перекресток. Так они благополучно дошли до самой докторской квартиры, и доктор был настолько любезен, что сам отворил дверь перед своею дамой и даже помог ей снять бурнус.

В приемной на столе ожидал гостью кипевший самовар, корзинка с сухарями и коробка конфет. Поленька окончательно смутилась и на всякий случай запомнила выходную дверь, чтобы можно было убежать, а доктор молча указал ей на пустой чайник. Пока Поленька дрожащими руками заваривала чай, доктор тяжелыми шагами ходил по комнате и время от времени смотрел на нее. Она чувствовала на себе тяжелый докторский взгляд и еще сильнее смущалась. Доктор был в старом военном мундире и даже в крахмальной рубахе, которая, видимо, сильно его стесняла.

— Вы крепкий чай пьете или слабый? — решилась, наконец, Поленька прервать тяжелое молчание.

— Крепкий.

Получив стакан, доктор в упор посмотрел на Поленьку и с расстановкой проговорил:

— Вы, повидимому, очень бедствуете, сударыня... Да, этого следовало ожидать, и я нисколько не удивляюсь...

Поленька вся вспыхнула и хотела что-то возразить, но доктор схватил ее за руку и потащил к двери, которая вела в комнату Джойки. Распахнув дверь, доктор уступил дорогу своей гостье и с каким-то беспокойством осмотрел всю обстановку только что меблированной комнаты. Она была вся отделана заново: стены оклеены розовыми обоями, на окнах висели шелковые драпировки, на полу лежал персидский ковер, у одной стены под шелковым пологом стояла красивая железная кровать, покрытая белым покрывалом, между окнами приютился дамский письменный стол, в углу стояла этажерка с книгами, у окна дамский рабочий столик; комод, гардероб и умывальник занимали угол

комнаты и были замаскированы низенькою ширмочкой. Везде были разложены в строгом порядке всевозможные вещи, необходимые в женском обиходе: туалетные принадлежности, альбомы, начатая женская работа, позабытая на окне соломенная шляпа и т. д.

— Кто же это у вас здесь живет? — удивилась Поленька, с любопытством рассматривая комнату.

— Кто здесь живет?.. *Это комната нашей старшей дочери.*

Поленька поняла все. Она страшно побледнела и едва могла дойти до своего стула за чайным столом. Доктор опять шагал по комнате, и слышно было, как он тяжело вздыхал.

— Помните, Поленька, как тридцать лет назад вы играли в *«Белой Даме»?* — заговорил доктор, усаживаясь на свое место к остывшему стакану.

Поленька молчала, опустив голову; по лицу у нее катились мелкие старческие слезы.

— Да, это было давно, очень давно, — продолжал доктор после короткой паузы. — Я тогда увидел вас в первый раз. На вас было простое белое платье, в волосах приколота белая камелия... О, я все это отлично запомнил!.. Вы тогда пели замечательно удачно, а я был молод... Конечно, вы понимаете, что из всего этого могло произойти?

— Доктор, я помню... но я была так глупа... Вы ухаживали за мной, но ведь тогда целый город сходил с ума от моей игры. Конечно, это было так давно, и кто мог бы ожидать... Вы что-то такое говорили мне, но я была еще так молода...

— Гм... да. И я тоже был молод и имел глупость думать, что двое молодых людей могли бы прожить недурно. Для меня это было ясно, как день, потому что... потому что я слишком любил вас. Да, теперь я это могу сказать вам в глаза, а вы тогда не желали меня понять... Нас разлучили ваши театральные успехи, тот чад, которым вскружили вашу голову. Это вполне понятно: я был беден, а вас окружали богатые люди. Каждая женщина на вашем месте сделала бы то же, что сделали вы... Наша непоправимая ошибка заключалась в том, что мы думали только о себе... Я не

мог полюбить в другой раз, а вы разменяли свою молодость на мелкую монету.

Доктор закрыл лицо руками, и Поленьке показалось, что старик тихо плакал.

— Доктор, простите меня, — шептала Поленька, прикладывая белый платок к глазам, как это делают на сцене «благородные отцы». — Простите, доктор.

Эта фраза заставила доктора вскочить. Он как-то дико посмотрел на Поленьку, махнул рукой и застонал — глаза у него были полны слез.

— Нам следует просить прощения вот у той, которая должна была жить вот здесь, — глухо проговорил доктор, указывая на «комнату старшей дочери». — Мы убили своих собственных детей... Это страшная вина, которая не имеет искупления. Мне не дают покоя эти розовые детские лица... они стоят предо мной живые... О, я начинаю чувствовать, что схожу с ума!..

Доктор глухо зарыдал и отвернулся к окну. Поленька не плакала, но как-то тупо смотрела на потухавший самовар, который время от времени пускал какую-то одинокую жалобную ноту; она чувствовала, что умирает, раздавленная этою ужасною сценой.

Было уже темно, когда Поленька вспомнила, что ей пора домой. Доктор отправился ее провожать и был настолько вежлив, что даже предложил руку. Они шли все время молча, и только когда уже подходили к домику Матрены Ивановны, доктор проговорил:

— Надеюсь, вы не придадите никакого особенного значения сегодняшней сцене... На жизнь нужно смотреть с философской точки зрения. Мы все являемся только материалом в руках слепых законов природы.

Поленька ничего не ответила, молча пожала руку доктора и молча скрылась в комнатке. Доктор несколько времени стоял на тротуаре, а потом проговорил:

— Она глупа, как всегда.

Сначала доктор машинально пошел домой, но когда увидел свою квартиру, его точно оттолкнула какая-то сила: что он будет там делать? Его что-то давило, и он чувствовал, что задохнется в своей комнате. Нужно было воздуха, как можно больше воздуха. После док-

тор не мог хорошенько припомнить, как он провел эту ночь; он проходил по грязным улицам Пропадинска до самого утра и вернулся домой в самом отчаянном виде: весь в грязи, изможденный и без папахи. Авель даже испугался, когда увидел своего барина в таком отчаянном виде.

В эту страшную ночь доктор еще раз пережил свою личную жизнь. Он с мучительною ясностью видел далекое прошлое, когда он только приехал в Пропадинск молодым врачом. Тогда только что был открыт первый театр в городе, труппу для которого золотопромышленник Гуськов выписал на свой счет. Как новинка, театр привлекал к себе массу публики, и над всею этою публикой царила Поленька Эдемова, русоволосая красавица с удивительными глазами. Она была на опасной дороге, потому что слишком снисходительно относилась к окружавшим ее шалопаям и богачам-самодурам. Доктор увлекся ею и хотел спасти красавицу. В ней были еще та простота и наивная свежесть молодости, которые могли служить залогом успеха. Поленьке нравилось, что за ней все ухаживают, и она всех дарила своими улыбками, а в том числе и молодого доктора.

Как теперь помнил доктор плохой деревянный театр, плохо намалеванный занавес, плохой оркестр и грязную сцену, куда он пробирался с замиравшим сердцем. Уборная Поленьки была сейчас направо от сцены, нужно было только подняться на три ступеньки какого-то деревянного помоста. Здесь всегда пахло свежею краской, сальными огарками, свежим деревом и еще чем-то таким, чем пахнет только за кулисами провинциальных театров. Поленька была одна в уборной, совсем готовая к выходу на сцену, и в последний раз осматривала себя в зеркало, когда в уборную вошел доктор.

— Вы нездоровы? — спросила Поленька, взглянув на доктора.

— Да, мне необходимо с вами переговорить, — деловым тоном заговорил доктор. — Есть у вас свободных пять минут?

— Говорите, только скорее... сейчас занавес.

Доктор, торопливо подбирая слова, начал говорить об опасностях, окружающих всякую театральную знаменитость, о том печальном будущем, которым выкупаются эти успехи, и после этого предисловия прямо предложил свою руку и сердце.

Поленька точно испугалась и побледнела. Она несколько мгновений молча смотрела на доктора, потом откинула назад свою красивую русую головку и проговорила:

— Доктор, мне некогда, занавес...

— Это не ответ.

— Мне жаль огорчить вас, доктор, но я... я... одним словом, вы ошиблись во мне.

От отчаяния и тех глупостей, какие делают люди в подобном глупом положении, доктор спасся тем, что всею душою отдался науке. Он бросил завязавшиеся знакомства, отказался от общественной жизни и закупорился в четырех стенах своей квартиры, откуда показывался только по делам своей медицинской специальности.

Отказавшись от Поленьки, доктор совсем не думал отказываться от семейной жизни и только выжидал время, когда уляжется чувство к Поленьке, чтобы жениться с чистым сердцем на какой-нибудь простой доброй девушке и завести свое гнездо. Но год шел за годом, а на душе у доктора накипала какая-то ненависть к женщинам. Его радовало, когда он открывал какой-нибудь новый недостаток в женщинах. Конечно, это — низшее существо сравнительно с мужчиной и никогда не выходит из потемок детского существования. В любви мужчины относятся к своим возлюбленным именно как к детям, с тою обидною снисходительностью, которая является оскорблением в отношениях между собой мужчин. Это глупое детство у женщины переходит прямо в старость с ее бесплодными сожалениями, мизантропией и ханжеством. Пять-шесть лет своего ребячьего счастья женщина выкупает ценой всего остального бесцветного существования. Мужчина еще полон жизни, он в полном расцвете сил и рвется вперед, когда женщина продолжает жить только по привычке и сама начинает тяготиться своим бесплод-

ным существованием. Разве женщина что-нибудь создала в науке или искусстве? Ей недоступны вершины человеческого сознания, и она умирает в потемках своего полусознательного существования.

Одним словом, доктор впал в мизантропию и тешил самого себя своими выходками против всех женщин на свете.

V

Вернувшись от доктора, Поленька серьезно захворала. Теперь пришлось ухаживать за ней Матрене Ивановне. На сцену опять явились таинственные мази и липовый цвет. Отвернувшись к стене, Поленька иногда потихоньку плакала, но Матрена Ивановна видела заплаканные глаза и возмущалась.

— Погоди, ужо я рассчитаюсь с этим мерзавцем, — грозилась Матрена Ивановна, не называя доктора по имени.

— Нет, он славный, — защищала Поленька доктора.

— Хорош, очень хорош!

Матрена Ивановна имела полное право ожидать, что Поленька расскажет ей все, что с ней случилось, но Поленька упорно молчала и только тяжело вздыхала. Конечно, всякий другой на месте Матрены Ивановны спросил бы Поленьку прямо, что и как, но Матрена Ивановна прежде всего была гордая женщина и совсем не желала залезать в чужую душу. Кроме того, для Матрены Ивановны половина дела была совершенно ясна: доктор Осокин был кругом виноват, и она с ним разделается по-своему.

Когда Поленьке сделалось лучше и она могла обходиться без посторонней помощи, Матрена Ивановна первым делом, конечно, отправилась к доктору, вперед предвкушая удовольствие рассчитаться с этим извергом человеческого рода. Занятая своими размышлениями, Матрена Ивановна незаметно дошла до докторской квартиры. Двери были не заперты, как всегда, и Матрена Ивановна свободно проникла в докторскую приемную. Первое, что ее поразило, это холод

давно нетопленной квартиры и какая-то особенная пустота.

— Эй, Семен Павлыч, где ты? — окликнула Матрена Ивановна, оглядываясь кругом.

— Здесь, — послышался глухой голос из кабинета.

Доктор лежал на старом клеенчатом диване, одетый в старую военную шинель и в летней фуражке. Матрену Ивановну поразил его больной вид: это был какой-то другой человек, желтый, испитой, с темными кругами под глазами и лихорадочным взглядом.

— Ты это что же, старый петух, тараканов, что ли, морозишь? — набросилась на него Матрена Ивановна.

Доктор быстро поднялся с дивана и как-то испуганно замахал обеими руками.

— Тише, тише... шшш! — зашипел он, как защищающийся гусь. — *Она* еще спит...

— Очень мне нужно, кто у тебя спит... мерзавка какая-нибудь.

— Ради бога, тише, — умолял доктор. — Она поздно встает.

Доктор на цыпочках вышел в приемную, тревожно посмотрел на дверь заветной комнаты и знаком пригласил Матрену Ивановну следовать за собой. Он приотворил дверь и показал глазами на обстановку комнаты. На кровати лежала Джойка и виновато виляла своим пушистым хвостом. Матрена Ивановна не знала, на кого ей смотреть: на комнату, на собаку или на доктора.

— Здесь живет моя старшая дочь, — проговорил доктор с серьезным лицом.

— Полно тебе, Семен Павлыч, добрых-то людей морочить...

— Спроси Поленьку, если не веришь: это *наша* дочь.

Матрена Ивановна вдруг испугалась, испугалась того спокойного тона, каким доктор разговаривал с ней. В голове Матрены Ивановны мелькнула страшная мысль, и она, чтобы успокоить самое себя, рассчитанно-громким голосом спросила:

— Так... А где у тебя Авель-то?

— Авель?.. Он ушел... Деньги у меня украл и ушел.

— Да ты, послушай, не морочь, Христа ради... это

с морковных пирогов у тебя ум за разум заходит. Если Авель деньги украл, так почему ты его в полицию не отправил?

— Зачем в полицию? Я вчера лежал на диване, Авель вошел в кабинет, вытащил деньги из стола и ушел... Я все время смотрел на него. Он все это очень ловко сделал и, кажется, думал, что я сплю. Ему, вероятно, очень были нужны деньги.

— Нет, ты, батюшка, рехнулся... положительно рехнулся. Сколько денег-то было?

— Тысячи две было.

— Ах, боже мой, боже мой!

Доктор, кажется, не хотел ничего понимать и только несколько раз пощупал свою голову, точно сомневался в ее благополучном существовании.

— Спятил, совсем спятил, — решила Матрена Ивановна и совсем растерялась, не зная, что ей следует предпринять.

— Пойдем в кабинет, я тебе покажу что-то, — проговорил доктор.

Доктор долго рылся на своем письменном столе между бумагами и, наконец, отыскал объемистую тетрадь. Матрена Ивановна следила за ним, не спуская глаз. Она больше не сомневалась, что доктор сошел с ума. И на чем человек помешался!

— Вот эта самая, — говорил доктор, похлопывая рукой по тетради. — Двадцать лет работы посажено в нее... да. Могу сказать, что первый строго математическим путем доказал истину неуничтожаемости силы и материи. Матрена, есть только одна точная наука, это математика, и вот я воспользовался ею.

— Ну, ну, почитай, что у тебя написано тут.

— «Закон неуничтожаемости жизни», — прочитал доктор заглавие рукописи. — Да ты поймешь ли что-нибудь?

— Пойму, пойму... читай.

— Я тебе прочту только конец. Только на днях удалось закончить... «Неуничтожаемость силы и материи пользуется репутацией вполне научно-установленной истины, — начал чтение доктор, — хотя доказательства этого положения вращались в сфере слишком

грубых явлений внешнего мира. Мне первому, при помощи высшей математики, выпало счастье доказать эту грубую эмпирическую истину строго научным путем. Полученная формула в полном своем объеме выражается так: *настоящий запас циркулирующих и комбинирующих во вселенной сил и материй плюс весь запас органической жизни равняется всему запасу сил и материй, действовавших от начала мира и слагавшихся в необозримо пеструю амальгаму отдельных явлений.* Запас силы и материи остается тот же, но этот длящийся в необозримом пространстве веков «плюс нарастающая органическая жизнь» с роковою силой прорывает заколдованный круг неизменного круговращения силы и материи; прогресс является именно в пределах этой разрастающейся органической жизни, а не в смене чередующихся комбинаций и развивающейся поступательно способности дифференцироваться. Этот плюс в своем бесконечном повторении превращается, наконец, в знак умножения. Таким образом, за внешним миром вечно слагающихся и разлагающихся сил и материй вырастает тот неизмеримо больший внутренний мир самых сложных и неуловимо тонких проявлений деятельности, который выдвигается далеко за пределы уничтожаемости сил и материй».

Доктор тяжело перевел дух, положив рукопись на стол. Матрена Ивановна сконфуженно смотрела куда-то в угол и перебирала рукой какую-то оборку на своем платье.

— Ну, Матрена, кто из нас сумасшедший? — спрашивал доктор, раскуривая папиросу... — Читать дальше?

— Читай, Семен Павлыч.

— Хорошо... Только пользы тебе немного будет.

— Ладно, после успеем поругаться-то.

Докурив свою папироску и откашлявшись, доктор продолжал чтение своей рукописи. «А «свербящая похоть славы», окрыляющий жар молитвы, чистые восторги первой любви, муки уязвленного самолюбия, вечно томящая жажда неудовлетворенной жизни, насильственное заглушение законнейших требований человеческой природы, что это такое? Где мы будем

искать тех математических равнодействующих, когда в этом необъятном океане человеческой скорби, мук и страданий крошечная человеческая радость исчезает, как утопающий в океане человек? Разве математическая формула, самая точная и гениальная, может непосредственно спасти бедняка от страдания, общество от нравственной неурядицы?»

— Но тут, — заговорил доктор, откладывая в сторону свою рукопись, — явилась новая поправка. До сих пор дело шло о фактах и явлениях существующих, бралась действительность, но есть целый ряд жизненных явлений, где эта жизнь затаилась и приняла омертвелые формы. В большинстве не достает ничтожных пустяков, какой-нибудь случайности, чтобы именно здесь-то и вспыхнул огонь накопившейся жизни, чтобы развернулась роскошная форма нового существования, — как считать эти дремлющие силы, жизнь в возможности? А между тем не считать их нельзя, потому что на них затрачена огромная энергия, может быть в них-то и проявлялись бы высшие формы существования.

Матрена Ивановна качала головой и делала вид, что начинает понимать доктора.

— Вот, например, у меня есть семья, дочь *в возможности*... Я вижу ее, да, ее, мою дочь; она приходит сюда, разговаривает со мной... Удивляюсь, как это раньше я не мог догадаться: ведь она все время жила со мной, вернее сказать, во мне... И как мне хорошо делается, как легко... Это высшее счастье, какое доступно человеку, именно жить повторенною жизнью, быть молодым во второй раз и чувствовать, что вот именно ты не умрешь, а будешь жить только в новой, лучшей форме.

Слушая этот бред, Матрена Ивановна плакала.

У доктора Осокина оказалось тихое помешательство, то, что в психиатрии известно под именем idée fixe[1]. Конечно, старик уже не мог заниматься частной

[1] навязчивой идеи *(франц.)*.

практикой, а жить между тем было нечем. Матрена Ивановна напрасно разыскивала родных доктора по всей России и кончила тем, что взяла его к себе.

— Уж мне заодно с ними двоими нянчиться, — говорила Матрена Ивановна. — Все-таки в доме мужчинка будет...

В солнечные ясные дни часто можно встретить на улице сумасшедшего доктора, который в своей папахе задумчиво шагает по тротуару и вслух разговаривает с самим собою.

ЛЁТНЫЕ[1]

Из рассказов о жизни сибирских беглых

I

На Татарском острове они прятались уже четвертый день. Весенние ночи были светлые, теплые; где-то в кустах черемухи заливался соловей; речная струя тихо-тихо сосала берег и ласково шепталась с высокой зеленой осокой. По ночам, в глубокой ямке, выкопанной лётными в средине острова и обложенной из предосторожности со всех сторон большими камнями и свежим дерном, курился огонек; самый огонь с берега нельзя было заметить, а виднелся только слабый дымок, который тянулся вниз синеватой пленкой и мешался с белым ночным туманом.

Конечно, лётные, из страха выдать себя, не разложили бы огня, но их заставила неволя: один из троих товарищей был болен и все время лежал около огонька, напрасно стараясь согреться. В партии он был известен под именем Ивана Несчастной Жизни, как он называл себя на допросах у становых и следователей. Теперь он лежал у огонька, завернувшись в рваную сермяжку, из-под которой глядело черными округлившимися глазами желтое, больное лицо. Изношенная

---

[1] Лётными на Урале называют бродяг. *(Прим. Д. Н. Мамина-Сибиряка.)*

баранья шапка закрывала лоб до самых бровей. Широкие губы запеклись, нос обострился, глаза светились лихорадочным блеском. Иван сильно перемогался и отлеживался в своей ямке около огонька, как отлеживается от лихих болестей по ямам, логовам и «язвинам» разное лесное зверье. Он не жаловался, не стонал, а только иногда сильно бредил по ночам — кричал, размахивал руками и все старался куда-нибудь спрятаться. В больном мозгу несчастного бродяги без конца шевелилась мысль о преследовании.

— Опомнись, зелёна муха, Христос с тобой! — уговаривал Ивана товарищ, длинный и костлявый «Иосиф Прекрасный». — Ночесь в воду было совсем бросился, ежели бы я тебя за ногу не сохватил... Как начнет блазнить, ты сейчас молитву и сотвори. Я так-ту в тайге без малого недели с три вылежал, и все молитвой больше.

Иван приходил в себя, трясся всем телом и как-то разом весь опускался — это были последние вспышки сохранившейся в больном теле энергии, выкупаемые тяжелым расслаблением. После таких галлюцинаций больной долго лежал с закрытыми глазами, весь облитый холодным потом; он чувствовал, что с каждым днем его все более и более тянет к земле и он теряет последние крохи живой силы. Но, как ни было тяжело Ивану, он никогда не забывал своей пазухи и крепко держался за нее обеими руками; за пазухой у него хранилась завернутая в тряпье заветная «машинка», то есть деревянная шкатулочка с необходимым прибором для отливки фальшивых двугривенных.

— Иван, ты, того гляди, помрешь... — несколько раз довольно политично заговаривал Иосиф Прекрасный. — Отдай загодя нам с Переметом машинку-то, — с собой все одно не возьмешь.

— Поправлюсь, даст бог...

— Куды поправишься!.. Ей-богу, Иван, помрешь, верно говорю!.. А нам с Переметом далеко еще брести, веселее бы с машинкой...

— Не мели!

— Ну, зелёна муха, не кочевряжься... говорю, помрешь!

Хохол Перемет не принимал никакого участия в этих переговорах, потому что вообще был человек крайне сдержанный и не любил болтать понапрасну. В партии он был всех старше и в свои пятьдесят лет сохранил завидное здоровье. Перемет больше всего любил лежать на солнышке, на самом припеке, закинув свою хохлацкую голову и зажмурив свои карие казацкие очи. В усах и в давно небритой бороде у него уже серебрилась седина. В трудных случаях своей жизни Перемет говорил только одно слово: «нэхай», и тяжело принимался насасывать свою трубочку-носогрейку. Рядом с ним Иосиф Прекрасный казался каким-то вихлястым и совсем несуразным мужиком. Его рябое худощавое лицо, с белобрысыми подслеповатыми глазками отличалось необыкновенной подвижностью, точно Иосиф Прекрасный вечно к чему-нибудь прислушивался, как заяц на угонках. В нем именно было что-то заячье.

— Бросится ужо в воду, да и утонет вместе с машинкой, зелѐна муха... — несколько раз поверял Иосиф Прекрасный свои опасения Перемету и зорко караулил больного товарища.

— Нэхай, — отцеживал хохол.

— А куда мы без машинки?..

Не раз, просыпаясь по ночам, Иосиф Прекрасный крепко задумывался над вопросом, как завладеть машинкой, и ему приходили в голову страшные мысли: представлялись размозженная голова, окровавленное мертвое лицо, судорожно сжатые бессильные руки... Но эта картина пугала самого Иосифа Прекрасного, и он начинал молиться вслух, чтобы отогнать смущавшего беса. Чтобы рассеяться от накипавших злых мыслей, Иосиф Прекрасный по целым дням бродил по Татарскому острову и по-своему изучал во всех тонкостях этот клочок, а главным образом — поселившихся на нем птиц. По этой части Иосиф Прекрасный был великий артист и отлично знал всякое птичье «обнакновение»: какая птица как живет, где вьет гнездо, какими способами обманывает своих врагов.

Больной Иван подозревал душевное состояние своего приятеля, но больше опасался молчаливого хохла,

особенно по ночам, когда тот, завернувшись в старый полушубок, неподвижно лежал в двух шагах от него. Кто знает, что у такого человека на уме: молчит-молчит, да как хватит сонного камнем по башке — только и всего.

Сошлись они все трое случайно, в сибирской тайге, и хотя общая бродяжническая жизнь, переполненная общими приключениями и опасностями, сильно сближает людей, но они все-таки мало знали друг друга, потому что по какой-то особенной бродяжнической деликатности избегали интимных разговоров о том прошлом, которое всех их загнало в далекую и холодную Сибирь. Это последнее происходило отчасти потому, что бродяги редко говорят правду о себе даже друг другу, тем более что и сходятся они в маленькие артельки только на пути через Сибирь, а там, как перевалят благополучно через Урал, всякому приходится идти уже в одиночку.

— Братцы, шли бы вы вперед... своей дорогой... — несколько раз говорил слабым голосом Иван. — Я, может, долго залежусь.

— Лежи, знай, зелёна муха, а мы отдохнем малость, — отвечал Иосиф Прекрасный за всех. — Слышь, по дорогам лётных не пропускают... на трахту недавно человек двадцать пымали. Обождем, до осени далеко.

Разговор обыкновенно на этом обрывался, и лётные молча раздумывали, каждый про себя, свою думу.

Весенние ночи были коротки, но для больного, которому приходилось сторожиться от своих товарищей, они казались бесконечными. Стоило закрыть глаза, и начинались самые мучительные грезы: представлялся опасный побег с каторги, лица гнавшихся по пятам конвойных солдатиков, догнанный солдатской пулей товарищ по побегу, а там дальше следовало страшное блуждание по тайге, где приходилось дней по пяти сидеть без куска хлеба. Страшные таежные овода заедают человека насмерть, как это и случается с заблудившимися в тайге беглыми; рвет его таежный зверь, но всех их хуже таежный дикий человек, который охотится за «горбачом», как называют там беглых, с винтовкой в руках... Все это представлялось боль-

ному бродяге с мучительной ясностью, и он в сотый раз переживал все муки и опасения, перенесенные им в бегах: душил его прямо за горло таежный медведь, выслеживал бурят, верхом на лошади, нацелившись винтовкой... Видел он квадратное желтое лицо с косыми глазами, и кровь стыла в жилах, потом видел громадную сибирскую реку, потонувшую в плоских мертвых берегах; видел, как горами шел по ней весенний лед, а он сам, с шестиком в руках, прыгал с одной льдины на другую, перебираясь на другой берег. Это была Обь... Иван Несчастной Жизни навеки было скрылся под расступившейся обской льдиной, которая проглотила бы его вместе с машинкой, но близко был берег, и бродяга выплыл. Пришлось идти в мокрых оледеневших лохмотьях: в холодной Оби и зачерпнул Иван свою болезнь, которую нес до самого Зауралья, куда рвалась его душа. Еще в тюремном каземате видел он вот этот самый Татарский остров и, наконец, добрался до него, но здесь последние силы оставили Ивана, и он даже не мог подняться на ноги, чтобы посмотреть на знакомый берег родной реки.

II

Так прошло целых три дня. Запасы кое-какие были, погода стояла отличная, и лётные пока ничего не предпринимали, наслаждаясь благословенным покоем. Да и пора было отдохнуть, потому что все они бродяжничали уж «близко полгода», — даже у здоровенного Филиппа Перемета, и у того по временам ныла каждая косточка.

На четвертую ночь Ивану пришлось особенно тяжело, и он лежал около огня в тяжелом полузабытьи. Ночь выпала ясная, немножко холодная, с сильной росой; над островом и над рекой стояла какая-то молочная мгла, чутко вздрагивавшая от малейшего звука. Кусты тальника, смородины и вербы, которыми порос весь остров, казались гораздо выше, чем днем, и сливались в большие темные массы. Где-то далеко, на берегу Исети, заливались два соловья. Иногда у самого острова глухо всплескивала вода, — это металась в

заводи крупная рыба; где-то далеко-далеко, точно под землей, глухо лаяла собака. Иван иногда глядел на небо, усеянное звездами, и ему оно казалось громадной синей трубой, опрокинувшейся широким концом как раз над самым Татарским островом. Отяжелевшие глаза слипались сами собой, но ухо чутко сторожило малейший шорох, заставляя бродягу вздрагивать. То казалось ему, что к острову осторожно подплывает лодка, то в кустах слышались крадущиеся шаги и подозрительный треск. Больному «блазнило» вдвойне, и он смешивал галлюцинации с действительностью.

Перед самым утром, когда небо начало заволакиваться туманом, больной начал совсем засыпать, но над самой его головой жалобно пискнула маленькая птичка, выпугнутая из гнезда сонною. Это был скверный знак, и Иван только что хотел разбудить спавших товарищей, как на его плечо легла чья-то тяжелая рука.

— Не трожь... — прошептал чей-то голос, и из темноты над Иваном наклонилась сгорбленная широкая фигура. — Я с хорошим словом к вам пришел: мир на стану!

— Садись, так гость будешь.

— Я и то в гости пришел... — засмеялся гость и уселся к огню на корточки, по-татарски. — Сколько тут вас: трое? Так и есть. Эх вы, и бродяжить-то не умеете: разе бродяги по ночам огни раскладывают, а? Наши парнишки всю деревню переполошили. В ночном лошадей стерегли, а на острову дымок; ну, сейчас в деревню: «Лётные на Татарском острову...»

— Да вот неможется что-то, — около огонька все как будто способнее...

— Ну, это статья другая!.. — согласился гость и, не торопясь, принялся раскуривать свою трубку-носогрейку.

Спавшие бродяги проснулись, но продолжали лежать с закрытыми глазами, наблюдая ночного гостя с волчьей осторожностью.

— Ишь, дьявола, хотят дядю Листара оммануть! — весело проговорил гость и опять засмеялся. — У меня такой петушок был: засунет голову в поленницу и

думает, что его не видно... занимательный был петушок... А вы, братцы, не сумлевайтесь: дядя Листар сам в лётных-то колотился годов с пять и всю эту музыку произошел, как же!..

— Ты из Тебеньковой будешь? — спросил Иван.

— Тебеньковский. Мир меня, значит, послал испытать вас, с добром или с худом вы пришли. Время летнее, в деревне только старые да малые, ну, чтобы баловства какого не вышло. А я так про себя-то мерекаю: чистые дураки эти наши мирские мужики...

Дядя Листар одним движением головы молодцевато передвинул свою шляпенку с уха на ухо и опять засмеялся хриплым смешком, прищурив свой единственный глаз. Лицо у него было сильно изрыто оспой, один глаз вытек и был закрыт ввалившимся веком; жиденькая желтая бороденка глядела старой мочалкой. Одет он был в изгребную синюю рубаху домашнего дела и такие же порты. Широкая сгорбленная спина и длинные руки выдавали деревенского силача, видавшего виды, о чем свидетельствовал единственный глаз дяди Листара, который смотрел как-то особенно воровато.

Иосиф Прекрасный и Перемет поднялись со своих мест и подсели к огоньку, разглядывая дядю Листара исподлобья.

— Издалече будете? — спрашивал старик тоном своего человека.

— Ничего-таки... здорово отмахнули, — хвастливо ответил Иосиф Прекрасный, грея свои длинные руки над огнем. — Из-под Иркутскова буровим, третью тыщу доколачиваем.

— Так... Место знакомое: сам из-под Иркутскова уходил.

— Нно-о?

— Верно... Я тут конокрадством займовался, ну, одного человека и порешили грешным делом. По этому самому случаю меня и засудили, старые тогда суды были. Было-таки всячины... ох-хо-хо!

— А глаз куда девал? — спросил Иосиф Прекрасный.

— Это, милый друг, один кыргызь мне заметку

оставил... ха-ха!.. В орде мы коней воровали у них, ну и тово, прямо копьем да в глаз кыргызь проклятущий и угадал. Так вот, други милые, пришел я к вам от своих: мир послал... опасятся насчет баловства. Обыкновенно — дураки, я про мужиков-то; лётные, как зайцы, чего их бояться... всякому до себя.

— Верное твое слово... Нам бы только до своих местов пройти, а не до баловства. Да вот Иван что-то больно разнемогся дорогой, да и на трахту, сказывают, тово...

— Насчет трахту не сумлевайтесь: пустое... — успокоил дядя Листар. — Конечно, не прежняя пора, ну всетаки ежели с умом, так хошь на тройке поезжай.

— А как в Шадрином ноне? — полюбопытствовал Перемет.

— В шадринском остроге? Дрянь дело: изгадили место совсем... Прежде шадринский-то острог все лётные даже весьма уважали: не острог был, а угодник. Первое — насчет харчу не стесняли, а второе — майдан...

— Слыхивали и мы, как же.

— Как не слыхать: первое место было для лётных... Сами бродяжки туда шли по осени, чтобы перезимовать. Шестьсот, семьсот душ набиралось... А нынче шабаш, строгости везде пошли... начальство тоже новое...

Лётные разговорились с дядей Листаром, как со своим братом, и рассказали, кто и куда пробирается: Иосиф Прекрасный шел на Волгу, в свою Нижегородскую губернию, хохол Перемет куда-то в Черниговскую, Иван Несчастной Жизни за Урал, в Чердынский уезд. Собственно, говорил один Иосиф Прекрасный, вообще большой краснобай по природе.

— Так, говоришь, ваши тебеньковские сильно испужались нас, а? — спрашивал он дядю Листара в третий раз. — А ты им скажи, своим-то мирским, что наше дело смиренное: передохнем малость и опять к своим местам поволокемся.

— Скажу, скажу... Дурачье эти наши мужики самые, правду надо говорить, — философски рассуждал дядя Листар, расставляя руки. — А того не сообразят, что все под богом ходим: сегодня я справный, самый естевой мужик, а завтра заминка вышла, и я сам в

лётные попал... Это как? Понимать все это надо, а не то чтобы бояться. У нас в Тебеньковой эк-ту один брательник другого топором зарубил, ну, большая неустойка вышла; засудили сердягу, теперь тоже, поди, в лётных где-нибудь по Сибири мается.

— А много лётных через ваши места проходит?

— Страсть сколько: день и ночь идут... по одному, по два, по три. У нас насчет этого даже очень способно — никто пальцем не пошевелит бродяжку настоящего, а еще кусочек хлеба подаст. Не как в этой проклятущей Сибири — там, брат, травят горбачей, как зайцев. Эти желторотые сибиряки — сущие псы... А у нас у каждой избы такая полочка к окну пришита, чтобы на ночь бродяжкам хлеб выставлять. Бабы у нас жальливые насчет бродяжек... Вот разбойникам да конокрадам спуску не дадим, это уж точно!

В этой мирной беседе не принимал участия только один больной Иван; он лежал с закрытыми глазами и молча слушал болтовню лётных с дядей Листаром. Последнего он узнал по голосу и теперь старался не попадаться ему на глаза: еще узнает, пожалуй, и разблаговестит в Тебеньковой.

— Вы бы, черти, хоть землянку сделали, что ли, — говорил дядя Листар, собравшись уходить. — Мало ли какая причина: дождичком прихватит, росой тоже... не в пример способнее землянка-то, а то попросту балаган оборудуйте. У нас жить можно: народ естевой, не чета сибирским-то челдонам. Худого слова не услышите, ежели себя будете соблюдать... Только вот с писарем надо будет маленько сладиться, и чтобы прижимки какой не вышло. Наши шадринские писаря, как помещики: приступу к ним нет.

— Уж как-нибудь сладимся, зелёна муха...

III

Татарский остров издали походил на громадную зеленую шапку. Река Исеть плыла здесь широким плесом, точно в зеленой бархатной раме из вербы, ольхи, смородины и хмеля. Кругом, насколько хватал глаз,

расстилалась без конца-краю панорама полей, сливавшихся на горизонте с благодатной ишимской степью; два-три кургана едва напоминали о близком Урале, откуда выбегала красивая Исеть, вся усаженная богатыми селами, деревнями и деревушками, точно гигантская нитка бус. Место было широкое и привольное, какие встречаются только в благословенном Зауралье, где весело сбегают в Исеть реки: Теча, Синара и Мияс, эти настоящие земледельческие артерии.

В полуверсте от Татарского острова, вниз по течению Исети, на плоском песчаном берегу, плотно уселось своими двумя сотнями изб богатое село Тебеньково. Издали красовалась белая каменная церковь; единственная широкая улица тянулась по берегу версты на две, как это бывает в настоящих сибирских селах. С тебеньковской колокольни можно было рассмотреть несколько других селений: верстах в десяти вверх по течению Исети горбились крыши деревни Чазевой; вниз по течению, прикрытое зеленым холмом, пряталось село Мутовкино; в стороне, где синел старинный башкирский бор, как свеча, белела высокая колокольня села Пятигор. Эту картину портило отсутствие леса — от прежних вековых лесных дебрей, на пространстве сотен квадратных верст, сохранился только пятигорский бор, жиденькие березовые перелески, гривки и островки из смешанной зелени, прятавшиеся по логам и оврагам. Зато полям не было краю — точно на диво развернулась сказочная скатерть-самобранка: ярко зеленели озими, желтели, как давно небритая борода, прошлогодние пары, черными заплатами вырезывались яровые.

— Эх, места-то, места сколько... — повторял с каким-то сожалением Иосиф Прекрасный, в котором сказывался великорусский пахарь. — Не то что в нашей Нижегородской губернии... кошку за хвост повернуть негде. Тут помирать не надо: во какие луга-то...

Татарский остров получил свое название в темные времена башкирских бунтов, когда на нем отсиживались воевавшие с русскими насельниками башкиры. Предание гласило, что эти защитники своей родины полегли костями на Татарском острове все до послед-

него. Вообще цветущий бассейн реки Исети в течение целого столетия, начиная с первого башкирского бунта, вспыхнувшего в 1662 году под предводительством башкирского старшины Сеита, и кончая пугачевщиной, служил кровавой ареной, и весь этот благословенный простор залит реками башкирской крови. После окончательного замирения Башкирии прошло не более ста лет, и эта «орда» превратилась в настоящее русское приволье: на месте башкирских улусов, стойбищ, тебеневок и кошевок выросли русские деревни и развернулись крестьянские нивы, как на месте скошенной травы вырастает новая... Воспоминанием о поэтическом и воинственном башкирском племени сохранились в Зауралье только жалкие островки башкирского населения да башкирские названия русских сел, урочищ, рек и озер.

Май был на исходе, и весна разливала кругом свои чудеса со сказочною щедростью. А давно ли все кругом было мертво, как пустыня. Долго хмурится апрельское небо и точно не хочет улыбнуться первым весенним лучом; в засвежевшем упругом воздухе иногда начинают тихо кружиться пушистые снежинки; но весна берет свое — на бугровых проталинках зеленой щетиной пробивается первая травка, везде блестят на солнце лужи вешней полой воды, сердито и весело буравят землю бесчисленные ручьи, снег сползает к оврагам и водороинам, пухнет, чернеет, покрывается ржавыми пятнами и ледяными кружевами. Дольше всех не сдается скованная толстым льдом река, пока наливающаяся в воздухе, томящая весенняя теплынь не выгонит поверх льда желтые наледи, промоины и широкие полыньи. Первыми вестниками наступающей весны являются грачи, скворцы, жаворонки; за ними прилетает разная водяная птица, как только реки и озера дадут закраины; за водяной птицей летит болотная, позже всех прилетают лесные птицы. Усталые вереницы пролетают тысячи верст, делают короткие становища, кормежки и высыпки, и опять летят вперед, туда, на север, где хмурится низкое небо и в синеватой мгле тонет бесконечная лесная полоса, которая разлеглась широкой зеленой лентой от одного океана до другого.

Сколько миллионов перелетной птицы погибает напрасною смертью в этот длинный путь через моря, горы, пустыни и леса! Иная, выбившись из сил, попала в море, иная погибла от голода, иная сделалась жертвой тех хищников, которые зорко стерегут перелетные станицы на каждом шагу и провожают почетным конвоем. И хищная птица, и снег, и зверь, и холодный ветер, а всех больше человек — истребляют миллионы беззащитной твари; но могучий инстинкт сильнее всех этих препятствий, и птичья армия каждый год с точностью, которая недоступна даже лучшим машинам, начинает свое переселение, точно двигается вперед какая-то стихийная сила.

Теперь уральская весна была в полном разгаре, и все кругом жило какою-то напряженною жизнью. Наперекор предсказаниям Иосифа Прекрасного, Ивану Несчастной Жизни вдруг полегчало — это было чудо животворящей весны... Больной мог сидеть, ел и вообще превращался в здорового человека. Он каждый день по нескольку раз обходил Татарский остров, смотрел сквозь кусты на знакомый берег Исети, на расстилавшиеся родные поля, тебеньковскую колокольню и чувствовал, как по его желтому лицу катились счастливые слезы, слезы безыменного бродяги, который имел такое же значение в общем строе жизни, как фальшивый двугривенный или письмо, отправленное по почте без адреса. Но ведь и он, Иван Несчастной Жизни, мог, сколько душе угодно, слушать, как по ночам жалобно курлыкали журавли, бродившие по тебеньковским пашням, как на заре кричали на Исети своим диким криком лебеди, как куковала где-то далеко-далеко сирота кукушка; мог смотреть, как над деревней, над полями, над рекой широким винтом поднимались злые коршуны, зорко выглядывавшие свою добычу. На Татарском острове тоже день-деньской копошилась разная птичья мелюзга, заливаясь своими песнями; ласточки, синички, малиновки, черемушники гнездились в кустах; по песчаной отмели проворно бегали черныши-бекасы и серые зуйки, грациозно покачиваясь на своих тонких, как проволока, ножках; в прибрежном коряжнике было два утиных гнезда,

в осоке по ночам долго скрипел коростель. У Иосифа Прекрасного была вся птица на счету, как у хорошего хозяина; лётные не трогали птиц.

— Это господам забава — беззащитную тварь бить, — любил рассуждать Иосиф Прекрасный, сидя у огонька. — Птица-то проснется и сейчас бога славит — вот ты на нее и гляди, что она названием-то птица. Зверь — тот не умеет угодить богу, потому, какая у него песня: либо завоет, либо залает, либо захрюкает, а птица на все голоса выводит. Птица, брат, вольная тварь — первая родня нашему брату, лётному... Ее господь умудряет за ее простоту, потому она и место свое знает лучше другого человека — самая махонькая птичка, и та вот знает. Нет, ее, брат, не обманешь. Кому, значит, что дано: одному такая часть, другому другая; а место у каждого свое должно быть; ну, его к этому самому месту и волокет, потому как божеское произволенье...

Действительно, между перелетной птицей и лётным существует роковая аналогия: та же стихийная тяга к своему месту, те же становища, высыпки, кормежки, с тою разницей, что для каждого лётного опасность этого рокового пути удесятеряется тысячью препятствий специально человеческого существования. Самая хитрая и вороватая птица, по сравнению с самым простым и глупым человеком, является полнейшим ничтожеством и выкупает свое глупое птичье существование только колоссальной плодовитостью; параллельно с этим и опасности птичьего перелета в миллион крат меньше того, что выносят лётные. Мы приведем только страшную цифру ежегодно ссылаемых в Сибирь в каторгу и на поселение, именно пятнадцать тысяч человек, и так идет из года в год; а между тем из всех ссыльных, по вычислениям сибирской статистики, в Сибири остается всего пять процентов... Куда же деваются остальные девяносто пять процентов? Мы можем сказать утвердительно, что большинство бежит... И если первый путь в Сибирь является специфическим русским via dolorosa [1], то этот *второй,* обратный путь

[1] скорбным путем, *(лат.)*

является беспримерным явлением, получающим благодаря своей численности, правильности и постоянству глубокое историческое значение. И так каждый год, точно льется широкая река...

В общем лётные — самый жалкий и забитый народ, так что в деревнях их не боится никто. Встречаясь на дороге с проезжающими, бродяги еще издали снимают шапки, кланяются и — самое большое — попросят хлеба. Среди сельского населения у бродяг создалась известная репутация, которою все они страшно дорожат. Мы отметим здесь тот знаменательный факт, что едва ли где-нибудь так хорошо относятся к бродягам, как в богатом Зауралье. В коренной Сибири бродяг недолюбливают, называют обидным именем «варнаков» и эксплуатируют всякими способами; в свою очередь бродяги ненавидят желторотых сибиряков и называют их «челдонами». Зато в Зауралье им настоящий отдых; а река Исеть представляет из себя настоящий бродяжнический тракт. Беглых вы здесь встретите на каждом шагу, и это самый безвредный народ, несмотря на те страшные преступления, за которые некоторые из них пошли в Сибирь. Здесь сам собой выступает вопрос о преступлении и наказании, и важно то, как он разрешается людьми образованными и народом. Не безнадежная испорченность или неисправимо злая воля толкает большинство преступников на путь преступления, а сцепление роковых случайностей, которыми так богата на каждом шагу наша русская жизнь... Только крайнее меньшинство лётных, именно лётные разбойники, представляются исключением из общего правила, и к ним применима тяжелая кара закона. Какая масса никому не нужных страданий устранилась бы сама собой, если бы, с одной стороны, русская жизнь поменьше создавала роковых случайностей, а с другой — наши следователи, судьи, прокуроры и присяжные умели и могли отличать действительно несчастного преступника от закоренелого злодея. Простой народ понял и разрешил этот вопрос с присущим ему здравым смыслом: женская рука, которая каждый вечер кладет на полочку к окну кусок хлеба лётному, в этом простом человече-

ском движении неизмеримо чище и выше всех мудрых и сильных.

Нам нужно сделать последнюю оговорку, именно, что не следует смешивать лётных разбойников и лётных бродяг. Разбойники держатся особняком, как своего рода аристократия, и «работают» каждый в свою голову. Это слишком сильный народ для стадного образа жизни, притом разбойники всегда стараются замаскировать себя: купцом, писарем, солдатом, мужиком и т. д. Лётные бродяги совсем другое дело: они являются под своим собственным именем: бродяга так бродяга...

IV

При помощи дяди Листара у лётных быстро завязались правильные сношения с деревней. Первым отправился в Тебеньково, конечно, Иосиф Прекрасный и первым делом зашел в кабак к Родьке Беспалому, где его уже поджидал дядя Листар. Кабак стоял на выезде; вывеской ему служила прибитая к коньку и давно порыжевшая елка.

— Добро пожаловать... — здоровался Беспалый, разглядывая Иосифа Прекрасного своими быстрыми, совсем круглыми глазами. — Суседи, видно, будем?

Беспалый засмеялся жиденьким, тонким смехом, который уж совсем не шел к его толстому брюху и широкому, лоснившемуся бородатому лицу; свое прозвище он получил за отрезанные на левой руке два пальца.

— У генерала Кукушкина служил в полку... — поддерживал веселый тон сидельца дядя Листар. — Дай-ка нам чего потеплее, чтобы добрым людям завидно было.

Кабак помещался в обыкновенной крестьянской избе, а для удобства посетителей дверь была проделана прямо на улицу. Несмотря на то, что, по летнему времени, дверь стояла настежь, в кабаке было темно, особенно когда войдет человек с улицы. Страшная грязь, вонь, избитый, как в конюшне, пол, грязная стойка, грязные стаканчики из пузыристого мутного стекла и у стены грязная лавка, на которой сидели посетители... Чаще других бывал здесь, конечно, дядя Листар:

охотник он был выпить, особенно на чужой счет, так как свои деньги не держались у старика. «Не с деньгами жить-то, а с добрыми людьми...» — говорил дядя Листар, подмигивая своим единственным глазом.

— Мимо меня лётные-то не проходят, — говорил Беспалый, когда Иосиф Прекрасный спросил для куражу целый полштоф. — Ох, много их идет из Сибири... Ну, с устатку и завернут к Родьке нутро поправить. Тоже назябнутся, да наголодаются, да натерпятся всякой муки-мученицкой, оно живого человека и тянет к теплу... другому и так подашь стаканчик.

— Из сливок? [1] — поправил дядя Листар.

— Всяко бывает... другой раз цельного отломишь.

В кабаке Беспалого Иосиф Прекрасный познакомился с разными тебеньковскими мирянами, и все оказался народ самый хороший: два брательника Гущиных, рыжий и весноватый Мирон кузнец, обдерганный и забитый мужичонко Сысой, два Гаврилы, степенный и обстоятельный мужик Кондрат и т. д. Сначала мужики немного косились на Иосифа Прекрасного, а потом разговорились, и только один Кондрат, засунув руку за опояску, как-то загадочно улыбался в свою окладистую русую бороду.

— Как с вами быть-то: живите пока... — говорил кузнец Мирон, а ему поддакивали другие мужики. — Кругом лётные перебиваются по летам: кто на покосах по избушкам, кто себе балагушку пригородит.

— Лётные, как комары: до осени... — смеялся Родька Беспалый. — Первым снежком их, как метлой, выметет. Все в Шадрином будут... Угодник на угоднике: Елкин, Кустов, Кольцов — не найти концов.

Мужики добродушно смеялись над лётными, выпили лишний стаканчик по такому случаю, и знакомство завязалось.

— Вот как насчет баб?.. — заметил Кондрат в самый разгар беседы. — Летняя пора — и за грибами и за ягодами ходят... Чтобы неустойки не вышло какой.

---

[1] Сливками называют в деревенских кабаках недопитые остатки, которые из стаканов и шкаликов сливаются в особую посудину. *(Прим. Д. Н. Мамина-Сибиряка.)*

Иосифу Прекрасному ничего не оставалось, как божиться и клясться, что они и близко к бабам не подойдут, что им это самое дело наплевать, а уж если такая нужда застигнет, так и Шадринск не за горами — там этого харчу сколько угодно. Дядя Листар кусал свою бороду и ничего не говорил, потому что настоящему мужику нехорошо болтать о таком пустом предмете, — ему даже было немножко совестно за степенного Кондрата, которому не следовало себя срамить. Эка невидаль — бабы!.. Уж тут что ни говори, а если тебеньковские бабенки гуляют со своими парнями, так будут и с лётными гулять: солдатка Степанька, кривая вдова Фимушка, замотавшаяся девка Улита, да мало ли их наберется по деревням?

За Иосифом Прекрасным к Беспалому пришел Филипп Перемет и сразу понравился всем, потому видно, что обстоятельный человек: напрасно слово не молвит и компанию поддержать может. Особенно близко Перемет сошелся с кузнецом Мироном, потому что и сам близко знал всякую кузнечную работу.

Один Иван Несчастной Жизни оставался все еще на Татарском острове, потому что едва ходил, да и то задыхался через каждые десять шагов. От нечего делать он городил вместе с Иосифом Прекрасным летний балаган, в котором можно было скрыться по крайней мере от дождя.

Первыми на Татарский остров явились деревенские белоголовые ребятишки; они сначала наблюдали лётных с берега и только потом решились переправиться на остров. Это были самые бойкие из всей деревенской детворы. Семка, сынишка старшего брательника Гущина, Авдошка Сысойкин, Кулка Родькин и с ними же приплелась семилетняя девчурка Сонька. Мальчишки совсем не заметили, как она перебрела за ними через реку на остров, и были очень сконфужены ее обществом.

— Сонька, подь домой... прибьем!.. — кричал Кулка, первый озорник. — Ишь, сопливая, туда же за ребятами...

Он схватил девочку за тонкое плечо и больно ее толкнул. Сонька заревела, но за нее вступился

Иосиф Прекрасный, умевший ладить с ребятишками.

— Не трожь ее, ребята, — говорил он буянам. — Ты чья будешь, девочка, а?.. Ах ты, зелёна муха...

— Фе... фе... кли-и... стина, — всхлипывая и закрыв лицо руками, ответила Сонька. — К мамке хочу...

Девочка опять расплакалась. Но Иосифу Прекрасному не стоило особенного труда утешить ее: он посадил Соньку к себе на колени и принялся выделывать на губах такие трели, что девочка сейчас же засмеялась чистым и доверчивым детским смехом. Иван лежал в балагане и видел всю сцену: имя Феклисты заставило его вздрогнуть; но он не вышел из балагана и только издали разглядывал белокурую головку девочки с заплаканными глазами. Сонька была в одной старой выбойчатой рубашонке, открывавшей до самых колен исцарапанные, желтые от грязи и загара ноги; на спине у нее болталась скатавшаяся косичка; тонкая шея была совсем коричневая, лицо запачкано, и только одни глаза, как две звездочки, сияли тихим ясным взглядом.

Эта детвора быстро освоилась на Татарском острове и с детским эгоизмом одолевала Иосифа Прекрасного тысячью просьб: наладить удочки, поймать птаху, поиграть на губах, вырезать пикульку помудренее, рассказать сказку пострашнее. Перемета и Ивана ребята боялись и только с любопытством поглядывали на них издали. Угождая ребятишкам, Иосиф Прекрасный через них быстро разузнал всю подноготную Тебеньковой: какой поп, кто богатые мужики, какой писарь, когда лётные проходили и т. д.

Из мужиков раньше других пришли брательники Гущины, здоровые и молчаливые мужики, про которых шла не совсем хорошая молва, особенно про большака: знались брательники с башкирскими конокрадами, с трактовыми ворами, пошаливавшими на шадринском тракте. Гостей лётные угощали водкой.

— Ничего, славно здесь у вас, — говорил меньшак Гущин, заглядывая в балаган к Ивану. — Летом-то даже очень любопытно... тоже вот балагушку приспособили. Ну, Иван, как ты здоровьем-то?

— Да ничего... полегчало будто.

— Чердынский, говоришь?

— С той стороны...

— Та-ак, — недоверчиво протянул меньшак и переглянулся с большаком. — Только говорьё-то у тебя не подходит маненько...

— Смешались мы говорьём-то... — подхватил Иосиф Прекрасный, желая выручить товарища. — В остроге-то всякого жита по лопате наберется, — ну, какое уж там говорьё.

После Гущиных приходил кузнец Мирон, Сысой и даже заглянул степенный Кондрат, обнюхавший весь остров. Лётные принимали всех мужиков одинаково и всех угощали водкой. Водка выпивалась исправно, и мужики повторяли: «Ничего, живите пока». Дядя Листар, конечно, наведывался чаще других и сам припрашивал водки. Пьяный, он разбалтывал все, что говорят в деревне мужики относительно лётных.

— Тебе бы, Иван, показаться в деревне-то... — советовал старик. — А то сумлеваются мужики-то... Конечно, по глупости по ихней, — не понимают, что хворый человек... Заверни, как ни на есть, к Родьке, только и всего. Поглядят и отстанут... дураки, одно слово.

Иван так и сделал — сходил в кабак показаться тебеньковским мужикам, и этим устранились все подозрения: его никто не узнал, да он и сам себя, вероятно, не узнал бы — так болезнь его перевернула.

— Обличьем-то ровно бы ты на одного нашего мужичка подходишь... — заметил один Родька Беспалый, вглядываясь в Ивана. — Брательники тут у нас были, Егор да Иван; еще неустойка у них тут большая вышла: Иван-то порешил Егора, топором зарубил.

— Бывает... — глухо соглашался Иван, желая сохранить спокойствие, — мало ли человек на человека походит. В чужую скотину вклепываются.

— Да ведь я так, к слову сказал.

Иван произвел на тебеньковских мирян известное впечатление, как человек особенный и уж совсем не чета Иосифу Прекрасному. Мужики умеют сразу определить нового человека по самым ничтожным

признакам, и в этом случае не ошиблись. Иван резко выделялся своей спокойной уверенностью, известным мужицким тактом и особенно тем, что умел быть самим собой. Он не заискивал, не подделывался под чужой тон, а держался просто, как всякий другой мужик. Иван отлично понимал, что, как бы хорошо к нему ни относились тебеньковские мужики, для них он отрезанный ломоть, чужой человек, которого терпят из милости, и что при первом «поперечном» слове его выгонят в шею. Эта мужицкая милость была ему тяжела, как медвежья лапа, которая может раздавить каждую минуту. Одним словом, он как-то сразу невзлюбил этих тебеньковских мужиков, которые могут так свободно расхаживать у себя по деревне, заходить к Беспалому и вообще держать себя совсем независимыми людьми. А главное, что им от него нужно: бродяга, и конец делу.

По вечерам на Татарском острове часто собиралась целая компания, особенно «частили» брательники Гущины, приносившие с собой свою водку. Около огонька просиживали до зари и болтали о разных разностях, причем лётные разузнавали все, что им нужно было знать: какие и когда лётные прошли через Тебеньково, кто содержится в шадринском остроге, кто из лётных перебивается по окрестным деревням, на покосах в избушках, какие партии прошли в Сибирь и т. д. Центром этих известий служил кабак Родьки Беспалого, куда захаживали почти все беглые.

— А сколько знакомых наберется, зелѐна муха, — умилялся Иосиф Прекрасный, перебирая клички лётных. — Только вот этих Елкиных да Иванов Непомнящих больно уж много развелось, и не разберешь.

Когда компания развеселялась, Иосиф Прекрасный затягивал сибирскую острожную песню, которая обошла, кажется, всю Россию:

Как по речке, по быстрой,
Становой едет пристав...
Ох, горюшко-горе,
Великое горе!..
А с ним письмоводитель —
Страшенный грабитель.

Ох, горюшко-горе,
Великое горе!..
Едут по великому делу:
По мертвому телу...

Голос у Иосифа Прекрасного был высокий, нежный, как поют одни нижегородцы, и он выводил заунывные рулады с особенным усердием, а остальные подхватывали припев, такой же печальный и тяжелый, как неприветлива необозримая Сибирь с ее тайгой, болотами, степями, снегами, пустынными реками и угрюмым населением неизвестного происхождения.

— Ох, и люблю я эту песню... — каким-то слезливым голосом признавался дядя Листар и всякий раз лез целоваться с Иосифом Прекрасным. — Огонь по жилам идет...

— Отцепись, зелѐна муха!.. — протестовал Иосиф Прекрасный, защищаясь от этих ласк. — Разве я девка... тьфу!

V

У дяди Листара своей избы не было, он ее давно промотал и жил теперь у вдовы Феклисты, которой помогал управляться с хозяйством. В кабаке Беспалого иногда лукаво подмигивали насчет отношений Листара к Феклисте, хотя всем было хорошо известно, что Феклиста баба строгая и содержит себя «матерней вдовой» крепко-накрепко. Это была видная, высокая женщина лет под сорок, с загорелым лицом и плоской грудью, какая бывает вообще у деревенских баб, истомившихся на тяжелой крестьянской работе. Ходила Феклиста в темных ситцевых сарафанах или попросту в изгребном синем дубасе, а голову по-вдовьи прикрывала темным платочком с белыми горошинами.

Феклиста держала за собой мирскую землю и потому вытягивалась на работе, как лошадь, чтобы управляться и с домом, и с пашней, и с покосом. В доме не было мужика, и Феклиста прихватила дядю Листара, который хотя и пьянствовал большую половину года, но все-таки помогал в такую пору, как деревенская страда.

— Погоди, вот Пимка подрастет, тогда не пойду в люди кланяться, — грозилась Феклиста, когда дядя Листар очень уж надоедал ей своим пьянством. — Чтой-то за мужик: либо лодырничает, либо в кабаке губы мочит. Одно божеское наказанье, а не работник.

— Ну, ну, размыргалась... — ворчал дядя Листар, стараясь куда-нибудь уйти с глаз от Феклисты. — На свои пьем... а работа от нас не уйдет, еще почище другого трезвого-то сробим.

Еще с работой Феклиста кое-как справлялась, хотя колотилась, как рыба об лед; но ее сокрушало то, что ее вдовьи руки никак не доходили до дома — изба и двор, все начинало медленно разрушаться, как это бывает в захудавших сиротских домах. Некому было поправить валившуюся верею, приколотить отставшую «досточку», наладить расползавшиеся на крыше драницы, починить прясло в огороде, а тут еще амбарушка покосилась, на сеновале обвалились стрехи и т. д. Мало ли в крестьянском хозяйстве таких мелочей, за которыми нужен хороший хозяйский глаз, а где же одной бабе управиться? Постоянно болело Феклистино сердце от этих хозяйственных прорех по дому, и все надежды возлагались ею на девятилетнего Пимку — «вот Пимка подрастет, тогда все выправим».

У Феклисты после мужа осталось пять человек детей; но трое умерли: господь сжалился и прибрал сирот, как говорила Феклиста. Оставалось всего двое, мальчик и девочка, «красные детки», как говорят крестьяне. Маленькую Соньку мы уже знаем, брат Пимка был старше сестры всего года на два, но он, как все деревенские сироты, глядел гораздо старше своих девяти лет и держался настоящим мужиком. С деревенской детворой он почти не связывался совсем, а больше промышлял около дома, помогая матери своими детскими руками. Нужно было видеть, с каким сердитым видом он ходил у себя по двору, когда обряжал лошадь, задавал скотине корму и вообще хозяйничал, как настоящий большой мужик. Детские серые глаза смотрели серьезно, говорил Пимка мало, с тем мужицким тактом, чтобы не сказать слова зря, и очень редко улыбался. Сонька, по глупости, еще бегала по улице с

другими деревенскими ребятишками, а Пимка только по праздникам выходил за ворота и то больше смотрел, как играют другие.

— Работника себе растишь, Феклистушка, — говорили тебеньковские мужики, и эта мужицкая похвала заставляла ее краснеть. — Славный у тебя парнишка выравнивается, не чета нашим-то сорванцам.

Всего интереснее было, как Пимка держал себя с дядей Листаром. Когда старик приходил домой пьяный, мальчик делал такой вид, что совсем не замечает Листа́ра, хотя тот изо всех сил старался перед ним выслужиться.

— Ишь, опять шары-то (глаза) как налил, — говорил Пимка, смягченный пьяной угодливостью старика. — Добрых людей не совестно, так хошь бы стен постыдился, пропащая башка.

— А я, думашь, рад этому самому вину? — объяснялся дядя Листар коснеющим языком. — Да я не знаю, что от себя отдал бы, чтобы не видать его, вината... отрава это нашему брату... Да...

— Никто не неволит отраву-то лопать...

— А-ах! Ббожже мой!.. Да я... да мне плевать... Трекнусь (отрекусь) от водки — и конец делу!.. Вот какой дядя-то Листар, вот ты и гляди.

— Как же, сказывай, трекнулся... та́кой и человек, — с невыразимым презрением говорил Пимка.

Феклиста часто посмеивалась про себя, слушая откуда-нибудь из-за косяка, как Пимка доезжает пьяного Листара, точно комар, который жужжит над одуревшей от летнего жара скотиной. Но это была одна видимость, а в сущности Пимка и Листар были большие друзья, и Пимка больше льнул к пьяному мужику, чем к матери, перенимая от него всякую мужицкую ухватку. Дядя Листар по-своему очень любил «мальца» Пимку и учил его всякому мужицкому делу как по дому, так и в поле. За это пьянице Листару спускалось Феклистой очень многое, хотя она не одну сотню раз клялась выгнать его из избы.

Известие о лётных, засевших на Татарском острове, в избу Феклисты принесла белоголовая Сонька, а потом дядя Листар. Феклиста отнеслась к этому событию

совершенно равнодушно, потому что мало ли лётных бредет по Исети каждое лето.

— Поживут, да и уйдут... — говорила Феклиста с соседками, забегавшими поделиться деревенской новостью.

— Двое-то были в кабаке у Беспалого, — тараторили бабенки перед Феклистой. — А третий, бают, хворый лежит; Гущины пирога с морковью послали, молодайка-то, которая за Митрием.

Но потом к Феклисте зашла Степанида Обросимовна, жена богатого мужика Кондрата, и засиделась дольше обыкновенного. Правда, старуха закинула какое-то заделье, но Феклиста сердцем почуяла, что Степанида Обросимовна неспроста растабарывает с ней о разных пустяках. Да и какая у них компания: семья Кондрата богатая, а Феклиста — бедная. Конечно, и раньше Степанида Обросимовна не брезгала Феклистиной беднотой, потому как еще со стариками дружила сильно, ну, а все-таки недаром накинула она на себя простоту. Только когда «вежеватая» и степенная старуха заговорила о лётных, Феклиста поняла сразу, куда гнула она, и ее точно что укололо в самое сердце.

— Это ты насчет нашего-то Ивана речь закидываешь? — предупредила Феклиста вопрос.

— Нет, я так, к слову молвила. Может, и ваш-то Иван тоже с лётными где-нибудь бродяжит.

Этот же разговор повторился с Аксиньей, женой кузнеца Мирона; потом с соседкой Фролихой, у которой двое сыновей было в солдатах, со стряпкой попа Ампадиста, Егоровной, с полюбовницей волостного писаря Калиныча, известной в Тебеньковой под именем Лысанки, потому что она зачесывала свои рыжие волосы назад, по-городскому.

«Да что они в самом деле пристали ко мне, верченые? — раздумалась Феклиста не на шутку и даже всплакнула про себя. — Дался им этот Иван... Может, и бродяжит, я почем знаю!..»

Но, как ни старалась Феклиста отогнать беспокоившие ее мысли, — они лезли ей в голову, как летний овод.

Разыгравшаяся в семье Корневых тяжелая драма была очень несложного характера, как все крестьянские драмы.

Феклиста выросла в сиротстве и была единственной дочерью Никитишны, больной старухи, изморившейся на работе по чужим людям. Эта Никитишна всегда на что-нибудь жаловалась, и не проходило дня, чтобы не попрекнула свою дочь, что вот другим бог посылает же парней, а у нее всех-на-всех одна девка. Ну, куда девку повернешь? Корми и воспитывай, а потом, глядишь, девка и улетела. Чужой товар эти девки, и больше ничего.

— Вон у Корневых двух сыновей растят, замена будет старикам-то, — жаловалась Никитишна и тяжело вздыхала.

Корневы были соседи. Семья у них была небольшая, но достаточная, — муж с женой, старик, дедушка Афоня (по деревенскому прозвищу Корень), и двое ребятишек: Егор да Иван. Дети маленькими выросли вместе, на одной деревенской улице, и Феклиста часто бывала у Корневых. Когда она сделалась подростком, меньшак Иван был уже шестнадцати лет. Детское знакомство перешло в привязанность, а затем в более сильное чувство. Часто им приходилось вместе и работать, и хороводы водить, и на супрядках сидеть. Феклиста была смирная и работящая девка, а к шестнадцати годам она расцвела тем трудовым здоровьем, какое бог посылает иногда сиротам. Красива она не была, но деревенские парни не обегали ее своим вниманием, и Феклиста износила много синяков от деревенских кавалеров, как и они от нее. Иван Корнев был все-таки на особом счету, и деревенские свахи в один голос повторяли, что быть Феклисте за Иваном Корневым. То же думала и сама Феклиста и старая Никитишна, хотя последняя и любила поговорить, что Корневы найдут невесту побогаче Феклисты.

Корневы действительно заслали к Никитишне сватов, только присватались за большака Егора, а не за Ивана. Взвыла и забунтовала Феклиста на первых порах, не хотелось идти за немилого, но ничего не поделаешь — старики столковались между собой, и

Феклисту никто не спрашивал: хочет она идти за Егора или нет. Корневым нужна была в дом хорошая работница, потому что сама старуха начала сильно прихварывать и не успевала справляться с хозяйством. Так и вошла Феклиста в новый дом, и сейчас же была завалена такой кучей новой работы, что ей даже дохнуть некогда было, не то что раздумывать о своем милом. Одних мужиков в доме было четверо, да еще свои дети пошли, тут приходилось вертеться колесом целые дни напролет, как работают одни деревенские бабы. Муж у Феклисты был хороший, работящий мужик, хотя и крутенек, особенно под пьяную руку.

Иван молчал и, видимо, старался избегать Феклисты, хотя сделать это было и трудно, особенно по зимам, когда вся семья скучивалась в одной избе. На счастье или на несчастье подвернулась рекрутчина, и Корневым приходилось выставлять солдата, а на очереди был Егор. Вся семья взвыла; у Феклисты уже было двое ребятишек, и она ходила по дому с опухшими от слез глазами. Крепко задумался Иван над нежданной страшной бедой и порешил идти в солдаты за Егора — все равно, только бы дальше от Феклисты. Когда он объявил свое решение семье — первая, с воем и причитаньем, повалилась ему в ноги Феклиста вместе с ребятишками.

— Не для вас иду, а для себя... — ответил Иван и даже отвернулся.

Крепкий был парень этот Иван, какой-то совсем особенный против других деревенских парней, но, видно, уж такая судьба задалась, чтобы быть ему под красной шапкой. Так он и ушел на тяжелую солдатскую службу и целых пятнадцать лет тянул свою лямку где-то в уездном городишке. Даже на побывку он не ходил в Тебеньково, чтобы напрасно не тревожить себя и Феклисту, а через пятнадцать лет вышел вчистую, да еще фельдфебелем. Дед Корнев и старики успели к этому времени умереть, а всем хозяйством «руководствовал» Егор с Феклистой. Жили они исправно, и Иван поселился на первое время у них, потому что куда же солдату деваться в деревне. Дело было как раз зимой,

работы никакой не было, и Иван отдыхал после солдатчины, да, сказать правду, он и отвык за время службы от тяжелой крестьянской работы. Сначала все шло хорошо, Егор был рад благополучно вернувшемуся брату, пока кто-то не намекнул ему на прежние отношения Ивана к Феклисте. Одним словом, между братьями пробежала черная кошка, хотя оба молчали и старались не подать виду.

Как теперь Феклиста помнит тот роковой день, когда корневский дом пошатнулся до основания и она осталась вдовой с пятью ребятишками на руках. Это было в воскресенье, сейчас после зимнего Николы. Братья, оба, только что пришли от обедни, и Феклиста подала им горячий пирог с соленым максуном. Егор что-то был не в духе и все косился на брата.

— Ты что это на меня так глядишь? — спросил, наконец, Иван.

— А и то гляжу, что мастер ты, Иван, чужой хлеб есть, — отрезал Егор, да еще прибавил: — Работы пока от тебя не видали, а за стол садишься первый...

Это несправедливое слово обожгло Ивана, как огнем, но он сдержался и промолчал. Егор не унимался и начал прямо ругаться. Между братьями завязалась тяжелая мужицкая ссора. Слово за слово, а потом ссора перешла в драку. Феклиста бросилась было разнимать братьев, но Иван успел схватить лежавший под лавкой топор и раскроил им череп брательнику.

Дальше все было в каком-то тумане: следствие, суд, потом каторга. Корневский дом одним ударом точно раскололся надвое: большак Егор убит, меньшак Иван ушел в Сибирь, а Феклиста опять осталась сиротой, и не одна, а с целой оравой ребят.

— Прости меня, ради Христа, Феклиста... — повалился Иван в ноги снохе, когда его с партией отправляли по этапу. — Бес попутал...

— Бог простит, Иванушка... — глотая слезы, ответила Феклиста. Она не жаловалась, не плакала, а точно вся застыла.

С тех пор об Иване не было ни слуху ни духу.

VI

Разговоры тебеньковских баб растревожили Феклисту, и она начала чего-то бояться, хотя сама не знала чего. Даже работа валилась у нее из рук, а по ночам она тяжело стонала.

Дядя Листар часто возвращался домой поздно ночью и, чтобы не тревожить Феклисты, уходил в старую избу, где раньше по зимам держали телят. Раз, проснувшись ночью, Феклиста услыхала, что в задней избе как будто кто-то потихоньку разговаривает. Она сначала подумала, что это бормочет Листар сам с собой, но потом ее взяло большое сомнение — пьяный человек, приведет кого-нибудь с собой; пожалуй, еще избу подпалят с пьяных-то глаз.

— Пьянчугу какого-нибудь привел, кривой пес... — ругалась Феклиста, направляясь в сени.

Действительно, в задней избе разговаривали двое — один голос был Листаров, а другой... Прислушавшись, Феклиста вся вздрогнула и едва устояла на ногах: она узнала голос Ивана. Да, это был он, Иван... Феклиста несколько раз уходила из сеней в свою избу и пробовала даже уснуть, но тут было не до сна, и она решилась, наконец, войти к Листару.

— Ты что это полуночничать-то вздумал? — сердито заговорила Феклиста, отворяя дверь в заднюю избу. — Нет тебе, пьянице, дня-то?..

— Ведь встала-таки, учуяла-таки... а?.. — удивился дядя Листар, стараясь загородить локтем стоявшую на лавке посудину с водкой. — Ну, чего ты пришла? чего не видала?.. Думашь, больно испугались?.. Вот сидим и водку пьем... а?.. Шла бы ты лучше, Феклиста, да спала бабьим делом...

— Не мели, мелево... Здравствуй, родимый, — поздоровалась она с Иваном Несчастной Жизни, который сидел у окна. — С острову, видно?

— С острову... лётный, — глухо ответил Иван и как-то весь побелел, точно его ударило чем прямо в сердце.

— Дружок мой! — объяснял дядя Листар, ожидавший от Феклисты большого гонения. — Я сам, Фекли-

ста, опять бродяжить пойду... верно!.. Да ты это что, Иван, помучнел весь?..

— Так... неможется все... ослабел я...

— И то от хвори... это бывает.

— Дальний будешь? — спрашивала Феклиста, чтобы вывести лётного из неловкого положения.

— Не так, чтобы очень... а порядочно-таки... — замялся Иван.

— Так он тебе и сказал, Феклиста... как же!.. — бормотал дядя Листар, болтая головой. — Хошь стаканчик колупнуть за компанию?

— Отстань... Не привыкла я зря вино-то изводить, да и какая-такая радость у тебя, Листар, чтобы вином-то наливаться?

— Вот и пошла взъедаться... Ступай спать, Феклиста, ей-богу...

Изба была освещена сальным огарком, и в первую минуту Феклиста не могла узнать Ивана и даже подумала, что ей просто «поблазнило» со сна. Но, вглядевшись в сидевшего у окна лётного, она больше не сомневалась — это был Иван, только такой худой, желтый, — краше в гроб кладут. На нем был надет подержанный чекмень; на лавке лежала войлочная шляпа, какую носят мужики. У Феклисты весь страх как рукой сняло, когда она увидела Ивана, — не прежнего молодого Ивана, а вот такого больного и жалкого. Только одни темные глаза у него светились попрежнему: «ндравный» был человек, «карахтерный».

— А ты бы, Листар, еще полштофчик выправил... — говорил бродяга, приглядывая пустую посудину к свету. — Вот и деньги...

— Н-ооо? И то выправлю... Поди, спит Беспалый-то, дьявол, да я у него из горла выну.

Дядя Листар полетел в кабак, как был — без шапки, на босу ногу и в одной рубахе. В избе несколько времени длилось тяжелое молчание.

— Узнала?.. — первым спросил Иван.

— Узнала, родимый, по голосу узнала и до смертушки устрашилась, а взглянуть на тебя охота. Ох! Страсть-то какая!.. Да и перед Листаром-то боялась

ошибиться, больно уж он на язык-то слаб... Не узнали тебя наши-то... деревенские?

— Нет, Беспалый маненько вклепался было, да потом отстал... Да и где узнать: мало ли нашего брата, лётных, в кабаке у него перебывает за лето!

— Узнàют, родимый, беспременно узнàют...

— Ну, и пусть узнàют: все мне едино... Убег, и все тут.

Феклиста продолжала смотреть на него пристальным, упорным взглядом и не замечала, как по ее загорелому лицу катились крупные слезы.

— Ну, перестань реветь, Феклиста... — сурово оговорил ее Иван. — Дело надо говорить... Не прогонишь меня-то?

— Чего мне тебя гнать-то, Иванушка: сам уйдешь... Не таковское твое дело, чтобы разживаться в деревне-то... Царица небесная, заступница, вот как довелось свидеться-то! То-то у меня все сердечушко истосковалось да исщемилось... бабы все тут болтали про лётных, а на меня тоска напала, страх, сама не своя стала. Вот и теперь... поговорить бы надо, а в голове-то все измешалось...

— Второй раз я убег с каторги-то...— говорил Иван, опустив голову. — В первый-то раз сменялся за пять целковых, ну, да бегать еще не умел — скоро пымали и опять в острог. Непомнящим сказался... Иван Несчастной Жизни. До осени проживу на острову, а там видно будет... Трое нас.

— Слышала, все слышала...

— Шел сюда, думал, спокой себе найду, а тут другое... Не глянутся мне мужики ваши, Феклиста, сейчас терпят, а чуть что — в шею... Пожалуй, незачем было бежать такую даль... Ну, а ты как тут живешь?..

— Ох, не спрашивай: плохое мое дело, руки не доходят, а помощники-то сами до чужого хлеба. Видел Соньку? Ну, Пимка старше будет года на два, а других ребятишек прихоронила. Ох, плохо, Иванушка, к кому это сиротство привяжется: сиротой выросла, сиротой и помру.

Вернувшийся из кабака Листар прервал этот разговор. Феклиста еще немного посидела в избе и собралась уходить.

— Засиделась я с вами, полуночниками, — проговорила Феклиста. — Ты, Листар, не гони лётного-то, пусть переночует в избе али в сарае, коли глянется...

— И то, Иван, заночуй у нас, ишь Феклиста-то как размякла для тебя... она ведь баба добрая, только ругаться больно люта.

— Ну, замолол!.. — остановила его Феклиста.

— Нет, я на остров уйду, — решил Иван. — Еще увидят мужики-то, болтать будут... Спасибо на добром слове, Феклистушка.

Дядя Листар был в самом веселом настроении, размахивал руками и постоянно подмигивал своим единственным глазом. Ивану было не до водки, и Листар за разговором пил стаканчик за стаканчиком, облизывался и, наконец, заявил, что он сам уйдет в лётные.

— Ей-богу, уйду, Иван!.. — кричал он и хохотал хриплым хохотом. — Что̀ мне, плевать на все... погуляю еще. У нас тоже был эк-ту один случай! И смеху только... Ха-ха!.. По осени как-то на трахту ловили бродяжек, ну, для порядку, значит. Ну, в одной деревне и пымали отставного солдата... Каков человек есть? Ну, обнакновенно: Иван Кругом Шашнадцать... А стали его обыскивать, у его солдатский пачпорт, правильный пачпорт. Оказия!.. «Зачем ты, служба, лётным сказался?» Тут уж он и повинился во всем: «Я, баит, вчистую вышел, пошел в свое место, ну, дорогой-то обносился! Да и пить-есть надо... А какие у солдата средствия! Помаялся-помаялся и придумал: скажусь лётным, потому лётному-то скорее подадут». Так и шел в свою сторону... Ха-ха! Вот оно как бывает, Иванушка... И я тоже бродяжить пойду, плевать!..

Феклиста слушала всю эту пьяную болтовню и не могла никак заснуть. Очень уж тяжело ей стало, даже слез не было, а так — давит всю, точно камнем.

«Убивец ведь он, Иван-то, а я его пожалела... — раздумывала Феклиста на тысячу ладов, и ей опять делалось страшно. — Мне и глядеть-то на него не следовало, а я пожалела... Владычица небесная, заступница, прости ты меня, окаянную!.. Измешалась я разумом...»

Дальше Феклисте представлялись лица Соньки и Пимки, которых Иван осиротил, и ей делалось совестно

перед собственными детьми, но вместе с тем накипало у нее на самом сердце мучительное чувство разраставшейся жалости к несчастному бродяге. Бог его наказал и люди тоже, а какая она ему судья? Второй раз из каторги убег, разве легко ему, а что он за человек: не к шубе рукав. Пришел поглядеть на свои места, а вот снег падет, и все лётные по острогам разбредутся, кто куда. Феклисте мерещилось это больное желтое лицо, темные упрямые глаза, и сквозь ворох беспорядочно шевелившихся в ней мыслей и чувств начинало просачиваться сознание того, что, ежели разобрать правильно, так она, Феклиста, виновата во всем. Ведь не выйди тогда она за Егора, жили бы братья как следует, а тут родители захотели на беду по-своему сделать. Не переступила Феклиста родительской воли, покорилась, да целую семью и извела. Великий, незамолимый бабий грех... Припомнились ей темные ночи, когда она выходила к Ивану в огород, целовалась и миловалась с ним, потом летние хороводы, зимние посиделки, нечаянные встречи на покосе, когда ночь казалась короткой, и вот чем все это кончилось.

Страшное отчаяние напало на Феклисту, и она была на волосок от сумасшествия. Всю ночь она продумала до зари, и чем дольше думала, тем тяжелее ей делалось.

VII

Ивану Несчастной Жизни было не легче Феклисты, хотя его горе было несколько другого характера.

Наученный горьким опытом неудачного побега, он в течение шести лет прошел целый подготовительный курс, как бежать, куда, какими дорогами. На каторге были настоящие профессора по части бродяжничества, которые выходили из заключения десятки раз. Иван терпеливо ждал своей очереди и, наконец, выждал удобного случая для бегства.

Мы уже говорили выше, с каким трудом и опасностями сопряжен путь через тайгу, горы, пустыни и сибирские реки, пока Иван добрался до своего места, добрался больной, разбитый, полуживой.

Но именно здесь, в своем месте, с Иваном случилось нечто такое страшное, что было ужаснее самой каторги и чего он не рассчитал раньше, как не рассчитывают этого все тысячи лётных. Он почувствовал это *страшное* в избе Феклисты, когда она ему сказала: «Сам уйдешь». В самом деле, куда и зачем шел Иван Несчастной Жизни? Вот и свое место — родные нивы, река, деревня, мужики, — и чтò же?.. На каторге Ивану было лучше, и он даже пожалел, что бежал. В каторге было, конечно, тяжело, но скитаться лётному с места на место было еще тяжелее, потому что он, Иван, не был ни разбойником, ни завзятым бродягой. Его тянуло на волю, на простор, как тянет всякое живое существо, и вместе с тем эта воля для него заключалась там, в своей деревне. Теперь деревенский мир являлся перед его глазами во всей своей трудовой обстановке, как он строился еще дедами и прадедами, — ничего не было здесь лишнего, каждый винт делал свое дело, а отдельный человек являлся только ничтожной частицей громадного живого целого и только в этом целом имел смысл и значение, как нитка в пряже или звено в цепи. Каждая крестьянская душа выстраивается по этому порядку и только благодаря этому порядку знает, чтò хорошо, чтò дурно: радуется, горюет, надеется, плачет, молится и — главное — чувствует себя на своем месте. А что же такое он теперь? Ивана давила не внешняя обстановка бродяжнической жизни, а сознание, что он лишний человек на белом свете, как выдернутый зуб или как отвалившийся от горы камень, и что у него даже настоящего горя не может быть, как у той же Феклисты.

— Ты что это, Иван, как будто не в себе? — спрашивал Иосиф Прекрасный. — Скушной такой...

— Нездоровится...

— Попользоваться можно... Старушка такая есть в Пятигорах; сказывают, в лучшем виде может хворь из человека выжить.

— Ну ее к черту!

— А то вон кузнец Мирон тоже мерекает малость, ежели человек с глазу мается или чем испорчен.

Иосиф Прекрасный и Перемет, кажется, чувствовали себя очень хорошо и совсем не торопились уходить с Татарского острова, ссылаясь на разные предлоги; они были счастливы именно тем, что впереди у них оставалась надежда дойти до своего места, и совсем не рассуждали о том, что их ждет в своем месте, как больные, которые живут изо дня в день. Перемет пристроился к кузнецу Мирону, у которого и работал в кузнице; Иосиф Прекрасный промышлял по-своему около тебеньковских мужиков, а больше сидел в кабаке у Беспалого.

Сначала лётные жили на счет тебеньковской милостыни, которую обыкновенно Иосиф Прекрасный раздобывал через сердобольных баб. Так прошло недели две, бабы привыкли к лётным, и милостыня пошла туже. Пришлось пустить в ход заветную машинку, хотя Иван прибегал к этому средству только в самых критических случаях. Производством двугривенных он занимался всегда секретно и не любил, чтобы за ним подглядывали. Заберется, как волк, куда-нибудь в чащу, разведет огонек в ямке и орудует. Да и фальшивых двугривенных он отпускал как раз столько, сколько было необходимо, что особенно возмущало Перемета.

— И чего вин ее берегет, тую машинку! — удивлялся хохол и ругал Ивана «пранцеватым кацапом».

Фальшивую монету сдавать в Тебеньковой было очень опасно: как раз узнают; поэтому с оловянными двугривенными отправлялся обыкновенно Иосиф Прекрасный куда-нибудь в окрестные деревни, где были кабаки побойчее. Предварительно эти двугривенные вымазывались дегтем или вылеживались в сыром месте, и только когда они принимали вид подержанной монеты, Иосиф Прекрасный пускал их в оборот, причем весь секрет заключался в том, чтобы как можно больше получить сдачи медными. Про эти операции как-то пронюхал Родька Беспалый и сейчас же предложил свои услуги: он брал оловянные двугривенные исполу с большим удовольствием.

— Что вы мне раньше-то, дьяволы полосатые, не сказали? — ругался Родька, пересыпая на руке фальшивую монету.

— Ишь ты, зелёна муха, какой гладкий; тоже всяко бывает с таким монетом: в другой раз и в шею накладут. А нам что за расчет с острову-то уходить...

— Да разве я стану их в Тебеньковой менять-то? Тоже и у нас не две головы...

— Ну, ну, зелёна муха, смалкивай...

— То-то, смалкивай... Ведь это фарт! [1]

Как политичный человек, Родька Беспалый совсем не полюбопытствовал, откуда у лётных оловянные двугривенные. Впрочем, кто же скажет на свою голову, да и Родьке это был «один черт»...

Точно так же обойден был и другой щекотливый вопрос, о котором говорил Кондрат: ни Перемет, ни Иосиф Прекрасный даже близко не подходили к деревенским бабам и девкам, но зато по ночам на Татарском острове появлялись то Улита, то кривая Фимушка. Деревенские парни, конечно, знали об этом, но не подавали никакого вида, что подозревают что-нибудь, потому что кому охота вязаться за таких пропащих бабенок и срамить себя. Иван обыкновенно уходил куда-нибудь, когда на острове появлялись эти приятельницы лётных.

С Феклистой Иван виделся довольно часто, хотя старался бывать у нее так, чтобы не особенно бросалось в глаза посторонним. Обыкновенно он отправлялся из кабака вместе с Листаром. Придет в избу к Феклисте, сядет куда-нибудь на лавочку и молчит, как пень. О прошлом не было сказано ими ни одного слова, точно это прошлое вовсе не существовало. Только иногда Иван замечал, что Феклиста со стороны следит за ним таким жалостливым взглядом и точно немножко опасается его. Когда Феклисты не было дома, лётный любил заниматься с ребятами, особенно с белоголовой Сонькой, которая напоминала ему его собственное детство, когда Феклиста была такой же маленькой девчуркой и бегала по улице с голыми ногами, в такой же выбойчатой рубашонке.

---

[1] Фарт — прибыль, фартит — везет. *(Прим. Д. Н. Мамина-Сибиряка.)*

— Дяденька, тебя почто лётным зовут? — спрашивала иногда Сонька, забавно вытараща свои светлые глазенки.

— А хорошо летаю, Сонька, вот и стал лётный... — отшучивался Иван.

— А кусочки ты берешь, которы мамка на полочку к окну кладет?

— Нет... другие берут.

Иногда Сонька своими детскими вопросами заставляла бродягу краснеть — ей все нужно было знать. Пимка, наоборот, держался с Иваном настоящим волчонком и все хмурился; в нем уже проявлялась скрытая мужицкая хитрость даже тогда, когда он смеялся своим детским смехом. Иван понимал, что сойтись ему ближе с Пимкой было невозможно: в этом мальчике, как в капле воды, отражалось то органическое недоверие к лётному, каким была пропитана вся деревня, несмотря на видимую доброту и снисходительность. Этот маленький мужик в незаметных мелочах умел показать свое мужицкое превосходство над бездомным бродягой и давил его своими детскими ручонками. Между Иваном и Пимкой завязалась глухая, молчаливая борьба, совсем незаметная для постороннего глаза. Мальчик умел во-время обидно промолчать, иногда сосредоточенно ухмылялся про себя, а при случае отвешивал крупную мужицкую грубость.

Раз, например, Пимка накладывал в телегу навоз, что было еще совсем не под силу его детским рукам; Иван взялся за лопату и хотел ему помочь.

— Не трожь!.. — закричал Пимка и весь покраснел от охватившей его злости.

— Тебе же хотел помочь... как знаешь.

— Знаем мы вашего брата, помочников!.. Тоже выискался!

— Да ты что, Пимка, в сам-то деле зря лаешься?

— Уйди от греха... об тебе давно сибирские-то остроги плачут. Кольем вас надо попужать, варнаков. Хлеб чужой только задарма едите. Я вот и Листара в три шеи выгоню... Ишь, нашел себе дружков, одноглазый дьявол.

Феклиста, понятно, не могла не видеть такого поведения Пимки, и к ее сердцу подступала самая глухая тоска. Указать сыну она в этом деле не могла, как не могла объяснить ему все начистоту. Кривой Листар пробовал по-своему уговаривать Пимку, но из этого ничего не вышло, — Пимка так «расстервенился», что бросился на старика с палкой и даже ударил его.

— Осатанел, постреленок... — добродушно смеялся Листар, почесывая спину в том месте, по которой ударил Пимка. — Ишь ведь какое собачье мясо уродилось!.. И что это помешал ему Иван?.. Оказия, ребята, да и только... Глазенки-то так и горят, вот поди ты с ним.

Одним словом, с появлением Ивана в Феклистиной избе началось то «неладное», что отравляло жизнь всем.

— Боюсь я этого Пимки, рождения своего боюсь... — стыдливым шепотом говорила Феклиста Ивану. — Ведь все я слышу, как он фукает на тебя... надо бы закликнуть, выдрать, а я не могу. Сама же и боюсь его, а велико ли место еще и весь-то парнишко... И что это он привязался к тебе, Иванушко?.. Так я думаю: чует сердчишко у Пимки отцовскую-то кровь... вот он и встает на дыбы перед тобой. Сонька-то вон совсем еще несмысленая, а тоже как глядит глазенками-то на тебя... да и на меня глядит. В другой раз даже совестно станет.

— Уйду я, Феклиста, от греха... — говорил Иван, опустя голову. — Может, тебе легче будет... Не могу я... тошно мне.

Разговор происходил ночью, в огороде. Небо было точно подернуто легкой синеватой дымкой, звезды искрились, с реки тянуло сыростью. Феклиста стояла, прислонившись к пряслу спиной; Иван сидел на траве. При колебавшемся месячном свете он мог отлично видеть это загоревшее грубое женское лицо, которое вдруг точно дрогнуло. Феклиста глухо рыдала. Она слишком долго крепилась, и теперь ее разом прорвало.

— Перестань, Феклиста, ну тебя... — заговорил Иван, чувствуя, как у него слезы подступают к горлу

и душат его. — Уйду, и все тут... Свет-то не клином сошелся.

— Иванушка, голубчик, куда ты уйдешь-то?

— В скиты к кержакам уйду... а то поверну обратно в Сибирь, там богатые челдоны любят держать беглых, ежели у кого рукомесло... Не пропаду, не бойсь.

— Сказывают, на золотых промыслах в орде[1] много лётных-то укрывается.

— Нет, на промысла не рука нашему брату... В тайге этого добра много: битва, а не житье. У кержаков в скитах лучше будет.

— Иванушка, не гоню я тебя... ох, тошнехонько!.. И что я за несчастная такая уродилась... Мне и жалеть-то грешно тебя, а я еще стою вот с тобою здесь!.. Моченьки моей не стало... А как подумаю, что ты, Иванушка, убивец, да еще какой убивец-то — страшно слово вымолвить! Теперь вот перед своими детишками казнюсь я денно и нощно!

— Все одно: в Тебеньковой мне не жить, Феклиста. Обидно на других-то глядеть. Пока мужики не трогают, а все в виноватых состоишь. Уж лучше в чужом месте маячить...

— До осени-то хоть оставайся...

— До первого снега проживу на острову.

Долго Феклиста плакала и не стыдилась своих слез.

VIII

Наступила страда. Травы уродились хорошие, погода стояла ведреная, и всякая рабочая рука ценилась на вес золота. Лётные с острова перебрались на покосы, и теперь везде их принимали, как дорогих гостей. Перемет работал на покосе у своего благоприятеля, кузнеца Мирона, Иосиф Прекрасный переходил от Родьки Беспалого к брательникам Гущиным, от Гущиных к Кондрату, от Кондрата к писарю Калинычу. Де-

---

[1] Ордой в Зауралье называют башкирские земли и земли Оренбургского казачьего войска. *(Прим. Д. Н. Мамина-Сибиряка.)*

ревни стояли пустыми, а зато на всех покосах, по низинам и поймам, широкой волной катился настоящий праздник — с утра до вечера сверкали косы; ровными рядами покорно ложилась высокая, душистая трава; от свежего сена далеко несло ароматной струей, точно самая земля курилась благовониями. Народ трудился по берегам Исети, на заливных лугах, по мочежинам, в ложках. По ночам, как светляки в траве, мигали веселые огоньки; около них собирались семьи, тут же бродили спутанные лошади, стояли телеги с поднятыми оглоблями, и весело катилась от одного покоса к другому проголосная песня.

— Ну-ка, Иванушка, поробим, благословясь, — весело говорил дядя Листар, принимаясь за косу. — Ноне господь уродил не траву, а шелк.

В страду даже Листар «трекался» от водки и работал, как медведь, за исключением «помочей», когда он исправно напивался до полного бесчувствия. Иван Несчастной Жизни работал с Листаром на покосе Феклисты. Место было отличное, на самом берегу Исети; расчистил его еще старик Корнев. Широкий луг, копен на восемьдесят, одним краем упирался в реку, где под прикрытием развесистой вербы был устроен балаган. Рядом шел покос старика Гаврилы, который вышел в поле сам-пят: сам да четыре сына. Семья была на подбор, и весело было смотреть, как Гаврилычи поворачивали тяжелую страдную работу. В крестьянской страде таится великая трудовая поэзия, которая охватывает даже самых ленивых. Бродяги давно отвыкли от нее, но и их захватил общий поток, и в каждом заговорила мужицкая кровь. Особенно рад был Иван, взявшись за косу со слезами на глазах. С него точно спала какая шелуха. Он теперь был такой же мужик, как и все другие, — страдная работа всех сравняла, как траву под косой. Первые дни Иван заметно отставал от Листара, а потом начал работать наравне с ним и даже перегнал его. Сам старик Гаврило похвалил бродягу за чистую работу, а такая похвала дорого стоила — нужно быть артистом страдной работы, чтобы понимать все ее тонкости.

— Где это ты наловчился... а?..— спрашивал старик Гаврило, внимательно поглядывая на бродягу.— В остроге-то у вас трава не растет... Чистенько робишь, хошь кому впору. Загонял совсем Листара-то.

— Тебя бы, дедка, столько-то колотили, как меня, так ты и косу-то позабыл бы, как в руках держать,— оправдывался Листар.— Места ведь живого во мне нет...

— За дело колотили — не балуй.

Феклиста была тоже весела и работала наравне с мужиками; Иван часто любовался, как она шла по полосе рядом с ним — дерево-деревом, а не баба. Настоящая работница, не чета другим бабенкам, которые поленивались-таки из-за мужей. Пимка не мог косить, а больше управлялся около лошади, помогал ворошить подсыхавшую траву и с нетерпением ждал, когда поспеет гребь. Возить копны на старом гнедке было для него настоящим торжеством. Он теперь не косился больше на Ивана — очень уж хорошо работал бродяга, недаром похвалил дедко Гаврило. Маленькая Сонька тоже льнула к Ивану и часто засыпала где-нибудь в траве около него. Вообще на Феклистином покосе царил тоже праздник, как и на других, хотя она сама не верила своему счастию и ждала какой-то беды, как все много выстрадавшие люди.

И беда была не за горами. Половина покоса была убрана, оставалась вторая. Феклиста стала замечать, что дядя Листар как будто что-то держит у себя на уме. Старик перестал работать попрежнему, несколько раз добывал себе где-то водку и видимо переменился к Ивану. Раза два он приходил на покос совсем пьяный и пролежал в кустах целый день.

— Ты никак, Листар, рехнулся умом-то? — заметила ему Феклиста.

— Смалкивай... У Листара побольше твоего ума-то, — огрызнулся старик, а потом засмеялся. — Что выпучила на меня бельмы-то?.. Нет, брат, Листара не проведешь... не объедешь на кривой кобыле... Рехнулся... Да у меня ума-то на всю деревню хватит, да еще останется. Вот он какой, Листар-от.

Феклиста поругалась, махнула рукой и отступилась: кривой черт, видимо, сбесился. Да теперь с Иваном и без него можно управиться. Оставалось подкосить копен на десять да убрать старую кошенину, которая сохла четвертый день.

— Как это я раньше-то не договорился... а? — бормотал про себя Листар, посасывая трубочку. — Свалял дурака... Ловкие тоже эти лётные!.. Видно, хлебцем вместе, а табачком врозь... Право, псы! Хоронятся от Листара, а его не проведешь... Теперь прямо сказать: откудова у них деньги? Ну-ка, скажи! Нет, брат, тут фарт! Ишь, богачи завелись... Должно быть, у кого-нибудь машинка, а у другого не у кого быть, как у Ивана... уж это верно. Сам лётным был, тоже понимаю... Право, варнаки после этого... Нет, чтобы с кривым Листаром поделиться. «На, старичина, получай свою плепорцию...» Вот он какой, дядя-то Листар!.. А Феклиста — дурища, и больше ничего.

Подвернулась помочь у писаря Калиныча. Все лётные работали у него два дня и ничем не выделялись от других тебеньковских мужиков. Дядя Листар, конечно, напился, как стелька, и явился на покос Феклисты в лучшем виде, напевая какую-то мудреную песню:

Девки в лес по хворост,
Я за ними пополоз...

— Эк налакался, кривой пес... — ворчала Феклиста. — Обрадел чужому-то вину, бесстыжие шары!..

Иван хотя был на помочи, но вернулся не пьяный и отдыхал в балагане.

— Иван, а Иван, — приставал к нему Листар. — Нехорошо, брат... Ох, как нехорошо... Я говорю: омманывать Листара не хорошо...

— Да кто тебя обманывает?..

— А лётные надувают дядю Листара... Н-нет, брат, не на таковского напали! Напрямки надо говорить-то, Иван... да. Первое дело: есть у тебя машинка?

— Ну, есть, а тебе какая забота?

— Мотри, Иван, ты не того... — бормотал Листар заплетавшимся языком и закончил очень решительно: — Давай на полштофа...

— Не дам.

— А... так ты вот как? Ну, ладно, пусть будет ин по-твоему. Так не дашь?

— Отвяжись, смола!..

— Так... ладно... Ну, смотри, Иван, не покайся.

— Не твоя забота...

Не спалось эту ночь бродяге Ивану. Он не боялся кривого Листара, а вместе с тем чувствовал, что вот один этакий дрянной мужичонко может испортить ему все... Душистая летняя ночь была хороша; любовно глядели с синего неба частые звезды, где-то в прибрежной осоке скрипел коростель, наносило дымком, который мешался с ночною сыростью и запахом свежего сена. Давно смолкли песни, и над бесконечной равниной тихо веял трудовой сон. Когда-то Иван тоже певал здесь и с замиравшим сердцем вслушивался, не отдастся ли на его голос звонкая девичья песня. Вот в этих вербах миловались они с Феклистой, пока старики спали мертвым сном, а Исеть была закутана белым туманом. Ничего не осталось, все пошло прахом, и только на душе, как смола, накипало одинокое, тяжелое горе.

«Хоть бы умереть...» — думал бродяга, прислушиваясь к храпенью пьяного Листара, который забрался в балаган к ребятишкам.

— Ты не спишь, Иван? — окликнул бродягу в темноте голос Феклисты.

— Нет... не спится.

Они подсели к огню, который совсем потухал. Из пепла только изредка с шипением поднималась струйка синего дыма.

— Слышала я даве, как этот змей приставал к тебе... — заговорила Феклиста, подпирая щеку рукой. — Не отстанет он, не таковский.

— Знаю, что не отстанет... Только, вишь, дать-то ему, дьяволу, нельзя: дай раз, а там не развяжешься с ним...

— Нельзя ему давать — одолеет. Уродился же этакий человек!

Они долго молчали. Иван поправил огонь. В воздухе метнулась ночная птица и неслышно пропала, как тень.

Феклиста несколько раз оглянулась, придвинулась ближе к Ивану и прошептала:

— Иванушка, голубчик, все мне представляется тот... помнишь лётного-то Антона, которого дедушка Корень пристрелил? Ну, он мне все и мерещится... Ох, не к добру это! Третьего дня только стала я засыпать, а Антон-то и идет ко мне. Будто как от Гаврилы с покосу и прямо к нам. «Узнала?» — говорит, а сам мне репку показывает. У меня со страхов и язык отнялся, словечка вымолвить не могу. Ну, он поглядел и засмеялся таково нехорошо. «Попомни, говорит, дедушкину-то репку». Проснулась я, никого нет, а меня всю так и трясет, боюсь дохнуть.

— Плохо... — согласился Иван, — не к добру; уходить надо, Феклиста.

Феклиста опять заплакала, закрыв лицо руками. Живут же другие люди, отчего же ей нет счастья на белом свете? Хоть сейчас бы умерла, ежели бы не ребятишки... Жаль тоже, больно мало место, да и куда они денутся сиротским делом? Увлекшись своим горем, Феклиста даже возроптала, но Иван остановил ее.

— Не нашего ума это дело... — проговорил он. — Кому что на роду написано, тому так и быть.

История с лётным Антоном принадлежала к одному из самых необъяснимых проявлений специально деревенской жестокости, бессмысленной и зверской, как всякое стихийное зло. Дедко Корнев был сгорбленный и худой старик со ввалившимися глубокими глазами и лысой головой; Иван и Феклиста знали его уже дряхлым, выжившим из ума стариком, который впал в детство. По зимам старик не сходил с печи, а летом выползал непременно куда-нибудь на солнышко и здесь по целым дням грел свои старые кости. Деревенская детвора, как стая воробьев, обсыпала полоумного старика и вечно просила его рассказать, как он убил лётного Антона «за репку».

— Репку он у меня воровал из огорода-то, этот Антон самый... — хрипло шамкал Корнев своим беззубым ртом. — Я садил репку-то, а лётный ее учал

воровать. Я зарядил турку[1] жеребьем и караулил его по три ночи сряду; ну, и укараулил: как пальну из турки-то, лётный и покатился горошком, а репку мою в руке держит.

Старый дедка смеялся хриплым смехом и долго мотал своей лысой головой.

— Разе тебе не жаль было его, лётного-то? — спрашивал кто-нибудь из ребятишек. — Не больно дорога репка-то...

— Да ведь она моя была? После-то жаль было, когда он приполз ко мне же на двор... Кровища из него так и хлещет, потому я угодил ему жеребьем-то прямо под сердце в болонь... До вечера маялся, сердяга... На подмостки его во дворе положили, ну, он тут и докончился! Вся деревня сбежалась во двор-то: бабенки ревут, мужики меня ругают, а моей тут причины никакой не было. Ну, как стал Антон отходить совсем, народ-то бросился прощаться с ним — все в ноги кланяются и в один голос: «Прости, миленький». Ну, и я подошел к нему; узнал он меня и вымолвил: «Будешь меня помнить, старик... напрасную кровь пролил». Так мы его и похоронили в леску; ямку вырыли, да в ямку и положили, а сами молчим, потому что по судам будут таскать. Попу после покаялся за Антона-то...

IX

Благодаря ведру тебеньковцы скоро убрались с сеном, а жнивье еще не поспело, так что можно было немножко передохнуть, особенно по праздникам. Перемет и Иосиф Прекрасный обыкновенно исчезали в эти дни и пропадали где-нибудь по укромным местам, в обществе гулящих бабенок — солдатка Степанида путалась с Переметом, а Иосиф Прекрасный попеременно дарил своим вниманием то кривую вдову Фимушку, то заблудящую Улиту. Раз пьяные тебеньковские парни для потехи устроили на них целую облаву и для потехи

---

[1] Турками называются большекалиберные винтовки, а жеребьем — медвежьи пули. *(Прим. Д. Н. Мамина-Сибиряка.)*

же порядком намяли бока всем; особенно досталось упрямому хохлу Перемету, который вздумал защищать свою Степаньку.

— Здорово взбодрили... — отзывался после этой шутки Иосиф Прекрасный, щупая избитые бока. — Ишь, дьявола, тоже расшутились!..

Перемет пролежал без движения на острове дня три, а потом вышел на работу как ни в чем не бывало, и его опять видели в обществе шатуньи Степаньки.

В этих тайных удовольствиях не принимал участия один Иван. Он по праздникам оставался обыкновенно на острове и по целым дням раздумывал свою бесконечную бродяжническую думу. Да и было о чем подумать: осень стояла не за горами. К Феклисте Иван заходил теперь редко. Он не то что боялся Листрата, который продолжал дуться на него, — это само собой, но была и другая причина. В последнее время Иван стал замечать, что Феклиста начала как будто припадать к нему: то расплачется ни с того ни с сего, то сунет ему какую-нибудь деревенскую постряпеньку, взглянет таково нехорошо. Иван испугался, испугался за самого себя, что не выдержит и приголубит Феклисту, и в его душе тихо поднималось старое наболевшее чувство. С другой стороны, предательское желание отдохнуть, согреться, услышать теплое слово неудержимо влекло его вперед, как сладкий сон замерзающего в снегу. Нужно было иметь железную силу воли, чтобы не поддаться этому искушению и стряхнуть с себя находившую дурь. Чтобы отогнать от себя эти мысли, Иван обыкновенно думал о Пимке и Соньке; дети являлись пред ним защитниками пошатнувшейся матери и вызывали тень убитого отца.

Раз, после Ильина дня, Иван, по обыкновению, остался на Татарском острове один и лежал с утра в своем балагане, как волк в логове. Накануне пал небольшой дождь, и день выдался такой светлый, теплый, какие подвертываются только на исходе короткого уральского лета, когда летнее солнце точно прощается с землей. Со всех сторон тянуло праздничными звуками: бойко катились по проселку телеги с загулявшими мужиками и бабами; с веселым говором и

дружной песней возвращались с работы помочане; на лугу, у самой деревни, развернулся пестрый девичий хоровод, а там дальше гудело и шевелилось все село, точно растревоженный пчелиный улей. По Исети непрерывной волной катился несмолкаемый праздничный гам, но это трудовое мужицкое веселье ложилось лишним камнем на душу одинокого бродяги: работа равняла его с другими мужиками, а веселье рознило.

Весь день и весь вечер Иван невольно прислушивался к праздничным звукам, а потом заснул тяжелым сном больного человека. Ему мерещились и пьяный Листар, и Феклиста, и бегство с каторги, и убитый брат Егор, и лётный Антон с дедушкиной репкой. Ночью его кто-то разбудил.

— Эй, Иван, вставай, зелёна муха... — тащил его за плечо едва стоявший на ногах Иосиф Прекрасный. — Гостинца я тебе приспособил...

— Какого гостинца? Отвяжись...

Слабый стон где-то в кустах заставил Ивана вскочить, а пьяный Иосиф Прекрасный только показал ему в тальник и бессильно сел на траву.

— Там... зелёна муха... — бормотал он, покачиваясь всем своим длинным туловищем. — Ну, и штука только, зелёна муха...

— Да кто там? Говори толком...

— А она... Дунька... бродяжка. Ну, и зелёна муха...

Не добившись толку от пьяного бродяги, Иван отправился прямо в кусты, где чуть не наступил на какую-то бабу, которая ползала и корчилась на земле, как раздавленный червяк. В первое мгновение бродяга испугался и даже попятился — он не ожидал именно того, свидетелем чего пришлось сделаться так неожиданно. Потом ему вдруг сделалось как-то совестно, и он хотел вернуться, но Дунька опять застонала, жалобно цепляясь одной рукой за что-то невидимое в воздухе. Иван только теперь, при колеблющемся месячном освещении, рассмотрел смертельно бледное молодое женское лицо, точно вспыхивавшее неровными пятнами горячего румянца; узкий белый лоб закрыт спутавшимися волосами, а небольшие серые глаза остановились на нем в смертельной истоме...

— Батюшки... батюшки... ой, батюшки... — захлебываясь, стонала Дунька и ползала по траве на одних руках.

Иван все понял и опрометью бросился в балаган, откуда вернулся со своей сермяжкой. Дунька присмирела и лежала под кустом с закрытыми глазами, а около нее, прямо на траве, копошился и вспискивал, как мышь, только что родившийся ребенок. Бродяга перекрестился и бережно прикрыл Дуньку своей сермяжкой. Из кустов в этот момент показалось хихикавшее птичье лицо Иосифа Прекрасного.

— Уйди... убью! — закричал Иван и даже бросился на товарища, но тот уже был далеко.

Через полчаса Дунька уже лежала в балагане на Ивановом месте, прижимая к своей груди слабо кряхтевшего ребенка. Иван то входил в балаган, то выходил и, видимо, не знал, что ему делать.

— Бабушку-то позвать, что ли? — сурово спросил он, не глядя на больную.

— Нет... не надо... так управлюсь... — шепотом ответила Дунька, не имея сил открыть глаза. — Ох, смертонька моя приходила... испить бы...

Иван принес воды в деревянной ведерке и поставил ее к изголовью Дуньки, которую вместе с ребенком прикрыл полушубком Перемета; потом он развел огонь около входа в балаган, чтобы хоть часть тепла попадала на больную. Ночь была не холодная, но на Дуньке, кроме ситцевого сарафанишка, ничего не было. В дырявый платок, который был у нее на голове, она завернула своего ребенка. Бродяга просидел у огонька целую ночь, не смыкая глаз. В нем самом происходило что-то такое необыкновенное, чего он еще никогда не испытывал, — ему и жутко было, и как-то легко, и что-то такое хорошее теплилось у бездомного бродяги на самом дне его души, именно то светлое человеческое чувство, которого не в состоянии вытравить никакая каторга. Вот здесь, почти у него на глазах, родился новый человек, и бродяга смутно сознавал все величие свершившегося акта природы: новая жизнь теплилась в балагане, как блуждающий огонек... Небо точно выше поднялось над грешной землей, тонувшей во мраке

бродивших по ней ночных теней, и частые звездочки глядели с него так приветливо и чисто, как детские глазки. «Это ангелы божии... святые душеньки,— думал бродяга, глядя на звезды, и торопливо творил какую-то молитву. — У кажного человека, сказывают, своя звезда обозначена... и у Дунькина ребенка тоже хошь маленькая звездочка, да есть,— ведь тоже живая душа». А Дунька, эта женщина, полная греха, крепко прижимала к своей груди новое маленькое существо и с каким-то страхом ощущала теплоту маленького тельца, точно у нее на груди шевелился целый необъятный мир.

Рано утром, когда Исеть была еще закутана густым белым туманом, явился протрезвившийся за ночь Иосиф Прекрасный. Он не решался подойти к Ивану прямо, а только показал издали жестяной чайник и глиняную чайную чашку. Ему было совестно за свое вчерашнее глупое поведение, да он и побаивался Ивана, который шутить не любил.

— Ну, давай сюда чайник-то, да смотри у меня... — пригрозил Иван.

— И чаю раздобылся и комышек сахару, во... Дунька насчет чаю большая охотница, уж я знаю. Сластена она, зелéна муха.

— Да где ты ее добыл вечор-то?..

— Где?.. А я в Пятигорах был с Улитой, ну, она осталась, а я домой пошел. Бреду это пьяный-то, а Дунька, как зайчиха, под кустом мается — разродиться, значит, не может. Ну, я ее тогда пожалел да на остров и приволок. На себе тащил через реку-то... тоже живой человек, не помирать же под кустом-то. Померла бы беспременно, кабы не я. А только и Дунька эта самая, вот придумала штуку.

Иосиф Прекрасный никак не мог удержаться от душившего его смеха и только закрывал свое птичье лицо локтем.

— Чему ты смеешься-то, дурак? — озлился на него Иван.

— А то как же? По всем этапам эта самая Дунька известна, до самого Омскова: и рестанты, и солдаты, и лётные — все ее очень хорошо знают. Сволочь она, эта Дунька самая, а тут дите.

— Дите не виновато.

— Знамо, не виновато... А я про Дуньку... Сказывали, зиму-сь в Камышлове болталась, ну, там, значит, и приспособила себе это самое дите... И я и Перемет знавали ее еще в остроге... как же! Она за отраву в каторгу ушла... мужа, значит, сулемой стравила. А теперь в бегах который год шляется. Спроси хошь кого про Дуньку Непомнящую, всяк скажет. Ну и Дунька, выкинула колено, зелёна муха! Я Перемету сказывал — ругается, и меня ругает, зачем я Дуньку пожалел...

— Дураки вы оба с Переметом-то!

— Может, и дураки... Я ведь так молвил.

Измученная родами, Дунька проспала в балагане целый день, а с ребенком попеременно возились то Иван, то Иосиф Прекрасный. Последний сбегал в деревню за молоком и за соской, но ребенок плакал и не хотел брать соски. Бродяги ругались и грели плаксу перед огнем.

— Прокоптим его хорошенько, так дольше проживет... — добродушно смеялся Иосиф Прекрасный.

К вечеру Дунька проснулась, но долго притворялась, что спит: ей было совестно возившихся с ее ребенком бродяг. Только когда стемнело, она подала голос и приняла ребенка. Целуя его, бродяжка тихо плакала.

— Меня-то узнала, Дунька, а? — спрашивал Иосиф Прекрасный, просовывая голову в балаган.

— Убирайся к черту, лешак...

— Славного ты мальчонку приспособила, зелёна муха. А чаю хошь?

Дунька больше не откликалась. Она лежала, повернувшись лицом к стене балагана, и не смела пошевéлиться, чтобы не растревожить ребенка, жадно припавшего к материнской груди.

Появление Дуньки как-то вдруг оживило Ивана, и он точно позабыл про свое собственное горе. Да если разобрать, какое его горе было по сравнению вот с этой самой Дунькой, которую всякий обижал, а потом над нею же ругался? В остроге, по этапам, в бегах Дунька везде оставалась Дунькой — самой последней тварью, которая бродила, сама не зная куда, как бездомная собака, чтобы получать новые пинки, ругань и

всяческое поношение. Положение лётного мужика в тысячу раз легче, и Иван теперь стыдился за собственное малодушие. Кроме того, у него явилась смутная цель, неясная и сбивчивая, но все-таки цель: он, бродяга Иван Несчастной Жизни, нужен вот той же Дуньке, которая пропала бы без него, как подстреленная птица. Кто бы стал за ней ходить? Лежала бы где-нибудь в яме и сгнила бы заживо. Ивану доставляло удовольствие ухаживать за больной Дунькой — кипятить чайник с водой, прикрывать ее по ночам полушубком, подкладывать огня к самому балагану, придумывать новую еду.

Через три дня Дунька настолько оправилась, что могла выйти из балагана, и посидела у огонька с полчаса. Она была совсем не такая, какою показалась Ивану ночью, — курносая, с веснушками, темноглазая и еще очень молодая. Загорелое лицо Дуньки точно просветлело от перенесенной муки, глаза смотрели чистым взглядом, и только запекшиеся губы придавали лицу болезненное выражение. Она, видимо, стеснялась и все повторяла:

— Не заживусь я у вас тут: только поправлюсь малость и уйду.

— Да куда ты уйдешь-то, глупая?

— Надо... нельзя мне. Я не одна... Бродяжка тут есть, «Носи-не-потеряй» прозывается, так я с ним. Он теперь в Камышловом содержится: от него дите-то.

При последних словах Дунька вся застыдилась, точно боялась, что Иван ей не поверит относительно происхождения ребенка: у этого новорожденного бродяги был отец, и Дунька гордилась, что могла назвать его, — это было самое большое счастье в ее собачьей жизни.

X

Неожиданное появление Дуньки на Татарском острове произвело в Тебеньковой настоящее волнение, особенно среди тебеньковских баб, которые совсем «решились ума», как говорил Родька Беспалый. В обсуждении этого важного вопроса приняли горячее участие

решительно все, начиная с солидной Степаниды Обросимовны и кончая Фимушкой. Всякая разница между настоящими бабами и «путаными бабенками» на время совершенно исчезла: снохи старого Гаврилы, жены брательников Гущиных, Аксинья кузнечиха, поповская стряпка Егоровна не только якшались с писарской «Лысанкой», но и с Фимушкой, с заблудящей Улитой и даже с солдаткой Степанькой.

— Статочное ли это дело, чтобы бабы бродяжили, — с негодованием говорила Аксинья кузнечиха. — Ежели мужики бегают из острогов, так это еще не указ бабам: одна мужичья часть, другая — бабья...

— Где уж с мужиками тягаться: первое дело — забрюхатит, — прибавила жена Сысоя, испитая, лядащая бабенка.

— Теперь куда с дитем-то повернется эта самая отчаянная Дунька?

— А вот поправится после сносей, так наших мужиков станет сманивать к себе на остров.

— Уж это как есть. Разорвать ее, стерву, мало. Листар сказывал, что Дунька-то свово мужа сулемой стравила... ужо наших мужиков чем бы не напоила тоже, — ведь у мужиков-то немного ума.

Дядя Листар принимал самое живое участие в общей бабьей суете и по возможности старался растравить баб, чтобы хоть этим путем насолить Ивану за его машинку. Через Иосифа Прекрасного дядя Листар знал все подробности появления Дуньки на Татарском острове и то, как отнесся к ней Иван. Все было на руку хитрому Листару, и он втихомолку поджигал взбеленившихся баб.

— Погодите, выправится Дунька-то, так она всех ваших мужиков перепортит, — предупреждал он особенно податливых бабенок. — Подсунет какого приворотного зелья, тут и шабаш... всю деревню стравит.

Этот бунт тебеньковских баб против Дуньки Непомнящей являлся одною из тех необъяснимых житейских несообразностей, которые так заразительно действуют на массы. Отсутствие логики и самых обыденных человеческих чувств служит только к развитию

тех мелких глупостей и нелепостей, которые выплывают, как сор, на поверхность вскрывшейся текучей воды. Всего естественнее было ожидать, что именно бабы пожалеют Дуньку, тем более что она находилась в таком исключительном бабьем положении, но выходило как раз наоборот. Те самые бабы, которые каждый вечер клали лётным кусочки, теперь готовы были разорвать Дуньку в клочья. Женщины бродяги — большая редкость, и это одно могло служить некоторым объяснением к вспыхнувшему недоразумению, а тут Дунька поселилась вдруг под самым носом и всем мозолила глаза своим присутствием. Самые обстоятельные деревенские мужики чувствовали себя как-то неловко и даже заметно конфузились, когда заходил разговор о Дуньке. Большинство старалось не обращать внимания на ополоумевших баб, и только самые решительные из мужиков осмеливались заметить: «Будет вам, бабы, языки-то чесать... право, сороки вы короткохвостые!» Но такие замечания только подливали масла в огонь, и бабы готовы были выцарапать глаза каждому, кто скажет слово за ненавистную Дуньку.

А виновница этого переполоха продолжала лежать в балагане у лётных пласт-пластом. Сначала ей как будто полегчало, а потом наступила страшная слабость, — ныла и болела каждая косточка, и Дунька на все расспросы о болезни отвечала только одно: «Вся не могу». Да и к себе она относилась как-то совсем равнодушно, сосредоточив все помыслы и желания на своем ребенке.

Так прошла незаметно целая неделя. Иван попрежнему ухаживал за больной, хотя чувствовал, что кругом творится что-то неладное. Перемет совсем не показывался на острове, Иосиф Прекрасный тоже начинал, видимо, сторониться, являлся на остров только затем, чтобы передать, что говорят про Дуньку в деревне. Ивана злило это, и, улучив минутку, когда Дунька могла остаться одна, он отправился в деревню, чтобы повидать Феклисту. Жнивье уже поспело, и весь народ был в поле. Иван дождался Феклисты, и первое, что поразило его, было то, что Феклиста сильно смутилась перед ним и даже покраснела.

— Ну, как поправляешься?.. — спросил Иван, стараясь не глядеть на нее.

— Да ничего... по малости управляемся. Сено все поставили, теперь за жнивье принялись.

— Я ужо как-нибудь на неделе приду помогать.

Феклиста совсем смешалась и, запинаясь, проговорила:

— Нет, Иванушка, уж лучше ты не ходи...

Этим было все сказано. Феклиста была против Дуньки, а Иван не хотел ей объяснять, почему и как попала Дунька к ним на остров, потому что это было бы бесполезно. «Это другие бабы настроили Феклисту...» — думал бродяга, выходя из Феклистиной избы. На дворе он встретился с Пимкой, который запрягал лошадь в телегу.

— Здорово, малец... — проговорил Иван и хотел потрепать мальчика по голове, как иногда делал.

— Не трожь!.. — закричал Пимка, и глаза его засверкали, как у настоящего волчонка. — Ты вот Дуньку-то свою гладь по голове... Погоди ужо, наши мужики доберутся и покажут тебе Дуньку.

— Сильно грозятся?..

— Башку, бают, отвернем...

Иван понимал, что Пимка говорит с чужого голоса и что его, очевидно, научил кривой Листар, но все-таки бродяге сделалось ужасно обидно. Что в самом деле сделала Дунька им всем? И Феклиста заодно с другими бабами... Куда же ее, хворую, деть, не в Исеть же спустить, да и дите тут примешалось. Дело было под вечер, и Иван зашел в кабак к Беспалому.

— Давай полштоф... — заявил он, не здороваясь.

— Что больно угорел? — засмеялся Родька.

— И то угорел...

В кабаке было пусто, только на лавке спал пьяный старик нищий, да на крылечке сидели двое обратных ямщиков. Иван без передышки выпил два стаканчика и сразу захмелел — давно он не пил водки настоящим образом. Родька делал вид, что будто переставляет у себя за стойкой какую-то посудину, а сам все время не спускал глаз с бродяги.

— Иван, а Иван... — окликнул Родька вполголоса.

— Ну?

— Мотри, худо твое дело... Из-за самой этой Дуньки примешь большое горе — мужики сильно серчают...

— Пусть... хворая она лежит, так не за ноги мне ее тащить с острова.

— Она точно, что тово...

Наступило тяжелое молчание. Иван налил третий стаканчик и долго смотрел осовелыми глазами куда-то под лавку, где валялся разный кабацкий сор. Родька попрежнему наблюдал его своими лукавыми глазами и, наконец, проговорил:

— А куда твои-то дружки ушли?

— Какие дружки?

— Ну, Перемет и этот Иосиф Прекрасный. Вечор заходили выпить по шкалику и болтали, что на острове больше не останутся: мужиков наших устрашились, чтобы за Дуньку чего не было...

— Устрашились, говоришь?..

— Да разве они сами-то тебе ничего не сказывали?

Иван тяжело ударил кулаком по стойке и сердито плюнул на пол. Это была явная измена со стороны товарищей. И кого устрашились? — тебеньковских баб...

— А ты, Иван, в сам-деле поберегайся: неровен час... Теперь будто жнивье подоспело, все в поле, а вот праздник подвернется, так жди гостей.

— Ладно... Куда же ушли мои-то дружки?

— Перемет поколь у кузнеца Мирона приспособился, а Осип махнул прямо на трахт...

— Подлецы они, дружки-то... А я Дуньку не выдам. Что она им далась, чертям?.. Нашему-то брату, мужику, каково достается бродяжить-то? В другой раз жизни своей постылой не рад, а бабе в тыщу раз потяжельше нашего достается.

— Уж это что и говорить: больно слабо место... Только вот наши-то тебеньковские бабенки ощетинились: так и рвут!..

— Ну, и пусть рвут... Робеньчишко у Дуньки-то, а малость выправится — сама уйдет.

Действительно, лётные ушли с Татарского острова, и Иван остался в балагане с глазу на глаз с Дунькой. Она женским чутьем догадалась, в чем дело, и порывалась тоже уйти, хотя сама не могла еще держаться на ногах.

— Уйду я, Иван, а то в сам-деле мужики тебя еще, пожалуй, изувечат... — говорила она, собирая какое-то тряпье.

— Перестань, дура... Куда ты уйдешь-то?.. Никого я не боюсь.

В ближайший праздник к берегу Исети с утра начали собираться деревенские ребятишки, а это было дурным знаком. Иван узнал своих старых знакомых — и Авдошку, и Кулку, и Семку. С ними толклась белоголовая Сонька, сосредоточенно засунув пальцы в рот. Так продолжалось до самого вечера, когда со стороны деревни показалась толпа мужиков. Иван понял, что они шли на Татарский остров, и сунул за пазуху короткий нож. Живым он не хотел отдаваться в руки.

Толпа подошла к берегу и, засучив порты выше колен, побрела к острову. Впереди всех шел без шапки седой сгорбленный старик, известный в деревне под именем Вилка. Это был самый вздорный и зубастый мужичонка, горланивший на волостных сходах до хрипоты. За ним шли кузнец Мирон, Сысой, Кондрат, Родька Беспалый, а позади всех — степенный старик Гаврило с двумя старшими сыновьями.

— В гости к тебе пришли... — заявил Вилок своим скрипучим голосом, заглядывая в балаган.

— Милости просим... — ответил Иван и прибавил: — Насчет Дуньки?

— Видно, что так, милый друг... Где она у тебя спрятана, принцесса-то твоя?

— Чего мне ее прятать... в балагане лежит.

Мужики немного замялись и переглядывались между собой. Родька Беспалый первый вошел в балаган, но Дунька сама вышла оттуда с ребенком на руках и молча поклонилась миру.

— Ишь, змея, с дитем тоже... — обругался Вилок и даже плюнул.

— Уж ты, Иван, как хошь, а ослобони нас от Дуньки... — заговорил Кондрат из-за спины Гаврилы-

чей. — Мы лётных не гоним, живите, Христос с вами, а главная причина, что вот бабенка у вас объявилась на острову. Очень это неспособно.

— Нас бабешки-то наши поедом съели... — вставил свое слово смирный Сысой. — Житья не стало.

— А ежели Дунька хворая? — спросил Иван спокойно.

— Знамо, что хворая... — загалдели мужики, почесывая в затылках. — Обнакновенно, бабье дело. Очень хорошо понимаем...

— Ну, так зачем пришли, коли знаете? — огрызнулся Иван.

— А ты что больно ощетинился-то? — начал задирать Вилок, угрожающим образом наступая на бродягу. — Не больно велик в перьях-то... Тебе мир приказывает, а ты щетинишься...

— Уж это, как мир хочет, а я Дуньку не дам в обиду... — заявил побледневший Иван и инстинктивно положил руку за пазуху.

— Так и сказать?

— Так и скажите...

— Ну, мотри, парень... — грозился Вилок, потряхивая своей седой головой.

— И то смотрю, как вами бабы помыкают...

— Ребята, пойдемте домой... — неожиданно заявил старик Гаврило, и «ребята» без слова пошли за ним, как оглашенные. — Дело ведь бродяга-то говорит...

Мужики ругались всю дорогу, пока шли до Тебеньковой. Неожиданный отпор бродяги сбил их с толку, а с другой стороны, этот Гаврило сомустил всех.

— Один против мира идет, стерва!.. — ругали мужики бродягу. — Кольем его с острова-то, варнака... Вишь, какой выискался дошлый!

— Он не против миру, а маненько будто насчет баб... — спорил старик Гаврило. — Правильное слово сказал: все из-за баб загорелось, ну их к ляду!.. Жили лётные цельное лето, а по заморозкам-то сами уйдут.

Дядя Листар тоже приходил вместе с другими, но благоразумно остался с ребятишками на берегу, пока мужики были на острове. Он ругался больше всех, но его никто не слушал.

XI

Что-то такое страшное и неумолимое чувствуется в слове «осень». Это — медленная агония умирающей природы... Бесконечные темные ночи, голые поля, осиротевший печальный лес, темная вода в реке, мертвый шорох валяющихся на земле желтых листьев, дождь, грязь и вечная песня осеннего ветра, который разгуливает с жалобными стонами по раздетой земле. Особенно печальна осень в Зауралье, где мертвые поля тянутся на сотни верст и, после короткого северного лета, кажутся такими жалкими, точно оставленное поле сражения. Хорошо тому, у кого есть свой теплый угол, своя семья, свое место, где сам большой, сам маленький.

Около Тебеньковой теперь везде красуются клади хлеба и стога сена, а на гумнах начинается с раннего утра громкая молотьба, точно землю клюют сотни громадных птиц своими деревянными носами. Тут, тук, тук... А вон веселый дымок стелется над овином — сушится мужицкое богатство. Зато Исеть стала такая темная, бурливая; она поднялась от дождей в горах и теперь крутится в пологих берегах с глухим ворчаньем. Валы так и хлещут, особенно по ночам, когда поднималась настоящая сиверка. Татарский остров сделался точно ниже, желтый лист сохранился в кустах только кое-где, как позабытые лохмотья, голые ветви черемухи, вербы и тальника жалко топорщились во все стороны, и глазу неловко за их наготу после пышного летнего наряда. С дороги в Тебеньково можно рассмотреть балаган, устроенный лётными на острове, и курившийся перед ним огонек. Дунька все еще лежала больная в балагане и только изредка выползала погреться к огоньку; она любила смотреть на черневшую реку и задумчиво говорила:

— Иван, вон уж птица стала грудиться...

— Это она к отлету в стаи сбивается, — объяснял Иван.

Лесная птица уже улетела, за ней двинулась болотная. Дольше всех держалась водяная — утки, гуси, лебеди. У бродяги Ивана щемило на сердце, когда по

небу с жалобным курлыканьем неслись в теплую сторону колыхавшиеся косяки журавлей, точно они с собой уносили последнее тепло. На Исети появлялись отдельные стаи чирков, крохалей, гоголей, черняди, кряковых; пара лебедей долго плавала у самой деревни. Раз ночью, захваченный холодным ветром, на Татарский остров пал целый гусиный перелет. Птица выбилась из сил и была такая смирная, хоть бери ее руками. За день гуси успели отдохнуть, покормились и с веселым гоготаньем двинулись вперед.

— Ну, видно, и нам скоро пора, Дунька, тепла искать, — заговаривал несколько раз Иван, провожая глазами улетавшие птичьи станицы. — Ты куда думаешь идти?

— А мне в Камышлов... Боюсь, чтобы «Носи-не-потеряй» куда в другое место не услали. Весточку хотел прислать.

— Да где он тебя искать будет, глупая?

— Найдет... Вот только бы поправиться. Другой раз цельный день здоровая бываю, а тут точно вся размякну: ноженьки не держат.

— В силу еще не вошла, оттого и не держат. Поправляйся скорее.

Странная была эта Дунька, какая-то совсем безответная, и точно она боялась Ивана все время. Бродяга это чувствовал и не мог понять, зачем Дунька боится его. Раньше ему было жаль ее, как больного человека, а теперь он жалел просто замотавшуюся бабу, которая переносила свою судьбу с непонятным равнодушием. Дунька никогда не жаловалась, не плакала, а только изредка вполголоса затягивала какую-то печальную песню:

Не взвивайся, мой голубчик,
Выше лесу да выше гор...

Иван знал только, что Дунька откуда-то с уральских горных заводов, а откуда именно — она не говорила.

— Твой-то «Носи-не-потеряй» тоже заводский? — спрашивал Иван.

— А я почем знаю...

Прошло уже недель пять, как Дунька поселилась на Татарском острове. Время летело как-то незаметно. Дунькин ребенок понемногу рос и уже мог улыбаться, когда Иван брал его к себе на руки.

— Бродяжить пойдем, пострел... а?.. — говорил Иван, подбрасывая ребенка кверху.

В половине сентября на Татарский остров неожиданно явился Иосиф Прекрасный, худой, мокрый, грязный, так что Иван едва его узнал.

— Откудова это тебя принесло? — спрашивал Иван недоверчиво.

— Где был, там нет... Мне бы зелёну муху повидать, Дуньку. Весточку принес ей... Месил-месил от Шадрина-то, просто хоть умереть, а нельзя: больно просил «Носи-не-потеряй». Он в Шадрине теперь, в остроге, так наказывал, чтобы Дунька беспременно к ему шла... серчает.

Это известие и обрадовало и смутило Дуньку, хотя она ждала его с часу на час. Она даже не расспрашивала про своего возлюбленного, что он и как, а знала только одно: ей непременно нужно идти в Шадрино и повидаться с «Носи-не-потеряй». Иван молчал и только исподлобья поглядывал на Иосифа Прекрасного, точно сердился на него.

— Ты чего на меня буркалы-то выворачиваешь? — спросил Иосиф Прекрасный.

— А смотрю, где у тебя совесть, у анафемы. Зачем тогда убегли, дьявола?

— Известно, не от радости ушли... эк пристал!.. Все Перемет сманивал...

— Да ведь ты один ушел на трахт?

— Ну, сначала один, а потом и Перемет пришел... он и сомустил тогда меня, а то я бы ни в жисть не поддался тебеньковским-то мужикам.

— Перестань врать. А где теперь Перемет?..

— Перемет, брат, на казенное тепло перебрался... И прокурат только этот самый хохол!.. Как холода начались, он махнул на Шадрино и прямо к следственнику: так и так, бродяга, не помнящий родства, желаю поступить в острог. Молодой следственник-то, славный такой, ну и говорит Перемету: «Мне сейчас некогда

тебя в острог садить — мертвое тело производить еду, а ты меня обожди — приеду, тогда в лучшем виде тебя в острог предоставлю». Ну, Перемет и ждал до самых вечерен, а потом забрался в кухню к следственнику-то, да там и заснул. Следственник-то приезжает ночью, ему и говорят: «Бродяга вас дожидается, вашескородие!» — «Какой бродяга?» — «А что даве приходил». — «Да где он?» — «Да в кухне у вас спит». Ну, разбудили Перемета, следственник записал его в бумагу и с бумагой послал в острог одного, потому казака не случилось. Перемет и говорит: «Не сумлевайтесь, вашескородие, не заблудимся...» Так и предоставился сам в острог с бумагой, зелёна муха!

— А много лётных идет в острог?

— Идут помаленьку... по двое, по трое идут. Больше-то не видно. Ну, да еще и настоящего холоду не было; крепятся, которые в полушубках.

— Ну, а ты как со своей головой полагаешь?

— Да что полагать-то, один конец...

Иосиф Прекрасный неожиданно захохотал и долго не мог успокоиться.

— Чего ржешь-то, дьявол? — спрашивал Иван.

— Ох, и потеха только была... Ведь я сюда прибег с веревочки, ей-богу!.. Вот сейчас провалиться!.. Шатался я, шатался по трахту, заморозки пошли, и так мне тошно сделалось, так тошно: н-на, ложись да помирай. Лист это кругом облетел, птица всякая потянула в теплую сторону, все по своим углам схоронились, одни лётные замешкались. Ни ты человек, ни ты зверь, ни ты птица какая... всем свое место есть, одному лётному земля — клином. Ах ты, зелёна муха, пошел в первую деревню да прямо в волость и объявился: так и так, мол, Иосиф Прекрасный... А уж в волости-то штук восемь лётных до меня сидело — кого пымали, кто сам пришел. Ну, нас всех, рабов божиих, на веревочку да к ундеру, а ундер нас и повел в Шадрино... И смех только: нас восьмеро, и такие все орлы — упаси боже, а ундер-то один. Мы его, ундера, на смех и подняли дорогой: «Куда ты, кислый черт, ведешь нас?» Он нас варнаками крестит, а мы хохочем. Только тут уж я вспомнил про Дуньку-то, что ей наказывал «Носи-не-

потеряй», ну, развязался и удрал от ундера, а остальные за мной. Ундер-то с палкой за нами гнался верст с пять...

— Ну, а теперь куда думаешь насчет своей глупой головы?

— К тебе пришел: прогонишь — уйду, не прогонишь — останусь.

— Чего мне тебя гнать: оставайся, коли глянется, только уговор дороже денег — с кривым Листаром не якшаться.

— Ну вот, зелёна муха, да с чего я полезу к нему!..

— А от большого ума и полезешь... Этот самый Листар унюхал про машинку-то и все зубы грызет на меня с тех пор.

— Н-но?

— Верно... Да ты же, поди, проболтался тогда ему. Ну, да все равно... Листар тогда и баб настроил против Дуньки и мужиков подсылал на остров, чтобы я Дуньку прогнал. Знает пес, чем насолить...

Иван сначала был сердит на Иосифа Прекрасного, потом ему стало жаль этой беспутной головы, да и Дунька уйдет — вдвоем веселее будет горе горевать. Так Иосиф Прекрасный и поселился снова на Татарском острове, как настоящая перелетная птица.

— Мы еще ребенка у Дуньки крестить будем, — говорил он. — Так, Дунюшка... ась?..

— Отстань, сера горючая...

— Стосковалась, поди... а?.. А мы вот с Иваном возьмем да и не пустим тебя, ха-ха!.. Может, мы еще лучше твоего «Носи-не-потеряй»... Погляди-ка на меня-то, а?..

XII

Начались крепкие заморозки. Земля по утрам глухо гудела под ногой, как прокованная полоса железа. На Исети образовались закраины; последняя зеленая травка, топорщившаяся кое-где отдельными кустиками, замерзла, и только одни утки продолжали кружиться на самой середине реки. Перед покровом выпал первый «гнилой» снежок и через три дня растаял. Сейчас

после покрова Дунька собралась уходить, несмотря ни на какие уговоры лётных повременить еще.

— Нельзя... надо... — твердила Дунька, собирая свои тряпицы.

— Да ведь ты замерзнешь, окаянная!

— Нет, ждет он меня.

Так Дунька и не сдалась на уговоры, собралась и в одно холодное осеннее утро отправилась в путь, поблагодарив лётных за хлеб-соль и за ласковое слово. Иосиф Прекрасный, в виде последней любезности, перенес Дуньку на спине через реку и долго смотрел ей вслед, повторяя: «Ах ты, зелѐна муха... право, зелѐна муха!» Иван тоже следил глазами с острова за уходившей Дунькой, и его сердце ныло, точно он провожал ее на прямую погибель.

— Ох, не надо бы пущать Дуньку-то... — говорил вечером Иосиф Прекрасный, когда они варили на огне кашу. — Погибнет она, а бабенка-то уж больно безответная. Как собачонка ходит за этим «Носи-не-потеряй», а он же ее и колотит... Видел я его в остроге-то, такой углан.

— Самим надо уходить...

— В скиты?

— Да, в скиты к раскольникам... за Верхотурье...

Лётные решили уйти с острова дня через три. Ивану хотелось проститься с Феклистой, и он все собирался к ней каждый день. Может, теперь баба опомнилась, а ссориться с ней Иван не хотел. Он был даже доволен, что благодаря Дуньке они на время разошлись с Феклистой: враг силен — мало ли что могло быть. Выбрав подходящий вечерок, Иван отправился в деревню. С реки дул сильный ветер, по небу бежали свинцовые тучи, осенняя непроглядная темь захватила все кругом, точно могила. Иван пробрался к Феклистиной избе задами, но на беду Феклисты не случилось дома: она ушла куда-то в соседи, а в избе оставалась одна Сонька. Иван подождал с полчаса, а потом пошел обратно.

— Скажи мамке, что Иван прощаться приходил, — наказывал он белоголовой девчурке. — Скажешь?..

— Скажу... — лениво ответила Сонька; она давно хотела спать и готова была разреветься.

Иван шел назад старой дорогой, и когда подходил уже к самому острову, небо вдруг осветилось горячим заревом — горело Тебеньково с самой середины, и ветер гнал колыхавшееся пламя в обе стороны.

— Здорово запаливает... — говорил Иосиф Прекрасный, из-под руки рассматривая пожар. — Страшенное пальмо занялось... Вон у Гущиных изба горит, к Кондрату пошло. Ох, страсть какая: так и дерет пальмо-то... Разве сбегать в деревню-то?

— Ну, придумал... — остановил его Иван. — Не до нас мужикам-то, неровен час, пожалуй, и в шею накладут.

— В лучшем виде... потому как народ одуреет совсем. Вон как поворачивает огонь-то, на обе стороны пошел.

Деревенский пожар, особенно в ночную пору, — страшная вещь. Через каких-нибудь полчаса половина Тебенькова была в огне: одна изба горела за другой, и страшное «пальмо» с ревом кружилось по улице, прахом пуская нажитое пóтом и кровью крестьянское добро, от которого оставались только одни головни да густая полоса черного дыма. По небу разлилось кровавое зарево и далеко осветило окрестности своим зловещим светом, точно к небу вставала сама мужицкая кровь. Вой ветра сливался с ревом скотины, метавшейся по конюшням и пригонам. Спавший народ выскакивал на улицу, кто в чем был: мужики — босые, простоволосые бабы — в одних рубахах, ревевшие ребятишки — полураздетые. На церкви лихорадочно звонили во все колокола, у ворот везде стояли старухи с иконами в руках и громко читали молитвы; со всех сторон в Тебеньково летели крестьянские телеги с мужиками. Мирное село превратилось в ад. Народ совсем обезумел, и мужики метались по селу вместе с одуревшей скотиной, которая обрывала привязи и рвалась в горевшие стойла. Коровы бросались прямо в огонь. Ополоумевшие бабы растеряли своих ребятишек и еще более увеличивали общую суматоху своим воем и причитаньями. Какой-то слепой и глухой старик ни за что не хотел выходить из горевшей избы, и его должны были вытащить на руках силой.

Когда пожарище охватило полдеревни, у мужиков опустились руки: нечего было спасать и некуда. Единственная пожарная машина сгорела вместе с волостным правлением, да и какая машина могла остановить это море бушевавшего огня. От избы Гущиных остались одни трубы, догорала новая изба Кондрата, у Сысоя его плохая избенка загоралась уже два раза, но он с топором в руках отстаивал свое последнее добро. Рядом с ним работал дядя Листар, подставляя огню свою горбатую спину.

— Господи, да откуда это началось-то? — голосили бабы.

У дяди Листара, как молния, мелькнула мысль, и он закричал с крыши одуревшей толпе:

— Кому поджигать-то, окромя лётных!..

Эта мысль, как искра, упавшая в порох, произвела в головах обезумевших мужиков и баб другой пожар. «Лётные подожгли... лётные!» — ревела вся деревня, как один человек. Выискался кто-то, кто видел, как вечером Иван пробирался задами к Феклистиной избе — сейчас после него и занялся пожар. Отыскали Феклисту — она не видала Ивана, ей дали тумака и пообещали выдрать, зачем якшается с лётными. Зато маленькая Сонька рассказала все, что знала.

— Это он из-за Дуньки деревню подпалил!.. — кричал седой Вилок, выскакивая из толпы. — Робята, тащите их, варнаков, суды...

Толпа мужиков бегом бросилась к Татарскому острову... Иосиф Прекрасный думал спастись бегством, но его поймали верховые и потащили по земле за волосы, как теленка. Иван не сопротивлялся и шел в деревню среди толпы остервенившихся мужиков с побелевшим мертвым лицом.

— А куда Дуньку дел?.. — ревели голоса, и на бродягу посыпались удары.

— Ушла... третьева дня ушла.

— Так и есть! Дуньку спровадили, а сами деревню подпалили! Ваших рук дело, варначье... кайтесь!..

— Братцы, Христос с вами... опомнитесь!.. — умолял Иван, но его голос замирал в общем гвалте, как крик ребенка.

— Мы тебя живо рассудим, стерва!.. — кричал Вилок, стараясь ударить Ивана кулаком по лицу. — Листар все видел...

Иосиф Прекрасный был уже на пожарище, когда привели в деревню Ивана. Бродяги были в разорванных рубахах и оба в крови, которая струилась у них по лицам.

— Вот они... поджигатели!.. — ревела деревня.

В толпу протолкался дядя Листар и закричал, указывая на Ивана:

— При мне он грозился на деревню...

Изба Сысоя горела, как сноп соломы: он, захлебываясь от ярости, пробился тоже к бродягам и вцепился в Ивана, как кошка.

— Это он поджег!.. — неистово голосил Сысой, стараясь укусить бродягу за плечо. — Своими глазами видел...

— В огонь их!.. — пронеслось в толпе.

Этот страшный крик стоил пожара. За Ивана схватились разом десятки рук, и, несмотря на самое отчаянное сопротивление, он повис в воздухе — его тащили к первой горевшей избе.

— Батюшки... батюшки... батюшки!.. — отчаянно вопил Иван, напрасно цепляясь за чужие руки, шеи, головы.

— В огонь!..

В воздухе мелькнул какой-то живой ком, болтавший ногами и руками, и беглый попал в самое пекло. Через несколько секунд он выкатился оттуда, обгорелый, окровавленный, продолжая лепетать: «Батюшки... батюшки...» Но толпа не знала пощады, и бродяга полетел в огонь во второй раз, а чтобы он не выполз оттуда, кто-то придавил его тяжелой слегой.

К утру Тебеньково представляло собой дымящееся пожарище, а от Ивана Несчастной Жизни не осталось даже костей. Иосиф Прекрасный через день от полученных на пожаре побоев умер в кабаке Родьки Беспалого.

ГОРОЙ

Из летних скитаний по Уралу

I

Путешественники, которые теперь переезжают через Уральские горы по железной дороге, даже приблизительно не могут себе представить всех тех неудобств и затруднений, с какими прежде неизбежно был соединен этот перевал из Европы в Азию или, наоборот, — из Азии в Европу.

В начале семидесятых годов мне случилось ехать из Петербурга в Зауралье. Студенческие сборы невелики: тощенький чемоданчик, подушка, плед — и больше ничего. До Перми путешествие в летнее время — я ехал в начале июня — обставлено всеми удобствами цивилизации: до Нижнего по железной дороге, а от Нижнего — на пароходе. Все шло отлично, и через пять дней я был в Перми.

Итак, я в Перми с восемью рублями в кармане, а нужно еще сделать на лошадях больше трехсот верст, притом приходилось ехать или убийственным сибирским трактом на Екатеринбург, или еще более убийственным гороблагодатским на Тагил. Первый путь был для меня длиннее, но можно было скорее найти компаньона; второй — короче, но приходилось ждать компаньона. Получалось что-то вроде сказочной «росстани», где расходились три пути-дороги: по первой

поедешь — сам будешь сыт, конь голоден, по второй поедешь — конь сыт, сам голоден и т. д. С восемью рублями в кармане далеко не ускачешь, и мне пришлось прождать в Перми целых восемь дней, вероятно, по числу рублей, пока выискался попутчик.

Погода стояла отличная. От Перми до Кыновского завода считается около двухсот верст, и мы проехали этот конец ровно в сутки. В Кыну нам приходилось расстаться, — мой попутчик должен был ехать горо-благодатским трактом дальше, к Тагилу, а я предпочел отправиться «горой», то есть вверх по реке Чусовой. Мне случалось тут ездить не раз, и я всегда с особенным удовольствием делал этот перевал верхом по бурлацким тропам, так как тут на расстоянии семидесяти верст пути до самой Межевой Утки, где была тогда демидовская пристань, не встретишь ни одного колеса. Это замечательно дикий и глухой уголок, оставшийся как-то в стороне от всякой цивилизации, — и теперь там нет колесных дорог. Железная Уральская дорога окончательно убила эту позабытую богом и людьми сторону, потому что прежде она оживала хоть на время навигации, когда по реке Чусовой с ранней весны до поздней осени сплавлялись заводские и купеческие караваны, а нынче грузы идут железным путем.

Поверье, что если раз не повезет, так не будет счастья до самого конца, оправдалось на мне самым блестящим образом. Оставшись в Кыну, я никак не мог найти верховой лошади и проводника на проход до Межевой Утки. Прежде всегда были лошади, и своя цена установилась — три рубля за пару лошадей. Я обходил весь завод, но никто не соглашался везти дальше ближайшей чусовской деревушки Деменевой. Чтобы не сидеть в Кыну, пришлось согласиться и на это, хотя в Деменевой было всего пять дворов и трудно было рассчитывать на подводу.

— Да уж верно тебе говорю: в Деменевой завсегда лошади есть, — уверял меня старик проводник.

— А если нет?

— Ну, тогда на лодке подымут...

— Да ведь до Утки на лодке ходу двое суток?..

Верхом-то я утром из Кына, а к вечеру на Утке... Да и дорого на лодке.

— Уж это обнакновенно, на конях куда способнее. Уж это што говорить... Тропами пятьдесят верст будет — не будет, а водой все семьдесят. Не близкое место лодку-то подымать. Только лошади в Деменевой завсегда есть...

Выбирать было не из чего, и пришлось согласиться с гипотезой, что в Деменевой непременно должны быть лошади.

Мы выехали ранним летним утром чуть свет. И река Чусовая и весь Кыновский завод еще были подернуты туманной мглой. Этот Чусовской завод считается одним из очень красивых на Урале, но мне положительно не нравится, — ужасно дикое место, и весь завод точно спрятался в глубокой горной расселине. Прямо из завода наша дорога пошла в гору, открывая горную панораму с каждым шагом вперед все шире и шире. Река Чусовая с вершины горы казалась такой обыкновенной речонкой, которую только вот курицы не перебродят. Кругом обступили ее неприветливые и высокие горы, заставляя выделывать такие колена и кривулины, точно ползла змея. Мне больше всего не нравится здешний лес — угрюмый, неприветливый, и эти болота, которые не только в низких местах, где им сам бог велел быть, но и на горах. Последнее просто возмутительно. Подымаешься-подымаешься по каменистой дороге в гору, и вдруг верст на пять разляжется самая непролазная болотина, где приходится ехать то по колено в грязи, то по таким сланям, где несчастная лошадь прыгает с мостовины на мостовину, точно по клавишам фортепьяно. Тут можно и ногу сломать и голову, а главное — так навихает в седле, что не скоро разогнешься. Впрочем, это только первая, самая скверная станция, а дальше дорога идет берегом Чусовой и едешь даже с удовольствием.

Несмотря на хорошую погоду и сравнительно хорошую дорогу, мы в Деменеву приехали часов через пять: Деменева раскидала свои пять избушек на левом высоком берегу Чусовой, и можно только удивляться, что̀ заставляет крещеных людей жить в этой трущобе.

— Эй, кто жив человек есть!.. — кричал старик, поочередно подъезжая к избушкам и постукивая кнутовищем нагайки в оконца. — Барина я привез, коней надобно... Эй, живая душа, выходи!..

Все пять изб точно вымерли, и только в одной мелькнули белые детские головки и сейчас же спрятались. В самой последней избушке откликнулась какая-то больная старуха.

— Никого нету, родимые... и званья никого нет! — слышался разбитый старческий голос.

— Да вымерли, што ли?..

— Зачем вымирать... Мужики-то разбрелись по убившим баркам, ну и бабешки за ними и девки. По цалковому поденщины платят девчонкам... вот какое дело. В Тесовом броду убившая барка, под Высоким Камнем.

— Ну что я теперь буду делать? — накинулся я на проводника. — Ведь я тебе говорил, что лошадей нет... а?.. ну?..

— Вот поди ж ты, как оно тово...

Мой старик, видимо, был сконфужен и долго чесал кнутовищем у себя за ухом. Потом движением головы передвинул свою шляпу с уха на ухо и убежденным голосом проговорил:

— Чего-нибудь врет старуха, барин... Какая-нибудь да есть живая душа!..

Мы спешились. Старик пошел в избу, а потом я видел, как он перелезал через прясло в соседний огород. Через четверть часа послышался разговор и даже смех. Мой проводник перелезал опять через прясло, но теперь в сопровождении какой-то бабы, которая не без кокетства толкала старика в шею.

— Вон какую я тебе зверину привел, — весело заговорил старик, появляясь в воротах, — почище другой лошади-то будет. Параха, вот тебе и барин...

— Лошади есть? — спросил я ухмылявшуюся Параху.

— Какие у нас кони, барин...

— Так как же?..

— А уж не знаю...

— Ты зачем же ее привел в таком случае? — накинулся я опять на старика.

— Может, у суседей у кого кони есть? — заговорил старик.

— И у суседей нет... Семишкина кобыла охромела, у других кони в пасеве. Да и какие у нас кони... Мерин один, да и тот кривой.

— Этакое пропащее место! — выругался старик и даже бросил свою шляпу оземь. — Параха, так как же мне с барином быть?..

— Увезешь назад в Кын, — хладнокровно ответила Параха, почесывая одной голой ногой другую.

Среднего роста, с бойким лицом и высокой грудью, эта Параха была по-деревенски завидная баба. Ветхий, истрепанный сарафанишко из линючего и гнилого ситца сидел на ней с тем особенным щегольством, как ходят только заводские бабы. Здоровая, загорелая Параха глядела вообще козырем, как все чусовские бабы, побывавшие на сплавах.

— Придется, видно, тебе, барин, на душегубке рекой подыматься, — решил, наконец, старик, — вот Параха в лучшем виде предоставит... Предоставишь, Параха?.. Вон и лодки валяются: любую да лучшую выбирай.

Параха помялась для церемонии, а потом согласилась.

II

Наши сборы были недолгие. Параха сбегала в избу захватить пониток и краюшку хлеба, наказала что-то семилетней босоногой девчонке, потом перемолвилась через окошко с больной старухой — и все тут. Было часов около десяти утра, и в воздухе чувствовался наливавшийся летний зной. Наши лошади стояли, понурив головы, и тяжело отмахивались грязными хвостами от жужжавших слепней. Мы спустились под гору, к реке, где на берегу валялось до десятка лодок-однодеревок, известных под названием душегубок. Название самое подходящее, потому что, когда я поместился в одну из этих скорлуп, а за мной встала

Параха с легким шестиком в руках, борта лодки отделялись от воды всего каким-нибудь вершком запаса.

— Надо бы с барина на шкалик...— говорил старик, отталкивая лодку.

— За что это шкалик-то?..

— Как же... Вот какая баба-то: дерево смолевое, да и солдатка к тому будет.

— Будет тебе, мелево!..— огрызнулась Параха и так двинула шестом, что наша лодка полетела вверх стрелой.

Нужно сказать, что чусовляне, как мужики, так и бабы, никогда не ездят в своих душегубках сидя, а непременно стоя. Маленькое и короткое веселко лежит в носу лодки только на случай, когда выдастся особенно глубокое место, где шестик не достает, или когда приходится переплывать реку. Около берега лодка всегда идет на шестике, то есть пловец стоит в носу лодки и упирается шестом в дно. Когда плывут двое, то можно полюбоваться,— душегубка летит вперед, как щука. С непривычки так и кажется, что в такой верткой и неустойчивой лодке вывернешься на десяти саженях, особенно в бойких местах, как чусовские переборы, где струя бьется в край лодки с шумом и точно нарочно старается опрокинуть ее. Но стоило присмотреться к той же Парахе, как она твердо стояла своими голыми ногами и как ловко работала шестиком, чтобы всякий страх прошел навсегда.

— Ведь ты устанешь скоро? — спрашивал я, с удовольствием растягиваясь по дну лодки.

— Зачем устану... сызмальства на воде бьемся... привышны. А пристану, так бечевой пойду... не впервой.

Параха молодцевато взмахнула шестом, который едва доставал до дна. Несмотря на малую летнюю воду, Чусовая все-таки представляла и теперь громадную силу сопротивления,— чувствовалось, как струя била в дно лодки и точно не пускала ее вперед. Падение в некоторых местах было настолько велико, что положительно приходилось плыть в гору. Из сплавных рек Чусовая в этом отношении занимает первое место.

День был великолепный. Скоро сделалось до того жарко, что можно было изжариться в собственном соку. А Параха все помахивала своим шестиком, и можно было только удивляться железной выносливости этого на диво сколоченного тела. Ведь эта работа пойдет и час, и два, и три. Каждый шаг вперед покупался громадным напряжением, а лодка шла ровным, мерным ходом, точно работал не человек, а машина. Изредка Параха отмахивалась от одолевавших ее мух, отирала пот с лица и с улыбкой начинала опять мерять дно своим шестом.

Замечательная эта река Чусовая... Как все настоящие красавицы, она хороша неувядающей красотой, которая в каждое время года имеет своеобразную прелесть. Весной — это дикий, неукротимый зверь, который играет с ревом и стоном, бросаясь на теснящие каменные громады; осенью — это суровая, угрюмая река, которая льется точно по высеченному в горах коридору; зимой — настоящая спящая красавица, скованная льдом и запушенная глубоким снегом. Теперь, летом, Чусовая катится в зеленых берегах, мимо бойцов, горных теснин и крутых мысов ленивой струей, которая бурлит и бунтует только на переборах. Что-то такое ленивое и сонное, ласковое и сильное чувствуется кругом... Вон и кустики распушились по берегу и свесили над водой свои зеленые ветки, вон густая сочная осока зеленым бархатным ковром ушла в самую реку; вон красуются на берегу заливные луга, дремучий хвойный лес, свежие березняки и остальная лесная поросль. Откуда-нибудь из осоки бросается в воду утиный выводок, там насвистывают кулички и разная другая болотная мелочь. Всем и честь, и место, и покой, и только на голых скалах остаются грязно-бурые полосы, обозначающие вешний уровень воды. Глядя на развертывающиеся пред вами картины мирного горного пейзажа, как-то отказываешься верить, что эта же самая река поднимается весной иногда на три сажени и сметает, как пыль, не только траву и кусты, но многолетние деревья. Хороша именно эта дремлющая сила, которая отдыхает теперь, как заснувший богатырь.

Да, мирно и тихо кругом. Горячо печет уральское солнце. Кое-где высыпет на берег мертвая деревушка, попадет гульная лошадь, которая мирно пасется в густой траве, обгонит лодка, — и опять зеленая пустыня охватывает вас своим чарующим покоем, точно плывешь в каком-то сказочном царстве. Вон и каменные дворцы, крепости, башни, валы... Там, высоко-высоко над головой, по уступам и трещинам лепятся горные ели и сибирские кедры, и кажется, что это не деревья, а живые люди. Вон спрятался за выступом скалы целый военный отряд, выше на скале неподвижно торчит часовой, а там из-за зубчатых стен выглядывают одни головы сказочных богатырей. Не хочется верить, что все здесь мертво и пусто. Воображение ищет движения и жизни, глаз придает человеческие формы дереву, ухо слышит и далекий звон, и окрик часовых, и неясный гул тяжелых шагов... Нет, это одна река, сжатая в каменных берегах, разговаривает сама с собой и рассказывает бесконечную сказку.

Мечтаешь с открытыми глазами и чувствуешь, как делаешься сильнее и точно лучше. Даже Параха на время превращается в сказочную улыбающуюся красавицу, которая ведет лодку куда-нибудь в замок...

— Ноне вода у нас страшенная была по весне, — говорит Параха, — коломенок страсть сколько убилось... Больше внизу, у Кумыша под бойцами.

— У Молокова?

— И у Молокова и у Горчака... Слышь, семнадцать барок один Горчак съел. Страсть была одна... Ну, и верховые бойцы тоже здорово играли. Сила не взяла на барках-то... Человек сотню бурлачков перетонуло, сердешных. Снега бо́льно глубоки были, а весна выпала поздняя, дружная, — ну, река и взыграла. Теперь чусовлянам на все лето хватит работы: металл добывают из воды, а потом грузить будут на полубарки да сплавлять по межени[1].

— А под верхними бойцами тоже много убилось коломенок?

---

[1] Межень — летняя вода. *(Прим. Д. Н. Мамина-Сибиряка.)*

— По всей реке... Наши деменевские страсть сколь денег зарабливают с убивших коломенок.

— А ты?

— И я робила... только вышла домой-то робятишек проведать. Тоже гребтится... В деревне-то одна старуха осталась. Кому горе да разоренье, а нам хлеб... это с убивших-то барок. Вон под Зайчиком их шесть штук расшиблось... с пшеницей шли. Ну, теперь который месяц кули из реки на берег тащат да сушат, а пшеница так и преет. Да вот сам увидишь...

Мы разговорились. Меня интересовала жизнь такой глухой деревушки, как Деменева. Но Параха не умела рассказать, что было мне нужно, то есть о других. О себе она говорила просто и толково. Неприглядная эта бабья жизнь. Она вышла за молодого парня, а потом мужа взяли в солдаты. Куда-то под хивинца ушел. После мужа осталось двое ребят.

Куда же идет эта лошадиная бабья работа, заботы, непокрытая нужда? Мне становится жаль Парахи, собственно, даже не Парахи, а той солдатки, которая сидит в ней... Что-то такое темное и стихийно-злое есть в человеческой жизни, которое роковым образом становится поперек дороги, как вот эти чусовские бойцы.

— Скоро, видно, и Зайчик будет, — говорит Параха, налегая на свой шестик с видимым усилием. В течение трех часов она отдохнула всего раза два, чтобы напиться. — Краюхина, Прова Михайлыча, слыхивали, может?

Я назвал пристань, где царил Пров Михайлыч.

— Он самый... Шесть барок убил ноне. Разорится, говорят... Только нечисто дело вышло у него...

— А что?..

— Да так... нечисто. Грех случился...

— Какой грех?

— Разное болтают: он на зайчиковских мужиков жалится, мужики — на ево... Всяк свое говорит. Конешно, не баская слава про Зайчики ходит, ну, да мало ли што болтают.

III

Через четверть часа показался длинный мыс, на котором высыпала бойкая деревнюшка дворов в двадцать — она известна под именем Зайчиков[1] и получила свое название от страшного бойца, который стоит немного повыше деревни. Еще подъезжая к деревне, издали можно видеть верхушку большой известковой скалы; она стоит в крутой излучине, в самом прибое, и весной здесь ежегодно бьются барки. Этот боец пользуется громадной известностью у бурлаков; «игристый камешек этот Зайчик... веселенький».

Странно то, что этот боец создал деревню. Нужно кому-нибудь вытаскивать убитые барки, перегружать металлы и разный другой груз, — вот и выросла целая деревушка. Страшный боец каждый год давал работу на целое лето.

Вид деревни, как вообще всех чусовских поселков, не особенно привлекателен, и первое, что бросается в глаза, это — необыкновенная близость леса. Некоторые избы стоят почти совсем в лесу. По линии берега попадается несколько покосов, есть даже пашня — и только. Скотина пасется в лесу. Избы расставлены без всякого порядка; постройка хорошая, благо лесу не занимать стать. Правый берег гористый, левый, где выдался мыс, отлогий, и только вдали синеется горный скалистый гребень. Вообще место неприветливое и дикое. Жители — раскольники беспоповщинского толка, или, как говорят на Урале, кержаки.

— Пустая деревня-то, все на работе, — объясняла Параха, когда наша лодка ткнулась носом в песчаный берег.

— Под бойцом?

— Под ним под самым. Вон, видишь, черные кучи на берегу, — это все мокрая пшеница навалена. Около нее страсть сколько народу бьется...

— Ну что, устала?

[1] Зайчик — вымышленное название: между Кыном и Межевой Уткой такого бойца нет, как нет и деревни. (*Прим. Д. Н. Мамина-Сибиряка.*)

— Не то штобы больно пристала, а только плечо ломит да поясница отниматься начала.

Параха улыбнулась, показав свои белые зубы. По уговору она обязалась доставить меня в Зайчики и теперь поздравляла с привалом, как это делают все бурлаки. Взвалив мои пожитки на плечо, она зашагала к большой пятистенной избе, из ворот которой бросилось на нас штук пять собак.

— Пропасти на вас нет... — ругалась Параха, отмахиваясь от собак моим чемоданом. — Эй, кто дома жив человек есть!.. Сосипатр-то дома?..

Из глубины темного двора, крытого на раскольничий манер глухой крышей, послышался сначала старческий кашель, а потом несвязное бормотанье. Это и был Сосипатр, лысый, сгорбленный старик, едва тащивший свои кривые ноги. Он посмотрел на нас из-под руки, как смотрят против солнца, и заговорил:

— Это никак ты, Параха... и с барином, надо полагать.

— В лесу нашла да вот привезла тебе показать: может, поглянется, а не поглянется — вези дальше.

— Куда везти-то?..

— На пристань, на Межевую Утку.

— Коней-то нет дома... в пасеве гуляют.

— Пошлешь за коням, — решила Параха.

— А кто повезет? — спрашивал старик, продолжая разглядывать нас из-под руки.

— Сам повезешь... недалеко.

— Это на вершной-то?.. Востра больно! Из Деменевой везла барина-то?..

— Из Деменевой... Да ты што нас в избу-то не зовешь, дедко?.. Барин поись хочет и чайку испить... Пров-то Михайлыч, видно, у тебя проживает?

— Видно, у меня... Ну, заходите ин в избу. Спит Пров-то Михайлыч...

Мы вошли в темный двор, поднялись по крылечку и очутились, наконец, в избе, где на лавке спал Пров Михайлыч, а напротив сидела какая-то молоденькая девушка в ярком кумачном сарафане.

— Это ты, Лукерья? — удивилась Параха, складывая мое имущество на лавку.

Лукерья ничего не ответила, а только указала глазами на громадную фигуру Прова Михайлыча, лежавшего на лавке под окном.

— Да ведь он, сказывали, прогнал тебя? — шепотом говорила Параха, здороваясь.

— Сперва прогнал, а потом опять вытребовал, — шепотом ответила Лукерья, искоса взглядывая на меня. — Замаялась я с ним, Паранюшка.

— Легкое место сказать: вот какое дерево... Вот што, Лукерьюшка, спроворь барину моему самоварчик. Я говорила Сосипатру, да ведь он забудет. Есть самовар-то у вас?..

— Как же, есть... У Прова Михайлыча свой есть. Я сама поставлю, скорее дело-то будет.

Когда Лукерья вышла из избы, Параха сообщила шепотом, что эта Лукерья и есть «главная причина» всему делу.

— Какому делу?

— Ну, убившие барки, значит... от нее все горе Прову-то Михайлычу. Вот ужо поедете, так Сосипатр дорогой-то все обскажет...

Пока старик ходил в лес за лошадьми и пока Лукерья ставила самовар, я пошел размять ноги. Деревня вся точно вымерла, и только оставались одни собаки. Все были около убитых барок. Я пошел по берегу к бойцу. Большие темные кучи, на которые указывала давеча Параха, оказались целыми валами из кулей с пшеницей. Несколько куч были из чистого зерна, которое «горело» на солнце. Ближе можно было уже слышать прогорклый запах зерна.

Несколько женщин были заняты разборкой мокрых кулей, другие рассыпали пшеницу, третьи переносили ее на носилках из одной кучи в другую. На самом берегу и в воде бродили десятки мужиков, разбиравших убитые барки и вытаскивавших кули из воды на берег. В воде и на берегу торчали обломки барочного леса; разобрано было только две барки, а четыре оставались еще в воде. Они сидели неглубоко, и можно было видеть разбитые части, — у одной выворочено было плечо, другая стояла с выхваченным боком, у третьей расщепало корму и т. д.

— Бог помочь! — поздоровался я с работавшими.

— Спасибо...

Громадные насыпи почерневшего зерна ужасно походили на муравьиные кучки, а ходившие по ним люди — на муравьев. Я сунул руку в одну из насыпей, — внутри было горячо. Вытащенную из воды пшеницу негде было просушить, и она теперь горела в этих насыпях.

— Был хлебушка, а стал навоз, — заметил старик, очевидно наблюдавший за работой.

— Отчего мало рабочих у вас? — спросил я.

— Да где их взять-то?.. Негде взять, — вот и пачкаемся. По всей Чусовой ноне наколотило барок-то, ну, народ и разбежался. Наш-то кормилец Зайчик вон какую работу наработал... страсть глядеть. В шести-то барках девяносто тысяч зерна было... Ох-хо! согрешили мы грешные! Вон девкам по цалковому в день платим, а они, курвы, и знать не хотят... испотачались работой.

— Сколько барок разобрали?

— Да, видно, вторую кончают, а там еще четыре стоит в воде. Не знаю уж, когда это мы и подымем их. Главное, сила не берет насчет народу. А Пров-то Михайлыч свое... закутил не на живот, а на смерть. Тоже обидно, хоть до кого доведись.

Я присел на груду барочных досок и смотрел на работу. Разговаривавший со мной старик отправился к работавшим бабам и, вероятно, из желания показать свою энергию, начал их ругать на чем свет стоит. Бойкие чусовлянки, бродившие по пшенице голыми ногами, огрызались, а потом подняли старика на смех. Эта сцена с берега перешла в воду, где хохотали над расходившимся стариком мужики.

— Палкой-то, дедка, палкой валяй бабенок! — поощряли голоса. — Дуньку первую лупани...

Не дождавшись конца этой горячей сцены, я пошел к самому бойцу, до которого было с полверсты. Это была известковая скала, выдвинувшаяся в реку одним ребром. Наверху лепились мелкие елочки, точно сбежавшиеся в игре дети. Кругом разросся угрюмый ельник. Река текла под самой скалой, с тихим ропотом облизывая подножие бойца. При ярком солнечном

свете получалась оригинальная картина, пожалуй, немножко дикая, но во всяком случае полная своеобразной прелести. Глаз искал чего-то страшного в этом бойце, но страшного ничего не было, — таких «камней» по Уралу разбросаны миллионы. Но весной — другое дело... Вы не узнали бы картины, когда Зайчик начинал «играть». Река под бойцом клокочет и превращается в пену; глухой рев несется далеко, точно борются насмерть два разъяренных чудовища.

IV

— А ведь коней-то я не нашел, барин, — объявил мне Сосипатр, когда я вернулся в деревню.

— Вот тебе раз... Так как же я-то буду?

— Уж не знаю, родимый мой. Бегал-бегал по лесу-то, точно скрозь землю провалились мои кони. С боталами ходят, далеко слышно... А ты попей чайку покедова, может, они сами подойдут к тому времю. Овод гонит из лесу скотину-то...

— А на лодке нельзя подняться?

— Да кто повезет-то?.. Некому, родимый... Работы у нас не изработать. Кормилец-то наш дал вон какую задачу...

— Какой кормилец?

— А Зайчик... Им кормимся: чего пошлет, то и жуем. Ласковый он до нас... В прошлую весну барку с медью ушиб, в позапрошлую весну сортовое железко, — кажинный год хлеб дает. В сам-деле, ступай в избу, там Лукерья все спроворила, а тем временем, может, и кони подойдут.

Ничего не оставалось, как идти в избу и «заняться чайком». Положение было самое безвыходное, и я обругал проклятую дорогу: не повезло с самого начала, — значит, так пойдет и до конца.

В избе кипел самовар, а за самоваром сидел сам Пров Михайлыч и пил чай. Тут же стояла на столе бутылка водки и лежала в газетной бумаге какая-то мудреная закуска. Пров Михайлыч принадлежал к разряду настоящих великанов, и его лохматая

голова точно была привинчена к широким плечам. Грязная ситцевая рубашка была расстегнута, и из-под нее выставлялась богатырская волосатая грудь. Около стола сидели и Лукерья с Парахой и тоже пили чай. Лукерья была девушка лет семнадцати, белокурая, свеженькая, с розовыми губами и такими красивыми серыми глазами. В простом народе редко попадаются вообще красивые женщины, а белокурые в особенности. В этой Лукерье еще сохранилось что-то детское, что пропадает в зрелой женской красоте.

— Пожалуйте... — хрипло проговорил Пров Михайлыч, тяжело поднимая голову. — А водки прикажете?

— Нет, благодарю.

— Ваше дело... Значит, мы с Парахой выпьем.

— Я и то выпила, Пров Михайлыч... напьюсь пьяная, — нехорошо будет.

— Ну, ну... с солдатки нечего взять: вся своя.

Параха, видимо, конфузилась, но с устатку ей хотелось выпить. После некоторого ломанья она взяла рюмку и выпила ее как-то по-куричьи, маленькими глотками и закинув голову назад.

— Отлично... — похвалил Пров Михайлыч и сразу выпил две рюмки, не моргнув глазом, точно два гвоздя заколотил.

— Ох, захмелела я... — плаксиво жаловалась Параха, вытирая губы рукавом рубашки. — На тебе будет грех, Пров Михайлыч.

— Ладно, ладно... Мне уж заодно маяться-то.

Мы долго пили чай молча. Параха улыбалась и все толкала локтем молчавшую Лукерью. Пров Михайлыч долго смотрел в налитый чаем стакан и задумчиво повторял: «Да... дда-а!» В избе было страшно жарко. Где-то жужжала муха. Вошел старик Сосипатр и по мужицкой вежливости раскланялся со всеми.

— А... старый колдун! — протянул Пров Михайлыч. — Хочешь чаю?

— Спасибо, родимый мой... Смолоду-то што-то не привык я к вашим чаям, а на старости лет грешить не приводится.

Старик присел на лавочку и улыбавшимися глазами посмотрел на раскрасневшуюся Параху.

— Ох, ешь тебя мухи с комарами... — бормотал Сосипатр. — Размалела!

— И то размалела... — соглашалась Параха и кокетливо закрыла лицо рукавом. — Все Пров Михайлыч... его грех.

— Прову-то Михайлычу не привыкать с бабами возиться... Одна Лукерья чего стоит.

— Ты опять, старый черт?!. — закричал Пров Михайлыч и ударил по столу кулаком.

— Дело говорю... Али не поглянулось?..

— Ты еще поговори у меня!.. Возьму старого черта за ногу да прямо в воду.

Женщины переглянулись и хихикнули.

— В воду? — не унимался Сосипатр. — Этакое ты слово сказал, Пров Михайлыч... А уж тебе-то надо бы ровно знать, какая она такая эта самая вода бывает.

— Не тронь, Сосипатр, — вступилась неожиданно Лукерья, — твое разе это дело?..

— А ты чего заступаешься... а?

— А вот заступаюсь.

— Утопить бы тебя, курву... Слыхала?.. За хвост да и бросить, как кошку... Ишь выискалась тоже... Убежала небойсь, как тогда бурлаки наступили... не поглянулось!..

Пров Михайлыч слушал эту ругань, а потом неожиданно засмеялся. Старик посмотрел на него, плюнул и выбежал из избы.

— Ишь, как его разбирает, колдуна... — смеялся Пров Михайлыч.

Лукерья сердито посмотрела на пьяного купца и опустила глаза.

— Ну, ты чего на меня-то сердишься, Луша? — ласково заговорил Пров Михайлыч и потянулся своей волосатой рукой к девушке, но Лукерья еще дальше отодвинулась от него.

К моему удивлению, лошади действительно пришли сами, и через час после чая мы уже выехали из деревни. Сосипатр ехал на рыжей кобыле без седла рядом со мной и смешно болтал голыми ногами, когда лошадь

пускалась трусцой. Мы проехали мимо разбитых барок, где теперь все было тихо. Народ только что пообедал и отдыхал, кому где показалось лучше. Большинство искало спасенья от летнего зноя в тени кустов, некоторые заползли под барочный лом, из-под которого выставлялись только одни ноги, а двое спали прямо на солнце, раскинувшись в самых отчаянных позах.

— Так это ваш кормилец? — спросил я Сосипатра, когда мы проезжали мимо бойца.

— Прямой кормилец... А то как же, по-твоему?.. Целая деревня около него кормится... По-твоему, камень, мол, и вся тут. Тоже камень камню розь, родимый мой. Тоже вот вода... Поглядеть, так оно самое простое дело, а ежели головой своей подумать хорошенько, так она, вода-то, точно что вода, да не просто.

— А какая же вода?..

— Такая... Она вон как подыграла Прова-то Михайлыча. Вот тебе и вода. Тыщ пятьдесят рублей выдула из кармана-то единым духом. Вот она какая...

Меня заинтересовал этот разговор. Старик был разговорчивый, и мы болтали всю дорогу. Лошади знали дорогу и не нуждались в поводьях.

— Теперь взять Прова Михайлыча, — рассуждал Сосипатр, — богатенный купец по Чусовой, денег у ево — страсть. А от кого жить пошел? От матушки Чусовой... Сначала по малости сплавлял разную кладь, больше по межени на полубарках, а потом, как в силу вошел, и развернулся. Вон сколько хлеба ноне скупил, да не привел господь до конца, значит, довести: Зайчик не пустил... Стой!.. Будет баловаться. Ты играть, и я с тобой поиграю. Вот и вышла игрушка...

— Какая игрушка?

— Ну, а которая в избе с ним сидит... Лукерья эта самая. Из-за нее ведь все дело вышло. Раньше-то Пров Михайлыч степенный человек был, а как разбух от своих денег, — дурь эта самая в нем и заходила. Жена своя есть, дочь на возрасте, а он себе вон Лукерью припрег... И курва только девчонка!.. Обошла мужика, окружила совсем... Плачет ведь он без ней, как ребенок без матери. Нечистое дело, одним словом.

— Откуда она, Лукерья-то?

— Да наша же, чусовская, с верхних пристаней откедова-то. Ну, путался с ней Пров-то Михайлыч, а тут весна, надо караван сплавлять. Ну, все наладил, казенку [1] выстроил, а в казенку-то вот эту самую Лукерью посадил. Как это, по-твоему: ладно или неладно?.. Матушка-земля всякий грех в себе терпит, а вот вода-то не любит этого, пакости-то нашей не любит. Набрал Пров Михайлыч что ни есть лучших сплавщиков, поставил на свои барки бурлаков в полной мере, только плыви... А оно вышло не так. Тридцать лет по Чусовой-то плавал Пров Михайлыч, понадеялся, ну, а тут и казенку и другие барки под Зайчиком и убило.

— Да ведь не у него одного барки нынче разбило?

— У других другое, родимый мой... У других-то из шести барок одну убьет, много две, а тут все шесть Зайчик съел. Это уж неспроста. Вода не хотела поднимать его-то озорство. Разве так добрые-то люди плавают?.. Тут надо с молитвой да со страхом, а он придумал в казенке с Лукерьей обниматься. Ты как полагаешь насчет этой воды?.. Ведь она вся живая, она чувствует... да. Посмотри-ка, как наша Чусовая примется по весне свои разговоры разговаривать: только стон стоит. Это она веселится, кормилица. Тогда, как убило под Зайчиком казенку-то, так Лукерью едва вытащили из воды, совсем было захлебнулась. Сам-то Пров Михайлыч как осетер плавает, ну, он ее и выволок на берег... Тут опять бурлаки накинулись на нее, на Лукерью.

— А они за что накинулись?..

— За это за самое, што из-за нее все досыта воды нахлебались. Тоже понимают... Так расстервенились — страсть. В воду хотели бросить. Едва она тогда убежала. Ну, а потом Пров-то Михайлыч нарошно за ней, курвой, посылал. Я же и ездил...

---

[1] Казенка — барка с каютой. (*Прим. Д. Н. Мамина-Сибиряка.*)

ПАУЧКИ

Рассказ

I

На городской каланче пробило десять часов. Летнее утро свежо, хотя уже начинает чувствоваться наливающийся зной, особенно на солнечной стороне улицы; пешеходы пробираются по дрянным деревянным тротуарам, какие сохранились только в глухих провинциальных городах. Каждый прокатившийся по улице экипаж оставляет за собою длинную полосу пыли, которая садится на все кругом толстым слоем.

— Кажется, пора... — говорю я, вынимая часы.

Предстоит довольно неприятный визит; поэтому я стараюсь не думать о нем, а беру шляпу и торопливо выхожу из своей квартиры. Всего несколько улиц. Навстречу попадается несколько чиновников, дьякон, отслуживший раннюю обедню, несколько разбитных мещанок с коромыслами; вихрем пронеслась пара наотлет местного светила медицины; шарахнулся одуревший с жиру стоялый купеческий жеребец, заложенный в лакированную пролетку; где-то на крыше неистово кричат галки. Вот и старинная церковь, видавшая еще татарские «заезды». Беру налево по каменному тротуару; вот и черная, точно крытая бархатом вывеска с золотой надписью: «Банкирская контора Подбрюшникова и К°». Трехэтажный каменный дом, великолепный подъезд,

одним словом — помещение, приличное для финансовых операций.

— Заперто-с, — предупреждает какой-то сомнительный господин, когда я направляюсь в подъезд.

Очевидно, мы явились сюда по одному и тому же делу, придется подождать. Сомнительный господин продолжает совершать неторопливый «променаж» по тротуару и заглядывает в окна банкирской конторы. Я тоже делаю несколько туров по его следам, но это скучно — ухожу на бульвар и сажусь на зеленую скамейку, покрытую пылью и разными гиероглифическими надписями. Солнце начинает припекать. От нечего делать черчу палкой на песке разные геометрические фигуры. Незадолго до меня кто-то сидел на этой же скамье и тоже чертил палкой по песку; видны следы широких каблуков, несколько свежих окурков валяются тут же. Начинаю думать на тему: кто был мой предшественник и чего он ждал? Может быть, это тот самый господин, который ходит под окнами банкирской конторы; наверно, он сидел, сидел, а теперь и разминает ноги. Еще раз вынимаю часы — половина десятого без семи минут.

Часы у меня дешевые и очень плохие; приобретены они в минуту жизни трудную и ходят чрезвычайно капризно — то отстанут на полчаса, то забегут вперед на целый час, а то и совсем остановятся. Но я все-таки люблю их, как любят старого испытанного друга; ведь они были живым свидетелем работы, неудач, радости и горя, именно живым, потому что размеривали как бы сознательно время по всем этим житейским рубрикам. А сколько было передумано и перечувствовано с ними в бессонные ночи, у постели больного любимого человека, в минуты тяжелого уныния, когда не клеилась работа и нападало страшное чувство сомнения и неуверенности в собственных силах. По ним же считался пульс, когда жизнь уходила из тела капля за каплей и неотступная мысль о смерти заслоняла собой все другие представления, чувства и желания. Нет, я положительно люблю вот эти самые дрянные часы, это механическое сердце нашего торопливо работающего времени, — чувство довольно смешное, но, вероятно, хорошо

знакомое очень многим небогатым людям. Кроме своих законных функций, моим часам приходится выполнять одну двусмысленную и обидную роль, потому что они в отделе моей движимой собственности являются единственным представителем благородного металла и поэтому время от времени выступают на сцену в качестве замаскированного денежного знака, говоря проще — закладываются в кассу ссуд. Мне всегда было тяжело расставаться с ними именно таким образом, но делать нечего: есть обстоятельства сильнее людей, и между ними первое место занимает «наш общий друг» — голод. Увы, я должен сознаться, что и теперь шел в банкирскую контору с коварною целью устроить некоторое перемещение ценностей, именно при посредстве этого старого испытанного друга. Впрочем, это слишком старая история...

— Подлецы... — сердито проворчал надо мною тот же голос, который давеча предупредил о запертых дверях.

Сомнительный господин видимо взволнован и садится на лавочку рядом со мной; он сердито сплевывает на сторону и раскуривает дешевую измятую папиросу. Следует довольно длинная пауза, и я опять начинаю думать на тему о разных неодушевленных предметах, которые имеют счастие делаться нашими друзьями, — факт, без сомнения, интересный в психологическом отношении, потому что расширяет область наших альтруистических чувств за пределы даже органического мира.

— Нет, каковы подлецы-то?.. — уже шипит сомнительный господин, запахивая расходящиеся полы своего верхнего пальто с явной целью скрыть заплатанные коленки. — Дрыхнут до десяти часов... а?..

— Кажется, контора обыкновенно открывается в девять? — спрашиваю я, чтобы поддержать разговор.

— Всегда в девять... Я и пришел сюда в восемь, целый час продежурил, а они не изволят и шевелиться. Знаете, я-таки добился — поймал швейцара и спрашиваю, отчего контору не отворяют. «Юбилей, говорит, справляли вечор...» — «Какой такой юбилей?..» — «А, говорит, трехлетний юбилей, потому как наше занятие весьма себя оправдало». По случаю этого юбилея теперь все и дрыхнут... Ну, скажите, ради бога, не под-

лецы они после этого... а? Тьфу!.. Конечно, есть из чего юбилеи-то справлять, когда с нашего брата по три шкуры дерут... Двенадцать процентов годовых да за хранение двадцать четыре, итого тридцать шесть процентов в год... Очень недурно!..

Сомнительный господин фукнул носом и с ожесточением задымил папиросой. Опухшее красное лицо с щетинистыми усами, заношенная блином фуражка, отсутствие белья — все обличало разночинца без определенных занятий, как и оказалось на деле, когда мы познакомились. Мы разговорились.

— Трудно нынче на свете жить, — рассказывал мой разночинец, — хоть и умирать, так в ту же пору... Уж где я только ни служил, господи, а все вот со дня на день бьюсь. Плохо нашему брату... Было место на железной дороге, на двадцать рублей жалованья, подаю прошение, а там их больше трехсот лежит. Это как?.. Смерть, а не житье нашему брату, разночинцу. Да-с... Нынче все мужика жалеют, а что мужик? Мужик настоящий богач супротив нашего брата. Послушайте, что же это мы тут сидим? Может, юбилейники-то и встали... Эх, вот кому масленица, а не житье — это закладчикам. Да-с, прежде этого и звания не было, а нынче везде пошли эти самые банкирские конторы. Взять того же Подбрюшникова. Да, дело верное: положил сто целковых, через год вынул триста. И все принимают, хоть кожу с себя сними да принеси им...

Контора, однако, оказалась еще закрытой, хотя швейцар, из отставных солдат, и пропустил нас подождать в приемную залу.

— Ну, так выправили юбилей, служба? — спрашивал разночинец.

— Известно, выправили... шенпанского одного сколько выпили — страсть! Потому, наше дело верное, вполне оправдалось...

II

Банкирская контора Подбрюшникова и К° ничем не отличалась от других касс. Прямо из передней посетители входят в длинную приемную, перегороженную

деревянной решеткой на две половины: в первой — клиенты, во второй — служащие. Кассир помещался, как обезьяна, в проволочной клетке. Двери налево вели в собственные апартаменты Подбрюшникова, человека новой геологической формации. В маленький городок на одном из притоков Оби он явился неизвестно откуда, открыл свою банкирскую контору и через три года «выправил юбилей».

— Здесь попрохладней будет... — говорил разночинец, усаживаясь на вылощенную посетителями дубовую лавочку. — Может, и проснутся, стервы-то юбилейные! Ох-хо-хо...

Действительно, в приемной было гораздо прохладнее, чем на улице, особенно около крашеной под дуб кирпичной стены. Пока я рассматривал обстановку банкирской конторы, разночинец погрузился в сладкую дремоту. Где-то жужжала и билась головой о стекло большая зеленая муха; на стене с медленной важностью чикали большие часы; на столах и конторках правильными кучками, как кирпичи, лежали тяжелые книги в массивных переплетах. К юбилею контора, очевидно, была подновлена, и сильно пахло непросохшей краской.

Сердобольный швейцар оказал гостеприимство не нам одним — скоро вошла молодая девушка с поблекшим лицом, потом старик чиновник, две бойких городских мещанки, какой-то мастеровой в кожаной фуражке. У кого был в руках узел, у кого просто бумажный сверток; фабричный достал из фуражки две розовых квитанции. Словом, набиралась специальная публика, которую можно встретить в любой кассе ссуд как в столицах, так и в далекой провинции. Собственно, настоящей голой нужды, которая протягивает руку на улице, здесь не бывает, — ей нечего закладывать, — но зато все переходные ступени к этой отрицательной величине — налицо. Большинство закладывающих всегда принадлежит к разночинцам, а в фабричных местностях — к мастеровым; средние ступени заняты мелким чиновничеством, якобы цивилизованным новым купечеством, людом случайной наживы, прогорелым барством, мыслящим пролетариатом и т. д. Мужика, духовное

лицо, представителя старинного крепкого купечества вы никогда не встретите в этой финансовой ловушке, которая затягивает и разоряет вконец. Замечательно то, что и в далекой провинции состав закладывающей публики тот же, что и в столицах.

Мне слишком часто приходилось обращаться за братской помощью к ссудным кассам, так что специфическое впечатление, производимое этими паучьими гнездами на свежего человека, с течением времени притупилось, как стирается монета из самого чистого, благородного металла от слишком долгого употребления. Но я нахожу, что время от времени очень полезно заглядывать в эти печальные места. Эта открытая всем четырем ветрам нужда оставляет сильное впечатление, тем более что здесь, в этих финансовых притонах, идет самая безжалостная спекуляция человеческого горя и несчастья во всевозможных видах, разновидностях и подразделениях.

— Э, с богатого немного возьмешь, — говорил мне один старик еврей, — богатый купит все во-время, оптом, а капиталы наживают по крошечкам, с небогатых людей.

Это уже целая теория о великом значении неизмеримо-малых величин, когда капля долбит камень или из микроскопических ракушек вырастают горные кряжи. Поэтому спекуляция бедности и несчастья доставляет самые баснословные барыши, как это известно всем политико-экономам. Сидя в банкирской конторе Подбрюшникова, я думал о том, отчего наши благотворительные общества не пустят в ход таких же точно ссудных касс, где по крайней мере брали бы законные проценты на капитал — и только. Ведь существуют же за границей такие кассы, где с бедных людей не берут за заклады никаких процентов... Закладывающая беднота еще может вывернуться при маленькой поддержке, и важно то, что она не будет переплачивать за свое безвыходное положение триста — четыреста процентов разным благодетелям вроде Подбрюшникова и К°.

Одним словом, читатель, я немного замечтался и залетел в область совсем несбыточных фантазий. Из

этого состояния вывел меня уже знакомый вам разночинец, который толкнул меня локтем и прошептал:

— Смотрите налево... в дверь.

В полуотворенную дверь можно было рассмотреть отлично меблированную комнату с ореховой мебелью и настоящими шелковыми драпировками. На пороге стояла девочка лет восьми и как-то не по-детски проницательно осматривала собравшуюся публику, то есть нас; она была одета в розовое барежевое платьице, открывавшее до самого плеча полные детской полнотой руки, с ямочками на круглых локтях. Девочка была очень красива, как бывают красивы дети последней детской красотой на границе неблагодарного переходного возраста; особенно хороши были задумчивые темные глаза с длинными загнутыми ресницами и великолепные белокурые волосы, падавшие бахромой на белый маленький лоб. Легкое кружево, охватывавшее шею, точно пеной, ажурные шелковые чулки и прюнелевые туфельки на ногах свидетельствовали о желании нравиться.

— Настоящая грёзовская головка... — проговорил мой разночинец. — Не правда ли, какая красивая девочка? И сейчас видно, что в этой маленькой фее уже просыпается женщина: посмотрите, как она держит ноги, точно позицию учит... Да. А как она смело смотрит... а?..

Этот отзыв разночинца меня удивил, потому что откуда бы знать этому сомнительному господину о грёзовских головках и позициях, а между тем он заговорил языком настоящего аматера и принялся рассматривать девочку неприятно прищуренными глазами. От девочки не ускользнуло это внимание; она нахмурила брови, сжала пухлые губки и, не торопясь, скрылась, что заставило разночинца улыбнуться самодовольной, странной улыбкой.

— Какова... а? — заговорил он после короткой паузы. — Это дочь самого Подбрюшникова и будет красавица, уверяю вас. Заметили, как у нее поставлена голова — роскошь...

— Знаете, как-то нейдет именно так говорить о детях, — заметил я, чтобы оборвать разлакомившегося

разночинца. — Детский возраст имеет некоторые счастливые преимущества...

— Совершенно верно... Но я ужасно люблю женщин. Да... видите, в каком я зверином виде, а все из-за женщин!..

Мне показалось, что мой собеседник начинает заговариваться, и я с недоверием посмотрел на его опухшее некрасивое лицо: с такой неблагодарной физиономией трудно было нравиться кому-нибудь.

— Однако вы за кого меня принимаете? — заговорил разночинец, поймав мой вопросительный взгляд. — Ах, если бы вы были на Востоке, где женщина в двенадцать лет бывает матерью, — о, какие там женщины, какие женщины...

— А вы как это на Восток попали?

— Помилуйте, три года в Тегеране жил... Как же-с!.. Да... При русском посольстве состоял. Я ведь на факультете восточных языков кончил, служил при министерстве, потом получил командировку в Персию. Память у меня хорошая была — восемь языков знал, да и теперь кое-что помню. Саади читал в оригинале... Вот автор... а?.. Его нужно читать именно под персидским небом, в этой восточной обстановке.

— Как же вы из Персии к нам в Сибирь попали?

— Из-за женщины... ха-ха!.. Вам это смешно слышать от такого санкюлота, а между тем это так. Я и восточными языками с этою целью занимался, чтобы пожить на Востоке в свое удовольствие. Действительно, скажу я вам, вот сторонка... и какие женщины!.. Раз, ночью, иду я по Тегерану; уличка этакая грязная, узкая, как самая скверная канава. Хорошо-с... Мазанки, сады... Только поровнялся я с одной стеной — там ведь стены не такие, как у нас: во-первых, из кирпича-сырца их лепят, а потом никакой архитектуры, просто какая-то детская работа, — тут выступ, там яма, одним словом, ни на что не похоже! — только иду я по уличке, задумался, и вдруг над самой моей головой этакий смех раздался... Так меня и обожгло! Поднял голову, а там, над стеной из виноградной зелени, два таких глаза, как черные бриллианты... Конечно, молод был, искал

приключений. Да... Начал я каждую ночь бродить мимо этой стены и познакомился... Оказалось, что это какой-то загородный дворец одного князька; ну жены тут у него жили. Я познакомился с одной из них, влюбился без ума, а потом в одну такую прекрасную ночь и увез ее... Ей-богу!.. Конечно, вышел громадный скандал, и, вдобавок, меня поймали почти на самой русской границе... Ну, понятно, меня со службы в шею, потому что я скомпрометировал все посольство. Мыкался-мыкался я, объехал всю Россию, теперь вот в Сибирь отправился искать счастья. Я, собственно, в Бухару хотел пробраться, да вот на полдороге засел и теперь третий год в вашем Пропадинске переколачиваюсь.

— Странная история... Чем же вы занимаетесь?

— Да как случится... Прошения пишу по кабачкам, занимаюсь бухарским языком, суфлером был. А теперь вот притащил в кассу эту штучку...

Мой собеседник вытащил откуда-то из-под подкладки складную зрительную трубу и торжественно раздвинул ее.

— Настоящая офицерская, тридцать пять рублей стоила, — объяснил он, снимая с объектива медную накладку. — Очень хорошая штучка, и так жаль расставаться с нею... Пригодилась бы в Бухаре. Крепился до последнего, а теперь вот приходится ее закладывать, да еще, пожалуй, и выкупить не удастся.

Мы разговорились, то есть я, собственно, хотел проверить моего собеседника и начал его расспрашивать об университете, о профессорах, о Персии, о персидской литературе. Оказалось, что мой разночинец не лгал и действительно был тем, чем выдавал себя.

— Странно, что вы в самом деле дошли до своего настоящего положения, — удивился я в заключение.

— Бывает, — философски ответил любитель восточных красавиц. — Знаете, у меня в Персии была даже какая-то проказа... ей-богу!.. Ноги раздуло, как бревна, язвы; одним словом, по всей форме. На беду, вылечился...

— То есть как это на беду?

— Да так... Иногда недурно во-время покончить лишние расчеты с этим лучшим из миров и выйти в

тираж. Да вон, кажется, и юбиляры начинают показываться... Однако двенадцатый час! Ах, злодеи!..

Упраздненный представитель восточной дипломатии засмеялся каким-то неопределенным смехом и потянулся рукой за подкладку, где лежала зрительная труба. В публике произошло легкое движение, точно дунуло ветром по траве.

III

Первым явился кассир, розовый, опрятный старичок в безукоризненной летней «паре» из китайского шелка; он не торопясь забрался в свою проволочную клетку и с медленной важностью принялся выполнять некоторые предварительные манипуляции — надел золотые очки, высморкался, причесался, даже поковырял в зубах. Лицо у него носило явные следы бессонной ночи, а красивые глаза так и слипались, как у кота. За ним появились канцеляристы, одетые в сборные костюмы; глаза у всех были заспаны, лица помяты. Они переглядывались между собою, улыбались, зевали и потягивались, передавая шепотом подробности юбилея, законченного где-нибудь в портерной или в дрянном трактире. Последним явился щеголь бухгалтер; он небрежно кивнул головой кланявшимся канцеляристам и прошел прямо в кассирскую клетку. Началась какая-то очень занимательная беседа, которая ведется после веселых ночей обрывками фраз, полусловами и заспанными улыбками; дожидавшаяся публика могла любоваться открытой белой шеей бухгалтера и его выхоленными руками.

— Когда же это начнут-то? — спрашивала с тоской девушка с бледным лицом. — Уж обед на дворе... Ах ты, господи!..

— Сказано: юбилей выправляли, — громко ответил фабричный.

— Это, наконец, черт знает что такое! — возмущался мой дипломат и отправился за объяснениями к кассирской клетке.

Он вернулся оттуда с нахмуренным лицом и сердито проворчал:

— Оценщика потеряли... Нигде не могут найти и в полицию заявление подали. Вот где подлецы-то...

Публика начала роптать. В комнате набралось человек двадцать; одни уходили, не желая дожидаться, их заменяли новые посетители. Кто-то вполголоса ругал пропавшего без вести оценщика; одна старушка спала, прикорнувши в уголке. Солнце врывалось в окна целыми снопами яркого света и заставляло жмуриться и зевать; в комнате делалось жарко и душно. Швейцар спустил парусинную занавеску на одном окне, но солнце упрямо лезло в комнату золотыми пятнами и полосками, которые рассыпались по мебели, конторским книгам и публике. А кассир и бухгалтер продолжали беседовать самым беззаботным образом, прихлебывая чай из стаканов в мельхиоровых подстаканниках.

— Это бессовестно так обращаться с публикой, — роптал дипломат, начиная шагать по комнате.

Появление самого Подбрюшникова на мгновение заставило роптавшую публику притихнуть. Он вышел из той двери, в которой недавно стояла девочка, поздоровался со служащими и прошел прямо в кассирскую клетку, куда ему сейчас же был подан свежий стакан чаю. Его приветствовали горячими рукопожатиями и какими-то комплиментами по поводу вчерашнего торжества, на что он отвечал легкими кивками головы. Это был видный и красивый господин неопределенных лет, с легкой лысиной в белокурых волнистых волосах; одет он был безукоризненно; на жилете болталась двойная массивная золотая цепь, на толстых и коротких пальцах блестели крупные бриллианты, — вообще это был настоящий «банкир», как их описывают в бульварных парижских романах.

— Что же мы будем делать? — спрашивал кассир. — Оценщика нигде не могут найти.

— Подождем еще немного... — лениво протянул Подбрюшников, поглядывая на публику.

В самый критический момент, когда публика готова была поднять открытый бунт, в дверях показался, наконец, оценщик — заспанный, угрюмый человек, с каким-то желтым лицом. Он, раскланявшись с хозяином и получив приличный выговор, занял свое место за

длинным столом, придвинутым к самому барьеру. Публика хлынула к нему и торопливо принялась развертывать принесенные узелки с вещами; впереди всех протолкался дипломат и торжественно предложил вниманию оценщика свою зрительную трубу. Раздвинув и сдвинув несколько раз трубу, оценщик ответил совершенно особенным, равнодушным тоном, каким говорят, кажется, только одни оценщики:

— Два рубля...

— Помилуйте, да она заплачена тридцать пять рублей! — взмолился дипломат. — Я с ней хотел ехать в Бухару...

— Извините, пожалуйста, мне решительно некогда.

— Да ведь я с ней объехал всю Персию! — не унимался дипломат и, схватив трубу, побежал с ней к кассиру.

Публика сильно наперла на оценщика, и я очутился в хвосте. От нечего делать я рассматривал физиономии служащих, оценщика, который с особенной ловкостью встряхивал и развертывал на столе какие-то шали, старую шубу и военные штаны с красной прошвой. Дверь налево, где помещалась хозяйская квартира, была притворена наполовину, и мне отлично было видно почти всю комнату. Около окна стоял изящный дамский рабочий столик, а за ним сидел мальчик лет семи, лицом ко мне; из-под стола выставлялись только его короткие ножки в ботинках и шелковых синих чулках. Отложной широкий ворот белой рубашки придавал красивому и серьезному личику ребенка необыкновенно поэтический колорит; русые волосы вились из кольца в кольцо, серые большие глаза смотрели бархатным влажным взглядом, но припухлые детские губы были сложены серьезно, совсем не по-детски. Около, неслышными шагами, двигалась уже показывавшаяся нам девочка в розовом барежевом платье; она выглядывала в полуотворенную дверь и кокетливо потупляла глаза. Дети были одни в комнате и старались говорить вполголоса, так что трудно было расслышать их детскую болтовню.

Я сначала не понял, что делали эти две грёзовских головки, но потом сделалось все ясно.

— Таня, ты что же это? — сердито спрашивал маленький Боря, сдвигая свои брови. — После этого я играть не буду с тобой.

— Что же ты сердишься... — проговорила девочка. — В прошлый раз ты гораздо меньше закладывал вещей.

— Хорошо, хорошо... — строго оборвал мальчик. — Ну, теперь ты что принесла?

Девочка достала из кармана какой-то сверток бумаги, осторожно его развязала и подала брату белую коробку из-под конфет. Мальчик взял коробку, не торопясь раскрыл ее, развернул розовую вату и добыл оттуда маленькое золотое колечко; он внимательно осмотрел его, взвесил на руке и серьезным тоном проговорил:

— А где проба?

— Ах, какой ты, Боря... — возмутилась девочка и, выхватив кольцо, указала розовым пальчиком на пробу. — Ну, какой еще тебе нужно пробы?

Мальчик опять внимательно рассмотрел все кольцо, прикинул даже его на свет и с прежней серьезной миной проговорил:

— Камень поддельный...

— Поддельный рубин? — всплеснула обеими ручками девочка. — Боря, ты, кажется, совсем с ума сошел... Это мне мама на рожденье подарила, а ты: «камень поддельный...»

Девочка очень удачно скопировала недовольную мину братца и даже отвернулась. Из-за шелковой оконной драпировки на детей упал золотой луч, и эти милые головки сделались еще лучше, как выставленные в окно цветы.

— Послушай, с тобой играть невозможно... — заворчал мальчик и заговорил прежним серьезным тоном, копируя больших: — Хорошо, я вам дам за него двадцать копеек...

— Нельзя ли рублик? — упрашивала девочка, тоже стараясь подделаться под тон больших.

— Нет, не могу... У нас и без того много всякой дряни. Если хотите — двадцать пять копеек... Больше, ей-богу, не могу...

Боря еще раз взвесил на руке кольцо и положил его в деревянную копилку, стоявшую на столе, а потом написал квитанцию и выдал ее сестре.

— Ты, Таня, совсем просить не умеешь... — заговорил он уже детским тоном. — Нужно плакать... Знаешь, как просят женщины у папы в конторе?

— Да я не умею, Боря... — шептала девочка со слезами в голосе.

— Пожалуйста, без капризов!.. Не разориться же мне для вас... Что у вас еще принесено?..

Девочка сделала нерешительное движение, но маленький закладчик был неумолим: он поймал ее за платье, притянул к себе и достал из кармана шагреневый футляр с какой-то блестящей безделушкой.

— Я не хочу больше играть... — говорила девочка, закрывая лицо руками.

Эта интересная игра грёзовских головок кончилась тем, что маленькая Таня окончательно расплакалась, хотя и не разжалобила семилетнего закладчика, который аккуратно сложил полученные в заклад вещи в свою копилку, выдал плаксе деньги и не моргнул глазом во все время операции. Это уже была не детская игра, и по всей вероятности Боря Подбрюшников пойдет далеко, может быть, гораздо дальше своего родителя...

Что же сказать на это? Я видал сотни детей нищих, маленьких воровок и воришек, детей несчастных и забитых, которых впереди ждала, может быть, тюрьма; но и эти отверженцы общества, исчадия нищеты, подвалов и всевозможных трущоб, никогда не производили на меня такого гнетущего впечатления, как эти поистине несчастные Боря и Таня в пестрой рамке окружавшей их роскошной обстановки... Кстати, вот вам, господа русские художники-жанристы, самый благодарный сюжетец для картины на самую большую золотую медаль.

ПЕРВЫЕ СТУДЕНТЫ

Рассказ

I

Как-то странно сказать: мои воспоминания, потому что давно ли все это было? Вчера, третьего дня — так живо проходят пред глазами разные сцены, разговоры, лица... А между тем несомненно, что все это уже отошло в область прошлого, далекого прошлого, о чем так красноречиво свидетельствуют новые люди, явившиеся на смену старым, как свежая трава сменяет прошлогоднюю. Перебирая в своем уме разные воспоминания, невольно удивляешься, что вот это случилось пятнадцать лет назад, а то двадцать.

Да, двадцать лет тому назад я был большим подростком — самый «неблагодарный возраст», когда человек от ребят отстал, а к большим не пристал. Это время колебаний, сомнений и каких-то смутных позывов вперед, в туманную даль неизвестного будущего. Помню те приливы юношеской гордости, которые сменялись периодами сомнений и самоуничижения. Совершался глубокий внутренний перелом, какой наблюдается у животных в пору первого линяния или перемены всей кожи. Тянуло к живым людям, в общество, и вместе с тем одолевал какой-то беспричинный страх, заставлял искать одиночества.

Лично для меня в этот критический период спасением являлась охота, — я говорю о лете, когда все время было свободно.

Приезжая на каникулы в один из уральских горных заводов, я большую часть времени обыкновенно проводил с ружьем в лесу. Бродить по горам от зари до зари, делать ночевки по лесным избушкам или где-нибудь на прииске, в старательском балагане, — было истинным наслаждением после школьных занятий в средне-учебном заведении. Это было счастливое время, хотя к осени обыкновенно я превращался в порядочного дикаря.

Моим неизменным спутником в таких экскурсиях был один из молодых заводских служащих. Раз мы как-то потеряли друг друга около горы Мочги. Вечерело. В лесу темнеет быстро, и мне хотелось засветло выбраться из ельника куда-нибудь на ночлег. Ближайшим удобным пунктом для такой цели был прииск Мочга — стоило только спуститься по реке версты две, а там и прииск и знакомые мужики. Когда торопишься — дорога всегда кажется длиннее. Как я ни спешил, быстро шагая по ельнику, но вышел на прииск уже в сумерки. В лесу поднялась тяжелая ночная сырость, все предметы кругом принимали самые фантастические очертания, и я был очень доволен, когда между деревьями мелькнуло мутное пятно прииска.

Картина прииска хорошим летним вечером замечательно оригинальна: весь лог, точно молоком, залит густым белым туманом, по угорью у лесной опушки приветливо мигают около старательских балаганов огоньки, пахнет гарью и дымом, а по логу из конца в конец волной ходит проголосная приисковая песня. Бредешь по траве, которая уже покрывается росой; начинают попадаться пробные шурфы, едва защищенные брошенной сверху хворостиной или валежником, — нужна большая осторожность, чтобы в темноте не сломать себе шеи среди приисковой городьбы. В лесу отрывисто бренчат боталами пущенные на волю лошади. Из плывущего уровня тумана далеко горбится крыша промывальной машины, точно спина какого-то чудовища. Вот и старательские балаганы — около огней

па̀ужнают пошабашившие работу семьи. Слышится ребячий плач, говор, чей-то смех. Над кострами качаются чугунные котелки с приисковым варевом, бабы пробуют ложками свою стряпню, кое-где к огню просовывается добродушная лошадиная голова, ищущая в дыму защиты от лесного овода. Вообще картина самая оригинальная и слишком близкая моему уральскому сердцу.

Балаган старого кержака Потапа стоял как раз напротив приисковой конторы, и я еще издали заметил сидевшего перед огнем моего товарища по охоте. Вон и сам Потап в кумачной красной рубахе, и его жена, старуха Архиповна, и дочь Солонька, и сын Гордей со снохой. Звонко тявкнула на меня точно выскочившая из-под земли собачонка Курепко и, понюхав воздух, ласково завиляла хвостом.

— Мир на стану... — проговорил я стереотипную охотничью фразу, вступая в полосу света, падавшего от костра, и только хотел ударить приятеля по плечу, но во-время удержался — это был совсем не он, а какой-то незнакомый молодой человек в крестьянской сермяжке, плисовых шароварах и в мягкой пуховой шляпе на голове.

— Откедова господь несет, родимый мой? — заговорил сам Потап, из вежливости поднимаясь с корточек. — Куды девал товарища-то?..

— А разве он не приходил?..

— Нет, не слыхать... Может, к другому к кому в балаган завернул, да как будто не тово, не слышно.

— Ну, значит, разошлись.

— Известное дело: в лесу-то часто глаза отводит, особливо под вечер. Идешь в одну сторону, а выйдешь наоборот... Как помоложе-то был, так лесовал тоже, с ружьишком, значит, и очень хорошо это знаю. Эк-ту одинова верстов с двадцать задарма прочесал... Вот оно какое это самое дело!..

По необыкновенно ласковой разговорчивости старика Потапа и по особенной неприветливости старой Архиповны я сразу понял, что старик выпивши, а так как была средина недели, когда ему выпивки не полагалось, то причиной веселью был, конечно, молодой че-

ловек в пуховой шляпе, как и оказалось после. Потап заметно покраснел, чаще обыкновенного мигал глазами и все повторял любимое раскольничье словечко: «родимый мой». Ворот красной, запачканной в приисковой глине рубахи заметно стеснял Потапа, и он щупал свой крепкий затылок, улыбаясь блаженной улыбкой и потряхивая головой. Маленькая темная бородка, темные усы и брови придавали старику очень моложавый вид, а в слегка вившихся черных волосах только еще начинала серебриться седина; лицо было тоже свежее, хотя под глазами были уже глубокие морщины. Сын Потапа — Гордей, наоборот, казался старше своих лет и глядел исподлобья, как волк. Это вообще был неприветливый и неразговорчивый малый, уродившийся ни в мать, ни в отца, а в проезжего молодца. Старуха Архиповна когда-то была очень красивая баба раскольничьего склада — высокая, чернобровая, сильная, таких много попадается в старинных раскольничьих семьях. Характер у ней был злой и сдержанный, каким отличается большинство раскольничьих старух, точно она раз и навсегда рассердилась, что отдала всю свою молодость и красоту дочери Солоньке. Эта последняя не вышла в мать только ростом, но зато уродилась такая крепкая, как сколоченная. Солонька всегда щеголяла в ситцевых сарафанах, подобранных с чисто заводским щегольством — к ней шел этот вообще неизящный костюм. Лицо у Солоньки было белое с легким загаром и румянцем; черные брови, сердитые темные глаза, ловко собранные в косу темные волосы и красивый небольшой рот делали ее завидной приисковой красавицей.

— Можно заночевать у вас? — спросил я из вежливости, устанавливая свое оружие к балагану.

— Заночуй, коли глянется... — отвечал Потап, мигая с особенной любезностью. — Только у нас там ребенчишко... в балагане, значит. Внучок мой... ну, так, пожалуй, тово... препятствовать только будет. Тоже господское дело, а он мужик, разинет хайло-то...

— Оно точно, что не способно... — заметила угрюмо Архиповна. — Животом скудается третью неделю ребенок-то, замаялись с ним...

— Да вот что, господин охотник, пойдемте к нам в контору ночевать? — неожиданно предложил мне молодой человек в пуховой шляпе.

— В сам-деле, Михаил Павлыч... — подхватил Потап. — Это куды порезонистее, чем в балагане, потому ребенчишко... не укажешь тоже ему, пострелу.

Мне оставалось только поблагодарить и из вежливости отказаться, но молодой человек продолжал настаивать, так что пришлось согласиться. Я только теперь рассмотрел таинственного незнакомца — это был белокурый молодой человек с тонким лицом, большими голубыми глазами и жиденькой растительностью на остром подбородке.

— Так пойдемте... — заговорил молодой человек, поправляя свою шляпу без особенной видимой причины. — Петька теперь как раз чай пьет. Ну, прощай, Архиповна... Когда ко мне в гости-то придешь?..

— А вот как курицы запоют по-петушиному, так я к тебе и подойду... Водки поболе запасай...

— Ах ты, моя матушка... — ласково протянул молодой человек жиденьким тенорком и задумчиво засмеялся.

Когда мы пошли от балагана, прямо через прииск, потонувший в тумане, молодой человек обернулся и спросил провожавшего нас без шапки Потапа:

— Это что старуха-то твоя сердится все на меня?

— А от глупости от своей от старой, Михаил Павлыч... — бормотал Потап, забегая вперед. — Вот я, значит, как уподобился шкаличку, ну, ей и обидно. Одно слово: баба... волос долог, и штобы настоящего... и нет ево, настоящего-то. Как перед истинным Христом, родимый мой...

Молодой человек опять засмеялся, а Потап, чтобы выказать во всей форме свое усердие, забежал в сторону и пнул ногой стреноженную лошадь прямо в живот. Не ожидавшая нападения лошадь неловко поднялась на дыбы и тяжело начала скакать под гору.

— Зачем ты лошадь беспокоишь, Потап? — спросил я.

— А так... ишь, место где нашла! Еще испугает, пожалуй...

Остановившись, старик каким-то униженным тоном прибавил:

— Михал Па́влыч, родимый мой...

— Чего тебе?

— Ах, родимый мой, разозлил ты только меня... а? Ну, какой я теперь человек... так, только замахнулся.

— Да ведь водки нет больше: всю выпили.

— А в конторе?.. Эх, Михал Павлыч, уж я заслужу, родимый мой... верно тебе говорю. Только один стаканчик бы...

— Хорошо. В конторе, кажется, еще оставалась водка.

— Уж я знаю... верно! Михал Павлыч, родимый мой, да я... вот сейчас провалиться...

Мы шагали в густом тумане под гору, минуя выработки и шурфы, потом перешли плотинку и начали подниматься к конторе, глядевшей на прииск двумя освещенными окнами.

— Михаил Павлыч, вы извините меня... я не помешаю вам? — спросил я, когда мы подходили уже к самой конторе.

Молодой человек быстро оглянулся на меня, издал какой-то неопределенный звук и опять добродушно засмеялся, — мне нравилось, как он смеялся.

II

— Петька чай пьет, — проговорил Михаил Павлыч, бойко взбегая на шатавшееся крылечко приисковой конторы.

Мы вошли. Потап из вежливости остался на крылечке. Приисковая контора состояла из одной длинной комнаты, выходившей двумя окнами на прииск. Между окнами стоял большой стол, заваленный книгами, бумагами, железными банками из-под золота, гильзами и т. д. Один угол стола был очищен, и на нем стоял кипевший самовар. У окна на деревянном табурете сидел плечистый черноволосый мужчина в золотых очках и читал книгу — это и был Петька, как я имел право догадаться.

— А я гостя привел, Петька, — торопливо заговорил Михаил Павлыч, по пути скидывая свою сермяжку. — Позвольте отрекомендоваться: Михаил Павлыч Рубцов и Петр Гаврилыч Блескин, студенты казанского университета... Просим любить и жаловать.

Мне оставалось отрекомендоваться в свою очередь, и помню, что я сильно сконфузился, — меня резнуло по уху заманчивое слово «студенты», тогда как я просто был воспитанник средне-учебного заведения и притом находился в самом неблагодарном возрасте начинающего молодого человека. Меня особенно смутила манера Петьки здороваться молча, причем он чуть вскинул на меня свои серые добрые глаза. Потом у Петьки была такая великолепная темная борода, тогда как воспитанникам средне-учебных заведений полагается какой-то мерзкий пушок, точно у цыпленка. Мне показалось даже, что Петька взглянул на приятеля с немым укором, дескать, зачем ты привел сюда эту дрянь...

— Ага... воспитанник... так!.. — повторял Михаил Павлыч и, повернувшись на одной ножке, каким-то пискливым голосом спросил: — А вы с чем чай употребляете: с ромом или с коньяком?.. Ни то, ни другое?.. Жаль, значит, Америки не откроете. Та-та, ведь с нами Потап пришел, вот и компания... Эй, Потап, гряди в гридницу, и возрадуемся, яко радуется пьяница о склянице.

Потап не заставил себя просить и высунул в притворенную дверь одну голову с усиленно моргавшими глазками.

— Михаил Павлыч, родимый мой...

— Да иди, черт деревянный!..

Перешагнув порог, Потап остановился у самых дверей и забавно скосил глаза в сторону Пети — я вполне понимал старика.

— Это ты Петьки боишься? — спрашивал Михаил Павлыч, вытаскивая бутылку с водкой. — Ого, нагнал он на тебя хо́лоду...

— Уж это точно... Петр Гаврилыч постепеннее много будут вашей милости, Михаил Павлыч. Уж ты извини меня, родимый мой, на глупом слове...

— Верю... Ну, будет тебе дурака-то валять, Потап. Вот на, выпей стаканчик и марш к старухе...

Потап дрожавшей рукой принял стаканчик, перекрестился, отвесил поклон хозяину и выпил так аппетитно, что Михаил Павлыч даже крякнул от удовольствия.

— Вот это я люблю... — похвалил он старика, налил себе стаканчик и фальшиво запел:

Мы петь будем и гулять будем,
А и смерть придет — помирать будем.

Пока Михаил Павлыч выпивал свою порцию, Потап почтительно выпятился в дверь.

— Се что красно и добро есть: живите, братие, вкупе, — проговорил Михаил Павлыч, пряча бутылку, — а посему, Петька, мы будем чаи распивать.

Петька молча налил нам стаканы и опять уткнул нос в книгу, точно он был чем-то очень недоволен.

За чаем я успел рассмотреть нехитрую обстановку конторы, то есть две кровати, сооруженных на живую нитку, железный сундук, служивший кассой, дрянное ружье на стене, висевшую в углу волчью шубу, гитару и большую полку, набитую книгами. На окне тоже лежали книги, весы для приемки золота, приготовленный для работы хороший микроскоп, банка с плававшей лягушкой и несколько стеклянных трубочек, какие употребляются при химических опытах.

— Вы что же это, господин воспитанник, чаю мало пьете? — спрашивал Михаил Павлыч, когда я отказался от четвертого стакана. — Сие не есть укоризненно даже и детскому возрасту... Петька, валяй мне пятый сосуд, ибо и пити вмерти и не пити вмерти, так лучше ж пити и вмерти!.. Так, молодой человек?..

Михаил Павлыч говорил за всех, пил стакан за стаканом, отдувался, вытирал лицо платком и от удовольствия даже болтал короткими ножками. Он вглядывался в меня прищуренными близорукими глазами, улыбался и продолжал болтать, как школьник.

— Ух, задохся, отцы мои!.. — заявил он, наконец, и распахнул окно. — Этакая благодать стоит... Петька, очнись, ведь умирать не надо! Да посмотри ты в окно-то...

Петька, чтобы отвязаться, заглянул в окно и опять уткнулся в свою книгу. А летняя ночь была действительно замечательно хороша... От самой конторы разлился по всему логу волокнистый туман, за ним, у опушки леса, как волчьи глаза, светились старательские огоньки, а над всей этой картиной глубокой бездонной шапкой вставало искрившееся небо. Где-то в тумане скрипели два коростеля, смутно доносились звуки лошадиных ботал и лай перекликавшихся собак. В окно вливалась свежая струя ночного воздуха и несла с собой смолистый аромат елового леса и душистых лесных трав. Я даже пожалел, что ушел из балагана Потапа в контору, — там у огонька так хорошо теперь.

Мы заговорили об охоте. Михаил Павлыч тоже был охотник, хотя по близорукости плохо видел дичь.

— А вот мы завтра утром под Липовую гору сходим, — говорил он, высовываясь в окно и всей грудью вдыхая ночной воздух. — Ведро установилось; загубим рябцов пять... Петька, слышишь?

— Что такое?

— Тьфу ты, окаянная душа... Рябцов, говорят тебе, принесем.

— Ага... отлично.

Петька был тоже в простой ситцевой рубахе, в шароварах и в такой же шерстяной поддевке, как у Михаила Павлыча. Заложив ногу за ногу, он продолжал читать и время от времени сосредоточенно хмурил брови.

— Это ваша гитара? — спросил я Рубцова, когда он заметно притих и задумчиво смотрел куда-то в туман.

— А вы играете?

— Немножко.

— Вот это великолепно...

Не помню хорошенько, с чего я начал показывать свое искусство, но потом заиграл известную казанскую студенческую песню:

Где с Казанкой-рекой,
Точно братец с сестрой,
Типогрязный Булак
обнимается.

Петька оставил книгу и начал смотреть задумчиво на гитару. Рубцов наклонился к моему плечу, и я чувствовал на своей щеке его горячее дыхание, а потом он со слезами на глазах обнял меня и даже поцеловал.

— Голубчик, миленький... вот уважил-то!.. — шептал он задыхавшимся голосом. — Ну, еще разик... Петька, очнись!.. Вот именно так:

Тино-гря-а-азный Бу-лак
обнима-а-ается!..

Рубцов вытащил спрятанную бутылку и залпом выпил новый стаканчик. Он походил на сумасшедшего и несколько раз бросался обнимать Петьку и кончил тем, что швырнул его книгу в угол.

— К черту... всё к черту!.. — кричал он, бегая по комнате. — Gaudeamus, juvenes dum sumus... [1] А ну-ка еще эту, ну, как ее... Да вот:

По чувствам братья мы с тобою...

Я знал и «эту». Рубцов пел под аккомпанемент с увлечением, хотя страшно фальшивил и сердился на самого себя. Петька тоже подтягивал свежим ровным баском, какой бывает только у таких здоровяков. В порыве восторга Рубцов как-то машинально хлопнул второй стаканчик, заметно покраснел и долго смотрел на меня улыбающимися, но печальными глазами — последнее было его особенностью.

— Голубчик, понимаете ли вы... ах, нет, надо это пережить... да, пережить!.. — торопливо заговорил он, роняя слова. — Ведь это огнем по сердцу... это жизнь... Петька, помнишь?..

Схватившись за голову, Рубцов заплакал. Это было так неожиданно и непонятно для меня, что я оставил гитару и смотрел то на ходившего по комнате Рубцова, то на спокойно попыхивавшего папироской Петьку. Заметив мое смущение, Рубцов улыбнулся сквозь слезы и взял у меня гитару.

— Позвольте, голубчик, я вам сыграю мою единственную... — говорил он, усаживаясь с гитарой на

---

[1] Будем веселиться, пока мы молоды... *(лат.)*

окно. — У меня, как у волка, всего-навсего одна песенка... Вперед извиняюсь за свое козлогласие.

Своим фальшивившим тенорком Рубцов запел старинный романс:

В хижину бедную,
Богом хранимую,
Скоро ль опять возвращусь...

— Нет, это не то... — заговорил он, оставляя гитару. — Ну-ка еще... Помните, у Иловайского во всеобщей истории есть анекдот? Пировал король Артур со своими рыцарями — может быть, и не Артур, ну, да не в этом дело! — на дворе темная осенняя ночь; в зале, где пировали рыцари, горели огни, и вдруг влетает маленькая птичка... Рыцари задумались, а птичка улетела в окно. Один рыцарь встает и говорит: «Король, эта птичка напоминает мне человеческую жизнь, у которой темно впереди и назади...» Голубчик, вот и студенческие песни то же, что птички, — они напоминают нам о нашей жизни... Кажется, Петька, я начинаю завираться и немножко того... что-то как будто не подходит... Ну, да все равно, если не теперь так после поймете меня. Нет, мне решительно душно здесь — пойдемте на воздух, господа...

III

На поляне, между конторой и какими-то амбарами, кучером Софроном был разложен небольшой костер. На огонь появился опять Потап и бестолково суетился, мешая Софрону.

— Ты еще все здесь? — удивился Рубцов.

— Родимый мой... Михаил Павлыч... — бормотал Потап и расслабленно махал рукой. — Уважил ты меня... то есть, ах, как уважил!..

Софрон, молчаливый, красивый парень, как-то брезгливо старался не замечать пьяного старика и несколько раз, будто невзначай, толкнул его локтем. Было уже часов девять. На восточной стороне неба, из-за Сосуна-Камня, всплыла длинная туманная полоска и медленно тянулась к ярко блестевшему месяцу; зубчатая

линия ельника, окружавшего прииск со всех сторон, точно была посеребрена. Горная даль, видневшаяся в приисковую просеку, совсем потонула в сквозившей белесоватой мгле. Ближе лес, кусты и пригорки слились в сплошные темные массы. Густой туман попрежнему заволакивал весь прииск, и только кой-где еще мелькали догоравшие огоньки, — народ спал, завтра нужно было подниматься на работу вместе с солнцем. Воздух был теплый, и над огнем скоро с тонким писком закружились неугомонные комары. Изредка налетала ночная птица и, как брошенный камень, опять пропадала в окружавшей темноте.

Мы поместились на разостланной сермяжке Рубцова и долго сидели около огня молча, покуривая папиросы. На минутку пришел Петька, посидел на корточках около огня, помолчал и поднялся уходить.

— Петька, ты куда? — окликнул его Рубцов.

— А спать... — лениво ответил Петька, потягиваясь.

— Ну, черт с тобой...

Рубцов, видимо, был недоволен бесчувственностью приятеля и нервно теребил свою жиденькую бороденку.

— Эх, выпить надо... — вспомнил он и послал Потапа за бутылкой. Старик, как собака, все время сидел в почтительном отдалении и ждал поживы от загулявшего барина.

— Петр Гаврилыч к черту меня послал... — объявил Потап, появляясь с бутылкой. — И еще такое словечко завернул, родимый мой... Не слушай, теплая хороминка!..

Выпив стаканчик, Рубцов опять повеселел и налил водки Потапу за труды. Поплевывая в огонь, он начал расспрашивать меня, где я учусь и куда думаю поступать по окончании курса.

— В университет?.. — повторил он задумчиво. — Отличное дело... Эх, я сам бы опять поехал учиться туда, с первого курса... Ей-богу!..

— Вы кончили курс?

— Я?.. Я-то не кончил, а вот Петька кончил — кандидат естественных наук. Ну, да это все равно... Не знаю, как вам удастся, а мы пожили в свою долю. Поедете по Волге мимо Казани, поклонитесь от меня...

так попросту: снимите шапку и в пояс. Да, было пожито, молодой человек... Хороших людей видели, умные речи слушали, а вот теперь на свежую воду выплыли...

Увлекшись студенческими воспоминаниями, Рубцов с воодушевлением рассказывал о своей жизни в Казани — о профессорах, о сходках, о товарищах, о хороших книжках. Понятно, что я слушал его, затаив дыхание: это был первый живой человек, который заговорил о том, о чем приходилось читать только в романах. С другой стороны, я не мог не сознавать своей пассивной роли в этой сцене — Рубцову необходимо было высказаться, и вот он обрадовался живому человеку. С своей стороны, я мог только рассказать о скучной и однообразной жизни «воспитанника средне-учебного заведения», причем постоянно берегся, чтобы не сказать чего-нибудь глупого. Рубцов замечал мои усилия и улыбался своей хорошей улыбкой. Он обладал секретом держаться с той простотой, которая так обаятельно действует на неопытную юность: я был в восторге от моего нового знакомого и чувствовал, как моя голова начинает сладко кружиться от поднятого в ней вихря мыслей. В самом деле, это было первое пробуждение, и будущее рисовалось в такой заманчивой радужной перспективе. Рубцов, кажется, понимал мое настроение и сам заражался юношеским восторгом.

— Знаете, что я вам скажу? — говорил Рубцов, раскуривая папиросу не с того конца. — Мы никогда не замечаем своего счастья, как не замечаем своего здоровья... Вернее сказать, мы понимаем счастье только задним числом. Вы это после поймете, когда жизнь помнет вас хорошенько... да. Может быть, поймете и то, почему Рубцов так глупо разревелся давеча над студенческой песенкой... Да, батенька, и глупости наши имеют свою цену, поелику в них кроется зерно поэзии.

Рубцов первый засмеялся над своим философским заключением, тряхнул головой и заговорил об естественных науках. Самая непоследовательность в мыслях Рубцова имела для меня необъяснимую прелесть, потому что как нельзя более отвечала моему душевному настроению. Естественные науки приклеились необыкновенно плотно к казанским профессорам, и я чувство-

вал, что именно вот за эти естественные науки и отдам всю душу — воображение рисовало самые фантастические картины занятий в химической лаборатории, физиологические опыты, чтение хороших, умных книжек.

— Теперь все это для вас не так еще понятно, — ораторствовал Рубцов, складывая ноги калачиком, — а вот когда вы выплывете на свежую воду, как мы, да потретесь среди людей, ну, тогда и поймете... Наука — святое дело, она образует великую семью. Вот нас с Петькой судьба забросила на Урал, вон в какой медвежий угол; да здесь с ума сойдет живой человек, если бы не наука. Будет время, и вы помянете Рубцова добрым словом.

В порыве охватившего его увлечения Рубцов предложил мне посвятить меня в тайны первоначального естествознания, чтобы подготовиться постепенно к университетским занятиям. Мне до окончания курса оставался целый год, и нужно было дорожить временем. Конечно, я принял это великодушное предложение с восторгом, и, чтобы скрепить наш случайный союз, мы опять играли на гитаре и пели студенческие песни. Отрезвившийся на воздухе Рубцов опять опьянел и опять готов был расплакаться.

— Родимый мой... Михал Павлыч... — заговорил Потап, пользуясь хорошей минутой. — Стаканчик бы... а?.. Заслужу...

— Отвяжись... надоел!.. Разве хорошо так приставать?..

— Сам знаю, что нехорошо, родимый мой... Уж што тут хорошего, известное дело: одна наша слабость...

— Ну, хорошо: я тебе дам стаканчик, а ты спой, знаешь, ту песню, которую я люблю...

— Изуважу... Это «На заре-то было, да на утренней»?

— Да, да...

Выпив стаканчик, Потап присел к огоньку, приложил руку к щеке, закрыл глаза и еще сильным голосом затянул проголосную уральскую песню:

На заре-то было, да на утренней,
На восходе-то красного солнышка...

Нужно отдать справедливость Потапу, что пел он мастерски, с той захватывающей душу энергией, как

поют старые проголосные песни одни раскольники. Рубцов как-то весь распустился и размяк, напрасно стараясь подпевать старику. Песня катилась по всему прииску и необыкновенно гармонировала с этой душистой летней ночью, с этим бесконечным лесом, с догоравшим огоньком и молочной, шевелившейся кругом нас мглой. Некоторые ноты Потап брал всей грудью, и песня лилась далеко-далеко, отдаваясь эхом по всему логу.

Ты, дуброва ли, дубровушка зеленая!..
По тебе, моя дубровушка,
По тебе мы множко гуливали,
Мы гуляли — не нагуливались,
Мы сидели — не насиживались...

— Эх, хорошо старый черт поет... — шептал Рубцов, закрывая глаза от удовольствия. — Да... «множко гуливали...» «Мы сидели — не насиживались...»

Но в этот момент из ночного тумана, точно навстречу стариковской песне, чистою и звонкою, как серебро, нотой, поднялась другая — пел свежий женский голос, и песня то замирала, то опять поднималась, точно она плыла вместе с этим туманом. Рубцов вздрогнул, открыл глаза и, как очарованный, долго прислушивался к доносившимся звукам. На лице у него выступили розовые пятна, глаза засветились... Потап тоже остановился и, прислушавшись, проговорил:

— Ишь, шельма, это моя Солонька заливается...

Рубцов неожиданно вскочил и, как был, без шапки и в одной рубахе, побежал под гору и сейчас же скрылся в тумане. Потап ринулся за ним.

— Михал Павлыч... родимый мой!.. невозможно!..— кричал старик, тоже исчезая в тумане. — Ужо тебя старуха-то!.. Миха-ал...

Слышно было, как звонко гудели шаги бежавших. Кто-то, кажется, упал в воду, потом из тумана донеслись замиравшие крики Потапа: «Михал Павлыч... родимый мой!» А Солонька продолжала свою песню с теми необыкновенно высокими переливами, как поют кержанки: отдельные звенья песни то замирали, то опять поднимались, и казалось, что она все удалялась куда-то в лес.

IV

Вместо того чтобы ранним утром отправиться на охоту под Липовую гору, как мы уговорились с вечера с Рубцовым, я проспал самым бессовестным образом и проснулся только в десять часов, когда летнее солнце заливало своим горячим светом всю комнату. Меня разбудил чей-то тихий смех и молчаливая возня. Открыв глаза, я сначала не мог сообразить, где я. Рядом со мной на походной кровати мертвым сном спал Рубцов, и это объяснило все — я припомнил свое вчерашнее знакомство до мельчайших подробностей.

На письменном столе, как и вчера, стоял кипевший самовар, а около него с книгой в руках сидел Блескин. Я несколько минут наблюдал идиллическую картину, которая вызывала разбудивший меня смех. По письменному столу бродил маленький серый котенок, который и составлял главное действующее лицо происходившей немой сцены. Блескин укладывал какую-то большую тетрадь на самый конец стола таким образом, что один конец выдавался вперед; на этот выдавшийся конец тетради он помещал кусочек булки, обмакнутый в сливки. Серый котенок своими умными зелеными глазами долго наблюдал устраивавшуюся ловушку, несколько раз обходил кругом самовара, пробовал качавшуюся тетрадь своей мягкой бархатной лапкой и кончал тем, что не мог удержаться от соблазна — он осторожно полз по тетради к кусочку, а потом летел на пол вместе с ловушкой. Это и заставляло Блескина смеяться до слез. Испуганный собственным падением, котенок несколько времени сидел под табуреткой, потом съедал приманку и кончал тем, что опять взбирался на стол. Блескин смеялся тихим душевным смехом, откинув свою красивую голову назад, и я никак не мог узнать в нем вчерашнего серьезного студента, который показался мне таким недоступным и сердитым человеком.

Разыгравшийся котенок кончил тем, что уронил со стола стакан с чаем и, как молния, исчез в окне. Это вызвало уже настоящий хохот Блескина. Рубцов проснулся, посмотрел кругом заспанными красными

глазами и бессильно уронил в подушку свою трещавшую от похмелья голову.

— Петька, перестань дурачиться... — ворчал он, закрывая глаза.

Через полчаса мы уже сидели за чаем. Блескин опять читал свою книгу, котенок спал у него на плече. Рубцов пил свой стакан молча, все ощупывал свою голову, морщился и старался смотреть куда-то в угол. Явившийся штегерь Епишка, вороватый мужик с разбегавшимися глазами, нарушил эту молчаливую сцену.

— Петр Гаврилыч, пожалуйте на машину... — отрапортовал Епишка, вытягиваясь у порога во фронт. — Маленькая неполадка случилась. Тоже вот отвод надо сделать черновлянам... Делянку новую просят.

Блескин молча поднялся с места, снял с гвоздя суконную синюю фуражку, глубоко надел ее на голову и молча последовал за штегерем. Мы остались в конторе одни. Мне предстояло поблагодарить за ночлег и отправиться восвояси.

— Вы куда это? — удивился Рубцов, когда я начал прощаться. — Нет, батенька, так порядочные люди не делают... Сначала позавтракаем, а потом побеседуем. Я ведь помню все, что вчера говорил вам. Только вот в голове эскадрон ночевал...

Рубцов вытащил из угла непочатую бутылку водки и выпил большую рюмку.

— Перепаратил вчера малость, — объяснил он, пряча бутылку и рюмку.

Выпитая рюмка произвела надлежащее действие, и Рубцов точно стряхнул с себя тяжелое похмелье. Мы опять говорили об естественных науках, перебрали лежавшие на полке книги, и тут я в первый раз познакомился с ботаническими картинами Шлейдена, с Молешоттом, Либихом, Циммерманом, Бюхнером и т. д. Отдельно стояли сочинения Бокля, Дрепера, Прудона, Добролюбова и Писарева. Рубцов брал одну книгу за другой, читал из них свои любимые места, а одну растрепанную книжку даже поцеловал. Вернувшийся с прииска Блескин застал нас за микроскопом — мы рассматривали кровообращение в перепонке живой лягушечьей ноги.

— Ну, что? — коротко спросил Рубцов приятеля.

— Ничего... — как-то нехотя ответил Блескин, усаживаясь на свое любимое место к столу. — Этот Епишка настоящий дурак. Наврал бог знает что...

— Э, батенька, старая истина!.. — засмеялся Рубцов добродушно. — Это настоящая bestia priiskoviana [1].

После завтрака из великолепных рябчиков и редиски мы отправились с Рубцовым на прииск.

— Надо немножко проветриться, а то главизна зело трещит, — объяснял Рубцов, спускаясь с крыльца.

Днем прииск представлял собой необыкновенно пеструю картину. Сотни рабочих, как мухи, облепили выработки, свалки и те места, где шла промывка золотоносного песку. Главное движение сосредоточивалось по течению р. Мочги, которая вверху была запружена, а внизу разбегалась десятками канав и желобов к отдельным вашгердам. Вода была желтая и глинистая; по краям канавок и на берегах за ночь образовался целый слой липкой, специально приисковой тины. По извилистым дорожкам бойко катились приисковые двухколесные таратайки. В выработках мелькали мужичьи шляпы, около вашгердов пестрели яркие сарафаны, у балаганов дымились огни и бегали по траве забытые ребятишки. Мы обошли весь прииск, хотя солнце начинало уже припекать без всякого милосердия. Рубцов осматривал работы и едва успевал отвечать на вопросы ходивших за ним рабочих.

— Да ведь Петр Гаврилыч был здесь, что вы пристали ко мне? — ворчал он.

— Нет, уж ты, Михал Павлыч, как ни на есть, погляди, — бормотали голоса. — Уж мы тебя знаем... Петр Гаврилыч точно што были, только ведь к ему тоже не вдруг подойдешь.

— Ругается?.. — с улыбкой спрашивал Рубцов.

— Кабы ругался, так ищо ничего... Хуже: молчит.

— Вот и подите потолкуйте с ними, — обратился Рубцов уже ко мне, как к незаинтересованной стороне. — Нужно, чтобы человек ругался.

---

[1] приисковая бестия.

Мы побывали на промывальной, где попыхивала паровая машина, потом заглянули в выработку Потапа и остановились отдохнуть у Потаповского вашгерда. От выработки, где работали мужики, до вашгерда было сажен сто. Гордей добывал в глубокой яме пески и выбрасывал их наверх, на особые деревянные подмостки, откуда их наваливали в таратайку, и десятилетний внучек Потапа вез добычу к вашгерду, где работали одни бабы — старая Архиповна и жена Гордея растирали пески железными лопатами, а Солонька, как самая сильная, подбрасывала на грохот новых песков или сгребала нараставшие кучи галек.

— Бог на помочь! — здоровался Рубцов, когда мы подошли к бабам.— Ну что, Архиповна, много ли намыла сегодня?

— С полфунта будет, — ответила Архиповна и неприветливо покосилась на нас.

— Маленьких полфунта?

— Все наши, и большие и маленькие.

— Так...

Рубцов немножко смутился и не знал, в каком тоне поддерживать разговор. Солонька не обращала на нас никакого внимания и ловко подбрасывала песок на вашгерд: железная лопата у нее в руках походила на какую-то игрушку. Я только теперь рассмотрел первую приисковую красавицу — она именно хороша была на работе. Из-под надвинутого на лоб кумачного платка так задорно и бойко глядели темные глаза, а свежее лицо светилось молодым, здоровым румянцем. Голые ноги и руки не знали устали. Рубцову, видимо, хотелось заговорить с Солонькой, но он стеснялся старухи и кончил тем, что раскурил папиросу.

— Эк тебя взяло с этим табачищем... — заворчала Архиповна, сердито отплевываясь. — Шел бы ты, Михал Павлыч, лучше к себе в контору. Нечего тебе с бабами тут делать...

Эта выходка заставила Солоньку едва заметно улыбнуться, и она лукаво вскинула глазами на Рубцова, который вдруг как-то съежился и торопливо сосал погасшую папиросу.

— Чистый дьявол эта старуха!.. — ругался Рубцов, когда мы шли по прииску домой. — И задними и передними ногами бьет... Ну, да это все равно!.. Слышали, как вчера вечером пела Солонька?..

День выдался необыкновенно жаркий, так что накаленный воздух переливался и струился, как вода, что бывает только в самый сильный зной. Ветра не было, и все кругом застыло в тяжелой истоме. Молча стоял лес, не шепталась трава, не слышно было птиц, только неугомонный дятел где-то недалеко долбил сухое дерево. Несколько артелей пошабашило. Виднелись группы обедавших рабочих. В одном месте около балагана успевшие отобедать спали на траве в самых отчаянных позах, точно раздавленные, как спят люди после каторжной, страдной работы. Попался штегерь Епишка, бежавший куда-то с пустым котелком в руках. Он издали снял кожаную фуражку и улыбнулся своей вороватой улыбкой. Блескин сидел у окна в одной ситцевой рубахе с расстегнутым воротом, а котенок ползал у него по широким плечам.

У самой конторы нас догнал Потап и без всякой церемонии объявил свое непременное желание «починить башку».

— Ты с ума, кажется, сошел? — рассердился Рубцов. — Что у меня разве кабак?..

— Невозможно, Михал Павлыч... мне просто житья от моей старухи не стало, а все из-за тебя. Поедом ест старая крымза... А уж я услужу, Михал Павлыч, родимый мой!..

Рубцов только засмеялся и подал старику в окно целую бутылку водки.

— Всю мне, Михал Павлыч? — изумился Потап, не решаясь принять свалившееся с неба сокровище.

— Всю... Да, пожалуйста, убирайся к черту на хвост, надоел!..

Потап сунул бутылку за пазуху и сначала бегом побежал через прииск к своему балагану, но вернулся с полдороги и скрылся где-то в кустах.

За обедом и после обеда опять шли те хорошие молодые разговоры, которым и конца нет. Теперь говорил больше Блескин и, нужно отдать ему справедливость,

говорил лучше, чем Рубцов. Он обстоятельно объяснял великое значение естественных наук, особенно химии, и самым простым языком рассказывал историю каждой науки в отдельности. Зоология, ботаника, анатомия, физиология — все это были такие великие науки, без которых невозможно ступить шагу. Ни психологии, ни истории, ни философии в настоящем смысле слова еще и не было, потому что все эти науки должны основаться на естествознании, которое еще делает свои первые шаги.

Рубцов сидел на окне, курил одну папиросу за другой, плевал за окно, стараясь попасть в котенка, спрятавшегося в траве, и напевал на какой-то необыкновенный мотив строфы из Гейне:

У меня глубоко в сердце
Золотой поставлен столик...
И, сидя на табуретках,
В карты дамочки играют...
Но с лукавою улыбкой
Всё выигрывает Клара...

С прииска я ушел только вечером, унося в своей охотничьей сумке штук пять хороших книжек. Это было такое молодое счастье, которое не повторяется. В голове бродил какой-то блаженный туман, и будущее казалось так хорошо, просто и открыто; вот в этих книжках, тянувших сумку, как кирпичи, все сказано, что нужно. Я даже смеялся от радости.

На опушке леса я неожиданно наткнулся на очень веселую группу: старый Потап, кучер Софрон и штегерь Епишка сидели с красными лицами на траве, — они, очевидно, угощались даровой господской водкой.

V

Все лето для меня прошло в каком-то чаду, хотя я жил только, собственно, на Мочге, куда отправлялся каждую неделю раза три. Студенты оставались прежними студентами, и моим идеалом сделалось быть таким же естественником, как Блескин. Да, это был

настоящий идеальный человек, и каждый раз я открывал в нем какое-нибудь новое достоинство. У Рубцова не хватало солидности и той выдержки характера, которая так неотразимо действует на молодую натуру.

Зачитываясь книгами по естествознанию, я жил в каком-то совершенно фантастическом мире. Действительность сосредоточивалась в приисковой конторе на Мочге, где всегда было так упоительно хорошо... Много лет прошло, а я как теперь вижу эту заветную полочку на стене, где заманчиво выглядывали объемистые томики геологии Ляйеля, «Мир до сотворения человека» Циммермана, «Человек и место его в природе» Фогта, «Происхождение видов» Дарвина и т. д. и т. д. Сколько бессонных ночей было проведено за чтением этих книжек, и вера в естествознание разрасталась, крепла и в конце концов превратилась в какое-то слепое поклонение. Хорошие книжки перемешивались с хорошими разговорами, тихими вечерами, беседами, а иногда горячими спорами студентов. Да, это было хорошее и счастливое время, и мне от души жаль ту молодежь, которая не испытывает ничего подобного, да и неспособна испытать: не те времена, а «что ни время, то и птицы, что ни птицы, то и песни».

Погода все время стояла отличная. Изредка перепадали редкие дожди, точно затем только, чтобы горы умылись и лес зеленел еще красивее.

— Вот вам, братику, великая книга, читайте ее! — ораторствовал Рубцов, указывая из окна на горы и лес. — Тут все: и ботаника, и геология, и зоология, и поэзия... Остальное все бирюльки и пустяки.

— То есть что остальное-то? — лениво спрашивал Блескин.

— А все остальное, чем тешились раньше: стишки, музыка, чувствительные романы, картинки разные. идолы, ну, вообще, так называемое искусство и quasi [1]-наука. Гиль и ерунда.

— Однако ты плачешь над гитарой?..

— Это атавизм, Петька... Ветхий человек сказывается. Значит, еще не укрепился в настоящей поэзии,

---

[1] мнимая *(лат.)*.

а нужно непременно что-нибудь этакое дрянненькое, кисло-сладкое, вообще гнусное...

— Ну, это уж ты врешь, братец.

— Как вру?

— А так. Не знаешь меры... Искусство тоже необходимо, только хорошее и здоровое искусство: и музыка, и пение, и живопись, и скульптура.

— Да, нужна фотография, нужны рисовальщики для хороших сочинений, нужны, пожалуй, две-три хороших песенки, нужно уменье приготовить из папье-маше манекена, нужна музыка для домашнего обихода, то есть когда играет Софрон на своей гармонии, нужны национальные танцы, чтобы встряхнуться, и только.

Этот вопрос об искусстве был неисчерпаемой темой для споров, и Рубцов в заключение всегда ругал приятеля «расслабленным эстетиком».

— Если уж ты хочешь, так вот в этой лягушке, которая корячится в банке, все твое искусство сидит, — кричал Рубцов, бегая по комнате.

— Ну, это, брат, началась базаровщина... — отвечал обыкновенно Блескин и смолкал.

Мне особенно нравилась та серьезная простота, с какой держали себя мои друзья относительно рабочих. Живость Рубцова уравновешивалась солидностью Блескина, и вместе они составляли великолепную пару. Именно, они особенно хороши были вместе, как я понял много лет спустя. От заигрываний с меньшим братом в равноправность удерживало обоих известное чувство меры, да и приисковые рабочие как-то совсем не подходили под идеальное представление настоящего мужика. У Рубцова, правда, была слабость почитать хорошую книжку кому-нибудь из молодых рабочих, но результаты появлялись самые плачевные: слушатель потел, ежился и кончал тем, что или просил на водку, или начинал прятаться. Единственным плюсом в этих попытках было то, что Рубцов выучил грамоте кучера Софрона и штегеря Епишку. Подвергался опытам и старый пьяница Потап, но он ни за что не хотел читать гражданскую печать.

— Нет, с нашими приисковыми мужиками ничего не поделаешь, — решил Рубцов. — Какие-то они очуме-

лые совсем... Толкуешь, толкуешь ему, а отвернулся, он — свое. Выучил Епишку с Софроном читать, дал им хороших книг, а они потихоньку от меня читают Бову да какой-то солдатский песенник.

— Значит, не умеешь взяться за дело... — коротко объяснял Блескин.

— Ну нет, тут нужно со школы начинать, братику... Может быть, бабы лучше пойдут. Как-нибудь надо попробовать с Архиповной.

— Да она грамотная, кануны «говорит» по покойникам.

— Ну, тогда с Солонькой... Бойкая девка.

— Попробуй. Как раз дело кончится клубничкой, на помещичий манер... Ты к тому же и стихи Гейне любишь, а там эта реабилитация плоти в совершенстве объясняется.

— Ну, ну, пошел! Тебе бы с Архиповной кануны говорить.

Приисковые рабочие по вечерам часто собирались около приисковой конторы. Где-нибудь тренькала балалайка, и непременно плясали. По праздникам приходили девки и «заводили» хороводные песни. Блескин посылал им самовар, чаю и пряников, сам подолгу стоял на крыльце и издали смотрел на чужое веселье. Рубцов, конечно, не мог смотреть с таким философским спокойствием на живых людей и непременно вертелся в девичьем хороводе, где пел песни и плясал с замечательным искусством, особенно когда выходила на середину круга подсадистая Солонька.

— Ай да Михал Павлыч, ловко откалывает!.. — восхищались все рабочие. — Форменно... Ну-ка, Солонька, подкозырни барину-то.

Мне казалось, что все эти рабочие ловкую пляску Рубцова ставили неизмеримо выше всех его остальных достоинств — это было просто обидно, хотя Рубцов сам любил посмеяться над этой особенностью народного понимания.

— Все-таки добрым словом помянут: «Ловко плясал Михал Павлыч!» — смеялся он своей грустной улыбкой. — Ведь если разобрать, так целая трагедия античная получится из этого непонимания.

Наступившая осень давала себя чувствовать. Первый утренник расцветил лес яркими желтыми пятнами, а где попадались осины — этот лес точно был обрызган кровью. Время для охоты наступало самое лучшее, но мне приходилось думать об отъезде. На Мочге все было попрежнему. Только раз мне пришлось сделаться невольным свидетелем одной странной сцены. Я брел с ружьем на прииск прямым путем, то есть лесом. В одном месте нужно было перейти узкую лесную прогалину, где обыкновенно паслись приисковые лошади. Знакомый смех и громкий голос заставили меня оглянуться. Как раз против меня на опушке стояла с уздой в руках Солонька, а Рубцов обнимал ее и целовал в шею. Солонька закидывала голову назад и от щекотки заливалась своим звонким смехом.

— Отстань, некошнŏй!.. — кричала она, делая слабую попытку освободиться от барских объятий. — Я вот тебя так окрещу уздой-то... Эк, привязался!..

Рубцов что-то шептал ей на ухо и продолжал целовать. Мое положение было самое глупое, какое только может выпасть на долю недоросля. Оставалось ретироваться, но я это сделал так неловко, что Солонька оглянулась в мою сторону и с визгом скрылась в лесу. Рубцов стоял на прежнем месте и теребил свою бородку с самым растерянным видом. Я чувствовал, что краснею, но пришлось выходить из невольной засады. Вероятно, мой жалкий вид, когда я подходил к Рубцову, рассмешил его, и он проговорил с улыбкой:

— Ах, молодой человек, молодой человек... Разве хорошо целоваться с Солонькой?.. Стыдитесь. Я вот скажу Петьке, какие вы опыты производите по естествознанию.

Шутка вышла тяжелая, и мы стесняли друг друга. В моих глазах Рубцов потерял прежнее обаяние: эти поцелуи и визг Солоньки не имели ничего общего с тем, что говорилось обыкновенно в конторе, да и Рубцов, очевидно, скрывал свое поведение от Петьки. Выплывала двойная ложь. Что общего могло быть между Солонькой и Рубцовым, и к чему могло все это повести?.. Помню, как мне было стыдно и больно за этот импровизированный роман, и всего удивительнее было то, что

я не мог больше смотреть прямо в глаза Рубцову, точно действительно виноват был я. Обидное чувство какого-то обмана и фальши не могло улечься и долго после, когда я припоминал эту сцену.

Это был мой последний визит на Мочгу. Мне тяжело было бы встретиться еще раз с Рубцовым, да и мое присутствие, видимо, его стесняло, точно что-то порвалось между нами.

— Увидимся через год, когда вы будете уже студентом, — говорил Блескин на прощанье.

Рубцов, против обыкновения, молчал и только ерошил волосы. Я проклинал глупую сцену в лесу вместе с Солонькой.

Через неделю я уехал в губернский город дотягивать лямку своего ученического существования и, странное дело, очень скоро забыл то тяжелое чувство, которое было вызвано последним путешествием на Мочгу. Молодость именно тем и хороша, что она не помнит зла и идет навстречу добру с распростертыми объятиями. Иногда мне казалось, что я создал в собственном воображении сцену свидания Рубцова с Солонькой в лесу и что в действительности не только ничего подобного не было, но и не могло быть.

VI

Прошел последний год бесцветной ученической жизни, и я сделался почти студентом. Понятна та радость, с какой я летел в родной угол, в свою горную глушь, и первым делом, конечно, отправился проведать своих друзей на Мочге.

Прииск расширился. Лес по течению Мочги был вырублен еще дальше. Работы с прежнего места спустились ниже. Около приисковой конторы образовался пустырь: брошенные ямы, обвалившиеся канавки, размытая плотинка, высохший пруд, зараставшие травой перемывки и т. д. Жизнь точно ушла отсюда, предоставив мертвой природе залечивать нанесенные человеком раны и царапины. Приисковая контора стояла на прежнем месте, и первое, что бросилось в глаза еще издали,

был свежий прируб. Это значило, что дела на прииске шли вперед и прибавили помещение для какого-нибудь нового служащего. Другие постройки остались в прежнем виде: тот же магазин для разных приисковых припасов, та же людская, где жили кучер Софрон и штегерь Епишка, те же конюшни и легонький навес для экипажей. Прируб был приставлен к глухой стене конторы и выходил окнами прямо в лес; маленькое крылечко было затянуто парусиной, как на даче.

Когда я подходил к конторе, было еще довольно рано — часов десять. Солнце начинало только еще припекать, и собаки наслаждались безмятежным покоем в тени крылечка. Им, видимо, было лень даже лаять, и только какой-то желтый барбос встретил меня глухим ворчаньем. Одно окно конторы было открыто, и, как мне показалось, в нем мелькнуло женское лицо. Признаться сказать, для меня это было неприятной новостью. Я поднялся на крыльцо и постучал в дверь.

— Войдите... — отвечал изнутри знакомый голос Блескина.

Представившаяся мне картина не требовала объяснения. У окна стоял тот же письменный стол; на нем стоял тот же кипевший самовар, и Блескин сидел так же со своим стывшим стаканом чая, заложив нога за ногу, а около него сидела Солонька и, при моем появлении, быстро спрятала какую-то книжку за спину. Она была одета в шерстяном платье какого-то необыкновенного линючего цвета и в красном платке, повязанном по-бабьи. У стены, где мы когда-то спали с Рубцовым, стояла детская кроватка, и в ней спал разметавшийся ручонками ребенок.

— Ах, это вы... — здоровался Блескин, оглядывая меня из-за своих очков. — Давно ли в наших краях?

— Только что успел приехать...

— Рубцов будет очень рад... Он где-то на прииске. Соломонида Потаповна, вы что же это книжку-то прячете?..

— Да так... — кокетливо проговорила Соломонида Потаповна, продолжая прятать за спиной книжку. — Так я испужалась, Петр Гаврилыч, — до смерти.

— Нужно говорить: испугалась...

— Уж вы всегда перешибете на каждом слове... А я все-таки испужалась... да! Што вы ко мне пристали?..

— Не кричите, пожалуйста, испугаете ребенка...

— Чего ему делается? Спит...

— Вы хотите чаю? — предлагал мне Блескин, вероятно, чтобы прекратить неловкую сцену. — Я ведь здесь в гостях, а сам живу рядом, в новом прирубе.

Пока шел обыкновенный в таких случаях разговор, я успел рассмотреть те перемены, которые были произведены в этой комнате присутствием Соломониды Потаповны. О детской кроватке я уже говорил. В углу стояли два новых зеленых сундука невьянской работы, тут же висел разный женский хлам, принадлежавший хозяйке, — новое ситцевое платье, барашковая шуба, пестрая шаль в мещанском вкусе, кумачный сарафан и т. д. Появился в углу дрянной шкафик с чайной посудой, на окнах ситцевые занавески и герани, на стене несколько лубочных картинок, в углу образок, двуспальная кровать и даже ковер перед ней. Любимая моя полочка с книгами исчезла совсем, а книги Рубцова просто валялись в углу и были покрыты толстым слоем пыли. Такую же печальную участь разделял и микроскоп, торчавший на окне. Детские пеленки, две-три игрушки и тот специальный беспорядок, какой бывает только в детских, довершали общую картину.

Соломонида Потаповна — прежней Солоньки, щеголявшей в подбористых сарафанах, больше не было — не вступалась в наш разговор и сердито перебрасывала какие-то вещи в углу под кроватью. Она была еще красивее, чем раньше, той смягченной и теплой красотой, какая дается только молодым матерям, но все это было испорчено шерстяным платьем мещанского покроя с невозможными оборками и короткой талией. Оно сидело на Соломониде Потаповне, как на корове седло, и особенно делало безобразной ее талию; то, что было так хорошо в сарафане, никуда не годилось в платье. Могучая спина приисковой красавицы теперь казалась просто безобразной, как и эти рабочие мозолистые руки и большие ноги, неловко ступавшие в новых козловых ботинках со скрипом и каблучками назади.

Чувствовалось что-то натянутое во всей обстановке, именно то, отсутствием чего раньше и была красна жизнь в этой комнате.

Вернувшись с прииска, Рубцов был, видимо, не в духе и как-то тяжело покосился на Соломониду Потаповну, которая не обращала на него никакого внимания.

— Ну, а что мой плод? — любовно спрашивал Рубцов, наклоняясь над детской кроваткой. — Спит, каналья... Вот всегда так: днем выспится, а ночью подымет такой гвалт, что жизни не рад.

Лицо у Рубцова заметно осунулось и загорело. В больших глазах уже не было беззаботного огонька. Прежней оставалась только поддевка, высокие сапоги и ситцевая рубаха, как и у Блескина. В разговоре Рубцов иногда забывал, что спрашивал, или отвечал невпопад — вообще к прежней рассеянности прибавилась какая-то тяжелая забота, одна из тех, о которых не говорят.

— Обедать, што ли, будем, Соломонида Потаповна? — обратился Рубцов к своей сожительнице с неприятной иронией в голосе и при этом оглянул ее с ног до головы.

— Не поспело еще... — коротко ответила та и отправилась в кухню, захватив с собой узелок грязного детского белья.

— Терпеть я не могу этих проклятых платьев... — точно застонал Рубцов, когда дверь затворилась. — Хоть ты ей кол на голове теши!.. Ведь безобразие... мещанство. Не правда ли? — обратился он неожиданно ко мне. — И сколько ей ни толкую, чтобы ходила в своих сарафанах, — ничего не берет...

— Соломонида Потаповна совершенно права по-своему, — спокойно заговорил Блескин. — Ей так нравится — значит, хорошо, и так быть должно. Заставлять ее одеваться именно так, как это тебе нравится, это... просто самодурство. Прежде всего в каждом человеке нужно уважать его личность.

— А если это безобразно, вот это самое шерстяное платье? И если Соломонида Потаповна не понимает этого безобразия? Я только желаю объяснить ей, а не принуждаю... Думаю, что я немножко больше ее пони-

маю, и на этом основании беру на себя смелость давать советы.

— Напрасная самоуверенность... Все это дело вкуса, а о вкусах не спорят.

— Наконец, если вообще мне это неприятно?.. Мне просто отравляет жизнь вот это самое проклятое платье с оборками...

— Ну, это уж прихоти, голубчик, и некоторый мещанский эгоизм.

— Вот не угодно ли, — обратился опять Рубцов ко мне, как к третейскому судье. — Их двое, а я один... Стоит мне рот раскрыть, как у Соломониды Потаповны является защитник, и я же остаюсь кругом виноват.

— Что же, я могу и не говорить... — заметил Блескин все с тем же неуязвимым спокойствием.

Рубцов только махнул рукой и забегал по комнате своим мелким шагом.

Проснувшийся ребенок вывел всех из затруднения. Он улыбался и смешно взмахивал ручонками, точно хотел вспорхнуть. Рубцов наклонился над кроваткой, и маленькое розовое личико ответило беззубой улыбкой. Но это веселое настроение быстро сменилось первой гримасой, кряхтением и отчаянным плачем.

— Эк тебя взяло!.. — выругался Рубцов, оглядываясь. — Куда это моя дама ушла?.. Вечно уйдет именно в то время, когда ребенок проснется...

— Это она нарочно делает, чтобы огорчить тебя, — объяснял Блескин, поднимаясь с места. — Или, может быть, ребенок выжидает, когда останется с глазу на глаз с папашей, и нарочно заревет, чтобы досадить...

Блескин спокойно подошел к кроватке, спокойно взял своими большими руками плакавшего ребенка и вынул его из кроватки. Маленький плакса сейчас же начал улыбаться прежней улыбкой и, забавно вытаращив светлые большие глаза, аппетитно принялся сосать свой розовый кулачок. Рубцов облегченно вздохнул и сейчас же повеселел.

— Нюта... Нюта... Нюта... — повторял Блескин, осторожно подбрасывая ребенка к самому потолку. — Маленькая барышня Нюта... Смотри, какой у тебя глупый папка!..

Барышня Нюта болтала голыми кривыми ножонками и захлебывалась от удовольствия, пуская слюни прямо на руку своей бородатой няньки.

— А мне стоит только взять эту барышню на руки, так она зальется таким отчаянным ревом, точно ее режут, — объяснял с улыбкой Рубцов. — Разбойник будет девка...

Явившаяся из кухни Соломонида Потаповна вся заалелась, когда увидела ребенка на руках у Блескина.

— Дайте мне ее сюда... — бормотала она, стараясь отнять ребенка, которого Блескин поднял к самому потолку. — Анка, Анка, подь ко мне!..

Всем сделалось как-то вдруг весело, и в этом хорошем настроении сели за обед. Обедали на Мочге рано, потому что вставать приходилось часов в пять утра. Когда мы уже кончали есть, в открытом окне показалась голова старика Потапа и сейчас же скрылась. Это вызвало общий смех.

— Эй, Потап, чего ты прячешься? — позвал его Рубцов. — Садись с нами обедать.

Голова Потапа опять показалась в окне; его лицо улыбалось нерешительно-заискивающей улыбкой.

— Спасибо, Михал Павлыч... — пробормотал старик, переминаясь с ноги на ногу. — Я уж тово, пообедал. На минутку завернул... Сейчас побегу на прииск, а то старуха загрызет. Михал Павлыч, родимый мой, всю поясницу у меня разломило...

— Тятенька, как тебе не совестно? — оговорила отца Соломонида Потаповна и сердито нахмурилась. — Вот ужо я скажу мамыньке, как ты водку здесь клянчишь...

— Ну, поди, поди к матери-то!.. — поддразнивал Потап. — Она те покажет...

— Так тебе лекарство нужно? — спрашивал Рубцов, наливая походный серебряный стаканчик.

— Михал Павлыч, родимый мой... то есть так ухватило, так ухватило!..

— Зачем это вы, Михал Павлыч, напрасно старика балуете? — ворчала Соломонида Потаповна. — Разве это порядок...

Голова Потапа исчезла, но еще раз появилась в окне и проговорила:

— Михал Павлыч, родимый мой... ради ты истинного Христа николды не слушай этих самых баб!..

— Ступай, ступай, нечего тебе тут делать... — ворчала на отца Соломонида Потаповна.

— Солонька... кто я тебе, а?.. Значит, тебе родной отец в том роде, как березовый пень... ладно!.. Погоди...

Блескин улыбался, а Рубцов выпил еще лишнюю рюмку водки.

Мне показалось, что между друзьями пробежала черная кошка и что прежняя товарищеская непринужденность исчезла навсегда, хотя они сами не желали убедиться в этом. Притом являлась мысль, что Рубцов точно ревнует Блескина — выходило как-то так, что Блескин стоял ближе к Соломониде Потаповне, лучше ее понимал и умел заставить ее сделать по-своему. Между ними установилась та тонкость понимания, которая обходится без слов, и это мучило Рубцова, как мучила его и авторитетность Блескина.

VII

Бывая часто на Мочге, я теперь останавливался уже в новой комнатке Блескина, где и место было свободное на мой пай, и заветная полочка с книжками, и, главное, сознание, что здесь никого не стесняешь своим присутствием. Рубцов тоже любил частенько завертывать в эту комнату и подолгу засиживался здесь за разными хорошими разговорами. Тут же неизменным сочленом нашей компании являлся большой серый кот. Это был тот самый серый котенок, который год назад смешил Блескина своими проделками до слез. Рубцов называл этого кота «мыслящим реалистом».

— Я когда-нибудь из этого мыслящего реалиста великолепный препарат сотворю, — уверял Рубцов, чтобы побесить Петьку.

Вообще в комнатке Блескина, как мне казалось, Рубцов на время делался прежним Рубцовым, и попрежнему мы под треньканье гитары распевали

студенческие песни, а Рубцов обязательно плакал, если был выпивши, что с ним случалось довольно часто. Но вообще все это было одной формой, внешней декорацией, а прежнего духа уже не существовало более: являлась какая-то невидимая тяжелая рука и тушила беззаботное веселье.

Мне привелось сделаться свидетелем этой жизни приисковой конторы до мельчайших подробностей, но это тяжелое *новое* нельзя было объяснить только тем, что в конторе поселилась Солонька, — нет, дело было гораздо серьезнее. Появились такие вопросы, о которых не говорила ни одна из заветных книжек, а главное — нельзя было не предвидеть появления все новых и новых комбинаций. Из-за дрязг и мелочей специально-семейной жизни Рубцова на приисковую контору надвигалась какая-то грозовая туча, и все переживали то нервное беспокойство, которое испытывается перед грозой.

Соломонида Потаповна вела жизнь совершенно растительную и, видимо, очень скучала. По утрам она училась читать с Блескиным, но занятия шли очень лениво, и ученица только потела или принималась зевать. Блескину стоило невероятных усилий научить ее читать, но зато дальше Соломонида Потаповна уперлась и ничего слышать не хотела ни об арифметике, ни о чтении хороших книжек.

— Неужели тебе хочется дурой остаться? — спрашивал иногда Рубцов, выведенный из терпения. — Кажется, времени свободного у тебя достаточно, а без дела одурь возьмет.

— Какая уж есть... — упрямо отвечала Соломонида Потаповна, сдвигая свои соболиные брови. — Вам что за печаль: дура была, дурой и останусь. Свои глаза-то у вас были... Ведь не венчанные: не поглянулась, и уйду.

— Это какое-то идиотство!.. — возмущался Рубцов, отступаясь.

Такие разговоры обыкновенно приводили к размолвкам, но Соломонида Потаповна отлично понимала все преимущества своего нелегального положения и не упускала случая воспользоваться всеми его выго-

дами, то есть она всегда повторяла «уйду», хотя видела, что это невозможно — их связывал ребенок. К этому ребенку Соломонида Потаповна относилась как-то равнодушно, так что, собственно, возился с ним больше Блескин: он вставал для этого даже ночью. В своем роде получалась замечательная картина: Блескин уносил в свою комнату маленькую Нюту вместе с колыбелькой и сидел над ней вместе с серым котом.

Любимым занятием Соломониды Потаповны было выйти на крылечко, сесть на ступеньку и сидеть здесь, пощелкивая кедровые орехи без конца. Солнце печет нещадно, в воздухе налита какая-то смертная истома, а Соломонида Потаповна сидит на своем крылечке, и только летят скорлупы. И это изо дня в день... Можно себе представить положение университетских друзей, когда пред их глазами торчал этот вечный живой упрек. Некоторое оживление Соломонида Потаповна испытывала только в моменты, когда кучер Софрон начинал наигрывать на своей гармонии разные залихватские приисковые «наигрыши» или штегерь Епишка выкидывал какое-нибудь коленце помудренее. Эти глупые люди, порядком нечистые на руку, очевидно, были ближе Соломониде Потаповне, и она кокетливо закрывалась рукой, чтобы не выдать душивший ее смех.

— Соломониде Потаповне сорок одно с кисточкой... — галантно здоровался краснорожий кучер Софрон, когда проходил мимо «полубарыни», залихватски подергивая свою десятирублевую гармонию.

Вороватый Епишка держался с полубарыней гораздо осторожнее и позволял себе разные колена только в отсутствие господ. Он делал безнадежно глупую рожу и раскланивался с Соломонидой Потаповной издали «по-господски», то есть расшаркивался, прижимал руку к сердцу и держал свою кожаную фуражку наотлет. Потом садился куда-нибудь на бревно и с помощью скребницы изображал, как господа читают в книжку, глядят в «микорсоп» и т. д. Софрон наяривает на гармонии, встряхивая волосами, Епишка выкидывает разные колена, а Соломонида Потаповна, сидя на крылечке, задыхается от смеха.

Не нужно было обладать особенной философской проницательностью, чтобы понять, чем вся эта история кончится в одно прекрасное утро.

Рубцову приходилось не легко, и мы целые дни вдвоем бродили с ним с ружьями по лесу, делая привалы в излюбленных местах, где-нибудь под Дымокуркой, на Пальнике или под Сосуном-Камнем. Это шатанье по лесу всегда оживляло Рубцова, и он точно встряхивался, веселел и без конца декламировал разные стихи, а больше всего, конечно, из Гейне. Особенно он любил повторять гейневских рыцарей, Вашляпского и Крапулинского.

Вместе ели, но с условьем,
Чтоб по счету ресторана
Не платить им друг за друга:
Не платили оба пана...

— Не правда ли, какая чертовская ирония? — спрашивал Рубцов, бросая ружье... — Ха-ха. Это как мы с Петькой!..

Нет, не все еще погибло!
Наши женщины рожают,
Наши девушки им в этом
Соревнуют, подражают...

Эти два рыцаря как-то живьем засели в моей голове, но теперь я не могу слышать этих стихов: под этой иронией крылась трагедия, та трагедия, которая одинакова как в патентованных трагических странах вроде Италии, так и в самом обыкновенном захолустье.

— Да, черт возьми, наши женщины рожают... — задумчиво повторял Рубцов, когда смешливый стих проходил. — Природа тут немножко того, нерасчетливо поступает.

Студенческая привычка выпивать у Рубцова, кажется, все росла с каждым днем, и, что было всего хуже, он начал пить один, потихоньку от других. Стесняясь показываться пьяным перед Петькой, он обыкновенно уходил куда-нибудь на прииск, пока не протрезвлялся. На охоте стесняться было некого, и Рубцов обыкновенно напивался на привалах настолько, что

домой приходил с красными глазами. Мне эти выпивки были хуже всего, потому что пьяный Рубцов питал большое пристрастие к откровенным разговорам, а известно, что такая пьяная откровенность ставит «наперсника» в самое дурацкое положение.

Раз мы отправились после обеда за дупелями в небольшое болотце, до которого от прииска было около трех верст. Рубцов выпил дома да прибавил еще дорогой. У него утром вышел какой-то неприятный разговор с Блескиным, следовательно, нужно было вознаградить себя. Я предчувствовал, что сейчас начнется излияние сокровеннейших чувств, и пожалел, что пошел на охоту.

— Да, я никого не обвиняю... — бормотал Рубцов, ступая неверными шагами. — Это уж последнее дело... да!.. Но это мне не мешает все понимать и все видеть.

Рубцов горько засмеялся и махнул рукой.

— Знаете, что мне говорил сегодня Петька?.. — продолжал он. — «Соломонида Потаповна скучает оттого, что в ее жизни произошел слишком резкий переход от тяжелой работы к безделью... Она слишком здорова и сильна для умственного труда, а ей необходима ручная работа, чтобы не сойти с ума». Чудак этот Петька... Думает, что я ничего не вижу и не понимаю!.. Вот и вы тоже... Нет, батенька, Рубцов все видит: как и Софрон выворачивает глаза на Соломониду Потаповну, и как Епишка подпускает ей турусы на колесах, а Соломонида Потаповна посиживает на крылечке, щелкает орехи и этак из-под ручки: хи-хи-хи!.. Так?.. Ну-с, так работа Соломониде Потаповне работой, а потом настоящий-то муж, чуть что, ее же за косы да хорошую трепку, — вот она тогда будет золотая баба. Тот же Софрон, если бы она вышла за него замуж, дул бы ее не на живот, а на смерть, и она же души в нем не чаяла бы... Так я говорю?..

— Нет, вы уж слишком, Михаил Павлович... так нельзя.

— Ну, уж, батенька, извините: вот так, как я делаю, это действительно нельзя, курам на смех, недаром Софрон и Епишка считают меня дураком. Но ведь не могу же я ее бить смертным боем... Боже мой, боже

мой!.. Нет, это страшно, вот на какие нелепости сводится наша жизнь... Учитесь, батенька!.. В самом деле, если разобрать всю эту историю, — ничего дурного... Живет созревший молодой человек в лесу и встречает созревшую молодую девушку; естественно, что он получает известное влечение... так? Ну, она необразованная, глупая, но зато такая здоровая и цветущая. Природа всесильна... Она делается матерью. Тут уж начинается другая аллегория... Посидимте, батенька, я устал что-то. Еще успеем дупелей погонять...

Мы расположились на лесной опушке, в тенистом уголке. Над нашими головами шатром поднималась старая рябина; вдали синели горы. Жар свалил, и из лесу потянуло вечерней сыростью. Рубцов еще выпил стаканчик из походной фляжки.

— Знаете, сначала я действовал под влиянием одного чувства, как животное... — продолжал он на ту же тему. — И красивая девка была — у кого угодно голова закружится. Ну, сошелся с ней... Когда чисто животный жар прошел, явилось более глубокое чувство: поднять ее до себя, выучить, дать приличное образование. А тут еще плод явился — значит, оставалось идти вперед. Ведь я сколько раз предлагал ей повенчаться — не хочет.

— Почему?

— А шут ее разберет... Раскольники они, вся семья, не признают церковного брака, а согласитесь, венчаться мне у ихних старух тоже не приходится. Вот бы веселенький пейзажик получился: студент Казанского университета совратился в раскол... ха-ха!.. Хорошо. Ну, замуж не хочешь идти, так будем жить, а тут вот какая музыка получается... Что же мне-то делать: остается ревновать ее к Софрону или к Епишке, вернее, к обоим зараз?.. Или изобразить венецианского мавра Отелло?.. Но ведь Солонька походит на Дездемону так же, как свинья на пятиалтынный... Софрон — Кассио, Епишка — Яго, а я — венецианский мавр... тьфу!.. Все это было бы очень смешно, если бы не было так грустно. Ведь самое страшное в таких вещах — сознание, которое гложет тебя и день и ночь... В самом деле, чем виновата Солонька, что она бессовестно здорова и

глупа до святости, а я еще меньше ее виноват во всем этом, хотя она, вот эта самая Солонька, дорога мне и как объект моей страсти и как мать моего ребенка. Ведь из этой глупой личинки Нютки вырастет большой человек и скажет: «А что, тятенька, разговоры хорошие вы умели разговаривать, а вот живете по-свински...» Понимаете: вот этот беззубый Нютин ротик и скажет... Что же получается-то? Дрянь и мерзавец ты, Михаил Павлыч, и всего твоего ремесла было откозырять трепака!..

— Ну, уж вы очень хватили!..

— Нет, позвольте... Даже самая положительная дрянь, голубчик, по всей форме, особенно если сравнить вот с этим Софроном или Епишкой... Как бы вы думали?.. Конечно, дрянь... Что бы сделал Софрон на моем месте, если бы заметил за женой шалость и если бы ее действительно любил, как это думаю я сам про себя? Самое простое дело: взял топор и рассек Солоньку на мелкие части, а сам сначала со страхов убежал бы в лес, а потом, как пришел бы в себя, сейчас в волость и в ноги старшине: «Так и так, мой грех...» Вот как сделает Софрон, и ему и книги в руки. Так что он, говоря логически, имеет полное право выворачивать Солоньке всю душу своей гармоникой, а Михаил Павлыч должен смотреть и казниться... Э, батенька, да тут такие кружева в башке заходят, что жизни не рад!.. Каких-то винтов не хватает, вот машина и фальшивит. Вся суть-то в одном тебе сидит, а ты в жизни злостный банкрот: напечатал в газетах объявление, заманил публику, наобещал самому себе золотые горы, а хвать — в кармане кукиш с маслом. Да что тут говорить, голубчик: все это самому надо размотать... своим умом.

Опять наступила осень. Мне нужно было ехать в один из столичных университетов. Сцена прощанья с Мочгой была самая трогательная. Даже Блескин расчувствовался и со слезами на глазах долго жал мою руку.

— Поклонитесь же Казани, как поедете мимо, — прошептал упавшим голосом Рубцов и убежал в свою комнату, чтобы скрыть душившие его слезы.

— Да, да... это хорошо, — повторил Блескин. — Учитесь много, это наше счастье... Наука — все.

Свидетелями этой сцены были Софрон, Епишка и Соломонида Потаповна. Они, видимо, ничего не понимали и переглядывались. Епишка сделал плаксивое лицо, чтобы рассмешить полубарыню.

VIII

Когда на Руси расстаются истинные друзья, они всегда дают взаимное обещание писать, но исполнение прерывается много-много на втором или на третьем письме... В данном случае было то же самое: я написал из Петербурга первое письмо и получил на него ответ от Блескина, второе осталось без ответа, а третье я уже имел право не писать.

Время катилось быстро среди новой обстановки, новых людей и новых занятий. Я безвыездно прожил в Петербурге целых пять лет и только стороной узнал, что через год после моего отъезда с Урала Рубцов застрелился... Как, где, почему — я ничего не знал, хотя имел много оснований догадываться об истинных причинах этой печальной развязки. Это с одной стороны, а с другой, стоит развернуть любую газету, и вы везде найдете эти коротенькие известия о самоубийствах, сделавшихся настолько заурядным явлением в нашей жизни, что как-то даже не обращают на себя никакого внимания. Застрелился — и только, причины остались неизвестны, осталась записка — «в смерти моей прошу никого не винить» и т. д. Печальное явление печальной жизни, больше ничего. Вероятно, и Рубцов оставил после себя такую же записочку, прежде чем пустил пулю в лоб, а впрочем, могло быть и иначе.

Прошло семнадцать лет. Много русской воды утекло за это время... «Мыслящие реалисты» шестидесятых годов оказались идеалистами, хотя и занимались по преимуществу точными науками. Новое поколение, не отрицавшее искусства, оказалось практичнее своих «детей-отцов», хотя в погоне за практическими целями обходилось без всяких принципных построений. Шла

какая-то громадная перестройка, и в этом рабочем гвалте вчерашние друзья оказывались сегодня врагами, а враги друзьями. Хищения, ренегатство, философия бессознательного, самоубийства, всевозможные репрессалии — все это перемешалось в шевелившийся живой ком, где трудно было что-нибудь разобрать. А «дети-отцы» с их наивным реализмом оказались такими наивными среди этой торжествовавшей «правды жизни»... Естественные факультеты пустели, молодежь стремилась в юристы, медики и тому подобные хлебные профессии.

Года два назад мне случилось ехать по Волге. Великолепный американский пароход только что отвалил от пристани в Казани и бойко пошел вниз, оставляя за собой широкий двоившийся след. День был солнечный, светлый, и публика толпилась на трапе. Показались новые пассажиры, севшие только в Казани. Тут были и студенты в новой студенческой форме, и казанские татары, и сомнительные помещики, и чиновники, и купцы разных формаций. Все любовались красавицей Волгой. Я сидел на деревянном диванчике у самой мачты и смотрел туда, в синевшую даль, где одно за другим, как бурые пятна, вставали печальные волжские села и деревушки.

В числе других пассажиров обращала на себя внимание серьезная молодая девушка лет восемнадцати, которая сидела на диванчике с книгой в руках, а около нее грелся на солнце старый серый кот. Простое летнее пальто, простая соломенная шляпа, густая темная коса, заплетенная по-дорожному; серые глаза смотрели строго и как-то странно гармонировали с этим цветущим женским лицом. Таких девушек можно часто встретить на русских пароходах — все это учащийся народ: бестужевки, курсистки, слушательницы, студентки. Кто она? Куда едет? Что она читает в своей книжке и что везет в своей красивой головке туда, в родную глушь? Некоторый диссонанс представлял только кот, который ходил за девушкой, как собачонка. Ни она, ни он не обращали на публику никакого внимания: она читала, он спал.

Во время обеда девушка с котом исчезла, а вечером вышла на трап в сопровождении плотного господина в золотых очках. У него была такая великолепная темная борода, уже тронутая сильной проседью. Кот лениво шел за ними.

— Нет, ты, Аня, ошибаешься... — спокойно заговорил господин, очевидно продолжая какой-то старый разговор. Он достал сигару и, не торопясь, закурил ее по всем правилам курильного искусства.

Девушка с живостью что-то ему возражала и так любовно и ласково заглядывала в лицо. «Вероятно, дочь или сестра», — подумал я, наблюдая интересную парочку. Но, когда господин заговорил еще раз, я узнал его по голосу: это был Блескин.

— Мы, кажется, знакомы с вами... — заговорил я. — Если не ошибаюсь, Петр Гаврилович Блескин?

— Да...

— Помните прииск Мочгу?

Блескин быстро поднялся и с несвойственной живостью заключил меня в свои объятия. Девушка смотрела на нас каким-то недоверчивым взглядом и несколько раз пытливо переводила глаза с меня на Блескина и наоборот.

— Да как это... какими судьбами? — повторял Блескин, не выпуская моей руки. — Сколько лет, сколько лет прошло...

— Лет семнадцать будет.

— Да время не ждет. Аня, рекомендую: наш общий знакомый, который знал еще твоего отца, — отрекомендовал меня Блескин и прибавил: — А это дочь Михаила Павлыча... Помните маленькую Аню?

— Да, да... и кот, кажется, назывался мыслящим реалистом?..

— О да, он самый... Это Михаил Павлыч его так называл. Послушайте, что же мы здесь будем делать, пойдемте хоть в рубку или к нам в каюту.

— Лучше в каюту, — заметила Аня.

Они ехали вдвоем в каюте второго класса. Пока Аня ходила распорядиться относительно самовара, Блескин с самодовольным лицом проговорил, кивая головой на затворенную дверь каюты:

— А как мы выросли-то... а? Из личинки человек вырос... Теперь Аня на курсах в Казани. Мы ведь там живем... вдвоем...

— Извините, нескромный вопрос: о смерти Михаила Павлыча я слышал; а где Соломонида Потаповна?

— Гм... Она вскоре вышла замуж за нашего штегеря Епишку. Да... Рассказывают, что она отлично устроилась, по-своему, конечно. Сначала Епишка был сидельцем в кабаке, потом писарем, а теперь, кажется, служит или членом земской управы, или даже председателем. Не шучу...

Блескин печально улыбнулся и замолчал. Вернулась Аня и опять недоверчиво посмотрела на нас, впрочем, это могло показаться мне. Не могла же она меня ревновать к Блескину, хотя нечто подобное бывает при встрече друзей разных формаций: молодые друзья всегда немножко ревнуют старых.

— Вероятно, опять разговаривали о своей старости? — спросила Аня Блескина с едва заметной улыбкой, спрятавшейся у нее в углах рта.

— Что же, дело не к молодости идет... — ответил Блескин, снимая шляпу.

Он носил теперь длинные волосы, почему я и не мог узнать его с первого раза, да и волосы эти, как и борода, точно были перевиты серебряными нитями преждевременной седины. Лицо было такое же спокойное и очень свежее для своих лет. Блескин так же во время разговора смотрел через очки. Но вместе с тем и в этом лице, и в движениях, и во всей фигуре чувствовалось что-то новое, чего раньше не было, — это та мягкость, которую придает близость любимого человека.

Аня делала чай, а мы болтали, как это и приличествует старикам. Вспоминали жизнь на Мочге, разные эпизоды приисковой жизни, наше знакомство и т. д. Серый кот сидел тут же, на триповом диванчике, и, сложив под себя передние лапы, точно слушал наши разговоры; он щурился, закрывал глаза и опять принимался дремать стариковской дремотой. Глядя на кота, я рассказал свое первое пробуждение на Мочге, когда

серый котенок падал на пол вместе с приманкой. Девушка засмеялась, посмотрела на Блескина со счастливой улыбкой и смеющимися глазами и молча долго гладила мурлыкавшего реалиста.

— Да, если разобрать, так, право, тогда было хорошее время, — задумчиво говорил Блескин, — главное, вера была... что-то такое бодрое было в самом воздухе, и жизнь казалась такой простой.

— Везде всё клеточки учили? — спросила Аня. — Действительно, все уж очень просто.

— Это она смеется над нами, — объяснил Блескин. — И представьте себе: дочь Михаила Павлыча Рубцова, реалиста до мозга костей, занимается, чем бы вы думали?.. Эстетикой... да. Вот где житейская ирония.

— И не эстетикой... — вспыхнула девушка, — а просто вопросами искусства! Если это меня интересует? Притом меня занимает специально научная сторона этих вопросов.

— Это и есть эстетика, голубчик. Впрочем, мы не будем вам надоедать продолжением нашего бесконечного спора: наша песенка спета... По требованиям эстетики, нужно выразиться в такой форме: мы умираем на своем посту, держа высоко знамя реализма. Так, Аня?

— Ирония к тебе нейдет, это не в твоем характере...

После чего девушка ушла, понимая, что нам хотелось о многом переговорить с глазу на глаз, тем более что многого мы не могли говорить при ней. Мы закурили сигары и несколько времени молчали. Хотелось так много сказать, и вместе так было трудно начать.

— Наша встреча так живо мне напомнила Рубцова, — прервал, наконец, Блескин молчание. — Как бы он был рад, бедняга... Помните, как он просил вас поклониться Казани! Да, хорошая была душа. Нынче уж нет таких восторженных вечных студентов — народ все практический, ничем их не прошибешь. Да... И как он свернулся, вдруг как-то. Он же, помните, научил читать и писать нашего кучера Софрона, а Софрон взял да и написал Соломониде Потаповне глупейшую любовную записочку... Одним словом, глупость, и

больше ничего. Можно было уехать с прииска, отказать Софрону, да мало ли что. Рубцов стал задумываться, похудел, молчал, а потом пошел в лес на охоту и застрелился... Девочка осталась после него полуторых лет. Ну, я ее и взял тогда к себе.

— А как Аня относится к матери?

— Да, право, трудно сказать... Возил я ее несколько раз повидаться с матерью, выходили самые неловкие сцены: Аня позабыла мать, а у той новые дети. Вообще все это тяжелая история, о которой лучше не говорить...

— Теперь вы в Казани?

— Больше десяти лет живем. Сначала Аня в гимназии училась, потом вот на курсы поступила... Как-то невольно молодеешь с молодыми, потому, вероятно, старики так и любят всякую молодежь.

Мы ехали на пароходе двое суток и провели время самым хорошим образом, то есть в разговорах, спорах и воспоминаниях. Дичившаяся Аня привыкла к моему присутствию и при каждом удобном случае расспрашивала про отца, которого знала, конечно, только по рассказам. Я рассказывал, что удержалось в памяти, и мне делалось больно за Рубцова, который не дожил до этого времени, когда личинка превратилась в настоящего человека. Мне тоже было немного странно видеть в этой большой Ане того ребенка, который остался в приисковой конторе на Мочге.

— Мне кажется, что я иногда его вижу, то есть отца, — говорила Аня. — Ведь он был такой добрый, хотя и бесхарактерный?.. Я представляю себе, как он пел козлиным голосом, как декламировал свои стихи Гейне, как называл Блескина попросту Петькой. Одним словом, идеалист чистейшей воды.

Когда Аня чем-нибудь увлекалась, на ее белом лбу всплывала такая хорошая морщинка, как и у отца, хотя в общем, кроме глаз, она походила больше на мать, только в другом, исправленном издании. Мне казалось, что, расспрашивая про отца, девушка больше интересовалась тем, что относилось к Блескину.

— Вы его не знаете... — проговорила Аня однажды со вздохом. — Это святая, идеальная натура. Таких

людей больше нет... Я всем обязана Петру Гаврилычу, который заменил мне мать, отца — нет, больше: разве так относятся к детям?.. Я ведь понимаю, что он и не женился из-за меня, а между тем он же проповедует эгоизм как основу всех человеческих поступков.

Мне нравилось лицо Ани в эти минуты — такое хорошее русское лицо и такие умные, серьезные глаза.

Через два дня наш пароход подходил к пристани, где мы должны были расстаться — я оставлял пароход, а Блескин с Аней ехали дальше. Мы простились друзьями. Когда я пошел уже на пристань, Аня догнала меня с раскрасневшимся лицом и проговорила:

— Прощайте еще раз... Кто знает, может быть, мы совсем не увидимся или увидимся лет через двадцать. Мне хотелось сказать вам один секрет: я — невеста Блескина... да!.. Мы едем венчаться в деревню к его родным...

— Что же вы мне этого раньше не сказали?..

— Петр Гаврилыч стесняется... Ведь я сама его высватала, а это было не легко. Ну, теперь прощайте... второй свисток.

Я едва успел выскочить на пристань, как пароход отвалил. С трапа провожали меня два счастливых лица, и Аня долго махала платком.

Нынче летом я опять был на Мочге...

Я обошел все ямы, выработки, свалки и перемывки — все это заросло молодым лесом, а по бокам высились две стены дремучего ельника, которые сомкнутся со временем, и от прииска останется столько же, сколько осталось от каких-нибудь чудских копей. На месте приисковой конторы торчало несколько покосившихся столбов да развалившийся фундамент. Везде топорщилась свежая зелень, но здесь, где было жилье, ютились большие сорные травы: лопух, глухая крапива — эти неизменные спутники человеческого существования. Где-то звонко долбил сухую ель пестрый дятел; солнце опускалось к горизонту, и где-то далеко, точно под землей, погромыхивала тучка. Нужно было уходить из лесу засветло.

ЛЕС

Психологический этюд

I

Приезжая на лето в Журавлевский завод, я прежде всего отправлялся к дьячку Фомичу, который жил рядом со мною, — обыкновенный ход был огородами: перемахнешь через низенькое «прясло» — и сейчас на территории Фомича. Здесь прежде всего бросалась в глаза старая, покосившаяся баня, вся испятнанная пулями и дробью, точно оспой. Особенно пострадали банные двери с нарисованным на них черным пятном, тем более что в трудную минуту Фомич выковыривал засевшие в дверях пули и пускал их снова в дело. Нужно сказать, что эта злополучная баня стояла как раз на меже с нашим садом, и пули Фомича свободно могли летать в чужой огород, но на это последнее обстоятельство как-то никто не обращал никакого внимания, тем более что Фомич на весь завод пользовался репутацией хорошего стрелка.

Избушка, в которой жил Фомич, стояла на высоком пригорке, так что своим огородом упиралась прямо в горную бойкую речку Журавлиху. Под крыльцом избы вечно выла голодная собака, потому что Фомич имел очень оригинальный взгляд на питание.

— Чутье потеряет, — уверял он с самым серьезным видом. — От еды у собак нюх портится.

— Да ведь неприятно, когда у вас под самым ухом день и ночь воет голодная собака?..

— Известно: пес, ну и воет... Кормить его, так он еще пуще будет выть.

Меня всегда удивляла эта бессмысленная жестокость и какое-то полное бесчувствие. Часто по ночам вой голодной собаки будил соседей, и они бранили его, но из этого ничего не выходило: Фомич совсем не желал портить собачьего чутья. Конечно, при таком образе жизни собака издыхала через год, много через два — и Фомич заводил новую, причем кличка оставалась одна и та же: Лыско. Я помню целый ряд таких несчастных Лысок, которые надрывали мне душу своим воем. Единственное, что я мог сделать для них, — это потихоньку от Фомича кормить их. Здесь необходимо заметить еще то, что все эти Лыски принадлежали к замечательной породе вогульских собак, которые в Среднем Урале очень ценятся всеми «ясашными» (здесь так называют охотников, от «ясака» — подать мехами). Заводские мастеровые платят за хорошую собаку рублей пятнадцать — двадцать, что по местному денежному курсу очень дорого. По внешнему виду такая собака походит на эскимосскую: уши торчат пнем, острая морда, живые глаза, хвост загнут на спину кольцом, широкая грудь и тонкие, сильные ноги. Большинство таких вогулок пестрые, поэтому и распространенная кличка — Лыско. Особенно ценятся вогулки желтоватого цвета с желтыми пятнами на бровях или совсем серые, волчьего цвета.

— У которой пятно на брови — та и ночью видит, — уверял Фомич, а разубедить его в чем-нибудь было крайне трудно.

Такая вогулка действительно золотая собака для настоящего ясашного — чутье у ней поразительное, особенно на зверя. В Среднем Урале эти собаки ведутся от чусовских вогул, которые живут еще и теперь в двух деревушках на реке Чусовой — Бабенки и Копчик. Сколько мне известно, образованные уральские охотники совсем не обращают внимания на эту замечательную собачью разновидность, которая погибает вместе с вымирающим вогульским племенем. Мне

лично такие вогулки ужасно нравятся: они отличные сторожа, неутомимы на охоте за всяким зверем и чрезвычайно умны. Может быть, нужно было целую тысячу лет, чтобы создать этот тип охотничьей собаки.

Изба Фомича дощатой перегородкой делилась на две половины. В первой жил он сам, а во второй жена, которую он звал «матерёшкой», с единственной дочерью Енафой, курносой и рябой девушкой, «зачичеревевшей в девках». Комната Фомича выходила своим единственным окном, вечно заклеенным синей сахарной бумагой, в огород и на реку; из него открывался великолепный вид на извилистое течение Журавлихи, рассыпавшиеся по ее берегам дома, на лес и, главное, на «камешки», как называл Фомич горы. Налево от двери на стене висел небольшой деревянный шкафик, над ним кремневое ружье, у окна стоял некрашеный деревянный стол, около перегородки лавка, два колченогих стула — и только. Комната, собственно, была пуста, но она мне нравилась именно потому, что в ней жил Фомич. Эта бесприютная, непокрытая бедность выкупалась самим хозяином.

— Бувайте здоровеньки!.. — говорил Фомич, одинаково каждый раз здороваясь. Дома, зиму и лето, он ходил в коротенькой курточке из оленьей шкуры и в шапке из молодой оленины. Пестрядинные штаны были заправлены в голенища всегда худых сапогов. Этот странный наряд не казался странным для тех, кто знал Фомича. Нужно заметить, что по особенным гигиеническим соображениям он в своей оленьей шапке спал на печи зиму и лето. Когда я познакомился с ним, ему было уже за пятьдесят лет. Сгорбленный, худой, с неверной, шмыгавшей походкой, он превращался в типичного старозаветного дьячка, когда надевал единственный свой казинетовый подрясник, обвисавший на его сгорбленном теле некрасивыми, тощими складками; к довершению этого безобразия из-за высокого засаленного ворота подрясника появлялись на свет божий две жиденьких и коротких косички, болтавшиеся как два крысиных хвостика. В обыкновенное время эти косички исчезали под оленьей шапкой. Всего замечательнее у Фомича было его некрасивое скуластое лицо с носом

луковицею. Жиденькая борода и такие же усы какого-то песочного цвета не могли скрасить этого лица. Зато хороши были у Фомича его небольшие серые глаза с узкими зрачками. Он имел характерную привычку смотреть куда-нибудь в сторону и только время от времени взглядывал на вас быстрым, открытым, проницательным взглядом, как смотрят немножко тронутые русские люди.

Собственно, в Фомиче, как это нередко случается на Руси, жило два человека: один — приниженный, жалкий и льстивый, а другой — самостоятельный, гордый и оригинальный. Первого человека Фомич точно надевал на себя вместе с подрясником. Таким он был на клиросе, где читал «бормотком» и пел разбитым голосом вместе с писарем Павлином; таким он был, когда попадал куда-нибудь в компанию бойких заводских служащих, таким он ходил по заводу за попом с разными требами, таким, наконец, он пробирался каждое воскресенье прямо из церкви в кабак к своей приятельнице Зайчихе «подковать безногого щенка». Длинные руки, видимо, мешали Фомичу, и он постоянно ими запахивал расползавшиеся полы своего подрясника. Даже ходил он как-то крадучись и все старался пробраться где-нибудь огородами, чтобы не на виду у добрых людей; в разговоре улыбался заискивающей улыбкой и вообще держал себя льстиво-униженно.

Дома Фомич был другим человеком. Я много лет знал его и все-таки с удивлением наблюдал это превращение, — решительно другой человек. Впрочем, из своего приниженного состояния Фомич выходил и при людях, когда выпивал лишнюю рюмочку или когда разговор заходил об охоте. Охотничьи рассказы Фомича пользовались большой популярностью, и где-нибудь на именинах около него всегда собирался кружок слушателей. Любимой темой были «олешки» и «мишка», причем Фомич умел представить все в лицах: нюхал воздух, как зверь, таращил глаза и делал уморительные прыжки в своем странном подряснике. Но в гостях Фомич пересаливал и дома был не тем, чем казался посторонним людям. Во-первых, это был замечательный оригинал и чрезвычайно наблюдательный человек,

которого никогда не оставляло неизменное добродушно-юмористическое настроение. Ко всем и ко всему Фомич относился свысока, но эту гордость он позволял себе только дома.

Он умел над всеми посмеяться умненько и тонко, иногда одной гримасой. Чужие слабости и особенно глупость доставляли ему даже какое-то удовольствие, и он имел некоторое право смотреть на многих свысока, потому что обладал сильным природным умом, которого не могло сломить даже дьячковское существование, несчастнейшее из всех, изобретенных добрыми людьми.

К своим семейным Фомич относился тоже особенным образом, точно стыдился своей человеческой слабости. Его «матерёшка» никогда не показывалась при людях из-за перегородки, и только слышно было, как она чем-то вечно стучала за печкой. К женщинам Фомич питал чисто философское презрение, как к предмету недостойному, притом очень вредному и даже опасному. Когда писарь Павлин заводил речь о «женском поле», Фомич только фукал носом, как рассерженный старый кот, и отплевывался. Рассказывали, что он не доверял жене ни в чем и даже хлеб пек собственными руками.

Во всем доме Фомича была единственная сколько-нибудь ценная вещь — это кремневая малокалиберная винтовка, служившая ему более тридцати лет. Тяжелая березовая ложа была собственного изделия Фомича и отличалась хозяйственной прочностью. Замечательнее всего то, что Фомич из этой винтовки стрелял и зверя, и птицу, и белку.

— Откуда у вас это ружье? — несколько раз спрашивал я старика, рассматривая его самопал.

— Так... от одного человека.

К числу особенностей Фомича принадлежала необыкновенная таинственность, особенно когда дело касалось охоты. На свое ружье он смотрел как на что-то живое и, когда делал из него промах, обвинял не себя, а то, что «дурит» ружье. Больше всего на свете Фомич боялся, как бы к его сокровищу не прикоснулась какая-нибудь женщина: тогда бросай все и заводи новое.

— Я из него не один десяток олешек загубил, — любил похвастаться Фомич под пьяную руку. — Оно хозяина знает... да!

Трофеи охотничьих побед Фомича заключались в оленьих шкурах, которые служили всей семье как ковры и одеяла. Выделывал их Фомич сам, равно как и беличьи и куньи шкурки, хотя, нужно отдать ему полную справедливость, выделывал очень скверно. Впрочем, для своего домашнего обихода Фомич все делал сам: и ложу к ружью, и лыжи, и ладунку для пороха, и памятный мне деревянный шкаф с охотничьим снарядом, и мебель, и мережи, и свою оленью куртку. В лесу у него всегда было надрано лыко и заготовлены дрова. Только при таком самоделье Фомич и мог сводить концы с концами, потому что прожить на три рубля причетничьего жалованья, с семьей на руках, дело решительно невозможное. Посторонних церковных доходов Фомич получал такую гомеопатическую дозу, о которой не стоит и говорить. Журавлевский завод наполовину состоял из раскольников, и приход был очень плох. Несколько раз Фомичу предлагали занять место дьякона, но он упорно отказывался.

— Отчего вы не хотите в самом деле быть дьяконом? — спрашивал я. — Дьякон вдвое больше получает.

— А «матерёшка» умрет?.. Дьякону во второй раз жениться нельзя...

Это была, конечно, шутка. Фомич не шел во дьяконы по той простой причине, что тогда потерял бы право ходить на охоту, другими словами — его жизнь утратила бы всякий смысл, а теперь получалось из Лыски, Енафы, матерёшки и самого Фомича вполне законченное, органическое целое.

II

Самое лучшее время на горных уральских заводах, — это «страда». С Петрова дня до самого успенья производство закрывается, кроме доменных печей, и все население уезжает и уходит на покосы. Если нет

своей скотины, «страдают» для продажи, а если нет своих покосов — нанимаются к другим. Заводы пустеют, а зато оживают все окрестности и самые глухие лесные уголки. Лошадь и корова — главные хозяйственные статьи заводского мастерства, и поэтому на сене сосредоточены в это время все его помыслы. Хлебопашество на заводах существует, но в очень небольших размерах: и земля большею частью «неродимая», да и народ отвык от настоящей крестьянской работы. Мы говорим о большинстве горных заводов, хотя есть и исключения, как в заводских округах башкирской полосы.

На Журавлевском заводе пашни были человек у десяти, не больше, а для остальных слово «страда» ограничивалось заготовкою сена. После тяжелой «огненной» и приисковой работы сенокос являлся желанным отдыхом, и всякая мало-мальски справная семья в полном своем составе перекочевывала на покосы. Нужно было видеть, как «горит работа» у вырвавшегося на свежий воздух народа — это настоящий праздник, и по вечерам на десятки верст несутся веселые песни. Цыганская обстановка сенокоса для молодежи является самым счастливым временем, и в результате получаются осенние свадьбы или же специальные несчастья, которым особенно подвержена «извольничавшаяся» заводская девка. Нравы заводского населения, как известно, не отличаются особенным целомудрием вообще, а на Урале они поражают своей разнузданностью.

Эта заводская страда совпадает как раз с охотничьим сезоном; пока не поспели выводки, идет охота на «линялых» косачей, которые в это время прячутся по самым неприступным чащам и трущобам, меняя весеннее брачное оперение на обыкновенное затрапезное, а с наступлением июльских жаров начинается охота на оленей, которых днем овода загоняют в густые заросли или прямо в воду. В это горячее время мы с писарем Павлином уходили в горы на несколько ночей и бродили по лесу, как настоящие дикари. Окрестности Журавлевского завода представляли в этом отношении все необходимые условия, начиная с того, что в одну

сторону до ближайшего жилья было сорок верст, а в другую больше ста верст тянулись горы и лес, лес и горы. Места в общем были порядочно дикие, но они скрашивались необыкновенным изобилием живой текучей воды, сбегавшей с гор десятками горных бойких речек и речонок. Кроме того, недалеко было одно большое горное озеро со множеством островов и еще два маленьких озерка. Выходила настоящая живая сеть, которая охватывала собою все горы и привлекала массу всевозможной дичи.

Бродить с ружьем по целым дням в этой зеленой пустыне — наслаждение, известное одним охотникам. Встанешь с ранней зарей и к вечеру так уходишься, что едва доберешься до первой знакомой избушки. Любимым местом была избушка Фомича на горе Размет, до которой от завода было верных семнадцать — восемнадцать верст. Замечательное это место Размет — собственно, так называлась и самая гора и прилегавшие к ней другие горы, горки, косогоры и увалы. Получался горный узел, которого гора Размет являлась связующим центром и горным водоразделом: в сторону Журавлевского завода сбегались речки европейского бассейна, а в противоположную — азиатского. Водораздельная линия проходила узкой, извилистой полосой, иногда достигавшей всего нескольких десятков сажен, как было, между прочим, у лесной избушки Фомича. Таким образом, нам часто случалось ночевать на самой границе между Европой и Азией.

В один из отличных июльских дней, когда, по всем признакам, погода установилась прочно, мы с писарем Павлином забрались в горы очень далеко. Охота вышла не особенно удачна, и к концу дня мы едва имели в запасе одного косача. Кроме того, Павлин уронил хлеб в воду, так что нам предстояло лечь с голодным желудком. Это было далеко за Разметом.

— Придется идти к Фомичу, — говорил я, когда до заката оставалось всего часа два, значит, нужно было торопиться.

— Я не пойду, — упрямился Павлин, растянувшись на земле пластом.

— А я пойду.

— Скатертью дорога.

Произошла небольшая размолвка, закончившаяся тем, что Павлин, наконец, поплелся за мной, — оставаться одному в глухом лесу было не особенно приятно, а до балагана Фомича было около десяти верст. Писарь Павлин — небольшой человек, с большой кудрявой головой — принадлежал к самым безобидным людям, но на него иногда накатывалось совершенно беспричинное упрямство. Ничего не оставалось, как воевать с ним тем же оружием, тем более что по ночам в лесу Павлин боялся не зверя или человека, а «лешака» или «лешачихи», которые проделывают над людьми всевозможные пакости. Павлин по-своему был даже начитанный человек, но освободиться от разной чертовщины был решительно не в силах.

Признаться сказать, идти десять верст на Размет после целого дня утомительной охоты было делом нелегким, и на меня не один раз нападало свойственное в таких случаях малодушие. Каждая хорошая ель, открытый берег речки или укромный уголок где-нибудь под скалой так и манил отдохнуть, но прежде всего нужно было выдержать характер и поддержать авторитет пред ослабевшим товарищем.

Солнце быстро опускалось. Лес темнел. Маленькая горная тропинка делала, повидимому, совершенно ненужные повороты и кривулины, точно для того только, чтобы помучить нас. Солнечный закат в горах удивительно красив. Тени нарастают, и со всех сторон, точно сознательно, будто живая, начинает надвигаться на вас ночная глухая мгла. Затихший воздух чутко держит каждый шорох, и в параллель с этим ваши собственные чувства получают какое-то болезненное напряжение, — именно в такие переходные моменты дня больше всего и «блазнит» непривычному человеку. Ухо, еще полное дневного шума, слышит несуществующие звуки, а глаз отчетливо видит в перебегающих и колеблющихся тенях создания собственного воображения. Вообще переживаешь неопределенно тревожное настроение, которое в каждый момент готово перейти в детскую панику. Только такие «лесники», как Фомич, сживаются с таинственной жизнью леса настолько, что

их ничто не в состоянии напугать. Как хотите, но в лесу голова работает совсем не так, как у себя дома, и прежде всего здесь поражает вас непривычная лесная тишина, которая дает полный разгул воображению, точно идешь по какому-то заколдованному царству. Днем эта тишина нарушается ветром и птицами, а ночью вы окончательно предоставлены самому себе и невольно прислушиваетесь уже к тому, что незримо хранится в глубине вашей души. Выплывают смутные образы, неясные лица, звуки и краски.

Павлин покорно плелся за мной и, вероятно для храбрости, несколько раз принимался ругаться, просто так ругаться, в воздушное пространство, не относясь лично ни к кому и ни к чему. В одном месте, спустившись в глубокий лог, где было уже совсем темно, Павлин остановился и заявил самым решительным образом:

— Мы не туда идем...

Спорить с ним не стоило, и я продолжал идти вперед. Действительно, начинало казаться, что место как будто не то: и лес другой, и дорожка делала совсем ненужные повороты. Являлось серьезное сомнение, что мы сбились с дороги, так как и по времени должны были быть уже на месте. Крутой подъем, который начинался прямо от лога, походил на Размет, но кругом было так много гор и все подъемы на них по извилистым горным тропинкам так похожи один на другой. Наступившая ночная свежесть придала нам силы; солнце уже закатилось, и мимолетные горные сумерки сейчас же сменились ночью, холодной и туманной, какие бывают только в горах. Показались первые звездочки, теплившиеся в бездонной глубине фосфорическим светом, как светляки в траве; выплыл молодой месяц, пустивший широкую и туманную полосу переливавшегося серебристого света. На полугоре мы остановились отдохнуть. Должна была показаться повертка к избушке Фомича, но ее не было. Из-за леса трудно было рассмотреть другие горы, чтобы ориентироваться, ночью горная панорама имеет совсем другой вид, чем днем. По упорному молчанию Павлина я видел, что он

окончательно убежден в нашем «плутании» и что это совсем не Размет.

— Действительно, кажется, мы того... взяли немножко в сторону, — заговорил я, сознавая свою невольную вину. — Облевили, должно быть.

Огорченный Павлин не удостоил меня ответом и только сердито пыхнул своей папиросой: дескать, я говорил и т. д. Но в это время где-то, точно под землей, послышался собачий лай — и сразу все изменилось: да, это был Размет, сейчас повертка к Фомичу, а лает его Лыско...

— Слышишь? — торжествующе спрашивал я Павлина.

— Чего слышать-то?.. Лыско лает... Вот она, береза-развилашка стоит у повертки. Слепой дойдет...

— Однако признайся...

— Нечего мне признаваться... Может, я сто раз здесь бывал, а только в сумерки всегда глаза отводит в лесу — уж это верно. Однова я так-то цельную ночь проходил по покосам: прямо в трех соснах заблудился.

Мы весело повернули с тропинки и побрели прямо сакмой, то есть легким следом, который остается в траве.

Скоро сакма повела нас по лиственичному лесу — значит, сейчас будет избушка. Напахнуло дымком, лай Лыски повторился, но с теми нерешительными нотами, которые свидетельствовали о его сомнениях: по уверенным шагам собака начинала догадываться, что идут свои знакомые люди. Только охотники могут различить эти разнообразнейшие оттенки собачьего лая, который именно в лесу имеет свою оригинальную прелесть.

Избушка Фомича была поставлена на открытой поляне. Теперь избушку Фомича выдавала тянувшаяся струйка дыма и колебавшаяся полоса красноватого света, падавшая на ближайшие деревья от костра. Мы уже выходили на самую поляну, где трава стояла до самых плеч, как Павлин вдруг остановился, точно его чем ударили, — он шел впереди, и ему было видно, что делается перед избушкою.

— Что случилось? — окликнул я.

— Должно быть, опять поблазнило... — бормотал

Павлин и даже протер глаза. — Вот так штука!.. Уж идти ли нам?.. Эх-ма!..

Изумление Павлина объяснялось очень просто: у избушки стоял сам Фомич и зорко смотрел в нашу сторону, а около огня на корточках виднелась какая-то женская фигура — эта последняя и смутила Павлина. Фомич в глухом лесу и с глазу на глаз с какой-то бабой... Лыско с оглушительным лаем летел уже к нам, нужно было обороняться прикладами, потому что в азарте он мог не узнать и вцепиться.

— Мир на стану! — кричал Павлин, подходя к избушке.

— Вишь, полуношники... — проворчал Фомич, здороваясь. — А я думал, уж не бродяги ли какие.

Женщина продолжала сидеть около огня попрежнему неподвижно, и мне бросилась в глаза только ее покрытая голова с белокурыми кудрявыми волосами. Она сосредоточенно помешивала деревянной ложкой какое-то варево в болтавшемся над огнем железном котелке и не желала обращать на нас никакого внимания.

— Да ведь это Параша Кудрявая!.. — с удивлением вскричал Павлин. — Вот напугала-то... Ах, ты, — ешь тебя мухи с комарами!.. Ну, здравствуй, красавица...

— Была Параша, да чужая, не ваша... — ответила свежим, низкого тембра голосом красавица и все-таки не двинулась с места.

— А ты не сердись, умница... Нет, как ты напугала-то, Параша, да еще и на грех навела.

— Отстань, смола! — сердито окликнул его Фомич.

III

Избушка Фомича была сделана из толстых лиственичных бревен, почти совсем вросла в землю; из высокой травы горбилась одна крыша, покрытая дерном. Маленькая дверка придавала ей вид дрянного погреба. Зато кругом горная трава росла в рост человека: тут была и «медвежья дудка», чуть не в руку толщиной,

с белыми шапками цветов, и красноголовые стрелки иван-чая, и душистый лабазник, и просто крапива. Летом это был прелестный, совсем потонувший в зелени уголок, но как жил здесь Фомич зимой по целым неделям — я не мог понять. Внутри избушка еще сильнее походила на погреб, да и сырость здесь вечно стояла невыносимая. Задняя половина была занята широкими нарами, налево от дверей, в углу, стояла печь, сложенная из камней. Трубы не полагалось, поэтому весь дым скоплялся в избушке. В холодные ночи спать в ней было сущим адом: дым ест глаза, дышать нечем, да еще настоящая банная температура. Однако сам Фомич, обремененный вечными недугами, и летом спал в своей избушке.

Мы, конечно, остались на воздухе и, первым делом, принялись за чай. Пока происходили эти предварительные хлопоты, Параша продолжала сидеть неподвижно и, обняв колена руками, сосредоточенно смотрела в огонь.

— Чистая русалка!.. — шептал Павлин, указывая на нее глазами. — И волосы свои распустила, и сама не шевельнется. А Фомич-то как за нее вступился!.. Двое поврежденных сошлись!..

В лесу Павлин побаивался Фомича, потому что «черт его знает, что ему взбредет в башку», а теперь Фомич, видимо, был не совсем доволен нашим присутствием, и это последнее обстоятельство заставляло Павлина снизойти до перешептыванья. Действительно, Фомич в лесу являлся новым человеком, и можно было только удивляться этим превращениям: приниженный дьячок оставался дома, а здесь был характерный и строгий человек, который ни одного слова не бросит на ветер и не сделает шага напрасно. Ветхая рубашка из линючего ситца, пестрядинные штаны, какие-то лохмотья из рыжего крестьянского сукна, на ногах громадные сапоги и неизменная шапка на голове оставались те же.

— Чаю хочешь, Параша? — предлагал Павлин, когда вскипевший жестяной чайник был уже снят с огня.

Этот вопрос на мгновение вывел дурочку из неподвижности, и она с каким-то удивлением посмотрела на всех нас, точно заметила наше присутствие только сейчас.

— Чаю?! — повторила она вопрос Павлина и сердито нахмурила брови. — Вон где чай-то, — прибавила она, мотнув головой на лес. — Кругом чай... и головками помахивает... желтенькие головки.

— У нас с тобой свой чай в лесу растет, — объяснил Фомич.

— Лабазник пьете?.. — спросил Павлин.

— Лабазник и еще одну травку прибавляем. Надо полоскать тепленьким кишки — вот и чай.

Параша уже не слушала нашего разговора и опять погрузилась в свое застывшее раздумье. Она упорно смотрела на перебегавшее пламя и подбрасывала иногда новое полено. Ей было на вид лет сорок, может быть больше. Полное, немного брюзглое лицо со старческим румянцем на щеках еще сохраняло на себе следы молодой красоты. Большие, остановившиеся, серые глаза имели такое напряженное выражение, точно Параша не могла чего-то припомнить. Одета она была в синий раскольничий сарафан из домашней холстины, в белую рубашку и длинный ситцевый «запон» с нагрудником — все это говорило о невидимой доброй руке, которая одевала «божьего человека», может быть от своих кровных трудов, как особенно принято в раскольничьей среде, где потайная милостыня ценится выше всего.

После утомительного охотничьего дня сон буквально валил нас с ног. Павлин уже спал, свернувшись клубочком около огня и не докончив ужина; я дремал рядом с ним. Окружавший нашу поляну лес при месячном освещении казался гигантскими водорослями, а вверху теплился неизмеримо-глубокий, вечно подвижный и вечно живой звездный океан.

— Завтра рано вставать... — говорила Параша, поглядывая на небо.

— Куда торопиться-то? — ответил Фомич, набивая нос табаком.

— Нет, уж лучше... трава не ждет.

— Ну, ну... Надсадой не много возьмешь...

Еще раз понюхав табаку, Фомич побрел своей расслабленной походкой в избушку, а Параша осталась у огня. Я скоро заснул и вскоре увидел себя на морском дне, в обществе сказочной девушки-чернавушки и царя водяного, а Павлин, с гуслями в руках, пел необыкновенные песни, от которых все водяное царство колебалось и меня охватывал мертвый холод морской бездны.

. . . .

Параша Кудрявая принадлежала к числу тех дурочек, каких оставило после себя на уральских заводах крепостное право. Теперь этот тип вымирает вместе с крепостными дураками и разбойниками. Это знаменательный факт, который лучше всего характеризует существовавшие на заводах порядки.

О Параше ходила такая легенда. Родилась она на Журавлевском заводе и выросла в сиротстве, — отец был сдан в солдаты, а тогда солдатская служба равнялась тридцати пяти годам. Звали ее Дарьей. Так и жила солдатка с дочерью, черпая непокрытую ничем бедность и горе. Потом Даша подросла, выровнялась и стала красавицей писаной, какие попадаются только в смешанном заводском населении. И рослая, и высокая, и румянец во всю щеку, и тяжелая коса белокурых кудрей — одним словом, редкостная девка, а на такую приманку охотников всегда много. Присмотрела Даша себе и жениха, оставалось только сходить к заводскому приказчику на поклон и попросить разрешения на свадьбу. Увидел крепостной приказчик Дашу и заартачился: погоди, да не ходи, да некогда, да еще твое время не ушло! Пока дело таким образом тянулось, приказчик успел дать знать управляющему в другой главный завод, Чернореченский, где проживал тогда знаменитый в уральских летописях самодур-заводчик Тулумбасов, большой охотник до всяческого безобразия, а над своими крепостными в особенности.

Чернореченского завода все боялись как огня; Тулумбасов не знал ни совести, ни страха. По фабрикам он ходил с заряженными пистолетами и проделывал

над рабочими невозможные зверства. За малейшую провинность отсылали на конюшню, откуда часто приносили наказанных на рогожке прямо в больницу. Громадный тулумбасовский дворец являлся для всех настоящим адом: тут шёл вечный пир горой, тут же молились по потайным моленным раскольничьи старцы, тут же наказывали плетьми и кошками и тут же проделывались невозможные безобразия над крепостными красавицами, которыми Тулумбасов угощал своих гостей. Благодаря угодливости журавлевского приказчика Даша и попала из своей сиротской лачуги прямо в тулумбасовский дворец. Необыкновенная красота ее обратила на себя внимание «самого», но Даша ответила на его ласки отчаянным сопротивлением — и была сведена на конюшню, откуда уже явилась тем, чем осталась на всю жизнь, то есть заводской дурочкой.

На Журавлевский завод Даша вернулась «божьим человеком» и зиму и лето ходила с непокрытой головой, изукрасив себя ленточками и цветными лоскутками. Мысль о любимом человеке превратилась в бред и галлюцинации. Она никого не обижала и часто пела те песни, которые вынесла из тулумбасовского дворца, где гремел крепостной хор. Особенно часто она пела свою любимую, от которой получила и прозвище «Параша»:

Пой, скачи, кружись, Параша!
Руки в боки подпирай...

Но иногда на нее нападал нехороший стих, и Параша затягивала неприличную песню: «Косарики-косари». Ребятишки ее дразнили женихами. Рассердившись, она, как все сумасшедшие, не знала никакого удержу: ругалась, дралась, кусалась и выкидывала самые неприличные штуки. Жила она как настоящая птица божия: где день, где ночь. Благочестивые люди считали за особенное счастье держать у себя Парашу, но она редко могла где-нибудь ужиться дольше недели.

— Нет, пойду к жениху!.. — повторяла она каждый раз, отправляясь неизвестно куда.

Как и зачем попала Параша Кудрявая на Размет и что она могла там делать — для меня оставалось загадкой, тем более что Фомич был самым ярым женоненавистником.

Утром мы проснулись уже поздно, и около избушки не было ни Фомича, ни Параши Кудрявой. Павлин долго и аппетитно потягивался, зевал и продолжал лежать с закрытыми глазами, выжидая, не встану ли я первым — обыкновенная политика охотников. Нужно было развести огонь, сходить на ключик за водой и приготовить чай — операция вообще сложная — и напиться готового чаю всегда приятнее. Я тоже не желал поддаваться коварству приятеля и тоже некоторое время притворялся спящим, пока обоим эта комедия не надоела, и мы поднялись разом.

— Вот что: один пойдет за дровами, а другой за водой, — уговаривал Павлин, чтобы не переделать на свой пай. — Этакий черт этот Фомич, нет, чтобы приготовить нам все... А Параша куда девалась?.. Настоящие оборотни, черт их возьми!

Было часов восемь, но солнце еще не успело подобрать росы, и трава стояла вся мокрая. Стоило сделать лишь несколько шагов, чтобы промокнуть до нитки, а такая холодная ванна сейчас после сна, когда тело еще полно сонной теплоты, особенно неприятна.

— О-го-го! — гоготал Павлин, направляясь по сакме к ключику.

— Фомич на покосе, — говорил Павлин, когда мы кончили чай. — Тут у него сейчас под Разметом есть две еланки. По весне отличные тока бывают.

Когда трава пообсохла, мы двинулись в путь. От избушки вела свежая сакма прямо на увал Размета. Когда мы вышли из леса, открылась одна из тех чудных горных панорам, какие встречаются только на Урале. Каменистый гребень вершины Размета, казалось, стоял от нас в двадцати шагах, хотя до него было с полверсты, — так обманчива горная перспектива. Сейчас под ногами шел крутой спуск, усыпанный большими камнями и кой-где тронутый горной растительностью — елями, пихтами, низкорослыми березками. У подошвы ковром зеленел покос Фомича, и можно

было рассмотреть две фигуры, медленно двигавшиеся по линии свежей кошенины. Они медленно раскачивались, очерчивая блестевшими на солнце косами широкие круги.

— Параша-то как работает... а! Вот так штука!.. — удивлялся Павлин, рассматривая в кулак косарей. — Ай да Фомич, какую работницу приспособил себе. Ах вы, оборотники проклятые, что придумали!..

Вся горная даль была еще подернута золотистым туманом, а по лугам лежала синеватая мгла — остаток таявшего на солнце тумана. Из-за Размета выглядывало углом широкое горное озеро, усеянное зелеными островами. Дальше теснились синие горы, где-то далеко-далеко на берегу речки желтым пятном выделялся небольшой прииск. В двух местах беловатыми струйками к самому небу поднимался дым от стоянок косарей или на старательских разведках. Журавлевский завод казался отсюда едва заметным пятном на берегу пруда. Но всего лучше был лес, выстилавший горы до самого верха и залегавший по логам дремучими ельниками.

— Эх, хорошо!.. — скажешь невольно, глядя на этот необъятный простор, едва тронутый двумя-тремя точками человеческого жилья.

Утром горы необыкновенно хороши, и невольно переживаешь такое бодрое и хорошее чувство, забывая об усталости и всех невзгодах охотничьего бродяжничества. Голубое небо точно выше, и дышится так легко. На горизонте уже круглятся белые грозовые тучки, где-то зашептала в траве первая струйка поднявшегося ветра, в кустах весело чиликнула невидимая птичка. Стоишь, смотришь и, кажется, не ушел бы отсюда.

IV

Покос Фомича шел неправильной полосой по самому краю кончавшегося здесь горного ската. Дальше начинался дремучий ельник.

— Бог на помочь!.. — кричал Павлин, когда мы подходили к косарям.

Параша Кудрявая продолжала работать, не обращая на нас никакого внимания. Фомич остановился, чтобы понюхать табаку.

— Куда побрели? — заговорил он после отчаянной затяжки.

— А я домой... — отозвался Павлин, поглядывая на него. — Дело есть в волости. Вот только еще заверну в ельничек, за косачами...

Мы посидели, поболтали, и Павлин отправился восвояси, а я остался, — мне хотелось еще раз заночевать на Размете.

— Пустой человек!.. — коротко заметил Фомич, прислушиваясь к доносившемуся пению неугомонного Павлина.

— А что?..

— Да так... Несообразно себя ведет: идет по лесу и хайлает. Разве это порядок?.. Вон Параша, и та понимает... Эй, Параша, будет тебе, передохни. Обедать пора!..

— Ну-у... — недовольно ответила Параша и принялась косить еще с бóльшим азартом, так что косалитовка у нее в руках только свистала.

— Как она к вам сюда попала? — спрашивал я.

— Она-то? А сама пришла. Потому чувствует себе пользу, — ну и пришла...

— От работы пользу?..

Фомич посмотрел на меня и ухмыльнулся самодовольно.

— Не от работы, а от лесу польза, — проговорил он после короткой паузы. — Вы с Павлином-то ходите по лесу, как слепые, а в нем премудрость скрыта: и травка, и цветик, и деревцо, и последняя былинка — везде премудрость.

— Какая же премудрость?

— А вот такая... Умные да ученые ходят, запинаются и не видят, а вот Параша чувствует.

Фомич последние слова проговорил обиженным и недовольным тоном, точно я оспаривал его мысль. Подвернувшийся на глаза Лыско получил удар ногой и с визгом скрылся в траве.

— Зачем собаку бьешь? — крикнула Параша, переходя на другую полосу. — Очумел, старый черт!..

Эта выходка рассмешила Фомича, и он только тряхнул головой.

— Ступайте вон по ельнику прямо, — заговорил Фомич, — там пониже выпадет ключик, и как спустишься по ключику — попадет речка, а на ней старый прииск...

— Ягодный?..

— Он самый... Там есть косачи.

— Хорошо; я схожу...

— Да хорошенько заметьте прииск-то: любопытное местечко. Может, и я заверну...

Выкурив папиросу, я отправился по указанному направлению. В воздухе уже начинал чувствоваться наливавшийся летний зной, а в глухом ельнике было так прохладно. Нога совсем тонула в мягком желтоватом мхе. Кой-где топорщился папоротник или попадался целый ковер из брусники, иногда кустик жимолости — и только.

Отыскался и ключик и речка Смородинка, на которой стоял заброшенный прииск Ягодный — таких Смородинок на Урале не один десяток, как приисков Ягодных и Белых гор. Картина заброшенного прииска всегда на меня производит тяжелое впечатление: давно ли здесь ключом била жизнь, а теперь все пусто и мертво кругом, как в разоренном неприятелем городе. Забравшись на верх самой высокой свалки, я долго рассматривал развернувшуюся предо мной картину и по глубоким ямам выработок, по отвалам старых перемывок и обвалившимся канавкам старался восстановить картину недавнего прошлого. Вон по одну сторону темнеет черной впадиной Лаврушкин ложок, ближе — хрящеватый мысок с остатками развалившейся приисковой казармы, в глубине повитая сероватой дымкой угловатая вершина Размета. По течению Смородинки дремучий ельник был вырублен на целую версту, а теперь старая порубь быстро затягивалась свежей молодой зеленью, точно зарастала какая-то широкая рана.

Да, этот старый вековой ельник еще оставался по бокам прииска и так сумрачно смотрел на весело ка-

тившуюся речку по каменистому, изрытому дну. Бойкая горная вода суетливо перебегала по камням и точно сосала глинистый размытый берег. Но где еще так недавно была одна разрытая земля, теперь весело росла самая свежая зелень, точно она сбежалась сюда со всех сторон, чтобы прикрыть резавшую глаза наготу. Глубокие выработки и разрезы, откуда добывался золотоносный пласт, теперь были залиты дождевой водой или поросли мягкой душистой травкой. По берегам этой воды жались друг к другу кусты смородины, вербы, ольхи и лесная малина; а зеленая, сочная осока зашла в самую воду, где блестела и гнулась под напором речной струи, как живая. Кой-где догнивали торчавшие из земли бревна, а из-под них уже вылезали молодые побеги жимолости; тут же качались розовые стрелки иван-чая и пестрели болотные желтые цветы. Около старых пней, как дорогое кружево, лепился своими желтыми шапками душистый лабазник. У самого леса вытянулся целый островок молодого осинника, переливаясь на солнце своей вечно подвижной, металлической листвой, а дальше зеленой стеной поднимался березняк и по течению речки уходил из глаз. Но всего красивее были молодые ели и березки, которые росли по отвалам и свалкам: они походили на гурьбу детей, со всего размаха выбежавших на крутизну и отсюда любовавшихся всем, что было ниже. Казалось, что эта лесная молодежь лукаво шепталась между собой, счастливая солнечным днем и тем, что дает только полная сил молодость.

Такие зарастающие поруби замечательны своим внутренним характером, теми новыми комбинациями, какие складываются у нас на глазах. При некоторой живости воображения получается целая иллюзия, и все эти деревья, кусты и последняя травка освещаются глубоким внутренним светом. Так и кажется, что вот этот темный ельник, который обошел прииск со всех сторон зубчатой стеной, хмурится и негодует на неизвестных пришельцев, которые так весело разрослись на поруби, пришли бог знает откуда и расположились на чужом месте, как у себя дома. Действительно, все эти березняки и осинники являются какими-то лесными

бродягами, которые с нахальством бросились на чужой кусок земли. Конечно, и от старого ельника пошла молодая поросль к реке, но ей трудно бороться с густыми зарослями осины и березы. Издали так и кажется, что сошлись две неприятельских армии, и можно определить даже линию самой сильной схватки, где дело пошло врукопашную: молодые ели и березки совсем перемешались и задорно напирают друг на друга.

Эта картина борьбы за существование усложнялась здесь еще рекой — по ее берегам пришли сюда такие лесные породы, которые и существуют на свете как-то так, между прочим, не имея определенного места жительства. Верба, ольха, смородина, черемуха и кусты жимолости забежали сюда только потому, что настоящих хозяев не было дома, а когда они вернутся — незваные гости будут выгнаны самым безжалостным образом. Даже по самой посадке видно, что эти пришлецы явились сюда только на время: кто присел у самой воды, кто распушился около пня, кто торопливо сосет корнями жалкий клочок хорошей земли. Видно, что все это делается как-то зря, на скорую руку, да и не стоит серьезно хлопотать, потому что пройдет каких-нибудь десять лет — и вся порубь зарастет ровным, крепким березняком, а все эти ольхи, вербы и прочая лесная мелочь уйдут искать нового места; по лесным опушкам, по мокрым лужкам настоящее место этих бродяг, а не в настоящем лесу, где идет вечная борьба между елями и березами. То же вот будет и с малиной, и с иван-чаем, и с теми сорными травами, которые разрослись на запустевшем жилье, — на их месте разрастается настоящая лесная трава и лесные цветы. А через несколько десятков лет ельник победит березу, и вы не узнаете даже места, где была когда-то порубь... Так совершается эта растительная жизнь, полная неустанной, вечной работы, и тот сказочный мир, где деревья говорят, ходят, радуются и плачут, — совсем не выдумка, а действительность, только нужно уметь понять мудреный язык этой немой природы.

Сидя на свалке, я совсем забыл об охоте. Мысли так и роились в голове, а вместе с тем душой овладело какое-то необыкновенно хорошее и доброе чувство,

точно начинаешь жить снова. Не помню, какой-то автор сравнил вечный говор моря с тем шепотом, каким русские бабы заговаривают кровь; по-моему, это сравнение идет больше к лесу... Именно здесь, в лесу, вы чувствуете, что в вас затихает и боль, и невзгоды, и заботы, сменяясь свежим и светлым чувством жизни.

Из этого забытья меня вывел голос Фомича, который умел подходить совершенно неслышными шагами, точно кошка.

— Что, хорошо? — спрашивал он, взбираясь тоже на свалку. — Параша умаялась и легла отдохнуть, а я не утерпел и побежал с ружьишком.

Заслонив глаза от солнца, Фомич долго всматривался в заросший прииск и задумчиво проговорил:

— Всю землю изрыли, как свиньи... А ничего, зарастет. Каждая травка свое место знает... да! Вон у меня через Размет сибирская травка в Расею перебирается. Ей-богу... Все по речке шла в гору-то, а теперь уж перевалила и под гору пошла. Вот она, премудрость-то, в чем... Мы вот умеем только рубить да ломать, а она, трава-то, тоже поди чувствует по-своему: в ней тоже душа.

— И еще другая премудрость есть, — продолжал этот пантеист, вынимая табакерку: — зашел ты в лес — для тебя мертво все... И трава, и лес, и кусты — все мертво. Так я говорю? А это так кажется, потому что все со страхом затаилось от тебя — и козявка, и птица, и зверушка всякая. Ты, как чума, идешь по лесу-то... да! А вот, если ты этак где-нибудь затихнешь, — все и покажется, со всех сторон подымется разное живье. И у всякой-то твари свой уголок есть, и у всякой твари свой порядок, и все на своем месте. Даже это удивительно, что столько в лесу разного живья. Человеку вот тесно, друг друга едят, а тут как вода кипит: и червячок, и козявка, и мушка, и ящерица, и птица... Всякому свой предел. Так-то... А вот человеку некуда деваться. Зачем?..

Этот странный разговор о захватывающей полноте непосредственной жизни природы открывал целое миросозерцание, гармоническое и цельное, которое всего труднее было бы подозревать именно в этом жалком

дьячке, «последней спице в колеснице», как он сам называл себя. Помню, какое сильное впечатление он произвел на меня именно этой цельностью. Великая жизнь природы раскрывалась в подавляющем величии, оттеняя все прорехи и зло специально человеческого существования; Фомич в этот момент являлся прозорливым поэтом, сливавшим свою мысль с дыханием самой жизни.

— А Параша-то сама ведь пришла в лес... — заговорил Фомич после долгой паузы, встряхнув головой. — И совсем другая в лесу-то, точно не она. Чувствует тоже... И говорит по-настоящему, точно вправду умная. Как-то вечерком сидим у огня, гляжу, она плачет. Закрылась руками и плачет. «О чем, говорю, ревешь?» — «А так, говорит, стыдно мне...» Это она, значит, про то, как «Косарей» распевает да подол поднимает на голову, когда ее ребятишки женихами дразнят. Вот он какой, лес-то... Только не говорит, — да нет: говорит, свое говорит!..

ОТРАВА

Очерк

I

Жирное, колеблющееся солнечное пятно уперлось прямо в широкую спину Вахрушки, но он продолжал лежать на земле плашмя, уткнув в траву свое бородатое и скуластое лицо. Солнце жгло отчаянно, а Вахрушка оставался неподвижен из свойственного ему упрямства: не хочу — и шабаш, пусть палит... Пестрядинная рубаха, перехваченная ремешком, и скатавшиеся штаны составляли весь костюм Вахрушки. Валяная крестьянская шляпа и сапоги лежали отдельно: Вахрушка бережно носил их с собою в руках — «на всякий случай», как говорил он.

— Эй, Вахрушка, вставай! — повторял я, толкая его прикладом ружья в бок. — Нужно переправляться через озеро. Не ночевать же здесь на берегу.

Вахрушка мычал, вытягивал босые ноги и продолжал лежать ничком, как раздавленный. Это было возмутительно, особенно когда являлась блаженная мысль о холодном квасе попа Ильи и чае со свежею земляникой у писаря Антоныча. На Вахрушку накатился упрямый стих, и он оставался недвижим, как гнилая колода. Лягавая собака Фортуна, взятая нами у Антоныча напрокат, задыхалась от жара. Время от времени она звонко щелкала челюстями, стараясь поймать

одолевших ее мух. Зной был нестерпимый, а наш тенистый уголок был теперь обойден солнцем.

— Вахрушка, вставай... Что ты в самом деле дурака валяешь?

— А... гм... ыг-м!.. О, господи милостивый...

Мы попали в неприятную засаду. Из Шатунова вышли тем ранним утром, когда еще «черти в кулачки не бились». Сначала обошли озеро Кекур, потом по гнилой степной речонке Истоку перебрались на озеро Чизма-Куль, обошли его кругом и с двумя утками в охотничьей суме решились возвратиться назад. Можно было передохнуть в небольшой деревушке Юлаевой, где жил знакомый старик Пахомыч, но Вахрушка заупрямился, как это с ним случалось, и потянул в Шатуново.

— Первое дело, у попа Ильи квасу напьемся, — объяснял он в свое оправдание. — А то как же? К Пахомычу мы в другой раз завернем... Изморился я до смерти с этими проклятущими утками: одна битва с ними, а не охота.

Можно было вернуться старою дорогой, что составило бы в два конца верст пять с хвостиком, но Вахрушка опять заупрямился и повел ближнею дорогой. Только обогнуть «башкирскую могилу» (урочище, где было сражение во времена башкирских бунтов), Чизма-Куль и останется влеве, а до Кекура рукой подать, из лица в лицо выйдем на Шатуново. Как раз и Маланьина избенка стоит на самом берегу — живо солдатка на батике подмахнет, а там и холодный квас у попа Ильи. Хорош поповский квас! И Вахрушка уперся на этой несчастной мысли, как бык. Было уже так жарко, что вступать в ратоборство с Вахрушкой не хотелось, — ближнею дорогой так ближнею.

Только охотники знают, что такое возвращаться порядочному человеку с поля, когда во рту пересыхает от жажды, ноги точно налиты свинцом и в голове вертится предательская мысль: «Нет, уж это в последний раз...» Идти пришлось открытыми покосными местами, кое-где перерезанными мелкою порослью и отдельными островками. Фортуна давно тащилась по пятам, высунув язык, с тою особенною собачьей покорностью, ко-

торая еще больше увеличивает вашу собственную усталость. Собаки предчувствуют глупости своих даже случайных хозяев. Так мы обогнули башкирскую могилу, разлезшийся глиняный холм с березовою порослью, оставили влеве Чизма-Куль («Говорил, что влеве останется озеро», — несколько раз повторил Вахрушка, оспаривая неизвестного супротивника) и, наконец, завидели вдали кривую полосу ярко блестевшего на солнце Кекура. Это было громадное высыхавшее степное озеро, каких так много разбросано по всему Зауралью. Теперь оно мирно зарастало ситником и осокой, представляя отличный утиный садок. Для охоты оно было неудобно. С берега не допускала качавшаяся под ногами трясина, а гоняться за утками по камышам еще хуже. Вода в озере была дрянная, с болотистым вкусом и ржавыми, масляными пятнами, да к тому же в ней кишмя-кишела так называемая водяная вша. Это не мешало по берегу Кекура вытянуться семиверстному селу Шатунову, — таких сел в Зауралье не одно, как вообще в Сибири, где любят жить грудно. Издали вид на Кекур и Шатуново был посвоему красив, — извилистая полоса стоячей воды была точно «обархочена» разным крестьянским жильем. В центре белела каменная церковь, представляя резкий контраст с окружавшими ее бревенчатыми избушками. Шатуновские старики помнили еще времена, когда кругом Кекура стояли стеной непролазные леса, а в самом озере рыбы было видимо-невидимо; но леса давным-давно «поронили», всю рыбу выловили самым безжалостным образом, как умеет это делать один русский человек, крепкий задним умом, и озеро мало-помалу обращалось в гниющее болото. Та же история повторялась и с другими озерами, как Чизма-Куль, Багаши и другие. Теперь на месте сведенных лесов ковром расстилались бесконечные пашни, и бывшие башкирские улусы и стойбища поражали своим унылым, русским видом. Когда-то земля была овчина овчиной и давала баснословные урожаи, но благодаря сибирской привычке не удобрять поля и это последнее богатство уплыло, — урожаи год от году делались хуже, а единственным средством поправить дела были

молебны попа Ильи да крестные ходы, когда появлялась засуха.

— Ах ты, телячья голова! — говорил Вахрушка, когда мы пришли, наконец, короткою дорогой к озеру. — Маланьи-то нету... а?

— Что же, она, по-твоему, обязана была нас ждать на берегу?

— Баба она, баба и есть! — ругался Вахрушка, присматривая противоположный берег из-под руки. — Ах, телячья голова!.. Вон и батик на берегу кверху брюхом лежит, а Маланьи и званья нет... Утрепалась куда-то, телячья голова!..

Через озеро до села было, на худой конец, две версты, и как Вахрушка мог рассмотреть не только Маланьину избушку, но даже вывороченную вверх дном лодку, — я не мог понять. Прищуренные темные глаза Вахрушки отличались ястребиною зоркостью, в чем я имел случай убедиться много раз.

— Ма-а-ланья!.. — кричал Вахрушка, подхватив одну щеку волосатою рукой. — Телячья голова-а!..

Это было отчаянное средство обратить на себя внимание солдатки, но Вахрушка орал благим матом совершенно напрасно по крайней мере полчаса, пока не охрип.

— Вот тебе и ближняя дорога! — донимал я Вахрушку в качестве потерпевшей стороны. — Теперь кругом озера-то до Шатунова битых двенадцать верст.

— Нет, поболе: все пятнадцать. Ма-аланья!.. А зачем нам кругом озера экую даль месить?

— Что же мы будем здесь делать? Не ночевать же в поле... Вот тебе и холодный поповский квас!

Вахрушка презрительно молчал и только пнул ногой подвернувшуюся Фортуну. Собака отбежала в сторону и, высунув язык, удивленно посмотрела на нас своими добрыми песьими глазами. Когда Вахрушке надоело кричать, он облюбовал на берегу таловый завесистый куст, бросил под него сапоги и шапку и улегся в тени, точно дело делал.

— Увидит кто-нибудь с берегу, телячья голова... Вся причина в Маланье...

Мне ничего не оставалось делать, как только последовать его примеру. Солнце так и жарило. Камыши стояли не шелохнувшись, над ними плавали два ястреба-утятника; пахло гнилою водой, осокой и протухшею рыбой. Июльский овод кружился в застывшем воздухе столбом. На небе ни облачка, и только с восточной стороны всплывала белою дымкой высокая тучка. Фортуна два раза меняла место под кустом, потом сходила в болото, выпачкалась в грязи по уши и, вернувшись к нам, с ожесточением принялась трясти ушами и всем телом, так что грязь полетела на нас дождем. Вахрушка не пошевельнулся, и Фортуна легла рядом с ним, навалившись на его плечо своим грязным боком.

Время идет ужасно медленно, когда хочется есть и когда у попа Ильи такой холодный квас. Наши съестные запасы истощились, и в надежде на Пахомыча не было захвачено соли, так что нельзя было воспользоваться даже убитыми утками. Я пробовал заснуть по примеру Вахрушки и с отчаянною решимостью целый час лежал с закрытыми глазами, но и это не помогло. Солнце обошло куст и начало припекать мне плечо. Я переменил место, а Вахрушка оставался на самом припеке, онемев от истомы.

— Вахрушка, вставай! — будил я его. — Пойдем кругом озера, а то здесь просидим до завтра.

Вахрушка безмолвствовал из свойственного ему упрямства. В Шатунове Вахрушка играл роль интеллигентного «лишнего человека» и был «наперекосых» со всем миром. Жил он бедно, одиноким соломенным вдовцом, потому что жена Евлаха, лет десять терпевшая бедность и побои, ушла, наконец, в стряпки к писарю Антонычу. Свое хозяйство у Вахрушки давно было разорено, и он мыкался по людям: где дров порубит, где на сенокос угодит, где помолотит, где так, за здорово-живешь, стащит. Всего замечательнее было то, что Вахрушка был действительно умный человек, но умный как-то болезненно, с непримиримым ожесточением. Все, что делали другие, Вахрушка обязательно порицал, и порицал ядовито, с тем особенным мужицким юмором, который бьет, как обух. Выберут нового

старосту, случится деревенский казус — Вахрушка произведет такой анализ, что не поздоровится. Шатуновские мужики говорили про него, что «Вахрушка не в людях человек», и это было лучшею характеристикой. Летом в страду, когда от работы стон стоял, Вахрушка сидел у себя на завалинке или ловил петлями уток; осенью, когда все отдыхали и справляли свои праздники, Вахрушка напускался на работу. Иногда он решался порвать всякие отношения с Шатуновым, выправлял паспорт и уходил куда-нибудь на сторонние заработки, но это продолжалось не долго, — много через месяц Вахрушка возвращался на свое пепелище озлобленнее прежнего и опять входил в свою роль деревенского обличителя.

— Все дураки, телячья голова! — повторял он, посасывая копеечную трубочку. — К чужой коже, видно, своего ума не пришьешь!

Были у него братья, хозяйственные, исправные мужики, и бесконечная деревенская родня, но все давным-давно отчурались от Вахрушки, как от невозможного человека. На деревенских праздниках или на свадьбах, где угощались званые и незваные, Вахрушка напивался пьяным, стервенел и устраивал скандал. Его, конечно, колотили, по неделям держали на высидке при волости, а потом Вахрушка получал свободу, садился на завалинку и ядовито посмеивался над односельчанами.

С этим деревенским лишним человеком я познакомился у попа Ильи, когда последний находился в полосе запоя. Вахрушка ухаживал за попом и каким-то жалобным голосом повторял:

— Ах, батько, отец Илья, нехорошо... что люди-то про нас с тобой скажут?.. Надо соблюдать себя, телячья голова!

Обезумевший от запоя о. Илья лез на Вахрушку с кулаками, ругал его самым непозволительным образом, но Вахрушка переносил все с ангельским терпением и только улыбался. К чужим слабостям он питал необыкновенное влечение и защищал грудью деревенских отверженцев — опять-таки по необыкновенной строптивости своего ума.

II

Одуревшая от жары Фортуна вдруг заворчала: чужой идет... Присмотревшись в запольную сторону, я увидал приближавшегося развалистою, усталою походкой мужика в белой валяной шляпе. Он шел сгорбившись и в такт размахивал длинными руками. Меня удивило, что в такой жар мужик был одет в тяжелый чекмень из толстого крестьянского сукна и в новые сапоги. Для удобства полы чекменя были заткнуты за новую красную опояску, открывая подол стоявшей коробом новой пестрядинной рубахи и такие же штаны. «Видно, куда-нибудь бредет к празднику», — невольно подумал я, сдерживая рвавшуюся Фортуну за ошейник. Но какие же праздники могут быть в страду, а Ильин день уже прошел... Свадьбы в страду тоже не «играют».

— Мир на стану, — здоровался мужик, подходя к нашей засаде.

— Спасибо... садись, так гость будешь.

Мужик медленно посмотрел на меня своими прищуренными, слезившимися глазами, потом на Вахрушкину спину и, тряхнув головой, проговорил:

— Видно, перевоза ждете?

— Да вот все Вахрушка виноват, — пожаловался я, обрадовавшись случаю воспользоваться третейским судом. — Ближнею дорогой повел, да вот в засаду и привел.

— Несообразный человек, одно слово — все напоперек ладит сделать супротив других, — мягко поддерживал меня мужик, оглядывая место присесть. — Мне, видно, тоже в Шатуново... попутчик вам нашелся.

— К празднику? — спросил я, чтобы поддержать разговор.

— Около тово, — отвечал мужик и тяжело вздохнул.

Он бережно подобрал полы чекменя, снял шляпу и сел на траву между мной и Вахрушкой. На вид ему было лет пятьдесят, но мужицкая старость держится долго: на голове ни одного седого волоса, лицо свежее, — одним словом, работник еще в полной поре. По одеже и манере себя держать можно было определить

сразу, что он из достаточной семьи и не надсаждается над работой. Только в маленьких глазах стояла какая-то недосказанная, тяжелая мысль, которая заставляла его бормотать себе под нос, встряхивать головой и задумчиво разводить руками.

— Эй, Вахрушка, вставай, будет тебе бочонки-то катать, — заговорил он после долгой паузы.

— Отвяжись, телячья голова! — бормотал Вахрушка, заползая головой прямо в куст. — Умереть не дадут спокойно.

— Говорят: вставай...

Вахрушка судорожно поднялся, сел и равнодушно проговорил:

— А, Пимен Савельич...

— Видно, он самый... За охотой ходили?

— Есть такой грех: рыба да рябки — потеряй деньки... А ты куда поволокся?

Этот простой вопрос как-то вдруг заставил старика съежиться, и он ничего не ответил. Вахрушка тоже, видимо, смутился нетактичностью вопроса и так зевнул, что челюсти хрустнули. Мое присутствие, видимо, их стесняло.

— А все Маланька виновата, телячья голова! — заговорил Вахрушка, точно хотел оправдаться. — Который час теперь дожидаем, а и всего-то дела: села в батик и подмахнула живою рукой... Нет у этих баб никакой догадки!..

— Вы бы пальмо на берегу разложили, вот Маланья-то и догадалась бы...

— Еще за бродяг примут с пальмом-то... да и в страду оно не тово... сухмень стоит.

— Ну, из ружья стрельнули бы... Маланья — баба увертливая, сейчас бы прикинула умом.

— И в самом деле, телячья голова! Ведь вот, поди ты, в голову не пришло... Барин, одолжите порошку — сейчас запалю... Ведь вот, поди ты, давно бы догадаться так-то!.. Померли бы с голоду, как бы не Пимен Савельич...

Я передал Вахрушке свою двустволку, которую все равно нужно было разрядить. На берегу грянули два выстрела, но солдатка не показывалась. Вахрушке

опять пришлось орать благим матом: «Ма-аланья... те-елячья голова-а!»

— Обожди малость: не до нас ей, — остановил его старик. — Со всего села народ теперь сбежался к следственнику, а Маланья впереди всех, потому как самая легковерная бабенка.

Было сделано еще два выстрела, но с прежним успехом. Фортуна бегала по берегу, тыкалась носом в траву, фыркала и, оглядываясь на стрелявшего Вахрушку, отчаянно лаяла.

— Разве в Шатунове есть следователь? — спросил я Пимена Савельича, пока происходила вся комедия.

— Нет, из городу приехал... Дожидали его ден пять, потому как объявилось на покосе мертвое тело... Так, вышла заминка... Пора страдная, до того ли теперь, а народ должен дожидать... Известно, беда не по лесу ходит, а по людям!..

— И то утрепалась Маланька-то к следственнику, — говорил Вахрушка, подсаживаясь к нам. — Этих баб хлебом не корми, а только бы на народе потолкаться... Кому горе, а им любопытно.

Разговор на этом оборвался. Пимен Савельич прилег на траву и, видимо, начинал дремать. Вахрушка растянулся опять пластом, раскинул руками и коротко вздохнул, как человек, приготовившийся отдохнуть после тяжелого труда. Но его вдруг точно что укололо, — он поднялся на ноги одним прыжком.

— Кольем ее, эту самую Отраву... да!.. — азартно заговорил Вахрушка, наступая на нас. — А то следственник приехал... тьфу!.. Надо без разговору, телячья голова, удавить ее... Нет: привязать за ноги к двум березам да на-полы и разорвать, чтоб она чувствовала.

— Темное дело, Вахрушка, не нашим умом судить... — ответил со вздохом старик. — Чужая душа — потемки.

В уме я быстро соединил найденное на покосе мертвое тело, приезд в Шатуново следователя и теперешний разговор об Отраве, шатуновской старухе, пользовавшейся репутацией колдуньи, в одно целое. Вахрушкин азарт служил только дополнением унылого настрое-

ния Пимена Савельича. Видимо, старик имел какое-то касательство к разыгравшейся в Шатунове трагедии.

— Она, телячья голова, сколько теперь народу стравила... а? — уже хрипел Вахрушка, входя в раж. — А тут на: и следственник выехал, и становой, и понятых нагнали... тьфу, тьфу!.. Нашли важное кушанье!.. Как барыню допрашивать будут, а всего-то дела — веревку ей на шею да в озеро... Своими бы руками задавил, телячья голова, потому не стравляй народ!..

— Полно, Вахрушка, зря молоть... не таковское дело, — заметил старик, переминая в руках свою белую шляпу. — Мало ли про кого что болтают!

— Тебя ведь тоже колдуном зовут? — заметил я Вахрушке.

— Меня?.. Я — другое, телячья голова!.. Ежели от ума, например, это я могу... Лошади там или корове попритчилось, — это уж мое дело. Да! Всегда могу свое понятие показать — вот и вышел Вахрушка колдун.

— И Отрава, может быть, тоже от ума помогает?

Вахрушка повернулся в мою сторону и, откладывая пальцы на левой руке, заговорил с новым азартом:

— У ей, у Отравы у самой, было три мужа: всех стравила, а дочери-то, этой самой Таньке, всего двадцать третий год пошел. И третьего мужа дотравит... Вторая у ей дочь, значит, выходит, солдатка Маланья, — ну, когда солдат выйдет в бессрочный, и его стравят. Солдат-то сойдутся с кузнецом Фомкой, — муж, значит, Танькин, — и кажный раз говорят: беспременно нас тещенька на тот свет напрасною смертью предоставит. Ей-богу, сами говорят!.. А кривого Ефима кто уходил? Обязательный был старичок... А Пашка Копалухин? А другой Пашка, значит, зять Спирьки Косого?.. Тут, телячья голова, целая уйма народу наберется, а работа все одна... Не один раз мужики-то всею деревней на эту самую Отраву посыкались и порешили бы, да...

— За чем же дело стало? — полюбопытствовал я.

Этот простой и естественный вопрос неожиданно смутил Вахрушку. Он заморгал глазами, дернул плечом, развел рукой, да так и остался с закрытым ртом, точно подавился. Пимен Савельич тоже отвернулся

в сторону. Старик все время, пока Вахрушка пересчитывал по пальцам «стравленных» мужиков, грустно качал головой и повторял:

— Вахрушка, а, Вахрушка?.. Да уймись ты, а?.. А-ах, бож-же мой, да разе про это можно так зря говорить... Вахрушка, а?

— Да я первый бы ее, эту самую Отраву, — заговорил Вахрушка, не отвечая на мой вопрос, — и с дочерью Танькой вместе... Кишки бы из них вытащил да обеих колом осиновым наскрозь, н-на!.. Не трави народ, первое дело. Одно званье чего стоит: Отрава... Из других деревень к Шатунову бредут бабенки, и все к Отраве, а она уж научит, телячья голова. Да ежели считать, так верных человек сто стравила! Хошь у кого спроси у нас в Шатунове, в Юлаевой, в Зотиной, на Тычках... Вот она какая, эта самая Отрава! А тут следственник выехал, народ сбили, на окружном суде беспокоить добрых людей будут... Разе такой ей суд надо? Да с ней и разговаривать-то грех.

Деликатные формы нового суда возмущали Вахрушку до глубины души, и он, как бывалый человек, в лицах представил весь судебный процесс.

— «Анна Парфеновна, признаёте ли вы себя виновной, что стравили сто шатуновских мужиков и касательно протчиих деревень?» — «Никак нет, ваше высокородие!» А тут уж абвокат пойдет пластать в свое оправдание: и такая-то, и сякая-то, и сейчас в закон ударит, прямо, значит, по статьям, — ну, Отрава и выправится!..

— Вахрушка, а? Да уймись, пе-ос! — усовещивал Пимен Савельич, вздыхая. — Как это у тебя язык-то поворачивается?.. Таковское ли это дело, чтобы, значит, так просто о нем разговоры эти самые разговаривать?

— У меня свои права есть! — орал Вахрушка в исступлении. — Тогда женешка-то моя Евлаха тоже было... Как это, по-твоему, Пимен Савельич?.. Например, ты пирога с груздями поел, а у тебя в брюхе такая резьба подымется, и сейчас под сердце подкатит. Доставала Отрава-то, телячья голова, и меня, да только я умом своим собственным тоже раскинул: молоком парным едва отпоили в те поры. Значит, теперь

у меня свои права в полной форме, и завсегда я могу всякие слова говорить.

Мы в этих разговорах просидели еще часа полтора, пока солдатка Маланья заметила нас и «подмахнула» на своем батике. Батами называются лодки, вроде тех деревянных колод, в каких задают лошадям корму. На бату едва можно поместиться двоим, а если сядет третий, то грозит серьезная опасность утонуть от малейшей неосторожности.

— Как же я вас повезу? — раздумывала Маланья, когда бат, наконец, причалил к берегу. — Четверым не уйти.

Это была приземистая баба-крепыш с ласковыми карими глазами и глупо-довольным выражением круглого румяного лица. В Шатунове она пользовалась незавидною репутацией, но с нее и не взыскивали, как с непокрытой головы. И солдатка живой человек: крепится-крепится, да что-нибудь живое и придумает, а охотников на чужую беду всегда много.

— Что же ты, телячья голова, не плыла раньше-то? — ругался Вахрушка, залезая в бат первым. — Уж мы тут и кричали и палили.

— Ох, без вас тошнехонько! — махнула рукой Маланья и со слезами в голосе прибавила, обращаясь к старику: — Ведь твоя-то Анисья во всем повинилась следственному...

— Н-но-о?

— И все на мамыньку показала... Ох, конец пришел!..

Солдатка вышла на берег, присела на камушек и громко заголосила.

— Ну, вот што, Маланьюшка, ты здесь посиди, а мы, значит, поплывем, — утешал Вахрушка, пробуя весло. — С каким-нибудь мальчонкой выворотим батик-то.

Маланья только махнула рукой. Батик отчалил, тяжело раскачиваясь в воде, а мы держались за борта руками, чтобы сохранить устойчивое равновесие. Фортуна спокойно поплыла за нами, как это и следует умной собаке.

— Кто тебе Анисья-то будет? — спрашивал я старика.

— А дочь! — как-то равнодушно ответил он. — Значит, середняя дочь, а старшая-то в Юлаевой за кузнецом.

— В чем она повинилась?

— Ох, не спрашивай... Страшно и выговорить: мертвое-то тело на покосе нашли — это ейный муж, выходит. Ох, великий грех... тошнехонько!

— Сидите смирно, телячьи головы! — обругал нас Вахрушка, когда батик сильно качнулся.

III

Поп Илья в летнем подряснике из яркозеленого люстрина, пожелтевшего подмышками и на лопатках, ходил из угла в угол по комнате, выходившей тремя окнами на широкую шатуновскую улицу. В переводе это значило, что батюшка совершенно здоров. Завидев нас, он выглянул в распахнутое окно и улыбнулся своею застенчивою улыбкой.

— А мы насчет квасу, отец Илья, — объяснял Вахрушка, шмыгая в калитку. — На перепутье, значит, телячья голова.

Поповский новенький пятистенный домик стоял как раз напротив церкви. Новые ворота вели во двор с новыми службами и новым крылечком, которое всегда стояло растворенным настежь, точно приглашая в гости к попу званого и незваного. Но сам двор был совершенно пуст, не в пример всем остальным поповским дворам, переполненным до краев разною живностью, — поп Илья вдовел лет пять, детей не имел и разорил все хозяйство. Оставалась всего одна курица, спасавшая свою жизнь где-то под крыльцом. Вахрушка неоднократно покушался изловить ее, но «дошлая птица» отличалась большою предусмотрительностью и точно проваливалась сквозь землю в самый критический момент.

Пока мы снимали разную охотничью сбрую в задней каморке, поп Илья разговаривал с Пименом Савельичем, который понуро стоял перед окном.

— Не по лесу грех ходит, — повторял он.

— Да, всеконечно, — бормотал о. Илья, разглаживая черную бородку.

Среднего роста, коренастый и плотный, поп Илья так и дышал деревенским здоровьем, которому нет износу. Его портило только опухшее лицо и сквозившая на макушке преждевременная лысина. Близорукие, выпуклые глаза смотрели как-то удивленно. Шагая по своей зале, поп Илья имел привычку постоянно прятать руки в карманы или просто под полу зеленого подрясника.

Когда я вошел в залу, Пимен Савельич простился с попом Ильей и побрел своею дорогой, раскачиваясь на ходу.

— Ну что, как дела, отец Илья? — спрашивал я, чтобы начать разговор.

— Ничего, скверно... Жаль мужика. Мужик-то хороший!..

— Следствие производят?

— Да.

Поп Илья не отличался разговорчивостью и заменял слова усиленною ходьбой. Кроме того, ему, видимо, не хотелось говорить о случившемся.

— Ведь про Отраву рассказывают ужасные вещи? — попытался я еще раз завести разговор.

— Не наше дело.

— Да ведь все же об этом кричат, отец Илья?

— Один Вахрушка болтает... Не наше дело...

Эта полная безучастность удивила меня. Живя в деревне, нельзя чего-нибудь не знать, тем более что здесь выдавалось вопиющее дело.

— Вы у Антоныча остановились? — спрашивал меня о. Илья.

— Да. А что?

— Так. У него полон дом теперь гостей: становой, следователь... Вы оставайтесь у меня.

— Благодарю.

Старушка родственница, заведовавшая несложным хозяйством попа Ильи, подала две бутылки холодного поповского квасу, о котором мы мечтали целый день.

Вахрушка припал губами прямо к горлышку и выпил всю бутылку.

— Скусен поповский квас, телячья голова! — похвалил он, вытирая свои тараканьи усы рукавом рубахи. — Не то, что наш, крестьянский.

После сиденья на солнопеке прохлада поповского дома так и тянула отдохнуть. Улица была совсем пуста. Даже собаки — и те попрятались по тенистым уголкам. Вахрушка перехватил какой-то закуски на кухне и ушел отдыхать в сарай. Обедать с нами он ни за что не хотел остаться по особой мужицкой деликатности.

— Нет, уж я, телячья голова, лучше в куфне чего поищу, — объяснил Вахрушка. — Не привычны мы, чтобы с господами компанию водить... Как раз еще подавишься, телячья голова!

— Перестань ты, Вахрушка, дурака валять...

— Нет, уж в куфне... Оно способнее. Вот насчет водочки, телячья голова, ежели такая милость будет... это мы весьма даже принимаем.

Поп Илья махнул рукой на купоросившегося гостя, который теперь «приунищился» неспроста: вы будто господа, а мы будто мужики, — ну, все-таки у нас свое понятие есть. Мужик сер, да ум-то у него не черт съел. Вахрушкин гонор поднимался на дыбы по самым ничтожным поводам, как было и сейчас. Самое лучшее, как всегда в таких случаях, оставить его одного, — гонор так же быстро спадал, как и накатывался. Впрочем, эта Вахрушкина политика скоро объяснилась: через полчаса в поповский дом нагрянули настоящие господа — следователь Василий Васильевич, высокий, сгорбленный господин в пенсне, толстый и лысый доктор Атридов, старичок становой Голубчиков. Гости только что кончили следствие и завернули к попу «стомаха ради», — как объяснил Атридов, нюхая воздух своим приплюснутым жирным носом.

— Это черт знает что такое! — повторял Василий Васильевич, шагая по комнате. — Целая лаборатория всевозможных ядов у этой старушонки... И заметьте: все растительные яды, которые и доказать на трупе в большинстве случаев трудно.

— Друг мой, я вам вперед говорил... — скороговоркой отвечал доктор, обнимая Василья Васильевича. — Уж я знаю, друг мой. Заметили, какое у ней лицо? Настоящая колдунья!.. Нос крючком, глаза горят, как у волка, и хотя бы бровью повела.

Старичок становой сокрушенно вздыхал, посматривая на дверь, откуда должны были появиться поповские наливки и приличная случаю снедь.

— Не правда ли, друг мой, — тормошил его неугомонный Атридов, успевавший надоедать решительно всем, — редкий случай?

— Вот нашли редкость... ха-ха!.. Да у нас этого добра сколько угодно, — отвечал становой, как человек, обязанный знать всю подноготную в пределах своей территории. — В любой большой деревне такая птица сидит, а за этой я уже давно следил... Одним словом, крупный зверь попался.

— И крепко попался... Я и говорю Василью Васильевичу: «Друг мой, вы ее покрепче прижмите, чтобы в собственном соку изжарилась...» Кажется, дело чисто сделали. Не правда ли, друг мой?.. А та, молоденькая-то бабенка, Анисья, с первого раза размякла и прямо в ноги: «Я мужа стравила». Даже очень глупая бабенка... Старуха-то ее очень хорошо учила: «Ты помаленьку трави мужа, чтобы незаметно было». Ну, неможется человеку — и вся недолга. Так бы и изошел на нет, фельдшер помог бы еще какою-нибудь микстурой, а отец Илья предал бы тело земле... да! Ну, а бабенка не стерпела: перепаратила... Очень уж ей хотелось поскорей отделаться от мужа.

— Большая несостоятельность замечается теперь среди сельского населения, — глубокомысленно заметил становой, любивший выразиться покудрявее. — Например, жизнь человека, самое драгоценное благо, идет совсем прахом, да!

Предобеденная выпивка прошла очень торопливо, по-походному. Доктор и тут успел исполнить долг ровно за троих и хлопал одну рюмку за другой с приличными случаю прибаутками и наговорами. У него не только покраснело заплывшее жиром лицо, но даже

лысина, и он к каждому слову теперь прибавлял свое: «друг мой».

— Замечательно то, что за отраву эта старуха взяла с Анисьи всего тридцать копеек деньгами, трубку холста и еще какую-то дрянь, вроде яиц, — говорил Василий Васильевич, усаживаясь за обеденный стол и запихивая один конец салфетки за ворот накрахмаленной рубашки. — Это тараканов травить дороже.

— Вы забываете, друг мой, что почтенная старушка вела свои дела оптом, а это целый капитал... Если она сотню людей отправила таким образом ad patres [1] и за каждый сеанс получила, друг мой, трубку холста, по два десятка яиц и еще осязуемыми знаками обмена, как говорит политическая экономия... Отец Илья, друг мой, вы что же стомаха ради не чкнете?

— У меня зарок, доктор... Не могу.

— Я вам разрешаю, друг мой... Клин клином вышибай — это мой принцип. А если уж очень будет коробить — сейчас, друг мой, хлорал-гидрат: золотая штучка. Я всегда ее с собой вожу...

— Не могу, — зарок...

За обедом разговоры велись все о той же Отраве, которая пока была заключена в холодную при волости, а отсюда должна быть препровождена в уездный город Пропадинск и там содержаться в остроге до суда. Обстоятельства всего дела и предположения о его последствиях передавались с тем механическим спокойствием, как это свойственно людям, привыкшим к своей специальности, точно дело шло о самых обыкновенных пустяках. Врачи так же говорят о самых страшных болезнях и удивительных случаях в их практике. Эти разговоры пересыпались самыми домашними отступлениями: у жены Атридова всё болели зубы, у станового родились весной двойни, у Василья Васильевича была куплена новая лошадь — коренник с необыкновенно завесистою гривой, дошлая курица попа Ильи, предназначенная сегодня на жертву стомаху, опять скрылась, и т. д. Говорили об отличной охоте на косачей в окрестностях Шатунова, когда выпадет первый снег,

[1] к праотцам *(лат.)*.

об удивительных рыбных тонях в озере Кекур всего каких-нибудь двадцать лет назад, о жестоком законе, который запрещает священникам жениться во второй раз, и в конце концов опять разговор переходил на Отраву — очень уж редкий случай.

По обстоятельствам всего дела, выясненного судебным следствием, можно было только восстановить его формальную сторону: тогда-то бабенка Анисья, не ладившая с мужем, пришла к Отраве и попросила средствия; Отрава приняла подарки, порылась в своей лаборатории и вынесла необходимую специю в кабацкой посудине. Бабенка Анисья вместе с средствием получила подробную инструкцию, как ей орудовать, но постаралась и двухнедельную порцию выпоила мужу в сутки. Дело происходило на покосе, в страдное время. У мужика поднялась ужасная «резьба», он катался с воем по земле и прямо указал на жену, что она его отравила. Сбежались соседи по покосу, ребятишки ревели, Анисья потерялась и во всем повинилась следователю, выдав головой Отраву. Старуха, несмотря на поличное, заперлась, и Василий Васильевич ничего не мог от нее добиться: знать не знаю, ведать не ведаю. Бабенка Анисья была ясна, как день, но Отрава оставалась загадкой: запираться во всем против прямых улик слишком наивное средство для такой опытной старухи, а главное, она сама себя не признавала виновной. В ней, в этой Отраве, жило убеждение своей правоты, и это поражало всех.

— А как она сказала про Анисью при очной ставке? — спрашивал я, стараясь распутаться в собственном недоумении.

— Да ничего не сказала, а только посмотрела с сожалением, — объяснил Василий Васильевич. — Дескать, нестóющая ты бабенка, коли не успела концы схоронить... Не стоило рук марать. А главное, очень уж дешево все... Тридцать копеек, трубка холста и яйца.

Действительно, очень уж дешево, и это — вторая, запутывавшая дело, сторона. Отрава знала, что дает и чем сама рискует, а идти за тридцать копеек в каторгу — прямой нерасчет. Вообще Отрава являлась не-

которою загадкой и невольно подавляла своею самоуверенностью.

— В прежние времена с этими дамами проще обращались, — заметил становой. — Конечно, с какой стати она будет говорить на свою голову, а прежде прописали бы ей такую баню... да-с. Оно, конечно, грубое средство и с женщиной даже жестокое, но, согласитесь сами, как же быть?.. Нужно хоть чем-нибудь гарантировать неприкосновенность личности.

— Вы, друг мой, ошибаетесь, — спорил доктор Атридов, примыкавший всегда к большинству. — Это называется выколачивать истину, а мы живем, слава богу, не в такое время... Да, друг мой.

IV

Вечером у попа все засели «повинтить» — обыкновенное времяпрепровождение засидевшегося провинциального человека. Спускались прекрасные летние сумерки. По улице устало пробрело стадо коров. Блеяли овцы, азартно лаяли собаки, гоготали гуси, — вообще Шатуново переживало тот оживленный момент, за которым так быстро наступает мертвая деревенская тишина. В открытом окне несколько раз появлялась и исчезала голова Вахрушки. Я вышел за ворота, чтобы подышать свежим воздухом. Вечерняя заря ярко алела над озером, которое горело розовым огнем. Из далекого конца, где сошлись стеной камыши, уже потянуло ночною сыростью, и в воздухе, как дым, плавали первые пленки тумана.

Постояв за воротами, я без всякой цели побрел вдоль улицы. Кое-где в избах зажигались огни, бабы встречали возвращавшуюся с поля скотину, деревенская детвора пугливо стихала при виде незнакомого городского человека. Русская засыпающая деревня имеет всегда такой грустный вид, и невольно сравниваешь ее с городом, где именно в это время закипает какая-то лихорадочная жизнь. Контраст полный... На дороге меня догнал Вахрушка, слонявшийся по деревне

без всякого дела, — идти в свою избушку ему решительно было незачем.

— А я-таки сбегал в волостное, — докладывал он, шмыгая ногами на ходу. — Поглядел на Отраву... Ну, и язва только, телячья голова!.. Сидит, как сова в тенете.

Вахрушка удушливо засмеялся, довольный сравнением.

— А што ей будет, значит, Отраве? — спрашивал Вахрушка, забегая бочком вперед. — На окружной суд пойдет?

— На окружной.

— Оправдают, телячья голова! — самоуверенно проговорил Вахрушка и сделал отчаянный жест рукой. — Известно, господа будут судить... В прежние времена за это самое на эшафоте бы взбодрили первое дело, а потом в каторгу, да!.. А нынче какое обращение: «Анна Парфеновна, признаёте себя виновной?» — «Никак нет, вашескородие, а даже совсем напротив». Ну, господа и скажут: «Покорно благодарим». Какой это суд? По-настоящему-то Отраву на ремни надо разрезать...

Около ворот и на завалинках попадались кучки мужиков, тихо разговаривавших между собой, вероятно, о той же Отраве, как и мы с Вахрушкой. Наше появление заставляло их смолкать. В темноте едва можно было различить бородатые, серьезные лица. Кое-кто снимал шапки, вероятно принимая меня за лицо, сопричастное к следствию.

— А в волостном писарь Антоныч с фельдшером в шашки жарят, — проговорил Вахрушка, когда мы поровнялись с двухэтажною избой. — Верно... К попу Илье им теперь не рука идти, потому тоже чувствуют свое начальство, вот и прахтикуют между собой. А какое начальство хоть тот же Василь Василич... Ей-богу!.. Лонись[1] мы с ним за косачами по первому снежку ездили, — самый что ни на есть простой человек, телячья голова. Рядком с ним едем в пошевнях и растабарываем... Разве такое начальство должно быть?

---

[1] Лонись — в прошлом году. *(Прим. Д. Н. Мамина-Сибиряка.)*

— А какое, по-твоему?

— По-моему-то?.. По-моему, настоящее начальство, когда от страху человек всякого ума решается... Врасплох-то его и бери, а то одумается, так из него правды топором не вырубишь. Ту же Отраву взять: нисколешенько она Василь Василича не испугалась и даже еще разговаривает с им...

Мы зашли в волость. Мне нужно было увидать писаря Антоныча. Это был типичный представитель зауральского писаря: седенький, обстоятельный, с неторопливой речью; одевался он всегда в черные суконные сюртуки и носил «трахмальные» манишки. Фельдшер Герасимов был бедный, попивавший господин, насквозь пропитанный специфическим аптечным ароматом. Если Антоныч держал себя независимо, то фельдшер испытывал какой-то прирожденный страх перед каждою форменною пуговицей и постоянно трепетал.

По скрипучей, покосившейся лестнице мы поднялись во второй этаж. В передней мирно дремал на лавочке старик сторож, заменявший при волости чиновника особых поручений. В присутствии горела на столе сальная свеча и слабо освещала две головы, безмолвно наклонившиеся над доской с шашками.

— Ходу? — спрашивал фельдшер, видимо припиравший противника к стене. — Как ни ворочай, все одна нога короче...

— Гусей по осени считают, — отвечал Антоныч, сдерживая игровую злость. — Подожди, когда другие похвалят... Ах, это вы?.. Милости просим, садитесь.

Воспользовавшись случаем, Антоныч перемешал шашки, что возмутило фельдшера до глубины души. Он только прошептал: «Хлизда».

— Завернули полюбопытствовать насчет содержимой? — галантно обратился Антоныч ко мне, не обращая внимания на «движение» партнера.

Я объяснил, что буду ночевать у попа Ильи и что, пожалуй, не прочь буду взглянуть на «содержимую», если это никого не затруднит.

— Не стоит она того, чтобы беспокоить себя, а впрочем, пожалуйте, — с достоинством пригласил Антоныч следовать за собой.

Шатуновский писарь говорил об Отраве нехотя, с тем пренебрежением, как говорят о предметах неприличных. Фельдшер о чем-то шептался с Вахрушкой и разводил руками.

Антоныч пошел впереди нас со свечой. В сенях была узкая и крутая лесенка, спускавшаяся в нижний этаж. Там было совершенно темно. Мы спустились в такие же сени, какие были наверху, и здесь натолкнулись на Пимена Савельича и каких-то женщин, боязливо прижавшихся к стене.

— Чего вы тут делаете? — строго проговорил Антоныч, обращаясь к сидевшему на скамеечке сотскому.

— А к дочере пришел, Иван Антоныч, — тихо ответил старик, перебирая в руках свою белую шляпу. — Значит, к Анисье. Ох, согрешили мы грешные... привел господь...

Наступила тяжелая пауза. Прижавшиеся к стене бабы тяжело вздыхали и сморкались. В запертой на железный болт двери проделано было квадратное отверстие, куда я и заглянул. Антоныч услужливо посветил своим сальным огарком, направив полосу света на «содержимых». Холодная представляла узкую грязную комнату с одним окном, заделанным массивною железною решеткой. На полу валялась грязная солома. Отрава, сгорбленная старуха лет семидесяти, сидела на единственной скамейке, по-бабьи подперев голову рукой. Сморщенное старушечье лицо глянуло на нас тусклыми, темными глазами, обложенными целою сетью глубоких морщин. Отрава нисколько не смутилась нашим появлением и только равнодушно пожевала сухим беззубым ртом. У стенки, опустив руки, стояла вторая «содержимая», Анисья, еще молодая бабенка, но с поблекшим лицом и впалою грудью. Глаза у ней распухли от слез, худые плечи вздрагивали. Она была босая и так жалко выглядела всею своею испуганною фигурой.

— Мышей тут ловите, телячьи головы? — спрашивал Вахрушка, просовывая свою голову к форточке. — Ах, вы...

Он выругался, но Антоныч сердито его оттолкнул:

— Не твоего ума дело!.. Все под богом ходим.

— Так ты, Анисья, говоришь, што пестрядину отдать своячине? — вмешался Пимен Савельич, очевидно продолжая какой-то хозяйственный разговор.

— Пусть Нютке скроит рубашонку, — ответила Анисья с удивительною для ее общего убитого вида деловитостью. — Да, Пашуньке... Па-ашунь...

Схватившие ее за горло слезы не дали кончить слова.

— И нар-родец: человек в каторгу идет, а они — пестрядина! — ворчал Иван Антоныч, оттирая старика.

— Да ведь нельзя же, Иван Антоныч, — оправдывался покорно убитый старик, — детишки-то малешеньки... Тоже обрядить надо, а без матери-то хуже сирот. Так Пашуньке-то из новых овчин шубенку обставить? — заговорил он в форточку.

— Шубенку, а останутся которые лоскутки, так на заплатки уйдут, — отвечала Анисья с новым приливом энергии. — И чтобы телушку братану Илье, а ярочку свекровушке. После детишкам-то росстава будет...

Бабы у стены начали перешептываться. Сотский цыкнул на них, как на куриц. Отрава сидела неподвижно и смотрела куда-то в угол. «Мамынька, родимая», — тихо заголосила у стенки солдатка Маланья, не смевшая подойти к двери. Антоныч сморщился и сделал нетерпеливый жест, — как человек галантный, он не мог выносить глупого бабьего воя.

— Что же, она все молчит? — спросил я про Отраву.

— Как мертвая, — ответил фельдшер, хранивший все время молчание. — Упорная старушонка-с.

Молчаливая, точно застывшая фигура Отравы произвела на всех импонирующее впечатление: за нею, вот за этою семидесятилетнею старухой, что-то стояло страшное и внушительное, что знала она одна и что̀ давало ей силы. Меня удивляло то смущенное и совестливое чувство, которое она возбуждала во всех и которого не могли прикрыть ни Вахрушкина грубость, ни писарская галантность. Даже Пимен Савельич, этот черноземный человек, и тот старался обходить разговоры об Отраве: «господь с ней, не наше дело», и т. д.

— А которое, что в сундучишке, так пусть тетка Феклиста побережет, — наказывала Анисья, занятая

хозяйственными соображениями. — Смертное[1] пусть полежит... После мне же пошлете, куда накажу. А новые башмаки, может, Нютки дождутся...

Мы вышли другим ходом на крылечко и двором на улицу. Деревня уже спала. Только кое-где мертвая тишина нарушалась сонным бреханьем собак.

— Так вы к попу? — спрашивал меня Антоныч.

— Да... У вас теперь вся квартира занята гостями, а у попа есть свободный уголок.

— Нашлось бы местечко... Гости-то, поди, к утру придут — не придут. О, господи помилуй, — зевнул Антоныч в заключение.

Мы пошли с Вахрушкой обратно.

— А ты все-таки схлиздил давеча, Антоныч, — корил в темноте фельдшер своего партнера. — Я совсем в дамки проходил...

— Отвяжись, зуда, — ворчал Антоныч, зевая.

В Зауралье, где раскинулись такие села, как Шатуново, «тысячные писаря» не редкость. Это очень влиятельный и солидный народ, не в пример заблудящим писарькам других губерний. Таким был и Антоныч, который, кроме своих прямых обязанностей, занимался хлебопашеством, приторговывал при случае и вообще умел сколотить копейку про черный день. Заветною его мечтой было попасть в земские гласные и в члены управы, чтобы этим путем развязаться с деревенскою «темнотой». В подтверждение своих мечтаний он любил приводить характерную поговорку: «Бог да город, черт да деревня». Из таких писарей действительно организуются земские силы вторичной формации, и они вертят всеми делами, особенно в маленьких уездах, где некого противопоставить им.

Поп Илья тоже был из тысячных зауральских попов; у него посевы достигали до ста десятин, было двадцать лошадей, столько же коров, — одним словом, громадное хозяйство. Но после смерти жены, оставшись одиноким человеком, поп Илья запустил хозяйство и начал сильно запивать. Постепенно все хозяйственное

---

[1] Смертное — одежда, приготовленная на смерть. (*Прим. Д. Н. Мамина-Сибиряка.*)

обзаведение перешло к Антонычу, а поп Илья угрюмо шагал по своему дому из угла в угол, как затравленный зверь. Эта история никого не удивляла, точно писарь Антоныч для того и существовал, чтобы перевести за себя все поповское добро.

V

Винт в поповском доме продолжался. Выигрывал Василий Васильевич, несмотря на то, что делал постоянно промахи по части выходов, забывал объявленные масти и вообще, выражаясь технически, плел лапти. Его партнер, доктор Атридов, возмущался, стучал кулаком по столу и орал на всю улицу:

— Вы, друг мой, хуже старой бабы... да! Можно подумать, что вы меня подсиживаете с намерением... Это, друг мой, наконец, черт знает что такое!

Старичок становой не выиграл и не проиграл, поэтому все его лицо сияло одною добродушною улыбкой. Развалины закуски на столе, пустые и недопитые бутылки говорили о жарком деле.

— Поп-то терезвый! — удивлялся Вахрушка, выглядывая на игравших из дверей передней.

Я посидел около игравших и отправился спать в сарай, где на сене Вахрушка уже приготовил все необходимое. Мы улеглись спать; Вахрушка, выспавшийся днем, долго ворочался, зевал и точно про себя проговорил:

— Терезвый поп-то, а то он задал бы, телячья голова, хи-хи!.. У него какая повадка, у Ильи-то: пропустил две рюмки, глаза на крове и заходили, а потом этак, молчком, подойдет да хлясь прямо в ухо... Вот какая привычка, телячья голова!.. Сперва-то он меня так удивил: за здорово-живешь так звезданул... А сам молчит. Ну, а уж потом я к нему вполне привык: как он ко мне начнет приближаться, я ему вперед кулак и показываю: «Не подходи, изувечу насмерть!..» Хи-хи... А так смирнящий, раздушевный поп, и, кажется, кожу с его сымай, как вот Антоныч его оборудывает. Так, зараза у кого какая, я так полагаю, телячья голова...

— А ты пьяный разве лучше бываешь?

— Я-то? Я умнее делаюсь... Верно тебе говорю! У меня своя повадка: чем больше пью, тем умнее. И хоть с кем хошь могу свободный разговор иметь... Значит, телячья голова, вполне.

— Когда содержимых будут отправлять?

— Завтра утром.

Отрава не выходила у меня из головы: что-то такое непонятное стояло за этою странною старухой, отравлявшей целую «округу». Откуда она черпала свое дьявольское спокойствие? Тихая летняя ночь не давала ответа... Уже брезжило утро, и расплывавшиеся полоски белого света лезли к нам сквозь щели в крыше. Где-то звонко прокричал первый петух. Ему ответили десятки голосов. Последние петухи выкрикивали где-то, точно в глубине земных недр, — это доносился петушиный голос с другого конца деревни. Собаки перестали лаять. На улице глухо топотали просыпавшиеся овцы. Где-то близко промычала корова. Вся мирная деревенская обстановка вставала в этих звуках живьем, и с нею никак не могло примириться страшное дело, совершившееся всего несколько дней назад. Среди этой ночной тишины как должна была мучиться Отрава, обойденная тенями «стравленных» ею?.. Странно было и то, что отравленные были всё мужики. За ними стояли осиротевшие семьи, дети, пущенные по миру, — и все это за тридцать копеек и десяток яиц. Не было никакой логической связи между причиной и последствиями.

Мне припомнились эти «стравленные»: Пашка Копалухин, другой Пашка, зять Спирьки Косого, потом «обязательный старичок» Ефим, а кузнец Фомка и муж Маланьи еще ждут своей очереди. Сами говорят: «Стравит нас тещенька»... И все это так просто, как самое обыкновенное дело. А между тем Шатуново — самое земледельческое место, удаленное от всяких соблазнов и разлагающих влияний, как город, тракты или ярмарки. Исконное крестьянское население всегда отличается мирными инстинктами, а тут вдруг является какая-то старуха, которая возвела в ремесло отравление односельчан. И ведь живет она в Шатунове не год, не два, а всю жизнь. Все ее видят, каждый знает, что

она — Отрава, кричат в голос о каждом случае и указывают на старуху пальцами, а она все-таки живет в своей деревне до семидесяти лет. Что-то такое ни с чем несообразное выплывало из всего уклада крестьянской жизни, становясь вразрез с мирными деревенскими порядками.

Среди царившей кругом мертвой тишины летней ночи доносились изредка возгласы игравших. Собственно, слышался голос одного доктора Атридова:

— Друг мой, это свинство: вы объявили два без козыря, я выхожу с пик...

Временами поднимался общий гвалт, и слышно было, как двигали стульями, поднимаясь для необходимого подкрепления ослабевших сил. Василий Васильевич иногда раскатисто хохотал, старичок становой бунчал, как пойманная за ногу муха, поп Илья безмолвствовал, выдерживая свой трезвенный искус. Это мрачное убивание своего времени ничего общего не имело с тем, что теперь мучительно дремало над всею деревней. Приехали обязанные службой люди, исполнили свой долг и завтра уедут, а Шатуново останется со своею скрытою болезнью. Внешнее проявление зла будет уничтожено, правосудие будет удовлетворено, но все это только скользнет по поверхности, оставив после себя смутный и расплывающийся след.

Утром на другой день я проснулся довольно поздно. Вернее сказать, это было уже не утро, а, по-деревенски, послеобеденное время: двенадцать часов. Вахрушки в сарае не было. В поповском доме стояла тишина. Единственная поповская курица ходила по двору с гордостью «последнего римлянина». Сам поп Илья еще спал, но это не мешало в гостиной на столе отлично вычищенному самовару кипеть с самоотверженным усердием.

— Третий раз доливаю самовар-то, — сообщила мне старушка, заправлявшая хозяйством. — Тот шалыган-то... ну, доктор этот... уж забегал раза два и в окошко палкой стучался.

— Поздно вчера разошлись гости-то?

— А солнышко, видно, взошло.

Пока я умывался, поп Илья успел проснуться и встретил меня у самовара. Он был сегодня особенно мрачен. Пока я пил свой стакан чаю, поп Илья ходил по комнате с сосредоточенностью человека, осужденного на бессрочную каторгу. Разговориться с ним в такую минуту было трудно: да, нет — и весь разговор. Раза два он подходил к окну и заглядывал на улицу, которая в такое время всегда пуста. Теперь не было даже ребятишек и собак.

— Кто у вас вчера выиграл? — спрашиваю я для оживления наших разговоров.

— А так... никто.

— Для чего же играли?

— А так, нужно убить время.

Молчание. Самовар перестает кипеть и только вздыхает, как человек, пробежавший целую станцию. На улице стоит тяжелый зной, от которого попрятались все курицы. Тени никакой. Озеро режет глаза тяжелым блеском полированной стали.

— Жарко! — говорит поп Илья, вытирая вспотевшее лицо платком.

— Страда хорошая.

— Да...

Мой собеседник, оставив стакан, начинает опять мерно шагать из угла в угол с упорством сумасшедшего. В окне показывается голова Вахрушки.

— Чай с сахаром! — приветствует он не без галантности.

— Заходи, гостем будешь, — откликается поп Илья, не переставая шагать.

— Недосуг, телячья голова: сейчас Отраву на окружной суд отправлять будем.

— А тебе-то какая забота?

— Мне?.. А вот пойду и погляжу, как Отраву барыней повезут... Как же, заместо того, штобы кольем ее разорвать, в город везут — добрых людей беспокоить. Образованные люди всё мудрят, телячья голова! Хи-хи... «Анна Парфеновна, признаёте себя виновною?» — «Никак нет, ваше высокородие». Ну, Отрава и выправится. А около волости со всей деревни народ сбежался.

Тоже от ума: поглядеть, как Отрава поедет с Анисьей... Всё пешком ходили, а тут сразу две барыни.

Мне хотелось посмотреть последний акт деревенской драмы. Когда мы с Вахрушкой подходили к волости, там гудела толпа народа. Собрались старый и малый. У крыльца стояла простая телега, заложенная парой. Сотский, с бляхой на груди, вымащивал на облучке какое-то хитрое сиденье. Бабы столпились через дорогу у новой пятистенной избы Ивана Антоныча. Слышались отрывочные восклицания, вздохи и сдержанный шепот. В окне волости несколько раз показывалась голова Ивана Антоныча, вопросительно поглядывавшая через дорогу. Ждали, когда становой кончит завтрак.

— Василь-то Васильевич с дохтуром уехали давно, — сообщал мне Вахрушка. — Напились чаю и угнали, а становой Отраву сам повезет... В честь попала, телячья голова!

Я остался в толпе, чтобы прислушаться к говору собравшихся здесь людей. Мужики сосредоточенно молчали или вполголоса разговаривали о своих хозяйственных делах. Заметно было то общее смущение, которое вызывала Отрава в мужицких головах. Бабы жалели Анисью.

— Тихонькая бабенка какая была, — слышался в толпе голос. — Воды не замутит, а тут вон што стряслось.

— Помутилась бабочка, вот и стряслось, — отвечал другой голос.

— Тише вы, бабы... Эк вас взяло!

Бабы на минуту смолкали, а потом начинался новый шепот. Голова Антоныча появлялась в окне все чаще. Сотский несколько раз влезал на устроенное сиденье, одавлял его и глупо ухмылялся, довольный общим вниманием.

— Тебе бы, Потап, шпагу надо дать, — острил Вахрушка, принимавший в этих опытах деятельное участие. — Форменнее, телячья голова! С барынями поедешь.

Наконец, в окне писарской избы показалась седая голова станового и сделала соответствующий знак голове Антоныча. Толпа глухо колыхнулась. Сотский

нырнул в сени. Показался Пимен Савельич без шапки и с ребенком на руках. Другой ребенок боязливо цеплялся за полу его чекменя. Под конвоем Антоныча вывели Отраву и Анисью. Они шли торопливою походкой и неловко уселись в телеге. Какая-то бабенка тыкала два узелка под кучерской передок, где торчали ноги сотского. Бабы захныкали.

Голова станового наблюдала происходившую сцену и сделала второй знак.

— Трогай! — крикнул Антоныч кучеру, подбиравшему вожжи.

— Сичас.

Анисья сидела с убитым видом, опустив глаза. Пимен Савельич подтащил к ней ребятишек. По лицу Анисьи пробежала судорожная тень, искривившая помертвевшие губы. Она с какою-то жадностью припала к детским головкам и вся замерла.

— Трогай!

Толпа расступилась, давая дорогу. Отрава поклонилась миру на все четыре стороны, перекрестилась и ничем не выдала своего душевного настроения. Бабы начали причитать. Какой-то звонкий женский голос резко выделился из остальных и тем речитативом, как голосят по покойникам, принялся наговаривать последние бабьи слова. Голова станового подала нетерпеливый знак, и телега с отравительницами тронулась.

По толпе пробежало то судорожное движение, как по тихой застоявшейся воде от первого порыва бури. Оставшиеся ребятишки-сироты ревели, Пимен Савельич стоял на волостном крылечке, попрежнему без шапки, и крестился.

— Ну, слава богу! — повторял писарь Антоныч, принимая свой обыкновенный степенный вид. — Гора с плеч...

Звякнул колокольчик, и из ворот писарского дома выкатил дорожный экипаж станового.

— Вашему высокоблагородию... — раскланивался Вахрушка, подскакивая к экипажу. — Скатертью дорога...

Колокольчик дрогнул и залился своею бесконечною дорожною болтовней.

VI

Позднею осенью мне пришлось заехать в Шатуново. По первому снегу здесь всегда была такая отличная охота на косачей «с подъезда». Остановился я у писаря Антоныча, которого дома не было, — он уехал в деревушку Низы со сборщиками податей. Чтобы разыскать Вахрушку, необходимого человека для охоты, я отправился к попу Илье.

Деревенская улица осенью — это сплошная грязь, которая так и застывает. Народ был дома, и везде шла крестьянская домашняя работа «на зиму»: поправляли избы, подвозили дрова, клали печи. Полевые страдные работы кончились, и до зимы можно было управиться с разною домашностью. Одна беднота по первым заморозкам торопилась на молотяги, чтобы взять новину. Справные мужики ждали, когда «станет» озеро Кекур, чтобы обмолотиться прямо на льду. Попа Илью застал я дома. Едва я успел отворить ворота, как наткнулся на самого хозяина, который в обществе Вахрушки, с поленом в руках, гонялся за своею последнею курицей.

— У, каторжная!.. — ревел Вахрушка, стараясь обежать удиравшую от него курицу. — Отец Илья, валяй иё по ногам... Ах, телячья голова, опять ушла!..

Оба были пьяны настолько, что даже не могли стесняться состоянием своей невменяемости. Лицо у попа Ильи распухло, волосы были всклочены, костюм в беспорядке, и вообще он имел вид «разрешившего человека». По некоторым данным можно было заключить, что запой продолжался не меньше двух недель. Когда курица окончательно скрылась, Вахрушка обругал ее вдогонку, плюнул и, подходя ко мне, проговорил:

— Сорвало!

— Что̀ сорвало? — спросил я, не понимая этого слова.

— А вот нас с попом Ильей сорвало... Третью неделю чертим, телячья голова.

Поп Илья стоял, опустив голову, — он был просто жалок, когда первая буйная половина болезни сменялась угнетенным состоянием. Теперь он находился именно в такой полосе и, кажется, плохо сознавал, что

происходило кругом него... Вахрушка всегда ждал поповского запоя, как праздника, и водворялся в поповском доме, как у себя. Пил он вместе с хозяином, но водка на него не действовала: на время его вышибало из ума, а потом оставался только полугар, и Вахрушка переживал блаженное настроение. Мужицкое железное здоровье сказывалось в этом случае самым осязательным образом.

— Отец Илья, пойдем в избу, — приглашал Вахрушка, подхватывая хозяина под руку. — Мы курицу завтра изловим, телячья голова, а в избе можно и прилечь... В ногах правды нет, телячья голова.

По пути Вахрушка успел подмигнуть мне и льстиво уговорил попа Илью идти в горницы. Тот повиновался, не рассуждая, и только время от времени сжимал свои отекшие кулаки.

— Того гляди, хлобыснет по морде, — объяснял Вахрушка, проводя больного в сени. — Не успеешь оглянуться, как прилепит, — такая уж зараза. Ведь разговаривает, телячья голова, как следует быть человеку разговаривает, а тут как развернется... Я этих поповских блинов достаточно наелся-таки! Сыт... И тоже другая зараза: беспременно экономку свою колотить. Как увидел, сейчас, чем попадя, и благословит, а потом сам же и заплачет... Вот он какой, поп-то Илья: ходи да оглядывайся... А душа в ем, телячья голова, предобреющая и ума палата... Недели по две разговоры эти самые разговариваем.

При помощи разных военных хитростей Вахрушке удалось заманить попа Илью в спальню и уложить в постель. Через четверть часа он уже храпел, как зарезанный.

— Как ведерный самовар зажаривает... — ухмылялся Вахрушка, показывая головой на спальню. — А вы насчет косачей?

— Да.

— Оно теперь самое способное время, только вот поп будто связал меня по рукам и ногам...

— Как знаешь, я и один съезжу.

— А вы по заозеру возьмите... От Юлаевой к Низам пойдут островки: тут, как ворон, этих косачей! Многие

господа любопытствуют: Василь Василич недавно приезжал, так пострелял, становой...

Было уже поздно, и я отправился на квартиру к Антонычу. Писарь только что вернулся из своей поездки и, видимо, дожидался меня за кипевшим самоваром.

— Проведывать ходили нашего батюшку? — спрашивал он, здороваясь со мной. — Очень ослабли... Сельчане-то жалуются, а тоже надо рассудить и по человечеству: живой человек-с. Сидит-сидит, как медведь в берлоге, — ну и разрешит... Много их таких-то вдовых попов, а я всегда говорю мужикам: вы не смотрите на его слабость, а на священство. Да-с. Мы в нем должны нашего пастыря уважать, а не вино. Другой и трезвый, а... Не прикажете ли ромцу?

На огонек подошел фельдшер Герасимов и скромно поместился в уголок. Говорили о последних деревенских новостях, о разных городских знакомых, об урожае, о чуме в соседнем уезде и тому подобном, о чем разговаривают в таких случаях. В окна уже глядела темная осенняя ночь, самовар пускал тоскливые ноты, стаканы с чаем стыли на столе. Стук в окно заставил всех вздрогнуть: это был Вахрушка.

— Эк тебя взяло, полуночника! — выругался Антоныч, дергая за шнурок от затвора калитки.

— А я вот к барину, — бормотал Вахрушка, появляясь в дверях. — Значит, телячья голова, насчет косачей... не могу я оставить попа. Чуть вывернется из избы, а уж сейчас и гребтится, — как бы чего он не сделал над собой... Неровен час!

— Мы уж уговорились, — отвечал я. — Я один поеду завтра.

— Вахрамей, посмотри ты на себя, в каком ты образе? — усовещивал гостя Антоныч и внушительно качал головой.

— В настоящем своем виде, Иван Антоныч, потому как я от вина только умнее делаюсь... Другой дурит, а у меня в башке настоящая музыка играет.

— Оно и видно, что музыкант.

Зачем приплелся Вахрушка, трудно было сказать. Пьян он был в надлежащую меру, об охоте разговоры кончились, а Вахрушка все переминался с ноги на ногу.

Антоныч искоса поглядывал на непрошенного гостя и только морщился. В другое время он без разговоров выпроводил бы его в шею, а теперь ему просто было лень. А Вахрушка все стоял и ухмылялся.

— Ты бы шел лучше домой, — заметил фельдшер.

— Я... домой? — озлился Вахрушка. — Я знаю, когда мне домой идти... Может, я разговаривать пришел, телячья голова!

— Ну, и разговаривай.

— Потому как я в полном уме сейчас... да!

Повернувшись ко мне, Вахрушка с вызывающим видом проговорил:

— А вы знаете, господин, как с Отравой на окружном суде поступили?

— Нет, не знаю.

— Так-с... И с Анисьей тоже?

— Тоже не знаю.

Антоныч сделал нетерпеливое движение, но Вахрушка его предупредил:

— Уйду, сейчас уйду, Иван Антоныч... Дай слово вымолвить: в каторгу услали обеих, сударь! Вот оно какое дело-то!

— Что же, ты доволен?

— Я-то?.. Про меня и собаки не брехают... А вот как вы, сударь, полагаете насчет этого самого случая? Вот это самое...

Признаться сказать, этот вопрос меня смутил, и я не нашелся ничего ответить. В самом деле, как судить уже осужденных, тем более что многое в этой истории для меня лично оставалось темным?

— Вот то-то и есть, — торжествовал Вахрушка, выкручиваясь из своего неловкого положения. — Оно и так можно рассудить и этак можно. Теперь нужно так взять: ушла Отрава в каторгу и Анисью с собой прихватила, а кому от этова от самова стало легче?.. Ошибочку большую тогда эта Анисья сделала, телячья голова!.. Не умела концов схоронить, да и подвела Отраву под обух, а теперь нашим бабенкам и ущититься нечем.

— Перестань ты, Вахрушка, молоть! — оговаривал его Иван Антоныч, разглаживая бородку. — Тогда что ты говорил, непутящая голова? «Кольем исколоть

Отраву!» — кричал по всему селу... Всех наусыкивал да смутьянил.

— Я не отпираюсь: было дело, телячья голова!.. Ведь я мужик и по своей линии говорил, а теперь насчет баб разговор — это опять своя линия. Да!.. Вы, сударь, послушайте, что я вам скажу от своего-то ума. Дуры эти бабы, вот первое дело... Им бы зубами за Отраву надо держаться, потому защита ихняя была. У нас как теперь баб увечат, одна страсть... Того же взять Пашку Копалухина: возьмет жену да за ноги и подтянет к потолку, а сам ее по спине вожжами, пока из сил не выбьется... Все суседи сбегутся смотреть, как она вся синяя висит, а Пашка в окошко кричит: «Моя жена, на мелкие части изрежу». А другой Пашка, значит, зять Спирьки Косого, свою жену все на муравейник водил, так на обродке, как козу, и волокет в лес, а там разденет донага, вобьет в муравьище кол, свяжет ей руки назади, посадит голую на муравьище, да к колу руки и привяжет. Цельную ночь иной раз на муравьище-то сердечная корчится, ревет благим матом, а никто ослобонить не смеет, потому как Пашка-то тут же, около нее, на траве лежит и на гармонике играет. Тоже вот обязательный был старичок Ефим... Он двух жен в гроб заколотил, женился на третьей, на молоденькой, и над ней свой характер стал оказывать. Ефим-то возьмет жену да и стреножит: левую ногу с правою рукой свяжет ремнем, да так неделю и держит, а ежели она начнет жалиться, он ее шилом в самое живое место или по толченому стеклу учнет водить. Было это, Иван Антоныч?

— Перестань ты, Вахрамей... Мало ли зверства по деревням темнота ваша делает!

— А я к чему речь-то веду, телячья голова?

— Ты лучше про себя расскажи, как свою жену увечил.

— Было и мое дело, не отпираюсь... Иногда пьяный и поучишь, на то она и баба. Где же мое-то начальство? Надо мной и становой и старшина куражатся, надо и мне сорвать сердце. Это точно, бивал Евлаху...

— Да ведь умеючи надо бить, малиновая голова, а то ухватил полено и давай обихаживать им жену по чем попадя.

— Постой, постой, дай ты мне, телячья голова, речь-то кончить! Я насчет баб все... У Отравы три мужа было, и зверь к зверю: один косу оторвал вместе с мясом, другой поленом руку ей перешиб, третий кипятком в бане хотел сварить. Это как по-вашему? Тоже у дочери у ейной, у Таньки: первый ребро Таньке выломал, второй скулу своротил... Взять опять Анисью, дочь, значит, Пимена Савельича, чего она натерпелась от мужа-то?.. Вышла она из богатого дома за голяка, потому как была по девичьему делу с изъяном... Он, муж-от, в первый же раз, как повели молодых в баню, ногами ее истоптал, а потом уж совсем озверел. Истряслась бабенка... Так оно и пошло у них наперекосых: мимо муж-то не пройдет, чтобы зуботычины не дать, при всем народе много раз за косы по улице таскал; а потом уехали на покос, у ней уж терпенья не стало. Все бабенки-то, которым невмоготу, завсегда к Отраве шли, а та средствие свое представит и всему научит. Ну, мужикам все же опаска... Моя-то Евлаха тоже ведь стравить меня этак же хотела. Резьба тогда в брюху у меня такая пошла, што хуже смерти: точно траву стали косить в нутре... Тогда вот я и говорю, телячья голова, про Отраву-то: большую неустойку показали бабенки-то наши. Теперь уж совсем нечем им будет ущититься супротив мужьев!..

— Что же, правда так правда, — заметил Иван Антоныч, когда Вахрушка ушел. — Зверства этого вполне достаточно... Мужики зверствуют, а бабы травят — это по всем деревням так.

— И в каждой большой деревне своя Отрава есть, — прибавил фельдшер из своего угла. — Мне постоянно приходится отваживаться с отравленными... А между прочим, до свидания, Иван Антоныч. Пора спать, видно.

— И то пора... Ох-хо-хо!.. Согрешили мы, грешные...

Деревня давно спала мертвым сном, и только кое-где тишина нарушалась собачьим лаем.

НА ПЕРЕВАЛЕ

Из осенних мотивов

I

Первый иней, от которого «закисает» лиственница, служит сигналом для охоты на глухарей. Чуть тронутая холодом мягкая хвоя служит лакомством для птицы, и охотники пользуются этим, чтобы бить по зарям усевшихся на лиственницах глухарей. В Среднем Урале это дерево достигает значительной высоты и над лесом поднимается целой головой. Обыкновенно встречаются отдельные деревья, а целые насаждения очень редко, дальше к северу. Странное дерево это лиственница — высокое, ветвистое, чуть посыпанное своей бледной и мягкой хвоей. По крепости оно тверже дуба, в воде не гниет и потому служит по преимуществу типом корабельного леса. В Среднем Урале лиственницы имеют такой голый, сиротский вид и широко расстилают свои узловатые коряжистые ветви, похожие на оленьи рога. Южнее эти деревья отличаются стройностью и достигают громадной величины, — так, около Златоуста нашли для телеграфного столба лиственницу, из которой вырубили столб в тридцать шесть аршин длины и двенадцать вершков в верхнем отрубе. Там же молодые лиственные заросли придают характерный отпечаток горной южно-уральской растительности.

Итак, первый иней пал, и в садах лиственницы начинают желтеть. Едем на охоту. Осенняя птица жирная, и это лучшее время в своем роде. В самом слове «охота» вы уже чувствуете что-то такое доброе и освежающее... Да, едем. У всякого охотника есть свои облюбованные уголки, куда его непременно тянет, в известное время вы его найдете на своем посту. Для сравнения могу указать на усердных прихожан, которые в церкви станут непременно на *свое* место. У меня таким любимым местом служит осенью так называемый «перевал» — это горный водораздел, глухой уголок, оставшийся в стороне от растерзанных владельческих лесных дач, на тридцать верст никакого жилья, и в самом интересном месте, на крутом берегу горного озера, стоит лесной кордон, где можно и чаю напиться и собрать необходимые сведения от Ивана Васильича, местного сторожа, который проживает здесь «по обязанностям службы».

Дорога из города идет сначала оставшимся за штатом знаменитым сибирским трактом, а потом повертка на глухой лесоворный проселок. Вы едете покосами, через мелкие лесные островки, по длинным сланям через болота, и опять островки, покосы и лес, уже настоящий лес, который, чем дальше от города, тем выше. Город — величайший враг лесу, и близость этого врага вы чувствуете издалека: лучшие деревья срублены, на земле валяется мертвый хворост, молодым деревьям не дают подрасти в настоящую меру. Но чем дальше от города, тем легче и привольнее дышится, и травка не та, и дерево поднимается выше, и воздух такой чистый, хороший. Вот в стороне мелькнул знакомый кордон «на половинке», за ним чернеет смолокурня, где «гонят» деготь и смолу, еще дальше мелькают уже одни поленницы дров, сложенные в стороне полусаженками и осминниками. Подъема на гору вы почти не замечаете, а между тем экипаж на самой вершине водораздела, — вот и последняя болотистая речонка, которая сбегает в Исеть, за ней довольно крутой увал, за ним уже западный склон Урала. Собственно гор здесь совсем нет, и самый перевал незаметен.

В последний раз я поднимался на водораздел в такой хороший осенний день, обещавший удачную охоту.

Когда экипаж очутился на вершине горы, в просветах между редким сосняком серой блестящей полосой глянуло Глухое озеро, одно из той озерной цепи, которая залегла между верховьями рек Исети и Чусовой.

— Вот мы и в Расею заехали, — проговорил кучер Гагара, оборачивая ко мне свое «шадривое» красное лицо с плутоватыми, разномастными глазами. — Вода уже на Волгу отседа пошла... расейская вода...

Придерживая бойкую пристяжку, Гагара ловко спустился в крутой ложок, подтянул коренника и с ямщицким шиком подкатил на угор, где среди пихт и елей прятался кордон. Очень красивое место этот кордон, и только недостает какой-нибудь пустыньки или монастырька, чтобы оживить его. С высокого берега открывался просторный вид на все озеро, разлегшееся среди невысоких лесистых увалов. В глубине, в камышах спрятался исток, которым озеро соединяется с рекой Чусовой. Вот и собака Юлка выбежала с громким лаем навстречу нам, а в двух избушках показались любопытные лица — в одной обитал сам Иван Васильич в качестве начальства, а другая стояла так, на всякий случай: когда лесничий заедет, когда охотники, когда так кто-нибудь завернет.

— Вот и монашины... — говорил Гагара, осаживая пару у ворот. — Они теперь ягоды собирают в лесу. У Ивана Васильича важнецкая изба для проезжающих налажена, ну, монашины недели по три здесь выживают. Юлка, не узнала гостей?..

Собака в последний раз брехнула на лошадей и ласково завиляла хвостом. В окне избы «для проезжающих» мелькнуло два темных монашеских платка. Ворота скрипнули, и показался сам Иван Васильич в своих неизменных резиновых калошах, в темных больших очках и сереньком пиджаке. Это был очень степенный господин с неторопливыми движениями и той солидностью, которая зависит от характера. Он распахнул большие ворота и впустил экипаж во двор.

— Хозяину... — здоровался Гагара с развязностью городского кучера. — Опять к тебе в гости, Иван Васильич.

— Милости просим... Живем в лесу, а гостям рады. Вы уж ко мне пожалуйте в избу, а там в другой избе у меня брусничный монастырь. Может, на свежем воздухе чайку пожелаете напиться?

— Да, я думаю, что так будет лучше.

— Конечно, для вас это гораздо любопытнее. Ушку можно заварить...

У Ивана Васильича все делалось как-то само собой, и самовар во-время будет готов, и ушка поспеет. Свой же парень съездит посмотреть в исток поставленную вчера морду и привезет свежих окуньков, а хозяйка оборудует самовар.

— А как глухари? — спрашиваю я, разминая ноги после тряской трехчасовой дороги.

— Глухари-с? Они свое дело в лучшем виде знают... Вчера двух спугнул по дороге к Кочкам. Тут есть ложок, а над ним этак осинничек пойдет, листьяночки — аккуратное место. Как раз только чайку напьетесь — тут и самое ваше занятие... Юлка орудует в лучшем виде.

— На дерево бросается?

— Сначала кидалась, а потом я ее отвадил... Тоже понимает, стерва. Сядет под дерево и брешет, а он, глухарь, на нее сверху: ту-ту-ту!.. Ну, и разговаривают. Даже смешно в другой раз слушать. А вы в самый момент приехали — теперь глухарь на чику...

Мы сидели на берегу, под густой старой пихтой и долго беседовали о разных разностях. Холодное осеннее солнце быстро склонилось к зубчатой линии леса. По озеру разгуливала осенняя волна, сосавшая берег и с шипеньем уходившая в качавшуюся полосу жесткого ситника. Странное это время осень! И погода ясная, и солнце светит, а вас так и сосет какая-то грустная, сиротская нотка! Есть своя поэзия осени, задумчивая прелесть звездных холодных ночей и целая гамма тонов умирающей зелени. Весело горит огонек на открытом воздухе, и дым уже не стелется по земле, как в туманную летнюю ночь, а вьется столбом прямо в небо. Гагара устроил цыганскую распорку и варит в котелке уху. Юлка сидит невдалеке и ждет своей доли в общей трапезе.

— Ты луковку-то не торопись спущать, — советует Иван Васильич тоном специалиста, — размокнет, как тряпица, какой в ней толк, а надо в плепорцию.

— Не скучно вам здесь, Иван Васильич? — спрашиваю я, рассматривая пустынное озеро.

— Нет, ничего... Главное: спокойно. Летом я как Осман-паша в неприступной Плевне сижу: кругом болота, а дорога одна в Кочки. Лесоворам нечего делать, ну и отдыхаешь. Верст на сорок мой-то участок растянулся, и не углядел бы, если бы не болото.

Военные сравнения у Ивана Васильича провертываются часто: он сделал последнюю русско-турецкую кампанию и фельдфебелем какой-то стрелковой роты переходил Балканы. После того служил на железной дороге, но по слабости зрения должен был бросить эту «обязанность», потом служил урядником, — помилуйте, ни днем, ни ночью нет покоя, а народ какой здесь — того смотри, что голову оторвут, а у Ивана Васильича семья. Пензенский уроженец, он попал на Урал по той же причине, как и многие другие: дома нечего делать, а здешние места захвалили. Оно действительно, места обширные, и жить можно, да народ, сказать правду, варнак. Сердце Ивана Васильича возмущалось убойными сибирскими нравами.

II

Мы идем по лесу. Под ногами хрустят сучки. Трава совсем сухая. Иван Васильич шагает в своих резиновых калошах и несет длинного «туляка» (ружье) на плече, точно по команде: ружья вольно! Юлка суетливо шныряет между деревьями, и я по лицу Ивана Васильича вижу, что он доволен собакой, которая «забирает верхним чутьем» и нейдет глухарными подъедями и кормежками. Вот и ложок и покрасневший от мороза осинник с своей яркой, точно ситцевой листвой — даже есть те линючие тона, какие производит московская мануфактура.

— Конечно, жалованье маловато, на пятнадцать рублей не много расширишься... — говорит Иван

Васильич и останавливается как вкопанный, — Юлка брехнула на птицу, и глухарь забормотал на нее.

Это момент самый интересный на охоте: так и встрепенешься весь. Солнце уже село, но в лесу еще светло, и деревья отчетливо вырезываются своими контурами на отбелевшем осеннем небе. Мы расходимся. Иван Васильич предоставляет мне добычу, и я уже заметил высокую лиственницу, где бормочет глухарь. Небольшой перелесок отделяет меня от этого дерева, но подойти ближе нельзя — чуткая птица, пожалуй, не пустит, а проклятые сучки так и хрустят под ногами. Останавливаюсь и перевожу дыханье. Слышно, как бьется сердце. Еще несколько шагов — и добыча будет в роковом круге «поля поражения». Немного больше ста шагов, но винтовка Лебеды возьмет и дальше. Сквозь поредевшую листву просматриваю в последний раз глухаря — он сидит на длинном сучке и разговаривает с собакой. Вот пауза, нужно стоять смирно и стрелять, когда глухарь опять забормочет. В это время он не слышит выстрелов, и можно из мелкокалиберной винтовки «отвесить» по нем раз десять. Вот опять бормотанье, выстрел, и облачко дыма мешает разглядеть результаты. Нет, глухарь сидит на старом месте и только сильнее вытянул шею по сучку — значит, пуля пронеслась верхом. Второй выстрел заставил его подскочить — пуля обнизила. Обыкновенно в таких случаях глухарь улетает, но этот непуганый и после небольшой паузы начинает опять разговаривать. Третий выстрел, и птица снялась с дерева широкими взмахами своих крыльев, сплавилась над пролеском и исчезла. Слышно, как Юлка заливается, но это уже не торжествующий, осмысленный лай, а просто собачий азарт: она потеряла птицу. Ужасно досадно, и я в утешение себе рассматриваю свою винтовку: что с ней такое случилось?

— По сучку шлепнулась пулька-то... — за спиной говорит у меня неслышно подошедший Иван Васильич. — Теперь самый обычный совет: своя прицелка... Я вот к своему туляку вполне привесился и шагов на пятьдесят так шарахну, что даже сам удивляешься в другой раз.

Мы пошли дальше. Юлка затихла. Свет быстро исчез, точно его тушит какая-то невидимая рука. Делается холодно. На нашу беду подвернулся зайчонок, и Юлка бросилась за ним с особым завываньем, которое знакомо всем охотникам.

— Ах, проклятая!.. — ругался Иван Васильич, бросаясь в погоню за неверным псом. — Вот каждый раз так... Поймает и съест, подлая!.. Юлка-а?.. Я тебя, шельма-а-а!..

Тени сгущаются. Большие деревья трудно просмотреть, но на мое счастье опять попадается глухарь. Без собаки к нему трудно подойти — приходится пользоваться только его бормотаньем, когда едва успеешь сделать несколько шагов. Пожалуй, еще в ширф попадешь куда-нибудь... Подхожу на приличную дистанцию, начинаю выцеливать — плохо видно. Стреляю наугад, и глухарь благополучно улетает. Где-то близко грянул «туляк» Ивана Васильича, — «этот не промахнется», — думаю я, огорченный собственной неудачей. Действительно, появляется Иван Васильич и волокет за крыло убитую птицу.

— Агроматный мешок... — говорит он, останавливаясь. — Бегу за Юлкой, а он на меня сверху как забормочет... ей-богу!.. Вот какая повадка... Ну, я его и положил: так комом и свернулся, как мешок. Ведь сверху, когда летит, точно медведь... Юлки не видали?.. Вот, я вам скажу, бывает же такая несообразная тварина...

Мы возвращаемся. Охота кончена. В темноте дорога кажется длиннее. Но вон и знакомая пихта — мы дома. Огонь догорает. В «брусничном монастыре» теплится слабый огонек, и какая-то темная фигура стоит перед иконой в переднем углу.

— С полем! — кричит Гагара, наметавшийся с охотниками.

Юлка уж дома. Заметив нас, она поджала хвост и виновато ползет по траве к пылающему гневом хозяину, который прописывает ей встрепку и читает наставления. Юлка визжит больше для приличия и облизывается — она хорошо закусила.

Выплывавший месяц осветил заснувшее озеро. Мы опять пристроились под своей пихтой и, греясь около

огонька, гуторим о разных разностях. Хорошо вот так посидеть в лесу и поболтать с бывалым человеком. Иван Васильич покуривает трубочку и сплевывает на огонь. Гагара потрошит убитого глухаря, чтобы сделать из него похлебку. Ему помогает хозяйка, пожилая женщина в накинутой на плечи шубейке.

— Я вот часто так-то выйду на бережок, — повествует Иван Васильич, не торопясь, — и раздумаюсь... Ведь какое здесь место: настоящая грань. Одной ногой в Расее, другой — в Сибире. Да... Самое глухое место. Вон туда, к Чусовой, и дороги больше никакой нет: доехал до Кочек и ступай назад... Вон какое место...

— А зимой волки у вас бывают здесь?

— Нет, мало... С озера разве какой шальной забредет, а вот лесоворы тогда хуже всяких волков. Зимой-то везде дорога... Как начнут подчаливать в город бревна, тут держись только, а отвечать должен за всю дачу все я же. Она, милая, вон какая, дача-то: больше пятидесяти квадратных верст. Лесничий проехал, увидал свежую порубь... Настоящее военное положение, а одному-то не разорваться. Под Плевной лучше было: там все-таки не один.

Утром надо было вставать часа в три, чтобы взять птицу «на брезгу», то есть когда только начнет свет заниматься, а поэтому мы и залегли спать пораньше. В избе у Ивана Васильича было очень чисто, и старой ситцевой занавеской она делилась на две половины: в одной спал он с женой, а в другой расположился я. На полатях давно уже спал мальчик лет двенадцати. Городская привычка ложиться поздно сказалась и здесь — я долго ворочался с боку на бок, прежде чем мог заснуть. Даже это был и не сон, а какое-то полузабытье. Помню, как я опять «скрадывал» глухаря и как взлаивала Юлка, а потом сквозь сон в ухо лез какой-то бабий шепот:

— Разбуди, Аннушка, Ивана-то Васильича... ради истинного Христа!

— Да, может, поблазнило, сестрица?

— Нет, голубушка... Сначала этак мелькнуло будто на полянке, и Юлка брехнула, а сестра Агнеса и видит в окошко: он к стеклу-то и припал... Мы так и ужахну-

лись все, а сестра Платонида и говорит: «Это, может, говорит, ихний, городской кучер...» А Юлка нет-нет и взлает, ну, а потом *он* опять к нашему окошку присунулся. Мы все видим, а никто слова молвить не может.

— Ихний-то кучер в повозке спит...

— Этот с бородой, а кучер безбородый. Ну, сестра Агнеса и послала к вам: непременно, говорит, добудись...

Открываю глаза. Изба чуть освещена лунным светом, хозяйка в приотворенную дверь шепчется с невидимой монашиной, как я начинаю догадываться.

— Что такое случилось? — спрашиваю я.

— Да так... пустяки... — отвечает хозяйка. — Вот монашкам поблазнило, будто какой человек к емя в окошко смотрел... А кому здесь смотреть-то? Мы и ворота сроду не запирывали.

— Побуди Ивана-то Васильича-то... — просит голос.

— И то разбудить.

Хозяйка голыми ногами проходит за свою занавеску и начинает расталкивать домовладыку.

— А... Что... мм... — мычит в просонье Иван Васильич. — Отстань, пожалста... умереть не дадут... Брусники наелись монашины, вот и увидали человека. Отстань.

В этот момент послышался топот нескольких пар босых ног, и в сенях раздалось более смелое шушуканье.

— Матушка моя, сидит... Своем глазом поглядите: у огонька сидит!.. Ох, до смертушки мы все перепугались...

— Да, может, кучер ихний сидит?

— Ох, нет... С бородой мужчина...

Это был уже весь «брусничный монастырь», столпившийся в наших сенях, как стадо овец. Иван Васильич в одной рубахе выглянул в окошко и проговорил:

— И то кто-то сидит, леший его задери...

Во дворе, заслышав суматоху, Юлка выбивалась из сил и с приступом бросалась в ворота. Иван Васильич, не торопясь, оделся. Я последовал его примеру.

— Разбудите Гагару... — шепотом приказывал он жене. — Мы *его* изловим, каналью... Вот еще притча какая...

— Да, может, он не один? — боязливо шептала хозяйка. — Как ножом полыхнет — вот и вся тут...

— Ну, ну, — полыхнет... Не твоего ума дело!..

Иван Васильич опять выглянул в окошко: нет, сидит у самого пепелища... Уж не оборотень ли какой?

III

Мы устроили настоящую засаду: я занял ответственный пост у ворот, Гагара должен был обойти со стороны дороги и отрезать отступление, Иван Васильич перелез через забор прямо в лес и оттуда должен был открыть атаку на неприятеля. Юлка неистовствовала у ворот, монахини заперлись в избе на крючок, а *он* продолжал сидеть у едва тлевшего огонька и преспокойнейшим образом подбрасывал в него щепочек. В приотворенную калитку я видел широкую согнутую спину и голову без шапки. Раздался сигнальный свист, и мы открыли наступление. Первой бросилась на приступ Юлка.

— Эй, кто есть жив человек: сдавайся!.. — кричал Иван Васильич, показываясь из лесу с ружьем в руках.

Молчание. Одна Юлка с визгом наступает на сгорбленную фигуру у огня и раза два, кажется, успела хватить зубом.

— Да ты умер, што ли?... — слышится недоумевающий голос Ивана Васильича. — Сдавайся.

Мы с трех сторон подходим к огню, и Иван Васильич схватывает незнакомца полицейским приемом за плечи сзади.

— Кто таков человек?

— Живой человек... — отвечает, наконец, незнакомец слабым, охрипшим голосом.

— Откуда взялся?

— Из лесу...

— Как зовут?..

— Косач... птица... бруснику ел, листвень ел, мох ел — и вышел косач.

— Видим, что птица... — спокойно говорит Иван Васильич. — Бродяга?..

— Около того... Говорят тебе: косач.

— Зачем ночью подходишь, дьявол? А как я бы да тебя хлобыснул пулей...

— И стреляй... Сбился с дороги... отощал... три дня хвою да грыбы ел... Вот огня не было, ноги не держат...

— От артели отстал?

— От артели... боялся днем-то подойти...

Пленный был приведен в избу. При огне он оказался тщедушным мужиком с горбатой спиной и зеленым испитым лицом. Один глаз вытек, и на его месте оставалось одно закрытое веко. Весь костюм состоял из одной заношенной рубахи, пестрядинных портов и какого-то отрепья на плечах. Голые ноги были покрыты ранами, и бродяга с трудом переступал. Войдя в избу, он перекрестился и проговорил:

— Дайте поись... смертушка пришла...

— Ну, и зверя залобовали! — качал головой Иван Васильич, делая знак жене.

Появилась краюшка хлеба и чашка с квасом. Бродяга дрожащими руками ухватился за хлеб и принялся его есть с жадностью. Я протянул было руку к своим дорожным запасам, но Иван Васильич остановил меня.

— Не нужно... Очень уж сердяга отощал, не стерпит настоящей еды. Отвык от хлеба-то...

Столпившиеся у дверей монахини смотрели на несчастного бродягу со смешанным чувством страха и сожаления. Слышались вздохи.

— Дальний будешь, миленький? — осмелилась, наконец, спросить одна из сестер.

— Дальние, голубушка... из-под Иркутскова... — быстро ответил бродяга и посмотрел таким голодным взглядом на всех нас. — Отощал... из силы выбился.

— Господи, батюшко!.. — слышался благочестивый шепот.

— Ну, куда я теперь с тобой, косач? — спрашивал Иван Васильич, расхаживая по комнате. — Ну, куда?.. Шел бы своей дорогой...

— Вот не угодно ли! — обратился Иван Васильич уже ко мне. — Я же его и представляй в город... Это значит — тридцать верст вперед да тридцать верст назад.

Нет, спасибо, голубчик... Это уж третий так-то ко мне навязывается: отобьется от артели, и вези его в город. У них, у бродяг, тракт по реке Исети, а потом через перевал на реку Чусовую идут — старинный тракт. Верстах в двадцати от кордона ихняя бродяжья тропа. В лето-то, может, тысячи три человек пройдет: все в Расею, значит, обращаются... Ох-хо-хо!.. Когда урядником был, так до смерти, бывало, надоедят эти бродяги, особливо по осени, когда холодом их в горах достигнет. Артелями приходили: представь по начальству. Это они зимовать в острог просятся... И вот все такие орлы! Ну чего с ним поделаешь, с косачом?..

— Заплутался... — точно про себя говорил бродяга. — Отощал... все думал — выйду на дорогу, а самого уж вторые сутки мутит... с голоду мутит...

— Чем же ты кормился? — спрашивает сестра побойчее.

— Саранку копал да ел... медвежью дудку, брусницу... огня не было, — вот главная причина... иззяб весь, ноги избил, отощал...

— Вот что, сестрицы, идите-ка с богом спать, — предложил Иван Васильич, позевывая. — Утро вечера мудренее.

Монашки придвинулись к двери и зашептались.

— Боятся они... — объяснила хозяйка. — Может, *он* не один: отворит ночью ворота товарищам, всех и укокошат.Тоже бывали случаи...

— Пустяки!.. Идите, сестрицы, а для острастки Юлку возьмите...

Напуганные монахини едва решились уйти в свою избу, хозяйка улеглась за свою занавеску, а Иван Васильич продолжал ходить по избе и думал вслух:

— Ежели отпустить его — пристанодержателем назовут, в город везти — одна маета. Ну и задал же задачу... А?.. Ты вот что, косач, как мы уснем, ты и уходи потихоньку, а я скажу, что бежал... Не укараулили — и вся недолга.

— Нет уж, будь милостив, предоставь в острог...

— Ах, какой человек навязался! Охота мне тащиться тридцать верст да там по разным мытарствам ходить... Право, ночью и уходи своей дорогой.

— Не могу... обезножил... силы нет...

Бродяга был настолько жалок, что на него невозможно было даже рассердиться.

— Вы меня свяжите, а сами ложитесь спать, — предложил он нейтральную меру.

— Чего тебя вязать... Ах ты, притча какая!.. Тебе бы только вон там по-за горой левее взять — тут сейчас и тропа выйдет. Все равно, перезимуешь в остроге и опять убежишь...

— Убегу...

— Ну так по этой же дороге придется идти, притча этакая?..

— Нет, уж предоставь по начальству.

Я долго всматривался в несчастного бродягу. На вид ему можно было дать лет пятьдесят. Русые волосы, сбившиеся в кошму, и песочного цвета борода не были еще тронуты сединой. Но это лицо мне навсегда запало в память: худое, изможденное, с обтянувшимися около зубов губами, обострившимся носом и лихорадочно горевшим единственным глазом. Бродяга — это неизбежная принадлежность нашего уральского быта. Их каждый видал на тракту: идет обоз или экипаж катится, к ним из стороны выходит один или двое, снимают шапки и кланяются. Редкий не подаст куска хлеба или копеечки. Видал я бродяг в лесу, по волостным правлениям, на этапных пунктах, в камерах судебных следователей, на скамье подсудимых, но «косач» положительно выдавался своей отчаянной беспомощностью, голодным видом и упорным желанием попасть непременно в острог. Тысячи таких вот косачей бродят по лесу, перебираясь через Урал на родину, — даже страшно делается при одной мысли об этом волчьем существовании. Выбитые из колеи, они, эти бродяги, отрекаются от своего имени, последнего достояния, которое несет человек с собой даже в могилу. Косач — и все тут... Зверь и птица живут без имени, и бродяги тоже. Это полная гражданская смерть, а между тем таких непомнящих родства бродяг тысячи. Нет, жизнь, положительно, — страшная вещь...

Утром рано мы возвращались в город. За моим экипажем на телеге ехал Иван Васильич, а рядом с ним сидел косач — он проспал в избе несвязанный и выглядел при дневном свете еще несчастнее. Иван Васильич имел сосредоточенный, почти сердитый вид.

— Привезешь его в город, а там своим бродягам не рады, — ворчал он, усаживаясь в телегу. — Еще обругают, зачем привез...

Утро выдалось пасмурное. Начинал накрапывать мелкий дождь. В одном месте нам дорогу перебежал заяц — это уже окончательно взорвало Ивана Васильича, и он сердито начал отплевываться.

НЕ У ДЕЛ

Рассказ

I

— Видели Марзака... — торжественно заявлял наш кучер Яков, неподвижный и вялый хохол.

— Где видели?

— А по улице иде, пранци его батьке...

— Что же его не задержали, Марзака?..

— А зачем его держать: сам приде ночью у кабак — там и словимо.

— А если не придет?

— Приде... Куда вин денется, пранцеватый?..

При последнем слове Яков лениво улыбался, раскуривал трубочку и делал необходимые приготовления к предстоящей ночью баталии, то есть лез на печь и доставал чугунный пест от ступки — единственное оборонительное и наступательное оружие в нашем доме. Хохлацкое спокойствие производило на нас, детей, импонирующее впечатление, и мы смотрели на Якова с раскрытым ртом, как на героя: Яков будет ловить разбойника Марзака; Яков побежит в кабак с чугунным пестом в руках по первому удару набатного колокола крепостной заводской конторы; Яков будет вязать веревкой Марзака и т. д.

— Яков, а тебе не страшно? — приставали мы к нему. — Ведь Марзак с ножом...

— Нехай с ножом...
— Он тебя зарежет...
— А пест?

Мы, дети, страшно волновались и выслеживали каждый шаг Якова до того момента, когда нас отправили спать. Волновались и большие, хотя эта история повторялась через известные промежутки не один раз. Всего более смущала уверенность, что Марзак должен прийти именно в кабак и никуда больше. В этой мысли было что-то роковое, неизбежное, как сама судьба, и фатализм положения пугал одинаково как больших, так и маленьких. В Марзаке чувствовалась какая-то стихийная сила, не укладывавшаяся в тесные рамки заурядного прозябания.

Вечером, когда все стихло, в калитку осторожно стучала какая-то невидимая, таинственная рука. Кучер Яков, не торопясь, выходил за ворота и долго с кем-то шептался, а потом возвращался в кухню и упорно молчал.

— Из конторы сотник приходил... — объясняла нам кухарка под величайшим секретом. — Народ сбивают... Легкое место сказать: одного человека пымать!.. тьфу!..

В кухарке сказывалось смутное сочувствие к геройству Марзака, и она любила рассказывать, как этот разбойник бросался с ножом на заводского приказчика, как его ловили, заковывали в кандалы, драли в «машинной», а потом увозили в Верхотурье, в острог. Марзак сидел несколько времени, а потом уходил и непременно возвращался опять к нам на Шайтанский завод. Раз ушел он из острога зимой в одной рубахе, босой, и ничего, остался жив. Вообще получался легендарный человек, который умел заговаривать даже пули конвойных солдатиков. Все эти рассказы, конечно, припоминались именно в этот момент, когда весь завод ждал набата. Лежишь в своей теплой детской кроватке и со страхом думаешь о «машинной», где наказывали за всякую крепостную провинность розгами, о верхотурском остроге, о глубоких зимних снегах, по которым бежит босой Марзак, и детское сердце сжимается от ужаса. И жаль делается, и страшно, и какое-то тяжелое чувство поднимается в душе против неизвестного, расплы-

вающегося в детском воображении зла. Приказчик Завертнев, на которого Марзак бросался с ножом, часто бывает в нашем доме, он такой веселый, добрый человек. И его тоже жаль... Зачем Марзак хотел зарезать этого Завертнева? В ушах даже поднимается звон кандалов, в которых мы видали Марзака не раз... Да и вот сейчас этот самый Марзак идет с ножом к кабаку, где его будут ловить... Детское сердце замирало от страха, и ухо старалось поймать малейший шорох.

Действие начиналось обыкновенно ночью.

Прежде всего повторялся таинственный стук в калитку, и кучер Яков, захватив чугунный пест, исчезал из кухни не менее таинственно. Наступала зловещая тишина. Лежавшая на печи кухарка тяжело вздыхала и вполголоса начинала причитать:

— Микола милостивый... о-ох, согрешили мы, грешные!..

Делалось вообще ужасно страшно, так что для безопасности забираешься под одеяло с головой и даже затыкаешь уши, точно хотят ловить не Марзака, а тебя, такого маленького и беззащитного. Но никакое одеяло не спасает: ухо ловит осторожный топот торопливых шагов под окнами... Вот во весь опор пронеслась лошадь... От нашего дома до кабака всего сотни две шагов, подняться в гору, повернуть налево, и сейчас под горой, на берегу горной речонки Шайтанки, стоит кабак. Из заводской конторы и господского дома, где жил приказчик, нужно идти мимо нашего дома, и по звуку шагов догадываешься, что невидимые люди бегут торопливо туда, к кабаку. Вот и набатный колокол залился лихорадочным звоном.

— Матушка, Казанская богородица... Помилуй нас! — уже громко молится кухарка, и в звуках ее голоса стоят дешевые бабьи слезы. — Микола милостивый... угодники бессребренники...

Такой набат возвещал, что Марзак в кабаке. На улице поднимался громкий топот бегущих — теперь уже никто не бережется. Народ бежал из фабрики и с Заречного конца. А колокол все звонит частыми смешанными ударами, точно пульс лихорадочного больного... Потом все сразу замирает — и колокол, и бегущие шаги, и

конский топот, но эта зловещая тишина еще страшнее недавнего шума, и чувствуешь, как отзванивает набат в груди — собственное сердце, а в висках тяжело шумит кровь. Все чувства напрягаются до последней степени. Не слышно даже причитаний кухарки, которая тоже насторожилась, как птица. «Господи, что же будет: поймают Марзака, или он кого-нибудь зарежет и уйдет?..» Точно в ответ, где-то там, под землей, глухо проносится смутный гул. Вот он ближе, ближе, точно поднимается какая-то волна. Опять топот, громкий говор, чей-то одинокий плач — по улице проходит целая толпа народа: это ведут в «машинную» пойманного Марзака.

— Ну что? — спрашивает отец, когда Яков возвращается.

— А пымали... и нож у сапоге: во, який нож, — объясняет Яков, охваченный лихорадкой совершенного подвига. — Мы его у кабаке узяли... Подходим: седит, постучали у дверь: седит, вошли: седит...

— То-то, поди, напугали мужика, аники-воины, — язвит кухарка, — легкое место, всей-то ордой на одного человека навалились. Избили почти насмерть?..

— А як же?.. Вин с ножом...

Кухарка что-то ворчит себе под нос, Яков выкуривает для успокоения последнюю трубочку, и все засыпает, как засыпает и сам Марзак в «машинной». Всю ночь гремит одна фабрика да дымят без конца высокие трубы, рассыпая снопы красных искр.

Шайтанский завод принадлежит к числу тех медвежьих углов, которые редко попадаются даже на Урале. Он залег своими бревенчатыми избами по западному склону горного кряжа и в описываемое нами время (конец пятидесятых годов) едва имел две тысячи населения, сосланного сюда с разных сторон: основанием служили раскольники, потом к ним прибавили туляков и хохлов, пригнанных из России. Наш кучер Яков был «пригнанный» хохол, а Марзак — туляк. Характерной особенностью крепостного права на заводах было то, что в это время создался контингент крепостных беглых и крепостных дураков. Бегал кержак Савка, потом хохол Окулко и Беспалый, но всех их

выше по цельности типа стоял Марзак. По крайней мере в нашем детском воображении он сложился в сказочного героя, которого не держали ни тюремные стены, ни кандалы, не говоря уже о «машинной» и своих заводских торгах. Всего сильнее действовал на воображение открытый характер его действия. Втайне все население сочувствовало ему, как живому протесту против жестоких заводских порядков, тем более что Марзак никому, кроме заводских властей, никакого зла не делал.

Пойманный Марзак запирался в «машинную», то есть теплое помещение для пожарных машин, где жили заводские конюхи. Здесь обыкновенно производилась порка, и, проходя мимо заводской конторы, можно было частенько слышать отчаянные вопли истязуемых в машинной. Самое здание конторы уже имело в себе казенный внушительный вид; низенький, рассевшийся на две половины дом с высоким мезонином и белыми колоннами выстроен был в казарменно-классическом стиле времен Аракчеева и стоял «в самом горле», как говорили рабочие, то есть в конце плотины, так что всякий должен был проехать мимо этой конторы — другой дороги не было. Мы, дети, относились с каким-то особенным уважением к этому таинственному месту, и только желание посмотреть на знаменитого разбойника Марзака поборолo спасительное чувство страха. Помню, как под предводительством нашего кучера Якова мы отправились туда в первый раз прямо под белые колонны, где шел сквозной коридор с улицы на двор. Несколько кучеров, «отвечавших» и по заплечным делам, встретили Якова, как своего, — русские кучера отличаются необыкновенной общительностью и братскими чувствами.

— А мы до Марзака... — равнодушно объяснял Яков, показывая на нас движением головы.

Нас повели через двор к низенькому бревенчатому зданию, которое по наружному виду решительно ничего страшного не представляло: обыкновенный каретник, и только распашные двери были обиты кошмой. Это и была машинная. Когда дверь растворилась, на нас пахнуло совсем хозяйственным воздухом: пахло дегтем,

кожей, ржавым железом и злейшей кучерской махоркой. В машинной стояла полутьма, и глазу необходимо было к ней привыкнуть, чтобы различить ряд пожарных машин и внутреннюю дверь в следующее отделение. Небольшое оконце в этой двери, заделанное железной решеткой, глядело, как единственный глаз.

— Эй, Федя... — осторожно окликнул один из кучеров, заглядывая в решетчатое оконце.

Где-то в глубине резко грянули железные кандалы, и у оконца показалось красное лицо Марзака.

— Дайте табаку на цыгарку... — как-то равнодушно попросил голос из-за решетки.

Наше любопытство было вполне удовлетворено: Марзак оказался настоящим разбойником — в кандалах, в красной рубахе, с хриплым голосом и одним глазом, а другой отсутствовал.

Через несколько дней, после приличной домашней экзекуции, его увозили в Верхотурье. Картина получалась самая импонирующая: Марзак сидит в телеге в своей кумачной рубахе без шапки и, по старозаветному разбойничьему обычаю, истово раскланивается на все четыре стороны. Помню до мельчайших подробностей эту большую угловатую голову, на которой при каждом поклоне трепалась волна русых шелковых кудрей. Сотни народа бегут за телегой, а Марзак все кланяется, пока его красная рубаха, точно кровавое пятно, не исчезала на повороте к роковому кабаку.

II

В начале семидесятых годов, поздней осенью мне нужно было ехать в Петербург. Уральской железной дороги тогда еще не было, и проехать триста верст до Перми по убийственному гороблагодатскому тракту являлось таким подвигом, пред которым отступали завзятые храбрецы, — даже прославленный сибирский тракт в сравнении с ним являлся чуть не шоссе. Узнав, что с одной из верхних чусовских пристаней отправляется последний караван, я постарался воспользоваться этой оказией.

Осенний сплав по реке Чусовой не представляет опасностей, но требует терпения, — то расстояние, которое весной проходится в трое суток, теперь могло потребовать трех недель. Но выбирать было не из чего, и я отправился. По «межени», то есть летом, по Чусовой могут проходить только полубарки с грузом от пяти до семи тысяч пудов. На одном из таких суденышек я и поместился, — водолив уступил половину своей каютки, и это представляло громадные удобства. Отвал каравана с пристани составлял всегда событие, и я с удовольствием наблюдал суетившуюся на берегу толпу. Весной на Чусовой набирается до двадцати тысяч пришлого «чужестранного» народа, сгоняемого сюда нуждой из соседних губерний, а осенью работают все свои пристанские или с ближайших заводов. Нужно заметить, что в бурлаки из заводских шли самые оголтелые и замотавшиеся рабочие, пользовавшиеся самой плохой репутацией. Так было и теперь. Коренные чусовляне перемешались с заводчиной, и получилась самая пестрая бытовая картина. Меня интересовал не самый сплав, который осенью ничего особенного для нас, уральцев, не представляет, а только бурлаки.

— Да не варнаки ли... А?.. — орал водолив, который метался по полубарке во время отвала с таким азартом, точно нас осадил неприятель. — Куда прете?.. Эй, бабенки, вы у меня смотрите... Ну, и народец... а?!.

Сходни сняты, снасть отдана, и барка медленно отделилась от берега.

— Шапки долой! — скомандовал сплавщик.

Головы обнажились. Посыпались торопливые кресты. В этот момент с берега из толпы вынырнул высокий мужик с котомкой за плечами, догнал медленно двигавшуюся барку и при помощи легонького шестика ловко перепрыгнул через воду. Он так плашмя и упал на палубу прямо под ноги изумленному водоливу, который в азарте хотел его столкнуть обратно в воду, но это было не так-то легко сделать: мужик ухватился одной рукой за канат и замер.

— Не тронь... — спокойно заметил он, не обращая внимания на пинки водолива.

— Эй, Данилыч, отвяжись, — окликнул водолива сплавщик. — Разе ослеп...

Бурлаки сначала захохотали, счастливые даровым представлением, а потом смолкли и зашептались.

Этот эпизод быстро затерялся в пестрой смене новых впечатлений. Плыли мимо оригинальные берега, подпиравшие реку разорванной линией чередовавшихся скал; показывались и быстро прятались глухие лесные деревеньки; прошумел первый перебор, где река, сдавленная камнями, неслась с шумом и ревом оперенными белой пеленой майданами, точно в тесноте бежало стадо белых овец; хмурое осеннее небо неприветливо глядело сверху из-за диких скал, и, наконец, медленно и настойчиво пошел осенний назойливый дождь, не знающий пощады. Ничего не оставалось, как уходить в каюту, где водолив Данилыч уже «смастачил» чай. Я нашел своего сожителя в полном отчаянии.

— Это не барка, а острог... — ругался Данилыч, обрадовавшись случаю поделиться своим горем. — Разбой, одно слово.

— Да что такое случилось?

— А Федька?.. Зарежет он нас всех...

— Какой Федька?..

— А Марзак? Ну, еще даве на шестоке на барку перескочил: разбойник и есть разбойник...

Я не узнал героя своих детских воспоминаний и не мог удержаться, чтобы не выскочить из балагана и не посмотреть на знаменитого Федьку. Страшного, однако, ничего не оказалось. Федька как ни в чем не бывало стоял подгубщиком у поносного[1] и ворочал его, как матерый медведь. Картина бурлаков, работавших под дождем, была самая жалкая. Что-то такое беззащитное и оторванное от всего чувствовалось под этими мокрыми лохмотьями, безмолвно шевелившимися на палубах по команде сплавщика. Федька работал за двоих, и сплавщик любовно смотрел на него, когда он «срывал» тя-

---

[1] Поносным, или потесью, называется бревно с «пером» на одном конце, — оно на барке заменяет руль и весло; толстый конец поносного, у которого стоят бурлаки, заканчивается «губой». В подгубщики ставятся самые сильные и опытные бурлаки. *(Прим. Д. Н. Мамина-Сибиряка.)*

желое поносное, как перышко. Теперь было понятно, почему сплавщик заступился за Федьку, когда расстервенившийся Данилыч хотел столкнуть его в воду.

Бойкий пристанский народ резко выделялся в среде заводчины. Чусовляне были как у себя дома, а заводские, привыкшие к своей огненной или куренной работе, выглядели чужими, непривычными людьми. Исключение представлял один Марзак, видимо ломавший не первый караван по Чусовой. В течение двух недель я внимательно присматривался к оригинальной бурлацкой артели, которая сложилась так же быстро, как и все другие мужицкие артели. Повторилось поразительное явление, которое меня всегда занимало: в течение нескольких часов сложилось твердое и бесповоротное общественное мнение, и каждому отведено было надлежащее место. Сделалось это само собой, по молчаливому соглашению, и вся барка представляла из себя один организм с тонким распределением ролей, обязанностей и разных возможностей. И разбойник Марзак сразу занял свое особенное место: он не принимал никакого участия в бурлацком галденье, мелких ссорах и ругани, точно не замечал ничего кругом. Между тем, когда требовалось по какому-нибудь экстренному случаю — села барка на мель, подрались бабы — мнение бурлацкого круга, его голос имел решающее значение. Высказывал свою мысль Федька коротко, в нескольких словах, но здесь все было обдумано и взвешено.

— Уж Федька скажет, точно гвоздь заколотит! — говорили про него бурлаки. — Такой уродился.

Ростом Марзак был невелик, но широк в плечах и, как все силачи, сильно сутуловат. Лицо было такое же красное, и все те же русые кудри шапкой стояли на угловатой голове. Вытекший глаз придавал этому лицу угрюмое выражение. Одет он был, как и все: синяя пестрядинная рубаха, рваный армяк, худые сапоги на ногах, шапка в форме вороньего гнезда, и все тут. Разбойничьей красной рубахи не было и в помине, а вместе с ней он точно снял и свое обаяние как разбойник. Оставалась известная авторитетность человека, привыкшего к опасностям, сказывался сильный, властный характер, но чрез эти остатки сквозила какая-то

усталость, вернее сказать — грусть. Одним словом, это был человек, который сыграл свою роль и остался не у дел.

Однажды вечером мы затащили его в свой балаган напиться чаю. Он принял приглашение довольно непринужденно и так же непринужденно разговорился.

— Как ты тогда, Федя, из разбойников-то выпутался? — спрашивал сплавщик, любивший поболтать с хорошим человеком.

— А как волю объявили, ну, я в те поры в бегах состоял, — спокойно отвечал Марзак, глядя в сторону, — ну, вижу, пошло уже совсем другое... Втроем мы тогда и объявились в Верхотурье по начальству: я, Савка и Беспалый. Так и так, мы, мол, самые и есть. Ну, нас судить, в острог, а у нас свое на уме. Таскали, таскали нас по судам...

— А вы, значит, свое: знать ничего не знаю, ведать не ведаю?..

— Знамо дело... Ну, надоело начальству, и выпустили в подозрении.

— Это по старым судам даже весьма много было... Главная причина, што вот бегать незачем стало: все вольные.

— Мы свою-то волю раньше получили... поволчьему.

Марзак оказался разговорчивым человеком и рассказывал о себе, как о постороннем человеке: дело прошлое, нечего таиться, а что было, то было.

— Чем же ты теперь занимаешься? — спрашивал я его.

— А разное... Вот на сплав ухожу, потом на золотые промысла. Работы после нас еще останется... Не прежняя пора: палкой на работу гоняли, да всякий над тобой же галеганится.

— А бывает тебе скучно иногда?

Этот вопрос точно испугал Марзака. Он быстро взглянул на меня своим единственным глазом, тряхнул головой и замолчал. Нечаянно я, кажется, попал в самое больное место.

— Не в людях человек — вот какое мое дело, — ответил после длинной паузы Марзак. — Добрые люди

как на зверя смотрят... имя-то осталось... Раньше-то хоть волком ходил, а теперь и этого не стало.

Биография Марзака оказалась несложной. Родился и вырос он в Шайтанском заводе, а подростком уже работал на фабрике в кричной. Тяжелая огненная работа Марзаку была нипочем, но встал поперек горла один крепостной уставщик. Завязалась отчаянная борьба между безгласным рабочим и микроскопическим начальством, выбившимся разными неправдами из простой рабочей среды: давил такой же рабочий. Дело кончилось тем, что ни в чем не повинного Марзака отвели в машинную и прописали жестокую порку. Он обозлился и с ножом бросился на приказчика. Дальше следовала уже настоящая порка, кандалы и верхотурский острог, где Марзак закончил круг своего образования в обществе Савки и Беспалого. С ними он ушел из острога и под их руководством быстро прошел весь опытный курс бродяжничества. Впоследствии эту шайку обвиняли в ограблении заводской почты и в других шалостях, направленных против заводского начальства.

— Зачем же тебя черт в кабак-то приносил тогда? — удивился водолив Данилыч, успевший примириться с разбойником.

— Когда в бегах состоял?

— Ну, когда бегал... Захаживал и к нам на пристань, как же. Ну, и бегал бы по лесу, а то нет, надо в кабак... Да еще зря и в кабак-то придет. Все знают твою-то заразу и сейчас ловить.

Марзак посмотрел на Данилыча и рассмеялся — это было в первый раз, что он развеселился.

— А ведь я и сам то же самое думал, Данилыч, — ответил он, встряхивая кудрявой головой. — Знаю, што поймают, а иду... Точно вот кто меня толкает. Намерзнешься в лесу-то, наголодаешься, истомишься, оно и тянет в теплое место...

— Ах ты, какой, Федя: ну, послал кого за водкой — и вся тут.

— Ну, нет... Тут дело особенное: как увидали тебя на улице, значит, быть Федьке в кабаке. Да... Знаешь, что ждут уж тебя, будут ловить, ну вот по этому по

самому и идешь. Не боится, мол, вас Федька никого... Не одинова уходил из кабака-то целешенек, потому как все тебя боятся. Приступиться страшно к разбойнику... Нельзя не прийти.

В Перми мы расстались. Марзак дружелюбно мотнул мне головой и зашагал с толпой бурлаков.

— Ты куда это? — спрашивал я его на прощанье.

— А вон... — указал он на ближайшую кабацкую вывеску.

— В кабак?

— По нашему положенью некуда больше.

III

В последний раз в Шайтанском заводе я был в восьмидесятых годах. Завод значительно увеличился, появилось много новых построек, но из старых знакомых, дорогих по детским воспоминаниям, оставалось уже мало. Народилось и выросло молодое, незнакомое поколение, и успели сложиться уже некоторые новые формы заводского быта. Так, окончательно вымер контингент заводских крепостных разбойников, дураков и дурочек. Вместо одного кабака с елкой, заменявшей вывеску, выросли целых пять питейных заведений. Да, много было нового, и в душе поднималось невольное старческое чувство, то особенное чувство, когда вас охватывает беспричинная грусть и беспокойные размышления о суете сует.

Поздним летним вечером, когда благочестивые люди улеглись спать, ко мне на квартиру завернул знакомый заводский служащий сообщить, что сейчас поймали двух бродяг и отвели их в волость.

— Разве есть опять беглые? — удивился я.

— Нет, не свои, а чужестранные, — объяснил служащий. — Надо полагать, сбились с дороги, поплутали-поплутали по горам, ну и зашли в жило [1], а их здесь и накрыли. У них свой тракт: по реке Исети, а потом на Чусовую.

---

[1] Жило — селение. *(Прим. Д. Н. Мамина-Сибиряка.)*

Мне захотелось взглянуть на бродяг, и мы отправились в волостное правление, до которого было десять шагов.

По заводам волости щеголяют своим приличным видом и даже богатством. Так, шайтанское волостное правление помещалось в каменном двухэтажном доме, выстроенном на «пропойные деньги», то есть на те тысячи рублей, какие выплачивались обществу кабатчиками за разрешение открыть на заводе известное число заведений. Во втором этаже брезжился еще огонек, и запоздавший над своими бумагами писарь встретил нас с недовольным и сердитым лицом.

— Бродяги, известно, бродяги и есть... — ворчал он, зажигая сальную свечу, чтобы проводить нас в нижний этаж, где помещался «карц». — Невидаль какую нашли!..

Мы спустились в какой-то коридор, где пахло официальной вонью всех кутузок, холодных и всяких других узилищ.

— Варнаки какие-то, — уже добродушно объяснял писарь, пробуя на всякий случай крепкую деревянную дверь с решетчатым оконцем. — Эй, Федя, где у тебя ключ?..

Где-то в углу на лавке послышалась тяжелая возня, и из темноты выступила плечистая фигура каморника, пошатывавшегося спросонья. Повернулся ключ в замке, и дверь распахнулась.

— Эй вы, голуби... покажитесь, — командовал писарь, поднимая свечу кверху. — Один назвался «Не поминай лихом», а другой «Постой-ка». Ну, пошевеливайтесь, господа, непомнящие родства... Который «Постой-ка»-то?..

— Я, — ответил разбитый тенорок из темного угла.

Бродяги оказались самыми обыкновенными, и попались они тоже самым обыкновенным образом. «Постой-ка» попросил табаку и равнодушно завалился опять на нары.

— А они не убегут у вас? — спрашивал служащий, посматривая на деревянную стенку, отделявшую эту камеру от соседней комнаты.

— Ну, у нас-то уж не уйдут... — самодовольно ответил писарь и, мотнув головой на каморника, прибавил: — Вон у нас какой благодетель для них приспособлен... хе-хе!.. Федя, не пустишь?

— Не пущу... — лениво ответил каморник. — Где им... Так, расейские. Их надо еще с ложки кашей кормить...

Это был Марзак. Я не узнал его сразу в темноте и только теперь рассмотрел хорошенько. Да, это был он, — та же кудрявая голова, тот же закрытый глаз, та же сутулая, могучая спина.

— Не узнаешь? — спросил я его.

— Запамятовал, ваше скородие... — ответил Марзак тоном человека, приобщившегося к местной администрации.

— А вы его знаете? — спрашивал в свою очередь писарь. — Он у нас в сотских ходит вот уж третий год... Ну, Федя, запирай: сладенького понемножку.

МÓРОК

Очерк

I

Зачем Никешка подымался ни свет ни заря на Чумляцком заводе, этого никто не мог сказать. А он все-таки вставал до свистка на фабрике, точно службу служил. Подымется на самом «брезгу», высунет свою лохматую голову в окно и глазеет на улицу, как сыч. Добрые люди на работу идут, а Никешка в окно глядит и не пропустит мимо ни одного человека, чтобы не обругать. Особенно доставалось от него соседям — старику Мирону и дозорному Евграфу Ковшову. Мирон жил рядом, а Ковшов — напротив.

— Пропасти на тебя нет, Никешка, — говорил Мирон при каждой встрече и укоризненно качал головой. Погляди-ко, ведь седой волос занялся у тебя в бороде, а ты все не в людях человек. Хошь бы уж помер, право...

— Сперва погляжу, как вы все передохнете, — отвечал Никешка с обычной дерзостью. — Получше других человек завелся, так вам бы в ноги ему кланяться... так я говорю?.. Вот ты, Мирон, за дочерьями-то гляди в оба, штобы прибыли какой не вышло.

— Никешка!..

— Я давно Никешка.

— Тьфу!.. Собака — и есть собака.

Старый Мирон, благочестиво отплевавшись, поско-

рее убирался в свою пятистенную избу. Ему было всего пятьдесят лет, но на вид — старик стариком. Сказалась тяжелая огненная работа, на которой человек точно выгорает. Давно ли Мирон жил паном, дом был полная чаша, а потом разнемогся да разнемогся, и все богатство сплыло. Правда, осталась старуха жена да три дочери, и только. Были два сына, поженились и ушли своим домом жить. Таких «стариков до времени» в Чумлящком заводе было много, и везде повторялась одна и та же история.

Другой сосед Никешки, дозорный Ковшов, жил крепко и богател тугим мужицким богатством. Попав в заводское начальство, он не забывал себя: поправил домишко, обзавелся скотиной, купил ведерный самовар и быстро начал толстеть. Одним словом, человек попал на легкий хлеб и жил в свое удовольствие. Благополучие Ковшова отравлялось только соседством Никешки, который не давал ему прохода. Чтобы не встречаться со своим врагом, Ковшов уходил иногда на фабрику огородами, точно вор. Но все равно, никакая политика не могла спасти его от Никешки. Идет Ковшов с фабрики с правилом в руке и старается не замечать своего соседа, но Никешка уже орет на всю улицу:

— Евграфу Палычу сорок одно с кисточкой... Эй, сосед, айда ко мне в помощники: я ничего не делаю, а ты помогать мне будешь!

Сохранить свое достоинство при таких обстоятельствах довольно трудно, и Ковшов должен был ругаться:

— Острог-то давно о тебе плачет, Никешка... Мотри, не ошибись: только даром время проводишь в своей избушке.

— А вы, Евграф Палыч, слава богу, мучки аржаной возик купили... — не унимался Никешка. — Где господь железка пошлет, где бревешко подвезут даром, где што, а хорошему человеку все на пользу... Вот как хорошие-то люди живут: у скотины хвост трубой, в сундуках добра не проворотишь, а беднота кланяется Евграфу Палычу, потому как он сам перед начальством хвостом лют вилять. Так я говорю? Собаки чужие не лают на Евграфа Палыча... Дым у него из трубы столбом идет...

— Тьфу, окаянная душа!..

Все, что делалось в доме Ковшова, Никешка знал лучше, чем свои собственные дела, и оповещал всю улицу. Евграф Палыч жене палевый платок купил, а себе завел сапоги со скрипом; у Евграфа Палыча сено само на сарай приехало; Евграф Палыч лошадку новую собирается купить, потому что старым лошадям делать нечего, и т. д. Выведенный из всякого терпения, Ковшов несколько раз хлопотал, чтобы общество выключило Никешку из своего состава; но эти подходы не удавались. Даже выставленное волостным старичкам вино не помогало: выдерут Никешку, и только. Секрет заключался в том, что Никешка был отличный конский пастух и ни одну лошадь не даст украсть.

Так и жил Никешка в своей проваленной избушке, покосившейся на один бок. Делать запасы дров он не имел привычки и помаленьку топил печь разным домашним строением: сначала сожег амбар, потом баню, прясла и даже ворота, а теперь принялся за крышу, — стащит драницу и в огонь. Жил он бобылем, и единственную живность в его хозяйстве составляла сивая кривая кобыла. И скотина была по хозяину: зиму и лето жила под открытым небом, а питалась чем бог пошлет. Была у Никешки жена, было хозяйство, но все это ушло при ближайшем участии закадычного приятеля Никешки, кабатчика Пимки, который не только перевел за себя все, что можно было взять у Никешки, но по пути захватил и его жену — Маланью. Когда друзья напивались, они начинали колотить несчастную бабу вдвоем.

На заводе Никешка известен был под именем Мóрока, и это прозвище он носил не без достоинства. Только соседи называли его просто Никешкой.

II

Ласковое апрельское солнце едва занималось, а Никешка уже сидел у своего окна и глядел на улицу. Уральская весна поздняя и, несмотря на последние числа апреля, кое-где еще лежали кучи почерневшего

и точно источенного червями снега. Весенняя грязь за ночь покрылась тонким слоем льда, который хрустел и ломался под копытами лошадей как стекло. Накопившаяся за зиму дрянь, которую чумляцкие обыватели выкидывали за неимением помойных ям прямо на улицу, теперь точно вылезла из земли и задерживала таяние последнего снега. Никешка смотрел вдоль улицы на новую крышу новой избы Ковшова и любовался собственной кобылой, которая не без ловкости подбирала отвислыми старыми губами клочки гнилого сена, валявшиеся на улице.

— И тварь только: чем, подумаешь, жива? — удивлялся Никешка добычливости своего единственного живота. — Не хочет помирать, подлая... брюхо-то, видно, не зеркало!

Пригретый весенним солнышком, Никешка задумался о лете. Вот пройдет с гор вода, и везде-то займется трава. Поведут тогда все лошадей в пасево, выедет он, Никешка, на своей кобыле, как следует пастуху, — лето-то и пройдет шутя. Кобыла всегда успевала отъедаться к осени, хотя и летом Никешка не считал нужным ее кормить: сама должна себе пропитал добывать, на то она и кобыла. Деньгами да кормом скотины тоже не укупишь, как делает Ковшов и другие толстосумы.

А солнышко так и греет, так и греет... Смертная лень одолела Никешку: высунул башку в окно и сидит. Скоро вот на фабрике свисток завоет, народ побежит на работу... Дураки!.. А Никешка будет сидеть да поглядывать. Когда надоест сидеть, пойдет к Пимке, — не подвернется ли какой хороший человек. Никешке тоже иногда перепадают даровые стаканчики водки: загуляет человек, что ему стоит угостить. Бывает, что и Никешка пригожается... Худ-худ, а без него тоже дело не обходится.

Задымили печи у проворных хозяек, поднимался медленный шум закипавшего дня, напахнуло крепким весенним ветерком. Никешка зажмурился от удовольствия, а его широкое бородастое лицо с заплывшими глазками даже покрылось маслом. Кобыла, набившая

себе брюхо разной дрянью, тоже дремала на солнышке, и Никешка еще раз подумал: «Ишь, подлая тварь, чувствует». А свисток уж скоро. Никешку позывает на сон. Голова свешивается, как отшибленная, и солнце греет теперь только самую макушку с поредевшими темными волосами.

— Никешка... Морок!..

— А... што?.. Эк вас взяло!.. — мычит Никешка, стукаясь головой о верхний косяк окна. — Ну?..

— Недавно ослеп: без очков-то не видишь?.. — повторяет тот же сердитый голос.

— Чего глядеть-то?.. Ишь расшеперился: не велик в перьях-то!

— А ты не карачься, Морок... Добром тебе говорят: куда дел сапоги? Где ты вечор-то был, окаянная душа?.. Окромя тебя, некому украсть сапогов...

Никешка некоторое время молчал как человек, удрученный сознанием, что действительно, кроме него, некому украсть сапогов. Да и староста налицо, и понятые, и Егранька Ковшов выбежал на улицу в одной рубахе, счастливый чужим безвремением.

— Какие сапоги? — удивляется Никешка точно про себя.

— А вот мы тебе, Мороку, покажем — какие!..

— Он, он украл!.. Верно... — кричал Ковшов, размахивая руками. — Да вы чего с ним разговариваете? Айда, волоки прямо в волость!

Происходит некоторое колебание. Нужно все по форме сделать: может, не найдется ли поличное? Мужики идут прямо в избу. Никешка встречает их спокойно и даже не поднялся с лавки.

— Обыскивай, а то я и сам ничего не найду, — подсмеивается он.

— Не заговаривай зубов-то, — ругается староста, заглядывая на пустые полати. — И чем живет человек?.. А сапоги все-таки ты, Морок, упер!..

— Поищите, может, двое найдете.

Обыск кончается в несколько минут: кроме ременного пастушьего хлыста, в избе ничего не оказалось, — все свои богатства Никешка носил на своих плечах.

— Айда в волость! — кричал в окно Ковшов: в избу он не смел войти. — Наверно, у Пимки в кабаке сапоги, потому, кроме Никешки, некому... Известный заворуй!.. Из кабака не выходит...

— Отвяжись, судорога! — ворчал Никешка, подпоясывая свой рваный полушубок. — Посоли лучше свой-то самовар да ступай чай пить. Ну, староста, не то пойдем в волость...

— И то пойдем... — равнодушно соглашается староста, быстро израсходовав весь свой административный пыл.

На улице уже столпилась куча любопытных. Все желают посмотреть, как поведут Морока в волость. В толпе баб главным действующим лицом является чахоточный синельщик Илья, который в таких случаях незаменим: кричит, машет руками и бросается в разные стороны, как бешеный. Горбун Калина, единственный «чеботарь» в Чумляках, молча стоит со старым Мироном. Появление Морока произвело известное впечатление на толпу: он выше всех ростом и с такою уверенностью шагает по самой середине улицы.

— Мы тебе, милаш, по-ок-кажем, какие сапоги бывают! — повторяет староста, не желающий дискредитировать свою власть на людях.

— Горячих ему!! Горрячих!.. — орет вдогонку Ковшов.

Процессия торжественно идет вперед, потом спускаются к заводскому пруду и делают легкую остановку у кабака Пимки. Заведение пристроилось как раз на самом юру, так что и в фабрику, и в церковь, и на базар народ идет мимо. Пимка выскакивает в простой кумачной рубахе.

— Подавай сапоги! — кричит ему староста еще издали. — Окромя тебя, негде им быть.

— Да, я... а-ах, божже мой! Да вот провалиться... да будь я трою проклят, ежели касательство какое! — клянется Пимка, пойманный врасплох. — Да мало ли ко мне народу всякого шатается?

— Сапоги!

Пимка моментально исчезает, и в ответ на приказание старосты из кабака летят искомые сапоги. Старо-

ста медленно поднимает их с земли, оглядывает и утвердительно кивает головой: «Они самые, в настоящую точку, как показывала Дунька Ковригина...» Сапоги приобщаются к делу, и процессия продолжает свое шествие.

Окруженный понятыми, Никешка идет своим развалистым шагом и старается не смотреть на встречных. На повороте в гору нагоняет эту толпу мужиков веселая гурьба заводских поденщиц, которые торопятся поспеть до свистка; Никешка инстинктивно оглядывается, и один этот взгляд останавливает говорливую поденщину.

— Ты чего уперся, столб? — ругается староста и начинает толкать Никешку в спину крадеными сапогами.— Вот они, сапоги-то! Погоди, мы тебе поккажем...

Но Никешка продолжает стоять на месте и старается разглядеть молодое девичье лицо, которое стыдливо прячется в толпе поденщиц.

— Да ведь это Даренка... — вслух удивляется он, занятый своими личными соображениями. — Последняя у Мирона девка ахнула... а?..

Ответа нет. Из толпы поденщиц выступает только отпетая солдатка Матрена, старшая дочь Мирона, и вызывающе смотрит на заворуя-Морока.

— Ступай, ступай! — кричит староста, упираясь в спину Никешки обеими руками. — Эко дерево, подумаешь...

— Хошь бы ботинки украл да мне подарил, — смеется Матрена, подступая ближе.

— Куда ты Даренку-то ведешь, отпетая? — как-то глухо спрашивает ее Никешка.

— Никто ее не ведет: своей волей пошла. А тебе какая печаль сделалась?

Все поденщицы одеты бедно, но с тем шиком, как одеваются на заводах. Поношенные ситцевые сарафаны подтыканы, чтобы показать юбки с пестрыми подзорами; на головах большею частью кумачные платки. Матрена всех наряднее и смотрит кругом потерявшими всякий стыд глазами. Младшая ее сестра Дарья вышла еще в первый раз на поденную работу и одета совсем бедно. Она напрасно старается спрятаться в толпе от

испытующего взгляда Никешки. Подруги ее подталкивают. Никешка быстро повернулся и сосредоточенно зашагал в гору к волости. Загудел свисток на фабрике, и толпа поденщиц бросилась врассыпную.

III

В волости с Мороком происходила всегда одна и та же история: волостные старички для формы устраивали короткий суд и немедленно пороли виноватого. Так было и теперь. Никешка не оправдывался, не сопротивлялся, не роптал, а принимал все, как должное. Когда экзекуция кончилась, он привел в порядок свой костюм и сам отправился в холодную, где обыкновенно отдыхал до следующего дня, как было заведено давно. В результате все оставались довольны.

— Черти, право, черти! — ворчал Никешка, не обращаясь ни к кому в отдельности. — Скоро коней выгонят, так я вам покажу... Эка важность: сапоги! Тоже нашли...

В Чумляцком заводе Никешка играл оригинальную роль единственного вора, и при всякой пропаже отправлялись к нему, потому что больше некому украсть. Если приходили во-время и находили поличное, как в данном случае, он покорялся беспрекословно. Если удобный момент был пропущен и краденое, при посредстве кабатчика Пимки, уплывало в неведомые бездны, Никешка запирался, начинал ругаться и буянил; но его все-таки пороли и держали на высидке больше обыкновенного. Единственный вор на весь завод, — значит, чего с ним толковать. Случались серьезные дела, как увод лошади, тогда Никешку предварительно колотили, долго и больно колотили, а потом уже пороли и сажали в «карц». Эти шалости обыкновенно совпадали с зимним глухим временем, когда у Никешки не оставалось никаких ресурсов для существования, кроме сивой кобылы, которую он обыкновенно менял на цыганский манер с придачей. Но к весне, когда нужно было выгонять лошадей в пасево, кобыла непременно являлась в руках Никешки, и он

гарцевал на ней с пастушьей ухваткой. Эта кобыла заслуживает внимания не меньше хозяина. Она не давалась в запряжку, а если ее все-таки запрягали, падала в оглоблях; на себя она тоже никого не пускала, — била задними ногами, кусалась и в заключение опять падала. Справлялся с ней один Никешка. И теперь, засаженный в холодную, он думал о своей кобыле, которая осталась без всякого призора. Положим, она никуда не девается, но все-таки было жаль.

Итак, Никешка лежит в холодной и сосредоточенно молчит. Сначала он думал о своей кобыле, а потом припомнил солдатку Матрену и точно что его кольнуло в самое сердце. Зачем Даренка пряталась от него давеча?.. На погибель вела ее солдатка: уж какая девка, ежели в поденщину попала, — вся чужая. Плохо, видно, Мирону приходится, ежели он последней дочери не пожалел.

«Сплоховал старик, — думает Никешка, закрывая глаза. — Надо бы повременить: может, какой бы жених выискался на Даренку».

К фабрике у Никешки было какое-то органическое отвращение. В крепостное время, когда насильно гнали народ на огненную работу, он один отбился от фабрики, несмотря на то, что его и пороли, и морили высидкой, и сдавали в солдаты, — ничего не помогало. Заводское начальство махнуло на него рукой, как на отпетую голову. Каково же было удивление этого начальства, когда после воли первым на фабрику явился Никешка! Он точно переродился и проработал лет пять, как следует. Появился у Никешки свой домишко, хозяйство, и в заключение он женился. Все шло хорошо. Но когда на фабрике поставили первую паровую машину, Никешка точно сдурел: явился к управителю и заявил, что больше работать не будет.

— Почему? — удивился управитель.

— А так... Что же, собака я, што ли, што буду вам по свистку на работу выходить?

— Да ты с ума сошел...

— Все равно, толку не будет...

— От свистка?

— От ево от самова...

Как сказал Никешка, так и сделал: не хочу, и все тут. Паровой свисток действительно нагонял на него какую-то тоску и озлобление. Каждое утро Никешка ждал того момента, когда загудит его враг.

— О, штобы тебе подавиться! — ругался он, посиживая у окна.

Даже в пасеве, верст за пятнадцать от завода, Никешка не мог избавиться от проклятой немецкой выдумки: свисток все-таки гудел, далеко-далеко гудел, точно под землей.

Нажитое добро было прожито с поразительной быстротой, и Никешка окончательно попал на свою линию единственного вора. Жена Маланья ушла жить к кабатчику Пимке, а Никешка остался со своей сивой кобылой и все сидел у окошечка. В его душе сформировалось непоколебимое убеждение, что от заводской работы никакого толка не будет, а лошадей пасти можно было только летом. Подтверждением его первой мысли была та же история семьи Мирона: вот человек работал, выбивался из сил, а под старость все-таки пошел по миру. Другое дело Еграныка Ковшов: он такой же заворуй, как и Никешка, только ворует с поклоном. Таким образом, все зло заводского существования для Никешки сосредоточилось на паровом свистке, и он не хотел ничего знать. И Даренку он пожалел потому же: под свисток пошла — пиши пропало. Уж если мужику пропасть, то девке — вдвое.

IV

Наступило лето, а следовательно, Морок гарцевал на своей сивой кобыле, помахивая длинным пастушьим хлыстом. Все зимние грехи точно растаяли вместе со снегом, и Никешка не спал ночей, сберегая общественное добро. Конское пасево было отведено «с незапамятных времен» в двадцати верстах от Чумляцкого завода, на так называемой Елани, старом, заброшенном курене, примыкавшем к реке Чусовой. Это было глухое медвежье место, по которому целое лето бродил заводской табун, лошадей в тысячу. Летом конных работ на

заводе не было, и лошади отдыхали в пасеве. Десять человек пастухов с Мороком во главе отвечали за каждую голову, если не представят меченых тавром копыт. Пастушье дело — самое проклятое, особенно когда лошадь отобьется от своего табуна и уйдет в горы: извольте ее искать на расстоянии сотни квадратных верст. Места кругом были дикие, и только кое-где засели глухие лесные деревушки. Все лето пастухи перебивались в балаганах, а Никешка почти не слезал со своей кобылы, потому что на его обязанности было отыскивать отбившихся от табуна лошадей. Благодаря знанию местности и многолетним связям с конокрадами всей округи, он выполнял свою роль из года в год, как мы уже говорили, блистательно.

Нынешнее лето проходило обычным порядком, хотя сам Морок, видимо, скучал и заметно тяготился своей собачьей службой.

— Черт на нем едет, што ли? — удивлялись пастухи. — От хлеба отбился человек.

— Стар стал: кости болят... — уклончиво объяснял Морок. — Тоже бьют-бьют человека, а к ненастью поясницу ломит во как.

Дело было не в пояснице. Морок обманывал самого себя. Он все думал о Даренке. Втемяшилась ему в башку эта девка и не выходит. Стороной он уже слышал, что на фабрике Даренка «защеголяла»: явились козловые ботинки, кумачный платок, ситцевые «подзоры» на юбках, стеклянные бусы на шее, а автором этих неотразимых для каждой поденщицы соблазнов называли заводского машиниста Мухачка. Вся фабрика галдела на эту тему недели две и не давала проходу Даренке, хотя дело это было самое обыкновенное: вся бабья поденщина с солдаткой Матреной во главе — на одну руку. Может быть, из всех заводских один Морок пожалел пропавшую ни за грош девку.

В своих разъездах по заводской даче Морок не один раз завертывал на покос к Мирону. От Елани это было рукой подать. Тут же были покосы синельщика Ильи, чеботаря Калины, — тоже единственные люди в Чумляцком заводе, как был единственный вор — Никешка. Лучший покос, конечно, принадлежал здесь Еграньке

Ковшову, и Морок делал нарочно десять верст лишних, чтобы поругаться с ним.

Страда на заводах — самое лучшее время: весь народ в поле, и работа кипит. По ночам весело горели огни у покосных избушек, и по всем покосам катились веселые песни. Старики, конечно, рады были месту, а веселилась неугомонная молодежь: день-деньской с косой, а вечером — гулянка. Когда-то такое же веселье было и на покосе Мирона, но теперь не то. Настоящей рабочей силой являлся один старик Мирон, а остальные были все бабы — старуха Арина, Матрена, Прасковья и Дарья. Отделенные сыновья работали в свою голову, а Мирон управлялся один. Бабы, конечно, работали, но, известно, какая бабья работа: то да не то. А тут еще солдатка Матрена куролесила: то одного приведет, то другого, да еще и сама пьяная напьется. Конечно, дивить на солдатку было нечего: непокрытая голова, и взять не с кого. Хуже было то, что и другие дочери своими дружками обзавелись. Один Мухачек что стоил: приедет верхом да начнет куражиться, а худая-то слава далеко бежит. Старик Мирон все это видел, но молчал. Да и что он мог поделать, когда сам посылал дочерей на фабрику: нужно пить, есть, одеться, а сам он — какой работник? Покосит до обеда, а после обеда лежит в избушке, — натруженные кости ноют, спина болит, каждый сустав ломит. Девки хоть и гулящие, а проворные, и работа идет мало-мало. Вот только старуха Арина донимает своими причитаньями: у других и то, и другое, и десятое. Старый Мирон только вздохнет, — конечно, старухе обидно.

Раз, когда после обеда Мирон лежал в балагане и раздумывал свои невеселые старые думы, кто-то подъехал верхом.

«Опять, видно, Мухачек», — подумал Мирон и притворился, что спит.

— Старичку! — послышался знакомый голос. — Жив, Мирон?

— Это ты, Илья?

— Около того...

Это был Никешка на своей сивой кобыле. Нагнувжись, он пролез в балаган и с трубкой сел на порог.

— А ведь я-то тебя за синельщика принял, — жалостливо заговорил старик. — По голосу смешал... ох-хо-хо!.. Другие-то робят, а я вот лежу...

— Все будем лежать... Ты свое обробил все, — философски заметил Морок. — Работы не проробишь, а тебе и замениться кем помоложе пора.

— Да замениться-то некем.

Мирон рад был живому человеку, которому мог пожаловаться на свою жизнь, все же суседи. Да и скрывать нечего было: весь завод был на слуху. Посидел Никешка, поговорил и уехал, а Мирон долго думал, зачем мог приезжать к нему Морок.

«Так, шалый», — решил про себя старик.

А Никешка приехал и во второй раз и в третий раз. Сначала закинул заделье: не видали ли пегой лошади? — а потом хлеба выпросил. Солдатка Матрена подняла было его на смех, но Мирон ее остановил.

— Худ он для себя, а не для нас... Оставь, зуда! Тоже суседи называемся...

Однажды, когда старик вышел из балагана посмотреть на работу, он даже остановился от изумления. Покос доканчивали, и оставалось пройти последнюю мочажинку. Солдатка косила в березняке, а мочажинка досталась Дарье. Теперь Мирон увидел такую картину: Даренка сидела на траве и перевязывала порезанную вчера ногу, около нее ходила по траве сивая кобыла, а в мочажинке работал Никешка. И как работал: только коса свистит... Старый Мирон залюбовался на эту настоящую мужицкую работу, а Никешка так и прет полосу за полосой. Могутный человек, одно слово.

— Вот бог работника послал, — вслух проговорил Мирон, подходя к дочери.

Никешка даже не оглянулся, а только поплевал на руки и еще сильнее ударил косить. Даренка видимо смутилась и хотела взять у него косу.

— Постой, дай кончить, — отозвался Никешка, не глядя на нее. — На себя не роблю, так хоть тебя заменю. Куда ты без ноги-то в осоку полезешь, дура?..

Пришла старая Арина и тоже полюбовалась на Никешкину работу. Старики даже вздохнули о собственных молодых годах, тогда у них работа горела в руках,

а по пути вспомнили и про непокорных сыновей, работавших теперь на себя. А Никешка все косил, — расстегнул ворот рубахи, бросил шапку, снял сапоги.

— Ну, теперь прощайте! — сказал он, когда от мочажинки осталась одна зеленая щетина да валы свежей кошенины.

— Куда ты, Никифор? — проговорил Мирон. — Оставался бы с нами поужинать.

— Нет, мне недосуг... Спасибо.

— Зачем свой-то покос людям сдаешь, Никифор? Вот бы и робил на себя... Глядишь, на зиму и с сеном.

— А для кого мне косить-то?.. Ну, прощайте!..

Никешка даже не взглянул на Даренку, сел на свою кобылу и уехал. Старики молча поглядели ему вслед и, по обыкновению, промолчали. Даренка тоже молчала: она боялась, что Морока видела Матрена. Загорелая, здоровая, Даренка была девка хоть куда, если бы не худая фабричная слава. Она долго стояла, не двигаясь, глядя на выкошенное место. Не испытанная еще тоска сдавила ее девичье сердце: вот если бы она была замужем, то-то спорая пошла бы работа.

Когда Даренка вечером пришла с косой на плече к балагану, старая Арина с какой-то особенной ласковостью посмотрела на нее и даже поправила выбившиеся из-под красного платка светлорусые волосы. Когда их глаза встретились, девушка поняла, что мать жалеет ее, и это еще больше защемило ее сердце. Ночью Даренка тихонько плакала, не зная о чем, а старик Мирон лежал и думал:

«Пожалел Никешка девку... Тоже вот поди: шалый, а пожалел».

V

Наступила осень. Сивая кобыла опять бродила по улицам Чумляцкого завода на полной свободе: значит, Морок был дома, и его голова торчала из окна избушки.

Было ясное осеннее утро. Земля, скованная первым морозом, звонко гудела под ногами. Издали было слышно, как катились телеги. Никешка сидел на своем посту и ждал, когда загудит на фабрике проклятый

свисток. Он сидел в новой ситцевой рубахе, всклоченные волосы были намазаны коровьим маслом, и вообще в Никешке случилась перемена. В доме Еграньки Ковшова происходило какое-то таинственное движение, и из-за косяков мелькали любопытные лица, а Никешка все сидел, поджидая свисток.

— Ишь, тварина, где-то наелась-таки! — вслух удивился Морок, когда в конце улицы показалась сивая кобыла, направлявшаяся домой. — То-то дошлая скотина!..

Приближавшийся топот невидимых ног заставил Никешку оглянуться на противоположный конец улицы: там, от кабака Пимки, медленно подвигалась целая толпа народа. Морок сразу узнал старосту, старика Мирона и понятых. Все шли не торопясь и остановились у избы Мирона. Вышла на улицу старуха Арина и запричитала, указывая на избушку Морока. Понятые смущенно молчали и только переминались на месте, как стадо овец, наткнувшееся на волчье логовище. Потом староста перешел на другую сторону улицы, и все сгрудились у избы Ковшова. В окне высунулась голова самого Еграньки и закричала:

— Што вы на ево смотрите: тащите в волость — вот и весь сказ. Не больно важное кушанье. Да горячих ему залепить, да в карц, да опять горячих, да...

— Оно, конешно, следствует, — соглашался староста, поглядывая на избу Никешки. — Даже весьма следует... гм... да... Не впервой... то есть три шкуры спустить... Прежде сапоги да коней воровал, а теперь... да...

— Берите его! — орал Егранька, входя в азарт. — Прямо за волосы волоките!.. Катай его!..

Эти вопли не производили надлежащего действия на толпу: мужики переминались, подталкивали друг друга и вообще не решались приступить к действию. Решительный момент наступил, когда к толпе присоединились чахоточный синельщик Илья и чеботарь Калина. Под их предводительством толпа отделилась от избы Ковшова и через улицу направилась к избушке Морока. А Никешка все сидел в окне и с спокойствием записного философа ждал, что из всего этого произойдет.

— Бей его... катай!.. — орал Еграныка, перебегая от окна к окну. — Бери...

Не доходя несколько шагов до избушки, толпа остановилась. Наступил новый момент нерешительности, пока староста не приступил к исполнению своих прямых обязанностей.

— Мы к тебе пришли, Морок...

— Вижу.

— Ну, так ты уж того... да... Айда в холодную! Прежде сапоги воровал, а теперь девку чужую увел... Подавай Даренку, а сам айда в волость.

— Ну, нет, брат, шабаш! — закричал Морок, показывая в окно кулак. — У Даренки свои ноги есть, а я шабаш... Будет!

— Никешка, дьявол, тебе добром говорят!

Подбежавшая к окну старуха Арина хотела схватить было Морока прямо за бороду, но тот уклонился. Поднялся сразу страшный гвалт, — все кричали, ругались, показывали кулаки. Общественная нравственность была оскорблена и требовала отмщения. Главное, женатый мужик увел девку, да еще и увел у суседа, — это было невозможно... Даренка действительно сидела в избушке Морока, бледная, перепуганная, плохо сознававшая, что происходило около нее. Она слышала только вопли матери и не смела шевельнуться. Что им нужно?.. Даренка ушла к пропащему человеку Никешке потому, что это был единственный человек, который ее пожалел. На фабрике она переходила с рук на руки, как пущенная в оборот монета, и везде было одно и то же: ее сначала заманивали, дарили что-нибудь для первого раза, напаивали водкой, а потом следовали побои, издевательства и позор. У одного Никешки нашлось для нее теплое, ласковое слово, и она пришла к нему: он такой сильный и не даст никому в обиду. Ей, как уличной собаке, так немного было нужно...

А Морок стоял у окна, выпрямившись во весь свой рост, и ждал приступа с спокойствием решившегося на все человека. О, он теперь не дастся им живой в руки и Даренку не даст: пусть попробуют!.. Дверь была заперта на задвижку, и, чтобы попасть в избу, нужно

было ее выломать. Чья-то рука уже пробовала ее, и Никешка закричал не своим голосом:

— Не подходи... убью!..

Этого было достаточно, и в окно полетели камни, поленья и куски замерзшей грязи. Подслеповатые зеленые стекла вылетели с жалобным звоном, а переплет гнилых рам представлял собой плохую защиту. Из избушки в ответ на эту канонаду полетели какие-то черепки и целые кирпичи. Толпа, встретив такой ожесточенный отпор, отступила, и опять наступило затишье.

— Никешка, говорю тебе добром: выходи... — попробовал еще раз староста усовестить разбойника. — Хуже будет.

— Убью!.. — ревел Никешка, бросая из окна досками от развороченных полатей. — Не подходи...

— Валяй его! — орал через улицу Еграныка, бегая у своей избы.

Староста снял шапку, почесал затылок и, повернувшись спиной к избушке Морока, проговорил:

— Ребята, пойдемте домой.

САМОРОДОК

I

...Знаете ли вы, что происходит, когда останавливается паровая машина, водяное колесо перестает вертеться и тысячи колес, валов и шестерен безмолвствуют? Недавний трудовой гул громадной производительной силы сменяется мертвой тишиной, похолодевшие горны печей смотрят раскрытой черной пастью, бесконечные приводы бессильно висят на своих местах, как тяжелая паутина какого-то спрятавшегося гиганта-паука, и вас охватывает ужас смерти именно здесь, под этими высокими, закоптелыми сводами, где даже камни вздрагивали от грузной работы машин, а веселое пламя вырывалось из горнов снопами ослепительных искр, и темными клубами день и ночь валил черный дым из заводских высоких труб. Такую именно картину смерти представлял собою Максунский завод, в котором оставался живым всего один уголок, где дымились две старинных доменных печи. Иссякшая жизнь едва теплилась, и ночью, при фантастических всполохах пламени, вырывавшегося красными языками из решетчатых железных башенок над жерлом печей, стоявшая молча фабрика походила на громадного покойника, лежавшего в железном гробу всеми своими железными членами.

Все ждали приезда нового главного управляющего, который должен был поправить ошибки всех предшествовавших ему заводских администраторов, обновить

все заводское дело и вообще из ничего сотворить мир. На Урале это вошло уже в обычай: плохие дела на заводах поправляются новым главным управляющим и ничем больше. Таким образом выработался даже тип такого главного управляющего, которого вызывают из-за тридевяти земель с специальной целью поднять на приличную высоту целый заводский округ, спасти веками установленное дело и влить живые силы в умирающего. Конечно, такой чародей может проявлять свои силы только при наличности некоторых экстраординарных условий, то есть увеличенном жалованье. Нормальный главный управляющий довольствуется скромной цифрой в десять или пятнадцать тысяч, а «главный управляющий по преимуществу» поднимает себе цену в тридцать тысяч minimum. На Урале таких необыкновенных людей называют самородками. Самородок поднимает себе цену тем выше, чем отчаяннее положение заводов. Впрочем, это явление выработалось историческим путем и не должно удивлять неподготовленный ум. Чем богаче заводский округ на Урале тем хуже его дела, — это уже аксиома. В прежние времена, когда горные инженеры сосредоточивались на казенных заводах, заводское дело вершили сами заводовладельцы и их близкие родственники. Когда при помощи этих родственных усилий дело доводилось до невозможного положения, спасителем являлся какой-нибудь доморощенный самородок, который гнул в бараний рог всякое дыхание, дул палочьем и плетями, морил голодом и всякими увечьями, наконец выколачивал известный дивиденд. Это могло совершаться только в «обязательное время», когда жизнь крепостного равнялась нулю. С эмансипацией старые порядки должны были кануть в вечность. Доморощенные самородки не могли пускать в ход своего единственного «средствия». При сокращении казенного горного дела остался свободным целый штат горных инженеров, который и поступил на службу к частным заводовладельцам. Практика показала, что и эти ученые администраторы, поднимавшие казенное горное дело шпицрутенами, были бессильны вести частный интерес нормальными средствами. Находились, правда, искусники,

которые на время поднимали владельческий дивиденд на сотни тысяч, но все это оказывалось временным и скоропреходящим: искусник выжигал дотла ближайшие лесные дачи, не затрачивал на ремонт ни одного гроша, не вводил никакого усовершенствования, спекулировал на старательском золоте и т. д. В конце концов искусник, разыграв свою партию, должен был стушеваться во-время, а его место заступал свой дешевый самородок, который начинал по-домашнему гнуть всех в бараний рог. Но как поверить своему доморощенному человеку, который за две тысячи жалованья сдерет кожу с родного отца? Появился в последнее время самородок интеллигентный, вооруженный всеми чудесами современной техники.

Округ Максунских заводов, выражаясь риторически, в короне Урала является лучшим камнем. Полмиллиона десятин земли через край наполнены всякими богатствами, а поэтому этот округ прошел через все стадии, показанные выше. В результате получилось то, что дача Максунских заводов представляла собою печальную пустыню. Заводы все падали и падали. Двадцатитысячное горнозаводское население испивало горькую чашу там, где могли припеваючи жить сотни тысяч. На десятки верст шла совсем пустая земля, и только в четырех заводах ютилось созданное еще крепостным правом жительство. Да и те жили только потому, что некуда было идти. Целый ряд самородков довел дело до невозможного положения, а число наследников все росло и дошло, наконец, до парадной цифры 101. Конечно, все эти сто один наследник требовали дивидендов, и, чтобы общие интересы процветали, было назначено три главных управляющих. Если два медведя не уживаются в одной берлоге, то три главных управляющих и подавно. Они ссорились, интриговали, подводили друг друга и кончили тем, что всех их прогнали, а заводское действие было приостановлено. Прижатые к стене наследники, наконец, согласились на одном главном управляющем, которому назначено было жалованье всех бывших до него трех да еще сделана прибавка, потому что положение заводов было признано всеми отчаянным.

Трудно даже приблизительно представить картину, когда фабрики перестают работать и тысячи людей остаются не у дел. Бедствуют рабочие, бедствуют служащие, а фабрика безмолвствует, как разбитая параличом. Тысячи нужд охватывают все заводское население и в несколько недель высасывают последние крохи. Поэтому понятно то нетерпение, с каким в Максунском заводе ожидали приезда нового главного управляющего. На крылечке у заводской конторы каждое утро собирались служащие и просиживали здесь до обеда. Определенного никто ничего не знал, а поэтому всяким слухам и переговорам являлось открытое поле. Рабочие толпились у фабрики, на базаре и около громадного господского дома, куда должен был приехать главный управляющий. Это был целый дворец, построенный еще в доброе старое время самим заводовладельцем, родоначальником ста одного наследника. Господский дом был сейчас пуст. Вся дворня разбрелась куда глаза глядят. Оставался один дворецкий Корляков, лысый и кривой старик, служивший верой и правдой всем главным управляющим. Он представлял из себя типичного представителя раболепной заводской дворни: льстил, наушничал, пресмыкался перед начальством и притеснял всех, кто от него зависел. У него была своя кличка: «Поднос пролизал».

— Эй, Корляков, когда новый управляющий приедет? — кричали ему голоса с широкого двора. — Ну-ка, скажи...

— А вот погодите, горлопаны: достанется всем на орехи.

— Нно-о?..

Корляков вел эти беседы с балкона, на котором располагался со всем комфортом. К мужичью он относился с презрением, потому что причислял себя к заводскому начальству: «Мы покажем!..» Мелкие заводские служащие часто заискивали пред Корляковым, чтобы при случае замолвил словечко у начальства. Теперь все были почему-то уверены, что один Корляков знает, какой управляющий приедет. Если в конторе ничего не знали, так кто-нибудь должен же знать, — конечно,

Корляков знает, потому что на его обязанности приготовить «покои» и встретить.

— Иванов едет... — отвечал Корляков с приличной важностью.

— Врешь ты все... Немца, наверное, пришлют. Уж ты лучше не притворяйся...

Уверенность, что пришлют немца, немало угнетала всех. Ох, прижмет же всех этот немец. Дело известное. Немцев-управляющих народ не любит: хоть живодер, да свой. В конторе говорили, что вообще хорошего нечего ждать. Были тут опытные люди, видавшие виды. Взять того же надзирателя Очкина — прожженный человек, или главный бухгалтер Сыромолотов. Много служащих переменилось при разных управляющих, а они сидят себе, точно приросли. Вон дома какие понастроили, а у Сыромолотова целая заимка на озере. Конечно, с подрядчиками рука в руку живут — вот и богатство. Мелкая заводская сошка, придавленная домашней нуждой, думала одно: только бы скорее... При переменах главных управляющих прежде всего доставалось служащим, потому что новая метла начинала всегда с конторы. И то неладно, и это не так, и пятоедесятое не годится. Да каждый управляющий еще с собой навезет родни да разной челяди — каждому нужно отнять чей-нибудь кусок. Положение рабочих несравненно лучше. Если понизят плату, так всем, а на людях и смерть красна.

Было известно только одно, что приедет один главный управляющий, который будет загребать жалованье всех трех смещенных, и что он едет с особыми полномочиями. Очкин утверждал, что едет какой-то Тараканов, служивший раньше где-то «в казне», а Сыромолотов оспаривал его и называл Шулятникова, служившего в Западном крае.

— А все равно: один черт, — соглашались оба. — Такое копье пришлют, что чертям тошно...

Мелкая заводская сошка глухо молчала. Вот лесной смотритель Треногов, доктор Носков и другая заводская аристократия, так те в ус себе не дуют. Им что: сегодня — здесь, завтра — там. А настоящему заводскому человеку деваться совсем некуда...

II

Он приехал ночью, приехал в такой момент, когда его меньше всего ждали. Встречал один Корляков, который с вечера переложил лишнее и поэтому бросился услуживать с пьяной угодливостью, как дрессированный пес.

— Ты кто здесь будешь? — довольно грубо спрашивал приезжий, меряя изловчившегося на господской службе «человека» немного тусклыми глазами.

— А как случится, вашескородие... Теперь за всех отвечаю: и за дворецкого, и за камардина, и за человека.

Вытаскивая из экипажа вещи, Корляков смекнул в уме, что у барина не густо в кармане: чемоданишко съежился, осеннее пальто на среднюю руку, остальное все так себе. Впрочем, все они приезжают сюда в «худых душах», а потом так раздуются, что и рукой не достанешь. Одно не понравилось старому слуге в новом барине: никакого внимания он не обратил на княжескую обстановку господского дома, точно вот на постоялый приехал. Среднего роста, немного сутулый, с большой головой, Шулятников походил на не совсем разжатый кулак. Эта же кулачность сказывалась и в складе всего лица. С дороги он не попросил даже чаю и сейчас же завалился спать.

«Ну, этот доймет... — решил про себя Корляков, мигая слипавшимися глазами. — Орелко!.. Ах, кошки его залягай, и сунуло же меня с вечера натренькаться...»

Утром Шулятников проснулся чем свет, растолкал Корлякова и, на ходу выпив стакан чаю, отправился на фабрику. День стоял серенький и дождливый. С гор тянуло осенним холодком. Накопленная за лето в пруде вода глухо бурлила у шлюзов и около водяных ларей. Неремонтированная фабрика выглядела очень неказисто: стены облупились, крыши проржавели, везде желтели полосы дождевых потеков и ямы от выкрошившегося кирпича. Одни доменные печи имели живой вид. По лицам доменных рабочих и доменного надзирателя Шулятников видел, что его уже ждали здесь. Это

заставило его поторопиться. Обежав наскоро фабрику, он зашел в контору, где и нашел всех служащих в полном составе.

— Однако сколько вас... — удивился он, не снимая фуражки. — Целая армия.

Когда бухгалтер, по заведенному обычаю, хотел отрекомендовать служащих, он махнул рукой: не нужно церемоний. Буркнув что-то себе под нос, он молча оглядел всех и быстро вышел.

Вся контора притихла, как один человек. Вот она когда беда-то накатилась: этот не спустит. У маленьких и забитых служащих со страха захолонуло на душе. Куда они денутся с семьями?

— Жалованье будет урезывать... — вздохнул кто-то в смущенной толпе.

— Хорошо еще, если одно жалованье, а то и совсем по шапке...

Старые служаки достаточно видали на своем веку всякого начальства и порешили в голос, что добра нечего ждать.

А он был уже дома и, не глядя на вытянувшегося в струнку Корлякова, быстро и решительно проговорил:

— Главное, не пускай гурьбой... Буду принимать по одному. Сам пошлю, кого нужно... Ворота запереть.

— А если хлеб-соль рабочие принесут... — заикнулся было Корляков и сам испугался собственной смелости.

— Что-о?.. Гони в шею... Я приехал не в куклы играть.

Корляков сделал налево кругом, чтобы уходить, но Шулятников его остановил:

— Да, вот что... Поищи кого-нибудь на свое место. Мне твоя физиономия не нравится...

— Не погубите, вашескородие... Я тридцать лет верой и правдой...

— Пожалуйста, без разговоров... Не люблю.

Первым козлом отпущения должен был явиться управитель Утяков, старый заводский человек, но он, проведав беду, сказался больным. Таким образом, пришлось испить чашу первому бухгалтеру Сыромолотову.

У него подгибались колена, когда он входил в кабинет самого.

— Имею честь представиться...

Шулятников быстро взглянул на него и, не приглашая садиться, проговорил:

— Имеете свой дом?

— Точно так-с...

— А сколько стоит?

— Да как сказать...

— Не отнимайте моего времени и говорите прямо!

— Две тысячи... нет, три.

— Так-с... А жалованье?

— Шестьдесят пять рублей семьдесят четыре копейки. Семья большая...

— Так-с... Семья большая, жалованье маленькое, а откуда же дом явился?

— Еще от родителей...

— Вздор!

— У других тоже дома: у надзирателя, у управителя, у лесного смотрителя, у плотинного...

— Значит, все вы воры... Да. Ищите себе место... До свидания.

— Семья... ребятишки... не погубите... — бормотал несчастный, протягивая руки вперед.

— Корляков, кто следующий?..

— Слушаю-с.

Сыромолотов вышел из кабинета, пошатываясь, как пьяный. В его голове коротенькая сценка приема колесом вертелась. Куда?.. Следующим нумером был Очкин, который по лицу приятеля видел, что дело плохо. Он подтянулся, перекрестился и пошел в кабинет.

— Надзиратель Очкин...

— Ага... Дом имеете?

Вместо ответа Очкин начал тихим голосом, как это делал раньше, наушничать на своих сослуживцев. Что же дом, — есть и дом, как и у других. Жалованье, конечно, маленькое, и приходится иногда получить благодарность. Так уж заведено... Да и какой у него дом? Вот у лесного смотрителя Треногова или у управителя Утякова, так у них действительно дома, а у Сыромолотова еще заимка.

— Значит, взятки берете? — спрашивал Шулятников в упор.

— Не отпираюсь... Благодарят некоторые: кто бревно привезет, кто пару рябчиков, фунт чаю... Все берут.

Эта откровенность понравилась Шулятникову, и он проговорил:

— Садитесь... Так все берут?

— Решительно все... Это уж так заведено. Маленький человек маленько возьмет, большой — много...

— Ага... Если берете с рабочих и подрядчиков, то, само собой, воруете владельческое железо, выводите плутни с подрядчиками, составляете фальшивые счета — так?..

Началась тихая, откровенная беседа. Очкин, спасая себя, продал всех остальных, а Шулятников во время разговора делал беглые заметки в своей записной книжке.

— Вы себя спасли откровенностью... — заметил он, делая знак, что аудиенция кончилась. — Я буду иметь вас в виду.

Этот приступ к делу навел на всех панику. Что же будет дальше, если с первого раза половина заводских служащих осталась не у дел, а другая половина ожидала ежечасной кончины? О жалованье, конечно, никто и не заикался: что дадут, то и хорошо. Уныние сделалось общее. Заводские служащие составляли свой замкнутый мирок, который родился, жил и умирал в пределах своей заводской дачи. Кроме своего заводского дела, они ничего не знали, и им некуда было идти. Поэтому можно себе представить отчаяние нескольких десятков семейств, выкинутых на улицу... Но Шулятников был неумолим, потому что его принципом было всегда держать данное слово. Он приехал сюда не с благотворительными целями, а заводы не богадельня. Всякая радикальная реформа требует жертв, а Максунские заводы совсем заплесневели в своих допотопных порядках.

Рабочие действительно явились с хлебом-солью и не были приняты.

— Оставьте хлеб-то себе: пригодится, — посоветовал ехидно Корляков, все еще не уверившийся в собственной отставке. — А соли вам насыплют...

Да и как было поверить: тридцать лет безвыходно Корляков прожил в господском доме, тридцать лет пресмыкался перед каждым новым начальством, наушничал, подлаживался, подличал, — и вдруг, за здорово живешь, пожалуйте на чистый воздух. В отчаянии Корляков отправился к своему заклятому врагу, заводскому управителю Утякову. Управительский каменный дом красовался у самого базара, как только что снесенное яичко. Ворота крашеные, в палисаднике цветы, двор мощеный, все поставлено так крепко и плотно, как умеют строиться одни заводские управители из готовых «господских» материалов. Утяков прослужил на своем управительском месте тоже тридцать лет, и Корляков пошел к нему, как к сослуживцу и товарищу по несчастию. Конечно, он наушничал на Утякова, но в заводе только он да Утяков на одном месте прослужили тридцать лет.

— Ну что, подколодный змей, получил награду? — встретил Утяков гостя.

— Одно зверство, Спиридон Митрич.

— А на меня опять наушничал?

— Не скрою, был такой грех.

— И не помогло?

— Нет... Вот Очкин, так тот в самую точку попал. Ловок!..

Дома Утяков ходил в халате и с длинной трубкой в руках. Его седая голова точно вросла в широкие плечи; темные живые глаза смотрели из-под нависших бровей насквозь. Суровый был человек, и фабрика боялась его, как огня. От Спиридона Митрича не укроешься: на два аршина под землей видит. С управляющим он держал себя независимо, как человек, обеспечивший себя на черный день. Попыхивая трубкой, Утяков несколько раз прошел под носом Корлякова, а потом по привычке вдруг остановился и заговорил:

— А я вот никого не боюсь... слышал?.. Мне он тоже откажет, а я и в ус не дую. Так и скажи: болен Утяков. Ишь, налетел, и давай зорить людей... Все воры, а того

не знает, что и сам будет тоже воровать. Молод еще, на рыле молоко не обсохло...

— Это вы правильно, Спиридон Митрич, — вторил Корляков каким-то расслабленным голосом. — Мы с вами по тридцать лет вытянули — и вдруг, здорово живешь, пожалуйте на свежий воздух... Очкин-то чем лучше нас?

— Дурак ты, Корляков, вот что! А впрочем, хочешь рюмку водки?..

— Ах, Спиридон Митрич... то есть так вы правильно сказали!..

— А ты скажи идолу-то: Утяков болен... Утяков не будет кланяться.

III

Повалил клубами черный дым из заводских железных труб, загромыхали машины, засверкал в горнах веселый огонь, и железный мертвец проснулся. Привычные к огненной тяжелой работе мастерки стали по своим местам, где работали еще отцы и деды. Тяжело повернулось главное водяное колесо, завертелся тысячепудовый маховик, и с лязгом и шипеньем начали свою работу чугунные валы, шестерни и бесконечные ремни.

— Зачем у вас голуби на фабрике? — спросил Шулятников дозорных, расхаживая по корпусам.

— А так, сами привадились, вашкобродие, — докладывали подневольные люди, вытягиваясь, как легавые на стойке. — Прилетит и живет... Известно, божья птица.

Рабочие почувствовали от нового управляющего с первых же шагов большую прижимку. И работу на час увеличил в сутки, и придираться начал к каждому шагу, и очень уж ругаться лют. Так и норовит в зубы заехать... Первый обжимочный мастер, ворочавший под молотом десятипудовые крицы, не понравился Шулятникову и был уволен. В листокатальной, в механической, в пудлинговой — везде нашлись неполадки. Оказались лишними дровосушки, помощник машини-

ста, два дозорных, лошади, голуби и т. д. Прежде деньги выдавали выписками, через две недели, а теперь стали выдавать помесячно, как жалованье служащим. Но со всем этим можно было помириться: новая метла чисто метет. А скверно было то, что Шулятников всем сбавил работу наполовину. Таким образом, количество рабочих оставалось на фабрике то же, а заработок вдвое меньше. Сокращая работы, заводы должны, по «Горному уставу», доставлять рабочим какое-нибудь другое занятие, а Шулятников ловко обошел закон своей половинной работой. Количество рабочих на заводе оставалось то же, значит, чего же еще требовать от заводоуправления?

Тяжело пришлось всем подрядчикам и разным поставщикам, а всех тяжелее углежогам. Шулятников предложил углепоставщикам такие невозможные условия, что хоть сейчас в петлю. Сразу забастовали две деревни, жившие поставкой дров и угля целых сто лет. Шулятников был неумолим. Для него было решительно безразлично, кто являлся действующим лицом: голуби, беззаконно обитавшие под крышей фабрики, или целая деревня углежогов. Прежде всего принцип, идея, а остальное вздор. Нужно привить чувство законности, с одной стороны, а с другой — сделать из людей живые машины, — и только. Что за глупости в самом деле, когда потерявшие место служащие клянчили и плакались, а рабочие отказывались от своего дела, — это какой-то романтизм. Когда Шулятникова выводили из себя пристававшие к нему просители, он отвечал одно и то же всем:

— Поймите одно: я продал себя заводовладельцам и прежде всего должен соблюдать их интересы... Вы хотите, чтобы я поступил против совести!

Нужно сказать, что Шулятников, несмотря на свою выдержку, все-таки иногда чувствовал себя как-то не по себе, особенно на фабрике. Контора смирилась и уничтожилась. Думать здесь о каком-нибудь сопротивлении было бы смешно. Каждый дрожал за свою шкуру. Но другое дело фабрика. Переходя из корпуса в корпус, Шулятников встречал целый ряд недовольных лиц, и на него смотрели такие озлобленные глаза;

иногда вдогонку слышалось весьма тяжелое словечко или глухой ропот. Но Шулятников делал вид, что ничего не замечает, и проходил сквозь строй недовольных лиц со спокойствием человека, исполняющего свой долг. Что делать, рабочие слишком распущены и не могут понять своих прямых обязанностей. Нужно выждать время, пока все упорядочится. А все-таки, когда вечером Шулятников оставался один в своем кабинете, у него делалось тяжело на душе. Там, за толстыми стенами господского дома, как вода, поднималось глухое массовое недовольство. Именно скверно было то, что здесь нельзя было даже указать на известную единицу, а недовольны были все. Приходилось бороться почти со стихийной силой.

В один из таких скверных вечеров новый швейцар, заменивший Корлякова, доложил, что пришел Утяков, бывший управитель.

— Этого зачем принесло? — вслух подумал Шулятников, предчувствуя какую-нибудь неприятную сцену. — Впрочем, зови...

Утякову было отказано, как и другим служащим, без суда и следствия — это предоставлялось новому управляющему особой статьей в его контракте с наследниками. Отправляясь на Урал, Шулятников решил вперед, что все мелкое и крупное заводское начальство — вор на воре, а рабочие — лентяи и мерзавцы, поэтому необходимо было формально обеспечить себя для радикальной реформы дела. Относительно мелких служащих Шулятников не беспокоился, но другое дело Утяков, прослуживший управителем тридцать лет. Понятно некоторое волнение, с которым хозяин ожидал своего гостя. Он даже встал с кресла, когда в дверях показалась седая голова выгнанного управителя.

— Утяков, бывший управитель...

— Чем могу служить вам, милостивый государь?..

Оба стояли на ногах, и оба старались не смотреть друг на друга. Зеленый абажур лампы давал мало света, и Утяков не узнал комнаты, в которой столько лет делал свои доклады и сообщения управляющим разных формаций: никакой обстановки, а одни бумаги

да книги. Обведя всю комнату глазами и широко вздохнув, Утяков подошел к самому столу и заговорил:

— Вы не подумайте, Кирило Григорьич, что я пришел к вам проситься опять на службу или жаловаться... Силой милому не быть. Потом... я не задержу вас, — прибавил он, поймав нетерпеливый жест хозяина.

— Не угодно ли вам садиться, — сухо пригласил Шулятников, продолжая стоять у стола в министерской позе.

— Я не задержу, нет, не задержу, — бормотал Утяков, грузно опускаясь на стул и еще раз оглядывая комнату. — Я ведь родился и вырос здесь, Кирило Григорьич, и прошел службу с конторского писца... Все вижу насквозь, что, например, вам даже и непонятно. Все-таки вы новый человек.

— Если вы пришли читать мне наставления, то это совершенно напрасный труд...

— Ах, не то... совсем не то... Благодарить пришел вас, Кирило Григорьич... да. Не утерпел... Извините старика.

Такой переход был настолько неожидан, что Шулятников даже отступил от стола и только развел руками. Он даже посмотрел на гостя такими глазами, какими смотрят на рехнувшегося человека. А Утяков сидел и улыбался.

— Извините, я, может быть, не понял... — забормотал теперь Шулятников, еще раз оглядывая гостя с ног до головы.

— Нет, так-с... именно благодарить пришел, — с удовольствием повторил Утяков свое странное признание. — Что вы мне отказали от службы — это особь статья... Что же, будет, послужил. А знаете, трудно отставать от дела... Один свисток всю душу выворотит, а тут сиди да поглядывай. Привычка-с... С малых лет каждый день на фабрике. А все-таки сижу я в своем домишке, гляжу на фабрику и радуюсь... На настоящую вы точку стали, Кирило Григорьич. Мало ли до вас было главных управляющих, а не могли проникнуть настоящей сути... да-с. А вы сразу. Так и следует.

Старик даже вскочил со своего места, протянул вперед сжатый кулак и повторил несколько раз:

— Вот так-с следует, Кирило Григорьич... Это уж верно. На паровых машинах недалеко уедешь да на разных усовершенствованиях: за границей свое, у нас свое... Одобряю, Кирило Григорьич!

— Да вы садитесь и потолкуемте, — приглашал Шулятников, все еще не решаясь поддаться на льстивые слова прожженного заводского дипломата. — Мне очень приятно, что нашелся хотя один человек, который меня понимает.

— Прежде-то Максунские заводы как красовались? — продолжал Утяков, покачивая головой. — Конечно, это еще до освобождения было... Как год, так и миллион дивиденда. Всем на удивление, можно сказать, дело делали, а как народ распустили — и пошло все скрипеть, как немазаное колесо. Все видишь, все понимаешь, а ничего поделать было нельзя... Рабочие набаловались — вот главная причина. Прежде-то в три часа поденщина начиналась, и всякая работа на урок. Не выработал урока, — ну, его сейчас в машинную да горрячих. Управляющие были все свои и шутить не любили: всю шкуру спустят. Был один управляющий, Потап Меркулыч, так у того даже особое кладбище было для скоропостижно умерших... Нельзя, заводское дело трудное. Все в струнку ходили. А как начали заводить новые порядки — все и пошло через пень колоду. На моих глазах все было, Кирило Григорьич, и, может, слезами плачешь, другой раз, а сила не берет. Управляющие сами послабляли народу. Думают: воля — так ничего не поделаешь. А по-моему, это одно пустое и даже очень глупое слово... Конечно, нельзя плетями наказывать рабочего или там насмерть его забивать, а зато он теперь весь в руках у вас. Только характер надо выдержать... Чуть что — сейчас его на холодок, пусть проветрится да пощелкает зубами с семьей-то. Прежде заводчик семью корми, а нынче сам промышляй... Земли у рабочих нет — ну, куда они денутся? По новым-то порядкам лучше старого пойдет, ежели у человека, например, характер и подтянуть... Хе-хе!.. Ей-богу, сижу я в своем домишке и радуюсь, Кирило Григорьич. В самую вы точку попали...

Старый крепостник с наслаждением потер свои красные руки. В нем сказывался тот фанатик заводского дела, каких создавал только один крепостной режим. Новые порядки, заведенные Шулятниковым, пришлись ему как раз по душе, хотя старик и не мог понять, что новый управляющий совсем чужой человек для заводов и что он выводит свою линию из других побуждений. Это были два мира, столкнувшиеся только на прижимке рабочих.

Тронутый признаниями старого заводского служаки, Шулятников начал развивать перед ним свою систему. Беседа продолжалась за полночь. Утяков слушал целую лекцию о ввозных пошлинах, о заработной плате на заграничных заводах, о новых порядках, какие должны быть введены, и в такт качал головой: «Именно так, Кирило Григорьич. Совершенно верно-с». Только одного он никак не мог понять, именно, что заводам выгодно работать только вполовину, сбивая заработную плату и выжидая цены на свой товар.

— А куда же рабочие денутся? — удивлялся старик, ожидая от Кирила Григорьича какой-нибудь новой замысловатой штучки.

— А это уж их дело, Спиридон Дмитриевич... Заводы не богадельня, а я продал себя заводовладельцам. Знаете русскую поговорку: нанялся — продался.

— Так-с, так-с... Я-то уж стар стал, другого и не пойму, так вы уж не взыщите.

IV

Дела у Максунских заводов сразу пошли в гору, — так по крайней мере думал Шулятников: идея торжествовала. Вместо старых служащих набраны были новые, вместо Утякова явился какой-то горный инженер; жалованье у мелкой сошки было доведено до невозможного minimum'а, а сошке большой получились прибавки и новые льготы. Помешавшийся на воровстве местных заводских служащих, Шулятников теперь успокоился: застаревшее зло было вырвано с корнем. Много сбережений получилось от прекращения таких

непроизводительных расходов, как пенсии, детский приют, школа и т. д. Урезали содержание больницы, расходы на аптеку, жалованье доктору, разные пособия и вспомоществования.

— Я должен идти в данном случае против собственной совести, — уверял Шулятников заезжавших к нему гостей: — в душе я сочувствую и школьному делу, и больницам, и разумной благотворительности. Но я не в праве распоряжаться чужими средствами в ущерб моим доверителям... Принцип в каждом деле прежде всего.

Во всем, что касалось нового порядка заводской администрации, урезок и сокращений, дело шло как по маслу. Сокращения не кричали и не плакали. Но центр тяжести был не тут. Стихийные деятели слагаются из ничтожных сил, а в данном случае приходилось упорядочивать сложную массу рабочих. С ними у Шулятникова и не клеилось дело. Эти глупые люди не хотели знать никаких принципов и лезли с жалобами к разному начальству. Больше всего не любил новатор, когда на двор господского дома заявлялась целая толпа с какой-нибудь просьбой и непременно добивалась видеть «самого». Раза два его выждали такие просители где-то на улице и наговорили дерзостей. Это было уже слишком, и Шулятников тоже обратился за содействием к соответствующей власти. На базаре, у волости и около кабаков собирались толпы недовольных и подолгу галдели.

— Мы и до министра дойдем!.. — кричали самые смелые.

В видах предосторожности Шулятников велел наглухо затворить массивные железные ворота господского дома и никого не пускать. На фабрике он появлялся только на самое короткое время и большей частью неожиданно.

— Уж вы потерпите как-нибудь, Кирило Григорьич, — уговаривал его Утяков. — Только бы завести их, подлецов, в оглобли...

Самым больным местом являлись забастовавшие углежоги. Завод невозможно было остановить, а старые запасы быстро истощались. Наступившая весна грозила тем, что заводы останутся без дров и угля.

Чтобы выйти из затруднительного положения, Шулятников прибег к крайней мере: он сдал подряды посторонним крестьянам, которым даже набавил цену. Это повело к тому, что произошел целый ряд недоразумений между коренными углежогами и посторонними рабочими.

— Конечно, дроворубов везде можно найти, — соглашался Утяков, являвшийся чем-то вроде постороннего советчика. — Погодите, упыхаются...

Такая же история вышла с транспортом металлов, с подвозом руды и другими статьями заводского хозяйства. Где отказывались выходить на работу свои, немедленно ставили чужих. Молчала, но не сдавалась одна фабрика. Здесь работал привычный к огненному делу народ, тот заводский рабочий, который выработался поколениями. Шулятников иногда сам любовался на работу лучших мастеров, составлявших гордость и славу Максунских заводов. Такой живой рабочей силы не найти в целой России. И какой народ: рослый, здоровый, красивый — настоящая заводская гвардия, по сравнению с которой российский мастеровой или фабричный просто жалки.

Фабрика терпела и молчала целый год. Были, конечно, разрозненные проявления недовольства, но они не имели особенного значения. Рабочая масса имела значение только в своем полном составе, да и она так привыкла к своему делу, что ей трудно было бы с ним расстаться. Ждали решения от коноводов, от тех старых мастеров, которые составляли голову.

— Ничего, привыкнут... Сами укротят себя, — нашептывал Утяков, с напряженным вниманием следивший за ходом дела. — Конечно, вам-то тяжело достается, Кирило Григорьич, да что поделаешь...

— Ах, терплю, все терплю... — жаловался Шулятников, устало закрывая глаза. — Дорого бы я дал, чтобы развязаться с этими проклятыми заводами. Точно я для себя хлопочу... Ведь если разобрать, так я, право, святой человек, Спиридон Дмитрич!

— Совершенно святой... А вы не сомневайтесь: укоротятся. Только во-время надо и повода отпустить... Тоже живые люди.

— Ну, уж извините: этого никогда не будет. Понимаете, принцип...

Как оказалось потом, у фабрики оказался свой принцип.

Стояла весна, та ранняя весна, которая на Урале является редкой и дорогой гостьей. Весело синели высокие горы, обложившие завод со всех сторон, зеленел лес, распускался живой ковер лесных цветов и пахучих трав. С балкона господского дома открывался великолепный вид на горную панораму, уходившую из глаз туманными силуэтами. Фиолетовые дали тонули в переливавшейся розоватой мгле. Шулятников по целым часам сидел на балконе и любовался, — ведь кругом было так хорошо. У плотины подавленно гудела и точно скрежетала железными зубами фабрика, глухо шумела на сливах вода, а от плотины живой гладью уходил к самому лесу громадный пруд. При господском доме находилась великолепная оранжерея и старый сад с тенистыми аллеями, клумбами и куртинами. У садовника-немца готовились чудеса, и он терпеливо выжидал времени, когда можно будет высаживать цветы на воздух. Оранжерея была пощажена от сокращений и урезок, потому что Шулятников любил цветы — можно же себе позволить маленькую роскошь. Он если не сидел на балконе, то уходил в оранжерею и там проводил целые часы.

Раз, когда Шулятников прогуливался в какой-то мудреной тепличке с ананасами, туда ворвался Утяков. Старик был без шапки и выглядел сумасшедшим.

— Что такое случилось? — удивился Шулятников. — Пожар?

— Нет...

— Плотину прорвало?

— Нет...

По лицу Шулятникова промелькнула тень недовольства: он не любил, чтобы ему мешали даже в пустяках. А тут человек ворвался без шапки, задыхается — настоящий помешанный. «Этим дуракам только позволь...» — подумал Шулятников, оставляя оранжерею.

— Уезжают, Кирило Григорьич, — шептал старик, забегая вперед.

— Да кто уезжает?..

— Ах, боже мой... Неужели вы ничего не знаете?.. Почти вся фабрика собралась... Да вот сами увидите.

— Что-нибудь вы путаете... — пробормотал Шулятников, стараясь сохранить свою неподвижность. — Может быть, какие-нибудь дураки и уезжают — скатертью дорога. А я думал невесть что: пожар, наводнение...

— Нет, вы только посмотрите, Кирило Григорьич.

Они поднялись на балкон, с которого и увидели все.

По улице, мимо заводской конторы и господского дома, медленно двигался громадный обоз. Нагруженные всяким скарбом телеги тянулись одна за другой, как звенья живой цепи. По сторонам шагали мужики, бежали ребята, и за ними едва поспевали голосившие бабы. Этот поезд провожала целая толпа родных и любопытных, увеличивавшаяся с каждым шагом вперед. Около базара народа набралось столько, что обоз должен был остановиться.

— Что же это такое? — шепотом спрашивал Утяков. — Переселение народов...

Шулятников наблюдал происходившее в бинокль и, передавая его Утякову, проговорил:

— Обратите внимание на третий воз...

— Батюшки, да ведь это Корляков?!. — изумился Утяков. — Стоит на коленях... снял шапку и раскланивается на все четыре стороны.

— Куда же они едут? — спрашивал Шулятников.

— А кто куда: на железную дорогу, на золотые промыслы... Это еще первая партия, а за ней двинутся другие.

— Ага!.. Что же, скатертью дорога.

С улицы доносился глухой гул шагов, причитанье баб и сдержанный говор сгруживавшейся толпы. Утяков смотрел то в сторону базара, то на Шулятникова и начал волноваться все сильнее.

— Кирило Григорьич...

— Ах, будет вам... Что еще?..

— Да ведь это же невозможно, Кирило Григорьич... Ежели народ разбежится, так что же останется? Значит, уж невтерпеж, ежели всё бросили: и дома и

всякое заведенье. Надо бы ослабить, чтобы хоть остальные не ушли...

— Не могу, Спиридон Дмитрич... А рабочих мы найдем, не беспокойтесь.

— Таких рабочих, как наши максунские, — нет, уж извините, Кирило Григорьич. Умный вы человек, и рука у вас твердая, а вот главного-то вы и не можете понять: ведь это сила уходит... Все равно, что кровь отворить.

— Пустяки... Вы знаете мой принцип: сказал — и свято.

Старый крепостной управитель даже отступился от своего идола — ведь это был чужой человек на заводах, которому все трын-трава. Сегодня здесь, а завтра за тридевять земель. Если крепостные управляющие и зверствовали, но они не разгоняли народ... Надо же войти и в их положение, вот этих самых рабочих.

— Кирило Григорьич, опомнитесь... — умолял старик. — Ведь этак-то, пожалуй, будет похуже крепостного времени... Надо и о душе подумать, Кирило Григорьич. Тоже совесть есть в каждом человеке...

— Оставьте меня, пожалуйста, с вашими советами, — строго заметил Шулятников и повернулся уходить. — Я лучше один останусь на фабрике... да.

— А, так вы вот как... Эх, Кирило Григорьич, Кирило Григорьич...

Старик вдруг засмеялся, круто повернулся и без шапки, как был, пошел домой.

Через год половина рабочих выселилась из Максунского завода. Шли куда глаза глядят. А Шулятников продолжал выдерживать свой принцип.

СИБИРСКИЕ ОРЛЫ

I

На одном из промежуточных вокзалов только что открытой Тюменской дороги собралось много публики. Ждали проезда известного сибирского магната Мансветова-Гирей. Многие приехали на станцию со специальной целью, чтобы только взглянуть на великое светило. В числе собравшейся публики особенное внимание обращал на себя седой высокий старик в потертой и выцветшей шинели с гимназическим ранцем за плечами. Старая военная косточка сказывалась во всем — и в костюме, и в выправке, и в манере себя держать. Заплатанные ботфорты были вычищены ваксой, как на смотр; кепи упраздненного французского покроя было надето набекрень, что уже совсем не гармонировало с серебряными сединами почтенного старца. Меня поражала в этом субъекте удивительная бодрость и розовый цвет лица. Ему по крайней мере было лет семьдесят. Только военная николаевская выправка создавала таких богатырей.

Мне приходилось ждать поезда, и от нечего делать я наблюдал железнодорожную публику. Какая неизмеримая разница с прежним сибирским трактом, когда гужом ехали все такие основательные люди: купцы, сибирские администраторы и просто деловые люди. Железная дорога привела с собой много такого люда,

общественное положение которого нельзя определить никаким химическим анализом. Куда идут эти неведомые люди, зачем они так торопятся и откуда они взялись?.. На каждом лице деловая тревога, глаза так и бегают, а общее выражение такое, как будто человека ожидают вот сейчас и невесть какие важные дела. Таинственные незнакомцы хлынули в Сибирь из неведомых глубин коренной России и везде понесли с собой московскую расторопность, изворотливость и просто сшитое на живую нитку плутовство. Их присутствие на этой станции для меня являлось неразъяснимой загадкой. Но они были тут и суетились больше всех. Другое дело — служащие Мансветова, которые явились встретить патрона по обязанности. Они так и держали себя, как гости, приехавшие на именины.

— Monsieur [1], несколько крейцеров... — проговорил над моим ухом хриплый, неприятный голос. — Извините, но мои седины позволяют быть настолько неделикатным, что...

Это был старик с ранцем. Я только теперь заметил его большие, темные глаза, глядевшие насквозь с таким странным блеском. Он не протягивал руки, не корчил жалобной рожи, а требовал как должного. Получив какую-то мелочь, он спокойно проговорил:

— А как вы полагаете, сколько мне лет?..

— Лет семьдесят...

— Извините-с: ровно восемьдесят. Да-с... Георгию Самсоновичу восемьдесят и мне восемьдесят: по годам мы с ним равны. Евангельский богач и убогий Лазарь, а годы равны-с... Не правда ли, какое странное совпадение-с?.. Даже и не Лазарь, а сам Иов в дни его несчастия... Вы слыхали про заболотского полицеймейстера Неупокойникова? Нет? Жаль... Он к вашим услугам.

Эта манера называть Мансветова по имени и отечеству: Георгий Самсонович — выдавала старого проходимца головой. Выгнанный со службы сибирский чин сказался в двух словах. Дескать, и мы в свое время были с Георгием Самсоновичем запанибрата, когда еще

---

[1] Господин, *(франц.)*

он, и т. д. Это обычный прием столичных трактирных жуликов и сибирских чиновников не у дел. Мне лично такой оборот разговора очень не понравился, гораздо хуже того, что человек позаимствует у вас несколько крейцеров. Русский человек уж так устроен, что настоящему бедняку не подаст, а вот такому субъекту посовестится отказать, и мне было обидно за себя, что я не отказал полицеймейстеру Неупокойникову. К довершению всего старик отправился без стеснения прямо к буфету третьего класса и развязно потребовал рюмку водки. Оставалось ждать, как он заявится опять, дохнет прогорелым вином и фамильярно подсядет. Явилось даже малодушное желание куда-нибудь спрятаться, но это было невозможно: вокзал был невелик, а до поезда оставалось еще полчаса.

— Я тут у знакомого попа гостил, а теперь пробираюсь в Питер... — заговорил возвратившийся старик, действительно подсаживаясь ко мне на дубовый диванчик. — Скитаюсь из страны в страну... взыскующий града... да.

Я очутился в довольно глупом положении, но потом подумал: что же, ведь он меня не съест в эти полчаса. Пусть его поговорит, если хочется...

— Вы долго служили в Заболотье? — спросил я.

— Да порядочно-таки... И в Восточной Сибири служил, и в Западной, а кончил Заболотьем. Очень любил я хороших лошадей... Сам выезжал. Да... Интересно, узнает меня Георгий Самсонович или не удостоит. Когда он венчался, в коляске у него была заложена моя пара... Только выехали из церкви молодые, я еду впереди, как полицеймейстер, а кучер-ворона и распусти вожжи... ну, лошади понесли коляску, а я выскочил из своего экипажа и остановил. Тройку на полном ходу останавливал... Мы, казаки, около лошадей с детства, так оно привычное дело.

— Вы из каких казаков?

— А из Сибирского казачьего войска. Как же, казак с ног до головы. И землю свою имею, но только земля-то спорная. Еду хлопотать... Да. Так Георгий Самсонович тогда меня на свадьбе из щеки в щеку расцеловал... Мы с ним давно знакомы были, когда я еще

тюремным смотрителем на Чернореченском заводе служил. Это рукой подать от Заболотья, и в Чернореченском заводе была каторга. Да... Упразднена в тысяча восемьсот шестьдесят третьем году.

— Какой же это завод был?

— Винокуренный, казенный-с... Это еще при откупах было. Несколько таких заводов было в Сибири, и казна сдавала их в аренду. Георгий-то Самсонович и арендовал тогда Чернореченский завод. Можно сказать, что там были их первые шаги... Потом уж они развернулись до необъятности. Еще и теперь в Чернореченском заводе на берегу три березки стоят, а под ними Георгий Самсонович любили вечерком посидеть и помечтать-с. Да-с... Под этими березками, может быть, какие мысли-то обдумывались?.. Я вам скажу прямо: Георгий Самсонович гений... и я их боготворю. Вчуже сердце радуется, и точно сам молодеешь... Вот какие прежде-то люди были: орлы. Да-с... И взгляд орлиный имели, прямо сказать. Когда Георгий-то Самсонович арендовали Чернореченский завод, так рабочие были все каторжные. Другие в кандалах у заторных чанов стояли... О чем я хотел сказать, позвольте...

— О Мансветове.

— Да, да... Извините, захлестывает у меня иногда, потому что и стар, и дряхл, и обременен летами. Дней же моего странствия в сей юдоли плача восемьдесят лет... Говорил уж я, кажется? Да, так о Георгии Самсоновиче речь идет. Был такой случай у меня. Я смотрителем каторги-то был, так раз ночью и докладывают, что в общей камере произошло убийство. Конечно, сейчас следствие, розыски, но ничего обнаружить невозможно. Известно, каторжные... На следующий день вызываю к допросу всю камеру. Следствия у нас производились тут же, в конторе. Ну, выстроили в шеренгу человек двадцать таких подлецов, что картина. «Знать не знаем, ведать не ведаем...» По старым судам это много помогало. Бьемся день, бьемся другой, а толку все нет. На третий день в каторжную контору к нам и заверни Георгий Самсонович... «Не нашли

виноватого?» — «Никак нет-с!» — «Эх, плохо вы следствие производите... Ну-ка, я не буду ли счастливее!» Вышел это к арестантам, обошел шеренгу, посмотрел на всех сыздали, а потом прямо к одному подходит и прямо его по уху: «Твоих рук дело, подлец!» Могучий был человек, и никто не устаивал на ногах... Ну, арестант, известно, свалился и сейчас на колени: «Виноват, ваше благородие...» Вот какой взгляд был у человека!

— Да, действительно... взгляд.

— И другой случай был... Это уж в Заболотье. У одного чиновника в доме появились вдруг духи. Все бьют, все ломают, по ночам стук и треск — житья не стало. Хорошо-с... А чиновник-то не маленький, и, как семейный человек, конечно, ему неприятно. Узнал про духов Георгий Самсонович и говорит чиновнику: «Хорошо, я как-нибудь заеду познакомиться с твоими духами...» А сам смеется... Признаться сказать, он тогда еще вольтерьянцем был и, как говорится, ни в бога, ни в черта не верил. Действительно, спустя некоторое время приезжает он к этому чиновнику. Осмотрел расположение комнат, разбитые зеркала, печи, а потом и говорит: «Действительно, духи у вас очень уж расшалились». Чиновница тут же стоит и слушает в оба уха, а Георгий Самсонович попросил ее выйти на минуточку и прислать няньку-старуху да горничную. Те приходят, а Георгий Самсонович к ним и прямо: рраз! рраз! Ха-ха... Ну, конечно, сейчас же повинились бабенки. Крепостные были и хотели барыне досадить. Так я и говорю: вот какой взгляд был у прежних людей. А нынче куда... даже, знаете, смешно говорить-с.

— Маленькие нынче люди...

— Нет, вы послушайте, что дальше-то было... Эта самая горничная, которая духов изображала, — из-за нее вот я в настоящем виде и очутился, — после того как пришла в себя, от всего отперлась, ну, попала ко мне в лапы на предварительное дознание... хорошо-с.

Свисток подходившего поезда прервал рассказ сибирского орла на самом интересном месте.

II

Поезд подходил, медленно и тяжко сдерживая свое движение. Слышно было, как дрогнула земля. Публика из вокзала вышла на платформу. Нужно было видеть, каким молодцом вытянулся жандарм, как засуетился начальник станции, а публика замерла, впившись глазами в вагон первого класса, где в отдельном купе ехал *он*. У публики есть инстинкт угадывать присутствие своего любимца — было два вагона первого класса, но все обратили внимание именно на второй. Он должен быть здесь... Сибирский полицеймейстер, конечно, был впереди всех и, когда подходил поезд, вытянулся во фронт и даже сделал под козырек.

— Господа, не напирайте...

Большинство толпилось на платформе из любопытства, загораживая дорогу тем, кому нужно было явиться к Мансветову.

— Поезд стоит тридцать минут!.. — надтреснутым тенорком выкрикивал кондуктор, пробегая мимо линии вагонов какой-то особенной дробной походкой, как ходят только половые в московских трактирах да вымуштрованная железнодорожная прислуга.

Мансветов так и не показался из вагона. «Нужные люди» по очереди отправлялись к нему на исповедь и быстро возвращались — магнат никого не задерживал. Сопровождавшая его свита подкрепилась в буфете и весело галдела на разных языках. Кого тут только не было... У Мансветова было золотое уменье распознавать людей, и раз попавший к нему на службу мог считать свою карьеру обеспеченной. Магнат не давал преимущества ни одной национальности.

— Когда же я-то, господа? — растерянно спрашивал Неупокойников, напрасно стараясь попасть в очередь.

— Послушайте, господин, да вам зачем?

Старику пришлось ждать долго, но он-таки добился своего. Я видел, как он вышел назад, точно ошпаренный, и шел по платформе, машинально повертывая свое кепи в руках. Как мне показалось, у него на глазах были слезы.

— Не узнал... нет, не узнал... — бормотал он. — Конечно, где же узнать... столько лет...

В вагоне третьего класса публики ехало не особенно много, так что на каждого нашлась свободная лавочка. Я поместился у окна и смотрел на летевшую мимо ленту полей, перелесков, оврагов и насыпей. Поезд мчался с особенной быстротой — машинист понимал, что везет цезаря и его счастье. На одной из маленьких станций Неупокойников отыскал меня и подсел на соседней лавочке. В течение какого-нибудь часа он точно постарел на несколько лет — сгорбился, съежился и даже как будто сделался ниже. Водкой от него пахло попрежнему, но старческой молодцеватости не осталось и следа.

— Не узнали-с... — заявил он с грустной ноткой в голосе и махнул рукой. — Да и где же узнать, помилуйте!.. Хуже...

— А что?

Старик оглянулся и хриплым шепотом добавил:

— Захожу-с... Георгий Самсонович полулежит на кушетке... я их сразу узнал: один взгляд чего стоит. Конечно, года... ну, орел, одним словом. На лице этакая усталость и некоторая задумчивость... Я остановился в дверях и только хотел отрекомендоваться, а они... Нет, совестно даже выговорить! Георгий Самсонович этак вскользь взглянули на меня и трехрублевый билет подают... Господи, что же это такое?.. У меня даже горло сдавило, слова не могу сказать... Так и ушел, и деньги бросил: не могу. От чужого возьму, а тут свой брат... помилуйте, хлеб-соль прежде водили...

— Он, просто, не узнал вас.

Старик опять оглянулся кругом, точно боялся засады, и уже на ухо мне прошептал:

— Это я себя обманываю, что не узнали... Помилуйте, Георгий Самсонович — да не узнает! Этакий-то орел... Сразу узнали, а мне совестно стало... за них, что они притворились. Ей-богу... У них все, у меня ничего, и мне же совестно. И вдруг: трешницу... А я, признаться сказать, недели две проживался по здешним местам, чтобы встретить их — последняя надежда, можно сказать... Теперь уже все кончено: если Георгий

Самсонович отвернулись, то чего же ждать? Finita la commedia...[1]

У старика опять выступили на глазах слезы, и он напрасно мигал красными опухшими веками, чтобы скрыть их. Если женские слезы возбуждают сожаление, то мужские производят неприятное и жуткое чувство — нет, значит, выхода... Наступила пауза.

— Вы за что же, собственно, пострадали? — спросил я.

— А... что?.. — точно проснулся Неупокойников. — За что пострадал?.. Да очень просто, за эту горничную с духами... Действительно: я шутить не любил, допросил ее собственноручно, а она и умри... кто же бы мог подозревать, что у простой девки и вдруг порок сердца?.. Тут уж на меня, имярек, и налетели злые коршуны и давай щипать, и вот что произвели: наг, сир, гладен и хладен... Ну, отними все, возьми, но не дай вконец погибнуть... да-с. А то как уволили с волчьим паспортом, по третьему пункту — и пропал. Находил и место и занятия, все ничего, а как дойдет дело до паспорта и увидит человек мой третий пункт — даже замычит. Да я сам не принял бы самого себя никуда с этакой рекомендацией.

— Кажется, подобные истории в Сибири довольно обыкновенны, и пугаться третьего пункта довольно странно.

— Да ведь Неупокойников по третьему пункту уволен, а Неупокойникова вся Сибирь знает, скажу не хвастаясь... Вернее: знала. Ведь нужно сказать вам, как я жил: князь... принц... Только в сказках можно прочитать. В Заболотье-то золотопромышленники и сивушные короли тогда развернулись... Господи, что было, что только было!.. Какие люди, какое время... А горные инженеры? Представьте вы себе, что в ничтожнейшем и жалком городишке вдруг скопились десятки миллионов совершенно диких денег... Великие были люди: Аника Терентьевич, Тит Поликарпыч... да мало ли их, всех не перечтешь. И мы с Георгием Самсоновичем перебрались: он свою линию повел, а я

[1] Представление окончено... *(итал.)*

свою... Даже страшно выговорить: полицеймейстер в Заболотье. Силища... Я и на службу поступил по приглашению от золотопромышленников: знали меня еще на каторге-то. Молод, красив, удал... Еще подходишь к дамочке, а она уже не знает, куда ей деваться: сама не своя. Тройку на всем скаку останавливал... Нарочно за мной в Чернореченский завод из Заболотья посылали, потому что был еще у меня один талант: русские песни никто лучше меня не умел петь. Развеселится компания и за мной: спой, голубчик... Слушают и плачут — вот какой голос бог дает человеку. Да где же вы найдете другого такого полицеймейстера?.. Ну и попал сыр в масло: квартира первая в городе, в конюшне двадцать лошадей, вин целый погреб — и хлебосол и угодник. И вкус имел: ни одной хорошенькой вещички мимо не пропущу, вообще артист. И английский хрусталь, и китайская бронза, и японские лаки, и бухарский шелк, и картины — все было. Дом — полная чаша. Каждая горничная — пиши картину, а главный кучер — морское чудовище, ей-богу. Голосина у него, у подлеца: как рявкнет на улице — человек и оторопеет.

— А больше-то всего любили меня, если говорить правду, за удаль... Ведь сторона дикая, народ — варнак, ходи да оглядывайся, а у меня в городе ни гу-гу. Каждую ночь переоденусь в полушубок, подвяжу бороду и везде побываю. Только скажешь, бывало: «Неупокойникова знаешь?» — «Виноват, вашескородие». Был такой случай. По тракту разбойничал татарин Карагуз. Мужчина пудов двенадцать весом. Один обоз останавливал... А взять его не могли... Не в моем он участке разбойничал. Ну меня и подразнили: «Неупокойников, возьми-ка Карагуза, ежели смел». — «Я? Голыми руками возьму...» Признаться сказать, захвалился я: в поле Никола бог, и татарин силищи непомерной. Хорошо-с... Сказал слово, надо его держать. Нарядился купцом, посадил кучером мальчишку и марш в дорогу прямо на Карагуза, где он пошаливал... Едем. Ночь волчья, снежок падает. Лес по сторонам... Только обгоняет меня кошевая и поперек дороги, — известная разбойничья замашка. «Стой!..» Выскочил я и прямо к нему: он,

Карагуз. Ну я бормочу по-купечески: «Возьми все, отпусти душу на покаяние...» Понял, собака, с кем дело имеет — как размахнется железной укрючиной, да как свистнет... А я увернулся по-казачьи, а укрючиной-то полу полушубка как ножом отрезало. Я ему, идолу, под ноги брошусь, тоже наша казачья ухватка, он через меня, как дерево дубовое, а я на него... Выхватил укрючину-то и укомплектовал. Сам привез еле живого, а Карагуз на второй день и душу своему аллаху отдал. Купцы тогда по подписке серебряный сервиз мне поднесли, а Георгий Самсонович публично расцеловали. Все у меня было, и ничего больше не желал, а и тогда я преклонялся перед Георгием Самсоновичем, которого почитал за гения... И вдруг из-за этой самой горничной все прахом. Пошли суды да следствия, и я точно растаял... Даже удивительно, как всего общипали эти железные носы, всего, по перышку. Ничего не осталось, кроме третьего пункта...

Рассказчик даже глаза закрыл, видимо, прислушиваясь к звуку собственных слов.

— А давно все это было? — спросил я.

— Да уж порядочно... Теперь уж лет тридцать, как я на волчьем положении... Сегодня вот привел господь принять последнее поношение... обидно... Что стоило Георгию-то Самсоновичу воскресить человека? Ведь всего одно слово — возродился бы из праха.

НАСЛЕДНИК

Рассказ

I

Присяжные удалились в свою комнату для совещания. Общее внимание напряженно сосредоточилось на подсудимом, который, опустив голову, покорно ждал своей участи. Это был средних лет мужчина, решительно ничем не выдававшийся из среды провинциального купечества — плотный, с наклонностью к ожирению, русоволосый, с поблекшими глазами и той особенной торопливостью в движениях, какая приобретается за купеческим прилавком. Десятки таких же купеческих лиц смотрели теперь из публики на скамью подсудимых и ждали, затаив дыхание, чем кончится дело; оно в течение целого года волновало весь Сосногорск — маленький провинциальный город, затерявшийся в холмистых долинах Западной Сибири. Мелькает много женских лиц, которые не могли оторвать глаз от обвиняемого: ведь это Иван Семеныч Пичугин, которого с детства знает весь город, и вот этот Иван Семеныч взял да и зарезал жену... А между тем решительно ничего зверского или вообще чего-нибудь особенного нет в нем: человек как человек, или, вернее сказать, просто Иван Семеныч.

Звонок из комнаты присяжных заставил всех вздрогнуть. Показались представители общественной

совести, — они тянулись за своим старшиной гуськом. Стоявшая на ногах публика не смела дохнуть. Подсудимый смотрел на блестевшую цепь судебного пристава и никак не мог понять, что ему шепчет его защитник, адвокат Павильонов. Старшина присяжных заседателей, видный господин купеческого склада, откашлялся, посмотрел на председателя и голосом, перехватывавшимся от волнения, начал читать:

— Виновен ли купец первой гильдии Иван Семенов Пичугин в том, что второго генваря сего года и так далее... *Нет, не виновен...*

Это был безусловно оправдательный вердикт, оправдательный по всем пунктам.

— Подсудимый, вы свободны и можете возвратиться в публику, — с особенной торжественностью провозгласил председатель.

Но подсудимый продолжал стоять и не понимал смысла этих слов судебного милосердия.

— Оправдали начисто... — шептал адвокат Павильонов, отворяя деревянную решетку «подсудимой скамьи». — Вылезай, Иван Семеныч.

Иван Семеныч все-таки не понимал и с изумлением смотрел то на присяжных, то на судей. Раздавшийся в публике аплодисмент заставил его вздрогнуть: он оглянулся туда, где сотни глаз впились в него, и продолжал стоять, как столб.

— Подсудимый, вы свободны...

II

В передней Пичугина встретила горничная Дуня, которая при виде хозяина остановилась как вкопанная, а потом начала пятиться к дверям. Ивана Семеныча неприятно кольнул этот панический ужас, который возбуждало его появление в стенах родительского дома. Он торопливо сбросил верхнее пальто и прошел в комнату, которая служила ему кабинетом. Знакомая обстановка подействовала на него успокаивающим образом: вот и его собственный письменный стол, и кресло, и шкаф с секретным замком, и две премии

«Нивы» на стене, а в окно виднеется угол сада, где он играл еще ребенком, покосившийся забор, который он собирался поправить десять лет, и задворки того дома, который довел его до скамьи подсудимых.

«Что же я теперь буду делать?» — подумал Иван Семеныч и пришел в ужас от этой простой мысли.

Его охватило такое леденящее чувство одиночества, пустоты и гнетущей мертвой тоски, какого он не испытывал даже в тюрьме. Нужно было что-то такое сделать, приготовить, и он никак не мог припомнить, что именно. «Ах, да, конечно, сначала нужно умыться с дороги», — подумал он именно этими словами и вздрогнул. В коридорчике, которым из передней можно было пройти в столовую, послышались знакомые шаги старой кухарки Матрены.

— Иван Семеныч, прикажете самоварчик поставить? — спрашивала старуха, останавливаясь в дверях.

— Да, Матрена, пожалуйста... Да вот что: пошли еще Дуню, чтобы подала мне умыться сюда, в кабинет. Понимаешь?

Иван Семеныч старался говорить своим обыкновенным тоном, как всегда говорил с прислугой, и чутко прислушивался к каждому слову, точно хотел поймать самого себя в чем-то. Нет, голос у него немного охрип, а то — все по-старому.

— Да пусть захватит с собой и полотенце... — крикнул он вслед уходившей Матрене.

Конечно, сначала нужно умыться, а потом переодеться и отдохнуть. Только белье-то *там,* в спальне, а самовар Дуня, наверно, подаст в столовую, где всегда пили чай. Иван Семеныч рванулся было вслед за Матреной и выбежал в коридор, но сейчас же остановился и уныло побрел назад. Нет, прислуга не должна ничего знать. Да, ничего, что делается у него там, в глубине души, где ноющей болью шевельнулось тяжелое горе. Потом Ивану Семенычу показалось, что прислуга совсем не так держит себя, как раньше, и даже не поздоровались с ним — Дуня просто убежала по своей девичьей глупости, а Матрена — та еще разговаривала. А может быть, они и здоровались, только он не

обратил внимания по своей рассеянности. Ну, да это все равно.

— Сначала чаю напиться... нет, сначала умыться, — повторял вслух Иван Семеныч, хватаясь за эти пустяки с отчаянием утопающего. — Потом переодеться... отдохнуть... да.

Новая мысль заставила его остановиться: а как кто-нибудь придет? Ему так хотелось остаться одному, совершенно одному, чтобы не видеть решительно никого, а тут как раз кто-нибудь прилезет из знакомых или приказчики... Из любопытства придут, чтобы посмотреть на него, как смотрят на зверей, а он о чае да об умыванье заботится. Иван Семеныч чутко стал прислушиваться к каждому шороху, как слушает насторожившаяся птица.

Мысль о полной свободе явилась слишком неожиданной, и он никак не мог с ней освоиться. Заключение в остроге, часовые, судебный пристав, свидетели, прокурор — все это сразу отстало, как шелуха. А последняя картина на суде, когда его оправдали...

— Иван Семеныч, проздравляю!.. — выкрикивали какие-то голоса.

Чьи-то руки тянулись к нему, кто-то обнимал его, а Павильонов шел за ним своей развалистой походкой, как ходят половые в трактирах, и потихоньку подталкивал в спину. Общее впечатление было такое легкое и радостное, вроде того, какое, вероятно, испытывает рыба, когда ее выпутывают из сети и бросают снова в воду. Только несколько сумрачных взглядов портили картину общей радости: это была женина родня, ожидавшая каторги.

— Этаких подлецов надо бы весить... — проговорил в толпе невидимый голос.

Один из присяжных поверенных, присутствовавший на суде в качестве любителя, взял Павильонова за пуговицу фрака и торопливо говорил:

— Поздравляю... да, поздравляю. Вырвать из рук прокурора живого человека — это наша святая обязанность. Конечно, факт налицо, возмутительный факт, но если, с другой стороны, кроме каторги, ничего нет...

Народная совесть — лучший и безошибочный судья в таких случаях.

На подъезде Иван Семеныч остановился, точно удивляясь, что может свободно идти на все четыре стороны. Он опять широко вздохнул и перекрестился. Павильонов подхватил было его под руку, чтобы увести куда-то, но Иван Семеныч решительно освободился от него и проговорил всего одно слово:

— Домой...

Он и пошел домой. Вот тут близко. Всего завернуть за собор — и дома. Яркое солнце слепило глаза; пыль висела в воздухе. А Иван Семеныч шел по знакомым улицам, желая поскорее уйти от всего, что осталось там, где его оправдали. Встречные останавливались и с любопытством оглядывали его с ног до головы, точно выходца с того света. Это бесило Ивана Семеныча: что им еще нужно? Кажется, достаточно было времени смотреть на него там, на скамье подсудимых. Попалось несколько знакомых, которые поздоровались с ним, перебросились с ним двумя-тремя фразами и долго провожали глазами вслед. Нет, домой, домой... Город маленький, и на каждом шагу знакомые...

Вот модный магазин с нарисованной на вывеске синей дамой в красной шляпе, вот колониальная торговля Калинина, а вот двухэтажный каменный дом, знакомая калитка... Что-то так и кольнуло Ивана Семеныча в самое сердце, когда он поровнялся со своим собственным домом. Неужели он совсем оправдан, а не убежал из острога? Инстинктивный ужас только теперь охватил его, как человека, избавившегося от смертельной опасности. Там, где-то далеко-далеко, почти на краю света, мерно ходят часовые, побрякивая ружейными прикладами, а в решетчатые окна выглядывают арестантские бледные лица, а еще дальше, где-то совсем под землей, глухо позванивают кандалы...

Иван Семеныч бросился в калитку и быстро захлопнул ее за собой. К нему нерешительно подбежала дворовая собака и завиляла хвостом. Из окна кухни выглянуло испуганное лицо кухарки Матрены и сейчас же спряталось, точно его сдуло ветром.

Когда горничная появилась с умывальником и полотенцем через плечо, Иван Семеныч шепотом сказал ей:

— Беги скорее, Дуня, и скажи Матрене, чтобы никого не пускала... Меня дома нет — понимаешь? Кто ни придет, всем пусть говорит одно: нет дома Ивана Семеныча...

Дуня поставила фаянсовый тазик с умывальником на стул, посмотрела с удивлением на Ивана Семеныча и вышла из кабинета неслышными шагами, точно боялась разбудить кого.

«Зачем я шепотом-то говорил с ней? — подумал Иван Семеныч, снимая визитку и засучая рукава. — Ах, опять забыл: не нужно самовара в столовую, а лучше пусть подаст стакан чая сюда».

Во время умыванья Иван Семеныч думал, как бы получше сказать Дуне о самоваре, и чтобы она опять не посмотрела на него удивленными глазами.

— Прикажете сюда подать чаю? — догадалась сама Дуня, подавая полотенце.

— Нет, не нужно... — быстро ответил Иван Семеныч, точно кто другой говорил его языком. — Я сам... Одним словом — можешь идти! Когда будет нужно — спрошу.

Вместо того чтобы попросить чаю в кабинет и по пути принести свежее белье, Иван Семеныч сказал совсем не то и был рад, что Дуня, наконец, вышла из кабинета.

Где-то стенные часы пробили шесть часов. Да, это в столовой. Обедать Иван Семеныч не хотел и думал о чае, но как выйти в столовую, одна мысль о которой приводила его в ужас? Потом этот совершенно пустой дом начал его пугать своей мертвой тишиной — да, именно мертвой. Опять звон — это в монастыре ко всенощной благовестят. В открытое окно так и лились ноющие жалобные звуки монастырского колокола, и Иван Семеныч закрыл глаза, представляя себе похоронную процессию, огни погребальных свеч, двух маленьких сироток, которые в плерезах шли за большим черным гробом, в котором лежала она... Господи, неужели это все было и этот же монастырский колокол

мерно и гулко раздавался в морозном зимнем воздухе? Сидя в тюрьме, Иван Семеныч вздрагивал каждый раз, когда начинался этот монастырский звон, поднимавший в его душе одну и ту же картину...

— Господи, прости меня... — шептал он, хватаясь за голову.

Нет, он свободен, совершенно свободен, а то страшное с железными решетками, часовыми и кандалами осталось где-то там, далеко-далеко.

— Что же это я: ведь нужно идти пить чай... — вслух подумал Иван Семеныч, просыпаясь от тяжелого бреда. — Да, нужно идти в столовую.

А сколько теперь времени? Ко всенощной благовестят в шесть...

III

До столовой всего было шагов двадцать, но какого страшного напряжения воли стоило ему это ничтожное расстояние, точно он шел на казнь. Да, вот эта роковая комната... Посредине большой стол, у одной стены буфет, потом две горки с посудой, на полу дорожки, а в глубине дверь в спальню. И *тогда* на столе так же кипел самовар; он вошел сюда в халате — и что-то неудержимо влекло Ивана Семеныча осмотреть то место на полу, где она плавала потом в собственной крови, — это между столом и часами. Когда он схватил нож, жена перешла на другую сторону стола, — он погнался за ней и ударил ножом между лопаток. Да, вот это здесь было. Она вскрикнула, схватилась одной рукой за угол стола, а другой за раненое место. Он ударил ее второй раз так, что из шеи брызнула кровь ему на руки, а она отскочила к часам и, хватаясь окровавленными руками за стену, упала на пол. Ему еще хотелось ее резнуть прямо по горлу, но от крови в глазах у него помутилось, и он машинально вытер свои руки и нож о белую скатерть.

Что было потом? Кто-то закричал в коридоре, должно быть, Дуня, прибежавшая на крик, а потом явился проходивший мимо дома полицейский, какие-то мужики, знакомые купцы, доктор.

Да, все это было и было именно в этой комнате. Вон на обоях замытые следы окровавленных пальцев, а на полу, где слезла краска, тоже заметны темные пятна.

«Неужели все это было? — в ужасе думал Иван Семеныч и машинально опять вытер свои руки о скатерть, точно они все еще были в крови. — Господи, неужели это был я, Иван Семеныч Пичугин?.. Боялся смотреть, как кучер петухам головы рубит, а тут живого человека зарезал, мать двоих детей...»

Увлеченный этими мыслями, Иван Семеныч не помнил — наливал он себе стакан чая или нет, но стакан стоял с остатками на дне выпитого чая. Как это странно... Когда Иван Семеныч рассматривал стакан, ему послышались знакомые легкие шаги и шуршанье женского платья. Он быстро обернулся: комната была пуста, и только откуда-то издали донесся такой звук, как будто кто-то осторожно затворял за собой дверь.

«Это *она* приходила...» — в ужасе подумал Иван Семеныч, чувствуя, как у него дрожат колени, а по спине спускается холодная струйка, точно кто ведет лезвием ножа.

Опомнился он только в своем кабинете и опять удивился: дверь оказалась запертой на ключ, а он и не думал этого делать. Выступивший на лбу холодный пот и дрожавшие руки не обещали ничего хорошего. Иван Семеныч осторожно прошелся по кабинету, чутко прислушиваясь к неопределенному шуму в столовой, где опять слышались легкие шаги и даже звякнула чайная ложечка.

«Может быть, это Дуня убирает посуду...» — подумал он, испытывая опять непреодолимое желание заглянуть в столовую.

Дверь из столовой в нижний этаж оказалась запертой на крючок, и Дуня не могла попасть этим единственным путем. Но кто же затворил эту дверь?.. На столе стоял стакан с чаем, которого он не наливал, как не затворял дверей. Это уж было целое наваждение, и Иван Семеныч убежал к себе в кабинет бегом. Сердце так и замирало в груди, а в раскрытое окно уже смотрел летний вечер, и на потемневшем синем небе невидимая рука зажигала звезды. Где-то далеко

трещит запоздавший экипаж, и отрывисто постукивает в чугунную доску ночной сторож.

Вот он в постели, то есть не в настоящей постели, а просто на своей кушетке, где любил после обеда вздремнуть часик-другой. Но теперь он не решается закрыть глаза, чтобы опять не началось то, о чем он боялся даже подумать. Ах, какие страшные и бесконечно длинные ночи проводил он, сидя в тюремном каземате! Но там не было этого страха, который теперь заставлял его дрожать. А оно уже начиналось, начиналось против его воли, как против воли тонет человек. Вот соседний сад купца Комова, а в саду гуляет его дочь Маремьяна Петровна. Красивая, видная девушка, и у ней такие ласковые глаза. С ней он встречался в церкви и даже раз издали проводил до дому. Что-то такое жгучее и сладко туманившее голову закипело в его груди, когда он начинал думать о соседке. Она так хорошо краснела, когда встречалась с ним где-нибудь одна.

— Маремьяна Петровна, можно-с ручку-с?..

— Ах, какой вы... А если братец узнают?..

Отца у ней нет, а живет она «при братце» невыделенной сиротой. За ней, по слухам, кругленький капитал в приданое оставлен стариком отцом, да и братец не обидит, если дело на то пойдет. Комовы в Сосногорске первые богачи, и братец спит и видит попасть в городские головы, потому что и мундир будет, и фуражка с кокардой, и почет.

— Что ты к нам не завернешь как-нибудь, Иван Семеныч? — говорит он соседу. — Суседями еще считаемся...

— Покорно вас благодарю-с...

— А ты заходи как-нибудь: чайку напьемся, в шашки сыграем...

И сам Иван Семеныч думал об этом же, что хорошо бы завернуть этак к соседу, да все как-то робеется: так и заходят перед ним серые большие глаза, румяное девичье лицо да хитрая девичья улыбка. Пожалуй, еще просмеет Маремьяна-то Петровна, и Иван Семеныч вперед смущался за свои руки и ноги, которые положительно не знал куда девать в таких случаях.

Лежит Иван Семеныч вон на этой самой кушетке и думает про красивую соседку. А сам он точно другой человек делается: ловкий, смелый, речистый, как приезжавший в Сосногорск один адвокат. Но все это сейчас же пропадает, как только он подумает, что нужно же как-нибудь сходить к Комовым. Вся прислуга зашепчется: «Маремьяну жених пришел высматривать». Разве сваху заслать? Этак-то лучше будет, хоть женитьбой можно и обождать: годы еще не ушли, да и невесту нужно получше вызнать, чтобы ошибки какой не вышло. Лучше до свадьбы охать, чем после свадьбы.

— Гляжу я на тебя, Ваня, и даже жалею, — говорил ему колониальный купец Калинин, старый знакомый еще по отцу. — Вижу, как маешься, а смелости не хватает... Ты смелее: «Оченно вы мне нравитесь, Маремьяна Петровна, а капиталу у нас, слава богу, своего достаточно-с!» А сам ее рукой да к себе, да в губы: раз-раз, и вся твоя... хе-хе!.. Церемония самая даже обыкновенная... А коса-то какая у Маремьяны Петровны... шелк!..

Теперешний Иван Семеныч вскакивает с кушетки и начинает тереть лоб, точно хочет уничтожить эти воспоминания. И который раз так: как закрыл глаза, оно и начнется с самого начала... Сидя в остроге, он все повторял про себя свою женатую жизнь, передумывая ее на тысячу ладов, но здесь окружающая обстановка делает эти грезы еще тяжелее: как будто и во сне и как будто не во сне.

IV

В окно давно глядит осенняя ночь, а Иван Семеныч все ходит по своему кабинету и боится прилечь на кушетку. Ему и спать хочется, и страх разбирает, и опять чудится, что кто-то там в соседней комнате шевелится. Опять осторожные, крадущиеся шаги, которые замирают у самой двери... А кто давеча выпил стакан чаю и снова его налил? Потом, кто затворил за ним дверь в столовой и в кабинете!.. Нет, положительно, в коридоре шаги, как ходят в одних чулках, и Иван Семеныч

чувствует, что это женские шаги: нет сомнения, что это *она* ходит по дому и хочет ворваться к нему в кабинет.

Измученный, усталый, жалкий, он, наконец, бросается на кушетку и прячет голову под подушкой, чтобы не слышать и не видать ничего. Так делают маленькие дети, посаженные в темную комнату. Но не закроешь никакой подушкой того, что опять закипает в голове, продолжая как раз то, на чем он проснулся давеча.

— Иван Семеныч, я не знаю... как братец... — слышится ему знакомый голос, от которого у него и сейчас дрожит сердце.

— Маремьяна Петровна-с, не отказывайте, а то сейчас утоплюсь... — отвечает он, как и тогда. — Позвольте быть вашим вечным рабом-с, по гроб моей жизни. А что касаемо вашего братца, то уже было говорено-с...

Маремьяна Петровна так и зарделась румянцем, а сама этак исподлобья как посмотрит своим серым глазом — и лукаво, и ласково, и радостно... Господи, что же это такое?..

Через месяц была свадьба. Жизнь покатилась, как широкий праздник, — больше, кажется, и желать нечего. Через год родился первый ребенок. Ну тут вышла маленькая ошибочка у Маремьяны Петровны, потому что ребенок оказался девочкой Сашей; но и эта беда поправилась, когда еще через год родился сын Коля. Сын да дочь — красные детки, и больше уж желать чего-нибудь просто грешно... Добрые люди недаром завидовали. Потом были другие дети, но те как-то так родились и умирали, как котята: родился — хорошо, умер — не велик убыток. А Маремьяна Петровна все цветет да хорошеет: полная такая стала, как и следует быть жене купца первой гильдии. Бывало, на масленице выедут в санках кататься или в церковь пойдут — все любуются, а ежели Маремьяна Петровна посидит в лавке — выручка вдвое. У Пичугина рядом с колониальным магазином Калинина был ренсковой погреб.

— Не по себе ты дерево загнул, Иван Семеныч, — смеются знакомые купцы, когда подгуляют где-нибудь на именинах. — Яблоня, а не жена у тебя...

Иван Семеныч только улыбается. Он сам чувствует, что, пожалуй, жена хоть и не ему — так в самую пору: пава павой, а он такой скромный и застенчивый человек, в другой раз слова не смеет сказать плуту приказчику, который обкрадывает его на глазах: ему же и совестно за приказчика. Да и денег было много, нечего было скалдырничать на каждом гроше, а приказчику тоже и галстук надо новый купить и перчатки, — мало ли что по молодому делу нужно бывает.

— А ты поглядывай за Григорьем-то... — подсказал однажды Калинин и подмигнул.

— Чего мне поглядывать-то: приказчик как приказчик...

— Я так сказал. Добра тебе же хочу...

Приказчик Григорий вырос в доме у Пичугиных и был как своим человеком. Иван Семеныч не один раз даже в ярмарку его с полным доверием посылал. Да и парень славный, можно сказать, красавец: лицо круглое, румяное, волосы кудрявые, глаза темные, быстрые, и за словом в карман не полезет. Маремьяна Петровна очень смеялась над ним, когда Григорий, бывало, выкинет какое-нибудь колено посмешнее или на гармонии передразнит соседнего кучера.

— Перестань, Гриша... будет... — унимала его помиравшая со смеху Маремьяна Петровна. — Этакий скоморох, право!..

Скромный и застенчивый Иван Семеныч вдруг стал придираться к приказчику, ругал его, и дело кончилось тем, что Григорий отошел. Он, впрочем, сейчас же открыл свой ренсковой погреб, как раз напротив хозяйского, и на громадной вывеске налепил золотыми буквами: «Ренсковой погреб Григория Мокроносова». Этот новый погреб стал Ивану Семенычу поперек горла, как кость. Каждый день он должен был проходить мимо его гостеприимно открытых дверей и думал: «Правду говорил Калинин-то, что Гришка окажет себя подлецом вполне...» Это отравило его безмятежное существование. Новый приказчик, нанятый вместо Григория, обокрал выручку и бежал... Дела у Ивана Семеныча пошли под гору, хотя он и виду не подавал, как и другие захудавшие коммерсанты. А Маремьяна Пет-

ровна все хорошела, полнела и цвела, как маков цвет. Сидит себе да орехи пощелкивает или балагурит с Калининым, который от нечего делать завертывал иногда сыграть в шашки с Иваном Семенычем.

— Вот что, Иван Семеныч, у тебя выпивка, а у меня закуска... — говорил он обыкновенно, вынимая завернутую в бумажку бакалею: балык, белорыбицу, семгу или что-нибудь в этом роде. — Вот и Маремьяна Петровна пожует чего-нибудь солененького за канпанию... Оно все же веселее будет!

Иван Семеныч выпивал перед обедом и перед ужином по рюмке водки, иногда выпивал лишнее на именинах — и только. Но по слабости характера не мог устоять против искушения и доставал бутылочку... Действительно, было как-то весело, когда, рюмочка за рюмочкой, бутылка пустела, а Иван Семеныч зарумянивался, как яблоко. В эти минуты он смотрел на врага Гришку Мокроносова свысока и даже обещался как-нибудь устроить скандал. В пьяном виде вообще у него начинали проявляться признаки неприятного буйства, а трезвый он сам удивлялся своему «карахтеру».

— Да ты что на Гришку-то сердишься? — подтрунивал Калинин, разглаживая свою купеческую бороду. — Такой же человек, как и мы, грешные... Наши-то родители тоже из приказчиков выбились, Иван Семеныч, а трудом праведным не наживешь палат каменных. Известная музыка-то... Маремьяна Петровна, пригубьте хоть вы сущую малость!..

— Нет, я не употребляю... — жеманилась Маремьяна Петровна. — Как это можно, штобы женщина так здря вино стала изводить. Совсем не женское это дело...

— Как зря? А какой у нас севодни день: вторник... Ведь на неделе-то один у нас вторник-то?.. Мы Гришке-то утрем мокрый нос: пусть смотрит на нас, как мы тут кантуем... хе-хе!..

Чтобы отвязаться, Маремьяна Петровна пригубливала сущую малость, морщилась и даже отплевывалась. Калинин завертывал к Пичугиным и вечерком, и тоже разговор кончался неизменной выпивкой.

V

Дела у Пичугина шли все хуже и хуже. Чтобы поправиться, он пустился в разные предприятия и везде терпел жестокие неудачи. Взял несколько убыточных подрядов, арендовал мельницу, у которой пронесло плотину, вступал в компании по хлебной торговле — и тоже неудачно. Все эти неприятности он старался скрывать от жены, чтобы, елико возможно, удержать за собой репутацию главы дома. Под пьяную руку Иван Семеныч сознавал, что он слишком поддался жене и что это может плохо кончиться. Маремьяна Петровна незаметно подчинила его и заставляла плясать под свою дудку.

Начались тяжелые дни. Неудачи росли, а вместе с ними — и векселя. Нужно было просить отсрочек, переписывать векселя и входить в сношения с разными темными личностями. Первый протестованный вексель — и купеческая репутация пропала. Между прочим, в минуту отчаяния Иван Семеныч как-то, против желания, зашел пьяный к своему бывшему приказчику Мокроносову, который встретил его очень почтительно.

— А я к тебе, Григорий Иваныч, по делу... — начал Пичугин без всяких подходов. — Выручи, голубчик, а про старое не будем поминать.

— Что же, я могу-с, Иван Семеныч, с нашим полным удовольствием, потому как я чувствую свое ничтожество.

Это была поддержка, которая не входила в расчеты. Но она подкрепила ненадолго, и Мокроносов первый посоветовал своему бывшему хозяину:

— Удивляюсь я вам, Иван Семеныч, что вы себя унижаете и ходите по чужим людям, а капитал дома лежит. Муж и жена — одна сатана, а у Маремьяны Петровны есть капиталец...

— Да ведь это ее приданое, Гриша?.. В случае чего, на наших же детей пойдет...

— Это все единственно, Иван Семеныч, а я только вам добра же желаю. По купечеству все в одно перо живут.

Этот Мокроносов стал бывать у Пичугиных как свой человек и даже уговорил Маремьяну Петровну поступиться половиной родительского капитала.

— А вексельки-то вы к себе приберите, — советовал он. — Конечно, муж и жена — одна сатана, а неровен час... Оно все же надежнее, Маремьяна Петровна. Можно и такое условие подстроить: плачу, мол, за мужа все долги, а все имущество его перевожу на себя. Тут уже взятки гладки.

Маремьяна Петровна поломалась, но сделала, как советовал Мокроносов. Иван Семеныч с этого рокового часа стал чувствовать себя в своем доме каким-то чужим, лишним человеком. Всем распоряжалась жена, а он только подписывал векселя и потихоньку напивался к вечеру ежедневно. В обращении жены уже было заметно какое-то пренебрежение, и она вышучивала его перед знакомыми. Чтобы отдохнуть, Пичугин завертывал в колониальный магазин Калинина и там напивался лишний раз.

— Эх, Ваня, Ваня... — качал головой Калинин. — А ты поучи жену как-нибудь, чтобы не фордыбачила.

— Не могу... Да и сам я кругом виноват.

— Это уж ты напрасно: завсегда жена перед мужем должна чувствовать себя виноватой. Это уж не нами заведено, не нами и кончится...

Замечательный был человек этот Гришка Мокроносов: как поговорит, так Ивану Семенычу точно легче сделается от одного его слова. И все-то у него так складно да ловко, и всегда этот Мокроносов весел. По вечерам Иван Семеныч даже стал нарочно посылать за ним, чтобы вместе выпить. И Маремьяна Петровна делалась веселее. Она любила в свои козыри играть со штрафами: кто проиграет, тому три рюмки водки за раз выпить. Даже иногда очень весело было, а Мокроносов свои штуки откалывает: и по-телячьи мычит, и по-цесарочьи клохчет, и по-сорочьи стрекочет. Маленькие ребята очень его любили, особенно когда Мокроносов по-медвежьи на четвереньках по всем комнатам ходил. Раз, играючи с ребятишками, он на четвереньках в спальню Маремьяны Петровны заполз, что очень не понравилось Ивану Семенычу, хотя и пришлось смолчать.

— Экой ты бесстыдник, Григорий Павлыч, — корила разыгравшегося сидельца сама Маремьяна Петровна. — Разве по спальням по чужим чужие мужчины ходят?..

Маремьяна Петровна не отставала от мужчин и тоже «выкушивала» рюмочку за рюмочкой, так что к вечеру в другой раз и ходить не может, а сама вся красная, как вишня. Иван Семеныч не знал, что, ползая на четвереньках по-медвежьи, Мокроносов часто бросался прямо головой в подол Маремьяны Петровны и старался укусить за ногу. Конечно, все это делалось под хмельком, когда Маремьяне Петровне было лень даже пожаловаться мужу на забаловавшего парня.

Так время и катилось в пичугинском доме: все ходили вполпьяна. Передав все дела жене, Иван Семеныч как-то успокоился и ничего знать не хотел: день прошел — и слава богу. Не нравилось ему только то, что зубоскал Гришка и над ним начал шутки шутить, а Маремьяна Петровна, вместо того чтобы оговорить озорника, смотрит да помирает со смеху. Потом старики купцы как-то стали коситься на него и все чего-то не договаривали. Только раз пьяный Калинин сказал ему:

— Чтой-то, Иван Семеныч, тиатр у тебя в дому, что ли?.. Люди болтают, что Гришка с Маремьяной Петровной по горницам на четвереньках медведями у тебя ходят. Я-то, конечно, не верю, а люди болтают...

Этот разговор засел в голове Ивана Семеныча, как березовый клин. Он вдруг нахмурился, замолчал и вообще как-то сразу догадался, что дело не ладно. С горя он напился, как стелька, завел ссору с Мокроносовым и полез даже драться с ним. Маремьяна Петровна едва их разняла. После гостя Иван Семеныч полез драться на жену, но она была сильнее его и исцарапала ногтями все лицо, так что нельзя было недели две показаться в добрые люди.

— Я Гришку убью, — грозился он жене. — Я ему покажу, как медведи на четвереньках ходят.

— Убивай, мне-то какая печаль... — отшучивалась Маремьяна Петровна как ни в чем не бывало. — Спьяна ты и меня убьешь этак-то, глупый человек...

— И чтобы Гришки в дому у нас духу не было! — уже кричал Иван Семеныч. — Слышала? Знаю, зачем он ходит...

— А векселя умел давать ему? — подзуживала Маремьяна Петровна, не желавшая уступать мужу.

— Все-таки, штобы ноги его не было: вот тебе мой сказ!

VI

Но Гришка все-таки пришел, — сам пришел и прямо в кабинет к Ивану Семенычу. Помолился в передний угол, откашлялся и, присев на кончик стула, сказал:

— Напрасно вы, Иван Семеныч, тень на меня наводите... Да-с: не к лицу это будет вам, а нам даже весьма обидно, потому что как я завсегда был к вам всей душой подвержен.

У Ивана Семеныча было твердое намерение выгнать нахала в шею, но вышло как-то так, что он не только помирился с Мокроносовым, но даже попросил у него прощения. Вся история, конечно, закончилась обильной выпивкой и новой дракой; на этот раз Иван Семеныч накинулся не на гостя, а на жену. Простоволосая Маремьяна Петровна каталась по полу, а он пинал ее сапогом в живот. Этот скандал прекратился только тогда, когда Ивана Семеныча связали.

— Ты завела себе любовника! — ругался он на другой день, припоминая вчерашнее безобразие.

— А если бы и завела, так не на кого жаловаться, — перекорялась Маремьяна Петровна. — Погляди-ка на рожу-то свою в зеркало, — на кого ты похож...

С похмелья они постоянно ругались, а потом мирились за графинчиком водки: Маремьяна Петровна давно уже пила водку наравне с мужем и не заставляла себя упрашивать «пригубить». В своем погребке они не сидели, а все дело было передано «на отчет» новому приказчику, который пользовался случаем и обкрадывал хозяев напропалую, как это, впрочем, делали и другие приказчики. Целые партии вина переходили из пичугинского погребка за полцены в виноторговлю

Мокроносова, быстро поднимавшегося в гору. Этот пронырливый и оборотистый человек, несмотря на свое пьянство, вел свои дела отлично. Похмелья он не знал. Проснется утром, встряхнется и в какой-нибудь час управится со своими виноторговыми делишками, а к обеду уже совсем свободен.

Ругая жену разными неприличными словами, Иван Семеныч, собственно, не знал про нее ничего дурного, хотя и подозревал многое. Но ревнивые мысли стали посещать его все чаще и чаще, и он много раз старался подкараулить жену, что вызывало только с ее стороны насмешки. Заброшенные дети росли без призора, но Маремьяна Петровна сумела отделить их. Они теперь жили в нижнем этаже под надзором старухи няньки и не видели родительского безобразия, творившегося наверху. Не один раз, глядя на детей, Иван Семеныч краснел за свое поведение и давал зарок бросить водку, но такой зарок не шел дальше нескольких часов.

— Умрем — все останется, — говорил Мокроносов, являвшийся в таких случаях бесом-искусителем. — Человек не камень, терпит-терпит, да и разрешит...

Маремьяна Петровна не давала зароков и пила горькую с какой-то отчаянностью, как пьют свихнувшиеся женщины. Она никогда не любила мужа, а теперь стала ненавидеть его и, несмотря на драки и побои, лезла прямо на нож. С Мокроносовым она держалась ласково и постоянно советовалась относительно своих коммерческих дел, что уязвляло Ивана Семеныча еще больше.

Ко всему этому прибавилось еще кое-что новое. Пьяный Иван Семеныч, рассердившись на жену, уходил из дому, а так как в пьяном виде неловко было лезть куда-нибудь к знакомым купцам, то он забирался в трактир и здесь бражничал. Особенно нравился ему недавно открытый трактир «Китай», где пели арфистки. Загулявшие купцы всегда тащились сюда и безобразничали с арфистками. Такое времяпрепровождение понравилось Ивану Семенычу, и он скоро сошелся с одной арфисткой, которая вечно выпрашивала у него денег. Конечно, эти похождения скоро дошли до

жены, и она устраивала Ивану Семенычу скандалы: то до утра домой не пускает, то пошлет горничную прямо в «Китай», а чаще всего происходила домашняя потасовка.

— Изверг!.. Погубитель мой!.. — кричала Маремьяна Петровна и на зло мужу показывала особенное внимание Мокроносову. — Уйду я от тебя куда глаза глядят, только вот ребятишек жаль... А ты ступай в «Китай», там есть кому пожалеть, только давай денег.

В пичугинской семье воцарился кромешный ад. Иван Семеныч дошел до того, что начал искать защиты против жены у того же Мокроносова, вместе с которым кутил в «Китае» и который потом все рассказывал Маремьяне Петровне. Жизнь проходила в каком-то похмелье.

Так наступил и роковой день.

Иван Семеныч пьянствовал уже целый месяц и ссорился с женой, но особенного ничего не происходило. Раз в январе он проснулся с жестоким похмельем в голове. Накинув халат, он вышел в столовую, где Маремьяна Петровна уже гремела чайной посудой. Она тоже была с похмелья, хотя крепилась по утрам, чтобы окончательно не осрамиться перед прислугой. Иван Семеныч подсел к столу и ждал своей аппетитной чашки, доставшейся ему в наследство еще после дедушки.

— Ты что это точно муху проглотила? — заговорил он, обращаясь к жене.

Она как-то сонно посмотрела на него красными с похмелья глазами, схватила фарфоровую полоскательную чашку и, не говоря худого слова, запустила ему прямо в голову. Облитый горячими ополосками, Иван Семеныч пришел в неистовство и бросился на жену с ножом.

— Ваня, опомнись!.. — крикнула она, когда он ударил ее ножом ниже лопаток.

Дальше все происходило в каком-то тумане. Ивану Семенычу хотелось резать жену без конца, и он с удовольствием полоснул ее ножом по горлу. Опомнился он только, когда в столовую вбежала горничная, но и тогда не понял всего случившегося ужаса. Бившаяся

на полу в агонии жена показалась ему такой жалкой, и он удивился, что вся стена в крови.

— Ваня... Бог с тобой... — прошептала умирающая коснеющим языком. — Пожалей детей...

VII

Все это тысячи раз было думано и передумано Иваном Семенычем, пока он сидел в остроге, а теперь картина пережитого безобразия встала еще раз с поразительной ясностью. Каждая вещь в доме, каждый уголок говорил о творившихся здесь безобразиях, и все это Иван Семеныч понял только сейчас, вот в эту бессонную ночь, когда прошлого уже не заслонял ужас каторги. Кто был виноват?.. Убитая Маремьяна Петровна, может быть, совсем и не зналась с Мокроносовым, да он и не думал теперь об этом: сам шлялся по арфисткам, так чего же требовать от жены... А чем виноваты осиротевшие дети, для которых было бы лучше, если бы отец ушел на каторгу? Да, лучше, потому что теперь какой он им отец: вырастут большие и скажут вот это самое!

— Зачем же меня оправдали? — стонал Иван Семеныч, придавленный этими мыслями. — Лучше бы уж и самому умереть...

Если бы Маремьяна Петровна была кругом виновата, разве тогда он имел право убивать ее?.. Вот суд оправдал его, убийцу, а он не пожалел матери своих детей. Нет, это ужасно, вот, вот эти самые мысли, которые не унимались, как зубная боль. Можно уйти от суда человеческого, но не уйдешь от самого себя, от собственной совести... Виновата вся безобразная жизнь, которая из человека делает пьяную скотину, виноваты все, кто живет так...

Целую ночь Иван Семеныч ходил по своему кабинету, прислушиваясь к малейшему шороху, и точно подкарауливал, что у него делается там, в глубине души. Внутренний безотчетный страх овладел им настолько, что он затруднялся бы сказать, где действительность и где фантазия. Теперь ему делалось

страшно уже самого себя, страшно наполнявшей его скверны, и он начинал снова повторять сначала историю своей жизни и снова переживал в тысячу первый раз щемившее чувство смертельной тоски.

Так прошла вся ночь вплоть до благовеста к заутрене, когда уже сделалось светло. Иван Семеныч лежал на своей кушетке с открытыми глазами до того разбитый и измученный, точно он с тяжелой ношей сделал по меньшей мере тысячу верст. Вместе с занявшимся дневным светом в нем улеглось острое тревожное чувство, но оставалась гнетущая пустота, как у человека, только что перенесшего тяжелую операцию. Окно оставалось открытым, и в него врывалась гулкая струя закипавшей городской жизни. Вот и второй благовест «к ранним обедням», когда тянутся к церкви старички и старушки, именинники и нищие.

— Иван Семеныч, вставайте... Вас дожидается адвокат, который от суда ослобонял: Павильонов.

Это была горничная. Она стояла в дверях, пугливо озираясь на задремавшего хозяина.

— Ведь я сказал, что меня дома нет!.. — сердито прошептал в ответ Иван Семеныч.

— Было и это говорено-с, да они силом вошли и требуют, потому как новое дело... Испугал нас до смерти, а теперь в гостиной сидят и какую-то бумагу пишут.

Действительно, адвокат Павильонов сидел в гостиной и, перелистывая подшитые бумаги, нетерпеливо поглядывал на дверь. Когда показался, наконец, Иван Семеныч, он побежал к нему навстречу и бормотал на ходу:

— Извините, что я забрался к вам так рано... Видите ли, нужно выяснить один существенный вопрос. Ваше имущество переведено было на имя покойной жены?

— Точно так...

— Дети, когда подрастут, могут отказаться от совместного жительства с вами... То есть я это предполагаю, потому что всякое дело нужно видеть именно с его дурной стороны.

— Да-с...

— А вам нужно же и о себе подумать и предъявить право на наследство...

— Это какое же наследство?..

— После вашей жены наследство! Как муж, вы имеете право получить седьмую часть из движимого и четырнадцатую из недвижимого...

— Значит, такой закон есть, например, что муж убьет жену — и получай наследство?..

— Такого закона, положим, нет, а есть общее положение наследования супругов... Вы забываете, что вы оправданы и ваша совесть перед законом чиста.

— Седьмая часть в движимом и четырнадцатая в недвижимом... — повторял Иван Семеныч, напрасно стараясь уяснить себе смысл этих непонятных слов.

— Да, да... Вы выдаете доверенность, и мы начинаем дело в гражданском порядке.

— У кого же будем высуживать деньги-то?

— Ах, какой вы... Ни у кого: свои деньги только вернете.

— Значит, так выходит: убил жену и пойду высуживать наследство у детей. Седьмая часть в недвижимом, четырнадцатая в движимом... Так-с, значит, наследник вполне...

Иван Семеныч остановился, посмотрел удивленными глазами на Павильонова, пощупал свою голову и, круто повернувшись на каблуках, быстро ушел к себе в кабинет.

— Иван Семеныч... а Иван Семеныч?..

Ответом был щелкнувший в дверях кабинета замок, а потом раздался дикий хохот.

— Наследник?! Ха-ха-ха...

Павильонов постоял в передней, покачал головой, плюнул и вышел, а Иван Семеныч все хохотал, дико и неудержимо, как человек, у которого щекочут подмышками.

Целых три дня и три ночи хохотал Иван Семеныч в своем кабинете. Прислуга заперлась в кухне и со страхом прислушивалась к сумасшедшим шагам наверху. На четвертый день все стихло, а когда при посредстве полиции была взломана дверь в кабинет, — Иван Семеныч лежал на кушетке мертвый. Он отравился.

ГОВОРОК

Очерк

I

Что может быть лучше Светлого озера, когда оно летним утром, все из края в край, курится радужным туманом? В глубине синей стеной поднимаются горы, за которыми спрятались Чудские заводы — старый и новый; направо зеленой каймой подошли камыши и заливные луга, а налево шелковой скатертью уходит из глаз башкирская степь. На выдающемся в озеро мысу мохнатой шапкой стоит сосновый бор, а за лугами зелеными пятнами рассажались березняки. На откосе, где песчаный берег уходит в воду, как осиное гнездо, присела к земле своей сотней избушек деревня Кучки. Летом даже эта деревня красива, точно она сушится на своем откосе, а последние избушки совсем подошли к воде и смотрятся в озеро, как в зеркало.

Ранним утром на самом берегу из крайней избушки выходил сгорбленный худенький мужик Матвей, садился в бот и плыл осматривать выкинутые с вечера снасти. Нужно было перекосить все озеро, обогнуть боровой мыс и попасть в курью, где у Матвея из года в год ловилась рыба. С гор всегда дул ветер, и волна шла к деревне, а в курье всегда затишье, и вода точно застыла. Проплывая под мысом, Матвей останавливался

у арендаторской избушки, где жил карауливший озеро сторож, и говорил:

— Ну, Ильич, за твоей рыбой поехал...

— А мне какая печаль сделалась?.. Твой грех, твой и ответ...

— Ладно, разговаривай да кланяйся арендателю.

— И то скажу: способу с вами нет. Где же мне одному с целой деревней управиться... Вот начальство выедет, так тогда поговорите.

— И поговорим.

— Мотри, Матвей, не миновать тебе острогу...

— А кто в остроге-то сидит, может, получше нас с тобой.

Кривой Ильич обыкновенно уходил в свою избушку, а Матвей плыл дальше. «На-ка, арендатель тоже выискался на озеро, — ворчал он, стоя в боту на ногах и ловко загребая воду одноперым веселком. — Этак и житья не будет: земля господская, вода арендателев...» Матвей промышлял на озере уже тридцать лет, а тут вдруг его озеро в аренду сдали. Еще надо спросить, чье оно, озеро-то. У арендатора, конечно, денег много, да все деньгами тоже не укупишь. И вся-то штука в том, что помещику покориться неохота, — вот и сдал озеро.

— Нет, брат, постой... — вслух говорил Матвей, вынимая из воды разную снасть и выбирая запутавшуюся в ней рыбу. — И земля твоя и озеро твое — нет, погоди. Жирно будет... Еще покойник родитель на озере-то рыбачил, а тут — здорово живешь. Нет, ты еще обожди маненько!..

В Матвее много было задорной энергии, выливавшейся в вечных спорах и пререканиях то с соседями, то со старостой, а то просто со своей собственной бабой Авдотьей. Особенно доставалось от него волостным. Староста Маркел иначе не называл Матвея, как язвой, — «ишь наша-то язва зудит». Сборщики податей боялись его как огня, потому что уж Матюшка подыщется к чему-нибудь, а потом не развяжешься. Когда поверяли волостные суммы и усчитывали старшину, Матвей был впереди всех и, жертвуя собственной работой, «достигал» каждую неустойку. Неугомонный му-

жичонка, одним словом, сидевший в Кучках как заноза. Даже выбрать его старшиной или старостой было невозможно: первое — бедный человек, второе — дело у него такое, что оторваться нельзя, а третье — не уладит с начальством. В сельское начальство обыкновенно верстают тех, кто в силе и может постоять за себя, или же в наказание — пусть отдувается перед начальством за все общество, а Матвей не подходил ни под какую линию.

— Матюшка у нас, как кривое полено, — говорил старшина Судыгин, — никак ты его не укладешь.

— Ты у меня учись жить-то, Пал Андроныч, — отвечал Матвей, встряхивая головой. — Ума у меня против всего опчества много — вот главная причина. Все я могу смозговать... да...

Однообщественники в шутку называли его «козьими рогами», которые, по пословице, ни из короба, ни в короб. Матвей Козьи Рога сделалось уличным прозвищем. Под этой кличкой знала его вся волость, а дома донимала жена:

— Ну, заскулили Козьи Рога...

Соседки давались диву, как это Авдотья живет с таким мужем: ведь он поедом ест бабу — и стала не там, и пошла не этак, и у других-то все не по-нашему.

— А вот он уплывет в курью, так я быдто и передохну без него... — говорила в свое оправдание безответная баба Авдотья. — Ежели бы да он все дома-то сидел — помереть!

— Что уж и говорить, бабонька: трясучая осина, а не мужик.

Выслушивая эти жалостливые соседские речи, баба Авдотья однажды ответила:

— Да ведь он, Матвей-то, добрый... Так он кажется только, что все скулит. Я ведь его не больно слушаю...

Вся улица хохотала над Авдотьей: вот так нашла добряка. То-то глупая баба! Матвей такую и подобрал себе, чтобы можно было походя ее долбить, — дерево смолевое, а не баба. Конечно, надо и то сказать, что не пьянчуга он и не озорник, — это правда, но все-таки душеньку вымотает одними своими наговорами. А баба

Авдотья жила да жила, поглощенная своей бесконечной бабьей работой, — и дома и в поле надо поспеть, и огород и скотину доглядеть, а тут еще что ни год — то ребята. На что эти ребята и родятся, когда в дому непокрытая бедность? Рожали бы одни богатые бабы, им есть кем замениться, а на бедную бабу — чистая напасть с ребятами. Теперь бы вот и с рыбой этой: отстать бы Матвею от озера, а он тягается с арендателем. Конечно, Ахметов богатеющий человек и затаскает по судам, а Матвей все ему наперекор. Когда помещик сдал Светлое в аренду, другие рыбаки мало-помалу и поотстали, потому, где же тягаться с Ахметовым: сегодня кривой Ильич протокол с урядником составит, завтра к мировому, послезавтра на высидку — тут и рыбе не рад будешь.

Раз летним утром, когда Авдотья, изнемогая от натуги, стирала разное тряпье прямо в озере, с другого конца улицы подошла кучка мужиков. Впереди всех шел Судыгин, плечистый и высокий мужик в красной рубахе, за ним рыжий Маркел и несколько стариков. Когда Авдотья увидела мужиков, у нее сердце так и екнуло от страха перед какой-то неизвестной бедой. Баба была на «тех порах» и едва разогнулась, чтоб поздороваться с мужиками.

— Авдотья, где у тебя Козьи-то Рога? — спрашивал Судыгин ласковым голосом — богатырь любил баб и теперь с сожалением посмотрел на выпиравший живот Авдотьи.

— А куда ему деться: в избе, поди, валяется... Ночесь только с рыбалки воротился, Пал Андроныч, — отвечала Авдотья, немея от страха.

— А ты опять, Авдотьюшка... — еще ласковее сказал Маркел и покачал головой. — Ишь ведь, как тебя обмотало всю.

Высыпавшие из избы ребятишки обступили мать и со страхом глядели на переминавшихся мужиков.

— Эй, Матвей, где ты схоронился? — кричал Маркел, подходя к покривившемуся оконцу. — Выходи-ка, милаш, дело до тебя есть...

В окне показалась голова Матвея и недоверчиво поглядела на обступивших завалинку мужиков. Солнце

так и светило во все глаза, а от озера наносило кружившим голову паром. Мужики переминались, не зная, с чего начать. Неестественная ласковость голосов еще более увеличила подозрительность Матвея, и он теперь смотрел в упор на рыжую окладистую бороду Маркела.

— Насчет озера? — спросил Матвей, стараясь проникнуть в тайный замысел подступившего начальства, — от Ахметова?

Мужики недоверчиво оглянулись на Авдотью: она была лишняя и точно мешала всем своим вздутым животом.

— Входите в избу, — пригласил Матвей, желая сохранить свое достоинство главы дома. — Чего на солнце-то торчать?

Мужики один за другим вошли в избу, стараясь не смотреть на Авдотью, которая провожала их испуганными глазами. Сознавая свое бабье положение, она пересилила себя, и валек громко захлопал по мокрым тряпицам, отдаваясь на озере гулким эхом, точно хлопала по воде крылатая какая-то деревянная птица. О чем будут говорить мужики с Матвеем? Зачем Судыгин и Маркел так ласково разговаривали с ней, Авдотьей? У бедной бабы кружилась голова, и она еще сильнее колотила свое тряпье, точно хотела выбить из него всю свою бедность. Оборванные и чумазые ребятишки окружили ее, как спугнутый охотником выводок, и тоже пугливо озирались на избушку. Самый младший даже попробовал было зареветь, но мать пригрозила ему вальком.

А в избе в это время происходила такая сцена.

— Мы к тебе от опчества, Матвей, — заговорил Маркел, степенно разглаживая бороду. — Значит, послужи миру... Допрежь тебя не просили, а теперь невозможно. Прижимка идет большая от Миловзорова...

— Ну?..

— Так уж ты тово... Опять начальство наедет, учнут деревню драть, так вот старички на сходке и порешили: Матвей у нас за словом в карман не полезет — ему и быть в первой голове.

— А ежели я не хочу? — окрысился Матвей.

— А ежели невозможно? — ответил вопросом Судыгин. — Разве ты один в деревне? Всем не сладко приходится. Раньше Ипат выхаживал, а теперь твой черед... Главная причина: невозможно.

Наступила неловкая пауза. Кто-то широко вздохнул. Судыгин машинально оглядывал голые закоптелые стены избушки, покосившуюся печь, полати — бедность так и глядела из каждой щели, та жуткая бедность, которую во всем объеме в состоянии оценить только опытный глаз.

— Вот избенку надо выправить... — вслух проговорил Маркел невольную мысль Судыгина. — Как же!.. на то и мир.

— А это как? — спрашивал Матвей, указывая в окно на свою бабу с ребятами.

— Опять же мир есть...

Этим вопросом Матвей себя погубил: в нем уже слышалась готовность послужить миру. Он испугался не своей смелости, а поспешности. Как же это так вдруг? Ночесь только вернулся человек с рыбалки, в курье на тычках еще сушатся мережи, а тут за здорово живешь... Матвей вдруг почувствовал себя оторванным от своей избушки, точно он уже не Козьи Рога, а кто-то другой, и этот другой идет на верную погибель. Страшная жалость охватила сердце Матвея, и он опять глянул в окно на свою бабу, колотившую вальком, и на столпившихся около нее ребятишек.

— Главная причина — никак невозможно... — подхватил Судыгин, стараясь прогнать напавшее на Матвея сомнение.

— Невозможно? — переспросил тот машинально.

— Мир послал... Я бы и сам, да язык-то у меня — как лопата, — поддерживал Судыгин с фальшивой ласковостью. — Разговору во мне нет настоящего.

Этого было достаточно. Главное объявлено, и все загалдели разом. То, что говорилось раньше между строк, теперь пошло напрямки. Старики размахивали руками и не давали говорить друг другу. Маркел вытирал катившийся по широкому лицу пот. Один Матвей сидел на лавке, свесив голову, как приговоренный. В его мозгу стояла одна мысль: «невозможно».

— Съест нас Миловзоров, — повторял Маркел основную мысль. — Теперь вот наше озеро сдал, а там и до земли доберется... Так я говорю?.. Начальство наедет... Опять будут оконницы выставлять, крыши сымать с дворов, печки разворачивать, а наше дело правое. Отцы еще здесь жили, и потом правильный у нас ак... Покойник Ипат и скопию выправил с его, с ака-то. Так я говорю?

Авдотья все колотила вальком, когда мужики один за другим начали выходить из избы. Они шли в том же порядке, как и входили.

— Прощай, Авдотьюшка... — ласково проговорил Маркел, поровнявшись с ней. — Эк тебя разнесло... а?.. Ты не нагинайся очень-то, милая.

Баба молчала и, тяжело дыша, смотрела на мужиков остановившимися глазами. Она чувствовала себя такой несчастной, точно ее что придавило. Матвей вышел также за ворота. Он был без шапки, в одной пестрядинной рубахе. Поглядев на свою бабу, на дымившееся под лучами утреннего солнца озеро и на удалявшуюся кучку односельчан, он с подавленным отчаянием махнул рукой, — в этом жесте сказалось все, точно он им отмахнулся от всего своего прежнего существования. Это был великий момент, вроде того как вода, накопившаяся в таинственных недрах земли, прорывает последнюю преграду и вырывается на божий свет. Судьба Матвея была решена.

II

Чтобы сделать понятным все происходившее в избушке Матвея, мы считаем нужным объяснить историю Кучек.

Происхождение этой деревушки отодвигалось вглубь времен не далее полустолетия. На берегу Светлого озера сначала поставлено было несколько рабочих балаганов, и потом на их месте выросли избы и целый поселок. Делалось все это как-то само собой, так что даже помещик, на земле которого образовалось новое селение, открыл его уже после эмансипации.

Администрация была изумлена не менее помещика: откуда, как, почему появились неведомые люди?.. Объяснением такой странности может служить то, что зауральский помещик никогда не бывал в своих владениях, а все дела вершили разные управляющие, доверенные и уполномоченные, как и вообще на Урале. Владелец являлся каким-то мифическим лицом, исчезавшим в неведомых высях, — никто его не видал, кроме управляющего и поверенных. Да и вообще помещичье владение на Урале является каким-то мифом: есть крупные заводовладельцы, захватившие в свои руки десятки миллионов десятин, а помещики прошли сюда как-то бочком. В Загорском уезде из помещичьих земель образовался целый остров, втиснутый между дачей Чудских заводов и башкирской степью. Их было всего до десятка, и самым крупным являлся тот не известный никому Шмит, на даче которого выросли Кучки. Немец Шмит сделался зауральским помещиком совершенно случайно, именно, когда женился на дочери отставного генерал-майора Кереметева и в качестве приданого получил двадцать тысяч десятин земли где-то в неведомых глубинах Зауралья. Генерал-майор Кереметев тоже сделался помещиком по жене и тоже не бывал в своих владениях, как и Шмит, потому что громадное поместье не приносило никакого дохода. Наживались одни управляющие и поверенные. После эмансипации, когда даровой труд отошел в вечность, имение стало приносить даже дефициты, и, кроме того, возникли неожиданные неприятности, вроде открытия неведомой деревни Кучек. Это произошло так: управляющий Миловзоров всучил бывшим крепостным даровой надел, и, когда подошла очередь подписывать уставную грамоту Кучкам, мужики наотрез отказались от всякого надела, потому что считали землю своей. Можно себе представить положение Миловзорова, желавшего выслужиться пред своим мифическим патроном: под самым носом существовала никому не известная деревня, захватившая до полуторы тысячи десятин лучшей земли! Это уже был скандал, и Миловзоров самолично отправился осматривать открытую Америку.

— Когда же эти подлецы успели выстроить целую деревню? — удивлялся он, проезжая по Кучкам.

— Мы вашими помещичьими и не бывали, Аркадий Евгеныч, — заявляли с своей стороны кучковские мужики. — Вы сами по себе, мы сами по себе... Мы еще до генерала здесь жили: отцовская у нас земля.

Миловзорова огорчила такая неблагодарность, но он тут же сделал второе открытие: купец Ахметов с незапамятных времен ловит рыбу в Светлом озере безданно и беспошлинно, тогда как озеро принадлежит Шмиту. Мало того, Ахметов вперед знал о прибытии Миловзорова в Кучки и встретил его здесь самолично.

— Ушки откушать милости просим, Аркадий Евгеныч, — приглашал купец, держа наотлет свой картуз. — Первый сорт ушка...

— Послушай, братец, что это такое: озеро мое, а ты тут хозяйничаешь? — озлился Миловзоров, знавший Ахметова по преферансу у протопопа Глаголева.

— Помилуйте-с, Аркадий Евгеныч... как можно-с! Еще покойный родитель мой озеро-то кортомили...

— Как кортомили?

— А у мужиков-с... В сам-деле, откушайте ушки, Аркадий Евгеныч!..

— Перестань ты, Ахметов, дурака-то валять... Ведь ты отлично знаешь, что земля и озеро мои, а мужики — бунтовщики. А ты заодно с ними: «покойный родитель...» Я вам покажу не только родителя, а и родительницу!..

Конечно, Ахметов обманывал — никакой кортомы он никому не платил, а просто хотел пугнуть Миловзорова. Уверенный тон последнего, однако, поколебал его купеческую сноровку, и Ахметов прибавил:

— Сурьезно бы поговорить с вами, Аркадий Евгеныч... Давно это следовает, да все как-то сумлевался я достигнуть вас. А мужики, точно, изрядно землицы прихватили... целая округа.

Они вместе объехали всю захваченную землю, и Миловзоров не мог надивиться: сотни десятин распаханы, леса вырублены, а на карте имения у него все это место покрыто зеленой краской, что, по «объяснению знаков», означало строевой лес. И как это могло

случиться?.. А тут шельма Ахметов тоже пристроился и может напакостить. Удивление управляющего перешло всякие границы, когда он самолично убедился, что кучковские мужики действительно никогда и не бывали крепостными Шмита, а набрались сюда со всего Урала — с горных заводов, из других помещичьих имений, с казенных промыслов и т. д. Что же, спрашивается, смотрела администрация? Да-с, администрация, которая должна знать все... Но администрация всегда останавливалась у Миловзорова и пользовалась доставленными им же сведениями. Вот так положение... Если поднять дело, то тот же мифический Шмит скажет: «А где вы, Миловзоров, раньше-то были!» С другой стороны, и администрацию подводить не приходится... Обыкновенным выходом во всех таких недоразумениях было то, что все прорухи и нелады сваливались на предшествовавшего управляющего, а тут под носом карта имения и зеленое поле, означающее строевой лес.

— Вам бы, Аркадий Евгеныч, хошь бы разок объехать было именье-то... — сожалел Ахметов, хрустя заплывшими пальцами. — В самом деле, объехать бы, — то есть раньше бы объехать... В самую бы точку вышло.

— После свадьбы-то всяк тысяцкий... Черт его знал, что тут целая деревня стоит. Не сам же я ее выстроил... ну, положение!

Нужно отдать справедливость, что Миловзоров горячо принялся за дело, выкупая свою прежнюю небрежность. Он открыл еще две спорных межи в имении: одну с Чудскими заводами, другую с башкирами. Но это были пустяки. Бельмом на глазу у него сидела самовольная и самозванная деревня, врезавшаяся в центр имения. Нужно было повести дело умненько, исподволь, посоветовавшись с знающими людьми. На поверку оказалось, что кучковские мужики тоже хлопочут в Загорье и как раз подведут какую-нибудь каверзу, а впереди новые суды.

— Вот что, Ахметов: ты будешь моим арендатором на озеро, — заявил Миловзоров после таинственных совещаний с нужными людьми, — и напишем так усло-

вие: «По примеру прошлых лет, я, нижеподписавшийся, арендую Светлое озеро у штабс-капитана Шмита на следующих условиях...» Понял?

— Понимаем-с... Только я, Аркадий Евгеныч, рыбную часть брошу. Ей-богу-с... Хлопотливое дело, а мы тут сгоношим заводишко винный. Это будет не в пример способнее. А озер-то по Зауралью, слава богу, весьма достаточно.

Пришлось уламывать прожженного человека и ему же платить за аренду, да еще на свой счет содержать на озере сторожа: все это устраивалось, чтобы прервать «течение земской давности». Вообще стоило громадных усилий, чтобы всему делу придать известное положение и ввести его в оглобли до новых судов. Миловзоров лез из кожи, потому что защищал в этом деле самого себя. Кучки тоже не дремали. Мужики собрали денег, послали ходоков, и каша заварилась. На сцену появился какой-то таинственный «ак», по которому захваченная земля оказалась родовой собственностью не менее мифических Иванов и Сидоров, чем генерал Кереметев и штабс-капитан Шмит. Реальная деревня Кучки вступила в отчаянную борьбу с мифическим помещиком, земную тень которого составлял Миловзоров. Неопытные в кляузах и юридических тонкостях мужики положились главным образом на свой «ак», что было на руку Миловзорову: беспрепятственное владение землей в течение тридцати лет стушевывалось. Явилась на место действия администрация, явились сопротивление властям, протоколы, предварительная высидка ходоков — одним словом, дело пошло вперед полным ходом. Миловзоров торжествовал, пользуясь оплошностью противной стороны.

В этой стадии дела самым тяжелым для Кучек было то, что в одно прекрасное утро явилась власть и потребовала очистить место. Кучковцы оказали отчаянное сопротивление, ухватившись за родное пепелище с энергией утопающего человека. Собственно говоря, сопротивление выражалось в самой пассивной форме: в нежелании оставлять насиженное гнездо. С своей стороны, власть тоже употребляла кроткие меры: разбирала крыши, выставляла окна, ломала печи в избах

и водворяла на место жительства самовольных посельщиков. Кучки представляли самую жалкую картину разрушения: мужики разбежались, а оставались одни ревевшие бабы с ребятами да ополоумевшая от разора скотина. Но стоило начальству отвернуться, как «выдворенные» явились на старое место, и Кучки быстро реставрировались. Жертвой этого разгрома явился знаменитый ходок Ипат, забранный властью в качестве вещественного доказательства. Нужно ухватить видимую причину беспорядков, живое доказательство затраченной энергии, — и ходок пошел по обычным в таких случаях мытарствам.

— Наше дело правое... — твердил Ипат везде. — Вся прижимка от Аркадия Евгеныча. Еще родители жили...

За энергичную деятельность и усердие Миловзоров получил «отличную благодарность» и праздновал полную победу. Но пораженного по всем пунктам неприятеля нужно было еще взять, а тут новый губернатор, новые суды и вообще усложняющие дело обстоятельства. Земские налоги подорвали окончательно экономическую правоспособность мифического зауральского помещика, и он очутился в разряде неплательщиков. Земля лежала совершенно непроизводительно; выпущенные на даровой надел крестьяне бедствовали, и единственной доходной статьей являлся недействовавший винокуренный завод, выстроенный Миловзоровым с единственной целью получить отступное с Ахметова и компании. Легендарный «ак» выплыл с новой силой и пошел гулять по новым судам, а Миловзоров донимал врага мелкими исками о самовольных порубках, потравах и т. д. Эта партизанская война оказалась для Кучек горше недавнего одоления, потому что в самую горячую рабочую пору вырывала сотни поденщин и штрафы. Нашелся какой-то адвокат, который взялся вести дело кучковских мужиков, и этот процесс тянул из них жилы. Нужно было много стойкости и веры в свою правоту, чтобы выдерживать такую неравную борьбу. В решительный момент, когда нужно было отправляться в город, дело остановилось за ходоком. Старый Ипат, ходивший по делу лет двадцать и обтер-

певшийся в своих мытарствах, умер года три тому назад. Он едва дотащился до родного пепелища, больной неопределенной мужицкой болезнью, когда человек «весь не может», и умер через два дня. В нем Кучки потеряли неутомимого заступника и радетеля, который безропотно шел всюду, куда было нужно. Никто в Кучках не удивлялся подвигу этого Ипата, как и он сам: так было нужно. Если бы Ипат не пошел, за него пошел бы другой, а не другой, так третий. Есть вещи и положения сильнее каждой отдельной личности. Именно в таком положении очутился Матвей Козьи Рога в то роковое утро, когда к нему явилась депутация односельчан.

— Надо собираться... — коротко и глухо проговорил он жене, не объясняя, куда и зачем собираться.

По своей бабьей приниженности Авдотья не спросила его, куда он уходит и по какому делу. Она только чуяла своим бабьим сердцем какую-то неминучую беду, надвинувшуюся вдруг. Сборы Матвея были не долгие: новые штаны и рубаха, старый зипун да котомка — и весь тут. Обряжая мужа во все лучшее, точно она готовила его к принятию какого-то таинства, Авдотья не плакала, не жаловалась и не стонала: так нужно... Она это чувствовала, простая деревенская баба: дешевым бабьим слезам еще будет время, а теперь нужно думать о другом. Безответность и бабья покорность Авдотьи тронули Матвея больше всяких слез и причитаний. Эх, славная баба эта Авдотья, да и ребятишек жаль, ну, да ничего не поделаешь.

— Ну, даст бог, вернусь... — хмуро проговорил Матвей жене на прощанье. — Мотри, соблюдай ребятенок, а ежели коли што... ну, к Пал Андронычу в правую ногу: не оставит.

Авдотья убежала в избу, чтобы спрятать свои непрошенные слезы, а Матвей опять махнул рукой и зашагал к избе Маркела, где его ждали волостные старики с последними советами и наставлениями. А через час он уже шагал по проселку к городскому тракту, помахивая длинной палкой, с какими по всей Руси расхаживают странники, богомольцы, нищие и всякие другие божьи люди. Выйдя за околицу, Матвей

остановился, поглядел на Светлое озеро, на свою деревушку, отыскал глазами знакомую крышу и еще раз удивился: третьего дня он вон там в курье выметывал мережи, а сегодня идет куда-то в неведомую даль.

— Никак невозможно!.. — вслух проговорил он и зашагал с усиленной скоростью, точно хотел уйти от схвативших за сердце дум.

III

Прошло лето, прошла осень, зима, а о Матвее ни слуху ни духу. Как в воду канул! Авдотья несколько раз «посыкалась» добиться от односельчан, куда задевался муж, но старички только мычали, чесали в затылках и бормотали что-то совсем несообразное, — надо же было как-нибудь отвязаться от пристававшей с ножом к горлу бабенки. Правда, помощью ее не оставляли — то хлебом, то деньгами, то дровами. Но это была обязательная помощь, которую Авдотья принимала только в крайнем случае.

— Ежели тебе что надо будет, Авдотьюшка, так ты только мигани... — повторял каждый раз Маркел. — Обязанность свою весьма даже чувствуем.

— Есть у меня все, слава богу...

— Ну то-то. Мотри, соблюдай ребятенок, чтобы, значит, Матвей на нас опосля не судачил.

Авдотья низко кланялась и уходила в свою курью. Пользоваться мирской помощью она вообще стеснялась. Матвей — гордый человек, не любил кланяться. Вот по соседству — другое дело: кто молочка ребятам принесет, кто дровец приволокет, кто что — все же свои люди. Раз зимой, в самый лютый мороз, притащился с курьи кривой Ильич и привез с собой целый мешок рыбы.

— Это я тебе гостинец... — довольно сурово проговорил сторож, смущенный собственной нежностью. — Ребята-то привыкли к рыбе, когда отец был.

— А как я с тобой рассчитываться буду... — смутилась в свою очередь Авдотья.

— Да никак... Не стало ее, что ли, в озере, рыбы-то. Слава богу, вполне даже достаточно. Мы хоть и вздорили с Матвеем, а рыба тут не виновата. Я как, значит, обвязался Ахметову, ну, а он опять отступаться не хотел... Да и то сказать: свет я увидал без Матвея-то. Лежу себе в избушке и знать ничего не хочу. Помещик помещиком... А то Матвей-то все у меня как бельмо на глазу сидел. Грешным делом, дирались мы с ним не однова...

Этот подарок заставил Авдотью прореветь целую ночь. Первый враг Матвея, и тот помянул его добрым словом, точно покойника. Да и рыба напомнила ей про мужа. Где-то он теперь, Матвей?.. Уж жив ли, а не то сидит где-нибудь за семью замками. Ребятишки малешеньки, несмысленны, а и те нет-нет да и припомнят тятьку.

Кривой Ильич действительно был доволен больше всех невольным отсутствием Матвея, хотя это слишком эгоистическое чувство и претило ему. Нехорошо радоваться чужому безвременью. Конечно, Матвей пошел своей волей, ну, а все-таки не за себя пошел, а за мир. Странный был этот Ильич, с детства живший в лесу. Он служил на соймах у арендаторов лесником, сторожем и совсем свыкся с лесной тишью. Несоразмерно длинная сгорбленная спина, кривые короткие ноги, длинные руки и лохматая голова делали его похожим на медведя. Зиму и лето Ильич ходил без шапки. Такой уж родился несообразный человек: в лесу ему и жить. Избушка, поставленная на мысу, была поставлена, как казалось, на живую нитку, но в ней было тепло, а это — главное. Сбитая из глины широкая русская печь держала в себе жар по неделе. Всю жизнь Ильич провел бобылем, а под старость, чтобы не скучно было, обзавелся петушком и курочкой. Прежде спал Ильич как убитый: стемнело — лег, забрезжилось — встал. Какая ночь, такой и сон. А под старость не стало прежнего сна: то ноги заноют, то поясницу ломит. Ворочается, ворочается Ильич на своей печке, а кругом темь стоит, хоть глаз выколи. Вот и завел старик петушка с молодкой, потому все-таки ночью петушок вспоет, и сторож знает, какой час на дворе. По весне

накладет курочка яичек, выведет гнездо, и пойдет у Ильича настоящее хозяйство. Петушок с молодкой жили под печкой. Была еще у Ильича собака Белка, такая же лохматая и кривоногая, как хозяин; у нее даже и глаз был кривой, тоже как у хозяина. Славная прежде была собака, а теперь годы ушли — лежит себе под лавкой день и ночь и чуть брехает на волков или когда бродяжки подойдут к избушке. В подполье проживали ужи. Свистнет Ильич, и поползут молоко пить.

По своему общественному положению Ильич был озерной сторож, а в действительности он проживал так, изо дня в день. Жалованья ему никто не платил, хотя и была ряда с Ахметовым. Разбогател, раздулся Ахметов и слышать ничего не хочет о жалованье. Придет к нему Ильич в Чудской завод и начнет просить хлеба, а купец примется ругаться.

— Какой тебе хлеб, старому черту? Задарма проедаешься на озере... Рыбу я не ловлю. Ступай выправляй жалованье с Миловзорова...

— Ты арендатель-то, с тобой ряда была... Вот лопать[1] обносилась, сапоги развалились, то-се... И то кучковские мужики посыкались осенью убить, зачем рыбу препятствую ловить.

— Бродяг хлебом кормишь, старый черт! — ругается Ахметов.

Ильич смолчал: было дело. Да и как не дать бродяжке, когда хуже волка человек придет. Ахметов все знает, прожженная душа... Но сколько ни ругается, а все-таки велит отпустить муки, заваляшие сапоги выкинет, одежонку и еще раз обругает. Вот и все жалованье. Пробовал было Ильич толкнуться к Миловзорову, но тот так затопал на него ногами, так заорал и еще хотел в кутузку посадить — хуже собаки. Уйти с озера Ильичу было некуда: крестьянская работа не под силу, да и привык он к своему лесному житью. Сам большой, сам меньшой в избушке своей. Конечно, зимой скучно бывает, а пройдет зима, и точно праздник какой откроется. Вспухнет и надуется лед на озере, по лесу пойдут проталинки, выступит вода в низких

---

[1] Лопать — одежда. *(Прим. Д. Н. Мамина-Сибиряка.)*

местах, нальется почка, а потом, когда вскроется лед, пролетит птица. Много ее летит по весне с полудня и, стая за стаей, отдыхает на Светлом озере. Гуси, лебеди, утки, чайки — стоном стон стоит на воде. Много озер по Зауралью, и весной везде тьма-тьмущая дикой божьей птицы; заходит рыба в воде, начнет икру метать по затонам и мелким речонкам, а в ясные дни по озеру гул идет: рыба мечется. А тут уж первые цветики пошли по лесу, зазеленела травка, пахарь выехал в поле... Все это видит Ильич — видит, и радуется, и славит бога: у бога всего много.

Лежал таким образом Ильич весенней ночью в своей избушке и совсем начал засыпать, как Белка ни с того ни с сего заворчала и брехнула.

— Цыц ты, кривая ерёхта! — обругал ее вслух Ильич.

Собака повиляла хвостом и опять брехнула. По лаю Ильич знал, что к избушке человек подходит. Кому бы быть о такую пору? Бродяжки идут по осени — разве заблудился кто. Слез Ильич с печи, вышел из избушки, — действительно, человек подходит и палочкой помахивает. Выскочила Белка и бросилась навстречу.

— Кто крещеный? — спросил Ильич, разглядывая темную человеческую фигуру.

— Так, заплутался...

— Ты бы подальше плутал-то, а то возьму орясину...

— Буде, Ильич... ну тебя.

Голос знакомый, и Белка унялась. Только хвостом виляет, тварь — узнала кого-то, подлая.

— Не угадал, что ли? — спрашивает знакомый голос. — Матвей из Кучек.

— Нно-о?!.

Ильич вдруг чего-то испугался и бросился в избу вздувать огня. Матвей вошел за ним, перекрестился в передний угол, сел на лавку к столу и молчит, а Ильич стоит с зажженной лучиной и смотрит на него.

— Откедова путь держишь, Матвей? — спросил, наконец, старик.

— Издалече будет... Отсюда не видать.

— Пошто мимо деревню-то свою обошел?

— А не рука мне... По волчьему паспорту, значит. Убег я из острогу... К озеру потянуло — вот и прошел поглядеть. Ох, моченьки моей не стало... тошнехонько.

— Ах, Матвей, Матвей...

— Ну, ладно... Ежели опасаешься — уйду.

— Да куда уйдешь-то, голова с мозгом?

— А в лес... Небось места в лесу всем хватит.

— Да ты, поди, поесть хочешь?..

— А не знаю... два дня не едал; пожалуй, отвык. Ну, что Авдотья моя?..

— Ничего, живет... Славная баба.

Поел Матвей и сейчас же заснул, точно его гвоздями приколотили к лавке, а Ильич проворочался до самого света. Вот так гостя господь послал... Да не надумал ли чего Козьи Рога?.. Пока бродяга спал, Ильич осмотрел снасти и навез рыбы. А Матвей уж встал и смотрит на него с берега, как он в боту по камышам ездит.

— Вот что, Ильич, спасибо тебе на добром слове, а я того... — заговорил он, глядя в сторону. — Не хочу тебя под ответ подводить. Еще начальство присыкнется к тебе, того гляди...

— Перестань... Места не просидишь, а там и уйдешь, когда следовает.

Одежонка на Матвее была плохонькая, на ногах лапти, да и сам он сильно исхудал, пожелтел, оброс диким волосом и поседел. Долго, видно, сердяга в остроге высидел. Напоил его, накормил Ильич, а спросить про дело не смеет — как бы не обидеть человека. Как раз по напруженному месту попадешь... Матвей ничего не говорил до вечера, а потом уже все обсказал.

— Доходил до самого... — глухо начал он. — До Шмита до этого... В Питере был. Агромаднеющий город...

— Ишь ты, куды махнул.

— Было дело... Сперва-то я в Загорье выправлял дело. Ну, вижу, пользы мало: тот одно скажет, другой — другое... Путают, а дело наше правильное. Ну, я в Питер. Достиг и самого Шмита... Думаю, человек ведь тоже, пожалеет. Целую деревню зорят, а ему что:

плюнуть! Все одно земля-то так же пустует, а вся прижимка от Миловзорова. Ну, и достиг...

— И обсказал?

— Все как на ладонке выложил... Разе это порядок: у Чудских заводов пятьсот тыщ земли пустует, в орде, может, не один мильонт ее тоже задарма лежит, а тут еще двадцать тыщ у Шмита, и тоже зря — Миловзоров, мол, зайцев гоняет. Выискалась, мол, всего-навсего одна деревнюшка, произошла она горбом, опахалась, обсеялась — ну зачем зорить?.. В жалость хотел его привести: бабы, говорю, ребятенки малые... Разор, говорю, и вам и нам, ежели мы будем еще дальше тягаться. Все ничего, выслушал, а как я помянул про ак... ну, по этапу меня и предоставили в Загорье, а там в острог. В остроге-то как своего приняли: «Говорка привели», — кричат рестанты. Конечно, ихнее дело привычное, как присмотрелись, значит, они ко всякому народу, и всех ходоков *говорками* зовут. Цельную зиму и высидел, а как подошла весна, как ударила оттепель, — ну, не вытерпел... Всего-то оставалось с месяц досидеть. Тошно стало... чуть рук на себя не наложил...

— Досидеть бы лучше, Матвей.

— А ежели тошно мне?..

Матвей поселился опять в своей курье, тщательно избегая всякой встречи с односельчанами. Два раза ночью он на боту переплывал озеро, обходил кругом свою избушку, но войти в нее не смел: Авдотья испугается и перебудит ребят. Одна собака Жучка узнала хозяина и подползла к нему, из покорности, на брюхе. Раньше Матвей совсем не замечал эту собачонку, которую щенком притащили откуда-то ребятишки, а теперь он обласкал ее со слезами на глазах, как родного человека. Во второй раз собака уже дожидалась его на берегу и бросилась под ноги с радостным визгом. У него захватило дух от прилива нежных чувств, но и на этот раз он не решился войти в избу. Увидал он жену только в следующий раз, когда она выглянула в окошко, чтобы посмотреть, кто это бродит около избы.

— Зачем ты ушел без спросу? — повторяла Авдотья в сотый раз и ломала в отчаянии руки. —

Засудят тебя... ох, горемычная моя головушка, пропали мы все!

— А ты молчи и никому виду не подавай... Лошадка-то в поле, видно?..

— В ночное угнали... Телочку без тебя принесла Пестрянка... ярочку одну волк зарезал... у Марфушки огневица зимой прикинулась... Матвеюшка, родимый, поди ты по начальству и объявись — может, лучше будет.

Матвей молчал, как пришибленный. Раньше было тяжело, а теперь вдвое. Приходилось скрываться от людей, как лесному зверю. Эх, если бы не жена да не ребятишки, ушел бы на Кукань, где земля вольная и паспортов не спрашивают, — все равно пропадать. Сидя в остроге, он произошел в тонкости всю острожную географию. Но другим было все равно, куда ни идти, а его неудержимо тянуло домой, к Светлому озеру.

Почти каждую ночь стал ездить Матвей к жене, надрывая свою и ее душу. Он теперь уже знал все, что делалось в Кучках. Односельчане не оставляли своих хлопот, и вместо него ходоком ушел брат рыжего старосты Маркела. Нельзя, нужно идти... А Миловзоров грозился пуще прежнего и обещает разметать все избы по бревнышку, — так что крестьяне прозвали его Мамаем. В случае чего кучковцы грозились прогнать его кольями из деревни. Дело принимало скверный оборот.

— За что же это напасть такая? — удивлялся Матвей, беседуя по вечерам с Ильичом у огонька. — Ведь живут же другие люди на белом свете... Кругом такая тьма земли, а нам места нет. Найдем же и мы правду...

На себя Матвей смотрел как на обреченного и не рассуждал, зачем и почему: *так нужно!* Но его удивляла бессмыслица окружающей обстановки. Земли пустуют на сотни верст, а их гонят от своей работы. Неужели один Миловзоров на свете будет жить?

Однажды, когда Матвей сидел таким образом с Ильичом у огонька, его схватили.

— Хоть бы до осени дали погулять... — простонал говорок, не пытаясь сопротивляться. — Ильича-то не троньте. Мой грех — мой и ответ.

IV

Возвращенный в тюрьму, Матвей как-то совсем потерялся, замолк и начал сторониться от других. Любимым его местом было окно — встанет и смотрит сквозь железный переплет на клочок неба, а сам шепчет: «Эх, до осени бы». Его душу охватывала смертная тоска. Ночами являлся бред. Матвей вскакивал, оглядывал окружавшую его тьму и тихо-тихо плакал. Каждую ночь, как желанный гость, к нему приходил все один и тот же сон: он видел свое Светлое озеро, Кучки, курью, где тридцать лет ловил рыбу, свою избушку, балаган Ильича. Недалекое прошлое заволакивалось для него таким радужным туманом. Днем иногда перед ним с такой яркостью вставала какая-нибудь своя деревенская забота, что он несколько времени совсем не видел окружающего.

— Эй, говорок, очумел!

Арестанты от нечего делать часто потешались над Матвеем с его неумолкавшей тоской по родине и ждали, когда он опять уйдет. Такие молчаливые и скромные арестанты для тюремного начальства были чистым наказанием: за ними приходилось смотреть в десять глаз. И сам Матвей отлично знал, что он уйдет, и выжидал свое время. Острожные юристы вперед объяснили, что его ожидает: за «бунт» его сошлют на поселение, а за побег не миновать каторги.

— Кому что господь пошлет, — повторял Матвей, выслушивая острожных правоведов, — так, значит, нужно.

Покорность судьбе, с одной стороны, и сознание необходимости сделанного — с другой, странным образом уживались в душе Матвея, разделяя общественного человека от личности. Общественный человек безропотно делал то, что было нужно, а «только Матвей» думал о своем. Что-то теперь делает Авдотья?.. Вытянулась бабенка на работе, а подмоги никакой. Теперь и одноообщественники как-то помогать ей будут, если он от себя попал в острог. Ах, нехорошо. Тоже вот и кривой

Ильич был на совести у Матвея: подвел он мужика ни за грош. Иногда Матвею начинало казаться, что Авдотья точно умерла, и он припоминал всю свою жизнь. Побил ее как-то пьяный, потом всегда так грубо обращался с ней, как с домашней скотиной, — нет, хуже, чем со скотиной. В душе Матвея накипали те ласковые и душевные слова, каких он не выговорил бы вслух при Авдотье. Истомилась, поди, сердечная, а он сидит, как птица в клетке.

Суд приговорил Матвея на поселение. Он выслушал приговор совершенно бесстрастно и только ждал, когда его отправят. С дороги Матвей бежал и долго скрывался вместе с другими бродягами, но к весне следующего года был опять на Светлом озере. На этот раз он был осторожнее и далеко обходил пустовавшую избушку кривого Ильича, который за пристанодержательство отсиживал где-то в тюрьме. Матвей скрывался больше на Урале на даче Чудских заводов, где на сотню верст шубой стоял лес. Только временами он появлялся в Кучках, чтобы повидаться с женой. Авдотья как ни любила мужа, но боялась этих посещений, как огня.

— Матвеюшка, пымают тебя... — жалилась она каждый раз.

— Не пымают... мы тоже достаточно учены.

— А как попадешь?..

На заморозках Матвея действительно поймали. Его накрыли в его собственной избушке, где он заночевал. За лето он совсем одичал в лесу и смотрел волком, но сопротивления не оказал.

— По весне опять жди... — успел он шепнуть жене. — Теперь мы знаем все ходы и выходы.

А в Кучках было не до Матвея. Дело принимало самый острый характер. Зимой у Миловзорова сожгли молотягу и несколько скирдов хлеба. Обещали поджечь и дом в самом именье. На сцену выступало глухое чувство общего отпора. Заговорила упрямая сибирская складка характера. Появившееся на место действия начальство было встречено глухим молчанием. Возникло крупное дело о сопротивлении власти, но кучковцы

твердо стояли на своем. Все юридические права мифического помещика оказывались бессильными пред реальной и живой силой. Новый губернатор выехал расследовать дело на месте и долго толковал мужикам, что они не правы и что их выселят силой. Кучковцы продолжали стоять на своем.

— Родители наши жили здесь, и мы здесь же помрем... — гудела толпа.

Миловзоров струсил и бросил место. Он нажил кругленький капитальчик и уехал отдыхать от понесенных трудов на благословенный юг, где у него было приобретено свое имение и где совсем нет таких упрямых сибирских мужиков. Новый управляющий, хотевший уладить дело миром, не ужился на месте. Кучковцы продолжали стоять на своем. Оказался в бегах и другой ходок, заступивший место Матвея. И его так же тянуло с неудержимой силой к своему месту, и так же безропотно он переносил свою участь.

Авдотья попрежнему жила в своей развалившейся избушке и с бабьим терпением ждала, когда поднимет на ноги старшего сына. Она сама пахала и боронила, сама косила и кое-как сводила концы с концами. Всякое горе притупляется, и Авдотья покорно вытягивала свою непосильную ношу. Было и у нее свое «нужно»... Общественники иногда помогали ей по старой памяти, но она крепилась и сама не напрашивалась на помощь.

За второй побег Матвей был приговорен к каторге, и о нем не было ни слуху ни духу около двух лет. Но через два года он появился опять в Кучках. В деревне все было по-старому, и по-старому шла бесконечная тяжба с мифическим помещиком. Сам Шмит умер, и на его место выступили наследники. Имение не приносило доходов, и поэтому не было даже управляющего. Дело с кучковскими мужиками на время замолкло: обе стороны настолько обессилели, что требовалось перемирие. Бродя по лесу, Матвей встретился с братом Маркела, заступившим его место. Вдвоем все-таки было веселее. Они никого не трогали и летом перебивались по покосным избушкам. Односельчане при

встречах делали вид, что не узнают их, и давали хлеба, как всем бродяжкам. На покосе Матвей видал и свою жену, которая страдовала недалеко от озера.

— Докуда же это будет, Матвей? — спросила она однажды мужа, бессильно опуская руки. — Ведь вся душенька моя изболела... тошнехонько на белый свет глядеть, а ты еще тут надрываешь меня... ох, спобедная моя головушка!..

Еще первый раз безответная Авдотья взъелась на судьбу. Матвей молчал, придавленный безвыходностью собственного положения. Кому какое зло он сделал?.. Ропот Авдотьи даже как-то облегчил его... Сколько лет молчала безответная баба, а теперь сказала скорое слово и сейчас же раскаялась в нем. Чем Матвей-то виноват, что так все вышло?

— Будет правда, Авдотья, погоди... — бормотал Матвей, схваченный за сердце словами жены. — Не мы одни с тобой на свете живем. Говорю тебе: погоди... Выйдет земля хоть детям.

Свои места, к которым так неудержимо тяготела душа Матвея, казались ему теперь постылыми. Сколько он перенес из-за них, а что толку?.. Лежит Матвей в лесу у ключика и думает. Около курится в ямке бродяжнический огонек, где-то насвистывает птичка... Тошно Матвею, словно он умирает. Сколько места исхожено, сколько горя перенесено, а легче все нет. Ушел бы он туда, куда ворон костей не заносит, да только не уйти ему от своего Светлого озера — прирос он к нему всей душой. Много земли кругом пустует, исходил ее Матвей и все думает, все думает... Сколько народу тут жило бы, если бы все шло по-божески, по правде. Иногда ему начинало казаться, что он сходит с ума или видит все во сне. Опять его поймают, опять будут судить и опять в каторгу — теперь уж без срока. А может, и так господь пронесет: мало ли по лесам да разным трущобам народу скрывается.

Однако Матвею недолго пришлось гулять на своей вольной воле. Наступали первые заморозки. Он жестоко простудился и долго пролежал в лесу без всякой

помощи, как лежит раненый зверь. Поправившись, он побрел прямо в Кучки.

— Предоставьте меня по начальству... — просил он, как милости. — Больше мочи моей не стало.

Его опять судили. Когда подсудимому предоставлено было последнее слово, он, едва держась на ногах, проговорил:

— Господа присяжные, за что?..

Авдотья сидела в публике и тихо плакала.

ДОБРОЕ СТАРОЕ ВРЕМЯ

Повесть

I

— Господи, как дороги дрова, Антонида Васильевна!

— А квартиры, Яков Иваныч?

— И квартиры тоже... Всё новые дома строят, всё строят, а квартиры и не думают дешеветь. Я за свою конурку пять рублей плачу, Антонида Васильевна... Впрочем, нужно будет переменить квартиру.

— Я три рубля плачу вот за эту мерзость, Яков Иваныч. И квартиры дороги, и дрова дороги, и люди нынешние — дрянь.

— Совершенно верно-с: дрянные люди. Даже и не люди, а так что-то такое: взять в руки нечего. Даже молодежь — и та ничего не стоит. А в наше-то время, Антонида Васильевна... Господи, точно все это во сне видишь... Закроешь глаза и видишь...

— В живых-то только мы с вами остались.

— Да... Сколько лет будет, как умер Крапивин?

— Ах, давно... двадцать лет.

— Неужели? А точно вот вчера все было... И генерал умер, и Додонов... все умерли.

После этих грустных воспоминаний наступила длинная пауза. Яков Иванович долго жевал своим беззубым ртом, перебирал в руках платок, щурился и тяжело

вздыхал. Все это было прелюдией к одному и тому же разговору, который всегда бесил Антониду Васильевну. О, она отлично знала, что старик пройдется своею расслабленною походкой по комнате, поправит старомодный воротник сюртука и проговорит:

— А ведь я говорил вам *тогда,* Антонида Васильевна... Ах, напрасно вы меня не послушались!..

Антонида Васильевна вскакивала с места, выпрямлялась и, приняв гордую позу, отвечала одно и то же:

— Яков Иваныч, вы никогда меня не понимали!

— Сорок лет я вам повторяю одно и то же... Ах, напрасно, Антонида Васильевна! Помилуйте, я тогда прямо сказал вам: покаетесь, Антонида Васильевна, да будет поздно. Да...

— И не покаюсь!

— А вот покаетесь.

— А нет!

Глядя на старика, Антонида Васильевна часто думала: «Совсем из ума выжил человек... и куда что девалось, подумаешь!..» Яков Иванович думал то же, глядя на Антониду Васильевну, и грустно качал головой. Неужели это она, та Антонида Васильевна, за которой ухаживал сам хромой генерал?.. Сгорбилась, обрюзгла, состарилась, глаза слезятся, лицо в морщинах, волосы седые, — даже тени не осталось от прежней красавицы. Все тлен и суета, а женщины всегда останутся легкомысленными созданиями и будут всегда жить сегодняшним днем. Яков Иванович с сожалением оглядывал пустую комнату своей приятельницы, просиженный диван, единственный комод, заключавший в своих недрах все движимое Антониды Васильевны, и еще раз качал головой.

— Не хотите ли кофе, Яков Иваныч?

— Отчего же... Я, знаете, когда шел сюда, то думал: а хорошо бы напиться кофе. Кровь согревается.

Пока Антонида Васильевна возилась около самовара и согревала дрянной жестяной кофейник, Яков Иванович ходил своими старческими шажками и что-нибудь рассказывал.

— Вчера я был на рынке, Антонида Васильевна... Капуста была такая дешевая. Я всегда у одной

прасолки покупаю... Обманывает она меня, но я уж привык к ней. Хорошо-с... Стою я с мешком около лавки, а на меня лошадь... ей-богу, чуть не смяли. Сидит купчиха и говорит: «Я два воза капусты купила да воз огурцов». Ведь это очень выгодно, Антонида Васильевна, то есть выгодно все оптом покупать. Конечно, у кого есть деньги, так тем выгодно... Вот говядина тоже, сахар, кофе... Я всегда завидую богатым: всё дешево покупают, потому что во-время. Привезли капусту — давай капусту, закололи теленка — давай теленка... хе-хе!.. Я прежде тоже хозяйственно жил и всегда делал запасы... Своя коровка была, лошадка... Вы мне не крепко наливайте: доктор не велит пить крепкий кофе.

— Знаю, знаю... Вот вам сливки, Яков Иваныч.

— Благодарю... Так я и говорю, Антонида Васильевна: хорошо богатым людям на свете жить. Комнаты большие, светлые, теплые, запасов всяких много, да еще деньги в банке лежат. Понадобилось — и взял из банка...

— Да, отлично.

Старики часто ссорились, особенно в ненастную погоду, но один без другого сильно скучали. Однажды у Якова Ивановича заболели ноги, и он целую неделю не показывался. Антонида Васильевна даже всплакнула про себя и послала знакомую кухарку узнать о здоровье. Сама она не решалась навестить своего старого друга: как она придет на квартиру к холостому человеку? Впрочем, старики хворали редко, хотя Якову Ивановичу стукнуло уже восемьдесят лет, а Антониде Васильевне было под семьдесят. Как особа с тактом, старушка не показывала вида, что рада каждому визиту своего старого друга и что без него страшно скучает. Мужчины неблагодарны, и тот же Яков Иванович мог подумать про нее бог знает что, как все мужчины. Им только позволь... Отношения Якова Ивановича действительно носили корыстный характер: отчего не напиться кофе фирмы «Чужой и К°», а потом все-таки моцион полезная вещь, и, наконец, керосин напрасно горит, когда сидишь один дома. Угощать Антонида Васильевна любила, как все женщины, — у ней это было в натуре отдавать последнее. Вот это-то и довело ее

до каморки, когда другие женщины, которые не стоят ее пальца, разъезжают на рысаках и покупают капусту возами.

А какие бывают скверные дни осенью, когда дождь зарядит с утра! На улицах грязь, окна в комнатах отпотеют, из всякой щели ползет предательская сырость, и богатые кажутся еще богаче, а бедность еще беднее. Яков Иванович кашлял, охал и все-таки полз к Антониде Васильевне, чтобы хоть поскучать вместе. Именно стоял такой ненастный день, когда старик явился напиться кофе к Антониде Васильевне. Он в темной передней бережно снял калоши, осторожно поставил в уголок свой зонт, снял отяжелевшую от дождя шинель с крагеном и проговорил в дверях:

— Можно войти, Антонида Васильевна?

Яков Иванович был самый вежливый и деликатный человек, и Антонида Васильевна именно за это его и любила больше всего: увы, таких вежливых людей больше нет... Нынешние люди не понимают такой простой истины, что вежливость — это целый капитал, и что благодаря именно ей в свое время Яков Иванович всегда пользовался неизменным успехом у женщин. О, любовь ему ровно ничего не стоила, и ему многое прощалось именно за уменье держать себя. Яков Иванович во-время умел быть и смелым и скромным и всегда молчал: ни одной тайны не было им выдано. Вот секрет дожить до восьмидесяти лет, еще в силах, а дальше уже «труд и болезнь»... Женщины любили Якова Ивановича и в критических случаях советовались с ним, как было и с Антонидой Васильевной. Конечно, они делали по-своему, а Яков Иванович молчал, будто ничего не знает.

— Пожалуйте, Яков Иваныч...

Заняв свое обычное место на диване, Яков Иванович с присущею старым людям проницательностью сразу заметил, что Антонида Васильевна была сегодня не в своей тарелке. Может быть, получила неприятное письмо? Нет, писем она уже давно ни от кого не получала. Время писем миновало для нее... Что бы такое могло быть?

— Холодно, Антонида Васильевна.

— Очень холодно, Яков Иваныч.

В своем темном люстриновом платье Антонида Васильевна походила бы на монашку, если бы лицо ее не было покрыто темными пятнами от дрянных старинных белил. У монахинь лицо бывает такое белое и кожа — точно корка просвиры. Дома воротничков и рукавчиков она не носила, а когда приходил Яков Иванович, накидывала на плечи старенькую ковровую шаль. Теперь Антонида Васильевна куталась в свою «тряпочку», как она называла шаль, сильнее обыкновенного и старалась не смотреть на гостя. Перебрав все темы, Яков Иванович вопросительно поглядел на дверь, откуда должен был появиться кипевший самовар. Он не понимал, зачем хозяйка так медлит, а сегодня ему особенно хотелось напиться кофе, — мерзавец погода.

— Вы здоровы ли, Антонида Васильевна? — спросил он наконец, аккуратно понюхав табаку.

Антонида Васильевна что-то перебирала на своем комоде и удивленно оглянулась, а потом быстро вынула из кармана платок и закрыла им лицо. Послышались сдержанные всхлипывания. Как все мужчины, Яков Иванович не выносил женских слез и рассердился. Помилуйте, так могут капризничать одни девчонки... О, он хорошо знает цену этим женским слезам и никогда им не верил. В нем проснулась старческая жестокость. Но Яков Иванович всегда был вежливый дамский кавалер, поэтому, дав время пройти пароксизму, спросил по возможности ласково:

— Что с вами, Антонида Васильевна?.. Не могу ли я чем-нибудь быть полезным?

— У меня... у меня нет больше кофе!..

Яков Иванович был огорчен, но все-таки плакать не следовало. В жизни ему приходилось много видеть женских слез, и поэтому он пустил в оборот тот бессмысленный набор фраз, какими утешают плачущих женщин. Женщины любят, чтобы их так заговаривали, а смысл — это другое дело. Но и это верное средство не помогало; Антонида Васильевна продолжала плакать... Да и слезы были нехорошие, — те тихие слезы, которым, как осеннему мелкому дождю, конца нет. Старый

эгоист только теперь пожалел свою приятельницу, тем более что это искреннее горе касалось и его.

— Что же, Антонида Васильевна, убиваться? — бормотал он. — Если нет кофе, то можно и чаю напиться. Отлично согревает...

— И чаю нет... я... я не ела уже два дня... ничего нет.

У Якова Ивановича вырвался неопределенный звук: «Это уж слишком, — и скверная погода и эти слезы». Он даже посмотрел на дверь, чтобы половчее улизнуть, — последнее много раз выручало его из критических обстоятельств. Но Антонида Васильевна повернулась уже к нему и, не вытирая катившихся по ее лицу мелких старческих слез, порывисто заговорила:

— Все это пустяки...

— Как пустяки?

— Что я нищая — это пустяки... Сама виновата. Но меня убивает одно: сегодня двадцать первое сентября...

— Ах, да... Ведь Павел Ефимыч был бы сегодня именинник. Да, да... Скажите, а я-то и забыл. Давно ли это было, подумаешь... Пир горой шел у Павла Ефимыча... шампанское...

— И это пустяки, — прервала его Антонида Васильевна, комкая платок в дрожавших руках. — Сегодня я убедилась наконец, что *тогда* я действительно была глупа, а вы — правы... Да, вы были правы, Яков Иваныч, хотя прошлого и не вернешь.

— Ах, Антонида Васильевна, Антонида Васильевна... ведь я же говорил вам тогда?.. Если бы вы меня послушались...

— Я была молода... глупа... Кто бы мог подумать, что я проживу так бессовестно долго? Ведь я давно пережила себя...

— Да, да, состарились мы с вами, Антонида Васильевна...

— У меня теперь все бы было: и свой дом, и лошади, и прислуга... Сорок лет я думала, что поступила, как следует порядочной женщине, но вот сами видите, что из этого вышло... Нет больше кофе, Яков Иваныч!..

Это признание, вырванное отчаянием, обрадовало Якова Ивановича. О, он был прав, а женщины упрямы,

как кошки... Если бы можно было вернуться назад каким-нибудь чудом и поднять из земли прошлое! В старике с страшною силой проснулась бессильная жадность, и его маленькие глазки засверкали.

— Знаете, что я вам скажу? — заговорил он, взволнованный желанием сказать Антониде Васильевне что-нибудь неприятное и хоть этим выместить на ней собственную правоту. — Нынче так не сделают, да! Нынешние примадонны умнее и этих сентиментальностей не признают... Стоило тогда ломаться!

— Нынешние примадонны?

Антонида Васильевна покраснела остатком своей старческой крови и молча указала Якову Ивановичу на дверь.

— Уйду, сам уйду-с... — бормотал он, спохватившись, что пересолил. — И дернуло же за язык с нынешними примадоннами... А все-таки я прав.

— Да, вы правы, но уходите... все правы... я оскорблена именно этим.

Очутившись на улице, Яков Иванович долго стоял на тротуаре и никак не мог понять, как это все вдруг вышло: сидел на диване и вдруг — вон... что же это такое?.. Он вернулся, постучал в дверь, но ответа не последовало.

II

Ровно сорок лет тому назад, в такой же ненастный осенний день Антонида Васильевна сидела в своей комнате перед зеркалом и старательно закручивала прядь своих белокурых волос в папильотки. В этот момент в комнату вбежали две девушки и в один голос закричали:

— Смотрите, смотрите: медведи!

— Смотрите: собаки!

Театральная квартира была как раз напротив театра, и по чистенькой городской улице медленно двигалась целая вереница телег. В каждой телеге сидело по четыре собаки и при них «человек». Собаки, истомленные длинным путешествием и промокшие под дож-

дем, равнодушно смотрели по сторонам. Сопровождавшая их прислуга была одета в однообразный охотничий костюм: короткие серые куртки с серебряными пуговицами, широкие синие шаровары, барашковые высокие шапки с красными свешивавшимися на один бок курпеями и красные широкие кушаки. У борзятников, выжлятников и доезжачих были свои собственные серебряные значки, прицепленные к левому плечу, и у каждого за поясом по кинжалу. Это была настоящая псовая охота, обставленная со всею роскошью. Когда первый обоз, состоявший из двадцати пяти телег, миновал, за ним показались громадные дроги, на каких возят тяжести. На дрогах были поставлены большие клетки из полосового железа, и в каждой клетке сидело по живому медведю. Всех дрог было пять, по числу медведей, и в каждых было заложено по три тройки. Понятно, что такая необыкновенная процессия взбудоражила город, и по улице за поездом бежала целая толпа.

— Да это зверинец!.. — говорил кто-то из девушек в театральной квартире.

— Нет, барская охота, как у нас в Расее... — заметила крепостная няня Улитушка, состоявшая бессменно при театральных барышнях.

— А медведи зачем, няня?

— Псов натравливать, чтобы злее были... У настоящих господ всегда так делают.

Естественным являлся вопрос, чья же это охота, но именно на него никто и не мог ответить. В Западной Сибири крупных помещиков не было, а золотопромышленники-раскольники не имели и понятия о настоящих барских потехах.

— Нужно узнать, няня, — решила Антонида Васильевна, занятая небывалым зрелищем. — Сходи к Павлу Ефимычу и спроси...

— Так и пошла: нашли девчонку! — ворчала старуха.

— Няня, да ведь всего два шага?..

— У, баловницы!.. Да и Павла Ефимыча дома нет.

— Все равно, от камердинера узнаешь...

Старушка всегда ворчала, но баловницы умели

заставить ее сделать по-своему, как было и теперь! «Ну, ин, схожу... не отвяжешься от вас».

— Бедные медведи, как им тяжело сидеть в этих клетках! — жалел кто-то из девушек, провожая глазами дроги. — Разбило их дорогой. Вон, посмотрите, один лижет железную полосу... Бедняжка, он пить хочет.

Один из медведей стоял на задних лапах, ухватившись передними лапами за переплет решетки, и смешно поводил мордой. Он чутко нюхал городской воздух и глухо кряхтел. Лошади фыркали и косились. Какие-то бойкие мальчишки подбегали к самым дрогам и ухали на любопытных зверей.

— Вот я вас!.. — кричал главный доезжачий, замахиваясь на ребят толстым арапником.

Антонида Васильевна задумчиво проводила глазами весь обоз, и ей вдруг сделалось грустно. Неужели этих медведей будут травить громадными меделянскими собаками? Ух, страшно!.. Бедные, как им тяжело сидеть в своих клетках. Что-то такое тяжелое и горькое заныло в груди девушки: ведь и она тоже сидит в своей клетке.

— Няня, няня, ну, что? — кричали девушки, веселою гурьбой обступая возвратившуюся Улитушку. — Чья это охота?

— Ох, отстаньте... — отмахивалась старушка. — Чего пристали-то, как осенние мухи? Вот и не скажу... Павел Ефимыч на репетицию велел идти. Вот вам и охота...

— Нянюшка, миленькая...

— Барская охота, известно... Заводчик тут есть, Додонов по фамилии, — ну, так его и охота.

Театральная квартира помещалась в двухэтажном деревянном доме с мезонином. В нижнем этаже жили актеры, а в верхнем — актрисы. Сам антрепренер Крапивин помещался в мезонине, наверху. Эта труппа в Загорье являлась первой и пока еще только готовилась к спектаклям. Театр тоже был недавно построен, и в нем еще пахло известкой, глиной и свежим деревом. На репетицию ходить не составляло особого труда: перешел улицу и — в театре. Актеры уходили раньше, а

за ними уже являлись актрисы, под надзором Улитушки.

Когда все собрались в театре, там только и разговору было о проехавшей мимо охоте и о неизвестном никому Додонове. Предположениям, догадкам и шуткам не было конца.

— Он и оркестр свой везет, — рассказывал капельмейстер Яков Иванович, толкавшийся на репетициях около женских уборных. — Да-с, двадцать пять человек музыкантов... Большой любитель музыки. В Краснослободском заводе у него и театр построен.

— Кто же будет играть в театре?

— А уж этого я не знаю... Спросите у Павла Ефимыча.

Комик Гаврюша (он же и декоратор) заметил, что, вероятно, у Додонова медведи будут давать представления. Всезнающий Яков Иванович сообщил, между прочим, что Додонов постоянно живет в Петербурге, где у него настоящий дворец и царская охота. Теперь он вздумал приехать на Урал, чтобы осмотреть свои заводы. Мужчины шептались и хихикали между собой, передавая подробности, как сегодня через город в закрытых повозках провезли в Краснослободский завод целый гарем, — Додонов был холостяк и любил женщин. Яков Иванович весело подмигивал и щелкал языком, как скворец.

— Хороший человек этот Додонов и умеет пожить... А что касается представлений на его театре, то я полагаю так, что ему без нас не обойтись. Вот Антониде Васильевне прекрасный случай показать свои таланты... При ее красоте и талантах все возможно-с...

На репетициях царил строгий порядок, и Крапивин не терпел закулисных сближений и вольностей. За каждый недосмотр головой отвечала Улитушка, на попечении которой находилось целых пять актрис. Теперь ей стоило большого труда удержать свою команду в уборных, да и актеры точно сбесились: так и лезут. Особенно надоедал Яков Иванович.

— Ты-то с какой радости приклеился здесь, шубный клей? — ругалась с ним Улитушка, загораживая спиной дверь в уборную Антониды Васильевны. — Твое

дело на скрыпке скрыпеть. Ужо вот придет Павел Ефимыч... Способа с вами никакого нет, с озорниками!

Появление на сцене антрепренера водворило приличный порядок, и Улитушка вздохнула свободно. Крапивин шутить не любил и держал свою труппу в ежовых рукавицах. Сегодня он заметно был не в духе и едва кивнул головой на низкие поклоны актеров. Подвернувшийся под руку Гаврюша получил нагоняй за недоконченную еще декорацию.

— Павел Ефимыч, помилуйте, да когда же... — оправдывался комик, разводя руками. — И роль учи и декорации расписывай.

— Ты у меня рассуждать? — закричал Крапивин и, погрозив пальцем, прибавил: — Кто будет со мной балясы точить, сейчас на гауптвахту посажу... Черкну записочку генералу и — готов раб божий.

Ввиду такой угрозы Улитушка, конечно, и не подумала жаловаться, хотя Яков Иванович и показывал ей язык, спрятавшись за декорацию.

— Можно войти, Антонида Васильевна? — спросил Крапивин в дверях уборной: отдельная уборная была только у Антониды Васильевны, как у примадонны и главной надежды всей труппы.

— Можно.

Быстро оглянув девушку, Крапивин присел к столу с зеркалом и широко вздохнул. Ему на вид было под сорок, но для своих лет Крапивин сохранился очень хорошо. Широкий в кости, плотный и сухощавый, он еще был хоть куда. Умное лицо с большими темными глазами нравилось женщинам, и только на лбу собирались преждевременные морщины. Дома и в театре ходил он в короткой бархатной куртке, всегда застегнутой наглухо.

— Вы свой номер приготовили? — небрежно спросил он, ероша русые кудри и думая о чем-то другом.

— Да... Я отлично выучила.

Девушка всегда немного конфузилась в присутствии Крапивина, который говорил ей «вы» и резко выделял ее из остального женского персонала. Держал он себя с ней слишком вежливо для антрепренера.

— Я на вас надеюсь... — коротко ответил Крапивин и прибавил: — Сегодня на репетицию будет сам генерал.

— Как же я в папильотках буду петь?

— Ничего... Старик добрый. Он расспрашивал меня, и я вперед похвастался вашим пением.

Этот мимоходом брошенный комплимент заставил Антониду Васильевну покраснеть, и она почувствовала, как в груди у нее сердце забило тревогу.

— Главное — костюм... — продолжал Крапивин, отбивая по столу красивым длинным пальцем дробь. — Впрочем, я сам посмотрю, когда все будет готово. Кстати, генерал мне говорил... Вы, вероятно, видели сегодня этот дурацкий поезд с собаками?

— Да... и медведи...

— И медведи... Так генерал предупредил меня, что этот Додонов большой меломан и, вероятно, сделает труппе предложение отправиться к нему на завод... Все будет зависеть от генерала, и я, право, не знаю, как отказаться от подобной чести.

— Зачем же отказываться?

Лицо у Крапивина вдруг нахмурилось, и он быстро вскинул глазами на смутившуюся от этого быстрого взгляда девушку. Он даже раскрыл рот, чтобы что-то высказать, но удержался и только торопливо тряхнул своими кудрями.

— Там увидим, — бормотал он, уже ласково глядя на Антониду Васильевну.

Когда Крапивин вышел из уборной, Антонида Васильевна опустилась на стул в сладкой истоме. Она теперь поняла все: Крапивин ее любит больше, чем антрепренер. У ней кружилась голова от незнакомого ей чувства охватившей радости. Как ей дороги показались теперь эти голые стены, колченогая мебель и вообще вся убогая обстановка уборной, — вот здесь сейчас тихо и радостно зародилось ее первое девичье счастье, и молодое сердце ударило в такт с другим сердцем. Девушка поняла и смутную тревогу Крапивина, который вперед ревновал ее к Додонову. Она посмотрела на себя в зеркало, выпрямилась и гордо улыбнулась.

— Генерал приехал, — шептала Улитушка, врываясь в уборную. — Приехал и сел в передний ряд.

А плут Яшка так под самым носом у него и лебезит...

В дверь постучал Гаврюша, — он исправлял и режиссерские обязанности. Нужно было выходить. Антонида Васильевна на скорую руку повязала голову тюрбаном, перекрестилась и уверенно вышла из уборной. Этот тюрбан очень шел к ней и сразу понравился генералу, который назвал ее турком. Она исполнила свой номер отлично, молодой голос легко и свободно разливался в пустой зале.

— Одобряю! — громко повторял генерал и даже в такт стучал костылем.

Это был настоящий николаевский генерал, высокий, плотный, остриженный под гребенку и туго затянутый в военный мундир с узкими рукавами, раструбом закрывавшими верхнюю часть кисти руки. Седые бакенбарды от самого уха шли полукругом к щетинистым усам. Широкое красное лицо с большим носом глядело грозно. Одна генеральская нога была контужена еще под Браиловым в турецкую кампанию 1827 года, и старик ходил с коротким костылем, который служил в то же время и орудием домашних мер исправления. Вытянувшийся в струнку молоденький адъютант везде сопровождал генерала, как тень, и ловил каждый его жест.

— Ваше высокопревосходительство, как вы находите? — почтительно спрашивал Крапивин, заходя к генералу сбоку.

— Одобряю... А впрочем, братец, сюртук нужно надевать... да, сюртук.

— Слушаю-с... Рады стараться, ваше высокопревосходительство.

— Ты должен другим служить примером... Я не люблю беспорядков. Даже турки — и те свой порядок знают...

Довольный своим каламбуром, старик отправился за кулисы и ласково потрепал Антониду Васильевну по заалевшейся щеке.

— Ну, турок, старайся... Мы будем смотреть и молодеть... А я здесь живу, как отец в большой семье... Так, Гоголенко?

— Точно так-с, ваше высокопревосходительство! — звонко отвечал адъютант, делая под козырек.

— Будьте и для нас родным отцом, ваше высокопревосходительство, — говорил Крапивин, беря Антониду Васильевну крепко за руку.

Генерал отступил на несколько шагов, смерил глазами стоявшую перед ним парочку и, весело улыбнувшись, ответил:

— Нет, не родным, а посаженым отцом согласен быть, хе, хе, хе!..

Антонида Васильевна вырвала свою руку и, зардевшись, скрылась в уборной. Это еще больше рассмешило генерала, и он, возвращаясь из-за кулис, несколько раз повторил:

— Турки всегда бегают от русских... Так, Гоголенко?

— Точно так-с, ваше высокопревосходительство.

— Всегда бегают, пока их не возьмут в плен...

III

Появление первого театра в Загорье всецело обязано было генералу. Старик захотел, чтобы театр был, и театр явился, как по щучьему веленью. Генерал был всесилен и при некоторой пылкости воображения мог бы строить пирамиды. Загорские купцы устроили подписку, и каменное здание театра, начатое весной, к осени было кончено. Для начала сороковых годов такая быстрота построек не была заурядным явлением. Секрет заключался в том, что генерал пожелал.

Труднее было организовать первую труппу, но и тут дело уладилось чуть ли не само собой. Подвернулся кочевавший по ярмаркам средней России антрепренер Крапивин, который и согласился ехать в Сибирь. Правильно поставленные труппы тогда существовали только в столицах да по богатым помещичьим имениям. Иногда еще появлялись бродячие труппы на бойких ярмарках, как и полуцыганская труппа Крапивина. Получив приглашение в Сибирь, он вынужден был потерять полгода, прежде чем обставил себя приличными

силами. Актеры еще были — военные в отставке, прогоревшие помещики, выгнанные со службы чиновники, но актрис, как свободной профессии, почти не существовало. Порядочные девушки не могли поступать на сцену уже потому, что быть актрисой считалось зазорным, а крепостные артистки были недоступны. У Крапивина явилась отчаянная мысль самому создать собственных актрис. С этою целью он отправился в Орловскую губернию, в именье недавно умершего помещика-меломана, у которого был свой домашний театр и при нем театральное училище, и здесь законтрактовал шесть девочек-подростков на особых условиях. Наследники меломана были рады выгодной афере и отпустили своих воспитанниц под надзором няньки Улитушки, которая должна была отвечать головой за целость доверенного ей живого товара. Девочки все до одной были крепостные — дочери дворовых и крестьян. Воспитанные в училище «полубарышнями», как говорила Улитушка, они были рады отправиться в неизвестную даль. Сам Крапивин, на их счастье, был очень порядочный человек и страстный любитель сцены. Он постарался обставить свою труппу, чтоб она не походила на ярмарочные балаганы, — средства были обеспечены вперед.

Прежде чем отправиться на Урал, Крапивин на пути дал несколько пробных спектаклей, чтобы определить собственные силы и чтобы труппа вообще, выражаясь технически, спелась. Как оказалось, выбор был сделан недурно, и молодые артистки производили просто фурор, особенно в среде помещичьей публики. Сразу выдались Антонида Васильевна, как хорошая певица и драматическая актриса, а потом балерина Фимушка (у орловского меломана было обращено особенное внимание на балет). В Симбирске у Крапивина произошла неприятная история из-за этих примадонн: привязались два помещика, которые сначала ухаживали за актрисами, а потом хотели их украсть. Когда последнее не удалось и они узнали, что актрисы крепостные, то поклялись, что их купят, несмотря ни на какие контракты. Крапивину ничего не оставалось, как спасаться бегством от закулисных героев, и он бежал, поплатившись за свои быстрые успехи декорациями и

частью театрального гардероба. Это было хорошим уроком для человека, который ехал в Сибирь, — приходилось держать ухо востро.

— Ты у меня смотри, старая! — каждое утро грозил Крапивин являвшейся к нему с докладом Улитушке. — Без соли съем, ежели что...

— И то стараюсь, Павел Ефимыч: все глазыньки проглядела...

Некоторым утешением для Крапивина являлось то, что в Сибири не было помещиков, следовательно, не могло быть и симбирских неприятностей, а купцы не посмеют грабить его. Конечно, были здесь богатые золотопромышленники-раскольники, потом крупные заводчики, но первые жили по-старинному, а последние не показывали носа на Урал. Все-таки, во избежание недоразумений, Крапивин, по приезде в Загорье, немедленно явился к генералу и объяснил ему все начистоту.

— Не беспокойся, братец: я здесь один отец для всех, — успокоил его старик, любивший театр. — Гусаров у нас нет, а с остальными мы справимся, в случае чего... На гауптвахту — и конец делу.

— Я маленький человек, ваше высокопревосходительство, защитите.

— Хорошо, хорошо... У меня все по-семейному.

Старик генерал был главным горным начальником и пользовался почти неограниченною диктаторскою властью. Крепостное горное положение являлось государством в государстве, и недаром старик называл себя под веселую руку царем.

Обеспечив себя с этой стороны, Крапивин постарался обставить себя и дома, как в неприступной крепости. Поместившись в мезонине, он мог видеть каждый шаг. Актрисы не имели права делать ни одного шага без его позволения. Когда комик Гаврюша бренчал на разбитых фортепианах, помогая Антониде Васильевне разучивать оперные нумера, Улитушка сидела около него с чулком в руках и не спускала глаз. То же было и с Яковом Ивановичем, когда под его скрипку выплясывала Фимушка любимые публикой характерные танцы.

— Гаврюша ничего, а Яшки я боюсь: хитер пес, — жаловалась Улитушка. — Того и гляди, набалует. Очень уж у него глаз вострый да масленый.

Ввиду такой опасности Крапивин заставлял Антониду Васильевну разучивать нумера при себе. Он все сильнее и сильнее привязывался к даровитой девушке, делавшей быстрые успехи. Репертуар был небольшой, но тщательно составленный: оперы — «Семирамида», «Белая дама», «Тоска по родине», трагедии — «Коварство и любовь», «Дмитрий Донской», драмы — «Она помешана», «Дитя, потерянное в лесу», комедии — «Урок дочкам», «Заемные жены», «Три султанши», «Жена и зонтик» и целый ряд веселых старинных водевилей — «Архивариус», «Ночной колокольчик», «Лорнет» и т. д. Больше всего Крапивин рассчитывал на две пьесы, которые и ставил на первый раз с особенною тщательностью: «Параша Сибирячка» Полевого и «Русская свадьба» Сухонина. Он видел эти пьесы в Петербурге и хотел удивить провинциальную публику. Кроме того, Антонида Васильевна разучила несколько модных романсов.

— Нам придется создавать здесь театральную публику, — объяснял Крапивин своей примадонне, с которою обращался по-товарищески. — Дело не легкое, но мы будем работать вместе.

— Я боюсь генерала, Павел Ефимыч, — наивно признавалась Антонида Васильевна, выращенная в страхе божием и барском.

— Пустяки... Старик добрый.

Дома актрисы ходили в простеньких ситцевых платьях и вообще одевались скромно. Театральный гардероб тоже был невелик, потому что невозможно было обставить сразу целый театр. Но все это сравнительно являлось пустяками, а Крапивина беспокоила мысль о том, как бы выкупить своих артисток на волю. Конечно, он мог сначала откупить одну Антониду Васильевну, но такое преимущество поставило бы его в фальшивое положение пред остальными, тем более что он положительно чувствовал себя неравнодушным к примадоннам. В нем боролись антрепренер и любовник.

Первое представление сошло блистательно. Присутствовал сам генерал, а следовательно, вся его свита и целый штат горных инженеров. Набрались в ложах местные чиновники и купцы с семьями, а один золотопромышленник купил целых пять лож, чтобы угодить генералу, но сам в театр не посмел явиться, опасаясь своих начетчиков и исправленных попов с Иргиза. Одним словом, набралась чисто-сибирская публика. В новеньком занавесе уже были проверчены хористками дыры, и любопытные глаза рассматривали сидевших в партере.

— Додонов здесь, — шушукались между собой актрисы. — Сидит рядом с генералом.

Последнее известие сильно взволновало Крапивина. Он инстинктивно боялся этого человека, напоминавшего ему оставленную там, далеко, помещичью Россию. Он даже боялся подойти к занавесу и посмотреть на своего неприятеля. Антонида Васильевна тоже заметно волновалась, но старалась не выдать себя. А Додонов сидел и весело разговаривал с генералом. Это был среднего роста, средних лет господин, одетый в статское платье. Но сюртук не мог скрыть военной выправки. Додонов когда-то служил в одном из дорогих полков и по одной истории вышел в отставку с чином полковника. Круглое усатое лицо глядело большими усталыми глазами. Когда Додонов улыбался, у него неприятно оскаливались десны. Массивная золотая цепь, болтавшаяся на пестром бархатном жилете, и толстый перстень с большим солитером на большом пальце левой руки выдавали записного столичного щеголя. Он сидел, заложив одну короткую ногу на другую, и не обращал никакого внимания на почтительно сидевшую в партере публику.

— Я тоже люблю театр, ваше превосходительство, — говорил он, немного картавя и растягивая слова.

— Отличное дело, отличное дело... Необходимо развивать вкус в публике.

— У меня будет свой театр, ваше превосходительство. Надеюсь, что вы не откажетесь осчастливить меня своим посещением, когда, конечно, все будет устроено.

— Непременно, непременно.

Генерал вообще был в духе и милостиво шутил с окружающими. Когда он аплодировал, остальные неистово его поддерживали. В одном месте он резко оборвал Якова Ивановича.

— Вторая скрипка врет!

«Параша Сибирячка» прошла отлично, и сам генерал вызывал Антониду Васильевну. Додонов молчал и только мельком взглянул на раскланивавшуюся примадонну прищуренными глазами. Этот взгляд сильно смутил девушку, и она чувствовала его на себе все время, — он ее точно связывал и лишал необходимой свободы.

Танцевавшая в антракте Фимушка вызвала целую бурю восторга, генерал даже стучал своим костылем, а Додонов аплодировал ей, улыбался и еще сильнее щурил свои глаза.

— Каковы у меня актрисы, полковник? — хвастался старик. — Хоть сейчас в столицу... Конечно, они еще молоды...

— С молодостью еще можно помириться, ваше превосходительство... Это такой недостаток, который исправляется сам собой.

— Ты думаешь?.. Полковник, смотрите, у меня строго... Ни-ни!..

Вызванный Крапивин раскланивался с публикой, прижимая руку к сердцу. Додонов внимательно рассматривал его в золотой лорнет, а потом, не дождавшись конца спектакля, ушел. У Крапивина точно гора с плеч свалилась, когда он увидел рядом с генералом пустое кресло. Но Крапивин поторопился обрадоваться: Додонов сидел в уборной Фимушки и как ни в чем не бывало забавлялся смущением перепуганной крепостной танцовщицы. Улитушка попробовала было загородить ему дорогу в уборную, но Додонов оттолкнул ее, как тряпичную куклу.

— Пропала моя головушка... — причитала старуха, поймав Крапивина. — Так прямо и лезет в двери, бесстыжие глаза. Легкое место сказать: Фимушка-то чуть не голая там с ним сидит.

Крапивин весь побелел от бешенства, но что делать с нахалом? Выгнать его — значило оскорбить генерала. Но опытный и бывалый человек нашелся; отдан был приказ Якову Ивановичу играть какой-то испанский танец, и Фимушка была освобождена. Она танцевала теперь с особенным усердием и немедленно после своего номера, под конвоем Улитушки, была препровождена на квартиру. Додонов посидел несколько времени один, а потом надел картуз и вышел. Вся труппа вздохнула свободнее, когда его широкая спина скрылась в проходе со сцены в буфет. Антонида Васильевна сидела в это время в своей уборной, затворив двери на крючок, — ее била лихорадка, как и в Симбирске.

«Если так дело пойдет и здесь, то мне опять придется бежать», — думал про себя Крапивин, решившийся бороться отчаянно.

После спектакля генерал тоже явился за кулисы и потребовал «турка». Когда девушка, не успевшая еще переодеться после «Русской свадьбы», вышла к нему в своем красном сарафане, он по-отечески расцеловал ее в обе щеки и проговорил:

— Одобряю, милашка... Есть талант. Молода еще, всего не поймешь сразу, но старайся. Так, Гоголенко?

— Совершенно верно-с, ваше высокопревосходительство.

— Весьма одобряю...

Со стороны генерала особенной опасности не предвиделось: он был женатый человек, да и его собственные лета служили лучшим обеспечением. Старик действительно любил сцену, и только.

Первые же спектакли показали, что существование труппы в Загорье совершенно обеспечено. Главною поддержкой всего дела являлся все-таки генерал, который не пропускал ни одного представления. После первого спектакля Додонов больше не показывался в театре. Крапивин лез из кожи, чтобы не ударить лицом в грязь, и с раннего утра до позднего вечера не знал отдыха. Он был один и везде должен был поспеть в свое время. Единственным его отдыхом были те немногие часы, которые он проводил в комнате Антониды Васильевны, — у ней была своя комната, как и уборная.

— Нужно серьезно относиться к делу, — поучал Крапивин свою первую ученицу. — Первые успехи еще ничего не значат. Даром ничего не дается... Для сцены стоит поработать. Нас после помянут добрым словом...

Старая Улитушка была очень недовольна этими беседами с глазу на глаз. «Вот еще моду затеяли, на что это похоже?.. Отвечать-то перед господами кому придется?.. А девка молодая, долго ли до греха?..» Другие девушки ревновали Антониду Васильевну и посмеивались над старухой, особенно беззаботная и простоватая Фимушка.

— Ох, согрешила я с вами! — стонала старуха и даже отплевывалась. — Вот ты, Фимка, ногами дрыгаешь, а того и не подумаешь, что и ноги-то у тебя не свои.

— А чьи, няня?

— Известно, чьи — господские... Вся ты чужая, Фимка!

IV

Перед рождеством генерал пригласил Крапивина к себе. Антрепренер надел свою лучшую пару и отправился с визитом не без некоторого опасения. Когда извозчик подвозил его к высокому двухэтажному зданию с мезонином, колоннами, террасой и двумя балконами, он предпочел бы лучше вернуться домой. Утро стояло морозное, и стоявшие у подъезда лошади нетерпеливо вытанцовывали лихорадочную дробь. В передней уже ожидали своей очереди несколько горных чиновников и два подрядчика. Крапивин скромно поместился в уголке и здесь терпеливо ожидал своей очереди. Швейцар из отставных солдат появлялся в дверях и выкрикивал фамилию очередного. Крапивину пришлось ждать недолго — швейцар пригласил его не в очередь.

Передняя с комнатой, где дожидались посетители своей очереди, помещалась в нижнем этаже. Широкая мраморная лестница вела вверх, где расположена была генеральская казенная квартира.

— Обождите малость здесь, — задыхавшимся шепотом предупредил швейцар, оставляя Крапивина во второй приемной наверху.

Он вернулся сейчас же и молча распахнул двери в большой зал с паркетным полом. Из этой комнаты одна дверь вела в гостиную, а другая в кабинет. Генерал сидел у письменного стола в «вольтеровском» кресле; Гоголенко скромно помещался в уголке, между письменным столом и шкафом с бумагами.

— А, это ты, братец! — заговорил генерал, не глядя на вошедшего и милостиво протягивая ему два пальца.

— Не замедлил явиться, ваше высокопревосходительство.

— Спасибо за исправность... А я тебя, братец, пригласил затем, чтобы поблагодарить... Да, спасибо. Отличная у тебя труппа.

— Вы очень снисходительны, ваше высокопревосходительство.

— Нет, зачем? Что̀ хорошо, то хорошо... Одобряю. Даже столичные люди, и те приходят в восторг... Мне весьма лестно. Вчера был у меня полковник Додонов и тоже одобрял. Он большой меломан и знает толк... гм... да... Так вот этот полковник Додонов и пригласил меня к себе на завод. У него там театр домашний выстроен... вся обстановка... Так как в субботу труппа свободна, то полковник Додонов и делает тебе приглашение играть у него. До завода всего пятьдесят верст, зимой это три часа езды... Все расходы и лошади на счет полковника Додонова. Предложение выгодное для тебя и лестное для меня... Ну, что же ты молчишь?

— Я, ваше высокопревосходительство... если, конечно, вы, ваше высокопревосходительство... вообще я очень благодарен вашему высокопревосходительству.

— Я это знал и вперед выразил свое согласие полковнику... В следующую субботу мы, значит, увидимся с тобой в Краснослободском заводе.

— Как вам будет угодно, ваше высокопревосходительство...

— Постарайся не ударить лицом в грязь... Не так ли, Гоголенко?

— Точно так-с, ваше высокопревосходительство.

Крапивин побледнел как полотно, но ничего не возражал, — это было бесполезно. Генерал не выносил противоречий. Когда Крапивин, откланявшись, выходил уже из двери, старик окликнул его.

— Вот что, братец... Если ты сомневаешься за безопасность своей труппы, то могу тебе поручиться. Полковник, конечно, большой аматер и любит хорошеньких женщин, но, во-первых, у него своя труппа есть для этого, а во-вторых, мы ему пропишем такую Симбирскую губернию... У меня все по-семейному, и я не посмотрю, что он полковник!

— Рад стараться, ваше высокопревосходительство!

Домой Крапивин вернулся, как в тумане. У него все вертелось в голове. Как избыть налетевшую беду? Пожалуй, это будет похуже симбирских помещиков, да и бежать дальше уж было некуда.

— Позовите ко мне Антониду Васильевну, — сказал он кому-то из попавшихся навстречу актеров.

Когда девушка пришла в мезонин, Крапивин довольно сухо пригласил ее сесть, прошелся несколько раз по комнате и заговорил:

— Сейчас я получил большую неприятность... Генерал непременно желает, чтобы наша труппа каждую субботу ездила в Краснослободский завод и давала спектакли на домашнем театре Додонова. Вы, вероятно, стороной слышали, что за человек этот Додонов, поэтому не буду распространяться о нем... Рассориться с генералом я не могу, и остается одно средство спасения: бежать опять. Вот я и пригласил вас, Антонида Васильевна, чтобы серьезно посоветоваться, что делать. Я на вас смотрю, как на лучшую надежду всей труппы... вы уж большая... наконец, вы хорошо знаете меня.

Эта откровенность сначала смутила Антониду Васильевну, но потом она прямо посмотрела в глаза Крапивину и проговорила тихо:

— Откровенность за откровенность, Павел Ефимыч: вы боитесь за меня?

— Если хотите, да... я именно за вас боюсь...

— Напрасно... Я слишком уважаю свое положение, чтобы променять его на какое-нибудь другое.

Крапивин ласково взял ее за руки и со слезами в голосе заговорил:

— Дитя мое, я верю вам... я не могу не верить. Но для всякого страшно одно: человек не знает самого себя. Я понимаю, что в вас сейчас говорит известное чувство благодарности, наконец в вас есть хорошие привычки и то, что называется порядочностью, но есть также богатство, роскошь... Устоите ли вы перед страшным соблазном? Богатства я вам не могу обещать... напротив, перед вами жизнь, полная лишений и труда. Наша профессия даже не пользуется необходимою степенью уважения, и особенно женщине приходится выносить много несправедливостей. Вы знаете, как смотрят на актрис наши театральные меломаны...

Крапивин вообще говорил недурно, а теперь он увлекся.

— Искусство святая вещь, а сцена — это верх всякого искусства. Вашими слезами будут плакать тысячи зрителей, они же будут смеяться вашим смехом, а вы будете проводить в темную и необразованную массу идеи истины, добра и красоты. Хорошая сцена воспитывает массы, она вносит в ежедневный обиход этой жизни свой язык и пробуждает в обществе лучшие инстинкты и стремления. Величайшие умы работали для театра, чтобы этим путем провести в жизнь свои заветные убеждения, назвать каждый порок его настоящим именем, обличить неправду и сказать ласковое, хорошее слово тем, кому жизнь тяжела... Ах, нет, вы еще не можете понять всего! — как-то застонал Крапивин и отвернулся, чтобы скрыть навернувшиеся на глаза слезы. — Вы потом, когда-нибудь поймете меня.

Действительно, эта убежденная речь была понятна девушке только вполовину, а Крапивин говорил с ней слишком возвышенным языком. Ей более понятно было то, что слышалось в интонации, в страстных переливах голоса и во взгляде собеседника. Раньше ей льстило особенное внимание, с каким относился к ней Крапивин, но теперь она даже испугалась завязывавшейся короткости. Ей просто хотелось жить, не взваливая на себя каких-то странных обязанностей и не подвергаясь ответственности.

На этом общем совете было решено, что труппа поедет к Додонову, приняв необходимые предосторожности. Крапивин все-таки ужасно волновался, хотя и старался не выдавать себя перед труппой. Он сделался подозрительным. Актеры были слишком испорченный народ, чтобы сочувствовать ему. В этом случае он и не ошибался. Первым противником являлся тот же Яков Иванович, расстраивавший труппу своими смешками и подмигиваниями.

— У нас не труппа, а какой-то монастырь, — вышучивал он актеров. — Конечно, Крапивину это на руку... И Антониду Васильевну в лапы забрал, да и других упустить не хочется. Жирно будет... хе, хе! Погоди, вот Додонов покажет, как добрые люди на свете живут.

Наступила и роковая первая суббота. В полдень к театральной квартире подкатило ровно десять троек, заложенных в ковровые кошевые. Из всех экипажей выделялась белая кошевая, заложенная сивою тройкой. И дуга была белая, и вся сбруя из белой лакированной кожи с серебряным набором, и колокольцы под дугой серебряные; ухарь-кучер с седой бородой сидел на облучке орлом.

— Я скажусь больной... — заявила Антонида Васильевна в решительную минуту.

— Нет, зачем же? — успокаивал ее Крапивин. — Я этого не желаю... Делайте так, как скажет вам ваше сердце. Что думаю я, вы знаете...

Прокатиться на таких тройках для всей труппы было настоящим праздником. Особенно волновались женщины, напрасно стараясь скрыть свою радость от хмурившегося начальства. Крапивин своими руками усадил Антониду Васильевну в белую кошевую, вместе с нянькою Улитушкой. Балерина Фимушка тоже рассчитывала попасть сюда и была обижена, когда пришлось ехать в обыкновенной кошевой, вместе с другими. Крапивин ехал последним и на всякий случай сунул заряженный пистолет в боковой карман своей бархатной курточки. С ним рядом сидел режиссер Гаврюша.

— Взяли бы и нас, Павел Ефимыч, — просился Яков Иванович.

— У Додонова свой оркестр.

Но Яков Иванович все-таки уехал в Краснослободский завод, примостившись где-то с актрисами.

Погода стояла морозная, крепкая. Широкая дорога лентой повела в Урал, туда, где синими шапками теснились горы. Скоро начался лес, стоявший по колена в глубоком снегу. Особенно красивы были ели, обсыпанные мягкими белыми хлопьями, точно какие сказочные деревья. С гиком и свистом летели тройки вперед, заливаясь колокольчиками, а впереди всех, как лебедь, неслась белая кошевая. Вся труппа была в восторге от этого импровизированного удовольствия, и даже Гаврюша улыбался, искоса поглядывая на молчавшего Крапивина. Антонида Васильевна заалелась на морозе всей своей молодой кровью и все оглядывалась назад, стараясь рассмотреть, где ехал Крапивин.

— Няня, как хорошо... как хорошо! — шептала она, припадая к Улитушке.

— Глупая ты, Тонюшка, вот что! — ворчала зябнувшая старуха. — Чему радуешься-то прежде времени? Павел Ефимыч вон ночь-ночью сидит...

— Ах, няня... чем же мы-то виноваты?

В одном месте заяц бойко пересек дорогу, отковылял немного в сторону и присел под елкой. Улитушка так и ахнула.

— Ох, неладно дело... — шептала она, творя молитву и отплевываясь на левую сторону. — Чтобы ему пусто было, треклятому! Обождал бы, а то прямо через дорогу. Ох, не быть добру...

В сумерки поезд уже подъезжал к заводу. Кругом широкими валами расходились горы. Селение залегало кривыми улицами по отлогому скату. Громадный заводский пруд уходил из глаз белою скатертью. У плотины весело дымилась и сыпала искрами фабрика. Веселые огоньки мигали по всему селению. Громадный господский дом стоял на прикрутости, недалеко от фабрики, и спускался к пруду старинным садом. Окна были ярко освещены, и, видимо, все ожидало гостей. В саду темною глыбой поднималось какое-то необыкновенное здание, с вышками и башенками.

— Это театр? — спрашивала Антонида Васильевна кучера.

— Нет, барышня... собачий дворец.

Подъезд был ярко освещен, и гостей встретила целая толпа прислуги, разодетой в русские костюмы — поддевки, красные шелковые рубахи, бархатные шаровары и круглые шапочки с павлиньими перьями. Пахнуло теплом громадного барского дома. Воздух был подкурен ароматическою смолкой. Какой-то лысый старичок принимал всех с низкими поклонами и повел гостей в нижний этаж, где приготовлена была целая квартира — три комнаты для актрис и две для актеров. Несколько горничных помогали актрисам раздеваться и глядели на них с жадным любопытством. Крапивин осмотрел квартиру и запер на ключ маленькую дверку, выходившую куда-то в темный коридор.

— Пожалуйте к барину, — приглашал его лысый старичок. — Генерал еще не приехали, и придется подождать-с.

Крапивина повели во второй этаж, передавая с рук на руки, от одного лакея к другому. Мраморная широкая лестница была устлана ковром, по сторонам зеленела шпалера из экзотических растений. Во втором этаже открывалась целая анфилада комнат, освещенных в ожидании генерала, как перед праздником. Хозяин ждал антрепренера в своем кабинете. Это была высокая комната, обитая дорогими тиснеными обоями. По стенам было развешано всевозможное охотничье оружие, блестевшее золотою и серебряною насечкой. Два шкафа по углам тоже заняты были принадлежностями охоты. Несколько турецких низеньких диванчиков и большой письменный стол составляли всю мебель. Над столом, в простенке между двумя окнами, в тяжелой золоченой раме висела большая картина. Конечно, это была голая красавица, валявшаяся на пестрой тигровой шкуре. Додонов дома ходил в пестром шелковом бешмете и в турецкой фесе. Он не протянул руки Крапивину и не предложил стула.

— Генерал передал вам мои условия, — с легкою картавостью проговорил он, передавая пакет. — А это

мой задаток. Надеюсь, господа артисты не будут на меня в претензии.

— Я думал бы свести счеты потом.

— Пожалуйста, без возражений.

Выходя из кабинета, Крапивин думал: «Вот мерзавец!» Он, не разорвав конверта, сунул пакет в боковой карман, где лежал пистолет. Следующею неприятностью для него было то, что он нашел актеров в буфете, где их угощал лысый старичок. Актрисам был подан чай.

— Мне придется, пожалуй, играть одному, — заметил Крапивин, указывая старичку на бутылки.

— С холоду только погреться... немножко...

— Все это так, но не лишнее было бы спросить и меня.

— Слушаю-с.

V

Генерал заставил себя прождать до девяти часов вечера. Согревшись после холода, актрисы дремали, а Фимушка, привезенная для какого-то номера в дивертисменте, спала самым бессовестным образом. Антонида Васильевна жаловалась на головную боль, — у ней действительно глаза были красные.

— Мне нужно посмотреть сцену, — несколько раз повторял Крапивин прислуживавшемуся около актеров старику.

— Все готово, будьте спокойны. У нас порядок.

— Да ведь нужно же знать, как двери отворяются?

— Не приказано-с...

Когда последовало, наконец, приказание, актеров гурьбой повели какими-то коридорами и переходами сначала в зимний сад, а потом уже в театр. Это было совсем отдельное здание, устроенное по специальному плану. Маленькая сцена походила на игрушку, — вымощена она была так высоко, что музыканты сидели совсем в яме. Партера не было, а для публики назначался полукруг лож. Вся обстановка этой затеи поражала роскошью. Стены и потолок расписаны в голубовато-сером тоне, с серебром; такой же занавес с

довольно смелым мифологическим сюжетом — Венера рождалась из серебряной пены; ложи отделены между собой драпировками из тяжелого китайского шелка, в простенках опять шелковые полосы — одним словом, театр хоть куда. Уборная примадонны походила на бонбоньерку, выложенную серебристым атласом. Даже Крапивин ахнул, когда осмотрел все.

— Это какой-то сумасшедший, — бормотал он, шагая за кулисами. — Тут нужно не наших ситцевых актрис, а совсем другое.

Всех больше восторгался Яков Иванович, толкавшийся в оркестре. У Додонова свой оркестр состоял из двадцати пяти человек, под управлением капельмейстера-итальянца Неметти. Музыканты были набраны из своих крепостных и всюду сопровождали владыку.

Спектакль начался только в десять часов и кончился около часа. Для первого раза был поставлен водевиль «Петербургский булочник», а остальное дивертисмент: пела Антонида Васильевна, танцевала качучу Фимушка, сам Крапивин декламировал монолог из «Разбойников» Шиллера. Антракты были очень короткие, так что актеры едва успевали переодеться. Публику изображали всего двое: генерал и Додонов. Гоголенко, конечно, был тут же, но он не мог идти в счет, как простая тень генерала. В углу одной ложи пряталась какая-то женская фигура, которая интересовала всех актеров, — очевидно, это была одна из додоновских одалисок. Яков Иванович напрасно старался разглядеть таинственную незнакомку, хотя после и уверял всех, что это замечательной красоты девушка, с огненными глазами и китайскою ножкой.

Аплодисментов и вызовов не было, а только генерал послал своего адъютанта выразить господам артистам благодарность. Крапивин вздохнул свободнее, когда все кончилось. На деле пока еще ничего страшного не было, хотя Улитушка вздыхала и морщилась больше обыкновенного.

— Это просто скучно, — решила Фимушка, когда актрисы вернулись в свои комнаты. — Хоть бы медведей посмотреть.

Утром следующего дня труппа весело катила домой тою же дорогой и в том же порядке. Крапивин совсем успокоился. Когда он вечером распечатал конверт, в нем оказалась ровно тысяча рублей, — это было уж совсем по-барски, и можно было помириться с некоторыми неудобствами. Да и сам Додонов держался таким неприступным божеством, что лучшего и требовать было нельзя.

Любопытство труппы было удовлетворено, и Крапивин был спокоен за следующую поездку. Додонов просто дурил, не зная, куда ему девать свои миллионы. Ну, и пусть его дурит... Антонида Васильевна молчала, но она только сейчас заметила бедную обстановку и своей квартиры и театральной уборной. Она даже во сне видела *свою* уборную в театре Додонова, — да, это была *ее* уборная, устроенная именно для нее. У девушки являлось неясное и глухое чувство недовольства, нежелание выдать свое душевное настроение, особенно Крапивину. Никогда она еще не чувствовала с такою болезненною ясностью своего приниженного положения крепостной артистки, и что-то вроде зависти мелькнуло у ней к другой обстановке.

— А ты не слушай Павла-то Ефимыча. Совсем-то не слушай: он свое, а ты свое. У мужчин у всех повадка...

— Грешно, няня, тебе так говорить...

— Не про себя говорю, матушка. И в глаза Павлу-то Ефимычу скажу... Мужчина-то куда захотел, туда и пошел, а девушке одна дорога.

— Какая?

— А такая... Будешь все знать, скоро состаришься.

Следующая поездка оказалась веселее. Генерал не приехал, и Додонов после спектакля пригласил всю труппу ужинать к себе наверх. Все время на хорах играла музыка, и дамы были в восторге. Додонов сидел в конце стола и весело разговаривал с Антонидой Васильевной. Он сам почти не пил никакого вина, но к гостям был беспощаден — прислуживавшие за столом лакеи не давали опустеть ни одной рюмке. Крапивин пил больше обыкновенного и делал вид, что очень доволен всем и всеми. Только когда Фимушка выпила

лишнее и чуть не заснула за столом, он побледнел и сморщился.

— Господа, не забудьте, что мы здесь едим и пьем из милости, — объяснял Крапивин подгулявшим артистам. — Это печальная необходимость в нашем положении, но нужно бояться прихлебательства и лакейства.

В следующий раз Додонов показал труппе свой собачий дворец и вообще всю охоту.

— Хотите посмотреть, как травят медведей? — предлагал он Антониде Васильевне.

— Ах, нет... Страшно!

— Ну, не так страшно, как может показаться издали, — заметил он, прищуривая глаза. — Знаете, какое самое страшное из всех животных?

— Тигр?

— Нет.

— Лев?

— Нет: человек.

Со своими гостями Додонов вообще держался джентльменом. Правда, проскальзывала иногда обидная снисходительность, но он умел ее очень ловко стушевать. Когда генерала не было, в театре набиралось довольно много публики, и все ложи были заняты. Появлялся старичок исправник, потом старшие служащие с семьями. Додонов обыкновенно сидел в ложе один и на сцену не заглядывал.

— Где же гарем? — допытывалась любопытная Фимушка.

Актеры молчали, хотя и шептались между собой. Существование гарема было известно всем и больше всего интересовало гостей, но никто и ничего не умел сказать. Улитушка пробовала заговаривать с горничными, но те прикидывались чуть не глухонемыми. Лысый старичок — его звали Иваном Гордеевичем — был ласков попрежнему, но тоже молчал.

Этот Иван Гордеевич, приезжая в город, непременно завертывал к актерам. Он «барышням» привозил конфеты, а мужчин угощал барскими сигарами. Особенно близко ласковый старичок сошелся с Улитушкой и Яковом Ивановичем. Они запирались втроем и

о чем-то подолгу беседовали. Улитушка заметно скрытничала, а по вечерам от нее пахло иногда наливкой. Однажды Иван Гордеевич забрался в комнату Антониды Васильевны.

— Посмотреть на вас завернул, ангел вы наш, — объяснил он. — Довольно-таки у нас в заводе про вас разговоров... хе, хе!

— Неужели уж других разговоров нет, как только про меня?

— Говорим обо всем... разное говорим, а под конец и сведем на Антониду Васильевну. Ей-богу-с...

— А для чего вы Улитушку наливкой поите?

— Что-то не упомню-с... При древности ихних лет их и без наливки ветром шатает, а старушка почтенная. Позвольте ручку поцеловать.

Антонида Васильевна подозревала, что происходит что-то неладное, но что именно — не могла разгадать. Ее и занимало легкое ухаживанье Додонова и вместе делалось страшно. Но ведь не съест же он ее в самом деле, а отчего не подурачить такого миллионера, привыкшего к легким победам? Пугало ее, между прочим, то, что Додонов славился силой: ломал подковы и ходил один на медведя, — что такому зверю стоило схватить ее и затащить куда-нибудь в такой угол своего дворца, откуда не выцарапаешься? При каждом удобном случае Улитушка старалась ввернуть словечко за Додонова — вот барин так настоящий барин, и все у него форменно.

— А зачем он своих крепостных девушек мучит, хороший-то барин? — спорила с ней Фимушка. — Набрал их чуть не сотню, да и запер под замок, как кощей.

— Ты еще этого и понимать не можешь: известно, барское положение. Чего им, девушкам твоим, сделается: кормят, одевают, а потом и замуж выдадут. Небось не убудет, что поживут в холе да в неге. За счастье должны считать, что внимание обратили на их черную кость...

В Улитушке сказалось старое рабье сердце, хотя она и сама в дни своей юности немало износила горя от такого барского внимания.

VI

Последняя суббота перед рождеством осталась в памяти Антониды Васильевны навсегда. В господском доме опять ждали генерала, и артисты слонялись из угла в угол без всякого дела. Особенно скучали артистки, которым положительно было некуда деваться. Актеры в таких случаях обыкновенно забирались во флигель к додоновским музыкантам и там коротали время за графином с водкой. Зимний вечер тянулся без конца. Фимушка, по обыкновению, спала; другие актрисы тоже дремали. Одна Улитушка старалась бодрствовать, что стоило ей громадных усилий: после мороза старуху так и позывало всхрапнуть часик-другой.

Антонида Васильевна сидела у стола и читала какую-то роль для праздничных спектаклей. Чья-то легкая рука притронулась к ее плечу и заставила оглянуться, — это была низенькая старушка в старинном сарафане с серебряными пуговицами. Она глазами показала на дремавшую Улитушку и знаками пригласила следовать за собой. В первую минуту девушка не согласилась, но потом махнула на все рукой: одолела скука... Да и старушка такая приличная на вид, а Додонов сидит в кабинете с Крапивиным. Старушка, как тень, повела ее за собою.

— Куда вы меня ведете? — спрашивала Антонида Васильевна, когда они очутились в коридоре.

— Милушка ты моя, не бойся... — ласково шептала старушка. — Послали меня за тобой... Пелагея Силантьевна прислала, потому давно ей охота тебя повидать.

— Какая Пелагея Силантьевна?

— А вот увидишь какая... Только бы этот змей нам не встретился, Иван Гордеич. Сживет он меня со свету...

Безвыходное положение ласковой старушки тронуло Антониду Васильевну, и она пошла за ней, догадываясь, куда та ее вела. Миновав большой коридор, они свернули куда-то налево, потом поднялись во второй этаж и опять пошли по коридору. Видимо, их ждали, и невидимая рука отворила дверь в конце коридора.

— Ну, вот и пришли, слава богу, — уже весело заговорила старушка и повела гостью за руку через ряд низеньких и жарко натопленных комнат.

Кругом была самая скромная семейная обстановка. Обтянутая дешевеньким ситцем мебель, выкрашенные серою краской стены, цветы — и только. Навстречу из одной комнаты показалась невысокого роста худенькая дама и сделала старушке знак оставить их одних.

— Извините, что я вас побеспокоила, — заговорила она приятным и свежим голосом, который совсем уж не гармонировал с ее истомленным, худым лицом и тонкими, как плети, руками. — Вы не сердитесь?

— Нет... вы желали меня видеть?

Хозяйка усадила гостью на маленький диванчик и все смотрела на нее своими неестественно горевшими глазами.

— Неужели вы ничего не слыхали про Пелагею Силантьевну? — спрашивала она, едва удерживаясь от желания расцеловать гостью. — А мне так хотелось вас видеть, видеть совсем близко. Какая вы красивая... свежая... Я всего раз видела вас и то издали — в первый спектакль. Но о вас столько говорят... я первая без ума от вас... помните, как вы тогда пели?.. Я ведь тоже прежде пела...

Хозяйка не давала гостье сказать слово и все говорила сама, говорила торопливо, точно боялась чего-то не досказать. Время от времени она схватывала руку Антониды Васильевны и прикладывала ее к своей груди.

— Слышите, как сердце бьется... точно птица? О, я скоро умру, и лучше. А ведь я тоже была красивая, — не такая, как вы, но могла нравиться...

Пелагея Силантьевна откровенно рассказала о себе все: она дочь чиновника, бедного маленького петербургского чиновника, и познакомилась с Додоновым лет десять тому назад, когда поступила швеей к его матери. За работой она всегда пела, и голос ее погубил... У Додонова всегда был целый штат любовниц, но она его полюбила и теперь еще любит.

— Вы, может быть, хотите взглянуть на его теперешних фавориток? — неожиданно предложила она и,

не дожидаясь ответа, что-то шепнула ласковой старушке, вынырнувшей точно из-под земли. — Это будет для вас интересно... а потом Галактионовна вас проводит другим ходом, чтобы не встретиться с кем-нибудь.

В коридоре скрипнули двери, и послышались легкие шаги. Антонида Васильевна не знала, куда ей деваться: и посмотреть ей хотелось додоновских красавиц и как-то делалось совестно. Ведь им, наверное, будет неловко перед посторонним человеком. А в соседней комнате уже слышался смех, и шушуканье, и ворчание Галактионовны, терявшееся в сдержанном шуме голосов. Когда Антонида Васильевна вышла в гостиную, у ней зарябило в глазах — так много было девушек. Много было красивых и молодых лиц, но красавицы ни одной, и все одеты очень скромно, как небогатые швейки. Они смотрели на актрису во все глаза, и только две девушки прятались назади.

— Это новенькие... — шепнула Пелагея Силантьевна. — Еще не успели привыкнуть.

Всех девушек было пятнадцать, и Пелагея Силантьевна называла их в глаза мастерицами.

— Хотите посмотреть девичью? — предлагала она.

— Если это никого не стеснит.

— У нас попросту, без стеснений.

«Девичья» состояла из ряда комнат, обставленных еще скромнее квартиры Пелагеи Силантьевны, — получалось что-то вроде меблированных комнат. В каждой кровать, комод с зеркалом и несколько стульев. На всех окнах занавески. Девушки сначала дичились гостьи, а потом самые смелые даже начали разговаривать с ней. Была и общая комната, в которой жили девушки, получившие отставку. В другой такой же общей комнатке помещались кандидатки в девичью, — их долго мыли и чистили, учили манерам и умению одеваться, прежде чем представить владыке. Одна комната была заперта, и Антонида Васильевна поинтересовалась узнать, что здесь находится.

— А это так... на всякий случай, — уклончиво ответила Пелагея Силантьевна, моргая глазами в сторону столпившихся девушек.

— Карцер? — догадывалась Антонида Васильевна.

— Почти... вообще, когда нужно отделить кого-нибудь. Наказаний у нас не полагается, а домашние меры...

По знаку Пелагеи Силантьевны, все девушки разошлись по своим местам. Антонида Васильевна стала прощаться. У ней было грустно и тяжело на душе.

— Посидели бы вы, голубчик, — умоляла хозяйка. — Если бы вы знали, как мы здесь все любим вас... Когда вы поете, все девушки слушают вас из зимнего сада. В театр им нельзя показаться, так хоть издали послушают... Они меня умоляли пригласить вас сюда.

— Очень рада... я не знала этого раньше.

— А вы обратили внимание на последнюю привязанность Виссариона Платоныча? Представьте себе, совсем какая-то замарашка, а ему нравится... Конечно, она еще девчонка, ей нет и шестнадцати лет, но все-таки странный вкус.

На прощанье Пелагея Силантьевна взяла с гостьи слово, что она еще как-нибудь завернет к ним в девичью. Старая Галактионовна провела ее обратно, через второй этаж, парадными комнатами. Дорогой она спросила Антониду Васильевну:

— Ты сегодня опять петь будешь?

— Буду...

— Спой ты што-нибудь жалобное, голубушка ты наша, — самое жалобное. Это мне девушки наказывали тебя попросить... В ножки, говорят, поклонись соловушке.

— Хорошо, хорошо...

Кажется, еще никогда Антонида Васильевна не пела так хорошо, как в этот вечер. Генерал и Додонов аплодировали, а она не заставляла себя просить и начинала снова петь. Кончилось это тем, что ей сделалось дурно.

— Зачем так насиловать себя? — ворчал Крапивин, ухаживавший за нею с какими-то спиртами. — Это неблагоразумно, а этих дураков мы не удивим...

Девушка не сказала, для кого она пела. Ее била

лихорадка, и зубы выделывали холодную дрожь. О, она знала, для кого пела, и благодарила бога, что могла вылить свою душу... Пусть хоть в песне узнают о воле, о любимом и дорогом человека, о горе и радости свободных людей.

VII

Додонов жил князем и ни в чем себе не отказывал. Краснослободские заводы давали ежегодно миллион рублей чистого дивиденда. Поездка на Урал была одной из его дорогих фантазий. В Петербурге сидеть надоело, за границей он успел побывать везде, все видел и все испытал, что можно было купить на деньги. У него были три слабости: женщины, охота и музыка. В карты он не играл и вина почти не пил. По натуре он не был злым человеком, как не был и добрым. Жизнь вел скорее уединенную и редко где бывал... Половину дня он проводил за книгами: прекрасная библиотека в несколько тысяч томов путешествовала всюду за ним. Владея тремя новыми языками, он мог наслаждаться сокровищами всей европейской литературы. Прибавьте к этому железное здоровье, молодость, красивую наружность, — кажется, и желать больше ничего не оставалось, а Додонов был несчастнейшим человеком и скучал, как сто нищих вместе не могут скучать.

Сотни людей раболепствовали перед ним и жадно ловили каждый его взгляд, а владыка боялся наступления следующего дня, который принесет с собою новую скуку. Единственная страсть, которая еще минутами согревала его, была любовь к женщинам. Но и здесь все являлось выстроенным по известному шаблону. Продажная красота уже давно не прельщала его, а свои крепостные красавицы надоедали собачьей покорностью, — каждая новая женщина являлась только копией предыдущей. Иногда Додонов начинал ненавидеть всех женщин и не заглядывал в девичью по месяцам. Единственным исключением являлась Пелагея Силантьевна, от которой он никак не мог избавиться. Она присосалась к нему, как чужеядное растение, и он

не мог выпутаться. Это были самые невозможные отношения. Додонов даже не мог сказать, красива она или нет, как о самом себе. Его поражала кошачья живучесть этой женщины, преследовавшей его, как собственная тень. Она была с ним то ласкова, то груба до дерзости и всегда полна жизни и внутреннего огня. Всего более Додонова удивляло то, что она его любила и любила искренне. Был еще другой человек, который тоже любил его, — это лысый старичок Иван Гордеевич. Поэтому, вероятно, старик и главная метресса ненавидели друг друга всеми силами души, что забавляло иногда Додонова.

— Ну, что новенького, премудрый Соломон? — спрашивал Додонов: он по-домашнему называл старика Соломоном. — Когда ты женишься на Поле?..

— Это вы касательно Пелагеи Силантьевны?

— Да, касательно...

— Лучше уж я удавлюсь, Виссарион Платоныч... Это — аспид, а не баба. Ржавчина, купоросная кислота...

— Значит, ты ее боишься?

— Я?.. Да я ее пополам перекушу.

Паша платила тою же монетой премудрому Соломону, и не один раз у них дело доходило до рукопашной. Додонов смотрел на них и улыбался, как над иллюстрацией человеческого ничтожества. Жизнь, полная безделья и всяких излишеств, очень рано выработала из него дешевого философа-пессимиста. Чужие страдания не трогали его душу, а правды для него не было на свете. Все шло, как этому нужно было идти, и все пойдет, как тому должно быть. Каждый человек — жалкая пешка в игре невидимой руки. Гарун-аль-Рашид насчитал в своей жизни четырнадцать счастливых дней, а Гете всего одну четверть часа, да и эти счеты были сделаны под старость и едва ли соответствовали истине. Из чего же хлопотать, работать, убиваться?

Живым человеком Додонов чувствовал себя только на охоте, когда шел с рогатиной на медведя. Нужно было чем-нибудь встряхнуть притупленную нервную систему, и тут являлись такие ощущения, каких не

переживал ни один немецкий философ. Но теперь и охота не тешила Додонова. В последний раз на медвежьей облаве он промазал по матерому зверю в пятнадцати шагах и только махнул рукой, когда медведь пошел наутек. Главный медвежатник Никита даже обругал барина за оплошку и добил красного зверя уже сам.

— Шкуру ты свезешь туда... в город... — устало приказывал Додонов премудрому Соломону. — Да чтобы голова была набита, как живая.

Эта медвежья шкура появилась на полу уборной Антониды Васильевны в городском театре. Никто не видал, как она попала туда, но все знали, откуда явился такой подарок.

Охота была заброшена, и скучавшие без дела собаки выли по ночам в своем собачьем дворце. Привезенные для травли живые медведи тоже лежали по клеткам самым мирным образом. А Додонов сидел у себя в кабинете и только по вечерам отдавал приказ, чтобы в главной зале играла музыка. Оркестр играл в пустых комнатах, а Додонов лежал у себя в кабинете и слушал. Он закрывал глаза и старался вызвать любимую женскую тень, которая от субботы до субботы бродила по его пустовавшему дворцу. Премудрый Соломон только вздыхал, бессильный помочь барскому горю.

Когда он являлся из города, Додонов спрашивал его немым взглядом своих усталых больших глаз.

— Плохо, Виссарион Платоныч... — уныло докладывал верный раб. — Поперек дороги стал этот проклятый Крапивин.

— Я ее куплю, если на то пошло, — отвечал Додонов.

— Это бы вернее, Виссарион Платоныч...

— Убирайся, дурак!

Купить крепостную примадонну дело было самое легкое, но не этого ждал Додонов. У него своих красавиц непочатый угол. Ему хотелось, чтобы Антонида Васильевна сама его полюбила. Чем он хуже какого-нибудь несчастного Крапивина? Додонов несколько раз приглашал антрепренера к себе в кабинет и подолгу разговаривал с ним: ничего особенного в нем нет, и

даже старше его лет на пять. Конечно, он постоянно у ней на глазах, наконец она находится в известной от него зависимости, но это все были пустяки.

Раз вечером Иван Гордеевич явился с таинственным видом, как собака, учуявшая дичь. Он даже облизывался от удовольствия.

— Что скажешь, премудрый Соломон?

— Суета суетствий, Виссарион Платоныч, и всяческая суета...

— Только-то?.. Ну, не особенно много даже для мудрости Соломона...

— А есть и еще весточка одна...

Старик осторожно оглянулся кругом и, подкравшись к самому уху владыки, прошептал:

— Антонида Васильевна в прошлый раз была в нашей девичьей.

— Не может быть!

— Верно-с... И всех ваших метресок видела. А надвела ее Пелагея Силантьевна...

Додонов вскочил, как ужаленный, и даже замахнулся на старика.

— Убейте, на месте убейте, — шептал съежившийся от страха Соломон, — а было дело... Всю девичью обошла и обо всем расспрашивала. Теперь как я к ним на глаза-то покажусь?

— Позвать Полю сюда!

Когда явилась к ответу Пелагея Силантьевна, Додонов встретил ее отборною руганью, размахивая руками под самым ее носом. Иван Гордеевич подслушивал происходившую бурю сейчас за дверями и улыбался. Что он с ней разговаривает? Катал бы прямо с уха на ухо или отдал бы в его распоряжение...

— Для чего ты это делала, а?! — ревел Додонов, наступая на Пелагею Силантьевну. — Ты хочешь отмолчаться, змея... Нет, я из тебя жилы вытяну, на конюшню пошлю...

— Виссарион Платоныч...

— Молчать!.. Да мне на всю девичью наплевать... слышала?.. Мне надоела вся эта ваша гадость, да!.. Я знаю, чего ты добивалась: пусть-де актриса посмотрит, как Виссарион Платоныч развратничает, да?..

Так?.. Ты боялась новой соперницы, да?.. Так знай же, что ты сделала себе же хуже...

Едва заметная улыбка скользнула по бескровным губам Пелагеи Силантьевны, и она смело посмотрела в глаза Додонову.

— Вы забываете только одно, Виссарион Платонович, — заговорила она уверенным тоном, — что за вами есть и еще кое-что, кроме девичьей...

— А, ты желаешь пугать меня... Вон!

— Вы лучше убейте меня, а пока я жива...

Додонов сильно позвонил. Когда на звонок выскочил Иван Гордеевич, он, не глядя на обоих, проговорил всего одно грозное слово:

— На конюшню!

— Я не ваша крепостная! — кричала Пелагея Силантьевна, стараясь отбиться от Ивана Гордеевича. — Я не позволю обращаться с собой, как с крепостной девкой...

— Двойную порцию этой змее, — спокойно продолжал Додонов. — Я за все отвечаю...

Когда барахтавшуюся и кричавшую Пелагею Силантьевну вытащили из кабинета и когда смолк на лестнице поднятый этою возней шум, Додонов опять позвонил. В дверях вытянулся лакей в русской поддевке. Сделав несколько концов по комнате, Додонов с удивлением посмотрел на него.

— Ты зачем здесь?

— Изволили звонить-с...

— Я? Ах, да... Иди скорее на конюшню и скажи, чтобы отпустили Полю сейчас же.

— Слушаю-с.

Как ни торопился Иван Гордеевич исполнить барское приказание, но не успел. Пелагею Силантьевну дотащили уже до корпуса конюшен, где происходили всякие экзекуции, и выскочили уже конюха, как прибежал во весь дух лакей и остановил готовившееся жестокое дело. У Ивана Гордеевича опустились руки: все было готово, каких-нибудь десять минут и — Пелагея Силантьевна не ушла бы из конюшни на своих ногах, а тут вдруг... Старик опрометью бросился наверх, чтобы проверить лакея.

— Оставить Полю, а мне лучшую тройку, — приказал Додонов, не смотря на премудрого Соломона.

Вся девичья замерла от страха, когда Пелагею Силантьевну принесли из конюшни на руках. Ей сделалось дурно, и Галактионовна долго хлопотала около больной, растирая ее разными снадобьями. Когда Пелагея Силантьевна пришла в себя, она долго хохотала и плакала, как сумасшедшая, — с ней истерика продолжалась всю ночь.

— Он меня узнает... Я ему покажу... ха, ха!.. — заливалась она, кусая зубами подушку. — Пусть бьют... я не крепостная.

VIII

Лучшая серая тройка вихрем неслась в Загорье, а Додонов все погонял. Седой старик кучер, лучший наездник, не жалел лошадей: все равно — тройка пропала. Через два часа показался город, и загнанная тройка остановилась у театральной квартиры. Додонов вбежал прямо во второй этаж. Крапивина, к несчастью, не было дома, и Улитушка, попробовавшая загородить дорогу, отлетела в угол, как ворона.

— Мне нужно видеть Антониду Васильевну, — потребовал Додонов, располагаясь в зале, как у себя дома.

— Она не одета, — докладывала перепуганная горничная.

— Я подожду.

Антонида Васильевна учила роль, когда горничная прибежала сказать ей о неожиданном госте. Девушка даже не удивилась, точно она ждала Додонова. Одевшись в простенькое домашнее платье и поправив волосы перед зеркалом, она вышла в залу такая спокойная и самоуверенная. Додонов сидел на диване, низко опустив голову. Скрип отворившейся двери заставил его оглянуться.

— Вы меня желаете видеть? — проговорила Антонида Васильевна, не протягивая руки.

— Да.

— Что вам угодно?

Додонов нетерпеливо оглянулся и сделал шаг вперед.

— Не беспокойтесь, нас никто не будет подслушивать, — предупредила его Антонида Васильевна.

— Раньше я не решался объясниться с вами, но вы сами дали повод... — начал Додонов, трогая усы.

— Именно?

— Вы понимаете, про что я говорю... Вы видели и знаете все и, как порядочная женщина, как девушка, не можете не презирать меня.

— Совершенно верно. Я могу только удивляться вашему присутствию вот здесь.

— Я вас не задержу. Заметьте: вы первая дали мне повод! Вы знаете меня с самой дурной стороны, и я приехал сказать вам, что... что я действительно дурной человек.

— И только?

По странному тону Антонида Васильевна приняла Додонова за пьяного, да и глаза у него были красные.

— Нет, не только! — уже резко заговорил он. — Я был дурной человек до встречи с вами... У меня открылись глаза, и я сам презираю себя. Богатые, избалованные люди везде одинаковы, с тою разницей, что делают гадости с большею или меньшею степенью откровенности. Я откровеннее других... От вас будет зависеть, чтобы я был другим человеком.

— Другим вы не будете, Виссарион Платоныч, а меня вы оставьте в покое... Если вы желаете откровенного мнения о себе, то узнайте: я вас ненавижу.

Додонов рассмеялся и прищурил глаза. Смелая речь крепостной примадонны еще сильнее разожгла его страстное чувство.

— А если я вас куплю, как крепостную? — прошептал он.

— Никогда этого не будет.

— Ага, увидим...

— Я отравлюсь, даю вам мое честное слово. Лучше честная смерть, чем позорная жизнь... От тех несчастных, которых вы держите в своей девичьей, вы этого не услышите, так выслушайте от меня.

— Вы жестоко раскаетесь в своих словах.

— Никогда. До свидания.

Додонов вскочил и умоляюще протянул руку вперед.

— Еще одно слово, — шептал он, меняя тон. — Нет такого страшного грешника, который не мог бы заслужить прощения... Я еще не встречал действительно порядочной женщины. Во мне всегда видели только деньги и деньги... Действительного чувства, серьезной привязанности я не знал до сих пор. Не заставляйте меня делать новую несправедливость. Я сдаюсь на все ваши условия, и нет такого желания, которое не было бы исполнено сейчас же.

Антонида Васильевна показала молча на дверь. Додонов поклонился, быстро повернулся и вышел. Спускаясь по лестнице, он встретился с Крапивиным, но не узнал его. Крапивин остановился и проводил его глазами до экипажа, а затем быстро вбежал во второй этаж.

— Как разбойник ворвался, — докладывала шепотом Улитушка, — а Тонюшка его приняла по-своему... Не понравилось, вот и бежал.

Антрепренер пробежал прямо в комнату Антониды Васильевны. Девушка лежала за ширмочкой на своей кровати и горько рыдала.

— Что случилось, Антонида Васильевна?

— То, что должно было случиться.

— Додонов предлагал вам что-нибудь?

— Все... на выбор... Я сказала, что лучше отравлюсь.

— Дитя мое, потерпите. Сегодня я получил письмо от вашего помещика, с которым веду переговоры относительно вольных всей труппе. Да...

— И что же?

— Слава о ваших успехах, к несчастью, предупредила мое письмо, и он требует за одну вашу свободу десять тысяч.

В ответ послышались новые рыдания. Крапивин схватил себя за голову и молчал. В окно, разрисованное морозом, смотрелся уже ранний зимний вечер. Откуда-то издалека доносился жалобный благовест.

Антонида Васильевна оставалась за ширмочкой и тяжело всхлипывала. Да, она крепостная, и с ней могут сделать все, что захотят. Зачем же ее учили, зачем в ее ролях говорится о какой-то свободной жизни, о любви и радостях? Кругом так темно, и не видно просвета.

— Я думаю обратиться к генералу, — заговорил Крапивин после длинной паузы. — Старик добр...

— Что из этого выйдет?

— Во-первых, необходимо отделаться от Додонова, а во-вторых... вообще, нужно же что-нибудь делать.

— О Додонове не беспокойтесь: он во второй раз не придет.

В последнее время между Антонидой Васильевной и Крапивиным установились немного натянутые отношения, и она, видимо, избегала откровенных разговоров с ним. Определенного повода к такому положению не было, но девушка инстинктивно стала держаться подальше, точно проверяя самое себя. Ведь она его не любила, — зачем же мучить человека напрасно? Крапивин, кажется, догадывался о душевном настроении своей любимицы и старался не лезть в глаза. Он полагался на время. Ведь она еще так молода и многого не в состоянии понять. Даже в отношения к Додонову он не желал вмешиваться, — пусть сама оценит, кто и чего стоит. Эти слезы после визита Додонова служили лучшим доказательством, что он, Крапивин, рассчитал верно. Конечно, было известное увлечение обстановкой и рассказами о Додонове, но это пройдет само собой, только не нужно навязываться с своею собственной особой.

Вопрос о выкупе крепостных актрис не давал покоя Крапивину. Если уж теперь помещик требует за одну Антониду Васильевну десять тысяч, то отчего ему не назначить пятьдесят, —произволу нет границ и конца. Иногда Крапивину приходила мысль обратиться к Додонову: что ему значило выкинуть каких-нибудь двадцать тысяч! Эта сумма давила теперь антрепренера, как тяжелый камень. Были, конечно, богатые люди в Загорье, особенно в среде золотопромышленников, но как к ним обратиться, когда раскольничьи попы и

начетчики считают театр бесоугодною пляской? Оставалось ждать и сколачивать средства из своих театральных грошей. А время уходит, и вместе с ним день за днем подтачиваются силы. Крапивин хватался за свои редевшие кудри и приходил в отчаяние. Недоставало только этой истории с Додоновым.

Слова Антониды Васильевны не сбылись: Додонов не оставил ее в покое. Он теперь почти каждый день являлся в спектакль и занимал свое обычное место в первом ряду. Когда был назначен бенефис Антониды Васильевны, — это был первый ее бенефис, — он послал ей за свое место тысячу рублей и букет из белых камелий.

— Я ему возвращу эти деньги... — заявляла Антонида Васильевна.

— Нет, не возвращайте, — советовал Крапивин. — Пусть они пойдут на ваше освобождение из крепостной зависимости... Додонову не все ли равно, куда ни бросать деньги, а здесь они по крайней мере пойдут на хорошее дело.

Антонида Васильевна ничего не ответила и только задумалась. Обстоятельства так складывались, что ей точно нельзя было избавиться от Додонова. Вот и Крапивин советует взять деньги... После того, что она наговорила ему тогда, другой на его месте и носу не показал бы в театр, а он еще букет посылает. Эта настойчивость интриговала ее: может быть, Додонов и не такой человек, каким кажется. И няня Улитушка то же говорит... Приняв деньги, Антонида Васильевна сочла себя обязанной приколоть одну камелию к своему белому платью. Она была необыкновенно эффектна в этот вечер и на бесконечные вызовы пропела лучшие номера в своем репертуаре.

— Если бы я был помоложе, полковник... — повторил несколько раз генерал, подмигивая Додонову. — Ведь это брильянт!..

— Редкие камни, ваше превосходительство, требуют слишком дорогой оправы, — отшучивался Додонов.

По желанию генерала была устроена подписка, и бенефициантке поднесли несколько золотых безделушек:

два браслета, брошь и серьги. После спектакля в уборной Антониды Васильевны набралось много поклонников и в том числе генерал с Додоновым. Крапивин велел подать шампанского, — пир так пир.

— В наше время пили шампанское из башмачков красавиц... — шутил генерал, чокаясь с Антонидой Васильевной.

— Как хозяйка, по русскому обычаю, я желаю вас поцеловать, ваше высокопревосходительство... — заявила бенефициантка, покраснев от собственной смелости.

— Спасибо... Это уж совсем по-семейному.

Генерал поцеловал хорошенькую актрису при звуках торжественного туша и громких аплодисментах набравшейся в уборной публики. Молчал один Додонов. Он держался как-то в стороне, как виноватый. Эта покорность польстила Антониде Васильевне. Да, она сегодня была так счастлива, как еще никогда, а этот Додонов походил на школьника, поставленного в угол. Даже генерал заметил это и проговорил:

— Что ты, братец, как мокрая курица?.. Может быть, мне завидуешь?

— У меня сегодня в чужом пиру похмелье, ваше превосходительство, — ответил Додонов и сейчас же начал прощаться.

— Какой он странный... — удивлялся старик, когда Додонов вышел. — Право, очень странный. Не так ли, Гоголенко?

— Совершенно странный, ваше высокопревосходительство.

— А между тем полковник... богат... молод...

Развеселившийся генерал заставил Антониду Васильевну поцеловаться и с Крапивиным, что та исполнила очень неохотно. Крапивин был этим огорчен и заметно надулся, но девушка чувствовала себя слишком счастливой, чтобы замечать чужое настроение. Дома его ожидала другая неприятность: комната Антониды Васильевны во время спектакля была убрана заново.

Кровать из красного дерева была покрыта одеялом из бухарского шелка, китайская ширмочка служила

для нее точно экраном; роскошный туалет, зеркало в настоящей серебряной раме, ковер на полу, мягкий диванчик, обитый голубым атласом, — словом, все заново. Конечно, это устроил Иван Гордеевич, пока шел спектакль, и об этой затее знала вперед одна Улитушка. От старухи сегодня пахло наливкой сильнее обыкновенного. Крапивин совсем взбесился, когда узнал все.

— Я этого не могу позволить! — кричал он, бегая по комнате. — Я антрепренер, и все артистки у меня на ответственности.

Антонида Васильевна молчала. Ей сделалось жаль, когда стали выносить из комнаты додоновские подарки и поставили на место старую мебель. Торжество закончилось для нее слезами. Она не могла даже дать отчета самой себе, о чем плакала. В душе накипело такое обидное и нехорошее чувство: зачем она крепостная, подневольная актриса, зачем Додонов такой богатый и дурной человек?.. Где-то в глубине души у ней шевельнулось чувство к нему, и она сама испугалась, как человек, который неожиданно очутился на краю пропасти. Но, с другой стороны, что она сделала такое, чтобы сердиться на нее, как делает Крапивин?.. И Крапивин тоже нехороший человек, потому что думает только о себе. Да, он эгоист, этот Крапивин.

— Ишь как расходился! — ворчала Улитушка, раздевая свою «шпитонку», как она называла всех своих воспитанниц. — Небиль помешала... Ведь она, небиль-то, не виновата. А ты бы завел сам такую-то... Додонов барин настоящий, ничего не пожалеет.

— Няня, будет тебе... — оговаривала ее Антонида Васильевна, лежа в постели.

— А всегда скажу... Тоже с меня не голова снята. Да... форменный барин.

Явилось еще одно обстоятельство, которое тоже неприятно действовало на Антониду Васильевну. Другие актрисы завидовали ей, а откровенная Фимушка высказала это слишком уж прямо. Эта зависть отравила бенефициантке ее торжество окончательно, и она даже швырнула свои подарки на пол.

— Ну, Милитриса Кирбитьевна, ты не очень швыряй, — ворчала на нее Улитушка, подбирая футляры. — Тоже не щепки, а деньги плачены... Вон Фимушка-то что говорит: «Я бы, говорит, прямо убежала к Додонову». Умок-то у ней невелик, а тоже придумала.

Крапивин в это время ходил у себя в мезонине из угла в угол, как попавший в засаду волк. Так-то ценят его заботы, его честность, его преданность одному искусству... Достаточно показать несколько блестящих побрякушек и шелковых тряпок, чтобы разрушить всю его работу. Нет, он так дешево не продаст себя. То неприятное чувство, которое он пережил сегодня, начало мучить, как напрасная тяжесть. Ему захотелось сказать что-нибудь ласковое Антониде Васильевне, — пусть день кончится для нее мирно. Он спустился во второй этаж и постучал в двери комнаты своей любимицы.

— Антонида Васильевна, не спите?

Ответа не последовало: примадонна сердилась, и Крапивин, улыбнувшись, побрел в свой мезонин.

IX

С Антонидой Васильевной происходило что-то странное: она начала задумываться и скучать. По субботам труппа попрежнему уезжала в Краснослободский завод. Додонов был предупредителен, вежлив — и только. Он только раз спросил Антониду Васильевну, правда ли, что его подарки выброшены из комнаты.

— Да, правда, — ответила она, опустив глаза.

— Это было ваше собственное желание?

— И да и нет... Сначала мне не хотелось расставаться с такими хорошими вещами, но потом я поняла, что принимать такие дорогие подарки неприлично...

— Почему?

— Потому что нужно уметь за них платить, а что может дать крепостная актриса?.. Кроме этого, с вашей стороны было просто неделикатно обязывать бедную, трудящуюся девушку такими денежными подар-

ками. Поставьте себя на мое место и скажите, как вы поступили бы?

— Я?.. Я сказал бы, что этого слишком мало... да! Разве можно заплатить деньгами за то наслаждение, которое доставляется талантом?.. Нищим являюсь я, а не вы... Своим пением, своею игрой вы будите во мне живого человека... Ведь это называется воскресением из мертвых.

Они сидели одни в большой гостиной, где со стены смотрели хмурые фамильные портреты. Теперь Антонида Васильевна нисколько не боялась Додонова и спокойно ходила по всем комнатам, кроме девичьей. Ловкий Иван Гордеевич умел так устроить дела, что Крапивин не мешал этим tête-à-tête [1]. В тяжелой обстановке барского старого дома Антонида Васильевна являлась для Додонова блуждающим солнечным лучом, который на мгновение освещал его темную жизнь и исчезал. Она и сейчас сидела на бархатном диване такая красивая, свежая, и столько было чарующей прелести в этой белокурой грёзовской головке, глядевшей прямо в душу Додонову своими серыми лучистыми глазами. У ней являлось желание помучить этого пресытившегося человека, и она заметно оживлялась в его присутствии.

— Вы меня презираете, Антонида Васильевна? — спросил Додонов и протянул свою руку к ее руке.

— Да, да... Мне делается гадко, когда я думаю о вашей жизни. Бывший офицер, образованный человек, и так погрязнуть... Я удивляюсь, как можно унизить себя до такой степени! Есть просто известная порядочность, которая не позволяет дурным людям делать гадости.

— Но если нет руки, которая вывела бы из этой обстановки, если нет ответа на самое святое чувство и если этим человека заставляют делать новые гадости?

— Что вы хотите этим сказать?

Додонов взял ее за руку и с каким-то благоговением поцеловал кончики ее пальцев. Она хотела выдернуть руку и не могла — голова кружилась, в глазах завертелись красные пятна. Ей было страшно и

---

[1] свиданиям наедине (*франц.*).

хорошо, но она пересилила себя и засмеялась нехорошим, холодным смехом.

— Какие нежности, Виссарион Платоныч... Вы, кажется, принимаете меня за горничную. Не хотите ли, я вам подарю ленточку на память?

Этот смех точно ужалил Додонова, и он даже отскочил от нее. О, это было похуже того, что он слышал от нее раньше!

— Понимаю все, — шептал он, хватаясь за голову. — Вы любите другого... Для этого другого... вы найдете и другие слова.

— Вы меня оскорбляете, Виссарион Платоныч... Не забудьте, что я у вас в гостях, и это вдвойне обидно.

Она встала и с гордо поднятой головой вышла из комнаты. Как он смел так говорить с ней? Про себя она повторяла каждое его слово и открывала в нем что-нибудь обидное для себя. Но не все ли ей равно, что он говорит? Антонида Васильевна обманывала себя: ее уже начинало тянуть к Додонову. В нем было что-то такое особенное, чего нет в других. Такого человека можно бы и полюбить, если бы не эта проклятая девичья... Какой-то предательский голос нашептывал ей: «Ты будешь царицей в этом дворце... жизнь польется сплошным праздником... а там, в столице, ты сама будешь наслаждаться игрой лучших артистов...» Собственная бедная обстановка начала казаться еще беднее, а жизнь игрушкой. Конечно, пока она молода и красива, все будет хорошо, но ведь красота так быстро проходит, а там, впереди — тяжелое будущее состарившейся и пережившей себя примадонны. Антонида Васильевна часто плакала, оставаясь одна, и с Крапивиным была холоднее прежнего.

А кругом нее составился целый заговор, участниками которого были Иван Гордеевич, Яков Иванович и Улитушка. Они частенько собирались втроем и долго судили и рядили про барские дела.

— Гордячка она, — повторял Иван Гордеевич, приглаживая свою лысину. — Счастье лезет в рот, а она отвергает. По-моему, женское естество везде одинаково, и только одна барская прихоть, что подай вот эту, а остальных не надо. И нужно этим пользоваться...

Другая бы даже весьма благодарна была... А уж как Виссарион Платоныч тоскуют-с. Можно сказать, спят и видят Антониду Васильевну.

— А сколько он даст за нее? — спрашивал Яков Иванович.

— Ничего, говорит, не пожалею... Пятьдесят тысяч сейчас наличными, а что касаемо подарков и благодарности — не в счет.

Яков Иванович и премудрый Соломон искренне жалели, зачем они не родились такою красавицей, как Антонида Васильевна.

— Все равно так, даром пропадет, — резонировал Соломон, — и после сама будет жалеть-с. Только будет поздно-с.

— Конечно, будет каяться, — поддакивал Яков Иванович. — Ну, выйдет она за Крапивина... ну, и вытягивайся из всех жил на сцене, пока в силах, а дальше-то что?

— Эх, молодо-зелено, — качал головой Соломон.

Привлеченная к делу Улитушка сочувствовала этим взглядам и вносила еще свою рабью покорность барской воле. Она взяла на себя трудную роль переговорить с Антонидой Васильевной окончательно, потому что сезон подходил к концу и такого другого случая не дождешься. Старуха долго ходила около своей «шпитонки», прежде чем решилась выговорить все, что лежало на ее старой душе.

— Тонюшка, а ты напрасно Виссариона-то Платоныча обегаешь... — начала она однажды вечером, когда девушка сидела перед зеркалом в папильотках и выравнивала волосы. — Вон он что говорит-то: ничего, слышь, не пожалею... Только бери. Право... Иван Гордеич говорит, што пятьдесят тысяч отдаст, а подарки особо. На волю бы выкупилась и меня старуху выкупила, и стали бы жить да поживать... Девичья-то память до порога.

Прислонившись к спинке стула, Антонида Васильевна смотрела на няньку остановившимися от изумления глазами. Не во сне ли все это происходит?.. А расходившаяся старуха не унималась и продолжала свое:

— Тоже вот и Яков Иваныч, — ему-то какая корысть? — а он в один голос с Иваном-то Гордеичем... Добра тебе все желают, касаточка. Раз-то согрешишь, так и бог простит... Не ты первая, а с актрисами это даже и даром бывает. Подвернется какой худой человек — девушки как не бывало... А Виссарион Платоныч не обидит: в золоте будешь ходить.

— Так пятьдесят тысяч, няня?

— Пятьдесят, касаточка.

— Отлично... Я сама подумаю.

— Подумай, касаточка, господь с тобой... Этакого счастья в другой-то раз и не дождешься, а женская наша красота до времени.

Антонида Васильевна больше не плакала. Она целую ночь не сомкнула глаз и все думала... Припомнилось ей, как ее насильно взяли от семьи там, в России, и отдали в театральную школу; как она постепенно забывала своих родных, простых дворовых, и как теперь она была для них хуже, чем чужая. Впереди роскошь, богатое безделье... Ее и торгуют, как лошадь. От денег у всех закружилась голова, начиная с несчастной Улитушки. Стоит только решиться, и широкая дорога открыта. Утром Антонида Васильевна передала няньке, что сама желает переговорить с Додоновым, и сама назначила ему час, когда он может прийти к ней, не рискуя встретиться с Крапивиным.

— Давно бы так-то, касаточка... — обрадовалась старуха.

Заговорщики торжествовали. Яков Иванович сам полетел с радостной вестью в Краснослободский завод, и в назначенный час Додонов входил в комнату Антониды Васильевны.

— Вы меня желали видеть, Антонида Васильевна?

— Да... Я желала бы слышать от вас лично все то, что мне передавали. Вы сами назначили цифру в пятьдесят тысяч?

— Послушайте, это уже известно вам, и не все ли равно, кто назначал?..

— Значит, верно?

— Да.

— И будут подарки?

— Антонида Васильевна, что за тон?

Она посмотрела на него такими печальными глазами и замолчала.

— Девичья будет уничтожена немедленно... — заговорил Додонов, поощренный этим молчанием. — Я понимаю, что это грубо назначить цифру, но ведь это только гарантия.

— Благодарю вас, что вы так оценили мой позор... и знайте, что я... я любила вас... а теперь прощайте... навсегда. Вы меня убили...

Она не выдержала и громко зарыдала. Додонов хотел подойти к ней, но она отстранила его движением руки.

— Если так, то вот мое последнее слово: выходите за меня замуж, — предлагал Додонов.

— Замуж?.. Чтобы вы бросили меня через неделю?.. Нет, одно мгновение я думала несколько иначе о вас, и если бы отдалась вам, то не за деньги и не за честь носить вашу фамилию... Прощайте, прощайте!..

— Опомнитесь, Антонида Васильевна...

— Довольно... будет...

Видимо, ей хотелось сказать ему что-то еще на прощанье, но она только махнула рукой и убежала за ширму. Додонов постоял среди комнаты несколько минут и, стиснув зубы, проговорил:

— Тогда я вас куплю, Антонида Васильевна.

— Покупайте, как покупаете собак.

Додонов круто повернулся и торопливо вышел. У него голова шла кругом. О, он отомстит за это оскорбление!.. Какая-нибудь жалкая провинциальная актриса и так обращается с ним, Виссарионом Додоновым?.. Нет, это уж слишком...

Вечером этого же дня в театре Яков Иванович отозвал Антониду Васильевну за кулисы и, всплеснув руками, как-то простонал:

— Антонида Васильевна, что вы наделали... что вы наделали?!

— Да вам-то какая забота, Яков Иваныч?

— Бескорыстно-с, сударыня... Добра вам желал, единственно по этой причине. После меня, может, и добрым словом помянете...

— Оставьте меня!.. Вы все, кажется, помешались... А если вы еще осмелитесь приставать ко мне со своими сожалениями, я должна буду обратиться к Павлу Ефимычу...

— Нет-с, это пустое-с... Антонида Васильевна, в самом деле подумайте хорошенько! Если бы я был на вашем месте... да я...

— Вот и замените меня, а я буду вам очень благодарна.

— Погордились, сударыня...

— Вон!

Яков Иванович долго стоял на одном месте и все качал головой. Он даже забыл, что около театра его ожидает премудрый Соломон, приехавший из Краснослободского завода за окончательным ответом.

— Ну, что? — спрашивал он, когда показался, наконец, Яков Иванович.

— Ничего... прогнала...

Мудрецы только развели руками. Что же, своего ума к чужой коже не пришьешь...

Вся труппа уже знала о случившемся, и шушукались по всем углам. Актрисы выражали свое одобрение, актеры качали головами. Ничего не знал один Крапивин, который был занят с декоратором Гаврюшей и даже сам что-то красил и мазал, одевшись во вретище. У Гаврюши давно чесался язык, чтобы рассказать все патрону, но он чувствовал себя таким маленьким и ничтожным, что только кряхтел и вздыхал.

— Что у тебя, живот болит? — спросил, наконец, его Крапивин.

— Никак нет-с, Павел Ефимыч...

Гаврюша, наконец, не выдержал и рассказал все, что происходило сегодня в театральной квартире. Крапивин слушал его и понимал всего одно слово: Додонов... Додонов... Додонов. А где Антонида Васильевна?.. Потом он опомнился и закричал, как раненый зверь:

— Да ты все врешь, Гаврюшка?!. Все это ваши закулисные сплетни и дрязги... Никогда и ничего не сметь мне говорить об Антониде Васильевне!

— Как вам будет угодно.

X

Дворец в Краснослободском заводе зловеще смолк. Барин затворился в кабинете, и никто не смел дохнуть. Всем собакам были надеты намордники, чтобы не лаяли. Музыка больше не играла, охота, кучера, прислуга — все попрятались по углам. Ночью только один огонек светился во всем дворце: это был освещен кабинет барина. Девичья на ночь запиралась на железные ставни, так что огня там никогда не было видно с улицы. Вообще получалось настоящее мертвое царство.

Бодрствовал один Иван Гордеевич, который обходил все углы и закоулки неслышными шагами, как настоящий кот. Утром и вечером он исправно являлся в кабинет с докладом и вытягивался у дверей, как лист перед травой. Додонов молча выслушивал его и отсылал назад движением руки.

— Ты виноват кругом, — проговорил, наконец, Додонов на одном из таких приемов. — Не умел повести дела...

— Простите, Виссарион Платоныч, — каялся премудрый Соломон, падая на колени. — Старался, хлопотал...

— Дурак!

В следующий раз он, не глядя на верного слугу, отдал короткий приказ:

— Поезжай туда, в поместье... и купи мне всех актрис. Сколько будет стоить — все равно... Я покажу им, как смеяться над Додоновым...

Ровно через час Иван Гордеевич выезжал уже в легкой зимней кибитке, направляясь куда-то в Малороссию. По маршруту он должен был ехать день и ночь.

Первое известие об этой экспедиции Крапивину принес Яков Иванович, знавший решительно все, что делалось в городе и ближайших окрестностях.

— Это похуже будет симбирских помещиков, Павел Ефимыч, — заключил он свою осторожную речь. — Всю труппу, говорит, куплю и свой домашний театр открою... Оркестр есть, помещение есть, недостает только актрис.

У Крапивина буквально опустились руки от такой напасти. Он упустил удобное время для выкупа, а теперь — где же ему конкурировать с Додоновым, который бросит и сто тысяч, чтобы только добиться своего? Даже к генералу идти незачем. Старик, конечно, добр, но что он поделает с таким самодуром? Спокойною и уверенною оставалась одна Антонида Васильевна. Она теперь утешала Крапивина.

— Есть же на свете правда? — повторяла девушка. — Страшен сон, да милостив бог...

Крапивин слушал эти несбыточные надежды и на время успокаивался. В самом деле, кто знает, что ждет всех впереди? Положим, это была надежда утопающего, но все-таки нужно же хоть что-нибудь, чтобы тянуть день за днем. Подробностей истории Антониды Васильевны с Додоновым он не пытался узнавать из чувства простой деликатности. Он желал верить ей, хотя и понимал, что прямого ответа на свои чувства сейчас в ней не встретит. Она не любила его, а только уважала.

В Загорье только и было толков, что о Додонове. Стоустая молва разукрасилась такими подробностями, что позавидовала бы сама Шехеразада. Рассказывали, что Крапивин бросился на Додонова с ножом, а Додонов хотел затравить его медведями; что примадонна хотела отравиться, но ее спас Яков Иванович; что сам генерал замешан в этой истории, потому что явился счастливым соперником Додонова, и т. д. Передавали о какой-то крупной размолвке Додонова с генералом, что и подтвердилось очень скоро. Рано утром, во вторник на масленице, через Загорье двигался опять целый ряд обозов. Везли медведей в железных клетках, музыкантов, целый обоз собак, точно тронулась какая-то неприятельская армия. Медвежьи клетки были обшиты кошмами, собак везли в громадных фурах, музыкантов в крытых возках. Девичья была отправлена раньше, и ее провезли ночью. Одной прислуги, считая охоту, музыкантов и девичью, было отправлено больше трехсот человек, так что обоз растянулся на тысячу верст, на станциях не хватало лошадей, и отдельным транспортам приходилось ждать очереди. Все это двигалось

опять мимо театральной квартиры, но уже не привлекало внимания.

— Это какой-то сумасшедший, — удивлялся Крапивин. — Неужели нельзя было подождать весны?

Оказалось, что последнее было невозможно. У Додонова произошло действительно недоразумение с генералом, но не из-за примадонны, а за карточным столом. Собственно говоря, это были такие пустяки, о которых не стоило говорить, но Додонов обиделся и решился сейчас же отправиться со всею ордой в Петербург. Стоило ли дожидаться весны, когда вся разница по транспортированию заключалась в нескольких десятках тысяч рублей? Но эта размолвка Додонова с генералом спасла труппу Крапивина. Очевидно, здесь деятельно работала Пелагея Силантьевна, умевшая настроить Додонова. У ней был прямой расчет избавиться от новой соперницы в лице Антониды Васильевны. Додонов жил вспышками, и только нужно было уметь воспользоваться его настроением.

У Пелагеи Силантьевны был свой план, который скоро и объяснился.

Труппа Крапивина играла на масленице каждый день. Работы всем было по горло, особенно самому Крапивину. Сезон кончался, и нужно было взять последнюю дань с публики, мало-помалу привыкшей к театру. У праздничной публики особенный фурор производила Фимушка, танцевавшая свои номера с большим шиком. На время эта крепостная балерина отодвинула на второй план даже Антониду Васильевну с ее драматическими ролями, оперными ариями и романсами. Сам Крапивин ухаживал за ней, как за главною доходною статьей.

— Попала в честь и наша Фимушка, — удивлялась Улитушка, качая своею дряхлой головой. — За простоту ей господь счастье посылает.

Генерал попрежнему сидел в своем кресле первого ряда и громко одобрял артистов. Абонированное на весь сезон кресло Додонова оставалось пустым. Но в четверг на масленице вся труппа была опять встревожена: Додонов появился в театре и сидел на своем обычном месте, рядом с генералом. К общему удивле-

нию, враги беседовали между собой в антрактах самым мирным образом. Крапивин сильно взволновался, почувствовав какую-то беду.

— Берегитесь и будьте осторожны, — предупредил он Антониду Васильевну, — от этого сумасброда нужно всего ожидать...

На всякий случай Крапивин осмотрел все входы и выходы в театре и не спускал Антониду Васильевну с глаз. Спектаклю, казалось, не было конца, а тут еще генерал заставлял Якова Ивановича повторять свои любимые номера. Крапивин то и дело вынимал часы, считая каждую минуту. Досталось режиссеру Гаврюше, который едва ворочался, потом суфлеру и по порядку всем другим театральным маленьким людям. В пылу усердия поскорее смотать ненавистный вечер, Крапивин делался несправедливым и не замечал сам, что никто не виноват, и дело идет своим обычным ходом. Подвернувшаяся под руку Улитушка не избежала общей участи.

— Ты чего тут, старая крыса, мешаешься? — ругался Крапивин. — Ну, чего бегаешь, как угорелая?

Улитушка даже оторопела в первую минуту и только потом настолько собралась с силами, чтобы обругать сбесившегося маэстро.

— Погоди, вот укротят тебя... — ворчала она, улепетывая в ближайшую уборную. — Невелик в перьях-то!..

О происках старухи Крапивин кое-что знал, но не хотел с ней связываться, а теперь у него вырвалось резкое слово общим счетом. В сущности старушонка была порядочная дрянь и вечно заводила в труппе какие-нибудь ссоры и перекоры.

Спектакль кончился, и оставался один водевиль. Актрис попросил Крапивин дождаться конца, чтобы всем идти вместе. В антракте перед водевилем танцевала свою качучу Фимушка. Эта ленивая и глупая толстуха, когда выходила на сцену с голубым шарфом и в голубой газовой юбочке, производила фурор, как было и теперь. Гримируясь в своей уборной, Крапивин, — он играл все роли «на затычку», — с удовольствием слышал, как благодарно ревела публика, вызы-

вая Фимушку, как надрывался Яков Иванович со своим оркестром и как стучал костылем в такт «кадансу» сам генерал. Потом все смолкло, потому что для эффекта Фимушка должна была провалиться в люк, как это делалось в то время: фея улетала в небеса или проваливалась, — то и другое придавало определенный конец номеру.

Когда Крапивин вышел на сцену, то с удовольствием заметил, что Додонова больше нет в театре. Оставался один генерал, расслабленно мигавший опухшими красными веками. Благодаря Крапивину водевиль свертели в полчаса, и антрепренер сам удивился, что так скоро все кончилось. Не смывая грима, он бросился в уборную к Антониде Васильевне: она была налицо, — значит, все благополучно.

— Одевайтесь, я сейчас, — весело проговорил Крапивин, убегая к себе.

Когда он вышел, труппа была в сборе, и не оказалось налицо одной Фимушки. Она провалилась в люк и больше не возвращалась. Рабочие видели, как она под сценой надевала шубку, а дальше все следы терялись. На квартире Фимушки тоже не было. Только стоявшие у театра извозчики сообщили, что к подъезду, через который входили и выходили артисты, подъезжал додоновский дорожный возок, и какая-то дама вышла и села в него. Очевидно, балерину увез Додонов... Пока шел водевиль, он был уже далеко.

Действительно, Додонов устроил это похищение и был счастлив своею легкой победой. Конечно, все было подстроено раньше, при дружном содействии Якова Ивановича, Улитушки и Пелагеи Силантьевны, а Фимушка по своей глупости была рада романическому приключению. Она, как была в своей газовой голубой юбочке и в трико, так и отправилась в неизвестный путь, отдавшись Додонову. Они вдвоем катили по московскому тракту, сломя голову, и это приводило Фимушку в восторг. Додонов закутывал ее в свою медвежью шубу, как ребенка.

За беглецами летела повозка с Пелагеей Силантьевной, не оставшейся в накладе. Додонов послал гонца воротить Ивана Гордеевича с дороги.

XI

Роман Антониды Васильевны закончился бегством Фимушки. Через два года она вышла замуж за Крапивина, который двадцать пять лет оставался антрепренером и справедливо гордился тем, что создал первую в Сибири труппу. На его руках выросло целое поколение артистов; все это были прямые потомки бывших крепостных актрис. Конечно, недостатка в трудных и тяжелых днях не было, труппа не раз распадалась и снова складывалась, но Крапивин держался прочно, как человек вполне порядочный. Одно его огорчало, именно, что Антонида Васильевна оказалась бездетной, но и эта беда поправилась, когда эта чета приютила круглую сиротку, оставшуюся после Фимушки. Бедная танцовщица пропадала с Додоновым года два и опять вернулась к Крапивину в самом несчастном виде — постаревшая и беременная. Крапивин не помнил зла и пригрел ее. Выкупая своих артистов, он выкупил и Фимушку, которая еще раз обманула его надежды: балерина простудилась и скоро умерла.

Додонов плохо кончил: его погубило освобождение крестьян, а потом целый ряд процессов. Капельмейстер, заведовавший додоновским оркестром, отморозил пальцы, играя зимой на открытом воздухе; один из медведей оборвал цепь и загрыз двух баб, и т. д. Беда не приходит одна. Но скандальнее всего разыгралось дело с девичьей. Был поднят громкий процесс, тянувшийся годами. Оказался целый ряд страшных преступлений: ни одна хорошенькая девушка в девичьей не выживала больше года. Одна загадочная смерть следовала за другой, и умирали именно те девушки, которые нравились Додонову больше других. Молва обвиняла во всем Пелагею Силантьевну, отравлявшую своих крепостных соперниц. Насчитывали больше десяти таких жертв. Потом выплыло наружу, что в девичьей за все время ее существования не было ни одного ребенка. Являлось подозрение в том, что и это находилось в связи с загадочною смертью безвестных красавиц. К следствию была притянута и старая Галактионовна и сам премудрый Соломон. Вообще дело

разыгралось настолько широко, что нужны были сотни тысяч рублей, чтобы замазать все и предать воле божией, как и вышло в конце концов, когда с Додонова нечего было взять. Он разорился окончательно, и Краснослободские заводы пошли с молотка.

Оставшись нищим, Додонов женился на Пелагее Силантьевне и конец своих дней провел у ней нахлебником. Старая метресса приберегла какие-то крохи от додоновского роскошества и на эти средства содержала мужа.

Крапивинская труппа распалась окончательно со смертью своего основателя. Было время, когда в Загорье широко развернулись первые золотопромышленники, и у Крапивина дело шло блестящим образом. Он даже приобрел в собственность дом, где помещалась театральная квартира. Были свои лошади и вообще вся обстановка на широкую ногу. Деньги как наживались, так и проживались. По своей артистической натуре Крапивин был неспособен к благоразумному откладыванию средств про черный день. Когда закончилось крепостное горное дело и задававшие всему тон горные инженеры потеряли насиженные места, дела у труппы сразу упали. Крапивин все-таки кончил свое дело с честью, потому что смерть предупредила грозивший труппе крах. Антонида Васильевна осталась ни с чем и перебивалась кое-как, поступив на вторые роли.

Случившаяся размолвка после сорокалетней дружбы повлияла на обоих стариков. Они сидели по своим углам и горько жаловались на свою судьбу. Конечно, Яков Иванович в качестве кавалера старой школы должен был первым извиниться перед дамой, но, с другой стороны, как же он будет извиняться, когда она первая оскорбила его, указав на дверь? Каждый вечер Яков Иванович проходил мимо дома, где жила Антонида Васильевна, и все не мог решиться пойти первый на примирение. Он даже поднимался на крыльцо и брался за ручку двери, но его точно отталкивала чья-то сильная рука.

Осень сменилась зимой. Грязь покрылась белым пушистым снегом. Старые люди чувствуют себя в это время особенно нехорошо, — ведь зима напоминает смерть. Яков Иванович сильно прихворнул. Отозвались кое-какие грехи юности, застарелые ревматизмы, катарры, простуды. Он даже лежал в постели недели две. Зато как хорошо выздоравливать, точно родишься во второй раз! Первою мыслью, когда Яков Иванович получил возможность выходить на свежий воздух, — первая мысль, конечно, была о том, чтобы сейчас же сходить к Антониде Васильевне и примириться.

— О женщины, женщины!.. Разве можно на вас сердиться серьезному человеку? — рассуждал старик, пробираясь по знакомой дороге с большими остановками. — Все женщины немножко легкомысленны... Хе-хе!..

Ему представлялось вперед, как ей будет неловко и совестно перед ним, а он сделает такой вид, что не понимает, — не правда ли, ведь будет очень смешно? О женщины, женщины!.. Но вот и знакомый дом, и проклятая лестница, по которой так трудно подниматься, и дверь... да, та самая дверь, в которую... Якова Ивановича по шеям... Хе-хе!..

— Вам кого угодно? — окликнул старика незнакомый женский голос.

— Как кого? Антониду Васильевну...

— Их нет.

— Как нет, милая? Разве она переехала на другую квартиру?

— Да, переехала... на кладбище. Вот уже девятый день завтра...

— Девятый день?.. Странно... — бормотал Яков Иванович.

Он вышел опять на крыльцо и долго стоял, не надевая шапки. Девятый день... переехала на квартиру... Вдруг жгучая боль схватила его сердце, и Яков Иванович громко зарыдал, как ребенок. Боже мой, он остался теперь совершенно один, один из всей крапивинской труппы.

ОСЕННИЕ ЛИСТЬЯ

I

Долина реки Имос состоит из ряда горных уступов, по которым бойко скатывается живая горная река. Еще издали, когда подходишь к Имосу, уже чувствуешь близость этой воды, именно чувствуешь, потому что в ней есть что-то особенное. По крайней мере это последнее верно для меня: идешь по лесу и вдруг остановишься — река близко... Трудно отдать отчет в этом чувстве темного органического характера, когда еще ухо не в состоянии различить вечного шепота горной воды, а глаз не замечает постепенных изменений в окружающем лесу. Впрочем, таких рек, как Имос, немного — это настоящая горная красавица, бурливая и капризная, которая не может успокоиться даже в степи, где катится сильной струей в плоских и безлесных берегах.

Мне приходилось бывать на Имосе главным образом осенью, около сентября, когда первые утренники расцвечивали лес яркими красками. Самым красивым местом были Чингортские золотые промыслы, залегшие на дне горного узла, где течение Имоса сдавлено перекрещивавшимися горными отрогами. Массив составляла гора Усть-Маш, надвигавшаяся с севера. Параллельно с ней тянулась цепь лесистых гор, известных

под общим названием Дойкар. Между ними образовались сдвиги из горных разветвлений, а с юга крутым лбом врезывалась гора Отряхина. Разобраться в этой путанице можно было только глядя откуда-нибудь сверху, с одной из горных вершин, откуда Чингортские промыслы представлялись чем-то вроде глубокой чаши. Река Имос сначала огибала Усть-Маш, потом образовала прибой у Отряхина и, отброшенная сланцевой скалой, разливалась посредине глубокого лога. Дальше она вырвалась на открытое место, где параллельно с горами Дойкар развертывалась роскошная речная долина. Главную красоту всей картины составляли смешанные лесные насаждения: высоты были заняты хвойным лесом, южные склоны — осинниками и березняками, а ближе к воде поднималась лесная гуща из черемух, лип, рябин, смородины и тальников. В некоторых местах реки было совсем не видно, так она зарастала прижавшейся к воде зеленью; в других она бурно катилась по каменистому дну мимо старых отвалов, голых куч из речника и неуспевших зарасти приисковых перемывок. В общем вся местность могла поразить непривычного человека своей суровостью; но, по-моему, в этом и заключалась прелесть этого медвежьего уголка. Даже приисковая работа не могла ничего сделать здесь: все дно горной котловины было изрыто по разным направлениям, но все эти ямы, кучи и канавы быстро затягивались свежей и молодой зеленью, скрывая нанесенные человеком раны.

Осенью лиственный лес быстро редел и казался прозрачным, как транспарант. Чистый горный воздух делал чудеса перспективы. Отдельные части горной панорамы точно сближались между собой. Общий зеленый тон сменялся осенними блеклыми красками, точно гобелены. Это была последняя красота короткого северного лета. Особенно хороши были березняки со своей яркой, лимонно-желтой листвой и хвойный лес, горевший кровавыми пятнами тронутых первой холодной ночью осин. Зелень сохранялась только у самой реки, где холод умерялся скрытой теплотой воды, да там наверху, где зубчатой стеной рвались в небо прорезные стрелки елей и пихт. Пред вашими глазами

развертывалась бесконечная гамма этих осенних тонов умирающей зелени. Под ногами мягко шелестит облетевший лист. Трава побурела и сделалась жестче. Воздух пропитан каким-то особенным острым ароматом. Ели и пихты кажутся еще зеленее и манят своей полированной хвоей в какой-то сказочный мир.

Сухая, крепкая осень — самое лучшее поэтическое время в году, и только одним охотникам доступна эта поэзия осенних листьев. Да, бродить по лесу с ружьем в это время — редкое и единственное удовольствие. Переживаешь такой прилив бодрого, хорошего чувства, и вместе с тем в глубине души щемит та грустная нотка, которая составляет отличительную черту северного характера. В жизни так мало красных дней, поэтому поэзия умирающей зелени особенно близка сердцу. С представлением об осени у меня всегда связывается картина именно Чингортских промыслов, где это время года является в таких характерных формах.

В первый раз на реку Имос я попал очень давно и притом в середине лета. Горы как горы, лес, горная река — все это вещи самые обыкновенные на Урале. В следующий раз мне пришлось побывать прямо на Чингортских промыслах и даже по специальному приглашению от «общего знакомого», как называли Петра Васильевича Вихрева, поселившегося на Имосе с громким титулом управляющего золотыми промыслами. Дорога с Коренного завода шла все лесом, давая веточки на другие промыслы, к озеру Черному и на лесные покосы. Затерявшийся в горах полустанок служил конечным пунктом. Оставив здесь лошадей, я отправился пешком: до промыслов было верст пять. Чтобы не тратить напрасно времени, я взял курс прямо лесом.

— Вы не сбейтесь косогором-то, — объяснял мне станционный смотритель, он же и скупщик краденого золота. — Оно как раз уведет к Дойкару... На шелонник[1] держите. Под Дойкаром, конечно, промыслы, только там не Петр Васильич, а Игнатий Яковлич ору-

---

[1] Шелонник — юго-запад. *(Прим. Д. Н. Мамина-Сибиряка.)*

дует. Значит — Низовцев Игнатий Яковлич, они тоже от канпании... В горах-то оно обманчиво, как раз заблудиться можно, когда голову обнесет... А вы все на шелонник, все на шелонник держите! Упретесь в Петра Васильича...

Практическое осуществление таких указаний не всегда бывает удачно: вместо ожидаемого ложка дорогу загородит гора, вместо просеки точно нарочно вырастает дремучий ельник и т. д. На этот раз дело обошлось вполне благополучно: держи на шелонник — и все тут. Прямой и непременно ближайший путь лесом часто оказывается очень длинным. День стоял отличный, солнечный и светлый, с крепким осенним холодком. Солнце светило ярко, но в этом осеннем свете не было уже летней теплоты. По мокрым местам попадались отдельные островки свежей зелени; последние цветы напрасно тянулись своими головками к свету, в котором уже не было животворящей силы, как летом. Холодные осенние тени бродили по лесу, где все точно замерло. Эта торжественная тишина сначала пугает, пока ухо не привыкнет к ней. Одни дятлы продолжали свою работу, да где-то свистнул рябчик и боязливо замолчал. Я шагал с ружьем наперевес, соображая, как бы не промахнуться с косогорами. Но с ближайшей прикрутости открылся вид на долину Имоса, а промыслы были сейчас под ногами. У опушки леса дымили старательские балаганы, дальше шла широкая полоса изрытой земли, а на противоположной стороне над самой рекой красовалась приисковая контора — единственный дом, напоминавший о возможности жить по-человечески. Недалеко попыхивала белыми клубами паровая машина; около нее горбились крыши двух казарм. В ямах пестрели кучки рабочих; тут же весело курились огоньки и стояли лошади с таратайками.

Спустившись по крутому откосу горы, через десять минут я уже подходил к конторе и издали узнал длинную фигуру Вихрева, который задумчиво шагал от машины домой.

— А, это вы... очень рад, батенька, — заговорил он тоном человека, с которым расстался вчера, хотя мы

с ним не видались несколько лет. — Жаль, что опоздали: дупеля и вальдшнепы улетели...

— Вы не охотник, так для вас это, кажется, все равно?

— Низовцев говорил... Сосед по промыслам. А Наталья Павловна будет очень рада... да.

В длинной фигуре Вихрева, походившей на сильно подержанную машину, равнодушие ко всему, не исключая самого себя, было тем же, чем служит ключ в музыке. Усталое, неподвижное лицо с красивыми глазами не поражало энергичностью выражения, и только когда улыбка открывала длинные лошадиные зубы, являлась какая-то тень мысли. Стриженые усы придавали Вихреву немного солдатский вид. В длинных охотничьих сапогах, в шведской кожаной куртке и широкополой шляпе он походил на одного из тех разбойников, какие на страницах «Нивы» нападают на доверчивых путешественников. Вихрев имел привычку закладывать руки в карманы, особенно на ходу, что придавало ему вид беспечно прогуливающегося человека.

— Наталья Павловна будет рада... — повторял он, шагая рядом со мною. — Мы здесь уже два года живем, и мне, право, нравится. Как на даче... И Наталья Павловна одобряет. По вечерам иногда приезжает Низовцев и привозит газеты... Вы его полюбите с первого раза.

Контора была в два этажа. В нижнем помещалась собственно контора, а в верхнем — квартира управляющего. В небольшом палисаднике перед окнами мелькнуло женское платье.

— Это Журенька со своими цветами возится, — лениво объяснил Вихрев, не дожидаясь вопроса. — Вы помните Журеньку?.. Вылитая мать... Наталья Павловна находит у нее сильный темперамент.

— Она, кажется, училась в гимназии?

— Да... Но из шестого класса вышла. Что-то такое... одним словом — школьное недоразумение. Наталья Павловна сама ездила объясняться с начальницей и наговорила ей дерзостей. Тем все дело и кончилось... Журенька уже совсем большая.

II

— Журенька, узнаешь гостя? — крикнул Вихрев еще издали.

Девушка выпрямилась, посмотрела равнодушно в нашу сторону и ничего не ответила. Она даже не сделала того машинального движения, каким при появлении незнакомого человека поправляются разные мелочи женского туалета. Длинное лицо имело в себе много отцовского, а немного удивленные глаза придавали ему тот телячий вид, какой иногда бывает у девушек в переходном возрасте. Высокий рост, густые каштановые волосы, цвет лица — все было, как следует быть, и Журенька имела право назваться видною особой. И руку она подала так же деревянно, как это делал отец: видимо, хотела сказать что-нибудь в виде приветствия, но перевела глаза на отца и едва заметно улыбнулась.

Наталья Павловна встретила нас на лестнице, как всегда, одетая во все черное и с гладко зачесанными темными волосами. Это была среднего роста женщина с девичьей талией, подвижная и порывистая, с красивою небрежностью в движениях и ласковым улыбающимся взглядом.

— Вот Наталья Павловна... — заговорил Вихрев, как судебный пристав, передавая мою особу с рук на руки жене. — А Журенька, кажется, не узнала гостя.

— Какой ты странный, Петр Васильич: Журенька была тогда еще маленькою замарашкой, когда мы жили в Коренном, а потом она поступила в гимназию...

К особенностям четы Вихревых принадлежало, между прочим, и то, что они величали друг друга полными именами и не выносили интимных полуимен. То есть этого хотела Наталья Павловна, женщина вообще со странностями, как она сама отзывалась о себе.

— Как же это вы попали к нам? — удивилась она, когда мы вошли в гостиную.

— Очень просто, Наталья Павловна, — объяснил за меня Вихрев: — я иду от машины, и он идет, а потом мы пошли вместе.

— А где же лошади, экипаж?

— Ах, да, действительно: где же у вас лошади? — спохватился домовладыка. — Оставили на станции и пешком через гору? Очень хорошо... А только этот станционный смотритель кругом обирает меня: я мою золото, а он его скупает. Наталья Павловна пробовала воевать с ним, но безуспешно...

Пока происходила эта болтовня первой встречи, хозяйка успела показать всю свою квартиру. Дом, конечно, старый, построен еще при казенном управлении промыслами, но жить можно. Правда, по зимам в комнате Журеньки промерзает один угол, потом печка в гостиной иногда дымит, но для промыслов такая квартира — настоящая роскошь, как хотите. Вон в старых казармах для рабочих — так там совсем нельзя жить: такая масса блох. Хорошо то, что здесь положение Петра Васильича совсем независимое, а летом как на даче. Даже такие пустяки, как возможность Журеньке иметь свой собственный садик, уже много значат. Положим, цветы у Журеньки каждое лето зябнут, как говорит старик штейгер, заменяющий чиновника особых поручений, и положим, что сама Наталья Павловна совсем не любит подобных глупостей, но все-таки работа на свежем воздухе укрепляет. И т. д., и т. д., и т. д.

Походная обстановка Вихревых мало изменилась: та же этажерка для книг, тот же продавленный диван, та же кипа старых газет на стуле и тот же беспорядок. При постоянных переездах с места на место — Петр Васильич не уживался нигде — трудно было сберечь и это, особенно когда приходилось закладывать и эту скудную часть общего подвижного состава.

Жизнь четы Вихревых представляла со стороны сплошную загадку. Эти вечные переезды, сиденье без дела по месяцам, когда проедались последние крохи, наконец полная непрактичность и детская доверчивость домовладыки — все это могло пустить по миру любую семью, а Вихревы жили да жили. Через полчаса я имел удовольствие сидеть на том же диване, на котором сидел пять лет тому назад, а Наталья Павловна разливала из томпакового кофейника кофе. Решительно все

было по-старому, и я уверен, что если бы Вихревых судьба забросила на луну, то они и там устроились бы так же, как устраивались везде. Секрет этой феноменальной живучести заключался в Наталье Павловне, этой удивительной женщине, одной своей спокойной улыбкой побеждавшей непреодолимые препятствия. Буквально из ничего она с быстротой перелетной птицы свивала новое гнездо и, главное, никогда не утрачивала своего ровного расположения духа. Девяносто девять из ста женщин в ее положении давно повесились бы, а она еще могла сохраниться, как женщина, и выглядела институткой.

— У нас здесь есть даже общество, — рассказывала она, колеблясь над вопросом — выпить самой чашку кофе или пожертвовать эту чашку Журеньке. Наталья Павловна так любила кофе, а запас весь истощился. — Да... Часто завертывает Низовцев, сосед по промыслам. Очень образованный молодой человек, из хорошей фамилии, и попал сюда благодаря ошибкам молодости. Где-то там в Петербурге он имел прекрасное место, впереди была блестящая карьера... но эти баловни женщин всегда плохо кончают. Одним словом, Низовцев в одно прекрасное утро очутился в нашем медвежьем углу и имеет достаточно свободного времени, чтобы одуматься и приобрести более серьезные взгляды на жизнь.

— Да, он подает большие надежды, — вторил Вихрев, машинально повторяя мысли жены. — Его общество особенно полезно для Журеньки, как говорит Наталья Павловна.

Эта выходка, выдавшая головой интимную семейную политику, заставила хозяйку вспыхнуть до ушей, а Вихрев испуганно посмотрел кругом, точно отыскивая помощь.

— Вы не подумайте, что мы хотим сбыть дочь за него, — с достоинством поправилась Наталья Павловна. — Нет, просто девушке в возрасте Журеньки необходимо общество, а в нашем положении рад будешь всякому чурбану... Впрочем, Низовцев вполне порядочный человек, как вы сами увидите. Да и Журенька такая девушка, которую трудно смутить...

— Однако, Наталья Павловна, ты сама признаешь за ней сильный темперамент?

— Да, но сейчас она еще совсем девчонка, Петр Васильевич. Меня даже беспокоит ее апатия — точно деревянная вся... В ее годы я понимала уже очень много. На кого больше походит, по-вашему, Журенька? — обратилась Наталья Павловна ко мне. — Девчонки всегда походят больше на отцов... Не правда ли? И это очень печально в большинстве случаев...

— Пожалуйста, без комплиментов, Наталья Павловна, — шутил Вихрев, счастливый оживлением жены.

Появление Журеньки прекратило этот семейный разговор. Она присела к нашему столу, выпила свою чашку кофе, «помолчала о разных предметах» и ушла в свою комнату, провожаемая счастливым взглядом Натальи Павловны.

— Мне ее жаль, бедняжку... — сдержанным шепотом заговорила растроганная мамаша. — Нам, старикам, все равно где ни жить, а Журенька так молода и еще решительно ничего не видала. Я замечаю, что ей иногда страшно скучно с нами...

— Это пустяки! — спорил домовладыка. — Секрет всякого счастья заключается в том, чтобы уметь быть довольным настоящим... да. Сыта, одета, есть свой угол — чего же больше? Не вывозить же нам ее в свет...

Наталья Павловна промолчала и незаметно перевела разговор на другую тему, как это умела делать она одна. Прежде всего последовал длинный разговор о том, как Петр Васильич остался без места, что повторялось слишком часто и что не мешало Наталье Павловне каждый раз удивляться, как это могло случиться. — Ах, как много было хлопот, неудач и неприятностей, пока Петру Васильичу предложили место управляющего на Чингортских промыслах. Но и тут затруднение: раньше было хоть и плохо, но все-таки жили в населенных пунктах — то в городе, то по заводам, а тут извольте переезжать куда-то в лес.

— И вот привыкли, совсем привыкли! — удивлялась Наталья Павловна, обводя глазами комнату. — Так что даже было бы жаль, если бы пришлось уезжать

отсюда... В самом деле! Я это часто говорю Петру Васильичу.

— А разве уже есть какие-нибудь недоразумения? — полюбопытствовал я.

— Определенного пока ничего нет, но... — уклончиво отвечал Вихрев, свертывая папиросу. — Знаете, эта частная служба всегда подвержена тысяче всевозможных случайностей. Промыслы принадлежат компании: приедет какой-нибудь компаньон, и вдруг этому компаньону не понравится просто моя физиономия...

— Это может быть везде.

— Нет, я уж знаю... Вот и Наталья Павловна то же скажет.

По части недоразумений и всяких случайностей Вихревы были замечательные люди: сыр-бор загорался из ничего. Являлось основательное подозрение, что и на промыслах они тоже не прочны, но Наталья Павловна предупредила мой вопрос:

— Знаете, теперь у нас большая забота с Журенькой... Не прежняя пора, чтобы бродить с места на место, и приходится мириться с собственным положением. Конечно, насколько это терпимо... Может быть, это просто происходит и от старости, когда свой теплый угол дороже всего.

— Я не согласен записываться в старики! — спорил Вихрев, начиная шагать по комнате. — Вы, Наталья Павловна, как знаете, а я не хочу... Да, не хочу, и конец делу!

III

Когда мы покончили обед, под окном конторы послышался лошадиный топот. Наталья Павловна так и подпрыгнула на месте, точно уколотая, и тревожно посмотрела на Журеньку, которая не шевельнула бровью.

— Это Игнатий Яковлич... верхом... — объявил Петр Васильич, выглядывая в окно.

— О, я угадала по топоту... — ответила Наталья Павловна, оглядываясь на дверь. — У него такая прекрасная лошадь, и потом ездит он неподражаемо.

В комнату в это время входил среднего роста господин в ботфортах, шведской курточке и жокейской шелковой фуражке. Открытое свежее лицо с русой бородой невольно бросалось в глаза. Не снимая перчаток, он поздоровался с дамами, потрепал Вихрева по плечу и раскланялся со мною, не дожидаясь официального представления.

— Счастливый к обеду... — пошутил он, кидая взгляд на развалины нашего пиршества. — Вот что значит человек, которому не везет решительно ни в чем.

— Я сейчас велю подавать... — засуетилась Наталья Павловна.

— Нет, не беспокойтесь: я уже пообедал... День отличный, я и вздумал прокатиться. Кстати, у нас был когда-то разговор о катанье верхом, Евгенья Петровна?

— Я не помню... — равнодушно ответила Журенька и вопросительно посмотрела на мать. — Потом я боюсь лошадей.

— О, это пустяки!.. Из вас выйдет прекрасная амазонка...

Низовцев держал себя с уверенностью человека, пользующегося большим успехом у женщин. Но замашки настоящего фата скрывались благодаря выдержке и привычкам хорошего общества. На меня он произвел нехорошее впечатление, и это, видимо, огорчало Наталью Павловну. Разговор как-то не вязался, и Низовцев уехал, не мешая tête-à-tête старых знакомых. На прощанье он пригласил меня к себе на прииск, где обещал хорошую охоту.

— Прекрасный человек, — сделала резюме Наталья Павловна, когда Низовцев лихо поскакал от конторы на своем буром иноходце. — А ты, Журенька, совсем не умеешь держать себя с посторонними людьми: настоящая поповна... Недоставало только, чтобы ты покраснела и убежала как горничная!

— Мама, я не люблю ездить верхом...

— Пустяки!.. Каждая девушка должна любить верховую езду, как вообще сильные движения, а Низовцев научил бы тебя держаться в седле как следует. Он прекрасно ездит...

— И пусть ездит, а я не хочу.

— Каприз?

— Нет...

Наталья Павловна обратилась с немой жалобой во взгляде ко мне и замолчала. Журенька надулась и, воспользовавшись наступившей паузой, ушла в свой цветник.

— Это какая-то рыба! — возмущалась Наталья Павловна. Кто любит цветы?.. Одни старые девы... Меня просто рвет эта страсть к цветам!.. Недостает только болонки...

— Не следует волноваться из пустяков, Наталья Павловна, — нерешительно заметил Вихрев.

Ответа не последовало.

Эта чета Вихревых принадлежала к типу интеллигентных перелетных птиц. Петр Васильич когда-то был в университете, из которого вышел «по независящим обстоятельствам». Время было порывистое и говорливое. Петр Васильич, находясь без определенных занятий, вращался по старой привычке в студенческих кружках. Между прочим, он здесь и познакомился с Натальей Павловной, которая бросила родное дворянское гнездо для новой жизни с новыми людьми.

— Чад какой-то был... — вспоминала она иногда про доброе старое время. — Возьмите того же Петра Васильича: ведь двух слов не скажет толком, а тогда гремел, да еще как гремел!.. Это было просто брачное оперение мысли...

Недостатком Натальи Павловны было то, что она сама первая смеялась над сорвавшимся с языка острым словцом, хотя смеялась очень мило, как все хорошие люди: глаза так и вспыхнут, а около рта заиграют две ямочки.

— Да, у Петра Васильича была тогда такая красивая голова и решительный взгляд, и женщины увлекались. — Наталья Павловна опять улыбалась и смотрела на мужа с чувством собственности.

За первыми радостями последовала скитальческая жизнь, полная мелких дрязг и переворотов. Петр Васильич оказался прежде всего ленивым человеком, потом он не умел поставить себя нигде, и, наконец,

неудачи всякого рода сыпались на его голову, как на Макара шишки. Явилась Журенька, за ней еще два ребенка, которые не могли «приспособиться к обстоятельствам» и выбыли из строя «сражавшихся в борьбе за существование». Высокие слова и научные термины были слабостью Натальи Павловны. Кто-то из хороших знакомых наговорил Вихревым про Урал с три короба: и места много, и крайняя нужда в интеллигентных работниках, и непочатые углы, взывающие о культуре. Уехали на Урал, где из года в год и тянулись, повторяя те же неудачи, разочарования и ошибки. Наталья Павловна иногда скучала по волжским яблоням, дубовым рощам и соловьям, но приходилось мириться с уральской хвоей и уральскими людьми.

Удивительная была эта женщина Наталья Павловна, не замечавшая даже, что свой семейный корабль тащит она одна. Уж очень много было в ней чисто женской живучести. Свои личные дела всегда у ней шли как-то между прочим, и она больше заботилась о других. А этих «других» с каждым годом появлялось все больше и больше: один лучше другого, и каждому нужно отыскать занятие, пристроить, обласкать, успокоить и вообще пролить в страждущую душу бальзам утешения. Результатом такой возни являлась самая черная неблагодарность. Наталья Павловна страдала нравственно за свой неудачный выбор, а потом утешалась каким-нибудь новым «сюжетом» до новой неприятности. Правда, знакомые Натальи Павловны очень роптали на нее: сидит такой знакомый в своем кабинете и получает письмо Натальи Павловны с приложением действующего лица, о котором так мило просят похлопотать и вообще посодействовать. Знакомый человек мысленно ругает Наталью Павловну и посылает ко всем чертям, улыбается и жмет руку рекомендуемому, потом лжет и за себя и за него, пока тот не устроится, и в конце концов, вздохнув свободно, говорит вслух самому себе: «Нет уж, Наталья Павловна, merci beaucoup [1], это в последний раз... Это уж черт знает что такое! У меня своих дел по горло... да!»

---

[1] большое спасибо, *(франц.)*

Наталья Павловна отлично знала человеческое сердце и с самым покорным видом выслушивала от таких знакомых разные горькие истины, а потом подсылала к ним новых клиентов.

— Вам бы уж лучше прямо богадельню устроить, Наталья Павловна; а еще толкуете о разумном эгоизме, — ворчит кто-нибудь. — Вы сами себе противоречите и своими рекомендациями создаете каких-то привилегированных людей. Всех не пристроишь, да и наше время такое... гм... да...

— Вы всегда можете отказаться, Семен Семеныч, и я не буду в претензии.

— Да, я хочу тоже быть разумным эгоистом.

— Самое лучшее!

— И прекрасно!.. Я сам отлично проштудировал теорию утилитаризма по Миллю и убедился во вреде покровительства.

Такова была эта Наталья Павловна, которую настолько все уважали, что совсем не замечали скромного существования главы дома. Петр Васильич умел остаться в стороне и покорно нес свою долю домашнего животного. Он не был дурным человеком, как не был и хорошим, а так... черт знает что такое. Знакомые Натальи Павловны иногда подсмеивались над ним, называя в шутку «общим нашим знакомым».

Зная давно эту оригинальную чету, я был особенно удивлен тому беспокойному и тревожному настроению, в каком находилась Наталья Павловна. Причина была налицо: Журенька. Это было еще страннее, потому что Наталья Павловна слишком скептически относилась к брачным комбинациям.

— Помилуйте, девочка в шестнадцать — семнадцать лет ничего не понимает, и вдруг связать свою судьбу навек... Все наши законы против женщины!

— Однако вы сами выходили замуж?

— И всегда в этом раскаиваюсь... Заметьте: раскаиваюсь, а не жалуюсь.

Мы забыли сказать, что главной особенностью Натальи Павловны было то, что она никогда не плакала. Решительно никогда, как никогда не жаловалась на свое положение.

Появление Низовцева и отношение к нему Натальи Павловны просто ставило меня в тупик: она так и разыгрывала мамашу, жаждущую устроить судьбу дочки. Да и сам Низовцев был новым человеком в ее репертуаре: с такими людьми она прежде не имела никаких сношений. Единственным объяснением отчасти могло служить разве только то, что, живя в лесу, поневоле будешь рад всякому живому человеку.

IV

Прииск Козырный, где жил Низовцев, находился верстах в пяти от Чингортских промыслов. Нужно было спуститься вниз по течению реки Имоса, и налево, где начинался кряж Дойкар, в узкой горной лощине залегла золотоносная россыпь. Издали видно было только высокую трубу паровой машины. Прииск был открыт недавно, и производились разведки. Широкая русская изба, на живую руку сделанная из свежих сосновых бревен с сочившейся из них смолой, приткнулась к горе: это и была контора, где коротал свои дни Игнатий Яковлевич.

Я воспользовался приглашением Низовцева побывать на охоте в его владениях и пришел на прииск ранним утром. Хозяин встретил меня в небрежном утреннем костюме, слишком изящном для приисковой бивачной жизни. Дрессированный пойнтер кофейной масти выскочил на крылечко и с азартом принялся лаять по моему адресу.

— Набоб, тубо!..

Внутренность избы поражала своим женским туалетом: тут было и зеркало, и столик с разными косметиками, и целый ассортимент щеток и щеточек, и походная кровать, прикрытая белоснежным покрывалом, и мраморный умывальник с щетками и баночками, и коврики под ногами, и ночной столик с букетом из последних осенних цветов. Письменный стол, заваленный безделушками, альбомами и фотографиями, занимал простенок между двумя окнами. Над диваном на персидском ковре было развешано разное оружие:

двустволка Лебеды-отца, винтовка, штуцер, несколько револьверов, неизбежный кинжал с серебряной насечкой, и даже была рогатина. Впрочем, такие арсеналы служат плохой рекомендацией, как всякая реклама или вывеска, а являются только глупой декорацией. Несколько олеографий дополняли обстановку. Над письменным столом, на особой полочке, во всю длину простенка были расставлены фотографии в различных рамочках — все были женщины и все молодые. Очевидно, эта полочка являлась «памятью сердца»...

— Вы меня извините великодушно... — повторял несколько раз Низовцев, скрываясь за драпировкой, отделявшей кровать. — Я сейчас к вашим услугам. Набоб, куш!.. Что Наталья Павловна?.. Кстати, как вам понравилась эта mademoiselle Журенька?..

— Я слишком давно ее знаю, с раннего детства, чтобы судить как девушку...

— Вы правы. Беспристрастным судьей может быть только совершенно посторонний человек... В ней есть задатки, и если бы придать им определенную форму, известный шик... Женщины вообще моя слабость. Мы сегодня отправимся с вами в Дойкар, где есть хорошее местечко, и Набоб поработает отлично!

Из-за драпировки Низовцев показался в охотничьих лакированных сапогах, в какой-то мудреной жокейской фланелевой курточке и синих штанах военного покроя. Он щеголевато выпячивал грудь и несколько раз взмахнул руками, как гимнаст, который выходит на арену цирка.

— Мы выпьем кофе и потом отправимся! — проговорил он, позвонив в колокольчик с письменного стола.

На звонок явился казачок в синей суконной поддевке, таких же шароварах и красном кушаке, точно один из членов какой-нибудь певческой капеллы á la Славянский. Получив приказание барина, он повернулся на каблучках и неслышно удалился, как и следует слуге в порядочном доме. Через четверть часа мы пили кофе из серебряного кофейника, причем Низовцев сам разливал его по китайским чашечкам без ручек.

— Можно, знаете, везде жить, если подтянуть себя и взять в руки, — философствовал он, прищуривая глаза. — И нет такого положения, из которого нельзя было бы выйти...

Поймав мой нетерпеливый взгляд в окно, он быстро закончил свою порцию кофе и начал вооружаться. Место для конторы было выбрано очень удачно: от северо-восточного холодного ветра ее защищала гора, а к югу, точно широкими воротами, открывался вид на долину реки Имос. Вершины Усть-Маш и Дойкар высились с боков. Из окна конторы открывался очень милый и оригинальный вид, хотя самый прииск Козырный ничего замечательного не представлял собой: дымила одна машина, да в разных местах сонно копались до двадцати рабочих.

— Странное название прииска... — говорил я, когда мы, наконец, отправились на охоту. — Это вы придумали?

— Да, да... Набоб, en avant!..[1] Видите ли, жизнь наша все-таки в конце концов — игра и большею частью очень скверная, а я люблю козырей. Козырь — в этом все...

Меня начинали забавлять эти отвлеченности и аллегории, которые совсем уж не вязались с привычками и обстановочкой прогоревшего барина. Впрочем, в таком медвежьем углу философия являлась последним утешением.

— Вы не устали ли? — несколько раз осведомлялся Низовцев с изысканной любезностью, когда мы поднимались в гору. — Мы возьмем отличное утро... Вот увидите!..

Охота действительно удалась: Набоб сделал несколько хороших стоек на вальдшнепов; на одном брусничнике мы «натакались» на целый табун косачей, начавших уже «грудиться»: самцы с самцами, молодки с маткой. Лес огласился звонким хлопаньем наших выстрелов, и можно было расслышать сухой шум, с каким летела дробь сквозь осеннюю листву, точно мы

---

[1] вперед!.. *(франц.)*

стреляли по бумажным декорациям. Были промахи и просто неудачные выстрелы, которые мы объясняли друг другу «крепким пером» осенней птицы: известно, что самые меткие выстрелы иногда не «ронят» птицы, и есть масса причин, почему ваше ружье начинает «живить» самым бессовестным образом. В общем мы все-таки могли похвастаться большим успехом, и поэтому, выбрав уютное местечко у молодой еловой заросли, расположились отдохнуть.

— Мы здесь можем получать королевское удовольствие ни за грош, — говорил Низовцев, располагаясь на траве. — Где вы найдете такую охоту?.. Я был в Германии и во Франции: одна жалость, а не охота. Нагонят дичи в парках и стреляют ее, как в курятнике... А по-моему, нет выше удовольствия, как именно охота — этот последний остаток первобытной поэзии. Правда, нужно отдать справедливость нашей жестокости, но ведь жизнь-то в общем складывается так нелепо и искусственно, что необходимо встряхнуть нервы. Лучшим моментом, как и везде, является ожидание, это особенное чувство, от которого сладко замирает сердце в груди...

На сцену явилась охотничья фляга с походными серебряными стаканчиками и охотничья закуска. Набоб улегся на почтительном расстоянии, как и следует благородному псу; он тяжело дышал, уткнувшись мордой в траву. Разложив дичь по разрядам, Низовцев проговорил:

— Не правда ли, будет хороший сюрприз Наталье Павловне?

— Да...

— По-моему, это самый изящный подарок, какой только можно сделать женщине. Да... А вы давно были в Петербурге?..

После двух стаканчиков у Низовцева глаза заметно сузились и явилась блуждающая самодовольная улыбка. Без всякого вызова с моей стороны он пустился в личные воспоминания и оказался самым обыкновенным болтуном, который из-за красного словца выдает самого себя головой. От прежней выдержки, как от разбитого яйца, осталась одна скорлупа. Сказался тот зуд,

который требует выговориться. «Что ни говорите, а если стоит вообще жить, то только в столицах. Да... Все там стягивается: красота, ум, талант, гений». У Низовцева была хорошая рука, которая помогала ему легко идти по бойкой дороге. Он стал перечислять по пальцам всех героев и героинь громких процессов последних лет, — да, он был лично знаком с ними, и — увы! — они ушли дальше его: кто в Иркутске, кто в Красноярске и вообще по разным сибирским глубинам. У Низовцева была своя история, кончившаяся тоже скамьей подсудимых, но вышло как-то глупо: он и попался как-то боком, по чужому делу, как попадают в лузу биллиарда «от шара шаром». Это сравнение очень понравилось Низовцеву, и он его повторил несколько раз.

— Вы надеетесь вернуться в Петербург? — спросил я, чтобы сказать что-нибудь.

Низовцев точно проснулся и с удивлением посмотрел на меня: что такое вернуться в Петербург?

— Нет, мое время уже ушло... — задумчиво ответил он. — Вышел из колеи, оброс мохом, а показаться смешным — это хуже смерти... Кстати, вы давно знакомы с «нашим общим знакомым»?

— Да, порядочно...

— Знаете, мне иногда его жаль... да. Нехорошо, когда мужчина так слепо подчиняется женщине, даже такой, как Наталья Павловна. Я скажу больше: это дурно даже для этой женщины, потому что... как это вам сказать? Одним словом — в каждом явлении и факте должен быть известный центр тяжести, и его отсутствие служит признаком разрушенной внутренней связи...

Мы возвращались на прииск другой дорогой, через березняк, где земля была усыпана облетевшим сухим листом. Небо заволакивала осенняя серая мгла, надвигавшаяся из-за Усть-Маша. Порывистый ветер вырывался откуда-то, точно в отворенное окно, и судорожно рвал сухой мертвый лист, кружившийся в воздухе, как бумажка. Эти мертвые движения, конечно, не могли оживить мертвых красок и придать лесу живой «зеленый шум».

V

Осенний вечер. Перед конторой на Чингортских промыслах ярко пылает огромный костер. Кучер Яков — у Вихрева есть теперь свой кучер и свои лошади, — кучер Яков привез с Имоса несколько сухарин (сухие палые деревья) из лесу, хворосту и очень занят, чтоб устроить «агроматное пальмо́». Около костра бегает Журенька, счастливая фантастическою картиной. Она в одном ситцевом платье, на плечах едва накинут оренбургский платок из козьей шерсти.

— Журенька, ты простудишься... — повторяет Наталья Павловна, наблюдая дочь счастливыми глазами. — Теперь земля холодная, а ты в одних прюнелевых ботинках.

— Ничего, мама... Мама, посмотри, какое темное небо, а от костра кверху свет идет воронкой.

Журенька очень довольна, и Наталья Павловна очень довольна. Эта последняя точно молодеет в присутствии дочери и заискивающе смотрит на своих гостей, то есть на нас, точно хочет сказать: «Ведь Журенька еще ребенок, совершенный ребенок... Обрадовалась, дурочка, огню!» Мы не можем отнестись с такою детски-чистою радостью к пылающему костру и сидим на длинной скамье, вытянув ноги на разостланный ковер: известный возраст требует известных солидных удобств. Низовцев сидит рядом с Натальей Павловной и молча посасывает походную английскую трубочку: он враг всяких «дачных импровизаций» и постарается не выдать себя.

— Пойдемте в комнату, — нерешительно говорит Петр Васильич, поджимая ноги от холода. — Можно еще насморк получить...

— Вот вы всегда так, Петр Васильич... — замечает укоризненно Наталья Павловна.

— То есть как это «так», Наталья Павловна?

— Никакой поэзии нет в вас, Петр Васильич... да. Наконец, хоть раз в жизни нужно же подумать о других...

— Ну, вы наслаждайтесь тут поэзией насморка, а я пойду, — упрямится домовладыка и своею разбитою,

усталою походкой исчезает в той мгле, которая черным кольцом охватывает освещенный костром круг.

Наталья Павловна рассердилась. Ведь она никогда не требовала никакой поэзии, никогда не жаловалась на свои вечные будни, зачем же *он* не хочет понять, что настоящая минута доставляет ей удовольствие... Да, маленькое удовольствие, на какое всякий имеет право, — а он... «поэзия насморка». Счастливая минута отлетела, и Наталье Павловне делается так жутко, как это бывало в детстве: и обидно, и слезы щиплют в горле, и нет виноватого. А ночь такая темная-темная, огонь так весело трещит, взметая клубы черного дыма и целый фейерверк искр. Над головами уходит кверху колеблющимся столбом свет, как труба, по которой летят искры: окружающая темнота точно раздается при каждом всполохе огненных языков и сейчас же смыкается, когда пламя падает. Яков хлестко рубит упругую сухарину, от которой топор отскакивает с тонким звоном. Журенька ждет момента, чтобы взять свежее полено и бросить его в костер; взовьется сноп искр, а около свежего дерева так и затрещат тысячи искорок. Журенька продолжает быть счастливою, и Наталье Павловне делается жаль эту несчастную девочку, для которой воспоминание о таком вечере, может быть, на целую жизнь останется самою светлою точкой, как это и бывает.

Когда костер сгорел дотла, мы вернулись в контору. Петр Васильич сидел у стола и подсчитывал какую-то объемистую приисковую книгу. Взглянув на него, Низовцев едва заметно улыбнулся: «поэзия насморка»... И скажет «наш общий знакомый» словечко!..

— Евгенья Петровна, хотите партию в шахматы? — предлагал Низовцев с изысканной любезностью.

— Если без рокировки, то я согласна...

— Все, что вам угодно!

Есть две скучнейших вещи на белом свете: шахматы и крокет. Для меня лично в десять раз приятнее слушать даже две флейты зараз, чем присутствовать при одной партии любой из этих «игр», придуманных скучающим человечеством для еще большей скуки. Однако Наталья Павловна была довольна и посмотрела на

Низовцева благодарным взглядом: она любила, когда он играл с Журенькой. Шахматная доска хоть на время образовала желанную парочку, притом у Журеньки, когда она обдумывала какой-нибудь мудреный ход, на лице являлось такое умное выражение.

Когда мы сели на диван, который был настолько далеко от игроков, что можно было без риска разговаривать вполголоса, Наталья Павловна спросила меня в упор:

— Вам не нравится Низовцев?

— Я слишком мало его знаю.

— Однако мы в большинстве случаев руководствуемся нашими первыми впечатлениями и по ним составляем известные представления о людях.

— В таком случае, — нет, не нравится.

— И вам не нравится, что я ухаживаю за Низовцевым, как чиновница, которая хочет сбыть с рук заневестившуюся дочь?

— Эти вещи трудно судить со стороны, особенно когда они вас совсем не касаются.

Мой ответ заставил Наталью Павловну улыбнуться, — я уж говорил, что она так хорошо смеялась. Это моложавое лицо было еще полно силы и задумчивой прелести, какая сохраняется только у очень сильных и живучих натур. Мне нравилось, когда Наталья Павловна смотрела на кого-нибудь своими доверчивыми, серьезными глазами: в них, или, вернее сказать, в этом взгляде, было столько женской чистоты и сердечности.

— В наших детях мы повторяем нашу жизнь, — задумчиво говорила Наталья Павловна, принимаясь за какое-то шитье. — Я говорю о женщинах. Это все равно как те муки, которые переживает преступник, когда на тысячу ладов повторяет в своем уме все одно и то же преступление. Ведь люди так похожи друг на друга, а в своих ошибках — в особенности. Недаром, по словам Гейне, с каждым человеком родится и умирает вселенная... Теория полного невмешательства родителей в самый критический момент жизни своих детей, конечно, имеет много за себя, как гарантия от самодурства и разных слишком практических расчетов, но есть

и другая сторона: матери переживают себя еще раз в судьбе дочерей. Вы не бойтесь, что я буду жаловаться на бабью свою долю и обвинять мужчин. Есть вещи хуже! Несправедливость кроется в известной физической организации, в тех стихийных силах и законах, в которых похоронено библейское проклятие женщины. Можно забыть о себе, можно помириться с индивидуальной болью, но ведь тут дело идет о другом человеке, и сердце изнывает во втором издании, если можно так выразиться.

— Вы даже усвоили отвлеченную манеру Низовцева говорить.

— Может быть... Скажу вам откровенно: сначала он мне очень не нравился. Да и что могло быть общего между нами? Лично я уже давно пережила острую пору своего существования, насмотрелась всяких людей и имею порядочный материал для сравнения... Да, Низовцев мне сначала положительно не понравился и в особенности потому, что он вышел из среды, слишком мне знакомой по крови: это дворянский ублюдок с прожигательской складкой. Такие именно люди сводят с ума известного сорта женщин, как было и в данном случае. Одним словом — столичный хлыщ и больше ничего. Но, живя в лесу, не приходится быть особенно разборчивым на знакомство. Я имела много времени ближе вглядеться в этот тип и — знаете... как это вам сказать?..

— Нашлись оправдательные документы?..

— И так и не так... В сущности Низовцев не глупый и хороший малый, а настоящая школа поможет ему отделаться от столичной грязи. В результате получился вывод, что Журенька могла бы быть с ним счастлива... Да, в нем есть эта живучесть, та грубая энергия, которая нравится женщинам, и потом целый ряд маленьких особенностей и привычек, созданных известной культурной средой. Как мать, я, вероятно, создала своего собственного Низовцева и живу в фантастическом мире, а действительность, как видите, нейдет дальше какой-нибудь партии в шахматы.

Наталья Павловна сама засмеялась и так умненько посмотрела на игроков, сидевших с недовольными,

надутыми лицами. Петр Васильич откладывал что-то на счетах, смешивал костяшки и безостановочно жег одну папиросу за другой.

За ужином, когда была подана холодная дичь, убитая нами накануне, произошла неприятная размолвка между Низовцевым и Натальей Павловной. Поводом послужило какое-то ничтожное замечание первого о женщинах. Хозяйка приняла его очень близко к сердцу и просто-напросто раскапризничалась. Бедный Петр Васильич сидел как на угольях и напрасно придумывал маленькие хитрости, чтобы обратить все в шутку. Этого было достаточно, чтобы вся энергия обратилась на его голову, и Наталья Павловна все шла дальше и дальше по пути неправды, пока несчастный ужин с холодной дичью не кончился. Журенька присутствовала совершенно равнодушным зрителем и на правах недоростка вышла из-за стола раньше всех.

Мы расстались очень неловко. Низовцев кусал бороду. Петр Васильич безмолвно разводил руками и тер свой лоб.

— Оставайтесь еще на денек, — говорила мне Наталья Павловна, делая усилие непременно быть любезной.

— Благодарю вас, но мне завтра нужно будет уехать ранним утром.

Наталья Павловна повернулась ко всем нам троим спиной и молча ушла в свою комнату: мой ответ был последней каплей в чаше сегодняшних огорчений.

— Наталья Павловна, повидимому, не совсем здорова... — говорил Вихрев, провожая Низовцева по лестнице со свечой в руках.

VI

Ровно через год мне пришлось завернуть на Чингортские промыслы, на этот раз уже «по пути». Та же местность, такая же крепкая осень, та же контора, те же цветы, за которыми ухаживала Журенька, точно я только вчера уехал отсюда. Получилась любопытная иллюзия, точно целый год был вычеркнут из поступа-

тельного движения реки времен. Я мог бы сказать, что действующие лица моего рассказа оставались те же, но это неправда: первое, что встретил я в приисковой конторе, был молодой врач из Коренного завода, Илья Никитич Засухин. Журенька попрежнему щеголяла в своих ситцевых платьях на манер bébé[1], Низовцев попрежнему разыгрывал джентльмена, Вихрев не выпускал изо рта папирос, а Засухин сидел на продавленном историческом диване и спорил с Натальей Павловной, спорил невозмутимо, методически, доказательно, точно ехал по железной дороге или прописывал рецепт в тысячу и один раз!

— С вами невозможно спорить, доктор, — горячилась Наталья Павловна, причем лицо у ней так и вспыхивало розовыми пятнами.

— Нет, вы еще раз не правы: со мной можно спорить, как с спокойным человеком, который по крайней мере дает высказаться противнику, — невозмутимо тянул доктор, посматривая на часы.

— Вот именно ваше спокойствие меня и бесит, потому что... потому что — откуда эта непогрешимость и... и...

— И самоуверенность, с какой говорят все слишком ограниченные люди?

— Я вас не просила договаривать за меня! А если хотите, то прибавьте еще: и самоуверенность...

— Юпитер, ты сердишься, значит ты не прав, — ответил самоуверенный доктор латинской пословицей.

Высокий, плотный, с большой угловатой головой и широким русским лицом, молодой доктор принадлежал к новому типу невозмутимых молодых людей. Под гребенку остриженные волосы, клинышком подровненная русая бородка, большой чистый лоб, спокойный и уверенный склад рта ничего сами по себе замечательного не представляли, как и дорожный костюм. Расшитая малороссийским узором рубашка плотно охватывала докторскую белую шею; большие акушерские руки носили ясные следы внимания. Высокие ботфорты, серая визитка из дешевого сукна и золотые часы дополняли

---

[1] ребенка, *(франц.)*

всю постройку докторской амуниции. Он отвечал сдержанно и уверенно и, видимо, был доволен, что Журенька слегка раскрытым ртом ловит каждое его слово. Между ними уже установилась известная тонкость понимания, которая бесила Низовцева, кусавшего бороду.

— Такого человека я встречаю еще в первый раз в своей жизни! — обратилась уже ко мне Наталья Павловна. — Столько-то минут на обед, столько-то на чай, на одеванье, на визит к больному, на спор с приятелем... Да ведь это не жизнь, а какие-то четыре действия арифметики.

— Для маленьких людей совершенно достаточно, — соглашался доктор.

— Это какой-то человек-часы, как я его называю... Ему хоть камни вались с неба, а столько-то минут прошло — нужно идти или ехать.

— Совершенно верно, как и сейчас... Мне остается ровно час удовольствия беседовать с вами, Наталья Павловна.

— Да ведь ночь на дворе! Хороший хозяин собаки со двора не выгонит, а вам до Коренного верст тридцать ехать...

— Привычка, Наталья Павловна. Да и мое время принадлежит не мне: я продался заводоуправлению...

— А в контракте с заводоуправлением вы выговорили себе хоть одну свободную минуту, если доведется умирать?..

— Нет... Я надеюсь жить очень долго.

В течение оставшегося часа доктор успел поспорить с Низовцевым, который, как ни старался сохранить свою выдержку, но постоянно прорывался и тоже покраснел, как Наталья Павловна. Силы были далеко не равные, и бедному джентльмену крепко бы досталось, если бы не истек докторский час. Доктор первый протянул свою акушерскую руку Низовцеву и тем же тоном проговорил:

— Надеюсь, что мы, Игнатий Яковлевич, докончим наш спор в следующий раз...

— К вашим услугам, Илья Никитич.

По-мужски простившись с дамами и посоветовав что-то Петру Васильичу относительно его ревматизма,

Засухин вышел. Журенька подскочила к окну, чтобы посмотреть, как докторская плетенка переедет через свежую приисковую насыпь.

— Когда же и где он думает доканчивать с вами свой спор? — спрашивала Наталья Павловна Низовцева. — Кажется, я не приглашала его...

— Этого разбора молодцы являются без приглашений, — не выдержал Низовцев, начиная шагать по комнате.

— Папа, смотри, какая славная пристяжка у Ильи Никитича! — крикнула Журенька, распахивая окно.

Петр Васильич подошел к окну, посмотрел и, потирая лоб рукой, проговорил:

— Да, лошадь того... гм... Отличная грива, да.

— Журенька, затвори окно: холодно, — заметила Наталья Павловна, кутаясь в шерстяной платок.

— Позвольте и мне проститься... — заговорил Низовцев.

— Игнатий Яковлевич, куда же вы? — взмолилась Наталья Павловна, поднимаясь с дивана. — Вы давно не играли в шахматы... Скоро чай будет. У меня новое варенье... Вы, кажется, заразились от доктора и тоже хотите превратиться в часы?..

Низовцев остался, но из этого ничего не вышло. Разговор не вязался; Журенька путала ходы и сдержанно зевала, от чего на глазах у нее выступали слезы. Душой общества сделался Петр Васильич, начавший бесконечную повесть о своих приисковых делах.

— Видели вы станционного смотрителя? — спрашивал он меня, попыхивая папиросой.

— Да...

— Скупает и мое золото, и у Игнатия Яковлевича тоже, а как его поймаешь? Знаю даже, когда скупает и по какой цене, а сделайте у него обыск — сам же в дураках останешься. Самое глупое положение: мы работаем, несем известную ответственность пред своими доверителями и до известной степени рискуем, а смотритель получает с нашей работы известный лаж...

— Да ведь на приисках везде так, Петр Васильич? А с неизбежным злом приходится мириться... Платите за золото столько же, сколько платит смотритель.

— А если я не могу этого сделать?.. Тогда все работы пойдут в убыток, и меня прогонят в шею... Впрочем, умные люди так делают: я скупаю золото Игнатия Яковлевича, он мое, и оба в выигрыше.

— Нужно быть эгоистами, Петр Васильич, — в этом весь секрет жизни, — заговорила Наталья Павловна. — Никаких увлечений, никаких чувств, один расчет везде и во всем. Таким только людям и стоит жить в наше время...

— Это вы, Наталья Павловна, по адресу доктора? — с улыбкой заметил Вихрев.

— Может быть, и по его адресу... Наше время прошло. Мы не умели жить, да я и не жалею об этом!..

Эти горькие истины говорились по адресу Журеньки, которая едва заметно улыбнулась, а потом встала и, сославшись на головную боль, ушла в свою комнату. Низовцев тоже уехал. Наталья Павловна бросила свою работу и напала на нас с Петром Васильичем.

— Хоть бы способ-то новый придумали!.. — говорила она, показывая на две книги, лежавшие на столе. — Это еще нас обманывали умными-то книжками... Цып-цып, курочка!.. И клевали... да. Смотрю — и теперь то же: Илья Никитич волокет каждый раз Журеньке те же самые книжки. Им говорить не о чем, так вот тебе, барышня, книжка... Прежде это делалось как-то само собой, такое время особенное было, а нынче один расчет.

— Мне кажется, Наталья Павловна... — нерешительно заговорил домовладыка, напрасно стараясь подбирать самые необидные слова. — Мне кажется, Наталья Павловна, что вы напрасно нападаете на доктора... да. По-моему, он, право, не дурной человек... да. И Журенька, если не ошибаюсь, ничего дурного не видит... Вообще солидный человек.

— Обстоятельный мужчина, аккуратный... Одним словом — лишнего стакана чая не выпьет и всегда будет жить только для себя. Понимаете: рыцарь без страха и упрека... да! Безотносительно он прекрасный человек, но мне от души жаль его будущую жену, если

не попадется ему такая же таблица умножения... Я говорю, как женщина, наконец, как мать!..

— Ну, это совсем другое дело, Наталья Павловна... Я в эти тонкости вообще не вмешиваюсь. О Журеньке я иногда думаю и стараюсь представить себе будущего зятя, но совершенно напрасно: это какая-то квадратура круга.

С Чингортских промыслов я уехал на другой день рано утром. Журенька еще спала, но Наталья Павловна вышла из своей комнаты проститься. Темные волосы у ней были завязаны на голове узлом: такие хорошие, шелковистые волосы; ситцевое матинэ скрывало всю фигуру, оставляя только одни руки, — маленькие, крепкие, с белой упругой кожей. Заспанное лицо отдавало каким-то детским выражением: и лень, и спать хочется, и сдержанная зевота не дает слова сказать.

— Так вы тово... — бормочет Петр Васильич, засовывая в карман моего экипажа бутылку с какой-то наливкой. — Не забывайте нас...

— Хорошо. Буду «тово»...

Наталья Павловна лениво улыбается, закрывает рот рукой и что-то кричит вдогонку, чего я не могу расслышать.

Моя дорога шла по долине реки Имоса, и я в десятый раз любуюсь зубчатой стеной Дойкар, синей разорванной глыбой Усть-Маш, пестрой осенней зеленью и надувшейся от осенних дождей рекой.

— Э-вон, как барин зажаривает!.. — говорит мой кучер.

Это был Низовцев, подскакавший к экипажу на своем гнедом взмыленном иноходце. Он ездил, как все манежные ездоки, и теперь делал утреннюю прогулку.

— Что вы так скоро уезжаете? — говорил он, чтобы сказать что-нибудь. — Я вас провожу...

— Дальние проводы — лишние слезы...

Низовцев весело улыбался, показывая свои зубы, и дразнил лошадь.

VII

Еще прошел год. Первый снег выпал очень рано, в ночь на 8 сентября. И какой снег: на четверть. Деревья еще не успели потерять своей листвы, и налегший на них снег ломал сучья. Старики говорят, что такой ранний снег к урожаю. В лесу теперь редкая по красоте картина. Захваченная снегом зелень продержится долго: осины как обрызганы свежей кровью, березы яркожелтого, лимонного цвета, хвоя так и горит своей полированной бархатной зеленью.

В городе грязь и слякоть, какой нет в лесу. Уныло дребезжат своими гитарами извозчики, скрипят обозы, еле тащатся почтовые тройки. Провинциальный город осенью получает самый жалкий вид, как попавшая в воду курица. Отчасти нездоровье, отчасти разные дела удерживали меня в городе, и я только могу любоваться в окна на большой барский сад, который красуется на берегу потемневшего пруда. Мысль невольно уносится в горы и перебирает разные воспоминания, как ветер шевелит сухие осенние листья. Как теперь красиво в долине реки Имоса и на Чингортских промыслах... Но нужно работать, время самое горячее. Глубокая осень как-то располагает к усидчивому труду: сидишь и вытягиваешь свои упряжки. Впереди целая зима, и сколько можно сделать. Может быть, в этом и заключается секрет нашей северной выносливости по части работы. Хорошо теперь у себя в своей комнате, когда по вечерам в печке весело трещит огонь, а на дворе стоит крепкий холодок, заставляющий птицу грудиться. Изредка завернет приятель поболтать о разных разностях.

— Я вам не мешаю? — осведомится он из вежливости.

— О, нисколько...

— Нет, вы скажите откровенно, а то я сейчас уйду... У меня тоже есть одно срочное дело.

Этот приятель, которого я очень люблю, приходит всегда не во-время, в самый развал работы, как и я к нему. Разыгрываем одну и ту же комедию и мешаем друг другу самым добросовестным образом. Впрочем,

это только кажется, что приятель помешал, а в действительности каждый рад отдохнуть. Осень располагает к дружбе, как заставляет птицу собираться стаями.

Сижу и работаю в своей комнате. На улице темнеет, редкие пешеходы торопливо бегут по тротуару, и видно только, как мелькают мужские и женские головы. Сгущающаяся осенняя темнота гонит всех по своим углам, и величайшее счастье, если есть свой угол и есть куда торопиться. Не тороплюсь зажигать лампу, чтобы посумерничать, как говорят на севере: нужно обдумать одну главу и собраться с мыслями. В такие сумерки особенно хорошо думается. Резкий звонок заставил меня вздрогнуть.

«Вот черт во-время принес гостя...» — думал я, отправляясь в переднюю отворять дверь, и сам стыжусь своего осеннего эгоизма.

— А я думал, что вас нет дома... — говорит незнакомый голос, и в темноте чья-то сухая рука ищет мою. — Я вам не помешаю?

— Нет, я очень рад...

Пока зажигаю лампу, неприятное чувство заставляет меня молчать, а незнакомый господин ходит по комнате и тоже молчит. Я в темноте решительно не могу его узнать и теряюсь в догадках.

— Вы, кажется, не узнали меня?.. — говорит незнакомец, останавливаясь перед зажженной лампой.

— Ах, это вы, Петр Васильич... Действительно не узнал. У вас точно и голос другой...

— Я простудился дорогой, охрип... Можно на диван присесть?

— Сделайте милость...

В голове мелькает предательская мысль: наверно, опять этот Вихрев остался без места и заявился с письмом от Натальи Павловны. Видно даже по костюму, что дела у Вихрева плохи: шведская курточка истрескалась и порыжела, грязное дорожное белье в самом плачевном состоянии, сапоги худы. Он сидит на диване, свесив голову, и крутит в пальцах давно потухшую папиросу.

— Если я не ошибаюсь, ваши дела не в блестящем положении... — начинаю я, приступая к делу.

Вихрев точно проснулся, посмотрел на меня широко раскрытыми глазами и молча махнул рукой.

— Хотите чаю, Петр Васильич?..

— Пожалуй... Впрочем, все равно.

— Вы да́вно с промыслов?..

— Кажется, уже с неделю... Заезжал в Коренной завод к Журеньке.

— Она вышла замуж?

— Да... За этого доктора, помните? Вы, кажется, его встречали...

— Виноват: как здоровье Натальи Павловны?..

Вихрев смотрит на меня и неловко ежится. Но в это время подают чай, и он с какой-то больной улыбкой говорит:

— Как у вас тепло... Дорога такая скверная, а у меня застарелый ревматизм: каждая косточка ноет.

Жалкий вид гостя поднимает во мне чувство участия. В самом деле, ведь этот Вихрев сам по себе хороший человек. Что за история разыгралась у него на промыслах? Опять какое-нибудь глупое недоразумение. В комнате тихо, и слышно только, как Вихрев стучит чайной ложечкой в стакане.

— Не будет с моей стороны нескромностью, если я спрошу вас, почему вы расстались с промыслами? — спрашиваю я стереотипной фразой.

— Нет, сам ушел — и все тут...

— То есть как же это сами ушли: может быть, имеете что-нибудь в виду лучшее?..

— Нет... и не желаю ничего...

— Да вы где остановились-то?..

— А на постоялом... Я на время приехал в город.

Прекращаю этот неловкий допрос и начинаю чувствовать, что Петр Васильич, кроме своих обыкновенных неудач и недоразумений, заполучил какую-то экстраординарную беду, о которой не может даже говорить. Есть такие люди, на которых судьба нарочно проделывает самые сложные эксперименты, точно испытывая человеческую природу. Мне делается жаль вот именно этого Петра Васильича: у него уж седой волос пробивается, а он все еще остается взыскующим неве-

домого града. Он, видимо, настолько занят самим собой, что забывает отвечать на вопросы.

— А разве есть какое место? — спрашивает Вихрев неожиданно.

— Определенного ничего нет, но можно похлопотать.

— Куда-нибудь на юг, в степь... — бормочет он, осматривая мою комнату, точно видит ее в первый раз. — Понимаете: куда Макар костей не заносит. Да...

— Что это у вас за фантазия и очень странная фантазия?..

— Фантазия? Нет, я думаю об этом вот три дня и три ночи... Не спится что-то: ну, лежишь и думаешь... Хорошо уехать бы далеко, далеко...

— Хотите еще чаю?

— Пожалуй... А впрочем, все равно.

Вихрев выпивает почти залпом второй стакан, наполняет всю комнату табачным дымом и начинает прощаться.

— Посидите... Куда вы торопитесь?

— Нет, нужно, — упрямо повторяет он, застегивая курточку.

— Как здоровье Натальи Павловны? — спрашиваю я во второй раз, провожая мудреного гостя в переднюю.

— Ничего... Ее нет в городе.

Вихрев уходит, а я остаюсь в недоумении, зачем он приходил. Что-то такое, вероятно, случилось... Может быть, человек из деликатности не желал навязываться со своими личными делами, и мне делается совестно, что я принял его немного сухо. Следовало по крайней мере пригласить переехать с постоялого двора: может быть, он нуждается в деньгах и бедствует, как вполне благородный человек. Эти мысли волнуют меня и не дают работать. Набросал страницу, перечитал и поставил крест — заколодило, а в таких случаях самое лучшее отложить работу на время.

Ветер завывает в трубе, и холод, кажется, крепчает. Припоминаются стихи Тредьяковского о зиме, когда «в шубы лезут человеки». Глупые стихи, и зачем такие глупости лезут в голову? А я-то хорош, даже не спросил адреса Вихрева, где он остановился. Опять глупо...

Впрочем, он не обидчивый человек и не будет в претензии. Начинаю вспоминать, когда я познакомился с Вихревым. Однако как это было давно, еще в университете... Товарищи все давно уже пристроились по теплым местам: врачи, адвокаты, чиновники, педагоги. Один Вихрев бродит по свету, как вечный жид, с каким-то волчьим паспортом... Как он постарел, износился и все-таки сохранил в себе что-то, чего недостает сытым и довольным.

Чего не передумываешь в эти бесконечные осенние вечера, когда работа почему-нибудь расстроится и из-за печатных страниц развернутой книги глядят на вас длинные вереницы знакомых лиц. Вон доктора и технологи жалуются, что нет мест, нет спроса на интеллигентный труд, а много ли их, этих докторов и технологов, — капля в море интеллигентного пролетариата. Как вот эти-то живут, кто выплыл на базар житейской суеты с дипломом ученика шестого класса или бывшим студентом? Ведь тут большие тысячи не нужных никому людей, кроме тех ловких единиц, которые устроятся везде. Опять неотступно лезет в голову этот Вихрев, у которого впереди голодная и холодная старость, если не догадается умереть. А кругом мертвый эгоизм, ликующая посредственность, легкий хлеб покладистых людей и сытая уверенность...

VIII

Вихрев пришел на следующий день. Первое, что меня поразило, это то, что от него пахло водкой. Нужно заметить, что пьяницей он никогда не был, а тут вдруг настоящее похмелье кабацкого завсегдатая. Глаза опухли, лицо было измято, костюм в беспорядке. Усевшись на диван с неизменною папиросой, он начал без предисловий:

— Пришел к вам нарочно, сказать, что я дрянь и тряпица...

— Петр Васильич, вам нужно успокоиться, отдохнуть...

— Нет, позвольте! Пьяные люди склонны к излияниям... Не перебивайте меня, пожалуйста. Я уже сказал, что я дрянной человек?

— Да.

— Мне это было очень трудно выговорить, очень... я целую дорогу повторял это слово вслух и нарочно торопился, чтобы не потерять последних крох энергии. Да... Помните, когда вы меня вчера спрашивали про Наталью Павловну, я с напускною небрежностью сначала не ответил, а потом уж совершенно развязно сказал, что ее нет в городе и что она здорова. Так?.. Ну, так говорят только дрянные люди... Пожалуйста, не перебивайте меня. Слушайте: я не знаю, где Наталья Павловна. Она ушла от меня и ушла навсегда...

Мой гость перевел дух и посмотрел на меня, вероятно желая проверить произведенное его словами впечатление.

— Да, ушла... — повторил он, зажигая новую папиросу. — Вы догадываетесь, конечно, с кем... Я был уничтожен и раздавлен. Дайте мне выговорить... да. Вы думаете, я не понимаю той смешной роли, какую разыгрывал в качестве мужа своей жены? Очень хорошо понимал... Меня давило это постоянно, но я умел сосредоточиться и уйти в себя. Помните, как я к каждому слову прицеплял: «Наталья Павловна сказала», «Наталья Павловна говорит»... Я унижался сознательно и даже испытывал в своем унижении известное жгучее удовольствие, потому что все считали меня за дурака, а я понимал все. Все понимал-с... Бывают такие властные натуры, для которых повиновение окружающих — все. Вот такою женщиной и была Наталья Павловна... О, я отлично ее понимал и вот сейчас, когда говорю это, люблю ее больше, чем когда-нибудь. Это болезнь воли... По естественному порядку вещей, я должен бы был ее ненавидеть, но ведь я дрянной человек и тряпица. Что же вы меня не спрашиваете, с кем ушла Наталья Павловна?

— Я догадываюсь...

— Да, с ним, с Низовцевым... И кто мог бы это подумать? Никогда... Я не понимаю, что с нею сделалось, или, вернее сказать, слишком поздно понял. Следовало

бы предпринять некоторые предварительные меры, откровенно объясниться, — ну мало ли что... Пустые и ничтожные причины иногда много значат, а тут жизнь в лесу, отсутствие всякого общества, и вечно пред глазами этот Низовцев. Я не мог понять, что за фантазия была у Натальи Павловны высватывать этому человеку Журеньку, а потом эта ненависть к Засухину — она просто ненавидела и преследовала его. Одним словом — целый ряд самых непоследовательных поступков... В последнее время, когда Наталье Павловне вдруг показалось, что Журенька обращает больше внимания на Низовцева, чем на своего доктора, она возненавидела свою любимицу. Это был ужасный момент, и я был уверен, что Наталья Павловна сходит с ума... Да, у ней было что-то такое и в глазах и в движениях...

— Представьте себе, что все, что я говорил вам сейчас, неправда, — заговорил Вихрев после длинной паузы. — Наталья Павловна ушла, но остальное неправда... Я вот что хочу сказать этим: это была единственная женщина — женщина редкой души и ума... Причины беды лежали не в настоящем, а в далеком прошлом. Мы сошлись по взаимному чувству, вернее сказать — по потребности в таком чувстве, как и большинство счастливых парочек. Но это было ошибкой: Наталья Павловна была лучше меня, счастливее, и нашу связь укрепляли родившиеся дети, неудачи и та женская гордость, которая так упорно держится за призрак своего первого чувства. Да, это был тяжелый призрак... А жертвовать собой для таких женщин, как Наталья Павловна, — потребность. Видите, что я понимал ее, хотя и боялся сознаться самому себе. Она всегда была такая чистая душой, откровенная... Помню эпизод, когда я хотел заплатить ей той же монетой и рассказал несколько случаев из своего студенческого житья, — ведь мы все одинаковы и всегда готовы простить себе разные гадости. Бедная, что с ней тогда было... «Неужели все такие же, каким был ты? — в ужасе спрашивала она меня. — Где же справедливость?» Это была тяжелая минута в нашей жизни, и я часто в глазах Натальи Павловны читал эту вечную мысль не только о несправедливости социальной, но и

несправедливости самой природы... Каждый новый знакомый вызывал у ней эту реакцию: сначала она шла к нему с полной доверчивостью, а потом вдруг стихала... Она видела в каждом притаившегося врага, — целый строй жизни был против нее.

— А время шло год за годом, совершенно незаметно затягивая в мелкие интересы и суету... Постоянная мысль о куске хлеба и других людях не давала отдыха. Ведь этим путем изживается не одно неудовлетворенное существование. Наталья Павловна никогда не плакала и никогда не жаловалась... Наша фикция семейного счастья, вероятно, дотянула бы до конца, если бы не Журенька. Когда девочка выросла, она подняла в Наталье Павловне все то, что в ней дремало и притаилось. В Журеньке, незаметно для самой себя, она переживала свою вторую молодость... Естественная мысль о счастии дочери слилась с неудовлетворенными порывами собственного чувства. О, это была длинная история внутренней борьбы! Наталья Павловна переживала еще раз самое себя. Обыкновенное ровное настроение исчезло, явилась апатия или лихорадочное оживление... А тут присунулся Низовцев. Ну, скажите, что в нем было, в этом человеке? Выгнанный из Петербурга франт играл на приисках, собственно говоря, самую жалкую роль... Сначала Наталья Павловна так к нему и отнеслась, даже больше: она дала ему почувствовать это. Но потом начался крайне сложный душевный процесс... то есть это я стараюсь объяснить себе случившееся. Наболевшее чувство к дочери — с одной стороны, а с другой... Не знаю, но, может быть, тут откликнулась та среда, из которой вышла сама Наталья Павловна. Ведь она была из старинного дворянского рода, из богатой семьи, помешавшейся на этикете и приличиях, и вот эта обрядная сторона, как мне кажется, отозвалась на ней, а ведь обряд переживает самого человека: это страшная сила. Да... Ей нравилась надутая и фальшивая выдержка этого Низовцева, его льстиво-рыцарская манера держать себя с женщинами, аристократические привычки, известный размах в характере. Ведь женщины все прощают, кроме посредственности, а предметом для сравнения служил я...

Разуверившись в своей схеме жизни, Наталья Павловна незаметно для самой себя перешла к другому порядку мыслей и чувств. Это был роковой момент в ее жизни... Вы понимаете, что я сейчас говорю?..

— Отчасти, хотя и не могу согласиться...

— Может быть, я и ошибаюсь! — уныло проговорил Вихрев, охватив руками колена и начиная раскачиваться на диване. — Потребность подложить под всякий факт понятные и разумные причины переживают все. Но довольно: я уже достаточно надоел вам.

Вихрев поднялся и начал прощаться.

— Знаете, что я вам скажу, — говорил он в передней, надевая проношенные резиновые калоши: — русская женщина — трагический тип... В ней так много жизни и такой неистощимый запас сил, а приложения нет. Да... А в данном случае в ней проснулась неудовлетворенная женщина. Она в дочери переживала свою неизжитую жизнь. Как вы думаете, что было бы, если бы Журенька не унаследовала моего рыбьего темперамента и вышла бы замуж за Низовцева?..

ПРАВИЛЬНЫЕ СЛОВА

Из путевых эскизов

I

Мы ехали первый раз на студенческую летнюю «побывку». Вернуться домой студентом — это уже говорило достаточно само за себя. Еще в Петербурге составилась целая компания, и мы весело катили на далекую родину, минуя чужие города, чужих людей и вообще чужую сторону. Домой — сколько хорошего, молодого, здорового и теплого в одном этом слове!..

Москва, Нижний, Казань мелькнули как-то особенно быстро, и мы с нетерпением ждали родной Камы с ее крутыми, глинистыми берегами, траурным лесом и родным холодком. Пароход «Купец» шел очень медленно, и в помещении третьего класса в майские ночи было порядочно-таки холодно, особенно принимая во внимание наши летние «сак-пальто» с Апраксина. Когда пароход вошел в Каму, наше положение оказалось почти критическим — потянуло «сиверком», воздух настолько засвежел, что благоразумные люди понадевали шубы. Днем мы кое-как перебивались еще около машины, но страшна была близившаяся холодная ночь.

Спасение явилось совершенно неожиданно в лице сплавщика с реки Белой, у которого оказалось с собой

целых два бараньих тулупа, не считая надетого на нем полушубка из домашней овчины.

— Всех угрею, — радушно приглашал старик, снисходя к нашей господской беспомощности. — Один тулуп постелем на пол, а другим сверху накроемся. Тут нас из пушки не прошибешь...

Как теперь вижу этого сплавщика... Высокий, плечистый, с большой косматой головой, он выделялся из остальной толпы пассажиров, как настоящий богатырь. Такие типы попадаются еще в захолустьях, как Уфимская губерния. Замечательнее всего у нашего богатыря было лицо — широкое, с окладистой бородой и славянскими серыми глазами; на этом лице лежала печать удивительной доброты, а глаза смотрели совсем по-детски. Он и говорил совсем особенно, тем языком, от которого веяло нетронутым домашним теплом. Помимо его тулупов, сплавщик приводил нашу компанию в восторг как редкий представитель настоящего «народа» и притом наш мужик, вспоенный уральской водой. Сказался известный областной патриотизм, да и старик оказался таким разговорчивым, интересным. Его речь так и пересыпалась поговорками, прибаутками и тем красным словцом, по которому узнаешь умного человека сразу.

— Вы из школьников будете? — расспрашивал он нас. — На побывку домой потянули...

— Не школьники, а студенты, — поправлял кто-то, обиженный названием школьника.

— Ну, скубенты так скубенты: все одно — угрею... Кто ни поп, тот и батька, а у меня домашнего тепла на весь пароход хватит. Будем друг о дружку греться...

Кама была в полном разливе, и нужно было видеть, как любовался могучей рекой старик. Он знал каждую отмель, каждый островок и мог «пробежать» на пароходе с закрытыми глазами. Эта любовь к своей реке, к своим местам и к своему вообще отвечала как нельзя лучше нашему общему настроению, и старик в наших глазах в течение одних суток вырос в какого-то сказочного богатыря. О реке он говорил как о живом существе и говорил так любовно, тепло, что мы и сами начинали переживать такое же любовное настроение.

Являлась даже мысль, что как хорошо быть сплавщиком, а все остальное пустяки...

Помню чудную майскую ночь, когда мы, обеспеченные шубами сплавщика, дольше обыкновенного засиделись на верхней палубе. Кама в разлив — безбрежное море, и эта иллюзия нарушалась только вершинами выставляющихся из воды деревьев. В таком просторе есть что-то такое бодрое и зовущее, точно самая мысль окрыляется. Где-то распевали *наши* камские соловьи, притаившиеся в ивняке затонувших островов. За Урал соловьи не перелетают, да и здесь они поют так несмело, точно все только пробуют разные мотивы и не могут никак попасть в настоящий тон. Это совсем не то, что настоящие южные соловьи, от поцелуев которых стонут южные ночи, — это именно поцелуй, а не щелканье, как называют призывную соловьиную трель. Траурная хвойная растительность тоже говорила о своем родном севере с его строгими готическими линиями. Не было и белых волжских отмелей, — их сменила камская красная глина. Но все-таки эти камские ночи хороши и навевают такое бодрое, хорошее настроение.

— Вон как она, наша матушка, разлилась, — любовно повторил старик, присматривая из-под руки серебрившуюся от месячного света водяную гладь. — Весна ноне выпала дружная... Вода и занялась; сила силой. И куда только это вода уходит?

— В море, как из всех других рек.

— А из моря куда?

— В океан.

— А из окиян-моря?

Когда дело дошло до испарения воды из океана, наш сплавщик уперся и не захотел понимать ни за что такой простой вещи, какую знает каждый гимназист второго класса. Как мы ему ни толковали, как ни объясняли, богатырь не мог согласиться, что из паров могут образоваться облака и т. д.

— Вода назад идет под землей, — утверждал он. — А потом из земли ключами и выбивается... Где ни копни, всегда до воды докопаешься. На што камень — и из того вода бежит, а откуда ей в камне взяться?

По-вашему, все это просто: тут тебе вода, тут земля, тут пар... А оно надумаешься. Земля одно любит, вода — другое.

Оказалось, что мы заговорили на двух различных языках и перестали понимать друг друга. Это огорчало обе стороны, и умный старик с удивлением смотрел на нас, как это мы не можем понять таких простых и всем понятных вещей.

— Вот теперь я сплавщик, — старался он объяснить нам какую-то затаенную мужицкую мысль. — Так я говорю? Сгоню одну беляну — вот тебе сотельный билет, клади в карман. Сгоню другую — другой билет... А в лето-то я их штук пять сотельных-то и залобую. Правильно я говорю? Хорошо... Теперь взять опять так: в деревне у меня родитель, древний старичок, и я его должен воспитывать. Так? Ему уж на девятый десяток перевалило... Вот я прибегу домой на пароходе и прямо старичку: на, тятенька, получай! Так? Старичку уважение... В деревне пять-то сотельных билетов богачество, не прожить... Хорошо. Кажется, лежи бы ты на печи да ешь калачи, потому сплавщики мы из роду в род, родовичи. Живем справно, ничем не обижены от господа бога... Хорошо... Так получу я свои сотельные билеты, принесу их своему старичку, а старичок примет их и заместо благодарности кажный раз скажет: «Никита, землю помни... Деньги, как скворцы: сегодня прилетели, покружились, а завтра улетели — только их и видел. Помни землю — вот тебе мой родительский наказ. Это от дедов всем нам крестьянам заказано, а как нарушишь дедовщину — то тут тебе и погинуть». Вот как со мной старичок-то поговаривает, а у меня у самого внучата по лавкам бегают... Правильный это разговор, господа вы мои скубенты? Ведь я за один сотельный билет двоих таких работников, как сам, найму, а тут должен своими руками да за соху — деньги у старичка, а я в поле обихаживаю, потому в силе человек и должен все правильно. Главная причина: родительское благословение... У нас вся семья правильная, и нет этого заведенья, чтобы против родителев.

В этих объяснениях было много понятного, но все хорошее, весь смысл вычеркивался «родительским бла-

гословением». Этот крестьянский труд вершился по какой-то мертвой формуле, не освещаясь сознанием. Тот же сплавщик Никита не бросал землю и тяжелый крестьянский труд только из рабского повиновения родительской воле, — он являлся слепой силой, а не разумным тружеником. Чувствовалось вообще что-то темное и стихийное, в котором, как ребенок в пеленках, была завернута основная мысль нашего богатыря. Вся эта сцена происходила в начале семидесятых годов, когда еще не вошли в ежедневный обиход такие всеобъясняющие слова, как «власть земли»; представление о народе являлось слишком отвлеченным, неясным и расплывавшимся. Одним словом, нам пришлось долго биться с этим «сыном народа», пока уяснился истинный смысл его миросозерцания. Вместо того чтобы спать под его тулупами, мы проспорили за полночь, а утром продолжали тот же разговор. Нужно было видеть взаимную радость, когда начало устанавливаться взаимное понимание сторон. Около нас образовалась даже толпа слушателей.

— Ты — барин, у тебя жалованье, — выкрикивал сплавщик, с азартом размахивая руками, — а я хрестьянин, у меня земля. Меня родители землей благословили, тебя жалованьем...

— А которое лучше? — спрашивал кто-то в толпе.

— Земля лучше, потому она, первое, никуды не уйдет сама, да и тебя не пустит, ежели ты правильный человек. А кто из хрестьян свернулся и пошел искать легкого житья, тот уж пропадет, как он ни вертись, как себя ни утешай: и сапоги со скрипом заведет, и гармонию, и по трактирам, одним словом, места человек не находит.

Общественное мнение публики третьего класса было на стороне сплавщика. Подогретый общим вниманием и сочувствием, старик разошелся окончательно. Оказалось, что родительское благословение, как алгебраическая формула, служило только выражением целого порядка мыслей, концентрировавшихся здесь, как в своего рода фокусе, и что здесь больше цельности, логической связи и живых понятий, чем в пестром репертуаре наших, вычитанных из книжек мыслей.

II

Мы были в восторге от нашего сплавщика, хотя и понимали его только вполовину, настолько, насколько в его словах сказывалась органическая связь вот с этой серенькой природой, землей и могучей рекой. Получалось цельное впечатление, оставлявшее за собой в душе один из тех незримых следов, из каких складывается цельное и живое миросозерцание.

В числе публики, слушавшей наши разговоры, был один худенький старичок из «расейских», — это последнее сейчас было заметно по его шляпе-гречневику, белой холщовой рубахе с красными ластовицами и особенно по лаптям. Урал и Сибирь не знают лаптей, что объясняют богатством населения, а вернее объяснить недостатком липы. Этот старичок все время держался особняком и больше слушал. Только раз он изменил себе и вызвал сплавщика Никиту на разговор.

— Уфимские будете? — спрашивал он сплавщика, поглаживая свою бородку клинышком.

— Уфимские, значит, с Белой...

— Та-ак...

Худенький старичок как-то сразу оживился и ближе придвинулся к Никите. Его карие узенькие глаза усиленно заморгали, а гречневик съехал на затылок.

— А как у вас насчет земли?.. — почти шепотом спрашивал он, потирая закорузлые руки с корявыми пальцами, походившими на сучья.

— Насчет земли? А сколько угодно... — хвастливо отвечал Никита, глядя на тщедушного старика сверху. — Своей не хватило — бери у башкир... Ренда у нас двугривенный с десятины, это, значит, башкирам платим. Лесу неочерпаемое множество — тоже получай... А ты, дедушка, из расейских, видно, приходишься?

— Около того, милый человек... Тамбовской губернии мы пишемся.

— Куды же ты бежишь с нами на пароходе?

— А так, по своему делу...

— В Сибирь?.. Может, к сродственникам каким?.. Со всех сторон гонят туда народ.

— Это ты насчет рестантов? Нет, пока господь миловал: никого у нас в роду не случалось, чтобы в рестанты... проносит господь батюшка... Нет, не случалось.

— Что же, дедушка, все под богом ходим: от тюрьмы да от сумы не отказывайся... Уж это кому какие счастки.

— Нет, господь миловал, а я по своему делу...

Тамбовский мужик оказался ходоком, одним из тех безвестных пионеров, которые в начале семидесятых годов «обыскивали» Сибирь, прокладывая широкий путь последующему переселенческому движению. Богатырь Никита обрадовался своему брату-мужику, чтобы поговорить и с ним на свои излюбленные темы о земле, о крестьянской работе, о всех распорядках и свычаях далекой крепостной Расеи. Но старичок, видимо, уклонялся от настоящего душевного разговора и только как-то весь ежился.

— Вот вы все расейские такие: точно вас ушибло, — шутил над ним Никита. — От тесноты это у вас...

— Есть тесноты — это точно... — бормотал старичок, передвигая свой гречневик с одного уха на другое. — Господские мы были, так как тесноте не быть... обыкновенно... За барином жили, неколи было расширяться-то.

— Так ты насчет земли хочешь промыслить? — допрашивал Никита. — Правильно...

— Так, по своему делу, — уклончиво бормотал ходок, точно стыдился, что слишком уж разболтался перед чужим человеком.

Лично меня этот тамбовский старик заинтересовал своей особенной мужицкой выдержкой. Вглядываясь в него, каждый чувствовал присутствие чего-то особенного, что он нес с собой так бережно, как святыню. Эти расейские лапти, домашнего холста белая рубаха и гречневик прикрывали именно то, чего недоставало выростковым сапогам, ситцевой рубахе и бараньим шубам нашего сплавщика Никиты. Ходок не стыдился своей мужицкой бедноты и не щеголял ею, а к тугому богатству Никиты относился совершенно равнодушно. Замечательно было то, что, когда этот тщедушный

старичок подходил к нам, богатырь Никита как будто заминался в своих речах. Простая публика третьего класса тоже поглядывала на него, точно ожидая какого-то мудреного слова, но старичок упорно молчал и только угнетенно вздыхал.

— Правильно я говорю, дедушка, по-нашему, похрестьянскому? — не один раз спрашивал Никита, видимо встревоженный молчаливым присутствием ходока.

— Известно, правильно, — равнодушно соглашался дедушка и опять улыбался. — Все правильно, милый человек... как следовает...

Между этими двумя мужиками народилась и вырастала какая-то невидимая рознь, которая чувствовалась, а не поддавалась словесному определению... Получалось что-то неладное, скрытое и недосказанное, что заметно раздражало Никиту. Кажется, чем мог помешать ему безобидный тамбовский мужичонко, а между тем Никиту так и коробило, когда тот улыбался в свою бородку клинышком.

В Пьяном Бору, где высаживались пассажиры, ехавшие на Уфу, мы распростились с нашим сплавщиком. Он взвалил на свои могучие плечи два громадных мешка, захватил шубы и превратился в целую копну.

— Ну, не поминайте лихом, господа вы мои скубенты, — прощался он, выставляя голову из своих шуб. — Может, што и лишнее сказал, так не обессудьте на нашей простоте...

Пароход причаливал к маленькой пристани. Публика столпилась у правого борта, а в том числе и тамбовский ходок. Когда пароход остановился и публика хлынула к сходням, сплавщик Никита протянул руку ходоку и проговорил:

— Ну, дедушка, счастливой дороги...

— Спасибо, милый человек.

Никита постоял, тряхнул своими мешками и шубами и проговорил:

— А ведь я правильно говорил... а?.. Насчет крестьянства то есть.

— Правильно-то правильно, да только оно тово... — замялся старичок и неожиданно прибавил: — Глупый

ты человек, Никита, хоша ты и в сапогах и три шубы у тебя...

Произошла немая сцена. Сплавщик заметно смутился, а мы положительно были обижены за него.

— Пустой человек и больше ничего, — задумчиво повторил старик, не обращаясь, собственно, ни к кому. — И правильные слова говорил все время, а все-таки пустой...

— Да почему пустой? — приставал к нему кто-то из студентов. — Это не доказательство: пустой, пустой... Про всякого так можно сказать.

— А как, по-вашему, хорошо это правильные-то слова зря разговаривать? — заговорил ходок уже с азартом. — У меня вот за пазухой, может, тыщи рублей, так я и пойду на пароходе показывать их всякому: на, мол, смотри, сколько у меня денег... Деньги-то останутся деньгами, а меня каждый дураком назовет. Так и у сплавщика: как бы настоящий он человек был, так не стал бы зря правильные свои слова болтать... Тоже слово-то к месту говорится.

Помню, какое оглушающее впечатление эти простые слова произвели на всех окружающих, а наш сплавщик вдруг сделался точно меньше. Теперь вся публика была уже на стороне тамбовского лапотника, — это была простая, серая публика, не привыкшая к праздной болтовне. Здесь еще жила вера в слово, в живое и могучее слово, которое нельзя бросать на ветер, потому что оно кровно срослось со своим внутренним содержанием. Сколько раз впоследствии мне приходилось вспоминать эту сцену: так много на Руси говорится хороших и правильных слов совершенно праздно и не к месту...

ВСТРЕЧА

I

Анна Феодоровна страдала самой мучительной бессонницей и засыпала только утром, как раз в то время, когда муж уходил на фабрику. Это сердило Иннокентия Сергеевича, как проявление неисправимой женской распущенности. Он, такой плотный и здоровый, никак не мог понять болезненного состояния жены и, когда его спрашивали о здоровье жены, отвечал с легкой иронией:

— Ничего, благодарю вас... По обыкновению, валяется в перьях. Одним словом, баба...

Он был грубоват, как грубовата была его некрасиво скроенная, но крепко сшитая фигура, широкое скуластое лицо и всякое движение. Казалось, что когда он просто шел по улице, то расталкивал обступавших его врагов левым плечом, которым на ходу подавался немного вперед. Анна Феодоровна любила в нем именно эту грубоватую силу, покорившую ее своим произволом и специально домашним деспотизмом. Ей даже делалось жаль себя, и она иногда плакала без всякой побудительной причины.

Просыпалась Анна Феодоровна в одиннадцать часов, когда ей хотелось еще немножко поспать — вернее, просто понежиться в постели. Но ровно в двенадцать приходил с фабрики муж, и необходимо было позабо-

титься о завтраке, вернее — встретить его и высидеть, пока он ест и пьет.

Сегодня она проспала, и горничная Маша постучала в дверь, когда было уже половина двенадцатого.

— Ах, что я наделала! — спохватилась Анна Феодоровна, вскакивая с постели.

Маша, девушка с некрасивым, точно застывшим лицом, вошла в спальню и подала визитную карточку.

— Это от кого? — удивилась Анна Феодоровна. — Скажи, что Иннокентий Сергеевич на фабрике.

— Спрашивают вас, барыня...

— Меня?

Спросонья Анна Феодоровна не догадалась посмотреть карточку и только теперь прочла: Игнатий Павлович Руденко. В первый момент она не могла сообразить, кто это такой, и только потом все вспомнила и точно испугалась.

— Ах, я сейчас, Маша... Проси его в гостиную. Да... я сейчас выйду. Постой... Какой он из себя: высокий, черноволосый... красивый?

— А кто его знает... — нехотя ответила Маша.

«Сейчас», когда дама одевается, не имеет ничего общего с общепринятым понятием о быстроте и хронологии в частности, а в данном случае в особенности, хотя Анна Феодоровна и торопилась ужасно, то есть по десяти раз гоняла Машу за одной вещью, забывала тысячу других и на этом основании сердилась.

— Господи, какая я стала противная и старая, — вслух говорила она, стараясь придать своей утренней прическе красиво небрежный вид.

Из зеркала на нее смотрело кокетливо улыбавшееся, совсем еще не старое и очень миловидное лицо с черными глазами и писаными бровями. Правда, когда-то оно было такое круглое и румяное во всю щеку, а сейчас вытянулось, отчего глаза казались больше, а около ушей начинали собираться складки кожи. Румянец тоже давно потух, и от него оставались неровные пятна, как от плохо смытых румян. Больше всего смущала

Анну Феодоровну шея, которая благодаря худобе казалась почти коричневой, и поэтому она драпировала ее высокими рюшами или воротником. Выступавшие позвонки на спине и впадины на ключицах никто не видел, и эти недочеты преждевременной худобы не принимались во внимание. А сейчас Анне Феодоровне хотелось быть именно прежней Анной Феодоровной, то есть Галей, как ее звали девушкой, и она волновалась, точно отправлялась на экзамен.

— Кажется, все... — решала она, в последний раз оправляя серое шерстяное платье. — Маша, а гость где?

— В гостиной сидит...

Вопрос был глупый, и Анна Феодоровна посмотрела улыбавшимися глазами на Машу, которая и не подозревала, что за человек сидит в гостиной, как не подозревает и Иннокентий Сергеевич. Ах, он скоро вернется с фабрики и может испортить всю сцену. Эти мужья имеют скверную привычку всегда появляться не вовремя, точно не могут подождать. Что стоило тому же Иннокентию Сергеевичу проездить на рудник всего лишних два дня и вернуться, ну, положим, завтра? Конечно, в прошлом году проездил же целую лишнюю неделю, а нынче приехал даже раньше.

Анна Феодоровна чувствовала, как бьется усиленно ее сердце и в голове мысли путаются, как спущенные с мотка нитки.

Интересно, каким сейчас выглядит Игнатий Павлыч?

«А все-таки не забыл... — не без гордости подумала она, что-то припоминая и улыбаясь. — Прежде он был такой смешной...»

Выходя из спальни, она вдруг почувствовала, как сердце у нее остановилось и перед глазами заходили темные круги. Она ухватилась руками за косяк двери и прошептала:

— Маша, воды... это сейчас пройдет...

С ней в последнее время обмороки повторялись довольно часто, при каждом волнении, и Маша знала, что нужно ей делать.

II

Гость, черноволосый, немного сутуловатый господин, давно уже выражал знаки нетерпения. У него был какой-то подержанный вид, каким отличаются «бывалые люди». В темных волосах уже серебрилась седина, а глаза были обложены тонкими морщинами. Красивое южное лицо точно было покрыто налетом коричневого загара.

«Однако Галя заставляет себя ждать... — думал гость, начиная шагать по гостиной. — Одним словом, дома, а на этом основании спит до двенадцати часов. «О женщины!» — сказал Шекспир».

Обстановка гостиной не произвела на гостя особенного впечатления. Для управителя завода можно было бы и получше. Правда, рояль отличный, ковры, мягкая мебель — ничего себе, а олеографии на стенах и дрянные цветы на окнах уже совсем нехорошо, точно у какого-нибудь волостного писаря или деревенского попа. В общем чувствовалось, что хозяйка мало обращала внимания на обстановку.

— Да, что-то подозрительно... — вслух заметил гость, поправляя перед зеркалом козлиную темную бородку. — А как прежде Галя любила цветы... Гм... Да. А она все-таки нейдет... Может быть, из важности хочет заставить подождать?

Он подошел к окну и долго смотрел на заводскую площадь, покрытую весенними лужами. Стояла уже половина апреля, но в этих медвежьих местах вместо весны какая-то слякоть. Что теперь делается на благословенном юге... Гость даже вздохнул и взбил вившиеся волосы.

«И это весна... — презрительно думал он, оглядывая серое небо и тускло вырезавшиеся за фабрикой волнистые силуэты гор. — А у нас...»

Он отвернулся, подошел к роялю и, не садясь, взял несколько тихих аккордов. Потом эти пробные звуки перешли в ласковую южную мелодию, и гость совершенно забылся. Это была импровизация на малороссийские песни. Да, в этих звуках была и весна, и

горячее южное солнце, и радость, и цветы, и любовь, и тоска...

Он даже закрыл глаза и видел тихий летний вечер, догоравшую зарю, лодку на заснувшей поверхности реки и ее, розовую, полную задорного веселья и беспричинной молодой радости. Темные глаза любовно смотрели в его глаза, девичий голос шептал ответные признания, и он был уверен, что так будет вечно, что жизнь одно сплошное счастье, что где-то в воздухе протянулась над ним благословляющая рука самой судьбы. И вдруг...

— Позвольте, милостивый государь, отрекомендоваться вам, — послышался за спиной мечтателя хриповатый басок.

Когда гость обернулся, то увидел перед собой плотного мужчину с окладистой бородой, серыми упрямыми глазами и высоким лбом. Получилось впечатление чего-то серого и неприветливого.

— Да, Иннокентий Сергеевич Никитин, — продолжал серый человек, делая ударения на словах, точно ехал по мостовой.

— Ах, очень рад... Простите, я немного увлекся, — виновато бормотал гость, протягивая руку. — Моя фамилия Руденко. Да... Мне нужно повидать Анну Феодоровну...

Хозяин смерил недоверчивым взглядом гостя с ног до головы и довольно грубовато проговорил:

— Друзья детства?

— Нет, то есть почти... Мы встречались в Киеве в одном доме.

— Гм... да... Садитесь.

Гость заметил, что у любезного хозяина руки такие мускулистые и мозолистые, а серая тужурка покрыта заводской сажей и масляными пятнами. Он невольно подумал про себя: «Ну, это порядочный медведь», и пожалел Галю. Удивительно, что могло ей понравиться в этом безнадежно сером человеке?

В гостиной воцарилось самое неловкое молчание, то есть неловкое для гостя. Серый хозяин молчал, поглядывая на дверь в столовую, а гость напрасно подыскивал тему для разговора.

— А я еду на восток, — заявил, наконец, гость. — Да... В Сибирь.

— Именно? Сибирь велика...

— В Енисейск — виноват, в Красноярск. Я все перепутываю названия этих городов... Нынче как-то все едут от нас в Сибирь, ну и я поехал.

— И прогоны и подъемные?

— И прогоны и подъемные...

— Дело хорошее, когда дают деньги.

— Как вам сказать... У меня совсем мало осталось. Видите ли, нужно было кое-что купить: три сотни настоящих гаванских сигар, консервы разные... Я даже захватил киевского варенья.

— Варенья? Вы, значит, женатый человек?

— Да, то есть нет. То есть жена живет отдельно...

— Она музыкантша? — спросил ни с того ни с сего хозяин.

— Нет...

— Может быть, поет?

— Право, не умею сказать, поет ли она сейчас...

— Может быть, прежде пела? Ведь у вас там, на юге, все певуны...

Этот глупый вопрос был прерван появлением Анны Феодоровны. Она вошла какой-то неестественно быстрой, театральной походкой и по-театральному протянула руку, которую гость и поцеловал.

— Боже мой, как вы изменились... — невольно проговорил он, едва заметно задерживая ее руку. — Если бы я вас встретил на улице, то ни за что бы не узнал.

— А я бы вас узнала... Вы мало изменились.

— О, если бы это была правда, — вздохнул гость. — Время безжалостно... Голова седеет, и вообще старюсь.

— А нельзя ли нам дать позавтракать? — прервал хозяин. — Извините, господа, я встал в пять часов, как всегда, и голоден, как волк.

Анна Феодоровна вдруг покраснела.

— Завтрак готов, как всегда, — проговорила она. — Идемте... Маруся ждет.

Имя «Маруся» заставило гостя улыбнуться, — от него так и пахнуло южной ласковостью.

III

В столовой все уже было готово, и Маруся сидела за столом. Это была девочка лет восьми, белокурая и такая же вся серая, как отец. Она как-то не по-детски сурово посмотрела на гостя и сделала нетерпеливое движение плечом, когда мать ее поцеловала. Рядом с ней сидела немка бонна с каким-то овечьим убитым лицом.

— Ну, Маша, как дела? — спрашивал Иннокентий Сергеевич, грузно усаживаясь за стол.

Он намеренно делал ударение на слове «Маша». Малороссийское полуимя резало его северные уши, и из-за этого у супругов происходили бурные сцены.

— Не хочу я знать никакой Маруси, — горячился Иннокентий Сергеевич. — У меня есть дочь Маша... Марусями зовут горничных и телок.

— А для меня она Маруся, — спорила Анна Феодоровна до слез. — Маруся, Маруся...

Анна Феодоровна почти во всем уступала мужу, но этого слова не могла уступить. Гость заметил это сразу и улыбнулся. Хозяин больше не обращал на него внимания, за исключением случаев, когда наливал себе рюмку водки.

— Прикажете и вам, Игнатий Павлыч?

— Нет, я не пью...

— А как же все хохлы пьют горилку? Мне один знакомый хохол рассказывал, как она приготовляется: берут четверть водки, спускают в нее четверть фунта листового табаку и ставят в теплое место.

— Право, я не знаю... — уклончиво ответил гость. — Мне не случалось этим интересоваться.

— Вы и не едите ничего, — приставал хозяин. — А когда встанешь в пять часов и наглотаешься заводской сажи, так, кажется, съел бы живую собаку...

«Ты и можешь съесть», — подумал гость, наблюдая, как у хозяина при еде шевелятся уши.

— Живой собакой я вас угощать не буду, — поправила тяжеловесную остроту мужа Анна Феодоровна, — а вареники будут. Настоящие *наши* вареники... Я точно знала, что вы приедете, и заказала вареники к завтраку.

— Вареники — вещь недурная, хотя в сущности это просто испорченные наши пельмени, — заметил хозяин, заметно начиная советь.

Он съел свою порцию вареников, несколько раз тяжело вздохнул и проговорил, обращаясь к жене:

— Ты, конечно, займешь гостя, Аня, а я того... Человек, который встает в пять часов, имеет право после завтрака почитать газету.

Протеста не последовало, и он грузной походкой направился к двери. Остановившись в дверях, он проговорил:

— А хохлы любят горилку... да...

Анна Феодоровна нервно ощипывала бахрому салфетки, а когда домовладыка удалился, проговорила:

— Мы ежедневно напиваемся два раза: за завтраком и вечером, когда играем в карты.

— Вы? — изумился гость.

Она показала ему глазами на девочку, которая разговаривала с бонной. Гость чувствовал себя неловко и за себя и за хозяйку и проговорил:

— Какая милая девочка. Вылитый отец...

— Да... Только она не ласкова у нас, как другие дети. Я хорошо помню себя в этом возрасте и была такой привязчивой!.. Ах, кстати, я не успела еще вас поблагодарить... Вы не можете себе представить, сколько удовольствия доставили вы мне своим неожиданным визитом.

Гость наклонил голову и спросил:

— Вы позволите курить?

— О, пожалуйста... Сейчас будет кофе.

Гость заложил ногу на ногу и, раскурив папиросу, проговорил уже другим тоном:

— Мне так хотелось вас видеть... Гал...

— Маруся, ты можешь идти к себе, — сказала Анна Феодоровна девочке, а когда та поднялась с недовольным лицом, прибавила: — Не правда ли, как сильно я изменилась и... постарела? Да?

Последнее слово она выговорила с большим трудом, точно сознавалась в каком-то преступлении.

— Если хотите, да... — ответил он.

— О, я это сама знаю... Потом у меня сердце не в порядке, и я скоро умру, то есть определенного

ничего пока нет, но я знаю, что скоро умру. Скажу больше, — я знаю даже свою счастливую преемницу и, говоря откровенно, не завидую ей, как не завидую и другим, так называемым, счастливым женщинам.

Она засмеялась нехорошим смехом, от которого у гостя пошли мурашки по спине, и он решительно не знал, что ему сказать.

— Это дочь нашего заводского врача, которого вы увидите вечером, — продолжала она с прежней улыбкой. — Может быть, и она будет... Ее зовут Татьяной Алексеевной. Такая рослая, здоровая и властная девушка. Настоящая сибирячка... Она сумеет быть тем, чем я не могла быть, то есть настоящей хозяйкой.

— Послушайте, Анна Феодоровна, ради бога, оставимте этот разговор...

— Ах, мне все равно! — устало согласилась хозяйка. — Ну, тогда рассказывайте что-нибудь о милой Малороссии, где ясные воды, тихие зори... я постоянно думаю о ней, и меня это убивает, знаете, есть такая болезнь. Она называется ностальгией... Вот вы потом ее испытаете сами, не сейчас, а потом.

Он не заставил повторять просьбы. Они вдвоем вспоминали общих знакомых, дорогие места, впечатления юности.

— Помните Голыненко? Все три барышни вышли замуж — старшая живет в Одессе, средняя в Саратове, а младшая едет с мужем во Владивосток. Молодой Кучеренко — помните, студент-медик, который был влюблен в старшую? — сошел с ума и теперь лечится за границей. Инженер Борщов умер, доктор Харченко тоже, учитель греческого языка Повертай, который хотел постричься в монахи, недавно женился на богатой вдове, богач Гордеенко постарел и т. д. и т. д.

В последнем Иннокентий Сергеевич не ошибся. В свое время Руденко пользовался в студенческих кружках большой популярностью, как остроумный оратор. Женщины им увлекались, в том числе и Анна Феодоровна, которая и в Петербург на курсы уехала по его настоянию. Семья была против курсов, и ей пришлось испортить много крови, прежде чем она добилась своего. Руденко доставлял ей умные книжки и вообще

развивал, как это делалось в доброе старое время. Эта короткая пора для Анны Феодоровны осталась лучшим воспоминанием юности, и с ней неразрывно было связано имя Руденко. Теперь она смотрела на бывшего учителя благодарными глазами, стараясь вызвать потускневший от времени образ увлекательного юноши. Между ними чуть-чуть не разыгрался роман, но ее вовремя унесла волна на север, и роман остался недоконченным, несмотря на самые горячие клятвы и оживленную переписку. Руденко сильно изменился за время, пока Анна Феодоровна его не видала, и она в первую минуту даже не узнала его, хотя из вежливости и уверяла, что он все такой же. Увы! прежнего Руденко уже не существовало, как не существовали поцелуи, объятия и клятвы. «Боже мой! — думала она. — Неужели все это было, могло быть?» Она вдруг почувствовала себя такой старой-старой, такой никому не нужной и лишней, как выдернутый по ошибке здоровый зуб, — он и цел, и здоров, и в то же время мертв.

Руденко, кажется, понял тайный ход мыслей хозяйки и спросил:

— Дело прошлое, Галя... Я, конечно, не сержусь, но за всем тем все-таки не понимаю, что могло вас привлечь в этом господине, теперешнем вашем супруге?

— Как вам сказать... — несколько смутилась Анна Феодоровна.

— Вы не обязаны отвечать... Вопрос в сущности излишний, но, говоря откровенно, я немножко вас ревную и, как все ревнивцы, сосредоточиваю свою ревность именно на данном лице, хотя это и безразлично по существу дела: не все ли равно, кто заменил меня?

— Ведь вы тоже женаты? Может быть, и в этом я тоже виновата? — ответила она вопросом.

— Если хотите, да. Кто знает, что было бы, если бы я *тогда* с такою доверчивостью не отправился в Питер. Восточный поэт Гафиз прав, когда сказал: тот не наследует царствия божия, который выпускает из своих рук полы своей милой. Тут и география и хронология вместе... Да, так я часто думал о том, что было бы, если бы... Мне кажется, что, право, мы недурно прожили бы вместе, Галя.

— Неразрешимый вопрос о том, чего не было...

— Но могло быть... Виноват, я уклоняюсь от главного вопроса.

— Вас интересует, почему я сделалась именно madame Никитиной?

— Да, именно... Когда вы в газете наталкиваетесь на случай какого-нибудь убийства, самоубийства и вообще смерти, то вас почему-то непременно интересует вопрос об орудии преступления, хотя, казалось бы, не все ли равно, как и чем покончил с собой человек и почему он выбрал именно такое орудие.

IV

Иннокентий Сергеевич успел выспаться и умыться, а в столовой все еще продолжался разговор.

«Ох, уж эти друзья детства! — сердито подумал он. — И о чем только люди могут разговаривать столько времени?.. Шалыган какой-то и, наверно, из певунов, а баба и уши развесила».

В столовую он так и не пошел, а спросил себе холодного квасу, выпил целую бутылку и отправился на фабрику.

«Что же, пусть его болтает, — думал он дорогой, обходя весенние лужи. — Аня в последнее время скучает и капризничает, а тут шалыган и утешит. Кажется, он того, из бабьих пророков...»

— Может быть, вы и правы, то есть ваше любопытство, но я при всем желании не могу дать вам обстоятельного ответа, потому что все случилось как-то само собой. *Он* тогда был еще студентом... Такой сильный, энергичный, относившийся иронически к кружковым говорунам. Вообще это была совершенно незнакомая для меня сила, властная, покоряющая и, как вам сказать, гипнотизирующая. Раньше были слова, а тут было дело. Он был технолог и бредил своею будущею деятельностью. Это были не бесформенные общие мечты, а вполне определенно сложившийся кругозор. Тут не могло быть места сомнениям и колебаниям... Идти рука об руку с таким человеком, знать

цель жизни и средства к ее осуществлению, самой быть до известной степени действующим лицом — что могло быть заманчивее и привлекательнее для двадцатилетней фантазерки? Мне рисовался далекий северо-восток, неистощимые богатства и плодотворный труд.

Она с трудом перевела дух и прибавила:

— Может быть, это закон контрастов — кажется, есть и такой закон? А вернее — наша бабья доля... Да, я вышла замуж и была счастлива до первой поездки в родную Малороссию. Вы знаете мою семью — это настоящее дворянское гнездо, с своими традициями, укладом мыслей, предрассудками и гонором. В их глазах мой брак является неравной партией, потому что муж по происхождению простой мещанин. Можете себе представить, что вышло из такой комбинации. Они разошлись с первого взгляда, с первого слова... Это было мое первое горе и горе ничем не поправимое. Стороны не хотели знать друг друга, и мне пришлось отказаться от собственной родной семьи. Нужно быть женщиной, чтобы понять эту бабью трагедию, совершающуюся на каждом шагу. Потом я очутилась на Урале, у меня родилась дочь... Официальное счастье было налицо, и я забылась на несколько лет и дошла до того, что мне даже было как-то странно думать, что я когда-то жила в Малороссии, под другим небом, с другими людьми, в другой семье. Свое гнездо женщине заменяет весь остальной мир... Женщину можно приучить к какой угодно обстановке, в ней есть какое-то примиряющееся рабское чувство... Вы только подумайте, сколько миллионов женщин взято было в плен в доброе старое время, и я уверена, что они прижились среди врагов, свили себе гнезда и забыли родные очаги.

V

Он слушал эту страшную исповедь больной женщины, опустив глаза. Очевидно, она высказывала что-то такое наболевшее и выстраданное и все еще не могла подойти к главному.

— Вам, вероятно, странно слушать меня? — спросила она, делая передышку. — А между тем я в последнее время очень часто думаю об этих безвестно погибших женщинах, уведенных в плен. Ведь это совсем не то, что умереть на поле сражения... Благородные животные не выносят рабства. У меня часто бывают нынче галлюцинации, и я вижу, как меня уводят в плен. Да, я вижу малороссийскую деревушку, беленькие хатки, зарево пожара, убитых мужчин и нас, несчастных невольниц, которых, как стадо баранов, гонят в степь, чтобы продать на одном из невольничьих рынков в Крыму. Горе так велико, что я даже не могу плакать. Отец и братья убиты, они счастливы, что не увидят моего позора.

Она даже закрыла глаза, точно стараясь вызвать рельефнее эту жестокую картину и не замечая, что гость уже делает нетерпеливые движения. Он совсем ехал сюда не за тем... разве это Галя? Какая-то психопатка, у которой в голове зайцы прыгают.

— Вас, вероятно, удивляет, к чему все это я говорю? — спрашивала она и, не дожидаясь ответа, торопливо продолжала дальше: — Видите ли, рабство и неволя существуют и сейчас, только приняли более утонченные формы... Посмотрите на меня, разве я похожу на свободную женщину? О, я сама продалась в неволю за чечевичную похлебку из громких слов... Это специально интеллигентное рабство... У нас нет родины, и мы кочуем за своими избранниками по всей необъятной России, причем он в большинстве случаев, как мой муж, устроится в конце концов на своей родине. С какой бы радостью я вернулась в свою милую Малороссию... Маленькая хатка, вишневый садочек, — и больше ничего не нужно. И я не могу вернуться туда, где все порвано и сломано... Я умру полонянкой... Какой смешной у меня доктор. Он в сущности хороший и неглупый человек, но слишком уже верит в собственные рецепты. И мое несчастье, что он меня старается лечить самым добросовестным образом... Чего-чего только я не наглоталась от него, и можно, право, подумать, что он задался целью во что бы то ни стало умо-

рить меня, чтобы выдать потом свою дочь за моего мужа. Мысль совершенно дикая, но, каюсь, она иногда приходит ко мне в голову... Ведь муж, по здешней логике, занимает блестящее положение — он получает около шести тысяч жалованья, а когда сделается главным управляющим, то будет получать все пятнадцать. Тут легко нажить счастливую соперницу...

Гость упорно молчал, напрасно отыскивая благовидный предлог, чтобы с честью удрать. И зачем только нелегкая принесла его в этот дом сумасшедших...

— Что же вы молчите? — заговорила Анна Феодоровна. — Я устала... Говорите что-нибудь. Ведь вы женаты?

— Да...

— Жена бежала?..

— Гм... Как вам сказать... И да и нет. Вернее сказать, мы оба бежали, как бегут друг от друга концы лопнувшей струны.

— И вы от огорчения бросились искать счастья в Сибири? Да рассказывайте же о себе что-нибудь... Вы любили жену? Вы страдали? Вам больно вспомнить свое прошлое? Боже мой, у вас, может быть, остались там, далеко-далеко, дети, и вы тоскуете о них святой тоской... Я не имею права касаться, может быть, этого больного места?

— Да, у моей жены есть ребенок, но, к сожалению, он не мой...

— Понимаю... Она ушла от вас?

— Нет, мы жили вместе до последнего времени и очень мало играли в мужа и жену. Впрочем, у меня есть и свой ребенок... то есть он собственно не мой... Одним словом, тут целая история, даже не роман, а именно история. Откровенность за откровенность...

Он прошелся по комнате, поправил волосы и заговорил уже другим тоном:

— Видите ли, я сошелся с одной замужней женщиной...

— Несчастный!..

— Позвольте... Она — соломенная вдова и не живет с мужем, а у нее был роман с одним инженером...

гм... Мне и пришлось считаться именно с этим quasi мужем, и дело чуть не дошло до дуэли, если бы ее настоящий муж не примирил нас, то есть инженер должен был благородно ретироваться, как делается в подобных случаях. Злые языки потом уверяли меня, что все это была одна пустая комедия и что мой предшественник благодарит судьбу, пославшую ему в моем лице избавителя.

— А ребенок?

— Ребенок как ребенок... Я, из вежливости, считаю его своим.

— Несчастный, несчастный, несчастный... И вам не стыдно все это говорить мне в глаза, мне, порядочной женщине?

Она даже хотела рассердиться, но он посмотрел на нее таким беззащитным взглядом, что гнева не последовало.

— И как вы просто все рассказываете... — удивлялась она. — Неужели это вы, тот Игнатий Павлыч, за которого я когда-то готова была отдать всю жизнь?

— К сожалению, тот самый... Что делать, если я обманывался в самом себе и жестоко за это поплатился. Я совсем не гожусь для жизни, и сейчас меня несет в Сибирь, как ветер несет мертвый осенний лист... Как видите, я старался выражаться о себе самым чувствительным образом.

— Несчастный, несчастный... — повторяла она, ломая руки. — А ведь я сколько раз думала о вас... да... Старалась представить себе ту счастливую женщину, которую вы любите... Рисовала картину семейного счастья, ваших детей, у которых будут такие же глаза, какие когда-то были у вас...

Кончилось тем, что Анна Феодоровна расплакалась и убежала к себе в комнату. Теперь даже и исчезнуть незаметно было нельзя...

— Вот так история! — повторял про себя Руденко.

Чтобы выиграть время, он отправился осматривать фабрику. Неловко же было уехать, не простившись с хозяином...

VI

Вечером, как и ожидала Анна Феодоровна, собрались обычные партнеры Иннокентия Сергеевича — доктор Рукин с дочерью и механик Янчевский. Руденко и тут оказался не на высоте призвания — он не умел играть в винт.

— Решительно не понимаю, что вы и за человек, — удивлялся Иннокентий Сергеевич, — горилки не пьете, в карты не играете... мы-то надеялись на вас, как на четвертого партнера, а то все должны с болваном играть.

В последней фразе чувствовался как будто некоторый обидный намек, и Руденко в другое время мог бы обидеться, но сейчас все его внимание было поглощено дочерью доктора, высокой, русоволосой девушкой с каким-то удивительно ясным выражением лица. Она точно вся застыла и не могла проснуться от зачаровавшего ее сна. Лицо было правильное, великорусского склада, и смотрело так просто своими большими серыми глазами с поволокой.

«Ясноликая», — определил ее про себя Руденко.

Анна Феодоровна еще к обеду вышла успокоенной и так хорошо и просто сказала гостю:

— Я на вас не сержусь, Игнатий Павлович... Позабудьте о нашем давешнем разговоре...

Руденко именно в этот момент почувствовал себя виноватым, и в нем проснулась жажда искупления.

— Анна Феодоровна, я буду мстить за вас...

— Кому?

— А вот этой докторской дочери... Я ее поставлю в самое нелепое и смешное положение... Вот увидите...

— Ради бога, не делайте этого! Я знаю, что у вас злой язык, но бедная девушка в этом не виновата...

Этот порыв женского великодушия окончательно покорил Руденко. Боже, какая женщина, какая женщина... Если бы он встретил такую женщину, разве он мыкался бы по свету перекати-полем? У него в голове внезапно мелькнула счастливая мысль: а что, если взять и увезти Анну Феодоровну, увезти туда, на благословенный юг? Ведь это даже его обязанность, как

старого друга. Она умрет здесь, на чужбине, а там поправится, расцветет и сделается прежней Галей. Спасти погибающего человека — это настоящий христианский подвиг. От мысли до дела у Руденко расстояния не существовало, да и медленность в этом случае являлась преступной. Он в коротких, но сильных выражениях объяснил Анне Феодоровне свой план.

— Теперь решайте сами, — закончил он. — Я весь к вашим услугам...

Она посмотрела на него печальными глазами и с больной улыбкой ответила:

— Во-первых, это вам не по дороге... Ведь вы едете не на благословенный юг, а на северо-восток.

— Мне ничего не стоит вернуться... О, вы вполне можете положиться на меня. Хотите, я сегодня же переговорю с вашим мужем? Объяснение, правда, не из особенно приятных, но я для храбрости выпью две рюмки мадеры...

— Ради бога, не делайте ничего подобного...

— Тогда я могу выпить всего одну?

Это был совершенный ребенок, и Анна Феодоровна следила за ним все время и тревожилась. Вечером, когда Руденко занялся с докторской дочерью, она встревожилась еще больше и несколько раз подсаживалась к ним, чтобы следить за направлением разговора. Но опасного ничего не было. Руденко впал в проповеднический тон доброго старого времени и, кажется, забыл о своих коварных замыслах.

За ужином Анна Феодоровна порядком струсила, когда Руденко зараз выпил две рюмки хересу.

— Вот хвалю! — поощрил хозяин. — Это по-нашему...

Руденко разошелся, рассказывал анекдоты и вообще сделался самим собой. Докторская барышня смеялась до слез и обращалась с ним почти фамильярно. После ужина, когда мужчины остались в столовой за ликерами, Руденко отвел в сторону Анну Феодоровну и сообщил:

— Знаете, я все устроил...

— Именно? — испугалась Анна Феодоровна.

— Все будет прекрасно, Галя... Я сейчас сделал... позвольте, как зовут барышню?

— Татьяна Алексеевна...

— Ну, так я сделал ей предложение...

— Вы?!

— Да, я...

— И что же она?..

— Что говорится в таких случаях: смутилась, опустила глазки... Ах, какая это девушка! Какая у нее душа... Я женюсь на ней, увезу на юг, и вы приедете, Галя, гостить к нам. Не правда ли, как все это хорошо вышло?

Иннокентий Сергеевич встревоженно прибежал из столовой, когда услышал истерический хохот Анны Феодоровны. Она никогда так не смеялась.

— Что с тобой, Аня?

Она только махнула ему рукой, не имея сил выговорить ни одного слова. Иннокентий Сергеевич только пожал плечами, покосился на гостя и с достоинством вернулся на свой пост. А Анна Феодоровна продолжала хохотать и сквозь слезы говорила:

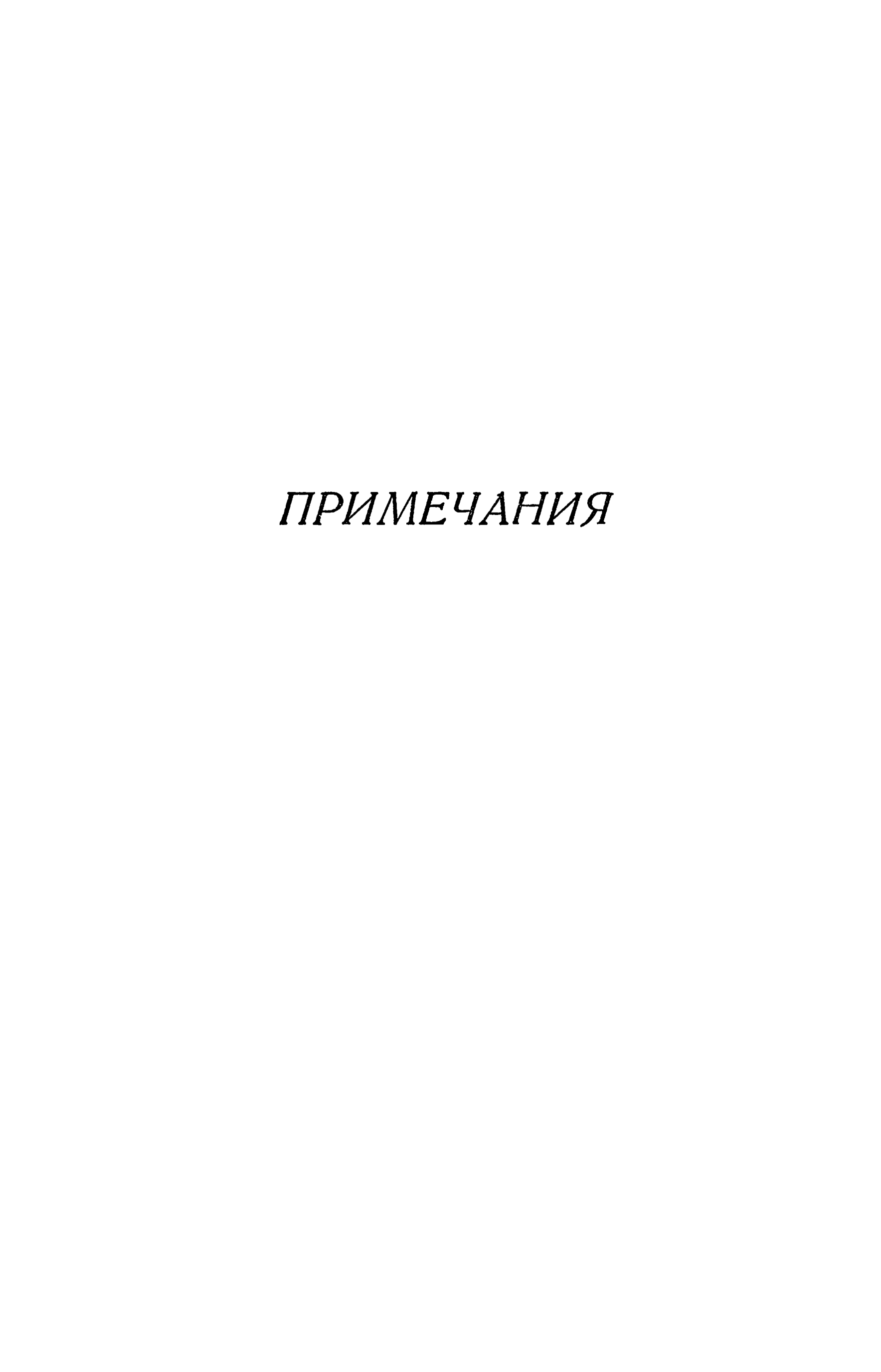
— Какой... Какой вы милый... Боже, как я вас узнаю!.. Ах, какой милый... Завтра же после завтрака вы уезжаете в Сибирь...

— А если я не согласен?

— Да ведь вы хотите жениться только для меня, а я вам запрещаю... Понимаете? Потом вы совершенно забыли, что у вас есть жена и соломенная вдова в квадрате... Ах, милый юг, милый юг!.. Вы меня совершенно вылечили... Я лет десять уж так не смеялась... Давайте руку: завтра уезжаете?

Он нахмурил брови, а потом ответил:

— Только для вас, Галя... Это моя последняя жертва.



ПРИМЕЧАНИЯ

ПОВЕСТИ, РАССКАЗЫ, ОЧЕРКИ

В настоящий том вошли произведения Д. Н. Мамина-Сибиряка периода 1885—1889 годов. Большая часть их была включена автором в сборники «Уральские рассказы» и «Сибирские рассказы».

О месте и значении этих произведений в творчестве писателя достаточно убедительно свидетельствует оценка, данная им самим автором. В беседе с литературоведом Ф. Д. Батюшковым он говорил: «Читайте мои уральские рассказы. Это лучшее, что у меня есть» («Воспоминания о Д. Н. Мамине-Сибиряке», 1936).

Большинство этих рассказов в свое время получило высокую оценку литературной критики. Так, например, критик А. Скабичевский в обзоре литературы за 1885 год писал о Мамине-Сибиряке: «В течение года он поместил в различных журналах несколько небольших рассказиков, и все они один другого лучше. Видно, что он заботится о развитии своего таланта и делает заметные в этом отношении успехи. Как лучшие из его рассказов истекшего года укажем на «Родительскую кровь» и «Из Уральской старины» («Русские ведомости», 1886, № 1). Рецензент журнала «Северный вестник» в связи с выходом в свет 2-го тома «Уральских рассказов» писал, что в них «мы имеем многосторонне и с любовью изображенный быт одного из интереснейших уголков обширного русского мира» и что эти рассказы составляют «выдающееся явление современной литературы» («Северный вестник», 1889, № 6).

В повестях, рассказах и очерках, включенных в настоящий том, Мамин-Сибиряк затронул широкий круг общественных

вопросов и дал целую галерею типов и характеров. В этих произведениях с большой художественной силой изображен «особый быт Урала, близкий к дореформенному, с бесправием, темнотой и приниженностью привязанного к заводам населения...» (В. И. Ленин, Сочинения, т. 3, стр. 427).

Эти своеобразные особенности заводского быта нашли свое отображение в таких произведениях, как, например, «В болоте», «Самородок», «Мо̀рок», «Горой», «Сибирские орлы» и др. В них писатель создал яркие образы людей, испытавших на себе все тяготы крепостнического произвола, продолжавших и после отмены крепостного права находиться в рабской зависимости от заводовладельцев и их прислужников.

В ряде рассказов и очерков — «Дешевка», «Паучки» и др. — писатель запечатлел в художественных образах и картинах разбойничьи приемы наживы представителей бурно развивавшегося в то время на Урале капитализма. В 1912 году большевистская «Правда» указывала, что под пером Мамина-Сибиряка «оживали страницы прошлого Урала, целая эпоха шествия капитала, хищного, алчного, не знавшего удержу ни в чем» («Дооктябрьская «Правда» об искусстве и литературе», 1937, стр. 166). Это «шествие» капитала, как показывает писатель, принимало порой самые дикие формы, вроде своеобразного «водочного демпинга», устроенного темными дельцами-спиртозаводчиками в пострадавшей от неурожая деревне Болтино (рассказ «Дешевка»), или чудовищной «спекуляции человеческого горя и несчастия» («Паучки»).

Многими своими произведениями Мамин-Сибиряк содействовал разоблачению народнических идиллических представлений о деревне. Характерны в этом отношении рассказы «Отрава», «Горой», «Лётные». Косность и патриархальность деревенского уклада жизни, где господствуют «власть земли», «родительское благословение» и прочее, правдиво показаны также в очерке «Правильные слова».

Актуальнейший для Урала того времени земельный вопрос, где, по словам В. И. Ленина, даже к концу 90-х годов вырезка наделов крестьянам была «еще не вполне закончена» (В. И. Ленин, Сочинения, т. III, стр. 425), неоднократно является темой многих произведений Мамина-Сибиряка, в том числе и включенных в настоящий том очерков «Говорок», «Родительская кровь».

Ряд произведений посвящен судьбе интеллигенции в бур-

жуазно-крепостнической России — «Доброе старое время», «Поправка доктора Осокина», «Осенние листья», «Встреча» и др.

Почти через все произведения, включенные в настоящий том, красной нитью проходит тема протеста против социальной несправедливости приниженных и задавленных гнетом эксплуатации трудящихся. Но, изображая жизнь рабочих и их борьбу против буржуазно-крепостнического строя, писатель далек от правильного понимания общественной роли пролетариата, — в этом слабая сторона его творчества.

Природа — неизменно активный участник описываемых в произведениях Мамина-Сибиряка событий. Красочны и неповторимы созданные писателем картины могучей уральской природы. Урал предстает со всеми таящимися в его недрах несметными сокровищами, с его стремительно несущимися бурными реками и бескрайними лесами. Писатель показывает, что суровые природные условия в известной мере способствовали формированию таких своеобразных натур, как, например, Лука Агафоныч («Гроза»), Матрена («В болоте»), Никешка («Мòрок»), Фомич («Лес») и др.

Для некоторых рассказов писателя характерна публицистичность, что, разумеется, не снижает их больших художественных достоинств. «Есть такие вопросы, лица и события, — писал Мамин-Сибиряк брату Владимиру 3 марта 1884 года, — которые, помоему, должны быть написаны в старохудожественной форме, а есть другой ряд явлений и вопросов, которым должна быть придана беллетристико-публицистическая форма. Именно так я и пишу: кесарево — кесареви, а богово — богови. Прогресс в том и заключается, что мы видим длинный ряд процессов дифференцирования, и литература переживает то же самое — чистое художество и художество прикладное, «ибо довлеет злоба дневи его...»

Включенные в настоящий том произведения имели большое общественное значение. Они созданы в один из самых плодотворных периодов творчества писателя, многие из них принадлежат к числу лучших его художественных произведений.

В БОЛОТЕ

Из записок охотника

Впервые рассказ напечатан в газете «Волжский вестник», 4 января, 1885, за подписью: «Д. Сибиряк».

Рассказ «В болоте» близок по своим мотивам к некоторым другим произведениям Мамина-Сибиряка, в частности, к очерку

«Говорок». Героиня рассказа Матрена, так же как и Матвей («Говорок»), самоотверженно жертвует личными интересами во имя общих интересов.

Опубликованный в пору жесточайшей реакции 80-х годов, рассказ несомненно имел большое общественное значение, так как в нем правдиво отображены не только вынужденные «сделки» рабочих с заводскими управителями, но и стихийный протест рабочих против социальной несправедливости.

После опубликования в газете «Волжский вестник» писатель подверг рассказ стилистической правке и включил его в сборник «Сибирские рассказы». В настоящем собрании сочинений текст рассказа печатается по этому сборнику, т. III, 1905, со сверкой его по газетной публикации.

Стр. 13. *Казенные были.* — Здесь имеются в виду приписанные к Березовскому заводу во время крепостного права государственные крестьяне.

РОДИТЕЛЬСКАЯ КРОВЬ

Очерк

Впервые очерк напечатан в журнале «Вестник Европы», май, 1885, за подписью: «Д. Сибиряк».

Из пометы автора на рукописи рассказа, хранящейся в Свердловском областном архиве, видно, что работа над рассказом была закончена 12 декабря 1884 года, в Екатеринбурге.

Первоначально писатель предполагал напечатать свой очерк в «Русской мысли», что видно из письма к брату Владимиру от 5 марта 1885 года. Однако редакция «Русской мысли» не приняла его, мотивируя тем, что очерк не соответствует профилю журнала (Центральный государственный архив литературы и искусства — ЦГАЛИ).

В журнальной публикации и в издании сборника «Уральские рассказы», 1888, в конце II главы очерка, после слов: «Над городом N висело целое облако пыли, окрашенное розовым огнем заката», — следовал текст, опущенный в последующих изданиях, однако представляющий большой интерес:

«Навстречу попадались пьяные чиновники, где-то пиликали гармоники, в каждой улице была непременно портерная — этот единственный отпрыск европейской цивилизации, пробившийся к нам на Урал. Такие портерные, обязательно снабженные сомнительными девицами в качестве женской прислуги, служили

самыми грязными притонами, развращавшими преимущественно городскую молодежь. По сравнению с этими логовищами старые кабаки представляют собой чуть не отрадное явление».

После опубликования в журнале рассказ был включен писателем в сборник «Уральские рассказы». В настоящем собрании сочинений он печатается по этому сборнику, т. III, 1905, со сверкой текста по предшествующим публикациям.

Стр. 42. *Анисимовские издания.* — Имеются в виду юридические справочники, составленные и изданные петербургским нотариусом А. Н. Анисимовым.

Стр. 44. *Уставные грамоты* — акты, определявшие после реформы 1861 года земельные и имущественные отношения между заводовладельцами и заводским населением (см. прим., т. 1, наст. собр. соч.).

Стр. 45. *Поссессионная земля* — земля, закрепленная во время крепостного права за фабриками и заводами, принадлежавшими лицам не дворянского происхождения; на этих фабриках и заводах работали приписанные к ним крестьяне.

Стр. 52. *Поссессионное право* — в крепостной России право частных лиц не дворянского происхождения на потомственное пользование фабриками и заводами, на которых применялся труд приписанных к ним крестьян (см. прим., т. 3, наст. собр. соч.).

ИЗ УРАЛЬСКОЙ СТАРИНЫ

Рассказ

Впервые рассказ напечатан в журнале «Русская мысль», июнь, 1885, за подписью: «Д. Сибиряк».

Из пометы писателя на автографе, хранящемся в Свердловском областном архиве, видно, что рассказ был написан в период 13 марта — 15 апреля 1885 года. Первоначально он назывался: «Узелки. Из рассказов об уральской старине».

После опубликования в «Русской мысли» рассказ был включен автором в сборник «Уральские рассказы». В настоящем собрании сочинений он печатается по этому сборнику, т. III, 1905, со сверкой текста по предшествующим публикациям.

Стр. 94. ...*запрещенный поп* — то есть лишенный права выполнять обязанности священника.

БЛАЖНЫЕ

Очерк из заводских нравов

Впервые очерк напечатан в газете «Восточное обозрение» (Петербург), 11 и 18 июля, 1885, за подписью: «Д. Сибиряк».

Из пометы автора на рукописи очерка, хранящейся в Свердловском областном архиве, видно, что работа над ним была закончена 15 февраля 1885 года, в Екатеринбурге.

Так называемые «блажные» интересовали Мамина-Сибиряка, по его собственному признанию, как характерные «обломки» крепостнического строя, как живое свидетельство бесчеловечного гнета и насилий, когда создавались «на одном конце палачи, свихнувшиеся от избытка власти, и на другом Борьки, терявшие последнюю каплю рассудка от своего больше чем рабьего положения».

«Блажным» писатель уделил значительное внимание, в частности, в очерке «Сестры», романе «Три конца» и др.

Из письма от 11 марта 1885 года редактора «Восточного обозрения» Н. М. Ядринцева, известного общественного деятеля того времени, видно, что рассказ был «редакцией принят с удовольствием». «Ваша опытность в литературном деле, — писал Н. М. Ядринцев автору, — и ваш талант, конечно, дает полное право ему появиться» (Всесоюзная библиотека им. В. И. Ленина).

При жизни писателя очерк не переиздавался, в настоящем собрании сочинений воспроизведен текст по газете «Восточное обозрение».

Стр. 130. *Пряденики* — веревочная обувь для предохранения кожаной обуви от искр раскаленного металла.

Стр. 132. *Обер-протосингел святейшего сената* — бессмысленный набор слов.

Стр. 137. *...до 19-го февраля* — то есть до отмены крепостного права (1861 г.).

Стр. 141. *Варовинный* — веревочный.

ДЕШЕВКА

Из летних экскурсий по Уралу

Впервые рассказ напечатан в ноябре 1885 года в «Журнале романов и повестей», издававшемся редакцией газеты «Неделя».

Из письма Мамина-Сибиряка к матери от 23 августа

1885 года видно, что рассказ был написан на пароходе, во время поездки в Нижний-Новгород (ныне Горький).

Тема рассказа была позднее использована Маминым-Сибиряком в несколько измененном виде в романе «Хлеб».

При жизни писателя рассказ не перепечатывался, в настоящем собрании сочинений воспроизведен текст журнала.

Стр. 145. *Земство вон деньги выдает.* — Здесь имеется в виду распределение частных пожертвований и различных субсидий голодающим крестьянам.

Стр. 150. *Нóли* — даже.

Стр. 153. *...откупа-то ухнули, а к акцизу денежный народ не успел пригля́деться...* — Во второй половине XIX века в царской России была отменена система откупов на производство и продажу водки и введена государственная «винная монополия»; спиртозаводчики и виноторговцы уплачивали государству акциз, что вело к увеличению цен.

ГРОЗА

Из охотничьих рассказов

Впервые рассказ напечатан в журнале «Наблюдатель», декабрь, 1885, за подписью: «Д. Сибиряк».

Из пометы автора на рукописи рассказа, хранящейся в Свердловском областном архиве, видно, что рассказ написан в Екатеринбурге, в январе 1885 года.

Тема вырождения дворянско-буржуазной семьи вследствие паразитического образа жизни ее членов занимает видное место в творчестве Мамина-Сибиряка («Приваловские миллионы», «Горное гнездо» и др.).

Образ преданного слуги, подобный Луке Агафонычу, выведен писателем и в других произведениях (например, «Верный раб»).

При жизни автора рассказ неоднократно перепечатывался с небольшими стилистическими исправлениями. В настоящем собрании сочинений он печатается по сборнику «Уральские рассказы», т. I, 1905, со сверкой текста по предшествующим публикациям.

Стр. 168. *«Перикола», «Маленький Фауст»* — популярные в то время оперетты французского композитора Жака Оффенбаха (1819—1880).

Ирбитская ярмарка — происходила в городе Ирбите с середины XVII века. Устраивалась ежегодно в феврале — марте, привлекала большое количество русских и зарубежных (преимущественно из азиатских стран) купцов.

Стр. 176. *«Орфей в аду», «Птички певчие», «Прекрасная Елена»* — популярные в то время оперетты французского композитора Жака Оффенбаха.

ПОПРАВКА ДОКТОРА ОСОКИНА

Впервые рассказ напечатан в журнале «Русская мысль», декабрь, 1885, за подписью: «Д. Сибиряк».

Рукопись рассказа до нас не дошла, в Центральном государственном архиве литературы и искусства хранятся лишь черновые наброски II и III глав рассказа.

Показывая трагическую судьбу доктора Осокина, проводившего свои научные исследования в отрыве от жизни и общественной деятельности, Мамин-Сибиряк выступал против буржуазных субъективно-идеалистических философских течений 80-х годов прошлого века. Безуспешная попытка Осокина объяснить смысл жизни с помощью математических формул — влияние одного из таких течений. Следует отметить, что и в наше время многие представители реакционной буржуазной идеалистической философии тщетно пытаются объяснить явления социальной жизни с помощью «математического метода».

Мамин-Сибиряк высоко ценил этот рассказ. В письме от 22 ноября 1885 года к сестре Елизавете он назвал его «отличным рассказом» (ЦГАЛИ).

В отличие от журнальной публикации в последующих перепечатках рассказа опущен в V главе ряд мест из «труда» доктора Осокина.

После опубликования в журнале рассказ был включен писателем в сборник «Уральские рассказы». В настоящем собрании сочинений он печатается по этому сборнику, т. III, 1905, со сверкой текста по предшествующим изданиям.

Стр. 192. *...времен Александра благословенного* — то есть относящийся ко времени царствования (1801—1825) русского императора Александра I.

Стр. 213. *«Белая Дама»* — популярная в то время опера французского композитора Буальдьё Франсуа Андриена (1775 — 1834).

ЛЕТНЫЕ

Из рассказов о жизни сибирских беглых

Впервые рассказ напечатан в журнале «Наблюдатель», февраль — март, 1886, за подписью: «Д. Сибиряк».

Из пометы автора на рукописи рассказа, хранящейся в Свердловском областном архиве, видно, что рассказ был написан осенью 1885 года, во время пребывания писателя в Москве.

Первое упоминание о работе над «Летными» имеется в письме к матери от 8 сентября 1885 года: «Теперь, — сообщал писатель, — устроившись, я усиленно работаю: пишу статью для «Вестника Европы» и переделываю свою пьесу, которую, может быть, поставлю в частном театре Корша» (под статьей имеется в виду рассказ «Летные», под пьесой — «Золотопромышленники», первоначально называвшейся «На золотом дне»).

Из переписки Мамина-Сибиряка видно, что рассказ создавался в условиях напряженной творческой работы. «Мне дохнуть некогда, — сообщал он матери 17 сентября, — ибо в сентябре я уже написал около семи печатных листов, то есть в две недели, — дохнуть некогда. Да еще добавь, что отправлено одних писем в это же время до сорока штук».

20 сентября писатель сообщал родным, что «третьего дня кончил большой рассказ для «Вестника Европы», листа три печатных, теперь он переписывается». Однако работа над рассказом продолжалась до конца месяца, что подтверждается свидетельством самого Мамина-Сибиряка в письме к матери от 29 сентября: «Теперь поправляю рассказ для «Вестника Европы», который пошлю в Петербург на этой неделе».

Вскоре Мамину-Сибиряку пришлось пережить известное огорчение, так как редакция журнала «Вестник Европы» отказалась напечатать рассказ, признав его «порнографическим произведением». Этот довод служил лишь прикрытием истинной причины отказа. Безусловно, буржуазно-либеральная редакция «Вестника Европы» была напугана социально-острым содержанием рассказа «Летные».

По поводу этого отказа Мамин-Сибиряк писал 30 ноября 1885 года своей матери: «Вчера я получил неприятный ответ из «Вестника Европы» — моя статья «Летные» не будет напечатана, как я рассчитывал. Неприятно, но что будешь делать, — значит статья плоха и необходимо ее еще раз переделать, хотя я писал

ее со всем тщанием и поэтому очень рассчитывал на нее. Такова бывает судьба, милая мама, авторских статей: авторы, как и родители, часто ошибаются в своих детищах... Видишь, как я благоразумно философствую и не горячусь, как это бывало прежде. Собственно говоря, и кровь портить не из чего — не напечатал в «Вестнике Европы», напечатаю в другом журнале, а в самом крайнем случае могу поместить в «Волжском вестнике», где заплатят вдвое меньше «Вестника Европы».

Рассказ «Летные» был отослан в журнал «Наблюдатель», где и напечатан в февральской и мартовской книжках.

Мамин-Сибиряк был глубоко задет оценкой рассказа редакцией «Вестника Европы». Так, посылая в 1888 году редактору «Вестника Европы» А. Н. Пыпину первый том сборника «Уральских рассказов», куда вошли и «Летные», он счел нужным напомнить, что этот рассказ был возвращен автору, «как порнографическое произведение», и посоветовал прочесть его снова, «чтобы убедиться, кто прав, редакция или автор».

О трагической судьбе бродяг — «летных», являвшихся, по словам писателя, неизбежной принадлежностью уральского быта, Мамин-Сибиряк писал в очерке «На перевале», в рассказах «Не у дел», «Оборотень», в романе «Три конца» и в других произведениях.

Рассказ «Летные» в известной мере был направлен против народнических идиллических представлений о крестьянстве.

Буржуазные и народнические критики упрекали Мамина-Сибиряка за его публицистические отступления в рассказе «Летные». Так, в связи с выходом в 1888 году сборника «Уральские рассказы» рецензент журнала «Северный вестник» писал, что «цельности впечатления рассказов г. Мамина вредит еще большая наклонность автора к экскурсиям в область публицистики и даже полемики». Приведя пространную цитату из «Летных» и признавая, что в общем «тирада недурна — по убежденности и горячности тона», рецензент указывал, что «странно встретить в беллетристическом рассказе полемическую вылазку против «известного лагеря печати», Достоевского и др.» («Северный вестник», 1888, № 9).

Эти упреки оказали, повидимому, известное воздействие на писателя. В последующих изданиях рассказа публицистический и полемический элемент значительно ослаблен.

Так, из V главы был исключен чрезвычайно интересный отрывок, в котором Мамин-Сибиряк выступает против Достоевского

и других писателей, возводивших каторгу в «ореол... очищающего душу страдания». После слов: «Наши следователи, судьи, прокуроры и присяжные умели и могли отличить действительно несчастного преступника от закоренелого злодея», — следовал такой текст: «К сожалению, известного лагеря печать и такие «проникновенные» учителя, как Ф. М. Достоевский, возвели каторгу в ореол какого-то очищающего душу страдания... Это уже колоссальный абсурд, тем более что он проповедуется теми самыми людьми, которые изобрели специально русского Христа». Затем после слов: «в этом простом человеческом движении неизмеримо чище и выше всех», — следовало: «мистических туманов, именем русского Христа предлагающих для очищения русской души — каторгу...»

Исключенным оказался и еще один важный отрывок из III главы, в котором рассказывалось о неимоверно больших трудностях, преодолеваемых «летными» во время побега из заключения и скитания по Сибири. После слов: «И так каждый год, точно льется широкая река», — следовал такой текст: «Представьте же себе ту страшную массу нечеловеческих страданий и опасностей, какую выносит на своих плечах этот отверженный, поставленный вне закона люд!.. Сначала нужно устроить побег из каторжной тюрьмы или с дороги на каторгу, что устраивается очень нелегко и часто покупается ценою жизни — летный падает от пули тюремного часового или конвойного солдатика, прежде чем успеет дохнуть вольным, не острожным воздухом. Затем начинается неимоверное странствование по сибирской тайге, болотам и степям, где летные безвестно гибнут от голода и жажды, в когтях дикого зверя, от меткой пули бурята и сибирского «челдона» или просто заедаются таежным оводом».

При жизни писателя рассказ издавался отдельной книжкой, а также выходил в сборнике «Уральские рассказы». В настоящем собрании сочинений он печатается по сборнику «Уральские рассказы», т. I, 1905, со сверкой текста по предшествующим изданиям.

Стр. 232. *Башкирские бунты.* — Здесь имеются в виду восстания башкир в XVII—XVIII веках против царского гнета и насилия.

Стр. 243. *«Матерная вдова»* — вдова, оставшаяся после смерти мужа с малолетними детьми.

ГОРОЙ

Впервые рассказ напечатан в «Сибирском сборнике», 1886, книга 1, издававшемся как приложение к газете «Восточное обозрение».

После опубликования в «Сибирском сборнике» рассказ был в том же году перепечатан в «Волжском вестнике», 1 и 5 июня, с следующим примечанием:

«Заручившись любезным разрешением редакции «Восточного обозрения» на перепечатку в нашей газете прекрасного нового очерка Д. Н. Мамина-Сибиряка «Горой», появившегося в только что вышедшем в свет «Сибирском сборнике», мы с настоящего номера и приступаем к его печатанию. Имя Д. Н. Мамина-Сибиряка (Д. Сибиряк) знакомо, конечно, нашим читателям как по произведениям его, помещавшимся в столичных журналах, так и в нашей газете».

Переиздавая рассказ отдельной книжкой, писатель значительно сократил его.

При жизни писателя рассказ выходил несколько раз. В настоящем собрании сочинений он печатается по отдельному изданию 1903 года, со сверкой текста по предшествующим публикациям.

Стр. 296. *Куда-то под хивинца ушел.* — Имеется в виду Хивинский поход, совершенный русскими войсками в 1873 году.

ПАУЧКИ
Рассказ

Впервые рассказ напечатан под названием «Гнездо пауков» в журнале «Наблюдатель», ноябрь, 1886.

При жизни автора рассказ под названием «Паучки» был включен в сборник «Миллион». В настоящем собрании сочинений он печатается по этому сборнику, 1904, со сверкой текста по журнальной публикации.

Стр. 312. *...грёзовская головка.* — Здесь имеется в виду созданная французским художником Грезом (1725—1805) серия головок, исполненных в слащаво-сентиментальном духе.

Стр. 313. *Саади,* или Са'ди (ок. 1184 — ок. 1292) — персидский поэт и философ.

ПЕРВЫЕ СТУДЕНТЫ

Рассказ

Впервые рассказ напечатан в журнале «Северный вестник», январь, 1887, за подписью: «Д. Сибиряк».

Рукопись рассказа хранится в Свердловском областном архиве.

Рассказ «Первые студенты» представляет собою в известной мере автобиографическое произведение. В своих воспоминаниях «Из далекого прошлого» Мамин-Сибиряк писал:

«Шестидесятые годы были отмечены даже в самой глухой провинции громадным наплывом новой популярно-научной книги. Это было яркое знамение времени... Мне было лет пятнадцать, когда я встретился с новой книгой. От нашего завода верстах в десяти были знаменитые платиновые прииски. Управителем, или, по-заводски, доверенным, поступил туда бывший студент казанского университета Николай Федорыч. Мы с Костей уже бродили с ружьями по соседним горам, бывали на прииске, познакомились с новыми людьми и нашли здесь и новую книгу, и микроскоп, и совершенно новые разговоры. В приисковой конторе жил еще другой бывший студент Александр Алексеевич, который, главным образом, и посвятил нас в новую веру. В конторе на полочке стояли неизвестные нам книги даже по названию. Тут были и ботанические беседы Шлейдена, и Молешот, и Фогт, и Ляйель, и много других знаменитых европейских имен. Перед нашими глазами раскрылся совершенно новый мир, необъятный и неудержимо манивший к себе светом настоящего знания и настоящей науки. Мы были просто ошеломлены и не знали, за что взяться, а главное, как взяться «с самого начала», чтобы не вышло потом ошибки и не пришлось возвращаться к прежнему.

Это была наивная и счастливая вера в ту науку, которая должна была объяснить все и всему научить, а сама наука заключалась в тех новых книгах, которые стояли на полочке в приисковой конторе. Имена прежних любимцев, как Загоскин, Марлинский, Лажечников и других, сразу померкли и стушевались. Выступали вперед другие требования, интересы и стремления».

Эти юношеские воспоминания и положены в основу рассказа «Первые студенты».

Проблемы, затронутые в рассказе, всю жизнь глубоко волновали писателя, в юношеские годы увлекавшегося естественными науками, как и многие его современники, мечтавшего найти в них некую универсальную науку, способную разрешить все вопросы бытия. В 1882 году он писал брату Владимиру: «Я слишком дорого заплатил за скромное желание сделаться непременно мыслящим реалистом...»

До конца своей жизни писатель с глубоким уважением относился к «шестидесятникам». И в «Первых студентах» он не преминул подчеркнуть благородство и возвышенность их идеалов, хотя рассказ был напечатан в пору жестокой реакции 80-х годов. В то время как под влиянием реакции значительная часть интеллигенции изменила революционным традициям «шестидесятников» и проповедовала примирение с самодержавием, писатель счел своим долгом заявить, что не следует игнорировать благородные идеи людей, звавших русское общество к борьбе с полицейским гнетом и политическим бесправием. В этом историческое значение рассказа «Первые студенты».

После опубликования в журнале рассказ был включен в сборник «Уральские рассказы». В настоящем собрании сочинений он печатается по этому сборнику, т. III, 1905, со сверкой текста по предшествующим публикациям.

Стр. 329. *«По чувствам братья мы с тобою».* — Первая строка стихотворения «Послание к А. А. Бестужеву», принадлежащего, как полагают, К. Ф. Рылееву. Переложенное на музыку, стихотворение было в прошлом веке популярной революционной песней.

«Будем веселиться, пока мы молоды». — Слова из старинной студенческой песенки.

Стр. 330. *«В хижину бедную...»* — Из песни Марии, персонажа драмы «Материнское благословение, или бедность и честь». Перевод-переделка с французского Н. А. Некрасова (см. Н. А. Некрасов, Полное собрание сочинений, т. IV, 1950, стр. 474).

Стр. 343. ...*читают Бову* — то есть читают народную сказку о Бове-Королевиче.

Стр. 354. *«Вместе ели, но с условьем...»* — Из стихотворения Генриха Гейне «Два рыцаря».

Стр. 356. *Отелло, Дездемона, Кассио, Яго* — действующие лица из трагедии Вильяма Шекспира «Отелло».

ЛЕС

Психологический этюд

Впервые этюд напечатан под названием «Фомич» в журнале «Дело», январь, 1887, за подписью: «Д. Сибиряк».

Из пометы автора на рукописи этюда, хранящейся в Свердловском областном архиве, видно, что он был закончен 10 декабря 1886 года.

В основу произведения положены юношеские воспоминания писателя. В своей книге «Из далекого прошлого», в очерке «Зеленые горы» Мамин-Сибиряк описывает соседа-дьячка Николая Матвеевича, который и является прототипом Фомича.

После опубликования в журнале этюд был включен писателем в сборник «Уральские рассказы». В настоящем собрании сочинений он печатается по этому сборнику, т. III, 1905, со сверкой текста по предшествующим публикациям.

В издании 1905 года опущена пятая глава, в которой описывалась смерть Фомича.

ОТРАВА

Очерк

Впервые очерк напечатан в журнале «Русская мысль», ноябрь, 1887, за подписью: «Д. Сибиряк».

Из рукописи рассказа, хранящейся в Свердловском областном архиве, видно, что первоначально рассказ носил другое название: «Косточки хрустят».

Очерк несомненно был направлен против народнической идеализации крестьянского быта. В очерке особо подчеркивается, что хотя деревня Шатуново, где происходят трагические события, «самое земледельческое место, удаленное от всяких соблазнов и разлагающих влияний, как город, тракты или ярмарки», однако в ней царят дикие нравы и бесчеловечная жестокость; все это порождается как рабским положением крестьян при помещичье-капиталистическом строе, так и индивидуалистическим укладом деревенской жизни, «властью тьмы».

К теме о приниженном положении русской женщины в семье Мамин-Сибиряк в разные периоды своего творчества обращался неоднократно, например, в романах «Золото», «В водовороте страстей», в рассказах «Старик», «Тайна зеленого леса», «Встреча» и др.

После опубликования в журнале очерк был включен писателем в сборник «Уральские рассказы». В настоящем собрании сочинений он печатается по этому сборнику, т. I, 1905, со сверкой текста по предшествующим публикациям.

НА ПЕРЕВАЛЕ

Из осенних мотивов

Рассказ датируется 1887 годом по книге «Д. Н. Мамин-Сибиряк. Рукописи и переписка», издание Гослитмузея, 1949.

Автограф рассказа (без даты) хранится в Свердловском областном архиве.

При жизни писателя рассказ был включен в сборник «Сибирские рассказы». В настоящем собрании сочинений он печатается по этому сборнику, т. 1, 1902.

Стр. 429. *Осман-паша* — турецкий генерал, руководил обороной города Плевны в русско-турецкую войну 1877—1878 годов. Капитулировал перед русскими войсками в конце ноября 1877 года.

Стр. 430. *Винтовка Лебеды* — охотничье ружье системы чешского оружейника Лебеды, жившего в Праге.

НЕ У ДЕЛ

Рассказ

Впервые рассказ напечатан в газете «Русские ведомости», 1888, 24 апреля.

В основу рассказа положены воспоминания детских лет, связанные с пребыванием автора на Висимо-Шайтанском заводе.

После опубликования в газете рассказ был включен писателем в сборник «Сибирские рассказы». В настоящем собрании сочинений он печатается по этому сборнику, т. 1, 1902, со сверкой текста по предшествующим изданиям.

Стр. 443. *...своих заводских торгах.* — Имеются в виду места публичных телесных наказаний.

...времен Аракчеева — жестокого временщика при Павле I (1754—1801) и Александре I (1777—1825), создателя «военных поселений» и инициатора многих других реакционных антинародных государственных мер.

МО́РОК

Очерк

Впервые очерк напечатан в газете «Русские ведомости», 6 и 9 августа, 1888, за подписью: «Д. Сибиряк».

Автограф очерка хранится в Свердловском областном архиве.

По некоторым своим мотивам очерк «Морок» близок к таким произведениям Мамина-Сибиряка, как «Озорник», «На шихане», «Сестры» и др.

После опубликования в газете рассказ был включен писателем в сборник «Сибирские рассказы». В настоящем собрании сочинений он печатается по этому сборнику, т. 1, 1902, со сверкой текста по предшествующей публикации.

САМОРОДОК

Впервые рассказ напечатан в газете «Русские ведомости», 18 и 21 сентября, 1888.

Рассказ был написан, очевидно, в конце 1884 или начале 1885 года. Первое упоминание о нем имеется в письме к брату Владимиру от 4 марта 1885 года (ЦГАЛИ). Об этом же рассказе упоминается и в ряде писем за 1886 и 1887 годы в связи с возникшими осложнениями при опубликовании его в печати.

Некоторые мотивы рассказа, например, протест рабочих против социальной несправедливости, выразившийся в массовом уходе с завода, использованы писателем позднее в романе «Три конца» (1890).

После опубликования в газете рассказ был включен писателем в сборник «Сибирские рассказы». В настоящем собрании сочинений он печатается по этому сборнику, т. IV, 1905, со сверкой текста по предшествующим публикациям.

Стр. 471. *Эмансипация.* — Здесь имеется в виду отмена крепостного права в 1861 году.

СИБИРСКИЕ ОРЛЫ

Рассказ датируется 1888 годом по книге: «Д. Н. Мамин-Сибиряк. Рукописи и переписка», издание Гослитмузея, 1949.

Из пометы автора на рукописи рассказа, хранящейся в Свердловском областном архиве, видно, что работа над рассказом была закончена в октябре 1888 года, в Екатеринбурге.

Первоначально рассказ назывался «Сибирские люди».

Образ «сибирского орла» Неупокойникова имеет много общего с позднее созданным образом исправника Полуянова («Хлеб», 1895).

При жизни автора рассказ был включен писателем в сборник «Сибирские рассказы». В настоящем собрании сочинений он печатается по этому сборнику, т. I, 1902.

Стр. 494 *...при откупах было.* — В царской России ряд государственных монополий, например, на винокурение и продажу вина, продажу соли, отдавался на откуп частным лицам.

Заторный чан — на винокуренных заводах чан с так называемым затором из тертого картофеля или муки с водой.

Стр. 498. *...уволили с волчьим паспортом, по третьему пункту...* — Уволен за служебные преступления, без пенсии и без права поступления вновь на государственную службу.

НАСЛЕДНИК

Рассказ

Впервые рассказ напечатан в газете «Саратовский листок», 1888.

При жизни автора рассказ перепечатывался в сборнике «Преступники» (1904, 1906). В настоящем собрании сочинений он печатается по этому сборнику, 1906, со сверкой текста по предшествующим публикациям.

Стр. 503. *...премии «Нивы».* — Иллюстрированный журнал «Нива» рассылал подписчикам в виде приложений красочные репродукции картин.

ГОВОРОК

Очерк

Впервые очерк напечатан в журнале «Наблюдатель», январь, 1889, за подписью: «Д. Сибиряк».

Рукописная копия очерка, снятая братом писателя Н. Н. Маминым, хранится в Центральном государственном архиве литературы и искусства.

Решимость крестьян деревни Кучки отстаивать до конца от «власть предержащих» свои очаги является показателем напряженности развертывавшейся стихийной борьбы между помещиками и крестьянами в 80—90-х годах прошлого века. Уверенность крестьян в том, что их дело правое, выражена писателем в словах Матвея Козьи Рога, обращенных к своей жене: «Будет правда, Авдотья, погоди... Не мы одни с тобой на свете живем. Говорю тебе: погоди... Выйдет земля хоть детям».

Отвечая своему брату Владимиру на упрек в том, что Мамин-Сибиряк своими произведениями вводит «сиволапого мужика» в салон, писатель замечал: «Это не так ужасно, как кажется на первый взгляд, потому что этот мужик является подавляющей девятидесятимиллионной массой сравнительно с тонкой и ничтожной салонной лепкой. Обрати на это особенное внимание, ибо здесь уже говорит арифметика» (письмо от 3 марта 1884 г.).

После опубликования в журнале очерк был включен писателем в сборник «Сибирские рассказы». В настоящем собрании сочинений он печатается по этому сборнику, т. III, 1905, со сверкой текста по журнальной публикации.

Стр. 530. *Даровой надел.* — Так назывались нищенские наделы земли, которые получила от некоторых помещиков часть крестьян во время реформы 1861 года без выкупа. Даровой надел составлял одну четвертую часть так называемого «уставного».

Стр. 532. *...новые суды.* — Здесь имеется в виду осуществленная при Александре II судебная реформа, создавшая под видом ряда нововведений (суд присяжных, обязательная защита и пр.) сложный, бюрократический порядок рассмотрения дел.

Стр. 542. *...Кукань.* — Здесь имеется, вероятно, в виду горный кряж Южного Урала Кукан-Сыкан, тянущийся вдоль берега реки Ирендыка.

ДОБРОЕ СТАРОЕ ВРЕМЯ

Повесть

Впервые повесть напечатана в журнале «Русская мысль», февраль, 1889, за подписью: «Д. Сибиряк».

Из пометы автора на рукописи повести, хранящейся в Свердловском областном архиве, видно, что она написана в Екатеринбурге, в октябре 1888 года.

Повесть «Доброе старое время» примыкает к таким произведениям классической русской литературы XIX века, как, например, «Сорока-воровка» Герцена, «Тупейный художник» Лескова и другие, в которых изображается трагическая судьба крепостной интеллигенции.

Название повести «Доброе старое время» имеет иронический смысл. Писатель осуждает старое, недоброе время самодержавно-крепостнического произвола и насилия. Повесть была направлена против дворянских идеологов, которые, восхваляя «доброе старое время», выступали защитниками варварских порядков царской России.

После опубликования в журнале повесть была включена автором в сборник «Уральские рассказы». В настоящем собрании сочинений она печатается по этому сборнику, т. IV, 1901, с исправлением опечаток по журнальной публикации и восстановлением пропущенного номера главы VI.

Стр. 551. *Краген* — накидной меховой воротник.

Стр. 564. *«Семирамида»* — опера итальянского композитора Джоакино Антонио Россини (1792—1868).

«Тоска по родине». — Здесь имеется в виду «Дезертир, или тоска по отчизне» — опера-водевиль Д. Т. Ленского (1805—1860).

«Коварство и любовь» — трагедия Иоганна Фридриха Шиллера (1759—1805).

«Дмитрий Донской» — трагедия В. А. Озерова (1769—1816).

«Она помешана» — комедия-водевиль В. А. Каратыгина (1802—1853).

«Виктор, или дитя в лесу» — драма, переведенная с французского языка Д. Н. Барковым.

«Урок дочкам» — комедия И. А. Крылова (1768—1844).

«Заемные жены, или не знаешь где найдешь, где потеряешь» — водевиль П. А. Каратыгина (1805—1879).

«Три султанши» — комедия французского драматурга Фавара Шарля Симона (1710—1792).

«Жена и зонтик, или расстроенный настройщик» — водевиль П. А. Каратыгина.

«Архивариус» — водевиль П. С. Федорова (1803—1879).

«Ночной колокольчик» — водевиль П. А. Каратыгина.

«Лорнет» — водевиль французского драматурга Скриба (1791—1861), переведенный П. А. Каратыгиным.

Стр. 565. *...в одном из дорогих полков.* — Имеется в виду гвардейский полк.

Стр. 567. *«Русская свадьба в исходе XVI в.»* — комедия П. П. Сухонина (1821—1884).

Стр. 585. *Гарун-аль-Рашид* — герой сказок «Тысяча и одна ночь».

Стр. 604. *Шехеразада* — действующее лицо и рассказчица сказок в известном сборнике арабских сказок «Тысяча и одна ночь».

ОСЕННИЕ ЛИСТЬЯ

Впервые рассказ напечатан в газете «Саратовский листок», №№ 110, 113, 115, 117, 119, 121, 1889.

Из пометы автора на рукописи рассказа, хранящейся в Свердловском областном архиве, видно, что рассказ закончен в Екатеринбурге, 25 августа 1887 года.

При жизни писателя рассказ был перепечатан в сборнике «Осенние листья». В настоящем собрании сочинений он печатается по этому сборнику, 1899, со сверкой текста по газетной публикации.

Стр. 626. *...Славянский.* — Здесь имеется в виду хоровая капелла известного исполнителя русских народных песен Д. А. Славянского-Агренева (1834—1908).

ПРАВИЛЬНЫЕ СЛОВА

Из путевых эскизов

Впервые эскиз напечатан в газете «Русские ведомости», 10 сентября, 1889, за подписью: «Д. Сибиряк».

Из пометы автора на рукописи эскиза, хранящейся в Свердловском областном архиве, видно, что он закончен 14 августа 1889 года, в Екатеринбурге.

При жизни автора эскиз был перепечатан в сборнике «Встречи». В настоящем собрании сочинений он печатается по этому сборнику, 1900, со сверкой текста по газетной публикации.

Стр. 649. *...«сак-пальто» с Апраксина...* — Пальто, приобретенное в Апраксинском дворе (Петербург).

Стр. 652. *Беляна* — несмоленая речная барка.

ВСТРЕЧА

Рассказ датируется 1889 годом по записной книжке Д. Н. Мамина-Сибиряка (собрание Б. Д. Удинцева).

При жизни писателя рассказ был перепечатан в сборнике «Осенние листья», 1899. В настоящем собрании сочинений он печатается по тексту этого сборника.

Стр. 667. *Гафиз,* или Хафиз, Шемоссадин Мухаммед (1320—1389) — персидский поэт.

СОДЕРЖАНИЕ

ПОВЕСТИ, РАССКАЗЫ, ОЧЕРКИ

Редактор *А. Романов*

Оформление художника *Б. Никифорова*

Худож. редактор *К. Буров*

Техн. редактор *Г. Архангельская*

Корректоры *В. Брагина* и *Л. Бунчукова*

*

Сдано в набор 17/IV 1954 г.
Подписано к печати 9/VIII 1954 г.
Бумага $84 \times 108^1/_{32}$—44 печ. л.=36,08 усл.
печ. л. 33,48 уч.-изд. л. Тираж 100 000.
Заказ № 1224. Цена 12 р.

Гослитиздат
Москва, Ново-Басманная, 19

*

Министерство культуры СССР, Главное
управление полиграфической промышленности, 2-я типография «Печатный Двор» им.
А. М. Горького. Ленинград, Гатчинская, 26

ГОСЮРИЗДАТ
1954